ТОЛЬКО ЧАС







ТОЛЬКО ЧАС



ПРОЗА РУССКИХ ПИСАТЕЛЬНИЦ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

МОСКВА · СОВРЕМЕННИК · 1988

ББК84Р1
Т54

Составитель, автор вступительной статьи
и примечаний докт. филол. наук *В. Ученова*
Рецензент докт. филол. наук *Г. Белая*
Художники *В.* и *Л. Низовы*

Т54 **Только час:** Проза русских писательниц конца XIX — начала XX века/Сост., автор вступ. статьи и примеч. В. Ученова; Худож. В. и Л. Низовы.— М.: Современник, 1988.— 592 с., ил.

Читателю уже знакомы две предыдущие книги: «Дача на Петергофской дороге» и «Свидание», представившие прозу писательниц первой и второй половины XIX века, изданные в «Современнике» в 1986 и 1987 годах. Новая книга знакомит с прозаическими произведениями писательниц конца XIX — начала XX в. и завершает эту своеобразную антологию.

$\text{Т}\frac{4702010100-162}{\text{М}106(03)-88}$ 28—88 ББК84Р1

ISBN 5—270—00130—6

ЛИКИ ПРОТЕСТА

Перед нами заключительная книга трехтомника прозы русских дореволюционных писательниц[1]. Она охватывает произведения, опубликованные в сложнейший период от 90-х годов XIX века до 10-х годов XX века. В это время экономическая, общественно-политическая, духовная жизнь России развивалась столь стремительно, что новые взгляды, понятия, идеи, ранее вынашивавшиеся и пробивавшиеся в жизнь десятилетиями, теперь сменялись на арене общественной жизни с калейдоскопической быстротой. Шло формирование политических партий, громко заявляли о своем рождении и эстетических программах литературные направления, бурно действовали философские школы.

После наступления общественно-политической реакции и относительного застоя 80-х годов в 90-е страна переживала начало пробуждения. Накапливалась грозовая атмосфера, консолидировались силы протеста. Помимо революционных кружков, будоражили умы и просветительные организации, всевозможные филантропические предприятия, религиозные объединения. Россия медленно, но неуклонно продвигалась навстречу социальной революции, которая должна была привести к коренной ломке веками складывавшихся общественных отношений.

Бурную эволюцию в ходе этих событий переживало женское движение, отчетливо заявившее о себе в 60—70-е годы. Борьба за социальную справедливость по отношению к женщине, за всеобщее признание женского равноправия вступила в новую фазу. Девяностые годы — период размежевания различных потоков в русле женского движения. Наиболее радикальная часть сформировавшейся к этому времени женской интеллигенции примкнула к революционному движению или «ушла в народ». Последнее в 90-е годы означало не то, что в 70-е. Если «семидесятники» уходом в народ, как правило, ставили перед собой революционно-пропагандистские цели с предположением максимально быстрых перемен,

---

[1] См.: Дача на Петергофской дороге М.: Современник, 1986; Свидание. М.: Современник, 1987.

то в 90-е годы настроения изменились. Жажда лучшей части интеллигенции «отдать долг» народу имела теперь по преимуществу культурно-просветительский характер. Одно время такие попытки с долей пренебрежения именовались «Теорией малых дел». По сравнению с готовящимся революционным переворотом деятельность народных учителей, сельских врачей и фельдшериц, противящихся царскому произволу юристов была действительно невелика. И все же с современной позиции пренебрегать этой деятельностью не следует. Поступками многих образованных людей, добровольно уезжавших в самые глухие места государства, чтобы принести грамотность, просвещение, элементарные медицинкие и культурные навыки, руководили самоотверженность, честность, доброта, поиск социальной справедливости, чувство общественного долга

Подобные стремления в большой мере отличали женскую демократическую интеллигенцию, те слои, из которых и вышли многие авторы настоящего сборника.

Помимо подпольно-революционного и легального прогрессивно-демократического направлений, в женском движении на рубеже веков заявил о себе и утрированный феминизм. Он тоже имел разные «лики» — находил выход в изысканной декадентской деформации привычных форм жизни и искусства и в крайнем феминистском нигилизме. В этих кругах увлеченно дебатировалось то, что именовалось в ту пору «проблемой пола» и предвещало наступление через полвека пресловутой сексуальной революции. Известно, что и сегодня некоторые левацко-анархистские группировки молодежного движения на Западе ставят процессы переустройства общественных отношений в прямую связь с полным раскрепощением интимных отношений. Главное же в идее — борьба за общесоциальное равенство — в ходе этих шумных кампаний, как правило, отступает на дальний план.

Перечитывая в 1921 году одного из апологетов именно такого «освобождения» женщины — Арцыбашева, Л. А. Авилова писала в дневнике: «...Ненавижу не свободу, а это легкое оправдание свободой таких вот... всю эту грязь и мерзость, распущенность, грубость и бессмысленность...» (Рассказы. Воспоминания. Сов. Россия. 1984. С. 308).

Дискуссии о формах женской эмансипации, обострившиеся в 90-е годы, продолжались в предреволюционные и особенно в послереволюционные годы. Освобождение от элементарной порядочности, от традиционных, выработанных веками норм нравственности, от чувства ответственности перед людьми, в первую очередь перед детьми и семьей,— таков один из кренов феминизма, и поныне не изжитый для некоторых.

На рубеже веков этот крен породил ряд пасквильных литературных образов, смачные выпады черносотенной прессы и нанес несомненный вред всему женскому движению предреволюционной поры. Суждения и поступки крайних феминисток, отвергавших любые особенности женского

природного предназначения, обыватель охотно распространял на все выступления женщин в защиту своего общественного и личного достоинства.

Разумеется, в 90-е годы, в отличие от середины прошлого века, право женщины на высшее образование, общественно содержательный труд оспаривалось с меньшей категоричностью. И все же оспаривалось, хотя женщины-журналистки, переводчицы, учительницы, телеграфистки, врачи перестали восприниматься как скандальная аномалия. Литературный критик В. Чуйко в обширной статье «Современные женщины-писательницы» в 1889 году писал: «Теперь писательница с именем, журналистка, сотрудница газеты, переводчица — далеко не редкое явление в русском обществе. Ее роль в литературе теперь не случайна...» Какой контраст со скептическими высказываниями даже лучших представителей русской критики в тридцатые годы! (См. вступительную статью в кн. «Дача на Петергофской дороге».)

Но и в этот период образованной женщине нелегко было вырваться за пределы домашнего круга без борьбы, без преодоления общественного сопротивления. Если нужда гнала женщину на поиск пристойного заработка — с этим обывательский предрассудок готов был уже примириться как с неизбежностью. Но если на осмысленную общественную жизнь претендовала девушка из хорошо обеспеченной — тем более богатой — семьи — это воспринималось как блажь, уклонение от добропорядочности. Большинство писательниц в той или иной мере на своем опыте испытали и неприязненный суд консервативных воззрений, и превратности общественного самоутверждения, и сложные перипетии личной судьбы. Неудивительно, что тема защиты человеческого достоинства — одна из сквозных в их творчестве. Она неотъемлема от писательской деятельности О. А. Шапир и М. В. Крестовской — авторов, пользовавшихся большой популярностью на рубеже веков. Обеим писательницам свойствен самый пристальный интерес к глубинным состояниям душевного мира героев и — особенно — героинь. Не хитросплетения сюжета, не живописание внешне выразительных событий составляет их силу. Напротив. На авансцене повестей «Авдотьины дочки» и «Вопль» как будто ничего примечательного не происходит: разве что сестра главной героини первой повести, Саши, и невестка героини второй повести, Натальи, выходят замуж. Этим, столь обыкновенным событием фабула исчерпывается. Но сколько психологических пластов обнажают писательницы в одном случае до, а во втором после переворачивающего жизнь замужества.

Повесть «Авдотьины дочки» — чуткое воплощение происходящих общественных сдвигов. Она, так же как и повесть М. Крестовской, тонко и достоверно передает социальную и духовную атмосферу России конца 90-х годов. Это — состояние брожения, беспокойства, поиска, проникающее во все, веками нерушимые патриархальные углы. Семья кухарки генеральского дома Авдотьи — она да две ее незаконнорожденные дочери

Арина и Саша,— казалось бы, не слишком поражающий писательское и читательское воображение предмет. Мир домашней прислуги — один из самых затхлых, самых закоснелых. В буквальном смысле духота и чад — непременная принадлежность крохотной каморки за кухней, где живет прислуга. Арина уже работает горничной, к ней сватается почтенный вдовец. Все — серо, обычно. Что тут неожиданного может произойти? Но — происходит! В каморку за кухней врываются все ветры времени — их приносит младшая дочь, которая учится на акушерку и всех однокурсниц обгоняет успехами. Она одухотворена жаждой знаний, жаждой полезного дела, стремлением к деятельной независимости. Такой тяге есть обеспечение в живом уме, трудоспособности, бьющей через край жизненной энергии Саши. Она уже далеко ушла из затхлой каморки и теперь выводит сестру на дорогу достойного дела, содержательной жизни.

Сестра Арина — другой характер,— менее решительный, менее энергичный. Но и она уже не мирится с участью служанки или содержанки. Ее протест нарастает неосознанно, изнутри. «Влекло не понимание, не идея, нет: простой инстинкт созидательных сил, заложенных в природу человека. Случай разбудил эти силы; их кипение давало ей, как и Саше, своеобразное ощущение счастья».

Те, кто веками пребывал в униженном, полупокорном состоянии, утверждает своими героями автор, поднимают головы, не желая более мириться с прежним положением, и устремляются к свободе. Неодолимый, идущий из глубин народа порыв писательница противопоставляет апатии, инертности, плоскому однообразию жизни в генеральской семье.

Здесь можно и посетовать: противостояние Авдотьиных дочек генеральской Кате несколько прямолинейно. В повести подчас звучат откровенно публицистические ноты: «Внутренние стенки квартиры разделяют два мира, где царят совершенно различные законы». Это безусловно снижает художественный уровень и ослабляет эстетическое воздействие произведения.

Каковы законы той части мира, что противостоит энергичному самоутверждению Авдотьиных дочек, мы детально узнаем из повестей М. Крестовской и В. Цеховской. В них тщательно прослежены типы распада, происходившего в среде сытой, богатой, самодовольной дворянской и буржуазной России. Как и во все времена, здесь растут, страдают и мечутся в поисках выхода люди, стремящиеся к невещественным ценностям, тому, что достается не за деньги. Они взыскуют радости духовного общения, любви, разделенности чувств, понимания. С особой обостренностью тянутся к этому женщины, лишенные полезного дела, обреченные и в конце века, словно в его начале, на фальшь светских церемоний и необходимых для карьеры мужа контактов. Такова героиня повести «Вопль» — Наталья, от имени которой ведется рассказ. По замыслу вся повесть и есть вселюдный вопль о несложившейся жизни, о горечи душевных утрат. Среди непоправимых утрат — любимейшая Соня, кото-

рая ушла из жизни сама. Как раз потому, что за мишурой богатства и поклонения полностью перестала понимать смысл бытия, утратила себя как личность. Распад души, совести, нежности... Эпизод за эпизодом повесть исследует симптомы этих процессов: сначала пренебрежение трауром по только что умершей матери, потом отказ от неимущего жениха, потом ссора из-за «не той» цены подарка. Наталья и Соня собирались учиться на курсах, следили за литературой... Благие намерения заглушены пустой болтовней бесконечных визитов. Муж героини делает успешную карьеру, играет на бирже, вступает в преуспевающие акционерные общества и загребает миллионы. Она же все больше ощущает себя марионеткой, которую приводят в движение, дергая за золотые ниточки. «На вид я была вполне свободна, да и Саша (муж героини.— *В. У.*) искренно, кажется, воображал это, на самом деле у меня не было ни капли свободы. Саша, почти не спрашивая моего согласия, разлиновал мою жизнь, как это было удобнее, и даже наши знакомства завязывались исключительно по его выбору». Такова более утонченная форма обезличивания женщины (в сравнении с той, при которой век назад женщину не допускали до совместного застолья).

Сонин протест выливается в самоубийство. Наталья решается на бóльшее: помочь племяннице вести рабочую школу в уральской глубинке, не уйти из жизни, а вплотную приблизиться к ней. «Вопль» Крестовской завершается просветленно. Исход предельного нравственного напряжения — оптимистичен. Наталья присоединяется к жизненному выбору Авдотьиных дочек.

Повесть «Династия» безысходнее, и ее атмосфера, пожалуй, еще тяжелее. Здесь вырождение дворянства, барства рассмотрено без надрыва, с холодноватой объективностью, но это лишь оттеняет неотвратимость краха. Три брата — совладельцы наследственного имения; хозяйничает только старший — Арсений. Только он исповедует идеалы уходящего барства, незыблемость помещичьей Руси. Он еще уповает на историческую миссию дворянства, готов доказывать: «Мы вовсе не развращенный дряблый класс, как о нас говорят и думают, не паразиты».

Таковы мысли главы династии. Их не разделяют ни второй брат — Павел, успевший стать морфинистом, ни младший брат — Вадим, чудаковатый поклонник гомеопатии, ни эмансипировавшаяся сестрица — Марго. Ни даже мать, которая на старости лет ведет жизнь молодящейся «свободной» женщины. Династия — в растлении и разброде. Страшнее внешнего разброда — внутреннее обесчеловечивание респектабельного Арсения. Он патологически ревнует свою жену. Кроме того, стремясь предотвратить раздел имения между наследниками, лишает ее радости материнства.

Откликаясь на публикацию первой части повести, критика веско оценивала этот характер: «...за внешним культурным приличием притаился зверь, чувствуется его дыхание, и роковая, трагическая развязка грозит

этой великими усилиями укрепляемой и культивируемой дворянской семье». (Всеобщий ежемесячник. 1910. № 3). Критик исходил из начального раздела повести, еще не ведая развития ее сюжета, но точно предугадал неотвратимость трагедийной развязки.

Ксения — самый светлый в семье человек — супруга Арсения,— безвольно подчиняясь мужу, умирает на операционном столе. В отчаянии кончает с собой безответно любивший ее Павел. У одного из сыновей Арсения обнаруживается эпилепсия. Династия на грани краха.

На циферблате истории до падения и династии Неповоевых, и династии Романовых оставался, в сущности, только час. Но для русского народа это был час огромных испытаний и тяжелых жертв. Им еще не видит конца молоденькая писательница Рябушкина из рассказа А. Р. Крандиевской «Только час». Потрясенная бесчеловечными условиями труда шахтеров, она мечется в искреннем отчаянии: «Что делать, чтобы счастье одних не окупалось таким нечеловечески ужасным страданием других?.. Что?.. Что?..»

В известной мере ответом на эти вопросы стали события повести В. И. Дмитриевой «Пчелы жужжат».

Под впечатлением революционных событий 1905 года созданы произведения В. И. Дмитриевой, Т. Л. Щепкиной-Куперник и Е. М. Милицыной. Переданные здесь формы протеста — это уже не просто порывы и прорывы отдельных личностей к иной, лучшей жизни. На борьбу за социальное освобождение, духовное раскрепощение поднялись глубинные слои народа, задавленное нуждой крестьянство.

В. И. Дмитриева — писательница, пережившая народнические упования и крах многих народнических иллюзий еще в 80-х годах. Однако она не утратила оптимизма, душевного здоровья и настойчивости в борьбе за лучшее будущее. В 1904—1910 годы журнал «Русское богатство» ежегодно публиковал новые романы, повести, рассказы писательницы, а параллельно крупные произведения выходили в других изданиях. Наиболее проникновенна и выразительна, на наш взгляд, повесть «Пчелы жужжат». Ее тему — разгром безоружного крестьянского протеста царскими войсками — В. И. Дмитриева уже разрабатывала в заграничной нелегальной печати. В 1902 году в Женеве вышла ее пропагандистская брошюра под псевдонимом Иван Вольный. Здесь показана сходная ситуация: роту солдат заставляют стрелять в мужиков. Но в последний момент один из солдат убивает полковника и скрывается. Брошюра звала к единению крестьян, одетых в солдатские шинели, с братьями по классу, к общей борьбе с царизмом. Книжечка мгновенно разошлась, потребовались ее переиздания.

В подцензурном журнале события изложены спокойнее, но столь же непримиримо. Все лицемерные прикрытия бескорыстной любви к ближнему слетают с монастырского начальства, когда оно призывает солдат расправиться с нищими людьми. И это лишь за то, что те решились по-

косить сена на спорном луге, из-за которого между монастырем и деревней шла давняя тяжба.

Вереницу образов безжалостных экзекуторов открывает «святой» отец Юлианий. За ним следуют становой, губернатор, полковник. Нет, они не наделены личной патологической жестокостью. Но таковы неизбежно шарниры и рычаги жестокой самодержавной машины, и действуют они только в одном, строго заданном бесчеловечном направлении.

С большой симпатией очерчены облики крестьян — вершителей бунта Богат набор типажей участников: общепризнанный лидер, отставной унтер офицер Исай Шкворнев, почтенный крестьянский патриарх Иван Уклейкин, трусливый, но выстоявший в трудном испытании Лука Заяц. Бунт вспыхнул из-за угрозы голода, обрекающего нищую деревню на вымирание. Но это борьба не просто за сносную жизнь, но и за человеческое достоинство. Потому никто не ушел с поля перед угрозой кровавой расправы, никто не выдал зачинщика — он сам выступил ответчиком за всех. Подавление бунта в повести лишено настроения обреченности. Настоящие битвы еще впереди. Это звучит в словах крестьянина: «Нет, погоди, мы с тобой по-другому заговорим, дай только сло́ва найти». Это предвидит в своих мечтаниях Лука Заяц. И это мерещится сквозь сон кровавой ценой оттягавшему для монастыря луг отцу Юлианию: «Не пчелы жужжат, а мужики идут...» «Яркая, выпуклая изобразительность», которую отмечала современная повести критика, проявилась здесь в полной мере.

Реакция 1907—1909 годов оставила значительный след в художественной литературе углубившимися настроениями пессимизма, меланхолии, мистицизма, новыми попытками углубленного, а порой и извращенного «интимного» психологизма. Потоку подобного творчества противопоставили свою программу писатели-реалисты, приглашенные А. М. Горьким сотрудничать в издательстве «Знание». Среди них была Е. М. Милицына, подобно В. И. Дмитриевой вышедшая из «глубинки», от рождения и до последних дней тесно связанная с народной жизнью. Ее повесть «В ожидании приговора» не могла пройти незамеченной. Перед читателем как бы развертываются крупноплановые кинематографические кадры. В них — озабоченные, растерянные, страдающие люди в ожидании приговора своим близким. Кадры сменяются неспешно и побуждают читателя пристально всмотреться в лица крестьянок: маленькой круглолицей Марьи с умирающим ребенком на руках, разбитной Дарьи, что «сверкала белыми ровными зубами и все отводила в сторону большие карие глаза», плачущей Фионы. А затем — и в лица конвойных, и в лица арестованных. Только главные вершители суда остаются недосягаемыми и для собравшихся людей, и для читателей. Лишь Федосья, мать осужденного на казнь главаря бунтовавших крестьян Петра Ващенко, пробивается к начальству за последним разрешением увидеть сына. Здесь — кульминация произведения. Ее точно определил литературовед Э. А. Шубин: «В центре внимания писатель-

ницы — переживания матери Ващенко, прошедшей весь путь крестных мук с того времени, как стали охотиться за ее сыном, затем схватили его у нее на глазах, до последнего свидания перед казнью и полубезумного плача над открытой, еще пустой могилой»[1].

В истории литературы существует мнение, что на центральный образ повести Е. Милицыной повлияла горьковская «Мать». Действительно, есть заметное сходство материнского отношения к борьбе сыновей. Оно — в развитии от крайнего неприятия «нелегальщины» к ее поддержке, полному сочувствию. Оно — в жертвенности матерей, готовых претерпеть любую муку за правду сыновнего дела. Горьковская Ниловна приходит в революцию. Что произойдет с Федосьей Ващенко — неизвестно. Повесть завершается, когда ее разум меркнет от страданий после казни сына. Скорее всего, это состояние временное. Дальше возможны и полный душевный упадок, и возрождение для дальнейшей борьбы. Другие произведения Е. М. Милицыной показывают как первый, так и второй варианты развития крестьянских характеров.

Ропот по поводу жестокой расправы с повстанцами нарастал во всех слоях общества. Он определял и некоторые поступки революционной молодежи, ее шаги протеста. Иногда заведомо обреченные, бесперспективные и все-таки — лично героические. В рассказе Т. Л. Щепкиной-Куперник «Первый бал» — самоотверженное выступление генеральской дочери Ольги против экзекуций, расстрелов, казней, которыми руководит полковник, князь Гордынский. Встретить его на балу решает юная революционерка. Встретить и отомстить. И пока гремит бальная музыка, в мыслях Ольги еще раз проходят картины, побудившие к такому решению: «Избитые, измученные женщины... лохмотья, землистые лица... Девушки, девочки, почти дети — опозоренные, обесчещенные шайкой «карателей». Вот безумная старуха, у которой на глазах расстреляли единственного сына за то, что он не пошел на работу... Еще мать, у которой застрелили одиннадцатилетнего сынишку за то, что он не ушел с дороги по приказу. Все обнищавшие, осиротевшие, голодные, с умирающими от голода детьми...»

Честный человек не мог оставаться безучастным, видя это. Ольга в «Первом бале» решилась на крайнюю меру. И она вызывала полную меру сочувствия честных людей, читавших рассказ, и полную меру негодования со стороны официальных чинов, запретивших книгу с этим рассказом, предъявивших автору судебный иск «за подстрекательство».

Не только политические, но и эстетические бури сотрясали общественное сознание России между двумя революциями. Жажда преобразований во всем окружающем мире, страстные поиски новых решений побуждали к крайностям различных модернистских течений. Многие авторы заня-

---

[1] Шубин Э. А. Художественная проза в годы реакции. (Судьбы русского реализма начала XX в.). Л., 1972. С. 57.

лись тщательной разработкой ранее «запретных» тем, преимущественно эротических, многие обратились к прославлению мистической «вечной красоты» и т. п. Отблески этих мотивов есть и в рассказе Ариадны Тырковой «Афинянка». В большинстве своих публикаций писательница придерживалась реалистического направления, но вот «Афинянка» отмечена, на наш взгляд, модернистскими исканиями. Этим в панораму творческих манер, писательских индивидуальностей, представленных в нашем сборнике, добавляется существенная примета времени. «Афинянку» отличает такой характерный штрих модернизма, как жажда экзотики, некоей запредельности и в сюжете, и в стиле переживаний. Задернутая исторической пеленой Византия первых веков христианства — благодарнейший фон для подобных творческих целей. Не менее выразителен и избранный сюжет: противостояние земной человеческой радости — аскетической отрешенности созерцания. Сюжет, что называется, вечный, неоднократно звучавший у художников слова, но не утративший силы трагизма при необходимости выбора вплоть до наших времен. В тонко прописанном диалоге, в напряженном противостоянии сталкиваются контрастные мироощущения, отстаивая свою правду, свое представление о счастье, добре и истине. И как будто нет в этом споре победителя, что, на наш взгляд, наиболее примечательно для изящной мудрости этого произведения. Победителя нет, потому что каждый из трех действующих лиц остается по-прежнему в обретенном им от рождения или кропотливо созданном своем духовном мире. И все же победитель есть — читатель всей душой на стороне афинянки. И разве не высочайшим утверждением земной, человеческой, подлинной истины звучит ее последняя реплика, обращенная к епископу: «Зачем ты убил в нем радость? Неужели так велят ваши боги?..» И разве — пусть на момент — не соглашается с этой человеческой, а не аскетической правдой епископ, называя верного ученика малодушным мальчиком? И разве сам этот «мальчик» не остается в земных, неодолимых сетях, рисуя вместо ангельских ликов образ своей отринутой, но незабвенной невесты.

Рассказ А. Тырковой примечателен не жесткостью и решительностью приговора, чем задевает за живое «Первый бал», а как раз его отсутствием. Приговор, угодный автору рассказа, всецело выносит читатель.

Наш третий том прозы русских писательниц завершается двумя произведениями, которые писались почти одновременно, но в контрастных стилевых манерах. Истекают последние сроки дореволюционной России — углубляется размежевание политических партий и художественных направлений. Расправил плечи так называемый «новый реализм», представленный именами А. Куприна, В. Вересаева, А. Серафимовича, И. Бунина, А. Толстого. Но продолжались и углубленные субъективистские искания, наиболее ярко выразившиеся в творчестве Леонида Андреева. Рассказ Л. А. Авиловой «Пышная жизнь» исполнен в строгом соответствии с пер-

вым направлением, с чеховскими традициями. Он предельно прост, почти бессюжетен. О чем он? О том, как трехлетняя крестьянская девчушка Любка, заболев, чудом выжила — без медицинской помощи, без нормального ухода, только благодаря своей жизнестойкой натуре. Вновь звучит мотив, один из постоянных для предреволюционной поры,— силы и здоровья, идущих от народных глубин.

Прозрачный реализм, ювелирная точность деталей, всепроникающий тонкий юмор отличают повествование. Эпизоды безрадостного существования Любки показывают ее «пышную» жизнь в таком увеличении, что видятся мельчайшие подробности: пестрый чепец с оборкой, сшитый из лоскутков, платье с замазанным передом, босые ножонки. Читатель словно бы сам смотрит в задорное Любино личико, замечает, как от ветра шевелятся на ее голове волосенки. Этот рассказ — лаконичная, но многозначительная картина, у которой нет рамки, потому что и начало Любкиной жизни, и ее продолжение не отделено от движения времени, а лишь высвечено в нем. Здесь достигнут тот высокий эффект мастерства, когда читатель как бы становится очевидцем описываемых событий.

В контрастной манере исполнена заключительная публикация нашей книги — повесть А. И. Цветаевой «Дым, дым и дым». Перед читателем находится автор и только автор. Любой элемент действительности передан не сам по себе, не таким, каким он выглядит «на самом деле». Напротив. Течение времени, облик событий субъективированы, нередко целенаправленно деформированы. Они нарочито показаны сквозь плотную линзу индивидуального восприятия, пристрастности, иногда и капризности прихотливого женского взгляда.

Аналогичных содержательных и стилевых решений было немало в предреволюционную пору. Здесь то повышенное, даже гипертрофированное внимание к внутреннему миру личности — к интроспекции, которая полнее всего выражалась стихотворной лирикой. Здесь — опыт лирической прозы, зачинателем которой был Андрей Белый.

Нервная, стремительная, тщательно расчлененная на такты, временами как бы задыхающаяся, временами ритмизированная, она старается передать настроение не только смыслом, но и особой выстроенностью каждой фразы, каждого абзаца. Прозаические опыты старшей сестры Анастасии Цветаевой — Марины Ивановны — состоялись позднее. Здесь младшая обгоняла ее и побуждала следовать за собой.

В повести А. Цветаевой лирическое «я» героини до предела совмещено с образом автора. Такой прием может обмануть неискушенного читателя. Он может счесть героиню повести за психологический автопортрет писательницы. Но это было бы ошибкой — еще раз объяснила замысел повести А. И. Цветаева составителю книги.

Конечно, повесть передает многие реальные эпизоды, происходившие с автором, но здесь не ставилась цель создать документальный портрет и его неправомерно было бы искать. Есть замысел передать через круг дру-

жеских контактов самоощущение героини, озабоченной тем, чтобы в чувствах любого накала не утратить себя. Здесь обрисован антипод той женской личности, которая всего за шесть лет до этой публикации безвольно уходила из жизни в повести «Династия». Время все больше смещало представления о диапазоне женских возможностей, о достижимости, даже неотвратимости социального равенства женщины с мужчиной.

Повесть передает новые ситуации, рожденные первым десятилетием века,— героиня расстается с мужем, хотя продолжает любить его. Быть хранительницей очага — благословенное дело. Но и оно не может оставаться благом, купленным ценой обезличивания, ценой унижения чувств. В таком случае искра живого огня любви и сочувствия преображается в дым отношений, от которого скудеют мысли и слезятся глаза.

Героиня не хочет и не может безропотно повторять крестный путь многовековых предшественниц — женщин, бывавших невольными или добровольными жертвами своих или чужих страстей. Она ни при каких условиях не дает никому права распоряжаться собою. Это право принадлежит только ей самой.

В повести нашли отражение и модернистские мотивы: навязчивое переживание неизбежности смерти, трагичной скоротечности времени некоторое стремление к эпатажу, подчеркнутое самолюбование. Но все приметы времени, его своеобразный колорит не заслоняют умного, проницательного, тонко оценивающего авторского взгляда. Следуя за этим взглядом, и современный читатель может научиться в чем-то лучше понимать себя и окружающих.

Трехтомник прозы дореволюционных русских писательниц завершен. Составители и издатели — как ведется исстари — надеются на благосклонность читающей публики. На то, что круг малознакомых, а то и совсем забытых авторов, собранных здесь, обогатит оттенками наше восприятие наследия русской культуры.

Не все имена, явленные трехтомником, сияли на литературном небосводе как звезды первой величины. Одни изначально владели сравнительно скромным дарованием, таланту других помешали вырасти полностью суровые жизненные обстоятельства. Но есть среди русских писательниц и такие, кто оценен, на наш взгляд, несправедливо мало. Таланты Марка Вовчка, Н. Д. Хвощинской, В. И. Дмитриевой светили ярко. Ни в интенсивности творчества, ни в его популярности они нимало не уступали знаменитым современникам, таким, как А. Ф. Писемский или Вс. Крестовский, В. М. Гаршин или В. Г. Короленко. Исторические же оценки оказались смещены: Хвощинская, Дмитриева — редко читаемы, известны немногим.

Из-за чего? Не оттого ли, что в какой-то момент они попали в раздел, означенный «женская проза»? А это подразумевает обилие сантиментов, жеманство и мелкотемье? Стоит ли сегодня доказывать, что такова не преимущественно «женская», а просто плохая проза, кто бы ее ни писал. Но этот застаревший предрассудок тянется из давних времен. И может быть. авторы большинства произведений трехтомника прояснят непредвзятому читателю, что к ним неверно применять уничижительный эпитет, а стоит по-доброму оценить их напряженную творческую жизнь, меру их таланта.

В. Ученова

О.А. ШАПИР

АВДОТЬИНЫ ДОЧКИ





I

В коридоре трещал электрический звонок.

В кухне Авдотья только было раскрыла духовой шкап, собираясь перевернуть начинавшую румяниться телятину; сизые волны едкого дыма охватили ее красное лицо со сплывшимися чертами. Услыхав звонок, она сердито захлопнула раскаленную дверку и поднялась на ноги.

— Арина! — крикнула она у закрытой двери в людскую.— Тебя звонят! Оглохли вы там, что ли?

За дверью слышен был говор, смех и звон посуды.

— Иду сейчас! — откликнулся досадливый молодой голос.

В людской давно идет чаепитие. Маленький стол перед окном, задвинутый вплотную между комодом и высокой кроватью, сплошь заставлен чайным прибором и тарелками с угощением: ветчиной, маслом, домашним сладким хлебом; в середине красуется бутылка пива.

Гость — видный мужчина лет около сорока, в крахмаленой рубашке и новенькой пиджачной паре,— сидел так тесно рядом с Аришей у переднего края, что при всяком движении они касались друг друга локтями и плечами. Девушка отклонилась на кровать и примяла большое углубление в высокой перине, постланной светлым пикейным по-

крывалом и простыней с кружевной деревенской прошивкой по рубцу; на наволоках целой груды подушек красуются крупные красные метки русским швом.

Угол за кроватью сплошь занят двумя вешалками, задернутыми ситцевой драпировкой; из-под драпировки выглядывают пестрые подолы платьев и топорщатся крахмаленые оборки юбок.

У другой стены один на другом составлено несколько сундуков разной величины, прикрытых старенькой скатертью. На комоде до самой божницы карабкаются друг на дружку шкатулки и картонки по обеим сторонам крохотного туалетца.

Второму гостю здесь положительно негде было бы примоститься, если б то не был свой человек — младшая сестра, Саша.

Саша забралась на подоконник и сидела, упираясь спиною в косяк, а колени протянула вбок, в уровень со столом. Ее крупная фигура, туго стянутая высоким корсетом, вырисовывалась отчетливо в ярком боковом освещении, скользившем по складкам синего платья. На упругой щеке заметен пушок поверх красивого румянца, пробивающегося через гладкую плотную кожу, но на шее кожа резко переходит в нечистые смуглые тона, что составляет для Саши предмет постоянного огорчения: она щеголяет своей чистоплотностью, а тут всякий может подумать, что она моет шею только по праздникам.

Саша как забралась на подоконник, так уже и не могла шевельнуться без того, чтобы не поднялся звон посуды на подносе. Это каждый раз вызывало взрыв веселого смеха сестер и какое-нибудь язвительное замечание со стороны гостя.

— Не комната, а как есть каюта пароходная!

Афанасий Иванович предлагает барышням устроить висячие койки, какие бывают в каютах. А то где же они тут улягутся втроем по праздникам?

Этого барышни ни за что не хотели ему объяснить, а он все возвращался к игривой теме, заставлявшей их покатываться со смеху.

И то поглядел бы жених, как они примащиваются на составленных сундуках с гладильной доской на подмогу! Редкую ночь которая-нибудь не летела на пол, неосторожно метнувшись во сне. Мать уже и просыпаться перестала на привычный стук.

Девушки переглядывались, хохотали и становились еще

красивее от смеха и от духоты крошечной комнаты после выпитого самовара.

Афанасий Иванович всегда предпочитал блондинок; но сегодня черноволосая Саша так вызывающе красовалась перед самыми его глазами на подоконнике — точно курочка-цесарка на насесте.

Сравнение напрашивалось недаром: Афанасий Иванович страстный любитель кур и всякой другой птицы. В его казенной квартире при одном из больших столичных вокзалов всегда стоит оглушительная трескотня нескольких канареек, чижей, зябликов, и только ночью смолкает назойливый, жесткий звук их быстрых прыжков вперебой.

А из чулана по всей лестнице разносится хвастливое кудахтанье молодок и победоносное пение красавца петуха.

Петухи у него не иначе как красавцы, да только ни один не царит в чулане дольше года: Афанасий Иванович непременно разыщет где-нибудь еще более великолепного. Откуда-нибудь по линии, хоть какую даль провезти, так не поленится.

Давно уже Афанасий Иванович порывался презентовать Арине Петровне первостатейную канареечку, да Ариша наотрез объявила, что она терпеть не может птиц. И без птиц голова трещит в такой тесноте да кухонном угаре.

Аришу третий раз во время чаепития требуют в горницы; как точно на грех барышня сегодня в мигрени лежит.

— Господи, угомонилась бы, что ли, хоть на час! — не удержалась девушка, вся красная от досады, пробираясь мимо гостя.

Он должен был тоже подняться на ноги для того, чтобы она могла выбраться из-за стола. Досадно, мочи нет! И так проходу нет от его насмешек.

Слава только одна, что Ариша портнихой числится — так же точно помыкают, как и простой горничной! И чего сдуру все набросились девочек шитью обучать? Барыни одни от того в барышах оказались, а с девушек двойная работа за то же жалованье требуется...

— Конечно, которая таким житьем довольна! — отвечала ему на это Ариша каким-то волнующим тоном загадочных намеков.

...Господи! Да он-то из-за чего же добивается?! Неужели же хозяйкой зажить в казенной квартире с отоплением, с освещением, на шестьдесят рублей жалованья не лестно?

— Очень лестно, если только девушка замуж идти желает,— отвечала, не задумываясь, невеста.

Тут, казалось бы, жениху оставалось осведомиться о состоянии ее чувств — и конец всему делу венец. Но перед риском категорического вопроса блистательный жених смущался в приливе невольной робости...

Из кухни донесся обмен сердитых восклицаний и хлопнула дверь.

— Житье уж, можно сказать! — произнес саркастически Афанасий Иванович, усаживаясь на прежнем месте напротив Саши.

— Мать у плиты всегда сердитая,— пояснила недовольно девушка.

— Что мудреного, коли изо дня в день покою не видеть! Тоже и года не молоденькие. Уж на что у нас служба строгая и ответственность, прямо сказать, страшная — а и то каждый свое отдежурил и больше знать ничего не знаешь.

— Да уж вам-то чем еще не житье! — усмехнулась Саша и почему-то поглядела на него насмешливыми глазками.

— Эх, Александра Петровна! Молодость ваша, неопытность! — протянул лирически гость, и выпуклые глаза его сильнее подернулись влагой.— Я к жизни своей довольно привык... А только я одиночеством своим удручен...

И вздохнул. Саша схватилась за пустую чашку, чтобы скрыть улыбку; голову совсем назад запрокинула, давая стечь себе на язык последним сладким капелькам — ну, вот совсем как точно птичка: воды носиком набрала и горлышко вытягивает, чтобы проглотить...

Гость так возбужденно двинул своим стулом, что тот затрещал под ним.

— Александра Петровна! Сашенька... хоть бы вы сколько-нибудь пожалели меня! Я окончательно измаялся... Нарочно сегодня собрался — думал, вы меня поддержите сколько-нибудь...

Внезапный натиск смутил девушку. От невозможности проявить свое волнение каким-нибудь свободным движением она еще больше разрумянилась.

— Что же я тут могу, Афанасий Иванович? Сестра старше меня, знает без меня, как для нее лучше.

Гость приосанился:

— Стало быть, в прислугах мыкаться лучше, нежели за мной, как у Христа за пазухой, жить? Так, значит, и записать прикажете?

— Да с какой стати вам мои слова записывать —

вы ведь не ко мне сватаетесь! — точно поддразнила она его.

И тут случилось совершенно непонятное: гость весь вытянулся над столом и залепетал, зажмурив глаза от испуга:

— А что коли... что ежели я к вам? То есть... к вам самим посвататься вздумаю? Сашенька... извольте дослушать!.. Учиться желаете — это не помеха... Я даже с моим удовольствием на курсы отпустил бы... разве мы не понимаем?.. Са-шенька!

Он открыл глаза, сам совершенно ошеломленный, точно все это непроизвольно сорвалось с его языка.

Два часа глядит на нее в этой стеклянной клетке, до того даже, что в душе все перепуталось. Не хочет Ариша — так эта ничем не хуже, еще моложе! Вот сейчас спросите, как на духу, которую он из двух сестер выбирает — не знает, как и ответить: хороши обе, не найти нигде лучше! Которая захочет, пусть так оно и будет...

Про Сашу Афанасий Иванович до сих пор еще и не задумался ни разу; дело видимое, что тут надежды быть не может — ишь она под ученую барышню подлаживается! Одного учения кончить не успела, как уже об другом заговорила.

Но в эту минуту все трезвые соображения шатались под напором страстного желания. Афанасий Иванович в такой мере всем существом своим ощущал себя женихом — что, прямо сказать, сил нет уйти опять ни с чем из этой предательской каморки, увешанной женскими тряпками и точно пропитанной насквозь девичьим задором. И одной-то бутылки пива жених еще не допил, а в голове такая возня пошла, как после самого отчаянного кутежа.

Его умоляющий голос замер. По каморке звонко рассыпался хохот.

— Вот так сюрприз!.. Ха-ха-ха... ай да жених! К собственной свахе с горя присватался... ох!.. уморили!! Вот уже не слыхивал-то никто... ха-ха-ха!..— заливалась пуще Саша, не обращая внимания на прыгающую посуду.

Сквозь смех она смутно почувствовала, как наконец треснуло стекло за ее плечом.

— Батюшки, стекло-то, стекло! Поберегитесь! — завопил жених, весь красный, весь мокрый, точно на него стакан воды выплеснули.

...Ох, и бедовая эта Саша... всегда он знал! Аришу оттого и выбрал, что та степенная, не так беспощадно на смех

поднимает, как эта егоза; но сейчас егоза все нутро в нем перевернула.

— Ну что ж... скажите спасибо, хоть развеселил вас по крайности! — выговорил он перехваченным обидой голосом.

— Еще бы! Как не спасибо. Вон в убыток только ввели!

Саша совсем непостижимо вся извернулась на подоконнике каким-то вопросительным знаком и провела пальчиком по лучистым трещинам, разбежавшимся огромной звездой по стеклу.

— За мной убыток никакой не пропадет.

Его смерили высокомерным взглядом через плечо.

— Непременно! С вами, видно, и пошутить-то нельзя — не понимаете...

В эту минуту в кухне раздался голос вернувшейся Ариши; она о чем-то спорила с матерью.

Саша сейчас же приняла прежнюю позу. Розовое лицо ее смеялось каждой черточкой, хоть она степенно сжимала свои малиновые губы.

...А ну-ка, соколик, как ты теперь выкарабкаешься?.. И правда, распотешил-таки под конец несносный, сладенький вздыхатель!

— Александра Петровна... Сашенька...— зашептал жених растерянно,— я на ваше великодушное сердце надеюсь... помилуйте, чем же я виноват?! Сами же вы сегодня довели... тут вовсе рассудка лишишься!..

— А вам кто сказал, что у меня сердце великодушное? — кокетничала Саша.— Я думаю, Ариша-то сестра мне.

— Тш... тш!.. Ради господа! — Дайте по крайности с мыслями собраться...

Саша засмеялась, а Ариша с маху распахнула дверь и сразу увидела все: разбитое стекло, прыгающие глазки Саши и смущенный вид красного как рак гостя.

— Как это тебя угораздило? — спросила она резко сестру.

— Да уж так! — засмеялась та загадочно.— Вот кабы ты смирно на месте сидела, так и стекло цело осталось бы... ха-ха-ха!..

— Что же вы, подрались тут без меня, что ли?

— Афанасия Иваныча спроси, коли тебе очень любопытно.

Ариша покосилась на гостя.

— Ничуть даже не любопытно... с какой стати!

Она не садилась. Саша тоже стала осторожно отодви-

гать стол от окна, чтобы можно было выбраться; но для этого гостю нужно было выйти в кухню.

Афанасий Иванович стал благодарить молодых хозяек за угощение. На его разгоряченном лице смущение сменялось теперь сдержанным сознанием собственного достоинства.

Понятное дело, молодым девицам больше и делать нечего, как только на смех поднимать. Кто в них влюбился, тот и угодил на зубок! Но Афанасий Иванович Картышев недаром промыкался на свете с лишком сорок лет; знал он преотлично, что человек, обладающий казенной квартирой с отоплением и освещением, при солидном жалованье, пользующийся благоволением начальства и к тому же обладающий видной наружностью,— такой человек вполне может не брать во внимание различных обстоятельств, даже весьма губительных для какой-нибудь мелкой сошки. Хотя в состоянии души его и случилось сегодня смятение, но так как на столе не было другого угощения, кроме скромной бутылки пива, то он мог рассудить собственное положение совершенно трезво.

Пожалуй, оно и к лучшему вышло, что он малость увлекся. Делать серьезное предложение на две стороны самому как-то не складно, а через третье лицо дело вести с такими занозами, как Дунины дочки, и вовсе не приходится... Ничего, пусть же Сашенька про себя знает! Сестрицы промежду себя поделят его, как сами захотят. Судьба, значит, решит — веселой ли черноволосой Саше или степенной Арише хозяйничать в казенной квартире.

Со смерти жены несколько месяцев тому назад Картышев разом почувствовал себя центром женского внимания: что называется, от невест отбою не было. Его осаждали приглашениями, знакомствами, непрошеными услугами. Матушки, тетушки, сестрицы и профессиональные свахи ловили его, где только могли. Барышни, одетые по моде, молодые и хорошенькие, не удостаивавшие его прежде никакого внимания, теперь улыбались благосклонно и старались завязать знакомство.

Помимо всяких стараний с его стороны, завидный жених узнавал всю подноготную: сколько приданого числится за какой невестой и каких надо опасаться физических изъянцев или жизненных приключений, вроде семейных ссор, разошедшихся свадеб и т. д. Узнал он, что богатое наследство некрасивой дочки машиниста Иванова — один обман; всем известная бездетная тетка ее недавно перевенчалась

в третий раз с каким-то пропащим мальчишкой. А у Сонички Краевой падучая болезнь, оттого ее и отсылают то и дело гостить к крестной матери на Охту. Красавица Варвара бегает на свиданья к молодому инженеру. У Маши Сапожковой такой злющий характер, что родная мать глаз от нее не осушает. И так без конца, во всю прыть досужих фантазий и неутомимых бабьих языков.

Однако ж все это было напрасно. Афанасий Иванович сразу почувствовал, что судьба его кроется не иначе как только здесь: в тесной каморке простой кухарки, его землячки и приятельницы покойной жены. На их глазах и росли Авдотьины девочки, поступали в ученье к портнихе и стали выравниваться, а он стал отличать белолицынькую Аришу...

Авдотья отдернула в сторону сковородку с шипящим маслом и бросилась провожать дорогого гостя. Сестры сейчас же спрятались назад в людскую.

— Куда же вы так торопитесь, Афанасий Иванович, посидели бы еще немножко — право-ну! — пела вкрадчиво Авдотья, заглядывая в глаза.

Афанасий Иванович стесняется; небось и так успел уже наскучить барышням... При этом он крутил усы и незаметно обдернул полы нового пиджака.

Авдотья всполошилась. Какие такие барышни, чтобы с ними столько церемониться? Последняя разве дура, которой может наскучить благородный разговор!

— Н-ну! Дурам до твоих дочек далеко, Авдотья Кузьминишна! — произнес жених с чувством.

Они вышли из кухни на площадку и остановились перед узкой полутемной лестницей.

Картышев медлил, соображая, как бы ему половчее предупредить свою верную союзницу насчет последней диверсии. А Дуня беспокойно поглядывала на него.

...Ну, чего еще человек дожидается? Что дальше тянуть, то больше места девчонке куражиться. В матери крепко было традиционное убеждение, что такие дела вершатся всего вернее одним натиском родительской воли, чтобы и опомниться было некогда.

— Уж коли они две вместе сойдутся, так хошь кого так заговорят,— сказала Авдотья неопределенно, так, чтобы можно повернуть и в похвалу, и в осуждение, глядя по надобности.

Гость усмехнулся про себя, потом как-то нерешительно скосил глаза в ее сторону.

— Н-да!.. Стоят одна другой, что и говорить... П-парочка!

— Ну, Саша-то еще бог весть до чего добьется,— вздохнула мать,— смела уж чересчур! Не нарваться бы где-нибудь.

Картышев беспокойно поправил на голове новенький котелок.

— Ариша хоть и упрямая, да как-то смысла в ней больше, что ли,— договорила не совсем уже уверенно Авдотья.

Ей вдруг показалось неловко, что она хвалит ему Аришу. Для того и про упрямство ввернула.

— Что ж, смелость не порок, а ты, Авдотья Кузьминишна, сомневаешься совсем напрасно...

И Афанасий Иванович вдруг решился:

— Я тебе признаюсь вот как: любую беру с охотой, которая согласна — мне все единственно! Одного гнезда! Пока чего, ты не болтай барышням ничего... не тревожь их... пусть? Только про себя должна знать.

После этого, как бы уклоняясь от возможных возражений, степенный Афанасий Иванович шумно ринулся вниз по лестнице, не взглянув даже на свою растерянную собеседницу.

Красное от плиты лицо Авдотьи совсем побагровело.

...Вот тебе и здравствуйте! Раз-два-три — как пулю отлил молодец, да и был таков.

...Саша — да это вовсе слепому надо быть, чтобы такое вздумать! Ох, и дураки ж эти мужчины! Уж коли которому приспичило жениться, так самый почтенный точно последний мальчишка себя поведет. Авдотья всегда считала Картышева образцом всех мужских качеств, и такая с его стороны несостоятельность уязвила ее в самое сердце.

...Дурак и есть! Сунься-ка сказать это девчонкам, так с ними одного стыда не оберешься! До каких лет дожил, а того человек не понимает, какое надо с девками обращение иметь!

Авдотья из кожи лезла, внушая Арине, как Афанасий Иванович без памяти влюблен в нее: на вокзале все невесты за него передрались, а он всех на нее променял, хоть знает, что им самого пустого приданишка справить не из чего. Мать-то старается, а он тем временем — на-кось куда вывернулся!

— Мама! Да с ума ты сошла, что ли?! В печке жарко́е горит, дым так и валит, а она на лестнице разговоры завела! Расстаться не могут!

Ариша, сердитая, кричала во все горло, остановившись в раскрытых дверях.

Мать сконфуженно ринулась мимо нее в кухню, полную горького чада.

— Друзья неразливные! — послала ей вслед язвительно дочка.

II

— У вас тут, того гляди, чахотку схватишь! Что за безобразие такое! — негодовала Саша, стоя под открытой форточкой в людской.

Саша приходит домой по праздникам, да и то не всегда. За год с лишком своего пребывания на акушерских курсах она успела привыкнуть к простору и чистоте казенных зданий, к строгому порядку больничных палат. Беспорядочная кухня с тесной людской каморкой, пропитанной тем же чадом, пронизываемой теми же сквозняками,— каждый раз еще ярче выделяет ее новую жизнь. Точно толчок какой-то напомнит каждый раз Саше, что до цели еще далеко. Надо много усилий, много труда, чтобы завоевать себе свободное и благообразное существование.

Ариша вернулась с лестницы и сердито опустилась на стул.

— Запри! Непременно нужно насморк схватить из-за тебя!

— Не могу я такой вонью дышать! — Саша еще ближе подставила голову под форточку.

— Еще бы! У вас в палатах вони мало!

— Ну, уж об этом ты, пожалуйста, не рассуждай, коли не понимаешь! У нас день и ночь за воздухом наблюдают.

— То-то ты у нас на кухне все морщишься. Скоро отвыкла — без году неделя.

Саша захлопнула форточку, повернулась спиной к столу и взглянула в лицо сестре:

— Чего ты шипишь сегодня, понять нельзя! Чем я-то тебе не угодила?

Ариша сумрачно уставилась глазами в край синей юбки. Непременно давеча Сашка с Картышевым пересмеивались на ее счет. Недаром же Саша стекло рассадила, а тот точно как ошпаренный выскочил, как только она из горницы вернулась.

Сестры всегда жили очень дружно, но с тех пор, как

младшая поступила на курсы, между ними словно черная кошка перебежала.

Ариша сейчас же почувствовала, что ей не угнаться: как она была портниха, так и останется; да, пожалуй еще, служа за горничную, и вовсе потеряешь привычку тянуться. В черной работе иной раз и причесаться-то как следует до самого обеда не урвешься! А Сашку все больше от барышни не отличить. Сегодня у нее самая модная прическа сделана; даже барышня ее, генеральша, так еще не причесывается, все только собирается попробовать.

И держать себя стала Саша совсем по-другому. На каждом слове не фыркает зря, как прежде; только улыбочка порхает по лицу, ямки на щеках смеются, и большие темно-серые глаза сияют. Пополнела она, похорошела, подросла даже немножко... одно слово — расцвела! А уж довольна своим житьем так, что даже говорить спокойно не может: вся розовая сделается, глазами блещет.

В сердце Ариши поднимается что-то горькое, горькое, как полынь... В одной мастерской учились — она старшая — да вдруг так отстала от сестры, что и схватиться не за что!

На второй курс Саша первой ученицей перешла; с весны от платы за ученье освободили. Директор велел вперед прямо к нему обращаться и обещал дать казенное место, если будет до конца так же стараться. С того дня, как Саша прибежала домой, точно угорелая, с этим известием и тут же на кухне разрыдалась от радости,— с самого того дня Ариша возненавидела собственное подневольное житье...

Все лето на даче были с господами неприятности. Под конец генеральша из терпенья вышла, объявила матери, что, коли Ариша служить не желает — пусть так и скажет. Портних, слава богу, за десять рублей сколько угодно.

Скверная вышла история. Ариша только еще пуще озлилась, оттого что не чувствовала себя правой. Другого места искать она вовсе не собиралась, даже и подумать не может, как бы это она в чужой дом наниматься явилась. Знает, слава богу, как их мать командовала чужими горничными. Известное дело, на кухне кухарка хозяйка, ладь с нею всякий как знаешь.

Выросли в доме при матери. Девчонками щеголяли в барышниных старых платьях, подарочки к праздникам получали. Бывало, приятельницы матери только удивляются на их счастье: поди-ка поищи, где это нынче позволят

кухарке двух девочек около себя вырастить! Детей-то как огня везде боятся.

Немудрено и самой рассудить, что все это сущая правда, да только Арише оттого не легче. Сватовство Картышева сильно польстило ее больному самолюбию. Оттого Ариша и ответа решительного не дает, тянет... Жениху и объясниться-то с нею как надо не удавалось, а и отказа настоящего он как будто не получал.

Саша подождала напрасно ответа на свою жалобу и вздохнула.

— Ну, бог с тобой, коли так! Я могу ведь и пореже к вам в гости приходить, коли вы мне такой любезный прием делаете. Найду авось как мне праздничный день провести.

Задорные слова так и перевернули Арише все сердце.

...Еще бы! Как Саше не найти — за ней студенты ухаживают! Сама же она рассказывала.

Сначала сгоряча Саша каждым новым впечатлением делилась с сестрой. Весною она в одного медика влюбилась; как теперь у нее с ним дела обстоят, Ариша не знает: Саша стала скрываться.

— И то, что тебе за неволя в нашей каморке, забившись, сидеть, чад кухонный глотать... Найдется небось с кем погулять!

Хмурые голубые глаза так и впивались в надежде подметить смущение на лице Саши. Саша только покачала головой.

— Эк ты стараешься, точно тебе деньги за это заплатят! — рассмеялась она добродушно.

Сашу теперь ужасно как трудно рассердить — сама даже иной раз удивляется. Прежде такая же вспыльчивая была. Она придвинулась и тронула Аришу за плечо.

— Да будет уж тебе, право! Прогнала старикашку, и делу конец, кто же тебя принудить может? Послушала бы лучше, какая у меня забота завелась...

Саша стала совсем серьезная. Серые глаза пронзительно смотрели куда-то сквозь закопченную стену, увешанную тряпками.

Забота Саши, по обыкновению, заключалась в новой «затее»: массажу учиться нужно, необходимо! Доктор сказал, что теперь каждая хорошая акушерка должна массаж знать. Да только денег на это откуда достать? Ломаешь голову попусту — даже заболела. Из пальца денег не высосешь, коли их нет.

Ариша, как водится, сейчас же вскипела:

— Это еще когда ты надумала? Вот уж жадность ненасытная — всего-то ей мало!

Саша рассердилась:

— Да ты слыхала или нет? Доктор сказал! Как же, другие будут знать массаж, а я нет, как же я тогда с ними равняться могу? Да еще и места, пожалуй, из-за этого не получишь.

— Так то массаж, а то акушерка! — твердила бессмысленно Ариша.

— А коли вместе надо, тогда как? Впрочем, что с тобой и толковать — тебе бы только спорить.

Саша вздохнула с горечью и задумалась.

— Акушерка! Массаж! Потом еще чего-нибудь не придумаешь ли?

— Само собой! Еще курсы есть — фельдшерицей буду. Два года ученья.

На этот раз Ариша даже на месте не усидела.

— Ну, тогда уж, стало быть, прямо в докторши попадешь?!

Саша точно нарочно не замечала ее волнения.

— Нет, докторшей никак нельзя — надо гимназию кончить, да еще из латыни экзамен сдавать, без этого никого не допускают.

Точно в пику ей эти спокойные, серьезные ответы. Ариша искала достаточно грозных слов, но в эту минуту мать крикнула из кухни: «Барышня звонит».

Авдотья подозрительно глянула с порога в задумчивое лицо Саши, продолжавшей стоять у стола, схватившись руками за доску.

— А ты бы лучше сестру-то образумила: какого ей еще жениха надо? Да за него там все невесты передрались, а эта дура нос воротит! И ты, ученая, туда же... много проку от ученья вашего!

Авдотья прислонилась к косяку и начала вытирать глаза краем грязного передника.

— Нет чтобы мать успокоить... Квартира-то у него какая — всем нам место нашлось бы! И не чужой нам, слава богу, смолоду знакомство ведем... Жена — покойница — крестная мать ваша — чего уж лучше надо, кажется?!

Последний довод рассмешил Сашу. Она нагнула голову, чтобы мать не заметила. Впрочем, огорчение матери Саша понимала. Но вдруг ей вспомнилось то, что сегодня так неожиданно произошло у нее с женихом.

— Ах, да отвяжись от нас совсем, весь и Афанасий

Иванович ваш! Насильно мил не будет! — крикнула девушка резко.

— Где они, милые-то? Мальчишка небось какой-нибудь голый, чтобы жене потом на него же весь век работать, на пьянство ихнее? Эти милые, по-вашему?

Ответа никакого не последовало. Посуда на столе стояла немытая, как сестры давеча угощали гостя; ни одна из них и не подумала убрать ее. Авдотья подошла и взялась за самовар.

— Ладно... не век вам мать за слугу будет! Надоест хоть бы и Аришке с ее характером по прислугам мыкаться. Опомнится еще, что хозяйкой жить в своем дому сама не захотела!

Мать унесла самовар и вернулась за подносом. Саша задвинулась к самой кровати. В тесной каморке точно еще душнее стало дышать.

В кухне Авдотья гремела посудой и громко сморкалась. Плачет.

Ариша не возвращается.

Саша сняла со стены свою старенькую шубку и с трудом натянула ее на модные широкие рукава. Выросла она из этой шубки, а об новой и думать нечего. Перед туалетцем она надела шляпку с серым крылышком в высоком банте из лент. Надела — и полюбовалась; недавно у нее эта шляпка. Веселее стало по улицам ходить, когда от прежней старомодной избавилась.

— Ты куда это? А обедать как же?! — всполошилась Авдотья, отшвырнув куда попало полотенце.

— Наелась, не хочу.

— Чего ты наелась, что пустяки-то говорить?! Ох, Сашка! Тебе нынче мать слова не скажи поперек — сейчас вильнула юбками да пошла. Не больно ли скоро в барышни попала?

Розовые щеки Саши закраснели сильнее.

— Ну, чего ты, право, мама, ругаешься ни с того ни с сего! Дело есть — не цельный же день сидеть сложа руки! Прощайте.

— С сестрой не попрощалась... Или поругались опять?

— Вы тут только и знаете,.что ругаться, хоть глаз не показывай,— выговорила Саша на ходу дрогнувшим от обиды голосом.

И ушла.

Откуда у нее шляпка новая? Видно, опять акушерка свою подарила. Авдотье страшно досадно, что она не успела

расспросить; жалко, что Саша ушла сердитая, обедать не захотела.

Авдотья опять заплакала. Тревога у нее всегда выражается слезами.

III

В прихожей позвонили.

Ариша в столовой накрывала стол к обеду. Барыня приказала.

Когда давеча горничная явилась на звонок в комнату барышни, Екатерина Николаевна приказала ей приметать свежее кружево к серому лифу.

— Нет уж, пожалуйста, не уносите к себе,— сейчас и сделай.

Барышня сказала это слабым от мигрени голосом, однако с ударением, которое должно напомнить Арише, что об этом кружеве ей вчера уже было сказано — опять из ума вылетело!

Барышня не крикнула, потому что голова болит; горничная все-таки вспыхнула, и руки у нее вздрагивали от досады, когда пришлось тут же, стоя у окна, приняться за работу.

Блуждающий, усталый взгляд остановился на белокурой косе, закрученной тугим узлом на затылке горничной, на ее склоненном белом лице с насупленными бровями и сурово поджатыми губами.

...А Саша — та еще красивее... Еще бы!.. Линии твердые, плечи круглые, зубы белые, косы густые, брови пушистые. У этих нет ни малокровия, ни мигреней. Вот вам и кубические футы воздуха, бифштекс, молоко, купанья, воды, доктора...

Катя нервно передвинула на подушке голову и сейчас же почувствовала острую боль в левом виске.

— Ариша! Что же ты стол не накрываешь — пятый час! — окликнул из будуара голос генеральши, когда горничная проходила обратно по смежной гостиной.

— Сию минуту накрываю,— ответила Ариша твердым голосом, каким обыкновенно прислуга успокаивает господ.

На самом деле Ариша и не подозревала, что время подошло к обеду. Господи, когда это день прошел, и не заметила! Сейчас же она принялась накрывать на стол и думала о взволновавших ее Сашиных планах.

Теперь Арише обидно, что она не удержалась, показала

сестре свою досаду... И всегда она так! Ей трудно совладать с собой в первую минуту. В сущности, планы Саши всегда восхищают ее своей дельностью — шага человек мимо не сделает!

Мастерскую кончили. Саша года мастерицей не прожила — глаза у нее разболелись. Доктор приказал очки, строго сказал, что с ее глазами плохо портнихой быть. Саша ходила темнее ночи, очки швыряла, видеть себя в них не могла. И ведь повезло же — во всем она счастливая! В мастерской шили для богатой акушерки приданое для дочери. Увидала, что у девушки глаза болят, и посоветовала лучше на акушерские курсы поступить, чем над шитьем слепнуть. Объяснила все, как и что... да Саше стоит одно словечко кинуть, она уже уцепится!

Слава богу, что от платы освободили; акушерка так и пообещала. Уж и старалась же Саша — из кожи лезла! Теперь еще массаж выдумала... Где денег взять? Ну, что-нибудь она да думает же? Арише, мочи нет, на себя досадно: чем бы толком сестру расспросить, а она раскипятилась, точно как от зависти. Стыдно, однако это не значит, что ощущения ее совершенно изменились. Каждый новый успех Саши, каждый шаг вперед ее наполняет мучительной тревогой. Страх какой-то охватывает... Точно она все больше отстает, одна позади остается и с места двинуться некуда.

Есть тоже и у Ариши свои думы на душе, да только без денег тут и говорить не о чем... А где таких денег взять?

Ариша накрывала стол точно во сне. Собственные мечтания, которых она никогда никому не поверяла (даже Саше не говорила), несмело закопошились в уме сквозь все эти мысли.

...Давно об этом и не думала, удерживается — какой прок думать? Только еще тошнее горничное житье покажется! Летние неприятности свежи в памяти...

Два прибора на столе уныло теряются в большой темноватой столовой с ее монументальным буфетом, высокими резными спинками тяжелых стульев и мраморными досками столов различных фасонов. Немногим светлее и в квадратной гостиной от тяжело задрапированных окон. Тускло отсвечивают рамы картин и матовая бронза ламп на бархатистом фоне дорогих обоев. Мебель мягкими шелковыми коробками разной величины сгруппирована уютными уголками для веселых собраний. Огромный темный кабинет,

небольшой светлый будуар и просторная комната дочери расходятся крыльями на две стороны. А из столовой в широком коридоре прячутся спальня, комната молодого барина, уборная, ванная.

Удобно и просторно раскинулась барская квартира старинного дома. Свободно в ней могли бы поместиться еще две такие семьи. Тихие глубокие комнаты точно дремлют в ожидании чего-то.

Все в них расставлено, разложено, приготовлено для прежней жизни, когда звенели детские голоса, топали проворные маленькие ноги. Когда появлялись и исчезали, сменяя друг друга, разнообразные фигуры нянь, бонн, гувернанток, учителей и докторов. Проносился переполох детских болезней и звон детского веселья. Когда красивая генеральша рядилась, устраивала вечера и принимала визиты; хорошенький пажик приводил веселых товарищей, маленькая Катя не страдала мигренями.

Тогда жизнь рвалась куда-то вперед. Теперь безжизненные комнаты точно ждут — не вернется ли прежнее? Не начнется ли что-нибудь новое? И люди как будто ждут чего-то... Или им жаль, или им лень разорить старое затихшее гнездо?

Рядом с этим пустующим простором ютилась другая жизнь — и она тоже изменилась с годами: той жизни становилось все теснее, все душнее в крошечной людской каморке.

В прихожей сильно дернули звонок. Горничная бросила на стол салфетки и пошла отворять.

...Батюшки, темно совсем в передней — давным-давно лампу пора зажечь! И тут же вспомнилось, что у барышни в комнате лампа и вовсе не заправленная осталась... Барышня встала поздно, а там гостя этого к ним принесло. Не миновать опять выговора!

Ариша сердито толкнула дверь.

— Ба!.. Темнота какая!.. Ага, госпожа неисправная горничная — что же это с нами случилось сегодня?.. А?..

Молодой офицер входил, гремя саблей и снисходительно посмеиваясь.

Свет лампы с лестничной площадки упал прямо в лицо горничной, расстроенное и хмурое. Почему-то Ариша подумала, что это звонит барин — совсем из ума вон, что воскресенье сегодня! На стол накрывала и не вспомнила, что Виктор Николаевич к обеду придет. Ну, и выдастся же такой денек проклятый!..

Ариша пропустила гостя и поскорее захлопнула дверь, инстинктивно прячась от света.

— Та, та, та!.. Ты уж хоть дверь-то не запирай,— ничего не вижу!..

Но Ариша точно будто не слыхала этих слов и хотела проскользнуть мимо него.

— У-у! Упрямица! Куда?.. А пальто кто с меня снимет?

Он говорил фамильярным шепотом с ласковым смехом. В маленькой прихожей он заполнял собою все пространство, касался ее жесткими складками драпового пальто.

— Опять туча черная? Удивительно! Ты хоть к зеркалу подойди да полюбуйся на себя: лоб, точно у старухи, в морщинах, губы надутые...

— Вам-то что?! — сорвалось непроизвольно с этих губ.

— Вот как нынче?

Он засмеялся коротким, сухим смехом, от которого Арише всегда делается больно. Она подхватила тяжелое пальто и потянулась зацепить его на вешалку,— но в ту же минуту почувствовала вокруг себя его руки; мягкие усы защекотали ей шею, горячее дыхание скользнуло по щеке.

Девушка выпустила на пол пальто и, как кошка, выскользнула у него под рукой. От неожиданности офицер качнулся вперед, лицом в мягкие складки висевшей перед ним плюшевой ротонды.

— Пхе!.. Волчонок этакий!..— выбранился он и стал поднимать с пола тяжелое пальто.

Ариша, как ураган, ворвалась в кухню.

— Барыня... обед... скорее!..— выговорила она с усилием.

Можно было видеть, как содрогаются от ударов сердца крепкие стенки корсета. Щеки горели пятнами.

— А Саша-то ведь ушла! — сказала с огорчением Авдотья.— Поругались вы, что ли, давеча? Не сказывала ведь она, что обедать не останется?

— Ушла? — повторила машинально Ариша.

Несколько минут назад это известие совсем иначе подействовало бы на нее; теперь она забыла, что тут должна быть Саша...

...И лучше, коли ушла...

. . . .

— Витя, милый,— ты?

Генеральша выплыла из своей комнаты как раз в ту минуту, когда сын остановился перед зеркалом, чтобы привести в порядок сбитую прическу.

Виктор похож лицом на мать, на что он отнюдь не в претензии: maman была хорошенькая и теперь еще хоть куда, когда принарядится. Полная фигура, стянутая прекрасным корсетом, величественно колышется на ходу под приятно переливающимся шелком нового платья.

Она поцеловала сына в голову, когда он нагнулся к ее руке, а потом притянула к себе и еще раз поцеловала в губы.

— Я уж думала, что и ты нынче не будешь, сердиться собиралась! Николай Викторович, как водится, закатился на целый день; Катя валяется с утра.

Виктор поморщился.

— Мигрень?

Мать звучно вздохнула. Читала долго вечером или за чаем съела лишнее...

Они рядом двигались к комнате Кати. Брат не подошел к кушетке; издали иронически щелкнул шпорами и опустился на стул около окошка.

...«Курить нельзя»,— пришло на ум прежде всего. Виктор терпеть не может, когда Катя больна. Серая, растрепанная, кислая... Вообще больные женщины — порядочная гадость! Некоторые дамочки умеют, по крайней мере, как-то жантильно разделывать, а Катя всегда черт знает на что похожа делается.

Девушка закинула голову и поглядела на брата через лоб; но в висок так сильно кольнуло, что она тихонько охнула.

— Лежи, лежи! — крикнула сострадательно мать.

— Извини, я не знал, что к тебе нельзя. Покурить пойти!

И юноша выскользнул в дверь, прежде чем ему успели возразить.

Мать нагнулась над кушеткой, скрипнув тугим корсетом.

— Как же с обедом, котик? Сюда прислать или ты встать попробуешь?

— Не хочу...

— Нет, бога ради, только ты не капризничай! Сама знаешь, тебе всегда лучше, если ты покушаешь...

— Я не могу...

— Это так только кажется. Сегодня телятина чудесная, я сама видела — белая, как сливки!

По тому, каким вкусным голоском генеральша повторила выражение бойкого разносчика и при этом слегка об-

лизнула свои полные губы, видно, что она, от скуки, не раз уже вспомнила про эту многообещающую телятину.

Больная девушка тоскливо передвинула на подушке голову и ничего не ответила. Ее худенькое лицо с мелкими чертами действительно казалось совсем серым в полусвете. Волосы отброшены со лба и развились от примочки; глаза в темных кольцах кажутся больше, но совсем тусклые.

В такие дни Кате можно дать все тридцать лет. Она закрыла глаза. Мать молча сидела рядом и изредка вздыхала с томительным чувством бессилия перед злом, которого нельзя избежать. Мигрени Кати с годами все усиливаются, становятся одним из главных элементов их существования и служат поводом для постоянных столкновений...

Как все больные, Катя старается забыть о мигрени в здоровые промежутки. Как все близкие, имеющие больного на своем попечении, мать всегда хочет *предупреждать* и заставляет думать об этом постоянно. И каждый раз повторяются одни и те же слова, раздражающие уже потому, что их вперед ждешь...

. . . .

— Ариша, подай мне спичку!

Виктор Николаевич откинул полу сюртука на светлой подкладке, вынул из кармана небольшой изящный портсигар и, вытянув улыбающиеся губы, нежно захватил зубами папироску. Зубами своими он любил щеголять.

Ариша продолжала раскладывать ножи у приборов; ножи стали задевать за тарелки.

— Н-ну? Что же?

— Вон спички. Возле вас на камине лежат.

— Подай мне, если я говорю.

Он должен был посторониться, чтобы она могла взять спички за его плечом.

— Разве это все? А прощенья просить?!

Он схватил ее руку у кисти и начал больно вертеть пальцами.

— Во-первых, я по твоей милости ткнулся носом в мамашину ротонду. Во-вторых, у пальто лопнула вешалка. Это что еще за обычай?

Ариша краснела, сжимая от боли челюсти.

— Пустите...

— Пустить? Ха! Ладно, справляй пока свои дела — после сочтемся!

Он отпустил ее руку и принялся чиркать спичкой. Горничная опрометью бросилась в кухню.

Целый день Ариша дичится и бегает. И на игру не похоже — чуть что, сейчас слезы... Гордая — ни одной жалобы. Впрочем, на что жаловаться? Греха на его совести никакого. Положим... может быть, и не по его заслугам... но, в конце-то концов, разве это меняет дело?..

. . . .

За стол мать и сын уселись вдвоем. Генеральша сейчас же стала жаловаться на скуку. Если б сегодня Виктор почему-нибудь не мог приехать, ей пришлось бы одной заседать за этим унылым столом. Николай Викторович, слава богу, если раза два в неделю пообедает дома — по воскресеньям никогда! В Петербурге мудрено поддерживать знакомства, если хозяина никогда нельзя застать. Хотя бы в оперу абонироваться опять — просто ведь нелепо жить затворницей, имея взрослую дочь.

Господи, до чего Виктору надоели все подобные разговоры! Того впечатления, какого мать добивается — впечатления их обделенности,— они почему-то никогда не вызывают в сыне. И он находит, что они сами во всем тяготятся, и нельзя хорошенько понять, чего, собственно, им нужно? Кресла в опере были несколько сезонов кряду; тогда надоело ездить далеко — точно повинность отбывали; да и музыки никто не понимает.

Скука всех сезонов: скука осенняя, зимняя, весенняя и летняя. Летом — деревня, там скука, по крайней мере, по законному положению. Впрочем, они ухитрились скучать даже и в курортах, куда Катю возили лечиться.

— Все эти ее мигрени, малокровия, нервы — все это от скуки, от одной только скуки! Я в этом сотни раз убеждалась — меня никто не разуверит. Помилуй, можно же наконец и вылечиться во столько лет! У нее нет никакой болезни...

Генеральша восклицала все запальчивее, хоть ее никто не опровергал. Ей надоело целый день молчать, она торопилась отвести душу, не заботясь о том, что ему нечего сказать ей. Она с увлечением развивает целые здравые теории. Казалось бы, остается только принять их к руководству и в один прекрасный день перевернуть собственную жизнь с самого основания. Но сыну давно известно, что из пламенных разговоров ровно ничего не выходит. В следующий раз он найдет все точь-в-точь по-прежнему: услышит те же жалобы, те же «вернейшие средства», то же неуловимое зло, разъедающее их жизнь.

Почему? Кто виноват? Что же мешает, чтобы было иначе?

Двадцатидвухлетний поручик, конечно, не ответил бы на эти вопросы, но Виктор даже и не ставил их себе. Он слушал вполуха, вставляя случайные замечания, и развлекался наблюдениями за Аришей, сумрачно прислуживавшей им. Обратить на себя ее внимание ему никак не удавалось.

Девушка держала перед ним блюдо с рыбой. Виктор Николаевич накладывал себе на тарелку и вдруг, будто нечаянно, мазнул мокрой ложкой по руке горничной. Блюдо качнулось — что-то полетело на пол.

— Что это с вами, Ариша? — спрашивал молодой барин с участием.

А генеральша тем временем с прежним жаром громила уже на новую тему: *о несправедливости*. Это вторая семейная тема.

...Она всегда говорит, что молодежь в Петербурге катается как сыр в масле, а бедные барышни должны погибать со скуки, если они не бегают на какие-нибудь курсы, не готовятся в певицы или актрисы. Ухаживать нынче принято только за артистками или за замужними дамами, жениться на ком попало в двадцать лет. На благовоспитанных барышень никто внимания не обращает, их боятся! Каким же образом при этом выходить замуж?

В этом сквозит страх, что Катя замуж не выйдет. Все будет всегда идти так же, как идет теперь... Они будут болтаться, точно в пустой склянке, в этой прекрасной огромной квартире, которая прежде была нужна.

Раздраженный подобными жалобами, минутами Виктор чувствует во всем этом какую-то нелепость; нет, нет, быть не может, чтобы ничего нельзя было придумать! Надо дать себе труд поломать серьезно голову. Но в том-то и беда, что голова всегда переполнена чем-нибудь своим, и мгновенное желание потухает в приливе досады на их беспомощность и упорство.

А скучному воскресному обеду суждено было закончиться еще более плачевным образом. Совершенно напрасно генеральша уговаривала свою больную скушать хоть кусочек соблазнительной телятины: случилось так, что ей и самой не пришлось ее попробовать.

В кухне Авдотья, багровая от ужаса, переложила жаркое с противня прямо на стол и ножом поспешно снимала губительные следы своей беседы на лестнице с Афанасием Ивановичем. Разумеется, обрезать ведь можно что угодно!

Только жаркое, лишенное своего естественного румяного покрова, выглядело страшно неаппетитно и даже комично.

Арише противно видеть, как мать возится, раскладывая на все лады жирными пальцами нарезанные ломти, в нелепой надежде что-то скрыть.

— Ах, да давайте сюда, ради господа! Ведь уж застыло все — еще того лучше сделали!

Девушка схватила жаркое и мужественно понесла в столовую с таким видом, как будто ей совершенно неизвестно — все ли у нее благополучно на блюде.

Это была последняя капля, переполнившая чашу драматического настроения генеральши. Раз десять Виктор выслушал, что, заплативши тридцать пять копеек за фунт мяса, еще нельзя быть уверенной, что его можно будет есть... Но телятина в тридцать пять копеек не может не быть хороша, это всякому ясно! С ней можно сделать только одну непростительную оплошность: пережарить, пережарить, пережарить — ничего больше! Если ее чуть-чуть недодержать — она от этого только будет сочнее и может «дойти» потом; и будет особенно сочна холодная. Нужно всего полчаса внимания — но этому народу разве жаль чужого? Сжечь, перепортить, расколотить — все нипочем! Эту чудную, белую, как сливки, телятину сожгли в уголь...

Кухарка, и без того сожженная стыдом, должна была предстать в столовую, чтобы объяснить барыне, что могла она сделать с телятиной? Но она предпочла ничего не объяснять. Она глядела отчаянными глазами, не сморгнув, прямо в разгневанное лицо с видом человека, который не шевельнется, если сейчас ему отрубить голову.

Виктор давал себе слово целый год не спрашивать нигде телятины, так ему набило слух это гнусное слово. Он пробовал на все лады уговаривать, старался зашутить, припоминая и присочиняя кулинарные анекдоты... Но получил в ответ, что ему отчего же и не балаганить: ведь не он заплатил совершенно напрасно четыре рубля за жаркое! Каждый день такой роскоши они не могут себе позволить.

Сын предложил наконец поехать сейчас дообедывать во французский ресторан: это будет оригинально — avec sa noblemère*! В конце концов Виктор добился того, что мать рассмеялась, назвала его шалопаем и отослала к сестре, а сама ушла к себе полежать полчаса.

---

* Вместе со славной маменькой! *(франц.)*

IV

Катя встретила брата унылым взглядом. Виктор потянул носом.

— Какой противный запах! Ну кто нынче употребляет допотопные примочки? У нас дома от всего затхлостью несет.

— Вовсе запах не противный. Просто тебе с нами скучно. Ты, конечно, сейчас исчезнешь?

Катя проговорила это покорно и закинула худенькую руку, чтобы поправить подушку. Брат хотел ей помочь, но зацепил шпорой за ковер и толкнул стол. Флакон упал, а из-под кушетки выкатилась маленькая лохматая собачонка и запрыгала на него с комическим хриплым лаем

– Дружок, Дружок, какой стыд! Ты барина не узнал? Дружок!

Катя старалась успокоить собачонку, приподнявшись на локте без всякой предосторожности; на худых щеках показалась краска.

— Ты испугал его,— сказала она с упреком Виктору.

Офицер злобно разглядывал уродливое создание с вытертой тусклой шерстью, мутными глазами и мокрой беззубой мордой.

— Скажи на милость, когда с этим красавцем будет покончено?.. Я распоряжусь, чтоб за ним прислали из лечебницы. Я подарю тебе, какую хочешь, молодую собачку, чтобы только не видеть больше этого безобразия!

Катя, ничего не возражая, помогла собачонке взобраться на кушетку и укладывала ее около себя, удерживаясь, чтобы не поцеловать перед Виктором. А самой ей пришлось при этом задвинуться совсем в угол. На лице было виновато-упрямое выражение человека, которому приходится постоянно отстаивать что-то свое, дорогое, против общих и справедливых нападок; она шептала едва внятно какие-то нежные слова. Дружок ворчал и вертелся, не находя сразу положения для своих старых костей.

— Неужели тебе это не противно? — донимал Виктор.— Оттого у тебя и голова болит — он отравляет здесь воздух. Нет, матушка, сколько ни изводи на него духов, все равно не поможет... Старая гниль!..

На глазах девушки навернулись слезы. Весь день, лежа с головной болью, она вспоминала радостно: «Сегодня Витя придет!..» Так каждое воскресенье: с утра они с мамой ждут его, ни за что ни одна не выйдет из дома; ведь Виктор

может собраться домой и пораньше! Этого никогда не случается, но каждый раз почему-то кажется, что может случиться именно сегодня.

...И что за охота Виктору так мучить ее из-за Дружка? Знает, как она любит, и точно на это злится. Вечно эти отвратительные разговоры про собачью лечебницу, точно она может позволить уморить бедного верного Дружка... такая низость!

Правда, Дружок стал гадок и бестолков от старости, стал злой. Но Катя безропотно терпит все неудобства; любовь ее точно растет с ними вместе. Ссорится из-за него с матерью и Виктором, прислугу преследует. Обещанная молодая и красивая собачка ничуть не кажется ей привлекательнее ее старого уродца.

Катя лежала, неудобно согнувшись, и смотрела, как мерно вздымается у нее под боком комок желто-серой тусклой шерсти, и боялась шевельнуться, чтобы не потревожить. Теперь хорошо бедному старому Дружку!

Генеральша пришла к детям хмурая, кислая. Одну щеку она отлежала — совсем стала розовая. Она куталась, ее поводила томительная зевота сонного человека, которому не удалось выспаться.

Только заведешь глаза — точно толкнет кто-то: «Нельзя, нельзя спать...» А в сущности, для чего нужно тянуться в корсет, бояться растолстеть, беречь фигуру? Для кого?

Иной раз мысленно махнешь рукой в ответ и уже беспрепятственно погрузишься в набегающие бархатные волны дремоты. Но гораздо чаще инстинктивный внутренний отпор поднимает ее на ноги, хмурую и капризную...

— Темно как у тебя со свечами! Виктор, вели, пожалуйста, лампу зажечь. Ариша ни о чем вовремя не думает, это решительно несносно!

Мать долго и шумно усаживалась в кресле. Катя сейчас же поддержала ее: просто невыносимо, до чего Ариша становится небрежна! Все забывает.

— Совершенно непонятно, о чем она думает! Авдотья сегодня отличилась: мою чудную телятину сожгла, так что никто и не попробовал. Это только с нами возможно! Чем им лучше живется, тем они делаются бессовестнее. Только и можно чего-нибудь добиться строгостью.

— Ариша стала такая обидчивая, что ей слова нельзя сказать, каждую минуту вспыхивает...

Катерина Николаевна не могла кончить — в комнату входила горничная.

— Скажи, пожалуйста, милая, ты, верно, когда-нибудь слыхала, что в порядочных домах лампы заправляются с утра, а не в ту минуту, когда их надо зажигать?

Точно барыня с нетерпением ждала минуты, чтобы уничтожить ее этим вопросом.

— Я сто раз говорила, но это ни к чему не ведет,— прибавила бесстрастно барышня.

— Ну, так почему же такая неисправность? Ответь же, наконец, что-нибудь!

Ариша с недоумением подняла глаза: чего от нее теперь добиваются?

— Слушаю-с,— сказала она неожиданно.

— До чего это несносно — иметь вечно перед глазами надутую физиономию! — услыхала девушка за своей спиной раздосадованный возглас.

«И до этого вам дело — улыбаться заставьте!» — думала она. Горло сжималось все сильнее.

Нельзя миновать столовой. Господи, воля твоя, чего он опять привязался к ней сегодня?! С самого лета дулся, показывал, что ему дела нет до нее. Ей только того и хотелось.

Ариша в волнении сделала всего несколько шагов. Сильные руки захватили ее обе руки — в один миг она очутилась притиснутой к стене, в углу около буфета. Офицер целовал ее, куда случится, приговаривая:

— Вот, вот... это тебе за ложку! Разозлилась? У-у-у, какая злюка! Люблю тебя злить, знаешь... Злишься и не смеешь — ну, что? что? Крикнуть небось хочется, а нельзя?

И правда, он любил, когда она злится. Вся сделается белая, губы белые, а глаза выпрыгнуть хотят. Движения красивые, резкие: ничего подобного нельзя увидеть в гостиных. Он называл это genre femme de schambres...*

Ариша без звука отбивалась от него в углу.

— Глупая, зачем ты такая глупая? Говори скорее — когда придешь ко мне?.. Будет, надоело!! Слушай: нарочно забуду здесь свой портсигар, ты завтра принеси его ко мне. Довольно ты меня за нос водишь! Придешь?

— Стыда в вас нет!.. Знаете сами — вовек этого не будет, вовек! Виктор Николаевич, я крикну сейчас — не боюсь...

— Кричи...

Он зажал ей рот рукой и стал шептать прямо в ухо,

---

* стилем горничных... *(франц.)*

пока почувствовал, как что-то теплое смочило ему руку.

— Ну, заревела! Всегда была глупая — сама ведь любишь, точно я не знаю! Трусиха! Успокойся — и смотреть-то больше на тебя не хочу!

Он оставил ее и сердито зашагал из столовой.

Она бессознательно закружилась по комнате.

...Куда? Куда теперь спрятаться? Угла своего нет нигде! Крикнуть бы громко, закричать во весь голос от обиды. Ноги подкашиваются.

Ариша вдруг бросилась по коридору, распахнула маленькую дверку и скользнула в темноту. В темноте она пошарила рукой, не нашла стула и опустилась на край цинковой ванны.

Выплакаться на воле хоть первую минуту: не справиться с собой!.. Она забрала в комок белый передник и сунула в него лицо, захватив зубами складки. Плечи судорожно дергались, стянутый стан мерно раскачивался круговым движением.

«Сама любишь — точно я не знаю... трусиха»... Неправда, врет он! Пятнадцать лет было... Что она понимала? Барин красивый, в пажах учился. Ухаживать начал не как теперь, грубостей не позволял себе. Ждешь, бывало, субботы, точно рая небесного! Летом в деревне пораньше утречком сойдутся в роще — шалят, болтают... Вот тогда... любила его, правда! Целовались... так разве могла она помешать?.. Ну что ж из того — не обещалась ведь она ему никогда, нет его власти над ней. Кто ей поверит?! Вот он и знает, да не верит! Все еще в голове держит, добивается...

Теперь Арише кажется, что она ненавидит Виктора Николаевича. Нахальный стал — облапит насильно, где только может, будто своего требует! Знает, что ей податься некуда... Не начнешь ведь кричать и в самом деле!

«Уйти... уйти от них!» — думала она, затихая от усталости.

Вдруг Ариша услыхала шаги; вся похолодела и перестала дышать. Шаги прошлись по коридору мимо ванной и вернулись назад в столовую.

— Ариша!..

...Вот! Что хочет он, может сделать с ней, а позвал, и она должна идти к нему. Она не двигалась.

— Ариша!..

«Увидит, что не иду,— уймется, может быть».

Но шаги опять завернули в коридор, и девушка испуган-

но кинулась в дверь, но было уже поздно: Виктор загородил ей дорогу и оттеснил ее назад, в темноту.

— А-а-а!.. Мы вот где прячемся? — зашептал он ласково, как будто ничего не произошло между ними.

— Пустите меня, бога ради, Виктор Николаевич! У меня еще и со стола не убрано! — взмолилась покорно Ариша.

— Не бойся, не съем тебя.

— Вам говорят же — посуда немытая стоит! И чего вам надо от меня? Мне и без вас тошно — на свет божий не глядела бы...

Они стояли близко друг подле друга в совершенной темноте. Виктор осторожно обнял ее за плечи, но целовать не стал; и Ариша, забывшись, не вырывалась от него.

— Оттого и тошно, что ты глупая! Уж если любишь меня, значит, такая твоя судьба! — выговорил офицер резонным тоном.— Ну, чего ты боишься? Никто не будет знать. Теперь гораздо хуже, потому что ты, ты выводишь меня из терпенья...

Он стиснул ей талию. Сейчас же Ариша метнулась от него и ударилась ногой о ванну; металлический гул заставил их замереть от испуга.

— Вот видишь, как ты глупишь! — хихикнул Виктор и внезапно поцеловал ее в шею.

Тогда Ариша сильно схватила его за обе руки.

— Я вам скажу... скажу! Виктор Николаевич, я... я замуж иду! Меня отличный жених сватает, своим домом жить буду... Оставите вы меня теперь?

Виктор тихонько протяжно свистнул.

— Вот тебе на! Так бы и говорила, глупенькая. Замуж?.. Что ж!.. Это весьма недурно придумано — это даже превосходно устраивает наши дела... Хорошо, хорошо, орудуй, мой друг, как знаешь! Вас, баб, учить не надо...

Ариша плохо понимала, что он говорит. Она ждала совершенно другого приема своим словам. Как и ответить ему, не нашлась.

— А ты боялась, что я стану мешать тебе судьбу устроить? Глупая! Разве я такой эгоист?

Ариша вспыхнула.

— Ничему вы не можете помешать — с какой стати? Не по вас же плакать весь век!

Он опять рассмеялся своим дразнящим смехом.

— Я разве прошу тебя плакать? Любовь не для слез нужна. Сделай милость, выходи замуж, да только поскорее! Будешь, стало быть, свободная д-д-дама?!

Он засмеялся и вдруг схватил ее в охапку — начал так обнимать, целовать так...

Не помня себя, дрожа с головы до ног, Ариша едва выскочила в столовую. Бросилась к столу, плеснула в стакан воды, разливая по скатерти, и с трудом проглотила стиснутым горлом. Тяжелая волна медленно откатывалась от сердца...

Виктор Николаевич мерными шагами прошел через столовую. У камина он остановился; вынул из кармана портсигар и положил, пристукнув им по мраморной доске.

— До свиданья! — выговорил он раздельно.

V

Всю ночь до зари Ариша не смыкала глаз. С вечера мать крикнула на нее несколько раз:

— Чего ты все ворочаешься да пыхтишь? Живот, что ли, болит?

Девушка примолкла.

— Экий характер подлый! Матери слово ответить и то трудно!

Авдотья натянула на голову ватное одеяло и задышала тяжело.

Теперь дочь могла свободно вздыхать и метаться на сундуках, постланных тонким тюфячком. Сегодня она чувствует, как жестко лежать, и сундук один чуточку выше другого — а то заснешь коли сразу — и хоть бы что!

«...Душно!.. Как это мать может, ватным одеялом накрывшись, спать.

...Я вот что сделаю — я ванну накрою досками, да и стану там себе на ночь стелить. Одна там буду».

Не может Ариша оторвать своих мыслей от ванной...

Встала вся разбитая; голова точно свинцом налита. Барышня позвонила ее раньше вчерашнего.

Глаза у Катерины Николаевны и сегодня тусклые, лицо желтое, но она стала одеваться. Ходит — еле-еле двигается. Руки поднимет и опять опустит... Сидит, сидит... Час целый прическу делала. Ариша подает то то, то другое.

«Небось с моей-то головой и не выползла бы...» — думает она, с каким-то злорадством вслушиваясь в собственную боль.

Глазами ворочать больно, во рту горечь; через силу чашку чаю проглотила.

— Дружка кормили? — спросила барышня.

— Кормила.

— Хорошо он ел?

— Ел.

— Вы всегда ему кое-как приготовляете. Он сейчас есть бросит, если не довольно тепло согреть, как он любит...

Ариша не помнит ничего, что с утра делала. Как всегда, так и делаешь — уж разве думать вовсе не об чем, тогда можно замечать пустяки всякие.

— Какая погода сегодня?

В семь часов утра горничная в одном платке бегала, по обыкновению, в булочную, но какая погода — она не знает. Послали в столовую посмотреть на градусник.

— Потеплело, значит,— вчера было четырнадцать. Хорошо бы прокатиться после завтрака от головы... Может быть, Леля зайдет, так я с нею поеду. А не ветрено? Сходи, взгляни, какой дым сегодня. С крыш не метет ли?

Катерина Николаевна любит так болтать все, что на ум приходит. Прежде, бывало, Ариша гордилась такими интимными разговорами и принимала живое участие; но за последние два года ее отношения к Катерине Николаевне совершенно изменились.

Теперь это была уже не «наша барышня», дружески шутившая с девочками, подраставшими на кухне, когда они попадались ей на глаза, дарившая им свои старые платья и заступавшаяся за них, если Авдотья принималась трепать дочек за косички, отучая от баловства.

Все изменилось. Теперь Ариша — прислуга, получающая десять рублей жалованья, которых ей не хватает на ее нужды. Теперь Екатерина Николаевна — барышня, как и все, одна из *господ*. Из тех, кто наполняет существование Ариши от утра до ночи своими приказаниями, фантазиями, придирками... Господское все важно! Тряпочку какую-нибудь и ту не смей забыть. Живи и держи каждую минуту в уме чужое. Пустяки последние и те важнее, чем бог знает что свое!

Целый день все только пустяки разные,— а для тебя оно и есть важное, чтобы и не было ничего важней!.. Что ни будь на душе: все равно, коли голова кругом идет, сердце болит. Беда ли у тебя, обида, никому не видная... Если решается твоя судьба... Все равно! Каждая вещь в доме ждет тебя. Дружок любит сливки с кипятком, чтобы ни слаще, ни холоднее. Коли не угодить собачонке, раскричится, и пойдет история на несколько дней.

Зато коли у господ веселье — гости какие-нибудь желан-

ные — ну, уж тут всякая провинность с рук сойдет нипочем, и не замечают даже ничего! Деньги летят, ничего не жалко. Прислуга сбивается с ног ласковыми просьбами; иной раз ноги не держат от их веселья, а все-таки приятнее так. Только это у других кого-нибудь; у них в доме веселье — все равно что солнышко зимнее. Все неприятности яйца выеденного не стоят.

С грехом пополам шло как-нибудь, пока Саша не поступила в акушерки. С тех пор Ариша заняла воинственную позицию; с тех пор «горничное житье» гложет ее, словно хворь какая,— и выедает последние следы невольной привязанности к дому, где она выросла.

Барышня оделась и перебралась в столовую. А горничная открыла форточку и принялась быстро убирать комнату; все так и летает — и попадает как раз на свое место от ее энергичных движений. Зато Ариша, погруженная в свои думы, и не слыхала, что барышня кличет ее из столовой.

...Катерина Николаевна точно как предчувствовала! И что всего хуже — ничего не стоит солгать! Вон — чашка и сейчас полнехонька. Разумеется, Дружок не станет есть вчерашнего холодного молока! Неужели это такой труд, что она добиться не может, чтобы ее собаку накормили как следует?

Голос патетически шел все вверх.

Ариша, красная, с недоумением смотрела на плоскую чашку с молоком. Неужели она не кормила Дружка?! Она была совершенно уверена, что кормила, как всегда. С утра все так уже и идет колесом, одно за другим... Сама не замечаешь половины, как делаешь.

Но улика налицо, и Ариша не пытается оправдываться. Что забыла — не велика бы беда, а только ей тошно, что она как будто солгала: сказала, что кормила, а сама не кормила. И не солгала! Вот мученье-то...

Барышня докричалась до слез. Дружок взирал довольно флегматично на то, как она собственноручно, дрожащими руками, начала приготовлять для него завтрак.

Горничная вернулась убирать спальню. Ненавидит она паршивую собачонку — ругает, толчками награждает где можно,— но не покормить эту гадину вовремя только себя же самое наказать.

Господи, воля твоя... не до собак ей вчера и сегодня! Все волнения вчерашнего дня бродили в ее душе. Когда свое, важное, горит на сердце — этот бессмысленный мир вещей и пустячных обязанностей тянет тебя, точно камень

на шее. Нет угла в огромной квартире, куда бы горничная не должна была заглянуть каждый день. Вещей везде понапихано — зачем нужно столько?! Половины не нужно! А все только накупают, нашивают нового. Накупят от нечего делать, а сами потом и в руки не возьмут... А ты потом помни, береги, чисти да переставляй с места на место!

Тупое однообразие мелочных обязанностей придает им унылую безнадежность. Сегодня старайся, сколько хочешь, чтобы завтра точь-в-точь сначала начинать. Для нетерпеливого характера Ариши в этом было что-то невыразимо нудное.

Поднимется генеральша и поползла для моциона перед завтраком владения свои оглядывать. Во всякую щелку нос сунет: убрано ли? Только затем ведь и нужно, чтобы уличить, если горничная забыла или не поспела, кое-как сделала. А не погляди хоть неделю — все так же будет стоять на своем месте, бессмысленное, ненужное!

Энергичные пальцы Ариши часто дрожат от злорадного желания раздавить, пихнуть, швырнуть какую-нибудь хрупкую игрушку, к которой не знаешь, как и притронуться. Точно как у маленькой девочки, барышнина комната всяким хламом заставлена.

Передохнуть хоть бы сколько-нибудь! Без помехи в своих мыслях разобраться. Надо решить, скорее, сейчас решить, как жить дальше?

Отсюда уходить надо. С Виктором Николаевичем не встречаться после вчерашнего — теперь с ним все наново завязалось, помимо воли! Чего же дожидаться еще? До воскресенья — неделя. Только он раньше придет! Нарочно придет посмотреть, как она поведет себя с ним. Никакой в нем жалости нет, никогда не было...

«Уйти! уйти!» — твердила Ариша в смятении. Однако про Афанасия Ивановича она при этом даже и не вспомнила ни разу. Вчера барину неожиданно сказала, чтобы отвязаться как-нибудь. А он еще хуже того напугал ее!

. . . .

В тот же день вечером Ариша поджидала сестру на площадке черной лестницы огромного казенного здания. Пошла за булками к чаю и сама прямехонько на Надеждинскую побежала.

Служанка в полосатом платье обещалась вызвать Сашу; Ариша не захотела в коридоре у них ждать. Ей страшно хотелось повидаться с Сашей. Ну как и вправду она вчера

обиделась на нее? Саша знает про Виктора Николаевича и очень хвалила за то, что Ариша отвадила барина. Обидно теперь признаваться во вчерашнем... ну да только чтобы поняла Саша, что ей невозможно дольше оставаться с матерью! Главное-то, о другом потолковать хочется.

Саша выскочила на лестницу, розовая и веселая, как всегда. На ней надет был длинный белый фартук с рукавами, закрывающий всю фигуру от горла до ног. Вокруг плеч пришита широкая вышитая оборка, а по подолу большой кусок зашит маленькими складочками; Ариша на машинке складки строчила. Недавно Саша справила себе этот щегольской собственный фартук. Ее цветущая, улыбающаяся головка необыкновенно миловидно выделялась из всей этой белизны.

Сестры поцеловались.

— Ты зачем это прибежала? Да для чего ты тут-то стоишь — холодно ведь!

Ариша отказалась войти. Она на одну только минуточку — за булками бежать надо. Поговорить надо бы; нельзя ли Саше отпроситься ночевать домой сегодня?

— А ты, никак, вчера обиделась на меня? Чего убежала-то вдруг? — спросила Ариша, перемогая себя.

Она не смотрела в глаза Саше и вертела в руках кончик вышитой оборки на ее груди. Лицо даже потемнело от напряжения.

Саша пододвинулась к ней ближе и вдруг звонко чмокнула ее в щеку.

— Вот глупости, стану я обижаться! Ушла — так у меня работа есть: хочу юбку зеленую переделывать. Не носят больше таких складок.

— Н-ну-у? Когда тебе шить-то — давай я на машинке сделаю,— предложила с облегчением Ариша.

— Ну вот! Довольно у тебя и без меня шитья всякого. Сама сделаю помаленьку.

— А ночевать-то ждать тебя или нет? Ты не дежурная сегодня?

— Скажешь тоже! Кабы была дежурная, так не растабарывала бы тут с тобой. Навряд отпустят — скажут, вчера воскресенье было.

— Мало бы что!.. Мать зовет...— учила Ариша.

Саша зорко поглядела ей в лицо.

— Разве случилось что-нибудь, что тебе не терпится.

Ариша на секунду подняла хмурые глаза.

— Коли и случилось, так не в том дело... Давно бы

другое сказать надо, о чем я думала... Думала да бросила — куда уж мне такие дела затевать!..

— Ну, ну? — поощряла ее любопытно Саша, поеживаясь от холода в своем беленьком балахоне.

— Ну, а теперь, хочешь не хочешь, станешь думать, коли жить дольше нельзя. Вот приди — узнаешь...

— Приду! — сказала Саша решительно.

Сестры опять поцеловались. Ариша побежала было по лестнице, да что-то вспомнила и бегом поднялась назад наверх.

— Знаешь, Сашка, мы с тобой спать-то как будем сегодня — чудо! Я нам спальню собственную приготовлю... Ха-ха-ха!

Редко Ариша смеется так весело.

— Это у вас-то? В мышкиной норке, должно быть? — засмеялась и Саша с презрительной гримаской.

— Я уж придумала. Вот увидишь! — повторяла весело Ариша.

— Чудачка! Да что ты придумать могла?

— А на ванной постелю, на досках... поняла? Там хоть до утра болтай себе, никто не услышит.

Саша фыркнула.

— Ну, там уж и вовсе просторно — хоть на потолок карабкайся! Одну руку в стенку, другую в другую — и поехала!

Ариша нетерпеливо дернула ее за рукав.

— Вот дура-то! Да зато ведь одни мы там будем! Разве можно у нас какой-нибудь серьезный разговор вести? Мать нарочно представится, будто спит, а назавтра и начнет выкладывать.

— Хорошо, хорошо! Погляжу, как ты смастеришь.

Девушки в последний раз расцеловались, и Ариша побежала вниз. Саша скользнула в дверь, приотворив ее сначала чуточку, чтобы посмотреть, нет ли кого в коридоре.

...У-у-у — простор какой! Хоть в горелки бегать!

Саша за год с лишком все еще не может привыкнуть к этому простору. Он как-то странно возбуждает ее, точно она всю и жизнь видеть стала из этого простора.

Ариша с облегченным сердцем, чуть не бегом, понеслась в булочную. На сердце у нее совсем переменилось. И всегда так! С Сашей спокойной нельзя быть: либо всю тебя досада охватит на ее бесстрашность — самой точно боязно станет прозевать что-то, прогадать,— а не то так и сама вдруг такая же смелая сделаешься. Чем она хуже Саши? Еще

старше ее, степеннее. Можно же, стало быть, из ихнего житья выбиться — рук только не вешать!

И Виктор Николаевич сразу на свое место станет: барин как барин — ей-то с какой стати думать о нем? Глупая была, девчонка, справиться с ним сразу не умела. Все они такие бессовестные! Пробуют... Теперь Арише самой досадно, что вчера она могла до такой степени растеряться от его приставаний.

Крепчайший мороз пощипывал ей руки, засунутые в карманы короткого пальто, и ноги в стареньких сапожках без калош; но она бежала все веселее. Ничего ей Саша не может сказать, потому что тут деньги нужны, а не разговоры,— но вера в Сашину изобретательность, удачу все-таки безотчетно бодрит ее...

Дома Авдотья выскочила на площадку, как только заслышала Аришу на лестнице.

— Да ты вправду рехнувши сегодня? Куда тебя носило час битый?! — заорала она пронзительно.

Ариша остановилась перед ней, запыхавшаяся, красная.

— Саша ночевать прибежит — обещалась! — выговорила она, улыбаясь.

— Ну-у? Не врешь? Это ты туда, полоумная, бегала... Ах ты господи боже мой! Давай булки-то скорее. Два раза уже самовар спрашивали, точно как назло все сегодня!

Авдотья выхватила мешок с булками. Гнев ее сразу упал.

Ариша сорвала с себя пальто, кинула куда попало и стала подвязывать белый передник.

— Стол-то накрыт у вас, что ли? — спросила она не улегшимся еще голосом.

— Накрыт, накрыт давно. На вот, неси, а я самовар подаю.

Авдотья сунула ей в руки корзинку с высыпанными из мешка, еще совсем холодными булками,— и Ариша влетела в столовую, не соразмерив стремительных движений, вся розовая, с блестящими глазами и красными руками.

И первое, что она увидела,— Виктор Николаевич, прохаживавшийся с папироской вдоль накрытого стола...

VI

Ариша покрыла ванну досками от обеденного стола и устроила отличную постель. Ровно-то как — не то что на сундуках! На угольной полочке она зажгла крошечную лам-

почку; корзину в углу прикрыла ковриком и приставила к ней стул. Вот уж столика так никуда не примостишь!

Ариша увлечена своими веселыми приготовлениями. Только мать ругается: увидит барыня — задаст ей хорошо!

— Не за что задавать-то!

— Да, что ли, это твоя комната?!

— Так где же моя комната? Дайте мне тогда свою комнату, как в других домах. Ничья это комната. Дрянь всякую суют...

— А ты все-таки не смеешь без спроса. Поди, спросись у барыни, тогда и хозяйничай.

— Вот еще, очень нужно! Стану я у них спрашиваться,— озорничала Ариша, перетаскивая в ванную, что только могла найти мягкого в подстилку.

Саша пришла в одиннадцать часов. Авдотья собрала ужинать и сразу смягчилась. Нет для нее лучше радости, когда Саша прибежит со своими нескончаемыми рассказами про школу, акушерок, фельдшеров, больных, докторов. Глядит, не сводя глаз, старая кухарка на свою красивую, веселую дочку-барышню — и чувствует себя при этом точно как не совсем по-настоящему. Вот-вот разлетится все, случится что-нибудь.

Саша рассказывала, как ей завидуют, сплетни всякие про нее распускают. «Рожа, мол, у тебя смазливая — вот и позвал директор к себе в кабинет...» Другие когда еще прошения подали о стипендии, есть и сироты круглые,— а она и попросить не успела, как ей награда вышла!

— Погоди... загрызут еще тебя,— пророчит мрачно Авдотья.

— Не загрызут, я сама с зубами! — смеется Саша.

— Ты одна, а их много. Как накинутся все на одну, так немного поделаешь.

— За что на меня накидываться? Всякий за себя старается. Я даже и не знала, что всех лучше экзамен выдержала. Чем же я виновата перед ними?

Но старая Авдотья знает, что не всегда нужна действительная вина для того, чтобы оказаться виноватой. Дочки молодые не хотят этого знать. Она вздыхает своими унылыми, покорными вздохами...

Девушки не обращают на нее внимания и трещат с таким азартом, что матери никак и не угнаться за ними. Того не дослышит, другого не поймет; переспрашивает, спорит, а им досадно! Минуточки каждой жалко — долго ли

в кухне насидишь спокойно? Сейчас эта проклятая трещотка над головой зальется.

Ариша несколько раз уходила в комнаты и запрещала рассказывать без нее. Бегала проворно взад и вперед с кувшинами; Дружка гулять водила на двор, а только вернулась — барыня опять погнала письмо опустить в почтовую кружку.

Только в первом часу сестры заперлись в ванной.

Колодец, как есть колодец!

Саша в миг один разделась и к стенке забралась; двоим зараз и повернуться нельзя. Саша уверяла, что к утру в колодце нечем будет дышать, но Ариша так раздражалась, что она перестала; только вентилятор открыла сейчас же.

Право, можно подумать, что ее легкие стали дышать иначе, с тех пор как в уме укоренились известные понятия. Бывало, также ни о какой духоте не думала, высиживая до поздней ночи в мастерской, битком набитой людьми, заваленной тряпками, скверно освещенной дрянными лампами. А теперь второе слово у Саши — «это вредно», и пойдет объяснять, отчего и почему. Арише смертельная скука слушать эти объяснения.

Ариша, полураздетая, присела на стуле.

— Ну! Теперь выкладывай, зачем ты меня в колодец затащила? Какой такой секрет у тебя? — сказала шутливо Саша.

Да нет! Пришлось-таки самой каждое слово вытягивать, сколько ни собиралась Ариша без утайки открыть сестре свою душу... Хорошо еще, что с Сашей говорить легко. При этом всегда оказывается, что секрет Ариши она наполовину вперед уже отгадала.

— Да знаю я, слава богу. Где уж тебе с твоим характером в горничных ужиться! — заметила она серьезно, устремив глаза в высокий, высокий потолок.

А Ариша только всего еще решилась объявить, что с матерью ей нельзя оставаться, как ей угодно! Хорошо вместе служить, да не все же станешь из-за этого терпеть.

Последними словами Ариша точно подавилась, а Саша лукаво покосилась на нее уголками глаз.

— А ты скажи матери, что Виктор Николаич тебе в потемках руки ломает — вот она и осеклась сразу.

...Еще и имени Виктора Николаевича не поминали!

— Никогда я матери этого не скажу — умру лучше! — вспыхнула Ариша.

Саша серьезно глядела на нее.

— Что ж, место другое нехитро найти. Дальше-то что? Может быть, еще в десять раз хуже теперешнего попадется.

— Или десять мест за одну зиму перепробуешь — и так, говорят, бывает! — подхватила с горечью Ариша.

— Вот и выходит, что надо о деле говорить, а не об местах! — решила Саша.

Она поднялась с подушки, неловко говорить лежа. Поджала ноги, колени руками обхватила и уперлась спиной в стену.

— Отгадала небось? Не то ведь у тебя на уме? — спросила она ласково.

Ариша вытянула перед собой стиснутые руки.

— Ах, Сашенька... какой толк, что думаешь?! Это ведь ты счастливица, у тебя все точно как по маслу так и поехало?

— Счастливица, счастливица... заладила ты одно! Ну, не догадалась бы в школу поступить, так другое что-нибудь было бы... не весь же свет непременно в акушерки пойдет! — засмеялась Саша.

— Ну-ка, ну-ка! Что бы ты другое придумала? — насторожилась Ариша.

— Это, милая, долго выйдет, коли я теперь, к примеру, начну придумывать. У тебя-то, поди, давно уже придумано?

Дальше податься некуда — пришлось Арине Петровне раскошеливаться.

...Саша школу кончит, место получит — заживет человеком. А она так и скачи весь век по барскому звонку? А в мастерских работать и того хуже!

Саша подхватила с жаром: для нее нет разговора любезнее, как мастерские разносить.

До чахотки достукаться или ослепнуть — вот они, мастерские, что такое! Глаза и у Ариши слабые. Вечно девчонками заставляли в потемках иголкой ковырять — так вот и губят детей от непонимания! За экзамены она намучилась: резь такая при огне делается, хоть плачь! Спасибо, Андрей Михайлыч примочку славную принес...

Ариша мрачно слушала ее.

...Дело известное: на мерзости всякие глядеть да воровать учиться — больше-то что? Нет уж, нет уж, этой лямки довольно и в ученицах... Спасибо!

Разговор дошел до решительного пункта. Но Саша знает, как легко Аришу спугнуть. Заспорь-ка с ней прямо —

сейчас поругаешься, и всему конец: замолчит опять на целый месяц. Она осторожно начала возражать, будто не Арише, а себе самой.

— А главная-то подлость в том, что не учат до конца. Это они нарочно делают! Ну, мы с тобой — разве портнихи настоящие? Попробуй-ка на дом чужую работу взять, так и увидишь.

В глазах Ариши засветилась тревога.

— Самой уж надо доходить... по выкройкам...

Точно Саша того только и дожидалась. Она презрительно рассмеялась.

— Нет, милая! Плохих портнишек, которые кое-как по выкройкам стряпают да по десяти раз переделывают,— так это на каждом дворе по десятку живет!

— Живут же, стало быть!

...Живут? А она небось не знает, как живут? Либо голодом сидят, либо очень уж весело живут — одно из двух.

— Лучше голодать, да по звонку не скакать.

Ариша кидала короткие, резкие фразы. Она уже сердилась. Ей нужно было, напротив, чтобы ей придали уверенности — опасений и своих довольно в ее рассудительной душе. Для этого и разговора заводить не стоило.

А Саша, точно ничего не заметила, расписывает самыми черными красками. И разумеется, прежде всего на сцену появились всевозможные болезни: Саша с двух слов всех в калек превращает.

Вот с такого-то сладостного житья побьется честная девушка, побьется — да и заведет себе утешителя... Человек ведь не машина! Всякому какую-нибудь радость в жизни хочется. А уж тогда...

Она махнула рукой и совсем припала щекой к коленям.

— Насмотришься всего довольно у нас в палатах! Все больше прислуга да мастерицы...

Ариша выпрямилась и побелела.

— Мне-то ты это зачем говоришь? — спросила она сурово.

Саша усмехнулась:

— А ты думаешь, мы с тобой особенные какие-нибудь, не такие, как другие? Думаешь, с нами и беды случиться не может, коли вовремя о себе не подумаешь? Никто наперед не собирается в Надеждинском ребят рожать да в воспитательный таскать. Судьбу свою делать вовремя надо — вот о чем я говорю!

Саша устала сидеть, свернувшись калачиком. Опять лег-

ла, вытянувшись во весь рост на досках, и обе руки под голову закинула. Толстая черная коса с размаху глухо ударилась в стену.

Заговорила она со сдержанным удовольствием человека, который хорошо знает, что он сейчас говорить будет.

...Все счастье да счастье — терпеть она не может таких разговоров! На бога надейся, а сам не плошай. Не счастье, а уменье нужно. Небось и в мастерской за хорошей-то мастерицей ухаживают. Перво-наперво надо свое дело так знать, как уж нельзя лучше,— чтобы во всем первый сорт быть! Вот тогда ничего не страшно: тогда всего добиться можно — всего!!

Глаза ее стали совсем черные и круглые. Ариша беспокойно шевельнулась на своем месте; Саша живо повернула к ней голову и крикнула:

— Надо самой закройщицей сделаться — вот что! Мало ли девчонок по мастерским бегают — так все это портнихи называются? Без того, коли хоть один год не поучиться в какой-нибудь хорошей школе, лучше и не затевать на квартиру уходить. Стоит того — голода да холода добиваться!

Вот уж чего Ариша не могла ждать! Точно ей в спину горячей водой плеснули. Она бессознательно вскочила на ноги, но сейчас же опять должна была сесть.

...Смеется Саша, что ли?! Как ей учиться можно — где? чему? Кто это ее кормить, поить да еще учить станет?

С каждым собственным словом росла обида.

Самой живется как у Христа за пазухой — вот она и тычет всем в глаза ученьем своим, прости господи!

Из глаз выкатились маленькие злые слезинки. Она смахнула их рукой.

— Зачем же ты, умная, с дурой советоваться вздумала? — спросила Саша невозмутимо.

Сестры замолчали. Где-то глубоко под ванной безостановочно льется вода. Тесно охватывали узкие, белые стены, вытягиваясь вверх.

А вокруг этой странной коробки, освещенной тусклой лампочкой, где металась лихорадочно молодая мысль и горячо бились два сердца,— со всех сторон обступали большие безжизненные комнаты барской квартиры с их неполным мраком и несовершенной тишиной петербургской ночи. Отблеск уличных фонарей дрожит смутным светящимся узором на высоких потолках... Беглый луч, брошенный промчавшимся экипажем, скользит по стенам, точно хочет

спрятаться в этой чужой квартире, и загорается искрами в стекле или позолоте. Глухой гул бежит откуда-то. Точно растет угроза — а в ответ уже занимается общий переполох: как будто весь этот немой мир вещей вдруг получил способность выражения. Точно в пароксизме лихорадки трепещет снизу доверху легкая стройная этажерка, вся заставленная фарфором и хрусталем: целая гамма музыкальных трелей сливается в беспокойный рассыпчатый звук. Резче, назойливее бьется, будто взывает о помощи, узорчатый тюльпан высокой лампы. Глухо и сухо стучит дерево. Пароксизм лихорадки медленно стихает — но вдали уже зарождается новый глухой рокот...

Таков сон петербургских квартир. В ванной слышен был только звук льющейся воды да напряженное дыхание.

Ариша угрюмо поднялась на ноги и начала раздеваться. Лечь... Ничего из разговора не вышло! Бранят ее, что она скрытная, характер дурной... А какой толк советов спрашивать?

Она думала, Саша-то за ее план ухватится, хвалить будет, смелости придаст... Нет, что-то Саша за себя только смела больно!

Но странно... После того как Арише пришлось выслушать от сестры прямо и беспощадно все то, чего сама она смутно боялась,— ее желание от того ничуть не поколебалось. Напротив, еще крепче стало. Только радостное волнение, с каким она ждала этого разговора, превращалось в упрямую и озлобленную решимость.

«...До рождества как-нибудь дотянуть здесь, чтобы за два месяца жалованье зажить,— а там и снять комнату. Живут по двое да по трое, чтобы дешевле было...»

Никогда еще Ариша не принимала таких быстрых решений. Точно ее ножом отрезало от ее настоящей жизни. Хоть голодать, да только по звонку не скакать!

VII

Утром Авдотья пришла разбудить дочек и свечку принесла. В ванной немудрено и до завтрака заспаться!

Саша первая перелезла через сестру и начала проворно одеваться.

— Я твоего жениха во сне видела! — сказала она неожиданно, застегивая, согнувшись, пуговицы на сапогах.

— О тебе, значит, думает,— ответила Ариша.

«Хочет насмешку сказать — а того не знает, что это правда!» — усмехнулась про себя Саша.

Она знает, отчего ей Афанасий Иванович приснился. Пока вчера Ариша дулась и укладывалась спать, не разговаривая (они даже и не попрощались на ночь), в голове Саши заработали ее собственные мысли на месте, расчищенном от нехитрых планов Ариши. Под «судьбой» Саша понимает нечто несравненно более сложное, чем возможность голодать на свободе (без звонков).

— Отказ-то ты объявила ему или нет еще? — спросила она через несколько минут.

Знает и сама отлично, что этого не могло быть, а только ей надо разговор навести.

— При тебе, кажется, он уходил.

— Ну, так вот что, Ариша: ты погоди... не давай Картышеву никакого ответа. Поняла?

— Говори так, чтобы понятно было!

Саша засмеялась:

— Сама, матушка, виновата! Ты зачем вчера надулась, разговор оборвала? Теперь я бежать должна и так опоздала.

Она была одета. Причесаться надо в комнате, перед зеркалом.

...Одним словечком так и перевернула все мысли вверх дном!

— Да с чего это тебе вдруг Картышев вспомнился? — взмолилась Ариша, видя, что она уходит.

Саша остановилась в дверях и опять засмеялась:

— Нет, скажи лучше — отчего тебе-то он не вспомнился? Гадает девушка на все лады, а только об одном женихе не вспомнила!

С этим и ушла. Когда Ариша пришла в кухню, Саша стояла уже в шубке и шляпке и, стоя, пила из стакана кофе, набив полный рот булкой.

Авдотья сердилась.

...Еще бы! Так непременно сейчас ее и хватятся — о ней там только и думают!

Ей хотелось без спеха напоить Сашу домашним кофейком, но девушка отказалась от второго стакана; поцеловалась с матерью и с Аришей и ушла своей стремительной походкой счастливого человека.

«Точно у нее земля под ногами горит», — говорит про нее Авдотья.

. . . .

Теперь Ариша потеряла последнее спокойствие. Непонятные намеки Саши не дают ей обдумывать как следует собственных планов. Вчера, засыпая, она решила, что теперь первая забота — найти себе подходящую подругу. Чтобы была порядочная девушка, работница, никакими глупостями не занималась. Для этого она собиралась, как только удосужится, сбегать к себе в мастерскую.

Все это было, по крайней мере, известное и ставило ее сразу на знакомую дорогу. Но что ж значит, чтобы погодить с отказом Картышеву? Что-нибудь да думала же при этом Саша?!

Вся бессознательная вера Ариши в сестру сказалась в этой тревоге. Одного слова Саши было довольно, чтобы парализовать всю ее решимость.

...Погодить надо, что Саша скажет!

Дня через два Ариша не выдержала и опять сбегала в Надеждинскую, но сестры не видала; ей сказали, что она дежурная. Тогда Ариша придумала написать письмо, потому что Саша не любит, чтобы к ней беспрестанно бегали в школу...

Письмо она писала долго, сражаясь с плохо дававшимся ей разделением слов и совершенно лишними, по ее мнению, двойниками букв. Сашка, та почти без ошибок пишет... стыдно своих каракуль самолюбивой Арише.

Она спрашивала в письме — пошутила Саша или нет? Чего ждать? Картышев не сегодня-завтра приступит с ножом к горлу, чтобы ему последний ответ дать.

Ответ пришел по почте через два дня. Саша писала:

«Подожди, Ариша, не спеши ни с чем. Я теперь твоим делом занята, оттого и не приду, может быть, домой в это воскресенье. Приду, тогда поговорим. Твоя Саша».

На грех, письмо это приняла у почтальона сама Авдотья и до тех пор приставала к Арише, пока та должна была сказать, что письмо от Саши. Но тогда мать потребовала, чтобы она прочитала ей его.

Воображение Авдотьи заработало на всех парах. О каких таких делах сестры совещаются? Какая надобность на марки тратиться, когда от Надеждинской два шага добежать? Что девчонки скрывают опять от матери, зачем им в ванную от нее прятаться понадобилось?

Ну, что могла ей объяснить Ариша, коли она и сама Сашиных слов не понимает?! Но некуда ей деваться от этих приставаний, а мать что дальше, то пуще обижается: бывают упрямые — а уж этой и не проймешь ничем!

На кухне не унимаются ежеминутные стычки перессорившейся прислуги, а в комнатах тем временем свои неприятности заварились. Барыня несколько дней не может доискаться какого-то шарфика настоящего кружева. Ариша весь дом перевернула, искавши,— точно сквозь землю провалился! Кому и быть в ответе, как не горничной! У нее голова «бог знает чем набита»... Одно рассеянное выражение ее лица перед подобной катастрофой не могло не раздражать.

...Ведь весь дом у нее на руках. Чужой и не входит никто! Недостает, чтобы теперь вещи начали пропадать. Настоящее кружево — не тряпка и пр., и пр.

Домашние дрязги, если нет для них никакого противовеса, имеют удивительное свойство затягивать женщин в бездонную пучину. Какой-то никому, в сущности, не нужный клочок кружева фактически может наполнять собою дни и приводить в брожение чувства и мысли. Относительное значение случившегося и истинная ценность вещей — все это понемногу спутывается; как миазмы из потревоженной ямы, из этой пучины сами собой поднимаются сомнения, подозрения, опасения...

Ведь психология этих существ другой породы навсегда остается смутной и потому доступной всякому произволу. Внутренние стенки квартиры разделяют два мира, где царят совершенно различные законы. Почему же психология должна иметь какое-нибудь преимущество перед гигиеной, физиологией и даже физикой? То, что невозможно или опасно по одну сторону стены,— делается возможным и безопасным по другую. То, что здесь составляет основные условия существования,— там исчезает без всяких видимых последствий. Голая логика редко может устоять перед увлекательным натиском фактов.

На этот раз решительно ничто живое не отвлекало двух скучающих барынь от характерной фигуры горничной, так очевидно «глядящей в лес». Жизнь вокруг них как-то неправдоподобно пустела с каждым днем... Только в миллионных городах возможны подобные фиктивные существования, без всяких живых корней, которые связывали бы их с общим потоком. Единственным связующим звеном был Виктор; но с тех пор как молодой человек зажил самостоятельно на отдельной квартире — мать и сестра точно погружаются в оцепенение, с каждым днем немножко больше...

Широкими волнами разливается по затихшей квартире

беспросветная скука. Такая скука, на какую могут быть обречены только одни женщины, обеспеченные и скромные «порядочные» женщины. Они слишком бесцветны, чтобы выделиться чем-нибудь на общем пестром фоне. Они чересчур робки и совестливы, чтобы суметь навязать себя насильно. Они ни в ком не нуждаются и сами никому не нужны. Жизнь катится мимо, понемногу обходя их, как поток обходит попавшийся на пути камень.

Никакое обязательное дело не поднимет их утром с постели; никакая насущная забота не тревожит долгого сна. Они обладают заветной мечтой стольких живых существ: они вполне обеспечены.

Катя читает. Ничего больше нельзя сказать об ее жизни. На всех столах лежат книги; она читает всегда несколько книг зараз, чтобы этим способом поддерживать устающее внимание. Целые годы прожиты в мире готовых идей, чужих мыслей; останавливается с удовольствием на тех, которые нравятся, и отворачивается равнодушно от других. Это не важно. Завтра будут другие книги — новые мысли. Она не замечает, что в ее уме не родилось еще ни одной самостоятельной мысли... И могло ли бы это случиться, как знать!

В вечно напряженном воображении смешиваются пестрым калейдоскопом все отражения жизни, населяющие волшебный мир искусства. Толпы женщин, мужчин, молодых и старых, злых и добрых, трогательных и возмутительных: палачи и жертвы, потоки красоты, потоки грязи. Любовь, любовь, любовь...

Вся необъятность жизни нагромождается как случится в маленькой головке зачитавшейся девушки. Жизнь рассказана во всех возможных комбинациях — вывернута наизнанку и в то же время расцвечена сгущенными, слишком яркими красками... Постоянное пассивное напряжение притупляет впечатлительность и охватывает каким-то беспредметным разочарованием. Воображение устало...

Бедная Катя начинает чувствовать, что ее единственный неизменный ресурс, казавшийся вечным и неистощимым, минутами как будто изменяет ей... Иногда ей кажется, что она перечитала уже все интересные книги. Она не спрашивала себя, что было бы с нею, если бы на свете не существовало книг? А над этим вопросом ей, пожалуй, стоило бы подумать!

Мать жалуется на Катю. Что нынче за девушки? Разве они в свое время знали, что такое скука?! Молодые девушки оживляли дом, привлекали молодежь — веселились,

влюблялись, волновали, радовали или убивали своих родителей.

Катя никого не убивала, не волновала. Ей нечего было скрывать; ее не в чем было упрекнуть. Она только не умела создать жизни. На месте, куда ее бросила судьба, она покорно ждала, чтобы жизнь дала ей ее долю счастья. Чтобы невидимые волны этого, где-то близко бушующего океана внезапно выбросили клад к ее ногам. Она ждала...

От времени до времени мать теряла терпенье и поднимала мучительный разговор о том, что «так жить нельзя». Тогда генерал раздражительно обрушивался на своих дам: не может же он, наконец, насильно тащить людей в дом! Они сами не умеют поддерживать знакомства. Кому нужны женщины, которые всюду носят за собой собственную скуку?! Нынче женихи бегают за богатыми невестами или за барышнями, которые умеют кружить головы.

Не подлежит сомнению, что уменье кружить головы принадлежит к разряду талантов, которым нельзя научить другого. «Que voulez vous, elle est trop vertueuse, ma panvre fille!»* — говорил генерал в минуту откровенности с нескрываемым сожалением.

Да, благонравная Катя никогда не мечтала кружить головы (чего ей никто не ставил в заслугу). Она и сама не знала хорошенько, к какому типу готовых героев должен принадлежать тот, кого она полюбит? Она пассивно ждала, когда пробьет час, с которого начнется настоящая жизнь. О, тогда!..

...Тогда, как от удара волшебного жезла, в душе откроется родник новых, небывалых сил! Тогда сразу она будет всего желать, всем наслаждаться, все уметь. Явится энергия, найдется способность скрашивать жизнь себе и другим. Жизнь получит смысл. Она как будто боялась растратить силы своей души на теперешнюю, ненастоящую жизнь — жизнь ожидания и неизвестности...

Год назад Кате минуло двадцать восемь лет. В этот день они с матерью горько всплакнули, каждая в своей комнате.

Катя сосчитала: она так ждет ровно двенадцать лет. Ее жизнь еще не начиналась — возможно ли, чтобы тем не менее молодость исчезала, испарялась?! Долго она этого не ощущала: напротив, ощущала впереди нетронутую жизнь, дремлющие силы...

---

* Что вы хотите, она слишком добродетельна, моя бедная дочь! *(франц.)*

Но теперь впервые она заметила, что тревога, эта вечная спутница ожидания, как будто начинает замирать в ней... Охватывает все сильнее что-то, похожее на усталость. Не живое, преходящее утомление деятельности, после которого пробуждаются с обновленными, окрепшими силами,— нет, гнет нерастраченной, бесплодно скопляющейся энергии... Что-то тяжелое, глушащее!..

Но это так похоже на усталость! Едва поднявшись с постели часам к одиннадцати, Катя зевает и потягивается. Если бы не смешно, если б не стыдно — сейчас она юркнула бы назад в теплую, мягкую постель. Как будто нельзя читать романы, лежа в постели! Но это «ни на что не похоже», и девушка добросовестно проделывает длинную процедуру изящной прически и модного туалета. Зашнурованный корсет заставляет держаться бодро и прямо... Затем, занявшись со всевозможной тщательностью благосостоянием Дружка, Катерина Николаевна покончила со своими заботами; она усаживается в любимое, низенькое кресло — и рука сама собой протягивается к очередной книжке.

. . . .

В воскресенье Виктор Николаевич показал, наконец, свои ясные очи. Ему так обрадовались, что никто и не пробовал упрекать его за долгое исчезновение.

Виктор был очень оживлен и объявил, что вслед за ним должен явиться с визитом его товарищ, поручик Звездочкин.

...Они не помнят Звездочкина? Бывал у них кадетом, танцевал на детских вечеринках.

Звездочкин? Дамы напрасно усиливались что-нибудь вызвать из своей памяти.

Катя — хотя она оделась всего час тому назад — ушла сейчас же к себе в комнату поправить прическу. Конечно, это только так говорится! Дверь в ее комнату закрылась — Ариша прибежала на звонок — и Екатерина Николаевна появилась вновь только через четверть часа после того, как гость приехал. Она перечесалась и переменила платье... для Звездочкина.

Разумеется, дамы сделали вид, что они прекрасно помнят и сейчас же узнали своего гостя. Катя села на диван рядом с матерью и с оживлением вмешалась в разговор о бегах, которым поручик занимал генеральшу.

Он сидел перед ними, юный и цветущий, с несколько тупым самодовольством на жизнерадостном лице, и с одинаковым увлечением переходил от одной темы к другой —

от бегов к театрам, от театров к скачкам, от скачек к дежурствам и маневрам.

Ровесник Виктора... Тот самый мальчуган, на которого взрослая Катя не обращала никакого внимания, так что не запомнила его лица, забыла фамилию. Теперь он рассказывал о вещах, ей неинтересных, тоном человека, который везде бывает, во всем принимает участие и потому имеет над ней несомненное преимущество. Он успел превратиться из мальчика во взрослого человека,— а она осталась на прежнем месте. Она успела так соскучиться, что слушает его с оживленной улыбкой.

Генеральша выходила два раза в столовую, откуда скоро послышался стук посуды. Звездочкину предложили позавтракать.

Он отстегнул саблю и победоносно перешел к столу, где красная от мороза Ариша еще расставляла только что вскрытые консервы и откупоренные бутылки. Поручики опустошили стол и исчезли ровно в три часа, не досказав начатого рассказа... Pas possible!..* Их ждут... Rendez-vous** с целой блестящей компанией...

Они исчезли, оставив после себя груды папиросных окурков и клубы табачного дыма и живой беспорядок сдвинутой мебели. Остались переливы молодых голосов и дрожь веселого смеха, всколыхнувшего застоявшийся воздух пустых комнат, где лениво звучат редкие, вялые фразы двух скучающих женщин...

Прощаясь, Звездочкина так усердно приглашали приезжать запросто, прямо к обеду, что он должен был вынести впечатление неожиданного приятного открытия: а он-то и не подозревал, что у него есть такие радушные, симпатичные друзья, к которым можно во всякое время явиться, как к себе домой!

У Катерины Николаевны всегда болит голова от табачного дыма. Она не замечала этого ровно до той минуты, когда за гостями закрылась дверь. Хозяйка дома в гостиной приводила в порядок разбитые альбомы.

— Он очень мил... n'est ce pas?***— заметила она полувопросительно и взглянула на Катю.

— Да... Простой и веселый,— ответила девушка задумчиво.

---

* Нет возможности (далее оставаться)!.. *(франц.)*

** Встреча *(франц.)*.

*** не правда ли? *(франц.)*

— Еще бы им не быть веселыми! Катаются как сыр в масле. Я всегда говорю, что молодежь в Петербурге чересчур избалована! Вот увидишь, этот господин, вероятно, явится теперь с визитом в Новый год. Все нарасхват.

Катя промолчала. Она уже спрашивала себя — чему они так обрадовались? Зачем было нужно столько предупредительности перед каким-то мальчиком? Ведь это было бы ужасно, если бы Звездочкин и в самом деле вздумал являться к ним запросто и оглушать их своими шумными разговорами о лошадях, скачках, службе...

Катя ушла в свою комнату. Она смочила себе виски примочкой и разыскала то место, где она остановилась вчера в новом романе Бурже.

...Нет, сегодня не читалось... Круглое лицо с маленькими усиками и веселыми глазами застилает то и дело меланхолический образ интересного титулованного героя с изысканными фразами на устах и непостижимыми ощущениями в нервах.

Кате стало еще скучнее.

VIII

Афанасий Иванович Картышев тем временем не знал, что ему думать — Авдотья точно как умерла! С тех пор как началось сватовство, она то и дело забегала к нему на вокзал; забежит, побранит нынешних дочек, которые совсем от рук отбились, повздыхает о своей дружбе с покойницей и внушит, что он на нее может положиться, все равно как на каменную стену: она себе не враг! — спать будет спокойно, когда отдаст за него Аришу. Погодить надо малость, и все уладится.

Афанасий Иванович помнил, что Авдотья прибегает за тем, чтобы себя успокоить, чтобы своими глазами увидеть, что желанный жених не вовсе еще потерял терпение. Теперь больше недели Авдотья глаз не кажет на вокзал.

Афанасий Иванович и сам давно уже пришел в сомнение насчет того, хорошо ли он тогда сделал, намекнув ей про Сашу... Сказал это он тогда в увлечении, не дал себе времени рассудить как надобно!

Очень уж раззадорила его Саша в тот день, сидя на окошечке, словно птичка на жердочке! Однако благоразумие брало свое — не мальчишка он и в самом деле, чтобы на стену лезть. Не пойдет за него Саша. Главная причина, что на уме у нее теперь не то; а дальше, как оперится она

да на свои ноги встанет, тогда и вовсе нуждаться не будет, чтобы за старика выходить. У такой девицы недохватки в женихах никогда не будет. А с другой стороны, Ариша всегда привлекала его больше — белокурая и степенная.

Авдотьины дочки словно как с отметинкой: скучно даже и думать о других невестах... вот тебе скучно и скучно! Всех свах Афанасий Иванович разогнал, перед всеми барышнями невежей оказался и начинал уже чувствовать, как вокруг него растет глухое недовольство. А сам-то уж и избаловаться успел за полгода своего вдовства, точно и всегда ему такое житье будет, что везде он желанный гость! Но пуще всего Афанасий Иванович боялся самой Саши: непременно расскажет она сестре... погубит его Саша! Кабы не этот страх, давно уж жених не утерпел бы и сходил сам на Фонтанку.

И в таком вот смутном состоянии души Картышев в один прекрасный день получил по городской почте письмо. Письмо без подписи, написанное очень хорошо.

«Если вам желательно переговорить об интересующем вас деле, то пожалуйте в Александровский сад в воскресенье, в двенадцать часов, около нового памятника».

От изумления Картышев прочитал вслух собственный адрес — ошибки какой не вышло ли? Впрочем, в первую минуту он не почувствовал ровнехонько никакого волнения перед таким приключением, напротив,— только одно неудовольствие... Непременно опять новое какое-нибудь сватовство затевается! На квартиру к нему свахи сунуться не смеют, а платье, выговоренное в случае удачи, или салоп какой-нибудь получить хочется — вот и пустились бабы на хитрость!

Как раз в ту пору печка в комнате весело потрескивала казенными дровами. Жених небрежно швырнул в огонь глупое письмо, уверенный, что больше он и не вспомнит об нем. А вместо того, как только бумажка сгорела — так он сейчас и спохватился: батюшки светы, где у него голова была?! Разве возможно, чтобы у свахи Авдеевой был такой благородный почерк? Она, поди, каракули неразберимые ставит, а не то чтобы в таких отборных словах написать могла!

Просто побил бы себя собственными руками обстоятельный Афанасий Иваныч за такую небывалую оплошность! Проворонить такой деликатный случай! Письмо-то этакое, может быть, и обратно потребуют... Что ж, так и сознаваться, что он его в ту же минуту в печку сунул?

В результате всего этого получилось то, что в воскресенье, ровно в двенадцать часов, Афанасий Иваныч, одетый по-праздничному, вылез из конки у входа в Александровский сад.

...С какой же стати ему показать себя невежей? Почерки женские он, правда, отличать не мастер, однако столько-то может смекнуть, что такого письма мужчина не напишет. Потому причины никакой нет: мужчина и без писем найдет, где ему с нужным человеком встретиться.

В жизни Афанасия Иваныча это было еще первое приключение столь романического характера, и теперь вся досада заключалась в том, что он сдуру взял да тут же и сжег письмо. То есть кабы не трезвехонек ходил всю неделю, так подумать бы, что все это ему примерещилось с веселых глаз! Когда Афанасий Иваныч был уже на середине сада, ему внезапно вступило в голову новое соображение: а ну, как совсем незнакомая? Пожалуй, письмо-то это самое он в руках должен держать для приметы? Такая злость на себя взяла, что он даже ногой по снегу притопнул. Хорош кавалер, за учеными барышнями ухаживать вздумал!

У памятника Пржевальскому Картышев украдкой огляделся.

Публики было совсем мало, только у входа скамейки, по обыкновению, все заняты. Дама в длинном траурном вуале с девочкой огибала площадку. Отставной военный в сильно потрепанном пальто и засаленной фуражке громко свистал, сзывая забежавших в снег собачек, двух породистых такс, одна как другая, в новеньких звенящих ошейниках. Девочка на ходу то и дело оглядывалась на собак; дама сердилась. Вдали, наискосок от сената к Невскому, двигалось несколько групп.

Вдруг средняя группа, из нескольких женщин, стала забирать влево, и Картышеву показалось, что одна из них — Авдотьина Саша.

В жар всего бросило. Он остановился перед памятником и повернулся спиной. Была смутная надежда, что обознался, пока не долетел до него веселый голос Саши. Она прощалась со своими спутницами; постояла с ними, болтая, с минуту, потом быстро пошла к площадке.

«Скажу, что приятеля поджидаю... вместе ехать... ну... ну... хоть в Галерную Гавань!.. Именины... святого-то какого сегодня, прости господи?»

Точно пойманный школьник, Афанасий Иванович ста-

рался схватить разбегающиеся мысли, прислушиваясь к скрипу быстрых шагов по снегу.

— Афанасий Иванович, здравствуйте! — издали звонко крикнула Саша.

Картышев, красный, забормотал сейчас же про Гавань и про приятеля. Саша с усмешечкой поглядывала на него.

— А вот я так никогда в Гавани не была. Хорошо там?

Афанасий Иваныч с жаром принялся расхваливать: будто как и не Петербург, точно в провинции где-нибудь! А сам беспокойно косится по сторонам: коли сейчас та, другая, подойдет... как же тогда быть?

— Вы с подругами гуляли? — спросил он.

— Нет, не гуляла. По делу ходила. Я теперь три раза в неделю должна бегать в Галерную улицу — кончик не близкий!

— Господи помилуй... да зачем же это?

— А массажу учиться буду, вот зачем! — крикнула радостно девушка, точно про что-то невесть какое веселое.— Поздравьте меня, Афанасий Иваныч! Я ведь думала, что никак мне этого дела не обломать, а вместо того нашлись добрые люди, соглашаются в долг меня учить.

Саша сияла. Ну уж, что теперь Ариша будет про счастье ей говорить! Картышев покачал головой:

— Удивительное дело... всегда-то у вас одно только учение на уме.

— А, по-вашему, когда же учиться, коли не теперь? После-то небось и близок локоть, да не укусишь. Я вот и Аришу нашу тоже уговариваю...

Саша помолчала и поглядела на него вбок.

— Приятель-то ваш что-то не идет? Походите немножко, стоять очень холодно.

Афанасий Иваныч почувствовал такую тревогу от этих слов, что тут же принял внезапное решение: к черту письмо! Не упускать же ему такого случая объясниться с Сашей! Уйти только надо подальше от памятника.

Он с жаром выразил девушке свою радость, что встретился с нею. Признаться сказать, боялся, что она на него сердится... И Авдотья Кузьминишна совсем забыла его. Окончательно безо всяких новостей оставили!

Саша его сейчас же успокоила. С какой это стати на шутку сердиться? Не такой у нее вовсе характер. А главное, что совсем не до пустяков ей теперь. Перво-наперво надо на настоящую дорогу выбраться, судьбу свою надежно устроить... было бы из-за чего стараться! Тоже не велика

фигура простая-то акушерка! А на это не год и не два уйдет.

— Ариша заладила, что мне во всем счастье, а только это глупости! Всякая чего-нибудь добиться может, коли захочет. Только уж надо крепко хотеть, чтобы ни о чем другом и не думать... Правду я говорю, Афанасий Иванович?

Картышев потряс головой в безмолвном восхищении.

— А который человек может в люди выбраться, тот и должен об этом одном думать, коли он не дурак! — постановила с увлечением Саша.— Добьешься-то чего-нибудь не для одной же себя, небось нашим детям столько биться не придется — им легко будет!

Картышев наконец отважился возразить, что не так все это легко, как ее послушать; а между женским полом и вовсе немного найдется девиц такого ума.

Саша нетерпеливо остановила его:

— Ну, что вы об этом знаете? Вы таких-то девушек и не видали никогда! Конечно, всему помеха деньги. Барышни-гимназистки и те бьются, не то что мы, горькие... Чего, чего у нас не наглядишься да не наслушаешься!

Но Афанасий Иваныч понимал свое возражение совсем в особом смысле: деньги деньгами, да много ли таких девушек, которые, так сказать, в цвете юности только об одном дельном думают? Молодость-то один раз бывает!

Саша с досадой тряхнула головой:

— Говорят вам, не знаете — ну, так и не говорите!

Она остановилась и повернулась к нему всей фигурой.

— Ну, вот пусть меня теперь кто угодно посватает,— хоть бы доктор какой-нибудь — так и то я не подумаю ученья бросить.

Картышев громко рассмеялся:

— На вас поглядеть, пожалуй, и поверишь, что правда! Ха-ха-ха...

— Да уж поверьте! Я и Арише то же говорю. Нас только и есть, что две сестры — надо, чтобы у нас с ней все под одно шло.

Афанасий Иванович споткнулся от неожиданности. А Саша, точно нарочно, еще шибче пошла.

— Да ничего, Ариша меня послушает! А то она сама-то совсем нестоящее затеяла...

...На что это она свести хочет? Про Аришу... конец, стало быть?.. Разве возможно так с серьезным человеком поступать?! Он никакого обстоятельного ответа и не слыхал

еще ни от кого! Такие разговоры для него довольно удивительны.

Саша выслушала его претензии с таким видом, как будто она не ожидала услышать ничего подобного.

...А он что же себе воображает? Да, признаться, и не понимает она, ему-то самому что за охота свататься к молодой девушке. Ну, что его жена должна делать деньденьской? Неужели же хоть бы Арише с этих лет засесть, сложа руки, кофе распивать с разными кумушками по пять раз в день? Сам он целыми днями на службе. Детей не будет.

— Да еще приятельницы ваши заклюют от зависти — вот-то веселое житье, нечего сказать! Для пожилой женщины, вдовы какой-нибудь, конечно, другое дело...

Можно сказать, что сразила Саша! Жених прямо ушам своим не верил, чтобы кто-нибудь мог усомниться в завиднейшем житье, ожидающем его супругу. Может, кажется, делать, что самой вздумается: хочет — прогуляться пошла; захочет — гостей к себе назвала. А в достаточном доме хозяйке найдется, слава богу, около чего похлопотать. Совет Саши насчет пожилой вдовы жених принимал не иначе как за личную насмешку.

Но Саша смотрела при этом так гордо, что Афанасий Иваныч не отваживался рисковать своим уязвленным самолюбием, пускаясь в дальнейшие разъяснения.

— Да сами-то вы что же мне говорили в прошлый раз? Или не помните? — заговорила вдруг девушка еще строже.

Афанасий Иваныч мучительно покраснел и забормотал что-то невнятное.

— Да вы не бойтесь, вы мне это тогда о-очень хорошо сказали! — протянула Саша неожиданно ласково.— Или пошутили только, пожалуй?

И опять нахмурилась. Она сама начинала заметно волноваться.

— Вы сказали, кабы я сама за вас пошла, так вы мне в школе учиться не помешали бы! — досказала Саша торжественно.— Сказали вы это, Афанасий Иваныч?..

Теперь Картышев ничего больше не понимал: за Аришу отказывает, на себя разговор переводит... так неужели же?

Он боялся дохнуть и смотрел растерянными глазами.

Саша вспыхнула от досады:

— Ну, что же вы молчите? Вот славно! Однако не выдумала же я эти слова про вас?!

— Александра Петровна! Не гневайтесь, господом богом вас прошу! Я не знаю, что мне и думать... Сами же вы давеча наотрез мне объявили, будто вы...

— Что? Что?! — крикнула грозно Саша.— Да вы и не понимаете ничего, я вижу! Я вам про школу говорю, что вы сами тогда мне про школу сказали. Стало быть, вы соглашаетесь, чтобы ваша жена училась, а потом своим ремеслом занималась? Так, я думаю, это уж все равно — я или другая кто-нибудь!

Картышев только развел руками. Саша, по-видимому, приняла это за знак согласия.

— Ну вот я про это самое и говорю! — спешила она дальше.— На Аришином месте я бы так откровенно и сказала вам: согласна за вас пойти, коли вы мне обещаетесь модную мастерскую устроить. Ведь Ариша портниха, да? Ну, так чего же другого ей добиваться, сами подумайте!

Видимое дело, ей это представлялось неопровержимо ясно. Афанасий Иваныч сдернул с головы шапку в надежде, что это сколько-нибудь приведет в порядок его мысли.

А девушка начала с жаром доказывать, что для открытия мастерской денег надо не очень много: кому не из этого жить, так непременно должна на ноги стать. Только надо самой быть закройщицей, да без этого и прав из управы не выдадут. Значит, для начала всего надо какую-нибудь школу получше выбрать.

Долго Саша горячилась одна. Ее это ничуть не затрудняло, потому что ничего она так не любит, как развивать подобные планы: как из ничего, одним только трудом и упорным желанием, всякий человек может совершенно переделать свою жизнь. В школе Саша всех подруг такими разговорами перебудоражила; она во всех стремилась вдохнуть собственное честолюбие. Для каждой девушки ухитрялась придумать что-нибудь такое, чего той и во сне не снилось. И негодовала, что люди так вялы и боязливы!

После разговора в ванной Саша только все об одном и думала; даже на лекциях плохо слушала.

...У Ариши своя мастерская, а она место казенное получит — отгадай-ка тогда кто-нибудь, что мать у них кухарка безграмотная! Сначала мать у Картышевых поживет, пока она учится, а потом она к себе ее возьмет.

Картышеву она старалась внушить, насколько ему самому придаст важности, если жена у него будет хозяйка мастерской, серьезная, деловая женщина. Тоже и он глупостей разных бояться не должен. А то с молодыми-то

женами известное дело, какая у мужей сухотка: ревность всех гложет за дело и без дела!

Афанасий Иванович машинально ходил взад и вперед по аллеям или сидел на скамейке рядом. Краснел, пыхтел — и разражался одними только восклицаниями.

Из восклицаний этих Саша с великим трудом поняла наконец, что он ничего не имел бы против мастерской,— конечно, если это не грозит разорением,— но главное затруднение оказывалось в школе. Жених был того мнения, что школа школе рознь. Помилуйте, как же не разница! Ну, вот она в акушерском заведении обучается: первое дело, заведение это казенное, звание серьезное. Это всякий понимает. А в швейные мастерские, вместе со всякими девчонками, какому же служащему человеку может быть лестно свою супругу отпустить? Просто даже сказать зазорно как-то! Непременно он бы и сам смеяться стал над товарищем. А на него и без того все кругом злы из-за этого самого сватовства.

Вот уж чего Саша ожидать не могла. Побилась она, побилась, внушая жениху, что он говорит сущие глупости, да вдруг рассердилась и бросила. Очень нужно! Еще подумает, что его упрашивают, страшно нуждаются в нем...

...Так не хочет он, стало быть? Его дело. Вот она, бог даст, учиться кончит, место получит и тогда сама поможет Арише. Заживут на славу! А надоест так жить — мужей возьмут.

— Детей-то мы своих, знаете ли, как учить будем? С пяти лет за книжки засадим! Будут они у нас в гимназиях учиться, не заставим с детства по мастерским мучиться! Наместо учения по лавкам с образчиками во всякую погоду бегать, а и дома, не разгибая спины, до поздней ночи глаза слепить. Вон, я чуть не ослепла, а, спросите, многому ли научилась за это!

Саша даже потемнела как-то вся от этих воспоминаний и так энергично зашагала по снегу, точно каждым своим шагом попирала невзгоды своего детства и спешила навстречу светлому будущему.

В эту минуту Саша спешила к выходу. Афанасий Иваныч взмолился.

...Как же он понимать все это должен?! Ему с самой Ариной Петровной переговорить необходимо!

Саша решительно воспротивилась. Не станет Ариша с ним разговаривать... куда как ловко для девушки такие переговоры вести! Уж разве через нее сладились бы как-

нибудь, а самому ему нечего и соваться. Да из чего ему и хлопотать, коли он всего боится? Мало ли невест, которые радехоньки будут палец об палец не ударить, на шею мужу сесть!

Вернуться в одной конке с ней Саша тоже не позволила и оставила его среди улицы, вспотевшего на морозе, точно как из бани.

— А приятель-то ваш так и не пришел! — крикнула она на прощание и засмеялась.

IX

На другой день вечером Саша совершенно неожиданно явилась домой.

У генеральши собрались гости. Авдотья готовила ужин, сердитая — не подступись! Впопыхах она даже не стала расспрашивать, зачем Саша прибежала не вовремя, а прямо ее к делу приспособила.

— Сделай милость, поверти ты мне провансаль хошь сколько-нибудь! С Аришкой ничего не дождешься! Да сбегай к дворникам, пускай льду кусок поскорее отколют!

Ариша носилась взад и вперед, во весь день не присела. Днем по лавкам гоняли в несколько приемов, к портнихе посылали; потом комнаты прибирала, лампы зажигала, в прихожей торчала.

Перед обедом они с матерью так переругались, что теперь не разговаривали. Чай гостям разносили по комнатам. Бог один знает, как Ариша ухитрялась и наливать, и подавать одна. Ноги ломило, как отшибленные.

Ариша влетела в кухню с пустой бутылкой от сельтерской воды, потребованной в кабинет, и увидала Сашу, вертевшую в плоской чашке провансаль. Саша засмеялась и кивнула ей головой. Что-то показалось Арише подозрительным в ее играющих глазах; она еще больше насупилась.

— Не суй на стол! Не видишь, что я тесто катать хочу? — крикнула Авдотья и пихнула поставленный Аришей стакан.

Стакан полетел на пол.

— Да что вы, с ума сошли, посуду на пол швырять? — вышла из себя Ариша.

— Ах, господи, тише вы! Этак гости услышат, как вы скандалите!

Саша в волнении вскочила с табурета. Давно уж ее по-

ражает, что мать и сестра — когда ни приди домой — всегда сердитые! Пожалуй, и всегда так было, только они девчонки были, не смели с матерью считаться. С чужими горничными воевали! Саша успела отвыкнуть от домашней свары. Суетливая работа, всегда наспех, по чужому приказу, всегда несколько дел зараз. Кажется, что угодно стала бы делать лучше, чем так мотаться взад и вперед!

Раздражение, воспринятое в комнатах, доносится до кухни и обрушивается на первую попавшуюся голову. Аришу узнать нельзя с тех пор, как горничной служит: с матерью слова доброго не скажет. Нет уж, в прислугах чтобы спокойно жить, такой надо характер иметь... вроде как за человека себя не считать!

Перед Сашей всплывала массивная, взволнованная и растерянная фигура Афанасия Ивановича. Досада прилила к сердцу: так бы вот она повернула и подтолкнула куда надо эту неповоротливую фигуру своими проворными и сильными руками.

...Дурак... ну, разве не дурак?! Чего боится, и сам не знает!

Ариша ушла в комнаты. Авдотья металась между столом и плитой, где что-то шипело. Из духовки разносился вкусный запах жарившихся рябчиков. От плиты, не остывавшей с раннего утра, и от пылавших ламп с жестяными рефлекторами в кухне стояла адская жара, насыщенная разными жирными запахами; не помогала и раскрытая настежь дверь. Ряды медных кастрюль, сковородок и самоваров на двух полках точно еще прибавляли жары своим красноватым блеском. Вся эта сияющая огненными бликами медь казалась раскаленной в горячем воздухе.

Авдотья все время, не переставая, ворчала.

...В порядочных домах прислуга вовремя знает, когда надо ужин готовить — а у них что? Прикажут за час, а, глядь, дома-то и нет ничего, за каждым фунтиком муки и скачи в лавку! На все время да время: рыба-то еще остынуть должна, да с гарниром этим проклятым провозишься!

До смерти надоело Саше слушать эту воркотню. Она стала расспрашивать про гостей.

В гостиной играли на рояле в четыре руки. В кабинете на двух столах в карты играют. Нет, не рожденье сегодня,— кто их знает, с чего вдруг вздумалось гостей назвать! Что денег в один вечер ухлопано!..

— Катю не просватали ли? — заметила Саша.

Авдотья всполошилась. А где они, женихи-то? И сейчас офицерик один,— Виктор Николаевич намедни приводил,— так разве это жених для генеральской барышни?

Саша заинтересовалась. По ней, это не беда, коли жених молодой, если из хорошего дома. Пора Катерине Николаевне замуж! Саша выставила готовый соус за окно и пошла в прихожую поглядеть на офицера. Сделала вид, что ищет что-то на столе, заваленном шляпками и муфтами.

Офицер любезничал с молодой хозяйкой. Катя в светлом новом платье, как-то особенно причесанная и с разгоревшимися щеками, громко что-то рассказывает и все время смеется.

«Точно и не смешно самой, для виду смеется!» — подумала Саша и решила, что офицер — жених.

В эту минуту мимо двери прошел Виктор Николаевич; оглянулся и сейчас же завернул в прихожую.

— Сашенька, мое вам почтенье! Что это вы тут делаете?

Он стал ее разглядывать с приветливой улыбкой. Ей неловко, что ее накрыли, как она на гостей из дверей выглядывает. Но офицер, по-видимому, находил это совершенно естественным.

— Давно, однако, мы с вами не видались, Сашенька! Говорят, вы совсем ученая стали? А?

— Куда уж нам в ученые! — скромно жеманилась Саша и вдруг точно обожгла блеснувшим взглядом.

— Ха-ха-ха! Сколько угодно! А вы такая же сердитая, как сестра ваша, или нет? Беда просто — съесть готова! Ха-ха-ха!

— За дело, стало быть, коли сердитая.

— А разве не бывает сердитых без дела? Характер сердитый. Впрочем, это очень идет к некоторым женщинам. Вам небось тоже пальца в рот не клади?

— Не советую.

— Прелестно! Ха-ха-ха! Так бы сейчас и пригласил вас к нам в гостиную. Скучища, я вам скажу! Видите, барышни наши разговаривать не мастерицы, так принялись в четыре руки барабанить.

Мимо двери прошла Ариша с подносом в руках, поглядела на них мрачными глазами.

Виктор мешал Саше пройти; она взяла вбок, чтобы обойти его.

— Куда вы?!

Девушка только поглядела на него.

...Вот дурак! Должно быть, ей надо сесть в прихожей с ними разговаривать!

Целый вечер Саше не удавалось с сестрой хоть словом перекинуться. Бегает взад и вперед и не глядит, подступиться нельзя, Саша, наконец, тоже терпенье потеряла; ночевать сегодня она не собиралась, и голова разболелась от жары.

— Да ты скоро ли со мной хоть слово вымолвишь? Для чего-нибудь я бежала к тебе на ночь глядя? — сказала она сердито.

Аришу и так все время тревога грызет. Она и сама не рада своему характеру. Ничем Саша не виновата, коли они с матерью переругались, да еще этих проклятых гостей принесла нелегкая! Но уж коли Ариша сердится на что-нибудь, так ей точно обидно забыть и смягчиться, хоть на одну минуту.

Не выпуская из рук бутылки и штопора, она нехотя прошла за Сашей в людскую. Там царил такой же хаос и жара, как и в кухне. Единственный стол весь загроможден посудой и бутылками. Разговаривать теперь все равно некогда. Саша позвала ее завтра зайти к ней в школу: проводить ее в Гагаринскую, дорогой и поговорят.

— Выдумаешь тоже глупости! — крикнула запальчиво Ариша.— Куда это я в будни проситься могу середи дня? Я завтра матине барышне кроить должна.

Саша ушла. Сказала только, что она с Афанасием Иванычем виделась, но рассказывать ничего не стала.

По-прежнему не выпуская из рук бутылки с ввинченным штопором, Ариша проводила ее мучительным взглядом.

...Вот теперь и ломай себе голову одна, сколько хочешь!

Она согнулась и изо всех сил потянула пробку. Бессознательно с такой же силой она стискивала челюсти.

Кате кажется, что в гостиной сегодня необыкновенно весело.

Ее подруга, Леля, и молоденькая сестра Звездочкина играли в четыре руки. Музыка — самый подходящий фон для захватывающего ее все сильнее странного настроения...

...Да, это несомненно... Звездочкин за ней ухаживает! И так открыто, как ухаживают, когда хотят дать понять, что под этим кроются серьезные намерения.

Все случилось внезапно — как горячий вихрь вдруг налетит и закружит среди голой степи... Катя не может

собраться с духом, чтобы оглядеться и вдуматься — куда же влечет ее этот вихрь?.. Она точно боится очнуться. Разом попала в атмосферу, от которой кружится голова... Когда к самому обыкновенному разговору, к самым простым словам и невинным поступкам само собой примешивается что-то непростое, неуловимое и важное...

...Что это такое?! Почему же нельзя, нельзя этому помешать?

Катя говорит себе, что это смешно, чтобы за ней, двадцативосьмилетней девицей, ухаживал юноша, товарищ ее младшего брата. Каждую минуту ей напоминает об этом болезненное чувство, скользящее поверх всех ее ощущений.

Но... Звездочкин с ласковыми улыбками и заразительным смехом болтает какой-то молодой вздор — и она не может сделать, чтобы это ей не было приятно... не может! Катя знает, что в этом что-то смешное, стыдное. Только она не может заставить себя хоть раз подумать об этом полными словами, одними мыслями — без смятения острых, то мучительных, то сладких ощущений. Какой-то вихрь безостановочно проносится в душе, заволакивая мысль душным туманом. Ощущения разрастаются со сказочной быстротой. Вчера, сегодня, завтра — все новое, другое... Вихрь мчит куда-то вперед, и вот именно тут, в этом ощущении открывающегося будущего — сладкое и острое до боли предчувствие счастья. Ей кажется, что бог знает, как давно был тот день, когда запал в ее душу первый звук ласкового молодого голоса...

Иногда она почти не различает, что именно говорит Звездочкин. Только видит, как миловидно шевелятся розовые губы под темными молодыми усиками и размыкаются над влажной полоской крепких белых зубов. Все равно, каждое слово волнует ее своим звуком! Веселые серые глаза беззаботно и ласково ищут ее взгляда.

Кате хотелось... хотелось, чтобы они были одни. Не для чего-нибудь особенного, о, нет! — только, чтобы не было кругом никого, ни чужих, ни своих. Для того, чтобы никто не наблюдал за чересчур продолжительным разговором на диване, чтобы никто не припоминал в эту минуту, сколько лет каждому из них, никто бы не делал никаких предположений на их счет.

Тогда им было бы только весело и радостно друг с другом. Она бы слушала его внимательно. Он — он, может быть, говорил бы о другом? Но им мешают. Он говорит свои пустяки, потому что ему не дают говорить иначе. Она

это понимает. И он чувствует, что она понимает. Оттого из пустяков с жуткой быстротой само собой вырастает что-то большое, серьезное.

При каждом удобном случае Звездочкин вплетает наскоро какой-нибудь бесцеремонный комплимент, от которого у Кати пылают уши. О! Она ведь так искренно «презирает» комплименты! Но она уверена, что он сказал бы это иначе, «если б мог», если б не было чего-то запретного, что тяготеет над ними. Она отбрасывает слова, схватывая один тайный смысл, от которого в ней что-то загорается. Да, да, всем существом своим она чувствует, что должна спешить! Какая-то холодная тень гонится за ними — надо спастись от нее...

Ни на минуту Катя не забывает, что должны думать окружающие, когда они ловят отрывки разговора на диване, слышат его беспечный смех, видят ее пылающее, счастливое и виноватое лицо. Она знает, что у нее лицо виноватое...

Катя поднимает смущенные глаза, когда к дивану подходит Виктор. Он присаживается около стола; вертит в руках альбомы, которые знает наизусть, смотрит им в лицо снисходительно усмехающимися глазами и отходит, не сказав ни слова.

Мама несколько раз вставала из-за карточного стола, между двумя робберами. Постоит около рояля, скажет, что барышни прелестно играют, и тоже подойдет мимоходом к дивану.

Катя краснеет сильнее и боится встретиться с ее взглядом. Звездочкин сейчас же вскакивает и без малейшего смущения развязно разговаривает о винте.

...Боже мой, как весело в гостиной!..

Наконец барышни кончили играть. Женичка Звездочкина подлетела к брату и с лукавым смехом спросила — заметил ли он, что именно они играли? Можно его проэкзаменовать? Ее глазки лукаво перепархивали от него к Кате, ласкавшей вздрагивающей рукой Дружка.

Дружок смотрел на нее жалобно слезящимися глазами и вилял хвостом. В первый раз еще его хозяйка забывала, что Дружку давно пора ужинать.

Прощаясь, Виктор ущипнул сестру за локоть и шепнул:

— Помни! Мне за него дюжина шампанского!

Офицеры скрылись в дверях с громким смехом. Чему смеется Звездочкин?

Катя прижимала к груди Дружка и боролась с желани-

ем расплакаться. За ее спиной в освещенных жарких комнатах разом упала тишина. Точно захлопнулась тяжелая крышка. Жизнь вырвалась на лестницу — сбежала вниз по гулким каменным ступенькам...

Мать ласково взяла Катю за подбородок и повернула к себе ее лицо, как делают с совсем молоденькими девочками.

— Eh bien?* — шепнула она шутливо.

Но вдруг совсем непроизвольно ее собственное лицо дрогнуло, и слова остановились в горле. Рука выпустила Катин подбородок.

— Она прехорошенькая, эта Женичка. На него похожа,— сказала генеральша через минуту.

— Она играет гораздо хуже Лели! — подхватила, внезапно одушевляясь, Катя.— Я вовсе не нахожу ее хорошенькой!

— Нет, нет, зачем быть несправедливой? Совсем куколка из бисквитного фарфора.

— Да, если любить кукольную красоту! Глупое лицо...

Женичке едва минуло семнадцать лет. У них нет ни отца, ни матери. В несколько визитов Катя узнала все подробности их биографии. Женичка обещала в следующий раз привезти показать портреты родителей.

Катерина Николаевна не задала ей сама ни одного вопроса. С первого взгляда в ней вспыхнула безотчетная антипатия к этой институточке, ласкающейся к ней с видом ребенка, которому старшие сказали, что это «добрая тетя».

Катя была рада, когда она осталась одна в своей тихой комнате.

...Боже мой... отчего было так весело сегодня?! Мысль бессильно билась в отуманенном мозгу и по-прежнему не подсказывала ничего ясного, что могло бы успокоить. Но рядом со слабеющим сознанием в ней крепнет что-то новое, непривычно твердое и упорное и со страстной силой увлекает в открывшийся внезапно просвет. Просвет из томительного прозябания пустого девичества — куда-то в простор жизни, где любят, страдают, наслаждаются. Если не кинуться сейчас, бесповоротно, в этот просвет — все будет кончено навсегда, потеряно — жизнь проиграна!..

Она сама не знала до этой минуты, что так страстно любит жизнь. Любит эту просыпающуюся способность любить и страдать... Звездочкина любит ли она? Когда Катя

---

* Как, хорошо? *(франц.)*

старается сосредоточить на нем свои мысли, она видит, как живой, весь его облик. Слова беспечно льются, льются, льются... Все равно о чем слова — лишь бы звучал свежий и звонкий голос, улыбались розовые губы, ласкал открытый взор веселых глаз.

Больше она ничего не знает о нем. Он приближается... Идет прямо на нее с этим загадочным ласкающим смехом... Он в чем-то безмятежно уверен, чего-то хочет. О, пусть он возьмет ее и унесет в жизнь из этой мертвой барской квартиры...

...Разве того она ждала?

Катя ничего, ничего не узнавала теперь из своих книжных знаний жизни, из своих смутных ожиданий. Это было совсем другое.

В этот день генерал вернулся из клуба в три часа. Проходя через гостиную, он заметил свет в комнате дочери. Вступив осторожно в темную спальню, он сейчас же почувствовал, что и жена тоже не спит.

— Что это у вас за soirée* сегодня? А? У Кати до сих пор огонь.

Генерал сказал это возбужденным голосом человека, который совершенно неожиданно почувствовал себя в приятной гармонии с окружающим.

— Неужели она не спит? Впрочем, так и надо было ожидать! — протянул значительно в темноте голос жены.

Муж зажег свечку и стал предлагать один за другим целый ряд вопросов: что за гости? почему именно сегодня? отчего его никто не предупредил?

Ни на один из вопросов не последовало ответа. Должно быть, в этом не было ничего необыкновенного или собственные вопросы интересовали генерала не настолько живо, чтобы стоило настаивать. Однако через порядочный промежуток времени, в самый разгар его мысленных колебаний — какой именно из первоклассных ресторанов выбрать для предстоящего интимного ужина — жена неожиданно спросила его:

— Ты не знаешь, кто был отец этих Звездочкиных?

— Что такое? Eh voilà un fameux nom de famille!** Откуда выкопали?!

---

* вечеринка *(франц.)*.

** Тоже мне знаменитая фамилия! *(франц.)*

Разумеется, с его стороны это было прямо неосторожно.

...Выкопали! Выкопали!.. Конечно, почему же и не быть разборчивыми при их-то обширном знакомстве? У них ведь такой богатый выбор!! У отца полгорода приятелей — за женихами дело не станет.

Генерал нервно жевал усы и выжидал момент, когда метафоры прервутся за истощением дыхания. Свечу он потушил и только было успел почувствовать, как приятно мирно вытянуться на свежем белье. В носу, во рту, в ушах еще чувствовалась клубная копоть.

— Послушай, ma chère... Moi, je trouve ça un peu lourd pour trois heures du matin... hein?* Откуда вдруг жених! Как это говорится — не было алтына... не было алтына...

— Ах, оставьте, по крайней мере, русские пословицы! Удивительно, как еще вы говорить-то не разучились в обществе французских кокоток.

Супруг снисходительно хихикнул в темноте.

— Ну, что вы можете знать о моем обществе? Русские жены ничего не умеют вообразить себе, кроме французских кокоток. C'est vieux jeu ça!** Право, mesdames, давно пора изобрести что-нибудь свеженькое.

Циничная выходка сошла с рук безнаказанно: жена была слишком поглощена собственными думами.

В обыденном течении жизни этот глава семьи почти совершенно стушевывался. Давно уже его неведомое отдельное существование не имело никакой связи с монотонным прозябанием маленькой приличной семьи. Чересчур приличной для того, чтобы в ней возможны были неожиданные встречи, интересные приключения, случайности — какое-нибудь свободное вторжение внешнего мира, от которого она пряталась в своей прекрасной квартире. Если генерал пользовался безусловной личной свободой, заставлявшей его подчас забывать, что ведь, в сущности, он женатый человек,— зато и домашним своим он не предъявлял решительно никаких стеснений: его дамы могли проживать, где и как им угодно, вполне приличный бюджет, ассигнованный для них. Тем хуже для них, если они были неизобретательны!

Так безмятежно катится жизнь до поры до времени. Но

---

* Но я нахожу, что это немного сложно для трех часов утра? *(франц.)*
** Это старые игры! *(франц.)*.

есть роковые моменты в семейных существованиях, когда каждый из членов семьи, как бы разрознены они ни были, помимо своей воли, ощущает неразрывную связь, образующую из них одно целое. Вопреки их воле, желаниям, нередко вопреки интересам.

Веселый генерал не часто вспоминал, что у него есть дочь. Его супруга многое в своей жизни помнила несравненно живее наивных перипетий далекого девического романа, в которых она всю свою жизнь раскаивалась. Но, конечно, генерал любил Катю, и минутами ее судьба его озабочивала.

По правде сказать, он не имел ровно никаких представлений о вкусах и симпатиях молчаливой Кати. За кого могла бы выйти замуж такая серьезная, благовоспитанная и небедная девушка? Да, вероятно, за каждого приличного молодого человека, которому пришла пора жениться (к счастью, наивные люди еще не перевелись на белом свете!). Она могла выйти за каждого, кто ищет в женитьбе спокойного счастья, не подозревая, что его ждет невыносимая скука. Chacun a son tour, mes enfants!*— ведь и он тоже женился в двадцать пять лет на хорошенькой девочке, и они прожили свой век не хуже других. Семейные драмы изобретаются любителями трагических ощущений — жизнь вовсе не так замысловата, если только смотреть на вещи трезво. Жизнь слагается из вполне определенных, неизбежных стадий: дети рождаются, крестятся, делают зубы, болеют; их отдают в школы, претерпевают экзамены, переэкзаменовки, выпуски; потом их выдают замуж и женят. Все это сопряжено с большими расходами и большими женскими слезами. Это семейная жизнь.

Генерал слышал в темноте, как его жена плакала. Она долго не хотела сказать ему, кто же, наконец, этот Звездочкин?

Nuit porte conseil**. Ничего не может быть полезнее, как выплакаться досыта с вечера. Утром супруги перекинулись всего несколькими фразами, в то время как генерал собирался на службу (при этом он каждый день непременно называет себя «крепостным человеком»). Вопрос сам собою встал ясно без ни к чему не ведущих сентиментальностей. Если Кате нравится Звездочкин, то какое право имеют родители мешать?

* Каждому свой черед, дети мои! *(франц.)*

* * Ночь успокаивает *(франц.)*.

X

На другой день, сверх ожидания, Арише все-таки удалось вырваться из дому. Когда она прибежала в Надеждинскую, Саша была уже одета и не соглашалась ждать ни минуты.

Ариша должна была проводить ее до Симеониевского моста и, что называется, света невзвидела, выслушивая залпом одну за другой ее поразительные новости. Пальто она принуждена была расстегнуть на морозе и едва поспевала восклицать:

— Да никак ты рехнулась?!

— Да ты хоть бы словом одним меня-то спросила сначала!

— Да что я тебе, девчонка далась бессловесная?!

За Симеониевским мостом Саша остановилась на минутку и объявила: коли Арише все это не нравится, так ведь никто ей не мешает сказать Картышеву, что она передумала. Кажется, ее не перевенчали еще ни с кем? И бумаги никакой она не подписывала? И подарков от жениха не принимала?

— Ну, и на здоровье! Отказывайся, коли не хочешь! Жди у моря погоды да скачи век свой по-вчерашнему.

Саша кивнула головой и побежала дальше, нагоняя потерянное время.

Ариша осталась одна среди сумятицы бойкого перекрестка. Два раза чуть-чуть под дышло не угодила, пока не выбралась на тихую набережную.

Ноги подкашиваются — кажется, так бы и присела на первую тумбу! Всегда в такие минуты ее тянет сунуться куда-нибудь в тишину. Осиливает ураган, бушующий внутри... Но сколько на свете живет, никогда еще ей это не удавалось. По каким, каким углам не приходилось прятаться в мастерской, выплакивая какую-нибудь непереносную обиду,— и быть сейчас же со скандалом открытой, изгнанной, выруганной за леность...

А теперь, кажется, и того хуже? День-деньской у матери на глазах. Делать ей больше нечего, как только следить за ее каждым вздохом! А уж не приведи бог поругаются — по стуку машинному мать хочет отгадать, о чем Ариша думает.

В этот день Авдотья была уверена, что Ариша нарочно старается выводить ее из себя. Все у нее из рук валится, слова толкового не добьешься. Даже и не огрызается, как

обыкновенно,— молчит себе, точно как дура какая-нибудь, да мечется без толку.

— Вот уж когда прогнала-то бы я тебя на месте господ, сейчас бы прогнала! — донимала Авдотья.— Да ни за что не стала бы за свои деньги держать такую рохлю! Ну, чего ты точно как отравила кого-нибудь?!

Не подозревала Авдотья, что этот день Ариша переживала лицом к лицу с любезным ей Афанасием Ивановичем. Нейдет он у нее с ума, да и полно! Каждым словом своим Саша гвоздем вливала его ей в голову. Раз десять, по крайней мере, Ариша гневно сказала себе: «И думать-то о нем я не хочу»! Вот, стало быть, сколько уж раз подумала.

Мастерскую Саша так расписала несколькими словами, что теперь Ариша точно видит ее перед своими глазами. Веселенькая квартирка — не такой «гроб», как у ихней немки! И школу французскую сейчас же вспомнила, которой немка перед мастерицами хвасталась. Да, пожалуй, еще и лучше той найдется какая-нибудь?

— Господи, воля твоя... и придумает же человек! — шептала Ариша под вечер, уже окончательно выбившись из сил. Точно подслушала Саша, как она иной раз о собственной мастерской мечтает: крадучись, от самой себя пряталась.

На другой день горничная в полосатом платье прибегала из Надеждинской с запиской. Саша велела отдать записку младшему дворнику и попросить передать Арине Петровне в собственные руки. Молодец Егор давно заглядывается на Сашу и обделал поручение в лучшем виде. Пришел за помойным ведром и шепнул:

— Выдь-ка на лестницу. Дело есть до тебя.

Бумажка обожгла пальцы Арише.

Саша писала, что она получила ответ от Картышева. Он на все соглашается и спрашивает, можно ли ему явиться к Арине Петровне или ждать, когда ему дадут знать. «Что ответить ему?» — спрашивала Саша.

Ариша в эту минуту сама на себя подивилась: важное известие не сделало на нее особенного впечатления, точно в своих мыслях она и не допускала уже ничего другого. Как будто со вчерашнего дня что-то было решено без слов.

. . . .

Наконец генеральша обратила внимание на то, что в кухне у них творится что-то особенное.

Аришу нет возможности удержать в комнатах — точно паркет горит у нее под ногами; не дослушав хорошенько

приказания, кидает свое машинальное «слушаю-с» — только чтобы улизнуть в кухню!

Авдотья точно голову потеряла на старости лет: готовит из рук вон небрежно, все забывает. Крик поднимает из-за каждого лишнего шага. На кухне постоянно какое-то шмыганье. Саша прибегает чуть не каждый день, гости какие-то повадились — совещания да угощенья нескончаемые.

— Да у них там такая кипучая жизнь, что скоро, должно быть, нам уж придется им прислуживать! — восклицала раздосадованная барыня.— Вот что значит, здорово живешь, поселить у себя целое семейство!

Впрочем, эти жалобы не имели никакого практического значения. К «семейству» все до такой степени привыкли, что даже и подумать невозможно поселить на кухне каких-нибудь чужих людей. Лишиться несносной Авдотьи представлялось чем-то прямо опасным: все равно как оставить открытой дверь на улицу. Но у облагодетельствованной кухарки появился совершенно нестерпимый тон, точно каждую минуту она грозит все бросить и уйти.

— Что ж, ищите лучше, коли я вдруг никуда не годна стала! — бушевала она, не слушая резонов.— И всего-то ведь двадцать годков послужила!

Всякая попытка доказать ее неисправность сейчас же превращалась в вульгарную перебранку с собственной прислугой, где преимущества всегда на стороне тех, в ком больше нуждаются.

— Местов, что ли, в Петербурге нет! — кричала воинственно кухарка, в то время как барыня...

Что ж, сознаемся! — бывали минуты, когда барыня плакала, и преобидными слезами. Большую роль во всем этом играло особенное стечение обстоятельств: непривычная нервозность кухни и усиленная требовательность горниц выступали особенно заметно оттого, что прежняя тихая и уединенная жизнь маленькой семьи сильно изменилась за последнее время.

Теперь чуть не каждый день Екатерина Николаевна принимает гостей или сама отправляется на прогулки, выставки, в театры или концерты. Катя переодевается по нескольку раз в день: Ариша завалена спешной и неожиданной работой. Ее рассылают с записками по лавкам и портнихам, торопят с утра до ночи. Ее дурное расположение духа, ее рассеянность на взволнованную Катю действуют точно незаслуженная обида: в кои-то веки раз судьба улыбнулась ей! Хотелось, чтобы все окружающие сознавали,

как для нее это важно; чтобы все эти веселые заботы и радостные сборы принимались сочувственно, а не с досадными минами и нетерпеливым ропотом.

Катя наивно не отдавала себе отчета в том, что для ее горничной это только лишняя работа, отрывающая еще больше от ее собственной жизни. Ничто, конечно, не могло сравниться с важностью готовившегося события... Чтобы за дверью, разделяющей два мира, в это же самое время могли готовиться свои события, барышне попросту никогда не приходило на ум.

— Нет, этих людей ничем нельзя купить, ничем! — повторяла Катя все чаще любимую фразу своей матери.

Между тем «семейство» в людской каморке и не подозревало, что оно проявляет черную неблагодарность.

— Бьешься, бьешься день-деньской, точно каторжная! — жалуется ежеминутно Авдотья с тех пор, как в мечтах ее носится казенная квартира на вокзале и представительная фигура нареченного зятя, до смерти любящего угостить по всякому поводу.

Престиж Саши вырос в глазах матери до совершенно сказочных размеров; о своей любимице Авдотья не может говорить без умиленных слез. Шутка ли, с каким умом девочка оборудовала такое дело! Уж можно сказать, что Арина упряма, как стена, и о Картышеве даже и слышать не хотела. Так ведь нашла же Саша, чем взять ее!

Теперь Ариша летает точно как на крыльях. Важная стала такая, что мать то и дело должна напоминать: «Погоди, еще не вовсе барыня! На-ка вот, сбегай в лавочку — луку забыла взять на две копейки».

Не то чтобы Ариша ленилась; напротив, она вся горела страстным желанием скорее схватиться за работу. Но только работать для себя: трудиться над мудреной, огромной задачей передвижения из того темного угла, где забрезжила для них жизнь. Она была охвачена беспокойным и увлекательным ощущением путника, нежданно-негаданно собравшегося в далекий, неведомый путь. Ариша от еды отбилась и по ночам спать не могла до зари; а утром вставала отуманенная беспокойными снами.

Чужие заботы, постылая будничная работа совсем непроизвольно выпадают из памяти.

— И как это можно день-деньской сложивши руки сидеть, в книжку глядеть? Хоть бы для моциону Катерина Николаевна пыль у себя сама смахнула! — резонирует Ариша, раздосадованная заслуженным выговором.

— А ты-то тогда за что десять рублей получать будешь? — парирует сейчас же мать.

— Найдется за что... не великий капитал! В мастерской за одно платье порядочное десять рублей заплатят.

Теперь для Ариши не существует уж другого масштаба. Стучит швейной машинкой и мысленно с горечью высчитывает, на какую сумму она за целый год нарабатывала на своих генеральш.

Да и перед женихом положение кажется унизительным. Только сядут чай пить и Афанасий Иванович развернет гостинец, без которого он никогда не является к невесте,— а в коридоре, точно как нарочно, заливается уж проклятая трещотка.

Тут важный разговор: жених смету мастерской принес, которую для него знакомый опытный человек сделал, а Катерина Николаевна стакан воды спрашивает или в лавочку за почтовой маркой посылает.

— Да что у них — капиталу не хватает, чтобы разом на почте закупить? — возмущается раздосадованный жених.

Афанасий Иваныч торопит с свадьбой; но Ариша не хочет, пока она для себя мало-мальски всего не справит. Хоть приданое и справляется на жениховы деньги, но самолюбивая Ариша понимает разницу: привезти ли его готовым в собственных сундуках или потом шить украдкой от вокзальных сплетниц.

В сущности, Ариша не успела еще разобраться хорошенько в собственных чувствах; она переживала первый прилив гордого удовлетворения. Теперь с радостным чувством собственности, вместо прежней безотчетной девичьей досады, невеста слушает, как мать рассыпается в восторгах перед деловитостью, важностью и щедростью жениха. Он становился неотъемлемой принадлежностью заветной мастерской,— не дорожить им, все равно что не дорожить всем этим блестящим будущим.

Думает и мечтает Ариша всегда только об этом внезапном перевороте всего ее существования, таком заманчивом и неясном. Сама того не сознавая, она уклоняется останавливаться мыслью на самом женихе, на этом пожилом человеке, осторожно и как-то несвободно порывающемся показать ей свою любовь.

Очень уж неспособно было Афанасию Иванычу развернуться во всю широкую натуру в тесной кухонной каморке, на глазах у старой приятельницы Дуни и у красавицы

Саши, волновавшей его не меньше самой невесты. Два раза жених водил барышень в театр и в цирк. Ну, само собой, там от начала и до конца они не уделили ему ни одной минутки своего внимания. Упрашивал жених Аришу погулять с ним вдвоем в праздничный день, да так и не мог этого дождаться; невеста дорожила каждой свободной минуткой для своей работы.

Саша, сколько могла, тоже помогала сестре шить приданое. Но такой уж у нее характер беспокойный: переживаемые события, с той минуты, как они совершенно налажены, больше не удовлетворяют Сашу. Она уж ломает голову над тем, что дальше будет, как будто необходимо наперед все предрешить, чуть не до гробовой доски.

Сашу озабочивало одно соображение: не будет детей, должно быть, у Ариши, коли от первой жены не было. А тогда, что же за семья без детей? Саша находила, что тогда и стараться как будто не из-за чего. И она пресерьезно принималась теперь же убеждать сестру, чтобы она взяла себе приемыша. Жалко, коли не свои, да что ж с этим делать? Не для себя же самой трудиться, работать, деньги наживать! Саша бралась даже, в случае нужды, уговорить Картышева, а в Надеждинском, слава богу, есть из кого выбрать славного ребеночка. Под влиянием таких мыслей Саша начала даже с особенной нежностью присматриваться к каждому новому гостю земной юдоли, среди которых проходила ее жизнь,— точно хотела заранее наметить будущего племянника.

Детей Саша всегда любила. Конечно, в свое время будет у нее собственная семья, но это еще так далеко, что думать скучно. Ее личные желания и надежды еще разбегались беспорядочно, как чересчур звонкое эхо по лесу, когда и не схватишь сразу — с какой стороны оно откликается? Она как будто боялась прогадать, поставить себе какие-нибудь определенные рамки.

Не загадывая далеко, Саша находила, однако, что ей необходимо нужно поучиться «хоть сколько-нибудь» французскому и немецкому языкам. У хорошей акушерки практика во всяких домах случается. Как водится, из-за этого они с Аришей горячо повздорили. Не легко Арише переварить такую новую дерзость Саши! Перед кем? Она сама не отдавала себе отчета, но закипала вся каким-то строгим и раздражительным чувством.

Саша только тем ее и успокоила, что все равно на такую затею денег взять неоткуда. Разве что сама Ариша, как

замуж выйдет, так в долг ей поверит. Саша подразумевала при этом не Аришу, а самого Афанасия Иваныча и про себя считала эту затею гораздо менее несбыточной, чем говорила. Отношения с будущим зятем были у нее наилучшие.

Картышев не раз высказывал с большим чувством, что он всем своим счастьем обязан ей одной. И еще точно было что-то такое между ними... Тот глупый разговор, может быть, когда она чай пила, сидя на подоконнике?

Глупый не глупый, а без того разговора ничего бы теперь и не было! Саше весело думать об этой свадьбе, которой никогда бы не бывать без ее смелого вмешательства. И чего это люди всего трусят? До сих пор Саше никогда еще не приходилось раскаиваться в своей смелости, и смелость только росла в ней вместе с успехами.

Но как во внешнем ходе событий, так и в двигавших ими внутренних побуждениях роль самих людей была лишь второстепенная. Над личностью здесь властно царили жизненные интересы, все сложные условия того созидательного процесса, каким должен осуществиться тяжкий подъем на одну ступеньку вверх по общественной лестнице.

XI

У господ помолвка Екатерины Николаевны все еще не была объявлена. Саша всякий раз, как прибежит, так первым вопросом справляется:

— Ну, что? Сделал офицер предложение или нет еще?

Авдотья каждый раз рассердится:

— Поди сама в горницы да спроси, как это тебе не доложено до сих пор!

Саша хохочет. Да уж чего скрывать, коли все равно на лбу все написано! Обработал всех мальчуган, молоко на губах не обсохло.

Впрочем, Авдотья избегает пускаться в обсуждение этого вопроса по существу. Девчонкам «потакать» не хочется, а и защищать тоже сама не знаешь как... Быть генеральской дочери за поручиком, да еще сестренка эта у него на шее! Птенчик бесперый, едва из гнезда, а тоже сумел выглядеть, где бы ему в чужом гнезде потеплее приютиться.

В своей среде кухарка Авдотья находила бы подобную комбинацию как нельзя более в порядке вещей — ведь ставила же она в величайшую заслугу хорошо обеспеченному Картышеву то, что он не польстился на приданое. Но для господ у Авдотьи имеется совершенно иной круг понятий,

и тут безденежный жених не заслуживает с ее стороны ничего, кроме искреннего презрения. Но осуждает Авдотья не Катеньку, а генеральшу: потерпела бы еще хоть маленько! Может быть, и навернется еще человек стоящий.

Зато дочки Авдотьины безо всякой жалости высмеивали между собой «старую деву». Однако и тут осуждается не самый факт — он для девушек понятен: до каких же лет ей еще дожидаться? Возмущала их именно эта очевидная, беспомощная влюбленность Кати. Тот же самый шаг, сделанный по холодному расчету, ничуть не унизил бы ее в их глазах, а, напротив, заслужил бы одобрение.

«Ну!.. распустилась вся, словно мед!» — думала не раз с негодованием Ариша, глядя на то, как барышня не знает уж чем и угодить желанному гостю.

Наряды, прически, выезды — все это делало Катю еще более жалкой в их глазах и не заслуживающей снисхождения. Было бы для кого разрываться! Что касается жениха, то Авдотьины дочки давно разобрали его по косточкам, живого места не осталось.

Перед праздниками Катерина Николаевна, после мучительных колебаний, решилась поехать на бал медицинских студентов. Уже несколько лет, как Катя перестала выезжать на публичные балы; кавалеров знакомых нет, а за скуку каждый раз еще поплатишься головной болью. Но Звездочкины собирались на этот бал, и Катю охватила лихорадка. Точно ей нужно было доказать другим или себе самой, что для нее ехать на бал совершенно так же естественно, как и для вчерашней институтки, мечтавшей о танцах, захлебываясь от восторга. Было что-то невыразимо горькое, больное, обидное в мысли остаться дома, отпустить туда *его* без себя... точно добровольно сознаться в чем-то!

К вящему смущению Кати, ее в этом никто не поддерживал.

— Как хочешь. Но ты не боишься, что будешь лежать на другой день? — процедила неопределенно мать.

— Да?! Ха, ха!.. Что ж! Пустимся уж и в пляс заодно! — рассмеялся Виктор и тут же чмокнул ее в щеку, чтобы смягчить грубость.

Теперь каждый день Катя с матерью разъезжают по магазинам и портнихам. Проводив их как-то после завтрака, Ариша отложила в сторону господскую работу и поспешно принялась за свою собственную. Сквозь напряженный стук машины она услыхала звонок в прихожей и попросила мать отпереть, чтобы не отрываться от работы.

— Ступай, Виктор Николаич тебя спрашивает,— сказала, вернувшись, Авдотья.

— Так ты рази не сказала, что в Гостиный двор уехали? — переспросила для чего-то Ариша.

— Говорю — тебя спрашивает.

Виктор Николаевич за последнее время приезжал домой чаще обыкновенного, но для Ариши он перестал существовать. Ее рессеянные глаза, всегда полные жадных дум, встречались с его взглядами, не замечая их красноречивого языка.

Поручик по-прежнему ловил горничную, где только мог, чтобы шепнуть: когда же она перестанет дуться на него? И по-прежнему не верил ее сердитым ответам.

Разумеется, Ариша сейчас же поняла, зачем молодой барин остался дожидаться своих, хотя ему все по очереди докладывали, что они только сейчас уехали.

«Что ж, видно, побеседуем разочек на прощанье, Виктор Николаевич! Надо этому конец сделать»,— сказала себе Ариша с внезапной решимостью.

Какое-то сложное чувство зашевелилось в ней в эту минуту. Страстное желание доказать свою независимость перед этим человеком, так упрямо ее преследовавшим, и в то же время проститься навсегда с чем-то горьким, в чем все-таки мерцала искорка молодого счастья. Затоптать ее скорее, эту искорку!

Офицер успел сам снять пальто и ожидал ее, стоя в дверях гостиной.

— Соблаговоли, госпожа принцесса! Я думал, что мне придется самому на кухне вам представиться! — встретил он ее с натянутым смехом.

— Что вам угодно, Виктор Николаевич? — спросила важно Ариша.

Вместо ответа он взял ее за руку повыше кисти, как берут упрямящихся детей, и повел в комнату матери. К его изумлению, девушка и не думала сопротивляться; она спокойно шла с ним рядом и чуть-чуть улыбалась кончиками губ.

Виктор не понимал, какая перемена произошла с Аришей со времени знаменательной сцены в темной ванной, которая, по всем соображениям любовной психологии и практического опыта, должна была окончательно отдать влюбленную девушку в его власть. На другой день он просидел до вечера дома, уверенный, что она покорно явится с забытым портсигаром. Каждая новая встреча разочаровы-

вала его и в то же время еще больше сбивала с толку. Виктор чувствовал, что прежней тревоги нет в Арише, почему-то ему больше не удается вызвать ее.

В комнате генеральши Ариша высвободила свою руку и сейчас же принялась переставлять с места на место мелкие вещи на туалетном столике. Виктор бросился в качалку и рассматривал ее с беспокойным чувством.

«Тоже горничная! Много их теперь таких развелось, — пока не заговорила, и не отличить от барышни»,— подумал он.

— Вы меня зачем звали, Виктор Николаич? У меня работы не обобраться.

И повернулась вполоборота, точно готовясь уходить.

Виктор остановил ногой качалку.

— Жалуются на тебя все, так я хочу знать, что это означает,— сказал он, помолчав.

Ей это неприятно; покраснела, и на столе что-то стукнуло.

— Ты, может быть, жить больше не хочешь? Я так догадываюсь.

Ее взгляд скользнул по нему с удивлением: неужто он забыл, что она тогда сказала ему?

— А я, знаешь, думаю, что тебе жить здесь совсем недурно! И вряд ли даже где-нибудь будет лучше. Право!

Качалка опять начала подниматься и опускаться плавными взмахами. Пара стройных блестящих сапог замелькала перед опущенными глазами Ариши.

— Или это ты на меня так уж страшно сердишься? — заговорил он тише и засмеялся с самодовольной беспечностью мужчины, уверенного, что в него влюблены.

Ариша смело пошла на этот разговор. Но вот, против всех ее ожиданий, насмешливый голос с вызывающими интонациями быстро пробирается в душу какими-то готовыми путями. Сердце забилось скорее, точно повинуясь знакомому призыву. Но она была вся настороже. Густые брови сурово сдвинулись, лицо побелело.

— Напрасно вы, Виктор Николаич. Я вам сказала же, что я замуж иду,— выговорила она твердо.

Виктор, как подброшенный, вскочил на ноги.

— А-а-а! Я ведь совсем позабыл об этом! Просто не поверил, признаться. Так ты не шутишь? Ведем, значит, свою линию?!

Он близко заглянул ей в лицо блестящими глазами.

Они лукаво подмигивали: понимаю, мол, что сей сон означает!

Девушка отстранилась, бессознательным взмахом откинула голову, и две пары глаз столкнулись.

«Шалишь, милая, меня не переглядишь!» — усмехнулся победоносно поручик. И правда: в его взгляде с каждой секундой приливали волны задорной ласки, а взор девушки ускользал, отступал перед внезапным натиском... В лицо тяжело ударила краска и залила его до самых волос.

Вот из его груди вылетел негромкий, хриплый звук... Руки нервно потянулись к ее плечам.

Ариша трепетно вздохнула, точно охнула, и резким взмахом оттолкнула его руки.

— Бога в вас нет... стыда! И сами не любите ни чуточки, на что я вам далась?! Так, ни за что погубить добиваетесь... Человека никогда в глаза не видали, а уж на обман подбиваете...

Теперь глаза, горевшие гневом, твердо смотрели ему в лицо, лоб побелел.

— Вам кто сказал, что я бесчестная? На шею вам кинуться давно могла, кабы хотела... Зачем же мне неповинного человека запутать понадобилось?

— Тсс... скажите на милость!! Чем это не проповедь! — воскликнул офицер, отступая на шаг назад.

— Расстаньтесь вы с этими мыслями! Оставьте меня!! — взмолилась вдруг тоскливо девушка и всплеснула в отчаянии руками.

Сама собой внезапно вырвалась мольба прямо из сердца.

— Кабы не знал, что ты, глупая, любишь меня, так и сам давно бы оставил,— какая невидаль, подумаешь? Не лги, не лги напрасно! Отчего же ты боишься меня, коли не любишь?

— Как же не бояться-то, коли в вас нет совести! За что мне любить вас? Что было-то? — слезы!

Ариша не знала сама, зачем говорит это. Страстная тоска давит сердце, точно на волю вырывается.

— Ха! А кто виноват, что ничего хорошего не было? — подхватил он горячо.— Вот тоже славно, она же еще и попрекает меня этим!

Он опять попытался овладеть ее руками, но Ариша метнулась к двери.

— Ну, ну, не трону — кошка дикая!

Виктор Николаевич с досадой кинулся в качалку; руки

точно от искушения засунул за спину и злобно оттолкнулся ногой от пола. Блестящие глаза, полные нетерпеливых желаний, напряженно следили за девушкой. Он больше не улыбался.

Ариша колебалась. Уйти теперь, так все по-старому с ним останется. Теперь-то с полгоря, а с мужем как раз в беду попадешь.

— Послушай, Ариша... подойди-ка сюда! — заговорил вдруг Виктор как будто не своим голосом; серьезно, точно весь вдруг старше сделался.

Девушка недоверчиво пододвинулась к качалке.

— Говори всю правду: ты зачем замуж идешь за какого-то урода? Известное дело, у вас если хороший жених, значит, старый черт какой-нибудь. Говори, зачем тебе это понадобилось, если ты и в самом деле от меня отделаться собираешься?.. Ну? Или... или ломаешься только, кокетничаешь? А? Аришенька!

Он поймал ее руку и мял ей пальцы, холодные и вялые в его горячих руках.

— Побожилась бы я вам... так ведь вы в бога не верите! — выговорила сразу Ариша.

Тоскливо так, горько!

— А-а!.. Ну, стало быть, пристроиться хочется? Работать надоело, думаешь, что и в самом деле барыней заживешь. Д-дуры вы, дуры!

Ариша вырвала у него руку, грудь ее высоко поднялась, голос вылетел из нее звенящим металлическим звуком:

— Слугой вашей больше не буду, не хочу! Что ж за беда, что старый, коли он честно любит меня? Ничего не жалеет для меня.

Офицер весь красный вылетел еще раз из качалки. «Ничего не жалеет»? Так вот, стало быть, в чем весь и секрет!

— Отчего же ты со мной сначала не поторгуешься? Может быть, я дороже дам! Я ведь не знал, что тебя можно купить. Квартиру нанять могу, сделай милость, коли тебе барыню разыгрывать надо.

Тогда, задыхаясь от обиды, путаясь в словах от волнения, Ариша пыталась нарисовать ему великолепную картину своей будущей жизни. Вот когда она проклинала свое неумение говорить складно и красиво, как Саша! О, Саша живо загоняла бы дерзкого барина, а она сама приходила в отчаяние от своих сухих, бледных слов.

Понял бы и ее, кто захочет,— а Виктор Николаевич

слушал, слушал, да вдруг начал хохотать долгим презрительным смехом. Так что снова в качалку повалился, и на глазах выступили слезы.

— Ох! Уморила совсем! Так вот чем он купил тебя! Хозяйка? Мадама? Madame Julie на вывеске напишешь? А по-моему, валяй лучше madame Arina — на испанское смахивает... ха-ха-ха! Вот в чем честолюбие наше, оказывается!

— Должно быть, любовницей офицерской лучше быть? Честь какая!

Виктор Николаевич перестал смеяться и впился в нее горевшим взглядом. По мере того как тянулась эта сцена, в нем точно какой-то клубок разматывался, заполнялось быстро сердце чем-то и новым, и знакомым вместе. Недаром это что-то, заброшенное, стиснутое небрежным комочком, все-таки упорно продолжало жить и по временам беспокоило его своим присутствием.

Теперь он вдруг ясно почувствовал, что маленькая Ариша, героиня его детства, превратившаяся в красивую сердитую девушку, что эта упрямица холодная вовсе не в шутку мила ему. Смешно, а сейчас никого и нет милее этой горничной, с ее несокрушимым упорством и первобытными мещанскими мечтами.

В первый раз еще они так разговаривали на свободе, как равные, а не обменивались украдкой отрывочными фразами, которые он насильно вырывал у нее.

...За старика... мастерская... Нет, шалишь! Так дешево он не уступит ее...

Не предчувствовала Ариша, что ждет ее, когда решилась пойти на это последнее объяснение с барином. Оглушенная, растерянная, она едва верила своим ушам, когда Виктор Николаевич — без обычных насмешек и нахальства, а горячо и просто — стал предлагать ей точно такую же мастерскую, какую ей обещал жених. Он тоже может устроить ей это. Будет она сама хозяйка, станет на ноги с его помощью — только не будет старого, немилого мужа. Будет вместо него молодой барин, тот самый, кого она с детства любит...

...И все, что будет, все блаженство искренней страсти, молодая радость, счастье — все это он обещает, клятвы дает. Обнимает, ласкает ее всю своими жгучими взглядами, дыханием, голосом... Дотронуться до нее не смеет — убежит! Но Арише все-таки кажется, что она в его объятиях. Точно он целует ее, как тогда в темной ванной, как давно,

давно целовал ее под розовыми цветущими яблонями деревенского сада...

Ариша не заметила, как она опустилась на близкий стул. Как во сне, она боялась вздохнуть громко, вся застывшая от испуга.

...Ураган... Гроза разразилась над головой нежданно... с треском и блеском. Только бы не убила до смерти гроза!

Виктор Николаевич перевел дыхание, подошел и нетерпеливо тронул ее за плечо.

— Ну что же?.. Ты молчишь! Ариша?!

Нет, не убила гроза. Ариша глянула ему в лицо огромными, растерянными глазами и отчаянно потрясла головой.

— Нельзя, нельзя так! Голубчик, Виктор Николаевич, нельзя. Я должна честно — не могу я так!

Он оттолкнул ее плечо и забегал по комнате.

Честно — туда же!

— Старику продаться — честно? А по любви грех?! Эх вы, тьма безвыходная!

Ариша поднялась со стула. Ноги плохо держали ее. В ушах гул, точно где-то вода льется, а сердце в груди еле шевелится, жалкое, как избитое.

Он грубо остановил ее.

— Постой! Мало, может быть? Так говори прямо, чего же ты хочешь?..

Не сразу Ариша опомнилась после этой сцены. Не скоро — да зато хорошо. Вместе с нежданно налетевшим и теперь отхлынувшим смятением точно какой-то туман постепенно рассеивается в ее душе.

Дошла до последнего края, где уж дальше ступить некуда, остается только вниз головой в пропасть кинуться. И Ариша поняла, как совсем, совсем ей не нужно этого! Навсегда поняла. Нет, нет! Если бы и никакой другой судьбы не было, и тогда не пошла бы на это. Прямо людям в глаза глядеть — гордиться своей жизнью — вот чего она хотела.

Перед живым соблазном страсти, опалившей ее так близко своим огненным дыханием, в этой молодой душе сильнее и сознательнее зазвучали в ответ совсем иные голоса. Любовь и благоговение перед жизнью. Перед трудом жизни. Страх личного произвола, отвращение от всякого незаконного пути — и страстная, ревнивая решимость уйти своим путем как можно дальше. Обогнать на нем многих, многих в этом стремлении снизу вверх!

Влекло не понимание, не идея, нет — простой инстинкт созидательных сил, заложенных в природу человека. Случай разбудил эти силы; их кипение давало ей, как и Саше, своеобразное ощущение счастья. Счастья, заключенного в них самих, а потому надежного, ясного.

Люди не играли первенствующей роли в замыслах энергичных сестричек. Вместо Виктора Николаевича и Афанасия Ивановича могли бы быть другие лица, но ничто оттого не изменилось бы. Все равно Ариша отвернулась бы от того, кто увлекает в таинственную пучину ощущений, и пошла бы за тем, кто может вывести на широкую жизненную дорогу...

На другой день Ариша встала как встрепанная. На сердце у нее было так тихо, чистенько, точно в новой с иголочки квартирке, где только что расставились.

Целое утро Ариша все думала о Картышеве. Хорошо думала, как никогда еще не случалось до сих пор: о нем самом думала — про мастерскую свою точно как позабыла. При этом оказалось, что Ариша уж много и даже очень много хорошего знает про своего жениха. Добрый он, ласковый. Не жадный, и характер приятный. Дурой надо быть, чтобы с таким мужем не ужиться!

А Афанасий Иванович точно вот почуял что-нибудь — объявился на Фонтанку в самое неурочное время, между завтраком и обедом. Пальто он не снимал; стоя около стола в людской, бережно вытащил из кармана какой-то пухлый бумажный сверток.

Ариша полоскала графин под краном и через открытую дверь на него поглядывала.

— А ну-ка, пожалуйте сюда взглянуть, Арина Петровна! — позвал важно гость.— Без вашего решения не согласен действовать, а завтра у меня с утра маляры на работу становятся.

Ариша подошла к столу, и глаза ее жадно заблестели на цветистые образчики обоев, которые Картышев один за другим вытаскивал из своего пухлого свертка.

Для того, чтобы вникнуть вполне в то, сколько гордого торжества может заключаться в простом факте выбора грошовых обоев для собственной квартиры; для того, чтобы проникнуться всем скрытым символизмом такого обыденного занятия — для этого надо... надо быть Аришей! Надо родиться незаконной дочерью кухарки — вырасти из милости, прячась и стушевываясь, в чадной каморке, именуемой комнатой для прислуги,— надо вытянуть пятилетнюю лямку

столичной мастерской и еще многое, многое другое, что уже само собой всему этому приложится.

Ариша отобрала образчиков гораздо больше, чем было нужно, и ни на чем не могла окончательно остановиться; с каждым из них ей теперь жалко было расставаться. Наконец, на том порешили, чтобы вечером еще с Сашей посоветоваться.

— Ну как же! Без Саши и обоев не выбрать! — отметила с насмешкой Авдотья.

Обе — родные дочери, а мать словно как соперничает с Аришей за Сашу. Каждое доказательство ее превосходства наполняет сердце матери новым приливом гордости.

Ариша вышла проводить жениха по лестнице. Ариша волновалась. Все, что она перечувствовала со вчерашнего дня, теперь просилось выразиться как-нибудь. В первый еще раз невесте точно как стыдно стало: человек для нее не знает уж, что и выдумать, а от нее за все время ни одного душевного слова не слыхал еще... Ариша сама не знала, но ей вдруг точно как страшно чего-то сделалось.

На второй площадке Ариша остановилась около окна; низко нагнула голову, будто непременно нужно разглядеть башмаки.

— Я вам сказать хотела, Афанасий Иванович,— заговорила она быстро и тихо.— Я давеча об вас все думала... какой вы, право, добрый! Не знаете, как и баловать меня, а ведь по-настоящему вы вовсе даже и не знаете хорошенько, какая я? Может быть, я вовсе даже и не стою всего этого.

Афанасий Иванович стоял перед ней оторопелый, красный, как из бани, загораживая всю лестницу своей пышной фигурой в толстом драповом на вате пальто, и громко дышал. Ариша подняла голову, взглянула на него и смущенно засмеялась:

— Не молодой вы человек, а какой доверчивый. Только вы не бойтесь со мной... Я худой женой вам не буду!

И она робко дотронулась рукой до топорщившегося борта драпового пальто.

— А-ариша, Аришенька! — залепетал жених, захлебываясь от нежданного счастья.— Да я для тебя! Господи... боже мой! Разве я не понимаю?! Молоденьким девочкам всегда хочется под пару себе выбрать, чего тут не понимать! Только ты увидишь, птичка моя, сама увидишь. Мальчишки так не умеют любить, как я тебя любить буду... увидишь! Ах ты, боже мой! Так вот ты, стало быть, какая?!

На грязном подоконнике черной лестницы Афанасий Иванович впервые осмелился горячо обнять свою молодую невесту. Ариша прильнула к толстому пальто в бессознательной жажде ощутить опору, защиту против другой страшной любви, витающей вокруг нее.

Снизу послышались чьи-то шаги.

— Я ужо вечерком опять забегу... приходить, что ли? А? — зашептал влюбленный голос.

В глазах Афанасия Ивановича стояли слезы.

XII

В это самое время по Литейному проспекту гуляла другая пара.

Саша в своей ненавистной тесной шубке и приличной шляпке шла от Невы к Невскому рядом со студентом-медиком, должно быть последних курсов, судя по солидной растительности на худощавом ширококостном лице и по почтенному возрасту пальто, висевшего уныло на его высоких плечах.

Они возвращались от больной барыни, жены другого студента, куда Андрей Михайлович водил Сашу. Теперь студент горячо убеждал в чем-то свою спутницу, размахивая руками без перчаток.

Саша не глядела на него, а читала по сторонам вывески, как будто то, что он говорил, ничуть не интересовало ее. Всю Литейную без малого прошли, а он и не знает, сдается ли она на его доводы или нет.

— И ведь вы из одного только самолюбия упрямитесь... Откуда в вас столько фанаберии набралось, право, даже непонятно!

— Фанаберии... это что еще за слово? — спросила подозрительно Саша.

— Обидное слово! Обижайтесь скорее.

— Понимаю без вас, что обидное.

— Ха!.. Это я-то вас обидеть хочу?! А правда, есть за что. Простого удовольствия мне сделать не хотите.

Они молча прошли несколько сажен.

— И что вам так этого захотелось, Андрей Михайлыч? — заговорила серьезно Саша.— Куда уж мне на балы ездить. Я и танцевать не умею.

— Так ведь не неволят, не танцуйте, коли не умеете. Кадриль-то небось знаете — вот и спляшем с вами на славу. Эх! Весело-то как будет!

Саша и сама знает, что весело. Ей страстно хочется на этот студенческий бал, о котором Андрей Михайлыч твердит с самой осени. Ученицы бывают на таких балах, и акушерки, и фельдшерицы. Ее и в прошлом году приглашали.

Но Саша не решается; какая охота быть хуже всех? Не бальное платье, а все-таки мало-мальски прилично надо одеться. Но своему кавалеру Саша ни за что не хочет сказать настоящей причины — только ведь и отгадать такой секрет небольшая мудрость.

— Фанаберия вот что значит, Александра Петровна, я это вам сейчас объясню! — горячился все сильнее студент.— Вы теперь к учащейся молодежи принадлежите, а разве в мастерской вашей вы могли мечтать о чем-нибудь подобном? Вас на бал приглашают в Дворянское собрание, а не куда-нибудь! Будете вы там, как и всякая барышня, наравне... Музыка великолепная. Ну вот — а вам всего этого еще мало!

— Кто вам сказал, что мало? — смутилась Саша.

— Само собой, мало! Из-за чего же иначе вы отказываетесь? Вам, должно быть, бальное платье понадобилось? Студентки в простых платьях пляшут, а вы не можете?

— Да вы зачем же раньше мне не сказали?! — воскликнула с обидой Саша.— Вы разве понимаете, можно или нет справиться в два дня? У кого деньги есть, тому, конечно, все можно...

Андрей Михайлыч заметил, что они как будто уже ссорятся, и поспешил сбавить тон.

— Как бы я вам сказал, если я две недели не видал вас? Я думал, что вы и так помните. А вы, должно быть, и не подумали обо мне за все время ни разу? В две-то недели и к праотцам отправиться немудрено.

Саша покосилась на его похудевшее лицо, вспомнила, как он болел, и вдруг заметила, что погода сегодня холодная. Безрассудно после болезни по такой погоде разгуливать! Она стала торопливо прощаться, но кавалер ее и слышать об этом не хотел. Две недели не виделись, не переговорили еще ни о чем,— а она уже бежит? Вот так хороший друг, нечего сказать! Холодно — так кто же неволит их по улицам шататься? Давно Саша обещала чай пить к нему прийти.

— Что вы, что вы! Даль такую!

На морозе у нее всегда щеки, что твои розаны, горят, и не понять — покраснела ли Саша при этом или нет.

— Ну, так знаю же я, куда мы пойдем погреться? Из-

вольте направо заворачивать! — скомандовал весело студент на углу Невского и рассмеялся на испуганный взгляд Саши.

— Кутеж с шоколадом в кондитерской Филиппова по случаю моего выздоровления!

. . . .

Они оживленно разговаривали за маленьким мраморным столиком, на котором появился шоколад и стакан кофе.

В кондитерской уже горели газовые рожки. В ярком веселом свете Саша, разрумяненная морозом и сегодня особенно возбужденная, казалась еще свежее, еще краше, чем она рисовалась в его воспоминаниях во время тоскливой болезни. Таких блестящих глаз, таких ярких налитых губок, таких розовых щек с задорными ямочками он никогда не видал у петербургских барышень. Олицетворенная жизненность!

Хоть для начала и невозможно было не пожеманиться, однако в конце концов Саша с аппетитом принялась за шоколад, звучно втягивая его с ложечки и разглядывая веселую кондитерскую сияющими глазами. В лице с каждой минутой все прибывает жизни.

«А что на балу-то будет!» — пришло ей внезапно на ум, и она почувствовала, что не в силах отказаться от такого счастья. Придется у Ариши попросить шелковую кофточку, что барышня подарила к пасхе.

Узнав, что Саша надумалась, Андрей Михайлович хоть и обрадовался, но не мог удержаться, чтобы не отчитать ее.

...Так он и знал, что все дело в тряпках! Какая дельная девушка ни будь, а все-таки для нее главное, чтобы ее от барышни отличить нельзя было. До каких пор женские головы будут этой трухой завалены? И ведь скольких наслаждений добровольно себя сами лишают. Вот ее, куда ни позови, у нее всегда какие-нибудь затруднения окажутся.

— А потому, что всем вам непременно себя показывать хочется. А вы бы не с того начинали — вы бы сначала на других поглядели! И то ведь занятно в новинку.

Саша пыталась объяснить ему, как обидно быть «хуже других», но он не хотел признавать ее логики.

— Вы мое пальто видели? Отчего же мне ничуть не стыдно?

— Так вы мужчина!

— Да ведь, коли на то пошло, мужчине-то и стыдно, что у него денег нет — девушке и взять неоткуда.

— Да ничего и нет хорошего в вашем пальто, вы как думаете? Куда красивее было бы, кабы вы в новеньком щеголяли.

— Что ж, тогда бы я вам больше нравился? — поставил он сурово вопрос.

— Ну, а вы мою старую шляпку помните? Скажите-ка по совести, красивее ли я в этой вот или нет? — допрашивала, смеясь, Саша.

— Да я и не видал даже никогда! Это ж обидно. Ну, вам-то, вам с какой стати прививать себе искусственно пороки совершенно чужой среды?! Разве вы о том должны думать, как бы всех обмануть, заставить принимать вас за барышню? Все равно барышней не будете.

Вот и всегда у них такие споры. «Дебри» в хорошенькой голове Саши туго поддаются культивировке; но он не может отказаться от надежды осветить этот первобытный ум, как не хотел бы видеть хладнокровно безобразной болячки на ее цветущем лице.

Увы! Возмущает его часто Саша не одними только заботами о тряпках. По обыкновению, девушка принялась рассказывать, какие события случились с тех пор, как они не видались, и юному другу стало очевидно, что ей и в самом деле было не до него. Аришу Андрей Михайлович прекрасно знает по ее рассказам; знал даже и о тревожившем Сашу романе с офицером, и о солидном женихе слыхал мельком.

Саша с торжеством рассказывала, как она ловко это дело обделала. Она остроумно изобразила в лицах свидание в Александровском саду и радовалась, что сестра на всю жизнь ей своим счастьем обязана,— никакой каши они не сварили бы с Аришей без ее вмешательства!

И, как всегда, в этой оценке предстоящего брака живые люди, едва промелькнув, стушевались перед всесильными формами жизни. Саша как начала говорить о будущей мастерской, так уж и не могла кончить, пока ее собеседник не потерял терпения слушать.

Она даже не заметила, что лицо его становилось все сумрачнее; не видела, как он нетерпеливо возился на своем стуле и так злобно затягивался папироской, что каждый раз точно крошечный костер разгорался в его зубах.

— Да бросьте вы, что ли, дрянью этой восхищаться — надоело! Чему, чему вы обрадовались? Раскиньте мозгами, пожалуйста,— да не по-вашему, не с точки зрения закройщицы из французского магазина, а по-человечески, как всякая честная женщина должна рассуждать.

Саша насторожилась. Самолюбивые струйки перебежали в ее оживленном лице; оно быстро принимало натянутое выражение, которого он в ней терпеть не может. С таким деревянным лицом с ней не легко бывает поладить.

— Вам и тут не угодили? — спросила Саша язвительно, и голос перестал звенеть.— Должно быть, лучше век свой в горничных маячиться?

— С чем сравнивать — может быть, и лучше. Работы унизительной не существует; есть работа трудная или легкая, приятная или неприятная. Прислугой быть неприятно, а все-таки для молодой девушки должно быть легче, чем за старика замуж продаться. И гораздо честнее! И напрасно вы так гордитесь, что Аришу на этот торг подтолкнули,— еще посмотрите, поблагодарит ли она вас когда-нибудь! — пригрозил студент запальчиво.

В глазах Саши засверкали слезы горячей обиды.

— Для всех отлично, лучше не надо, а уж для вас непременно худо,— точно как нарочно!

Она не знала, куда ей отвернуться, чтобы он не видел обидной дрожи в ее лице. Увлеченная всецело своей распорядительной ролью, она не успела еще и подумать о том, как отнесется к ее подвигам Андрей Михайлыч.

...Да разве угадаешь вперед, когда он похвалит, а когда разносить накинется, как сейчас? Где у него важное, где неважное. Что можно себе позволить, чего нельзя? А у него это всегда так ясно, даже удивительно! Не задумается ни на минуточку, в тот же миг аттестат свой выдает.

Саша себя всегда зуб за зуб отстаивает. В первую минуту никогда ни за что не согласится с ним. А как только разойдутся в разные стороны, так и пойдет это все колобродить в уме, что он наговорил ей... И прощай вся радость и вся гордость! Как бы раньше ни нравилось, а уж тут непременно опротивеет.

Зато до смерти любит Саша, когда Андрей Михайлыч ее похваливает,— точно у нее крылья от этого вырастают. Да ведь больше-то кому и похвалить? Ариша точно как завидует, мать всего понять не может. Начни-ка с ними советоваться, так далеко уйдешь! За руки держать готовы, а когда удастся, тогда хвалить примутся. Да, пожалуй, что и все так! Один Андрей Михайлыч все по-своему повернет. Нет, и он тоже ничего не боится, а вот... осуждает! Все-то у него не довольно честно, да суетно, да вздорно. Трудно с ним.

Но и ему тоже стало досадно на себя. Сколько раз он

убеждался, что резкость ни к чему не ведет с этой своенравной, самолюбивой натурой. Только беда в том, что в подобных случаях ему решительно негде взять мягкости и выдержки. Душа вся кипит возмущением. Так бы взял и вытряс из нее сразу все, что он понимает под словом «труха». Самой опасной операции не побоялся бы, чтобы отсечь навеки гниль и заразу.

— Слушайте, вы не обижайтесь — это же глупо! Точно вы меня не знаете? — заговорил он хмуро.— Кабы мне все равно было, тогда отчего же и не поддакивать? Вы, как солнце, вся засветитесь,— сиди знай да любуйся! Многим ведь ничего другого и не надо от женщины, да разве я могу к вам так относиться?

Он пустился в новые разъяснения, такие же нетерпимые, резкие и беспорядочные... Но опять они не сделали для Саши понятнее — как же могла бы Ариша «выбиться» без чьей-нибудь помощи? И слушать ей его стало скучно.

...Выходит, как будто ничего и добиваться нельзя? Сиди честно в своем углу, по одежке протягивай ножки. Что тут и проповедовать? На это довольно охотников найдется. Нет! Ее так вот и подмывает все вперед и вперед. И других хочется толкать да тащить за собою.

— Да уж довольно вам, право! — остановила его девушка нетерпеливо.— Я думаю, я-то Аришу свою лучше вашего понимаю. И ничего такого не будет! Заживут как нельзя лучше. Ариша упрямая, своего добьется. И гордая, тени никакой на себя не положит. Уж коли она от Виктора Николаича этого увильнуть умела, значит, и бояться за нее нечего.

Тут, из-за офицера, они снова столкнулись, да как еще! Что только человек сказать может!

«...Лучше Арише с этим офицером сойтись, чем замуж, не любя, продаться».

Саше точно чем-то виски стиснуло. Вся побледневшая от негодования, она страстно отбивалась от этой упрощенной морали.

Ведь и там, где до сих пор складывались ее понятия, тоже царит упрощенность отношений, и она близко знает, к чему это приводит женщин. Разница та, что там отсутствует мораль, там царят всецело эгоистические расчеты и слепые инстинкты. Но углубляться до таких тонких различий для Саши задача непосильная. Всем существом своим она стремилась уйти от этого мира случайностей. Подняться туда, где жизнь получает внешнее благообразие и внутрен-

нюю осложненность, придающую ей внушительность.

И всякая попытка развенчать это видимое благообразие прежде всего настраивала Сашу враждебно. Ее друг давно уже почувствовал это. Он сознавал, что с ней надо обращаться осторожно. Дружбу свою с Сашей он берег инстинктом искреннего чувства; он понимал, что и сам не выиграет, и ей не даст ничего, кроме смуты, навязывая непосильные задачи.

Но минутами юность брала свое: строгий ментор увлекался, не мог «сдержать души» и выпускал какой-нибудь пробный шар. На этот раз шар оказался чересчур велик. Саша не знала уж, что и наговорить ему: она готова была раскаиваться, что так доверчиво сближалась с ним. Ей казалось, что теперь навеки их дружба отравлена, она сама не знала, какой смутный страх охватил душу.

Ему хотелось успокоить ее, но не мог же он взять назад высказанную мысль! И если б даже мог, то не захотел бы.

Они расстались взволнованные, хуже чем в ссоре. Не в первый уж раз это с ними случается. Жизнь внезапно ставила их лицом к лицу — точно на краю бездны, где, как в чудовищном котле, кипят, сталкиваясь и переворачиваясь, понятия и чувства: все то, с чем каждому предстояло вступить в жизнь. Как бы мирно и дружно ни подходили они к роковому месту, тут они всего чаще оказывались на разных берегах.

Саша заторопилась домой. Студент расплатился, и они вышли из веселой кондитерской, где им так недолго было весело. Дорогой они не разговаривали. Саша, как ветер, неслась по тротуару, погоняемая внутренним смятением; он шел за ней мрачный, как туча.

Его все сильнее смущало то, что столкновение произошло на этот раз на таком щекотливом пункте. Черт знает, какие выводы Саша сделает из подобного разговора! О таких вещах говорить — так до конца, а не так, сразу целое пугало на нее выпустить! Он проклинал свое увлечение и не знал, в какой форме высказать намек, который должен ее успокоить.

— Да вы хоть проститесь-то со мною! — остановил он, когда Саша с разбега завернула было в свои ворота.— Я вас убедительно прошу, Сашенька, бросьте, не думайте вовсе об этом разговоре! Если б вы знали... вы не знаете, до какой степени вы можете ошибаться на мой счет! Вы это скоро узнаете. А пока, пока, сделайте милость, за негодяя

меня не считайте, оттого что вам непонятна моя точка зрения.

Сашу мало интересовали «точки зрения», когда слова звучали так пагубно для ее слуха. Она ничего не сказала. Но никакая догадка не осветила ее расстроенного лица.

— Интересно, сколько времени теперь вы будете донимать меня погребальными минами? — спросил он с кривой усмешкой.

— По-вашему, мне радоваться, что ли? — разжала наконец губы Саша.

Он беспокойно метнулся к ней.

— Да уж и плакать вам не о чем, можете мне поверить! Очень нужно было споры заводить! Не видались целую вечность. Соскучился по вас, как черт. Ерунда такая.

В эту минуту из подъезда бокового флигеля вышли две женщины и пошли обходом по узкому тротуару, направляясь к воротам. Саша поспешно сунула на прощанье руку своему спутнику — мало про нее и так сплетничают в школе! Но он медлил; он непременно хотел, чтобы она обещалась никакой чепухи про него не придумывать.

Целый вечер потом Саша ловила себя, что она в мыслях как будто оправдывается перед кем-то. Всю историю опять сначала перебирает, точно и так не надоело еще бог знает как...

Свадьба Аришина сразу померкла в ее воображении. Терпеть она не может знать, что кто-нибудь осуждает ее поступки. Всегда готова перед всеми на виду стоять и за свой каждый шаг ответ держать. А тут разве кто-нибудь? Тут каждое слово так и вопьется в нее, хочет она или не хочет! Ничем не сбросить.

Раза два Саша поплакала, короткими приступами, без мыслей, с нетерпеливой, саднящей болью в сердце!

XIII

В день бала медицинских студентов генеральская квартира на Фонтанке могла бы навести на любопытные размышления какого-нибудь охотника до широких обобщений. На разных концах квартиры две девушки собирались на этот бал.

В людской, перед крошечным туалетцем, приставленным вплотную к снятой со стены лампе с жестяным рефлектором, Саша мастерила модную прическу из своих тяжелых, блестящих и гладких волос. Правда, она закрутила волосы

с вечера на бумажки, смочив их квасом по совету подруги, но, должно быть, дело мастера боится: «волн» никаких не вышло, а за день и вконец все разгладилось.

Ариша принесла от барышни щипцы в несколько зубцов, но Саша не умеет с ними обращаться. А Аришу не отпускают из комнат, где француз-парикмахер причесывает Екатерину Николаевну.

Против обыкновения, на этот раз Ариша отнеслась совсем добродушно к сборам младшей сестры на студенческий бал. Свою розовую шелковую кофточку на нее приладила и теперь вся кипела досадой на то, что нельзя урваться из комнат, чтобы помочь сделать прическу.

Ариша сама на себя дивилась: вот же ни чуточки ее и не тянет на этот бал! Не завидно на Сашу, что ей вдруг стало можно многое, чего другим никак нельзя. Куда и девалась вся горечь, бывало, так легко вскипавшая по всякому поводу! Несносное чувство опаски: точно каждый шаг вперед, сделанный Сашей, ее еще больше толкает назад. Невольно удержать хочется — не пускать...

Теперь зачем завидовать — есть ведь и у нее своя судьба! Есть над чем работать, усиливаться, добиваться. В ряд с сестрой пойдут: каждая своей дорогой — да вместе!

Из прежних ревнивых ощущений, полных противоречий и тревоги, в сердце Ариши вырастало успокоенное и светлое чувство горячей дружбы к сестре. В это чувство как будто влилась и видоизменила его еще посторонняя струйка: струйка иной, обреченной нежности... Как будто той нежности так легче было умирать: в порывах чистого, просветленного чувства, где нежность не может быть ни дурной, ни опасной. Даже и в привязанности к будущему мужу Саша нужна, необходима Арише! И тут она должна что-то пополнить, чего в этой привязанности не будет хватать.

Ариша не могла дать себе во всем отчета, но одно она чувствовала вполне ясно: никогда она так не любила Сашу, как теперь. Ссориться они больше никогда не будут. Весело и радостно так любить. Несмотря на все неоспоримое превосходство Саши, в чувстве Ариши теперь впервые появлялся оттенок покровительства старшего к младшему.

А в комнатах Екатерина Николаевна, закутанная до горла во что-то белое, сидела, вытянувшись, пред большим зеркалом и беспокойно следила в глубине стекла за движениями пары выхоленных мужских рук, ловко распоряжавшихся мутной массой ее волос, того тусклого, неопределен-

ного оттенка, от которого проигрывает тон кожи и не выигрывают цвета материй.

Непривычная прическа все сильнее меняет ее. Катя выбрала прическу по журналу, но теперь с ужасом убеждается, что она вовсе не идет к ней: замысловатая постройка из волос удлиняет лицо и делает еще более унылым... Старит ее.

Катя волнуется. Каждую минуту она делает какое-нибудь неопределенное замечание, выводящее из терпения француза. Он предъявляет картинку: он не виноват — mademoiselle сама выбрала. Можно причесать по тому или другому образцу — он знает больше двадцати — но ни один мастер не согласится смешивать различные жанры. Тогда не выйдет никакой прически.

Застенчивая Катя не может настаивать. Впрочем, она сама не знает, чего, собственно, требовать, какой жанр был бы ей к лицу. Ей кажется только, что она бывает гораздо интереснее в своей домашней прическе, и ее охватывает какое-то суеверное ощущение неудачи. Наконец, от отчаяния, она перестает думать о том, чтобы эта прическа украшала ее; она тоже начинает следить за работой француза, как за каким-то самостоятельным сооружением, где всего важнее «выдержать стиль».От напряжения на ее малокровном лице, на худой шее выступают пятна. В коже появляется зуд, в виске летучая сверлящая боль.

В гостиной на рояле разложено бальное платье, шелковое с газом, бледно-палевое с голубым. Генеральша решила сделать дорогой туалет, который мог бы остаться в приданое.

Звездочкин объяснился несколько дней тому назад. Обедал у них. Катя от стола увела его в свою комнату.

Мать у себя легла на кровать и, уныло затихнув, ждала... будет ли сегодня конец? И думала о судьбе.

Вся семья ждала этой минуты — и никто не радовался. С каждым днем росло не то угнетение, не то смущение, точно перед сомнительным поступком, которого избежать нельзя. Состоялось безмолвное соглашение, и остается только пассивно отдаться течению.

Матери обидно за свою Катю. Бесформенные и именно потому всегда такие пышные девические надежды подтаивали по капле, год за годом, день за днем. Как гора снега тает незаметно для глаза. С Катей только в самом начале было несколько разговоров, коротких, оборванных. Она так

страдала, что, очевидно, все слова были излишни и бессмысленно жестоки.

Мужчины — отец и Виктор — находили, что тут не может быть вопроса. Всем хотелось только поскорее проскользнуть через предварительную процедуру ухаживания и сватовства, вырисовывавшую положение с такой досадной отчетливостью. После свадьбы — а! сделайте одолжение! — тогда будет совсем другой разговор...

Виктор Николаевич, одетый по-бальному, но очень кислый, ждал в гостиной в обществе одного только бального платья. Он явился с каретой, чтобы везти сестру в Дворянский зал. Весь этот бал злил его, прекрасное платье на рояле точно дразнило. Он знал, что Катя будет в этом туалете неудачна, гораздо хуже обыкновенного, и не понимал ее желания разыгрывать ingénue* в паре с семнадцатилетней институткой.

Брат точно заранее боялся подметить какой-нибудь такой взгляд Звездочкина, от которого ему захочется схватить своего приятеля Петьку за плечи и крикнуть в это упитанное и добродушно-лукавое розовое лицо; крикнуть, что он не стоит мизинца влюбленной девушки со своими грошовыми расчетами в двадцать два года, со своими наивно-подловатыми приемами ласкового теленка!

Вообще за последнее время Виктор Николаевич чувствовал себя точно приподнятым нравственно: как бы то ни было, а он еще не дошел до того, чтобы расценить свою особу в два десятка тысчонок, хоть проклятые долги и его донимают все сильнее, а возможность изворачиваться предательски сокращается! Ба! Это не помешало ему обещать Арише модную мастерскую, если б эта дурочка захотела бросить для него жениха! Зрелище чужой трусости перед жизнью наполняло веселого поручика благородным волнением, которое он называет верой в свою звезду.

Наконец Ариша в последний раз пробежала из кухни с горячими щипцами, и француз кончил свое дело. Сейчас в зале начнется важная процедура надевания бального платья.

Офицеру пришлось перебраться в столовую. Но и туда тоже доносились из кухни какая-то возня, голоса, восклицания, перебегания...

Наконец Авдотья вошла в столовую, пробралась до две-

* наивность *(франц.)*.

ри и стала возбужденным шепотом вызывать из гостиной Аришу.

Виктор Николаевич от скуки заглянул мимоходом в неплотно притворенную дверь — и, как бомба, в один миг пролетел дальше.

Саша готова. Она стояла посередине кухни и в нерешимости поворачивала в руках бутоньерку из живых цветов, только что поднесенную ей нареченным зятем.

Афанасий Иванович забежал полюбоваться на сестрицу; проходя мимо цветочного магазина, он вдруг ощутил ревнивое желание отличиться перед своими прекрасными барышнями. Теперь награда сияла на лице Афанасия Ивановича — эффект подарочка превзошел все его ожидания.

Саша колебалась, приколоть ли цветы на плечо или в волосы, как настаивала Авдотья.

Виктор Николаевич стал бесцеремонно выражать свои восторги:

— Скажите, пожалуйста, когда это вы, Сашенька, успели превратиться в настоящую красавицу?!

Старательно причесанная и перетянутая, она выходила из гладкой черной юбочки роскошным розовым букетом, со своими пышными плечами, высокой грудью и сияющей головкой.

«Вот бы на кого бальное-то платье надеть! Небось тут декольте не чета оконному переплету моей сестрицы!» — подумал Виктор, разглядывая девушку разгоравшимися глазами.

Саша сконфуженно попросила барина так не шутить.

— Какие шутки, помилуйте! Настоящая роза махровая! Смотрите, вы у сестры жениха не отбейте, оно всегда ведь с цветочков начинается... ха-ха!..

Барин фамильярно кивнул на солидного человека в пальто, которого он видел в первый раз. Он пожелал знать, куда это Сашенька так расфрантилась?

— В театр, что ли?

Такое скромное предположение задело Сашу; она казалась себе в эту минуту несравненно великолепнее.

— Нет-с, не в театр. А должно быть так, что туда же, куда и ваше благородие изволите собираться с сестрицею.

Это отчеканил в ответ Афанасий Иванович с особенным удовольствием.

Виктор вопросительно посмотрел на Сашу, но в эту минуту в кухню вбежала Ариша, как человек, которому остается жить всего несколько минут:

— Где? Что? Покажите!

С видом знатока и апломбом будущей закройщицы Ариша выхватила у Саши цветы; приложила сначала к груди, потом приставила к узлу волос, а сама вся перекинулась назад, чтобы лучше судить.

— Так, так! Прикалывайте в волосы! — вмешался неожиданно Виктор Николаевич.

Они еще колебались. Тогда барин подошел, нетерпеливо взял у Ариши цветы, отбросил на пол стекляшку и приложил их по-своему к блестящей черной головке.

— Шпилек давайте! Так будет хорошо.

Так оригинально начался для Саши этот знаменательный вечер. Андрей Михайлович ждал ее у ворот. Тут же стояла карета молодого барина. Сердце девушки радостно дрогнуло: жизнь раздвигала перед нею одну из своих перегородок...

XIV

Растерянность Саши длилась недолго — всего несколько минут, пока они поднимались среди толпы по ярко освещенной лестнице, и она ловила в зеркалах какую-то смутную розовую тень и не была уверена, действительно ли это она... и не знала, как держать руки в белых перчатках, от которых руки сделались большие и неловкие.

Саша сразу почувствовала себя гораздо спокойнее, как только поднялась наверх по узенькой лесенке, оставив в стороне блестящий зал, с ослепительными люстрами, белыми колоннами, красными скамейками и гудящей тысячной толпой. На хорах было не так светло и была почти одна молодежь. Женщины не особенно нарядны, а среди студентов Саша чувствует себя свободно. Андрей Михайлович усадил свою даму в первом ряду, где так удобно смотреть вниз, в светлую бездну, откуда поднимаются кверху волны света, красок и звуков.

Концертное отделение длилось долго и не сделало на Сашу ожидаемого впечатления. Андрей Михайлович считал своей обязанностью все время давать разъяснения, близко пригибаясь к розовому шелковому плечу, чтобы не беспокоить соседей. Он пустил в ход все свои музыкальные познания, но этот непрерывающийся поток незнакомых слов и чужих имен только мешал слушать и утомлял Сашу. Раза два он поймал, как она зевнула, и должен был убедиться, что в оценке голосов, льющихся с эстрады, его дама руко-

водствовалась исключительно одним соображением: у кого выходит громче.

Андрей Михайлович обожает музыку. В первый раз еще он испытывал некоторое раздражение перед таким отсутствием впечатлительности...

Саше казалось, что перепонки в ушах могут лопнуть от грохота аплодисментов, а им все еще мало, каждого насильно повторять заставляют! Казалось, что это никогда не кончится. Сидеть неподвижно с лишком три часа и только слушать — привело ее в томительное оцепенение. Она сразу ожила, когда толпа вокруг заволновалась и загудела.

В антракте студент отвел свою даму вниз, в буфетные залы, где от тесноты люди двигались плечо к плечу и видны были одни головы и бюсты. Он взял приступом уголок какого-то стола и принес Саше стакан чаю. Она ждала его встревоженная, так долго он проходил за чаем.

— Ну вот, а я думала, что вы потерялись! — улыбнулась она ему с облегчением.

— Я-то не потеряюсь! Вот вы отсюда никуда не извольте шевелиться. Я сейчас!

Он опять нырнул в толпу. Саша жадно разглядывала проплывавших мимо женщин. Она вообразила себе, что на балу все должны быть как-нибудь невероятно нарядны и красивы; и теперь чувствовала себя разочарованной — без всякой неприятности... Все оказывалось гораздо проще, легче, приятнее! Даже совершенно несомненно, что на нее много смотрели. По выражению лиц, по долетавшим словам видно, что она заметна в этой огромной толпе.

Виктор Николаевич был прав: две живые розы в волосах оттеняли еще ярче ее удивительную свежесть и жизненность. Ничто так не украшает женщин, как цветы, но мода всесильна: в целом море женских головок не было видно цветов, и увенчанная двумя розами высокая, цветущая девушка у стола невольно каждому бросалась в глаза.

«Махровая роза»! — вспомнилось вдруг восхищенное восклицание молодого барина, и Саша вся зарделась под пристальным взглядом какого-то высокого инженера.

Инженер сказал что-то, улыбаясь, своему штатскому соседу. Дойдя до конца комнаты, приятели повернули обратно и минуты через две опять смотрели на Сашу и улыбались. Когда Андрей Михайлович вернулся с бутербродами — инженер проходил мимо стола в третий раз.

Саше вдруг показалось, что он сейчас заговорит с нею... Откуда-то из самой глубины поднимались теплые и трепет-

ные волны безотчетного веселья и искрились влажным блеском в широко раскрытых темных глазах.

— Как жарко! Уйдемте отсюда,— позвал ее беспокойно студент.

Ему вдруг что-то не понравилось в выражении Сашиного лица. Ему необходимо очень серьезно поговорить с ней.

Они вернулись на хоры, где было рассеяно только несколько уединенных парочек. Внизу натирали паркет и гремели, точно ружейные залпы, ряды связанных на палках стульев, ловко вскидываемых на эстраду. Посреди эстрады военные музыканты устанавливали свои пюпитры. Люстры сияли тусклее сквозь поднятую пыль. На хорах казалось свежо после душных маленьких зал, где стеснилась вся толпа.

— Сядемте — все равно куда! Мне нужно сказать вам несколько слов,— приступил к разговору Андрей Михайлович.

Лицо у него было серьезное, голос странный, какого Саша никогда еще не слыхала. Она тревожно взглянула на него. Неужто опять примется отчитывать ее за Аришу? Нашел время! Однако она не решилась ничего сказать и только тихонько вздохнула. Он сейчас же насторожился.

...О чем она? Устала! Ей невесело?

Господи! Невесело! Саша принялась горячо благодарить за бал, радостно и благодарно взглядывая на него.

...Кажется, это еще больше мешает приступить к разговору. Он вдруг оказался таким тяжеловесным, сложным и жутким... Вдруг жаль стало согнать радостное сияние с розового лица. Какой-то смутный страх прополз по горячему сердцу, точно прикосновение чего-то холодного.

Между тем на хорах прибывала публика. Уединенные парочки смешались с шумно рассаживавшимися и весело болтавшими группами. Молодой смех звенел на всех концах. Внизу грянул оркестр. По пустому еще залу весело носились группы студентов, волновались распорядители с белыми бантами, на красных скамейках зрители спешили занять места.

Бал закипал.

Андрей Михайлович опомнился: как мог он думать, что в эту минуту возможны серьезные разговоры! Получив от Саши ответ невпопад, он весело рассмеялся и вскочил на ноги.

— Идемте плясать! Слышите? Начинается!.. Когда устанете, тогда вернемся сюда разговаривать.

. . . .

Но вернулись они на хоры только к концу бала.

Саша танцевала — бог уж один знает как! Ее упрашивали, тащили, и ей самой страстно хотелось. Она танцевала что-то такое, что она называла «простым вальсом»... Ей оттого было ничуть не меньше весело. Кучка знакомых студентов с безобидным смехом передавала ее с рук на руки. Андрей Михайлович не отходил от нее ни на шаг, совсем не танцевал с другими.

В толпе Саша видела мельком Екатерину Николаевну, в ее прелестном платье и высокой прическе над напряженным, жалким лицом. Видела Виктора Николаевича, откровенно хохотавшего над ее импровизированным вальсом, и чужого инженера, преследовавшего ее красноречивыми взглядами.

...Так вот какие бывают настоящие балы! Вот как веселятся все эти избранницы — бледные, вялые, усталые, малокровные, петербургские барышни. Пульс Саши бил сто двадцать ударов. В голове стоял сладкий чад.

В том же чаду она снова очутилась на хорах — далеко где-то, в самой глубине. И началось объяснение.

Впрочем, он говорил нескладно, страшно волнуясь, долго... Это дало ей возможность сколько-нибудь собраться с мыслями.

Андрей Михайлович хотел выяснить совершенно свои взгляды, чтобы изгладить фальшивое впечатление, какое должно было остаться у Саши от их последнего спора. Предварительно между ними должно быть до конца понято и выяснено что-то главное, основное... Что-то, к его отчаянию, не укладывавшееся в немногих простых словах.

Но говорил он больше о любви — и опять так говорил, как не умеет любовь понимать Саша. Его любовь кажется Саше слишком строгой, нерадостной и мудреной. Кажется чересчур большой: та любовь, которую Саша понимает, несравненно проще, светлее и скромнее.

Андрей Михайлыч чем-то ужасно огорчается... Должно быть, тем, что, как бы внимательно Саша ни слушала ему в угоду,— в глазах ее он читает, что ее мысли идут своим путем. О, да! Он огорчен. Но он не может примириться с этим, не в силах допустить этого,— а в таких случаях всегда открываются внезапно какие-нибудь новые, неведомые тропинки... По этим тропинкам можно пуститься в обход большой дороги, загроможденной препятствиями.

«Не ясно? Нет? Ну не беда! Не все вдруг»,— утешает он себя, неистово натирая туго свернутым носовым платком свой высокий, мокрый лоб.

...Она это называет «ссориться»! С какой стати такая пошлость?! Не ссориться, а, как говорит Щедрин — «друг о друга околачиваться». Все равно без этого двум людям не сжиться.

— Надо только одно: чтобы вы мне верили! Верите вы, что я не собираюсь какое-то превосходство, что ли, разыгрывать? Совсем напротив. Я хочу, чтоб вы сами — сами дошли до моих точек во всем. И дойдете! Я помогу вам! Вы о многом совсем еще не думали. Это гораздо лучше, чем засорять себе мозги готовой трухой!

Саша слушала молча. Лицо ее легонько дрожало, точно она удерживается, чтобы не заплакать. Она стала бледнее. Одна из роз упала во время танцев, другая свернулась и жалобно повисла над ухом. Внизу музыка гремит не так уже весело издали, сквозь стоящий над залой смешанный гул движения и криков.

Саша смущена, но она не предчувствует, какое слово друг ее скажет сейчас. Кажется, что речь идет о чем-то туманном, далеком, от чего сладко и грустно волнуется ее душа...

Он сказал. Девушка бессознательно вскочила на ноги — точно хотела бежать.

— Что вы! Что вы! Разве возможно?! — зашептала она трепетно.

Можно подумать, что она вовсе и не рада. Он сказал, что им надо теперь же обвенчаться, чтобы не тратить сил напрасно на какую-то нелепую борьбу. Чтобы все это сгладилось легко, само собою, в их счастье.

...Надо! Точно речь шла о чем-то предрешенном бесповоротно — как будто иначе не могло и быть. Он именно так это чувствовал... Он заставил Сашу сесть опять на скамейку и спросил просто — любит ли она его?

— Да мало ли что люблю — разве в этом дело?! — воскликнула она тоскливо.

— О, да-да-да! Только в этом все дело!

То был ликующий крик страсти. Но в смятенной душе девушки росла тревога. Саша не стала уверять его в своей любви — как об этом говорить? И зачем? Он и сам знает... Этого просто не могло не быть! Ее это вполне удовлетворяло.

Саша стала говорить о жизни.

Никогда никто вам не позволит жениться на кухаркиной дочери. Не один же вы как перст на свете?

...Ну, хорошо, хорошо! Пусть он ни на кого не поглядит — с родными поссориться не побоится — да сам-то он что будет чувствовать?! Ведь мать она ей! Сыном его звать будет... Безграмотная!

Полгода тому назад, после блестяще выдержанного экзамена, Саша, поддразнивая Аришу, твердила, что замуж она пойдет не иначе как за студента. Теперь она отбивалась в страхе. Она видит жизнь целиком, как рисуется жизнь в ее несложных понятиях, и собственные чувства бессильны заслонить хоть на миг эту строгую картину. Для таких чувств в ее душе нет места.

— Ты не любишь!.. Не любишь?! — восклицал он в отчаянии.

Уверять его Саша не стала. Поглядела на него с тоской...

— Не знаю... Может быть, не так люблю? Вам лучше знать, какая вам любовь нужна.

— Саша! Как ты говоришь это?! Ты соглашаешься?

Она покраснела.

— Не соглашаюсь я вовсе. Да как же мне спорить с вами? Я ведь не барышня, любви расписывать не умею. Сами знаете — к чему же тогда и допрашивать? Только напрасно мучаете! Кого же мне любить, коли не вас? Знаете сами.

Опять они чувствовали по-разному. Нет, он не хотел вовсе ее мучить. Хотелось насладиться словами — музыкой любви — всем, что в наших понятиях составляет ее сияющий и благоуханный ореол...

Но у Саши нет таких слов, и, пожалуй, никогда их у нее не будет. Ее любовь не тепличный роскошный цветок — это простой акт жизни, как и все ее чувства. Любовь будет сливаться с жизнью, воплощаясь во всех ее мельчайших делах и заботах. Не будет любовь ни лежать роковым балластом на сердце, ни витать над жизнью самодовлеющим идеалом — чересчур бесплотным, в котором часто таятся зародыши всех разочарований. Андрей Михайлыч любит ее, и Саша будет счастлива. Если б он не полюбил — они оставались бы друзьями, и Саша не была бы несчастна.

Двадцатипятилетнему философу, отважно шагавшему через все условности и предрассудки, казалось, что и он понимает любовь точно так же «трезво», серьезно, без всякой распаленности воображения. Очень искренно казалось.

Но вот, однако, в эту минуту ему не хватает привычных звуков, знакомых красок... Не хватает слов, хоть он знает и верит, что Саша любит его,— как знаешь, не спрашивая, не размышляя. Как читаешь в раскрытом беззащитном взоре, в голосе, звучащем впервые для собственного слуха этими новыми, неведомыми колебаниями.

Вопрос должен быть решен теперь же, прежде чем они спустятся с опустевших хор громадного зала, где замирали последние взрывы бала. Саша его любит. Он этого хочет. Она не может сопротивляться ему.

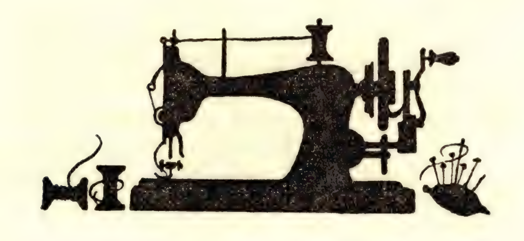
— А вы потом не пожалеете?.. Никогда не пожалеете? — допрашивала девушка, строго заглядывая в самую, самую глубину влюбленных глаз.

Внизу упорно звенел колокольчик. Они были одни на хорах. Вместо всякого ответа он привлек ее к себе и поцеловал в губы.

— О, тогда — тогда надо только ждать, когда вы кончите! — зашептала Саша прерывающимся от счастья голосом.— И мне ведь тоже — Калинкинские курсы два года — так вы, значит, еще раньше меня кончите!..

Решение, продиктованное житейской мудростью. И вся его пылкая любовь должна была разбиться об него, как разбиваются могучие живые волны о неподвижный и холодный утес.

Саша решила ждать. Сворачивать со своего пути она не хочет.



М. В. КРЕСТОВСКАЯ

ВОПЛЬ





Все считают нас удивительно счастливыми людьми и говорят, что нам страшно везет. Из каких-то незначительных, никому не известных господ Лаврентьевых мы в какие-нибудь 10—12 лет превратились в крупных миллионеров, и досужие люди высчитывают наше состояние не менее 8—10 миллионов. Что касается меня, то я давно уже перестала следить за ростом этих миллионов и мне решительно все равно, сколько их — 10 или 5, или только два,— факт или, вернее, несчастье в том, что они существуют, что наше существование действительно связано с ними,— а сколько их — не безразлично ли это в сущности!

А между тем, когда несколько лет тому назад, в один прекрасный день, муж вошел ко мне в комнату и с бледным, но сияющим от торжества лицом сказал мне:

— Ну, Наташа, можешь поздравить себя и меня: вчера я подвел все итоги, и у нас с тобой ровно миллион состояния теперь!

Я помню до сих пор, как замерло во мне тогда сердце, голова закружилась, точно от счастья какого-то, и я чуть не упала на руки мужа.

Что мы идем к тому — к этому первому миллиону, о котором Саша уже несколько лет так страстно мечтал,

столько работал, так напрягал всю свою энергию, ум, ловкость,— я знала это давно, но когда он воочию произнес наконец эти слова — эти знаменательные, как я воображала тогда, слова,— мне показалось, что предо мной совершилось какое-то чудо и что теперь и мы, и вся наша жизнь, и чуть ли не весь мир должны как-то измениться и сделаться какими-то необычайными и прекрасными!

Я тогда так мало еще понимала эту жизнь, так неясно догадывалась о сути ее!

С тех пор этот миллион, конечно, утроился или даже удесятерился, но меня это больше уже не волнует, не восхищает и даже не интересует, и когда Саша, с удовольствием потирая руки, говорит мне иногда за обедом — единственное время, когда мы с ним еще видимся: «Мне сегодня удалось заработать пятьдесят или сто тысяч!» — я выслушиваю это так же равнодушно, как если б он сообщал о том, что провел вечер в Михайловском театре, и мне решительно все равно, «заработал» он их или потерял! Разве только немножко смешно, что он применяет к этому такое слово, как «заработал». Подумаешь, он день целый кули на спине таскал или всю ночь писал ученую диссертацию.

Итак, мы считаемся миллионерами, наш дом и снаружи и внутри — один из роскошнейших домов Петербурга, и когда мы даем вечера, концерты и обеды,— а Саша очень любит давать их,— к нам ездит «весь Петербург», и мы показываем ему всех лучших артистов и разных знаменитостей; угощаем его самыми тонкими винами и ужинами и даем все, что только может еще развлечь и заманить этих пресыщенных, изнервничавшихся людей с притупившейся впечатлительностью и извратившимися вкусами.

Половину этой публики, ради которой наш дом заливается огнями, убирается дорогими пальмами и цветами, а я выписываю себе от Дусе́ или кого-нибудь в этом роде умопомрачительный туалет, о котором кричат потом целую неделю, я знаю больше по именам да по тем сплетням, которые они рассказывают друг о друге.

Круг нашего знакомства растет, точно катящийся под гору снежный ком, и я с ужасом слежу за тем, как он все увеличивается и увеличивается, беря от меня на одни обязательные визиты добрую треть времени года, и, вероятно, будет увеличиваться так до тех пор, пока в какой-нибудь неудачной операции муж не потеряет все свои миллионы.

При встречах с нами, особенно на наших «знаменитых»

вечерах, все эти дамы и господа притворяются нашими хорошими знакомыми; они подходят ко мне, говорят мне разные любезности, я тоже улыбаюсь им в ответ, тоже что-то говорю, а сама думаю с тоской: «Боже, зачем я здесь? Что им до меня и что мне до них?»

И мне хочется только одного: бросить их всех, уйти в свою комнату, потушить там все огни и запереться... запереться от всех, ото всего и даже от самой себя, если б это было возможно!

Но какой-то злой рок точно закрепостил меня, и я как бы уже не принадлежу больше себе, своей воле, у меня даже самые права на нее отняты, и, удивляясь сама себе, я зачем-то покорно разыгрываю эту странную, бессмысленную комедию, которой все равно никто не верит и которой, в сущности, даже никому не нужно.

Но Саша все это любит, и я часто думаю: зачем ему все это? К чему ему эти люди, эти миллионы! У нас даже и детей нет, а если б и были, то разве это было бы счастие — оставить им такое несчастное наследство! В том кругу, где мы вращаемся, я вижу немало детей и нарочно приглядываюсь к ним. Роскошь, в которой они родятся, вырастают, развиваются и формируются в будущих людей, накладывает на них свой вредный и извращающий отпечаток, искажающий их чистоту и непосредственность. Когда я смотрю на них и думаю, что мои, наверное, были бы точно такими же, я почти не жалею, что их нет у меня. Но мужа уже захватила жажда их, этих миллионов, и раздражаемая чужими примерами ненасытная страсть к ним; они точно заслонили от него весь остальной мир и сделались для него чем-то вроде культа, которому одному он умеет теперь поклоняться, которому одному желает служить и вне которого он уже не видит ни смысла, ни значения, ни цели жизни.

А мне они представляются какой-то чудовищной и роковой, как стихия, силой, в которой поглощается и стирается человеческая личность или, по крайней мере, все лучшее, что есть в ней, и все чаще и чаще вспоминается прежнее, милое время, когда у нас не было еще не только их, но даже и самого предчувствия о них, и, право, тогда было лучше!

Может быть, сама я была моложе, проще, доверчивее, но жизнь казалась тогда такой светлой, такой прекрасной и жить было так радостно и хорошо.

Даже и теперь еще, когда я только вспоминаю об этом

далеком милом времени, на душе у меня делается отраднее, и я точно молодею и делаюсь лучше опять.

Когда я познакомилась с моим мужем, я была совсем еще почти девочка. Мне едва минуло 16 лет, я еще ходила в гимназию и жила в Москве с мамой, старшей сестрой и маминым братом, молодым студентом, сыном ее мачехи, который сам был немногим старше нас и был такой веселый, отзывчивый, увлекающийся и добродушный юноша, что все решительно любили его, и когда он входил, то казалось, что в комнатах делалось точно разом светлее и уютнее.

Жили мы в маленьком, деревянном доме на Сивцевом Вражке, единственном наследстве, оставшемся матери от нашего покойного отца, и чем дальше в глубь годов уходит от меня то время, тем мне все отчетливее вспоминается наш небольшой домик, выкрашенный в коричневую краску, с острым мезонином, в котором было широкое, называвшееся почему-то «венецианским», окно, и с зелеными выцветшими ставнями.

На дворе его всегда копошились мамины любимцы — пестрые курицы и петухи — и дремала, вытянувшись на солнце, старая мохнатая собака Шавка, а на окнах густо разрастались герань и фуксии.

И все это мне кажется теперь таким милым, таким радостным и светлым, точно всегда залитым ярким солнцем, и невольно думается, что счастье, простое, настоящее и безыскусственное, как сама правда, было в моей жизни только там.

Там же увидела я впервые и Сашу.

Они вместе со своим товарищем Голиковым нанимали наш мезонин и столовались у нас.

Они тоже оба еще ходили в свое техническое училище и дружили с нашим юным дядею или, вернее, братом, как мы его называли, Петей.

Как, когда, почему началась наша любовь с Сашей, я теперь даже и припомнить не могу.

Мы понравились друг другу сразу, как умеют нравиться люди только в своей первой молодости, когда они еще просты, доверчивы и впечатлительны, как дети.

Товарищ Саши, Голиков, был влюблен в Надю, мою старшую сестру, и у нас сейчас же составился свой маленький тесный и дружный кружок. Время тогда было горячее, шел как раз 77-й год, и вся Москва волновалась турецкой

войной и говорила только о Плевне, Карсе, Дубняке да Скобелеве и Гурке.

И мы тоже волновались вместе с другими; тоже накидывались по утрам на газеты и с трепетом читали «телеграммы», радостно крестясь и ликуя при наших победах и с ужасом ахая и бледнея при поражениях. Также ходили по церквам и молились «о ниспослании на враги победы и одоления», а все старое белье изводили на корпий.

В это время и началась наша любовь. Больше всего действовала на нас, кажется, своим примером старшая пара, то есть Надя и Голиков, которые были уже объявлены женихом и невестой. Может быть, на нас невольно отражалось тревожное время, но все мы ходили в каком-то угаре, и когда Саша начинал, бывало, ероша свою кудрявую, густую «гриву», с жаром проповедовать что-нибудь вроде того, что «теперь такое время, когда все порядочные люди должны,забыв себя и бросив жен и матерей, рваться только к гибнущим и угнетаемым братьям, где за правое и святое дело свободы проливаются потоки крови» и т. д.— меня бросало всю в жар и в сердце вспыхивала горячая любовь и к этим братьям, и к нему, их горячему защитнику. Но на помощь «гибнущим братьям» попал в действительности только наш всеобщий любимец дядя — брат Петя, которому уже не суждено было вернуться оттуда, а Голиков и Саша благополучно кончили курс, получили места и уехали, один уже женатый на своей Наде, а другой — еще только моим женихом. Но ждать нам пришлось недолго, и, как только он немного устроился, повенчались и мы.

Саше повезло с самого начала; мама моя всегда говорила про него, что он в сорочке родился, а Саша был убежден, что всему своему благосостоянию и вообще успеху он обязан главным образом тому, что с 15 лет остался уже круглым сиротой с пятилетней сестрой на руках и с 140 рублями пенсии в год, оставшейся им от покойного отца. Но он не растерялся и, отдав сестру какой-то дальней тетке, передал той на содержание ее и всю пенсию, а сам перебивался впроголодь, кое-как, грошовыми уроками и перепиской, пока не кончил гимназию и перешел в техническое, где ему было уже легче.

В этой тяжелой школе, без помощников, без руководителей, один на один в те годы, когда большинство еще заботливо оберегается родными, ему пришлось провести всю юность и первую молодость, и он с радостью повторяет до сих пор, что только ей и одной ей приписывает свою

энергию, выносливость и предприимчивость. Может быть, он и прав...

Первые годы нашей женитьбы Саша постоянно бывал в разъездах. То приходилось ему ехать на Урал, то в Самарканд; то жить в диких лесах, в наскоро сколоченных бараках, то ютиться где-нибудь в землянке, в глухой тайге. Все зависело от того, где строилась железная дорога или действовали какие-нибудь заводы.

Сначала я ездила вместе с ним, но скоро выяснилось все неудобство таких совместных поездок. Положим, я не тяготилась ими; я была еще так молода, здорова и жизнерадостна, что эта кочевая, «цыганская», как называла ее моя мама, жизнь только нравилась мне, но мужа это стесняло и связывало.

Он говорил, что не может быть спокойным и серьезно работать, когда знает, что я тут же, вместе с ним, живу где-нибудь в грязном, сыром бараке, подле болота или остаюсь в каком-нибудь ближайшем городе, в двухстах верстах от него, куда он, отрываясь от работ, должен лететь ко мне в каждую свободную минуту.

Мама тоже соглашалась с ним, а тут еще в одну из подобных поездок, где по ужасной дороге мне, беременной уже на третьем месяце, пришлось сделать 300 верст на перекладных, я поплатилась моим ребенком и сама тяжело проболела несколько недель.

После этого Саша окончательно переселил меня обратно в Москву, к маме; в это же приблизительно время умерла и старая тетка, у которой воспитывалась его сестра. Он взял ее и уговорил нас поселиться всех вместе.

С водворением у нас Сони наш маленький домик опять оживился. Она умела наполнить его таким веселым гамом, что даже у мамы, несмотря на все ее ревматизмы и «звон в ушах» от крика, молодело лицо и разглаживались морщины.

Соня была высокая, красивая, смелая девушка, имевшая удивительный дар нравиться и молодым, и старым, и веселым, и угрюмым, и умным, и глупым мужчинам, и женщинам, и детям.

Ей шел всего 17-й год, и она еще только кончала гимназию, но в нее уже столько были влюблены, что мама, подтрунивая, говорила, что у Сони поклонников, что грибов в лесу, и что даже городовой с угла нашей улицы неравнодушен к ней.

И действительно, все знакомые студенты, юнкера и гим-

назисты были влюблены в нее, и влюблялись они в нее как-то так необыкновенно быстро, что это даже в анекдот обратилось.

Бывало, увидят ее разок, другой, поболтают о чем-нибудь, похохочет она с ними немножко, и глядишь — уже готов. Но и поклонники Сонины, и их любовь к ней были какие-то совсем особенные и уж вовсе без «трагического» элемента.

Точно всем им, кто влюблялся в нее, разом становилось веселее жить на свете, они все прекрасно уживались между собой, наперерыв писали для нее сочинения на трудные темы, решали алгебраические задачи, приносили ей дешевенькие цветы и конфеты, встречали и провожали ее в гимназию, но ни ревностью, ни неприятностями никогда ей не надоедали.

Раз только какой-то молоденький юнкер, совсем еще мальчик, вздумал пугать ее, что застрелится, но прежде чем он сделал это, все остальные так стали трунить над ним и изводить его прутковскими стихами: «Юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться», что у бедного малого пропала к тому всякая охота. Нельзя даже было сказать про Соню, чтобы она была большая кокетка; если она и кокетничала, то как-то бессознательно, больше инстинктом; она была в дружбе со всей своей «свитой», как говорила мама, но, не стесняясь, трунила над ними, разносила за плохо сделанные задачи и вообще держала себя с ними скорей как товарищ, а, развозившись, порой чуть не дралась как мальчишка со своими «обожателями».

Мы с ней сразу сошлись. Между нами было неполных четыре года разницы, и во мне самой столько оставалось еще неулегшегося детства, что с ней, в ее обществе, невольно заражалась ее настроением и я сама, превращаясь опять чуть не в девчонку.

Мы с ней вместе шалили и дурачились, вместе читали и волновались над прочитанным, вместе писали логарифмы и, приготовив уроки, бегали в театр, который обе обожали, а мама уверяла даже, что мы и единицы вместе получаем.

Единственно, в чем я отставала от нее,— это в поклонниках. Я никогда не умела влюблять в себя, да еще сразу такую массу людей, мама же, строго помня и блюдя мое положение «мужниной жены», не допускала и отдельных единиц и чуть только замечала что-нибудь в этом роде, немедленно принимала такой строгий и бдительный вид, что злополучный поклонник спешил скорее перекочевать в

лагерь Сони, поклоняться которой «в меру» никому не возбранялось.

Кажется, если бы мы с Соней родились родными сестрами, и тогда не могли бы сойтись ближе и задушевнее. Я любила ее и за нее самую и за то, что она была единственной сестрой моего мужа, которого напоминала и лицом, и голосом, и характером.

Между ними, особенно в манерах, было так много общего, что, не видя, бывало, по целым месяцам Саши, я поневоле должна была довольствоваться хоть тем, что имела подле себя его сестру, напоминавшую мне его.

С мамой моей они тоже сошлись отлично, я даже слегка ревновала маму к ней, потому что она не раз говорила, что теперь у нее опять две дочери и что она сама не знает, которую из них любит больше. Но ревновать Соню всерьез и сердиться на нее было невозможно. В ней было какое-то, точно ей одной присущее обаяние, ради которого ей невольно все прощали и влиянию которого также невольно подпадали все окружающие.

Верно, это было обаяние ее молодости и красоты, свежей, яркой, только что распускающейся, словно хранившей еще на себе свежесть утренней росы,— обаяние молодости и красоты,— которые радовали и восхищали ее саму; обаяние смелости и решительности, соединявшихся с какой-то беспечной веселостью, и, наконец, обаяние той простоты и искренности, которые встречаются иногда у очень хороших и умных, но немного избалованных общей любовью детей.

Но и в самой избалованности ее, в самых причудах ее и разных неожиданных выходках не было ничего антипатичного и напускного. Что бы Соня ни делала, что бы ни говорила, она всегда оставалась искренна и правдива, и за эту правду и искренность ей все прощали, а за ее смелость, отважную, молодую и веселую, невольно подчинялись ей.

Иногда, впрочем, на нее находила какая-то странная тоска; тогда в ее нежном, тонком лице с продолговатыми, узкими глазами, за которые ее называли сфинксом, появлялось вдруг выражение такой печали и вдумчивости, что мы с мамой только удивлялись, не узнавая своей веселой, задорной Сони, звонкий, радостный смех которой то и дело звучал, бывало, каждую минуту. В такие дни она вся как-то затихала, точно уходила в себя, разгоняла всех своих поклонников, охладевала к пятеркам и единицам и целыми днями пролеживала на старом турецком диване с какой-нибудь книгой в руках, которую перелистывала лени-

во и рассеянно больше «для других», как она сама признавалась. Или же, наоборот, в несколько дней с какою-то страстью и жадностью прочитывала их целыми десятками.

Если я спрашивала, что с ней, о чем думает, она вяло и неохотно отвечала: «так» или вдруг сама задавала мне какой-нибудь совершенно неожиданный вопрос, то спрашивала меня: хотела ли бы я умереть молодой или «пойти в народ», как многие ходили в то время, и, отдавшись всей душой на служение ему, пострадать во имя его! А не то жить бы, например, в первые века христианства и видеть все, что было тогда, и стать самой такой мученицей за Христа.

И пока я задумывалась, вместе с нею спрашивая себя,— хотела ли бы я этого действительно,— Соня уже оживлялась, приподнималась на своем диване и с горящими глазами, устремленными, точно в порыве вдохновения, куда-то в пространство, вдруг начинала рассказывать мне, как это было бы, и говорила с таким жаром, рисовала передо мной такие картины, яркие и сильные, что казалось, она действительно все это когда-то видела, испытала на себе и какой-то непонятной таинственной силой вспоминала их теперь. Я, бывало, слушала ее как зачарованная и сидела точно в гипнозе каком-то; своим вдохновением она заставляла и меня все это видеть и переживать, и не только я, но даже и мама порой заслушивалась ее и задумывалась потом о чем-то.

— Вот бы Соне нашей на сцену пойти, то-то бы актриса славная вышла! — говорила она, бывало, про нее порой, и я невольно соглашалась и думала, что действительно это было бы, может быть, самое подходящее для нее, а когда Соне вдруг приходила порой фантазия вслух декламировать Лермонтова, которого она особенно любила, то то же самое думали все, кто слушал ее, невольно затаивая дыхание и не спуская глаз с ее прелестного, совершенно преображавшегося лица...

Так жили мы мирно и тихо. Саша довольно часто наезжал к нам и проживал у нас недели по две, по три и потом снова исчезал то в Петербург, то на Урал, то в Баку.

Каждый раз он навозил нам всем подарков, а приезжая, «поднимал весь дом коромыслом», как говорила мама.

Он как бы старался каждый раз наверстать потерянное время, которое поневоле должен был проживать в глуши.

Нас с Соней он баловал как детей и только, кажется, и думал о том, чтобы хорошенько повеселить нас, находя,

что без него мы тоже живем здесь невесело. Целыми днями возил он нас по театрам, выставкам, ресторанам, катал на тройках, устраивал пикники и знакомил нас с разными своими товарищами и приятелями, все больше такими же мимолетными гостями в Москве, как и он сам. Маме все это не очень нравилось. Она пробовала даже высказывать это Саше, но он только отшучивался и продолжал действовать по-своему.

Тогда мама принималась за меня и читала мне целые проповеди.

— Что это за манера такая,— говорила она с неудовольствием.— Ведь он не к цыганкам приехал, а к жене! Только и знает, что по разным трактирам возить да на тройках катать. Хоть бы сестру-то пожалел, коли уж ни тебя, ни денег не жалеет — ведь она девушка, долго ли, глупую, смутить. Нет,— заканчивала она всегда одним и тем же,— в наше время с женами так не обращались, в наше время жен уважали, а это на что уж похоже!

Мне было очень неприятно, что мама так говорит и своим неудовольствием портит нам настроение. Всякое порицание Саше задевало меня гораздо больше, чем порицание мне самой. Он был моим божком, и мне бывало досадно, что мама не хочет понять его и самым невинным и естественным его поступкам придает превратный характер. Кажется, что могло быть натуральнее, что человеку, по полугоду принужденному жить в лесах и болотах, не видя, кроме своих рабочих, лица человеческого, хочется отдохнуть и повеселиться, приезжая домой в столицу? А его желание, чтобы в его удовольствиях участвовали бы вместе с ним жена и сестра, казалось мне только похвально; но мама была женщина старого закала, и у нее на все были свои взгляды, отличавшиеся не только от Сашиных, но уже и от наших. Мы с Соней слегка даже дулись на нее за «несправедливость», а Саша советовал нам или не обращать внимания, как делал он сам, или просто ничего ей не рассказывать.

Что касается до нас с Соней, то мы, конечно, были очень довольны, особенно Соня; она прямо была в восторге и от троек, и от цыган, и от ресторанов. Все это было для нее еще такой редкостью и новостью, что она чуть не пьянела от удовольствия.

Глядя на нее, успокаивалась и я, невольно заражаясь ее восторгом, но в душе какой-то червячок все-таки глодал меня, и я чувствовала, больше инстинктом, чем ясным созна-

нием, что у нас с Сашей идет что-то не так. Я ни в чем не могла упрекнуть его. Когда он приезжал, это был всегда самый милый, нежный, внимательный и даже влюбленный муж. Благодаря нашим постоянным разлукам я не утрачивала для него интереса новизны, и наш медовый месяц все еще не прекращался, хотя мы и были женаты уже около четырех лет.

Но самая его страстность как-то стесняла и смущала меня. Я по-прежнему была влюблена в него, по-прежнему восторг охватывал меня, когда он приезжал, и я чуть не плакала от радости и счастья, что он опять тут, подле меня, со мной, и я могу опять видеть его, говорить с ним, но когда мы оставались наедине и он с затуманенными глазами начинал ласкать меня, мне делалось точно стыдно, и каждый раз я сызнова должна была приучать себя к сознанию, что это муж мой и... и должен обладать мной.

Перед его приездом я всегда так страстно ждала его, так хотелось о многом, о многом поговорить с ним, о стольком расспросить его, столько самой рассказать ему,— о чем и что, собственно, я сознавала несколько смутно, но потребность от этого была точно еще сильнее. Но он приезжал; мы ездили к цыганам, в театры, устраивали пикники, пили шампанское, целовались, смеялись, болтали и... и ни о чем не говорили, и когда он снова уезжал — на душе оставался только какой-то угар и что-то спутанное и неудовлетворенное.

О делах его мы с ним тоже почти никогда не говорили. Саша придерживался того мнения, что женщины в этом ничего не понимают, и не любил говорить с нами о них, ограничиваясь только пересказом самых крупных фактов, умолчать о которых было невозможно.

А если я или, как чаще случалось, мама заводили о том речь, он нетерпеливо отмахивался руками и кричал:

— Э, нет, нет, от этого уж увольте, пожалуйста! Мне это и там надоело; я теперь дома и хочу только отдыхать, а дела пусть там и остаются, где я их делаю...

Мама с сомнением и неодобрительно покачивала на это головой, а я, видя, что Саша счастлив и доволен, не хотела портить ему настроение, да, по правде сказать, он с самого начала так отстранил меня от всякого участия в них, что я поневоле не могла сильно заинтересоваться ими.

Но раз, это было уже в исходе нашего третьего года, Саша приехал к нам из Екатеринбурга «на побывку», как он сам называл свои наезды к нам, в каком-то особенно

праздничном и торжествующем настроении, и, когда мы остались с ним вечером вдвоем, он вдруг расцеловал меня и объявил, что получил за постройку дороги тридцать тысяч.

30 000! Тогда мне это показалось такой огромной, почти колоссальной суммой, что я даже не знаю, что меня больше поразило, эти ли первые 30 000, или тот миллион, о котором он объявил мне потом через несколько лет.

Тогда эти тридцать тысяч представлялись мне настоящим богатством, и я радовалась им, как девочка, хлопала в ладоши, смеялась и чуть не прыгала, несмотря на свои 22 года, от одного сознания их, приводившего меня в восторг.

Но аппетиты Саши уже и в то время были гораздо внушительнее моих, и эти деньги хоть и радовали его, очевидно, но отнюдь не казались ему богатством, и он вовсе не намерен был останавливаться на них.

— Погоди, Натка,— говорил он в тот вечер, возбужденно ходя по комнате,— это еще только начало! Погоди, дай срок, твой муж покажет себя! Мы еще богачами будем! — предсказывал он точно в каком-то пророческом ясновидении, а может быть, он слишком хорошо сознавал свои силы и был уверен в себе, в своей ловкости, энергии и успехе, раз что ему уже начало везти.

Я почти не понимала, чего еще можно желать, и только интересовалась, что он теперь сделает на эти 30 000. Они казались мне каким-то неисчерпаемым богатством, и я предлагала то построить огромный дом, то купить имение, то просто поехать только за границу, о которой мы с ним давно уже мечтали, то даже проделать все это зараз, вместе, потому что мне казалось, что их на все с избытком хватит. Но Саша ни к чему подобному не был расположен. Он говорил что-то о каких-то акциях и говорил, что лучше всего теперь же пустить их как-то «в дело», а меня просил до поры до времени не очень о них разбалтывать.

Конечно, я выпросила у него, чтобы он позволил рассказать о том маме и Соне, и едва могла дождаться утра, чтобы скорее поделиться с ними такой крупной и радостной новостью.

Соня также пришла в полный восторг, увлеклась еще больше моего и предлагала проекты еще наивнее и грандиознее моих, но мама, которая одна отнеслась спокойно и благоразумно, даже не очень удивилась появлению у Саши

такой суммы и советовала лучше всего положить их в банк «на хранение» и жить на проценты от них.

Тогда Саша рассмеялся и сказал, что в чулке еще надежнее будет.

Но как ни сильно взбудоражило нас неожиданное богатство, никакой особенной перемены в наше существование оно не внесло, и, за исключением брильянтовых серег у меня да золотого браслета у Сони, ничего нового не прибавилось. Когда Саша уехал, наше возбуждение мало-помалу улеглось, постепенно мы привыкли к сознанию этих знаменитых 30 000, и оно уже перестало волновать нас, все вошло в обычную колею, и наша жизнь потекла так же, как раньше, тихо и мирно у себя в уголке, в небольшом кружке все тех же знакомых, и разве только в театр мы с Соней начали ходить еще чаще.

Так прошло еще года два, и к концу пятого года нашего с Сашей брака на нас обрушилось горе. Мама моя заболела и быстро умерла. Я так привыкла к ней с самого начала собственного существования, так оно казалось мне сливавшимся с ее, что я почти не могла представить своей жизни без нее, и, когда доктор сказал нам, что надежды нет, я думала, что с ума сойду от отчаяния.

Когда ей стало очень плохо, мы послали телеграмму Саше и Голиковым, но Надя приехать не могла — она сама ходила последнее время — и прислала только мужа, который, так же как и Саша, приехал уже после кончины мамы. Он застал нас с Соней совсем измученными и удрученными, тем более что Голиков, с которым давно уже отношения начали почему-то портиться, все время, пока Саши не было, относился к нам как-то странно, с очевидной враждебностью и недоверием. Кажется, он подозревал, что у мамы накоплены порядочные деньги, и точно думал, что мы утаиваем их от него.

Так что, когда приехал наконец и Саша, подоспевший только вечером накануне похорон, мы невольно вздохнули спокойнее. При Саше я всегда чувствовала себя бодрее и тверже, но мой убитый вид очень огорчил его, и он в тот же вечер сказал мне:

— Ну полно, Наташек, плакать, что тут делать, уж таков закон природы, слезами горю не поможешь и матери не воротишь, да и пожила все-таки старушка, значит, явление вполне нормальное, а вот лучше подготовь себя к тому, что нам придется переехать в Петербург, и притом в самом скором времени!

Эта новость действительно озадачила меня. Я так привыкла к Москве, о Петербурге даже никогда не думала, и вдруг переезжаем, да еще в самом скором времени!

Я даже подумала, не нарочно ли говорит это Саша, чтобы только как-нибудь отвлечь меня от печальных мыслей, но дело оказалось совершенно серьезным. Саша покончил все свои постройки в Екатеринбурге, получил опять крупный куш, а прежние 30 000 за эти два года почти удвоились, и у него завязывалось выгодное дело уже в самом Петербурге.

— Да, Наташек, да, милая,— говорил он с разгоревшимися глазами и радостно потирая руки,— едем прямо в Питер, там деловому человеку плавание крупное, а твой супруг метит в большие корабли!

Он рассказывал, что надо будет нанять там сразу хорошую квартиру, бросить на устройство ее тысяч 10—12, завести знакомства, давать время от времени вечера и самим везде бывать. Это все необходимо для его дел, и надо будет разом поставить себя на приличную и даже, еще лучше, на широкую ногу. Денег жалеть нечего, они вернутся сторицею, и это все окупится, только бы зарекомендовать себя с той стороны, с какой нужно.

Я слушала его, совсем пораженная такой необычайной новостью, и горе мое точно отодвигалось как-то на второй план перед этим событием.

Мы проговорили с ним почти всю ночь, ту самую ночь, которую я хотела провести у гроба мамы, и никогда еще, кажется, я не видала его в таком возбуждении, никогда еще он так подробно и так откровенно не делился со мной своими планами, и я невольно была тронута и польщена этим.

Помню до сих пор, как голос Саши сливался порой с голосом читальщика, читавшего над мамой псалтырь, и я машинально прислушивалась к его однообразным печальным звукам, но они уже не действовали на меня так удручающе, как раньше. Сердце, правда, больно сжималось, когда я вспоминала, что мама лежит там на столе и что это над ней читает чужой, страшный в своем однообразии голос, еще утром надрывавший меня, но это было что-то, хоть и тяжелое и печальное, но точно как-то уже отодвинувшееся куда-то назад и оторвавшееся от жизни, а впереди предстояло что-то новое, радостное и интересное, о

чем с таким жаром, не смущаясь голосом читальщика, рассказывал мне Саша.

Маму похоронили; мы с Соней поплакали над ней, но уже не с тем страстным отчаянием, как первые дни; мысль была отвлечена и не могла больше сосредоточиваться так сильно и упорно, как сначала, на одном горе.

К тому же Саша страшно торопил нас и буквально не давал нам опомниться. Он стремился в Петербург; ничто другое не интересовало его, и все, что задерживало наш отъезд, только раздражало его и казалось ему несносным препятствием. Мы наскоро все распродавали, делились с Голиковыми, укладывались, упаковывали, и со всем этим было столько возни, хлопот и неприятностей, под влиянием которых мы все время находились в нервном возбуждении, что о маме уже окончательно думать было некогда.

Как ни мало было наследство после нее, но ссоры все-таки поднялись, и надо отдать справедливость, что поднимал их главным образом Голиков.

Он вообще был человек желчный и подозрительный, хоть по натуре очень хороший, добрый и честный, но нужда, семья, которая у него уже была достаточно велика, постоянное нездоровье и неудачи озлобили его еще больше, и Сашина жизнерадостность, успех и уверенность в себе положительно раздражали его, и, несмотря на их былую дружбу, он совсем охладел к нему теперь и минутами чуть не ненавидел его. Саша объяснял это завистью и дурным характером Голикова, и действительно, тот так очевидно преднамеренно искал всякого случая для ссоры с ним, постоянно во всех поступках и побуждениях Саши подозревал только дурное, что мне и самой тогда это так казалось.

Сашу весь «этот скарб», как он пренебрежительно называл мамино наследство, нисколько не интересовал, он желал только получить нашу долю, следовавшую мне часть за продажу дома.

Когда мы наконец покончили со всем этим и уселись в вагон, мы с Соней вздохнули с невольным облегчением, и так мы были рады, что все это наконец кончилось и впереди предстоит только уже одно приятное, что нам даже и Москвы не очень было жалко.

Конечно, все наши знакомые и друзья собрались провожать нас, и расставаться со многими из них было очень тяжело. В душе шевелилось какое-то предчувствие, что теперь наши дороги пойдут совсем в разные стороны, и, бог весть, придется ли с большинством из них еще встретиться!

А если и встретимся, то будем ли опять так же близки, как были здесь! Один Бессудный хотел непременно перевестись в Петербург из университета в медицинскую академию и обещал к осени же устроить это дело.

Бессудный был один из самых сильных и серьезных поклонников Сони. В сущности это не был даже поклонник, он просто любил ее так глубоко и преданно, как после, кажется, уже никто не любил ее... В нашем кружке он появился сравнительно недавно, но так сжился с нами, что мне казалось, что мы всю жизнь знали его.

Это был высокий, худощавый студент, со впалой грудью и небольшою бородкой и с прекрасными, добрыми и ясными глазами, которых не портили даже очки и несколько напряженное выражение близорукого взгляда. Он всегда был так молчалив и спокоен, что почти не казался молодым. С Соней они были полные контрасты, но он, видимо, нравился ей, и никто не имел на нее такого влияния, как он. Я была уверена, что дело кончится у них браком, да и сам Бессудный, видимо, мечтал о том же; Соня была тоже как будто не прочь, хотя решенного у них еще ничего не было. Бессудный был очень беден, на руках у него к тому же были еще старуха мать и младший братишка, и ему надо было раньше хоть курс кончить. Тем не менее они с Соней расставались так, как могут расставаться только любящие люди, и на свой переход из Москвы он решался, конечно, только ради того, чтобы быть к ней ближе и жить в одном с ней городе. В последнюю минуту и я, и Соня, расставаясь со всем, к чему привыкли с детства, прощаясь со всеми, кто до тех пор был нам близок, плакали как дети и не могли успокоиться даже и тогда, когда поезд уже мчал нас куда-то в неизвестную и точно слегка пугавшую нас теперь даль и мы сидели в купе уже одни, только втроем с Сашей.

Но Саша не дал нам долго плакать; сам он был в духе, как никогда, шутил, смеялся и дурачился так, что, забывая слезы, мы и сами хохотали вместе с ним. В сущности, Соня была очень довольна нашим переездом в Петербург. Он давно уже манил и интересовал ее. Ей казалось, что «настоящий умственный центр» — это именно там, а Москва только «отражение» его. А главное — ей давно уже хотелось поступить на высшие женские курсы, о которых она всегда мечтала; у нас даже был проект записаться туда вместе. И мы заранее мечтали, как это будет хорошо и сколько нового мы узнаем, сколькому необходимому, не хватающему

нам, как мы смутно сознавали это сами, научимся там, и решили по приезде немедленно приняться за осуществление нашего проекта.

Но Саша, к немалому нашему изумлению, вовсе несочувственно отнесся к нему.

— Совсем излишнее,— сказал он без всякого удовольствия, когда мы поделились с ним нашею идеей.

Соня вспыхнула и обиделась.

— Отчего же излишнее? — спросила она запальчиво.— Ты всегда так! Это опять, верно, как со сценой будет! Помнишь, когда я хотела готовиться к ней, ты тоже объявил, что это «излишнее», и не позволил мне, хотя все находили у меня талант, а теперь та же самая история с курсами начинается!

— Все это ерунда, матушка,— сказал он ей спокойно и прибавил свою любимую фразу: — Сила не в этом!

— А в чем же? — невольно обе вместе спросили мы у него. Но когда Саша не хотел на что-нибудь отвечать, заставить его сделать это было трудно, и он отделывался или общими местами, или просто прекращал разговор.

Так было и теперь, он только сказал нам:

— Да уж во всяком случае не в этом! — и не стал больше разговаривать на эту тему.

Тогда мы с Соней решили оставить его «пока» в покое и не приставать до поры до времени, а потом снова приняться и постепенно заставить его согласиться с нами и не мешать нам.

И вот мы приехали в Петербург. На первое время мы остановились в гостинице и заняли там три номера, один для нас с Соней, другой для Саши, и третий изображал что-то вроде приемной.

С первых же дней к Саше начала ходить масса разного народу; тут были и его товарищи-инженеры, и какие-то подрядчики, купцы, рабочие и т. д., одних он принимал только у себя, других же приводил к нам и знакомил с нами; за три недели, что мы прожили в гостинице, мы перевидали и перезнакомились со стольким народом, сколько у себя в Москве не видели и за три года.

В сущности, это было весело, то есть нам казалось тогда, что это очень весело.

Днем мы искали квартиру, которую, впрочем, Саша нашел очень скоро и «удивительно удачно», как он находил, хотя мне она и казалась слишком большой, слишком парадной и неуютной, но Саша не позволял нам ни во что вмеши-

ваться, потому что мы, по его словам, все равно ничего не понимали. Он сам покупал всю мебель, совещался с обойщиками, все устраивал, хлопотал, закупал, а нам позволял только сопровождать себя и «смотреть».

Даже наши костюмы заказывал он. Он занялся ими сейчас по приезде, находя, что мы в наших «московского изделия» платьях и шляпках имеем совсем провинциальный вид. Саша не хотел, чтобы мы были «хуже других», и сам возил нас по разным дорогим портнихам и модисткам, и опять-таки не давая даже и тут нам ни во что вмешиваться; он не жалел денег, чтобы только с помощью их и модных шляп и юбок сделать из нас «настоящих петербургских дам». Наш траур слегка раздражал его. Он любил все яркое, жизнерадостное, все бросавшееся в глаза и выделявшееся из толпы, и скучный черный цвет наших платьев положительно сердил его.

— Точно монашки с Сергиевского подворья! — говорил он с неудовольствием, и, несмотря на то что с маминой смерти не прошло и трех месяцев, он уже заставил нас снять со шляп креп и противный ему черный цвет заменить серым, лиловым и белым.

Сначала мы с Соней протестовали; не носить по маме, так любившей нас, даже и траура казалось нам просто бессовестным, но Саша, когда хотел, умел все так высмеять, что наша «чувствительность и сентиментальность» стала казаться смешной уже и нам самим, тем более что новые шляпки и платья были такие нарядные и красивые, каких у нас еще никогда не было, и мы кончили тем, что сами увлеклись ими, хоть смутное чувство недовольства собой и неловкости перед чем-то и гнездилось внутри.

Раз как-то, когда нам уже очень почему-то было весело, Соня вдруг задумалась и сказала:

— Какие мы с тобой, Наташа, гадкие! Тетя так нас любила, нами только и жила, а мы так скоро ее забыли! Даже и не скучаем совсем! Право, мне порой кажется, что нас с тобой точно подменили как-то!..

И мне это казалось, и мне те же мысли приходили не раз в голову, но задумываться над ними долго было некогда, а Саша говорил, что все это ерунда, что сила не в этом, что мертвое — мертвым, а живое — живым, и что мама первая же одобрила бы нас.

Саша все еще был несокрушимым божком и авторитетом в наших глазах, и мы невольно во всем ему верили, хоть в душе и чувствовали смутно, что это что-то не так. Но вери-

ли тем охотнее, что, веря ему и слушая его, жилось как-то необыкновенно просто, весело и приятно.

В короткое время у нас набралось столько новых знакомых, что мы с Соней долго еще путали их имена, фамилии и даже лица.

В Петербурге, вероятно Сашиными стараниями и собственной молодостью и свежестью, мы разом «пришлись ко двору», как он выражался. За нами ухаживали, нас всюду приглашали, говорили нам любезности и комплименты, и Саше все это очень нравилось. Ему льстило, что его дамы имеют успех, и он с удовольствием возил нас на вечера, пикники и театры, и вечер, проведенный дома и без гостей, считал скучным и неудачным.

В крайних случаях, если мы никуда не были званы, он тащил нас хоть в клуб ужинать, где у него была всегда масса знакомых и где сейчас же подле нас образовывался целый кружок, и мы просиживали там до трех и четырех часов ночи.

Дела его тоже устраивались, должно быть, прекрасно, потому что он был очень в духе и хоть и не посвящал нас больше в них, но в деньгах не стеснял, и мы с Соней, прежде почти не имевшие их в руках, теперь в какие-нибудь полгода выучились, незаметно для себя, тратить их по целым сотням на разные мелочи и тряпки, в сущности совсем нам ненужные и без которых мы отлично обходились прежде.

Летом он переселил нас в Павловск, но и там на даче продолжалась та же жизнь, какая была и зимой в городе, с той только разницей, что, вместо театров и клубов, мы проводили вечера на музыке. И опять у нас бывала масса всякого народу, разные Сашины приятели, компаньоны, товарищи с семействами и без семейств, которые приезжали, обедали, играли в винт, ходили с нами на музыку, иногда даже ночевали у нас, ухаживали за мной и Соней и потом куда-то исчезали.

Такого кружка, близкого и сплоченного, как в Москве, где все чувствовали себя почти родными, здесь почему-то не составлялось.

Отношения складывались как-то совсем иначе — более поверхностно и официально. При свиданиях все эти господа казались чуть не друзьями, но, несмотря на всю их внешнюю любезность, чувствовалось, что все это не глубоко и даже вряд ли искренно. Все эти знакомства завязывались больше на деловой почве с примесью чего-то еще другого,

чего — тогда мы еще не понимали, и что поняла я только гораздо позднее.

Среди этих новых знакомых некоторые нам с Соней были прямо антипатичны, и мы даже пытались просить Сашу, чтоб он нас от них избавил, но Саша возмущался нашим «ребячеством», говорил, что мы ничего не понимаем, что все это «нужные» ему люди, которые всегда могут пригодиться, и просил не дурить и не мешать ему «устроить дом и завести знакомства».

Потом, позднее, я поняла, что для него уже все люди делились на два лагеря: «нужных», с которыми он был любезен и мил, и «ненужных», к которым он был равнодушен и мало замечал их существование.

Была, впрочем, третья категория лиц, к которым у него была прямо какая-то слабость. Это — «известные» люди; все равно, кем бы они ни являлись: артистами ли, писателями, сановниками ли, миллионерами ли или просто только титулованными господами. Соня со свойственной ей меткостью очень скоро это заметила и даже слегка вышучивала брата, уверяя, что для Саши люди начинают существовать только с действительных статских советников или с 15 тысяч годового дохода.

Вернувшись осенью в город, мы зажили опять той же жизнью, которая установилась у нас в Петербурге с самого начала, только круг нашего знакомства увеличился еще больше, и мы уже окончательно не проводили дома ни одного вечера.

Осенью же перевелся в Петербург, как и хотел, Бессудный и сначала стал бывать у нас так же просто и часто, как и в Москве, но затем постепенно все реже и реже.

Наш новый образ жизни, должно быть, удивил и огорчил его. Он даже высказал нам с Соней это в глаза, но Соня уже отвыкла от него за эти 8—9 месяцев и встретила его так холодно и чуждо, что мне даже жаль его стало, тем более что сам он, по-видимому, не только не охладел к ней, но за время разлуки, стосковавшись по ней, кажется, еще больше полюбил ее.

Его угрюмый, ненарядный и огорченный вид и «обличительные речи», как в насмешку называла Соня его разговоры, и даже, кажется, самая любовь его к ней — только раздражали ее теперь, и она была с ним так резка и небрежна, так больно и жестоко издевалась над ним, что надо было иметь все его спокойствие и терпение и всю его привязанность к ней, чтобы не оскорбляться и сносить это.

Часто я совсем не узнавала Соню и не понимала, что с ней. За что она стала к нему такой несправедливой и точно злой, и как может она,— такой, какой я знала ее всегда: доброй, чуткой, благородной и великодушной,— так обращаться с человеком, который был виноват пред ней только тем, что любил ее, и которого сама она там, в Москве, если не любила еще вполне, то, во всяком случае, начинала уже любить.

Мне кажется, что одной из главных причин того был Саша, уже и раньше, в Москве, не сочувствовавший Бессудному, как претенденту на руку Сони, а теперь прямо беспощадно высмеивавший его.

Он при всяком случае так зло вышучивал его перед Соней, так пользовался малейшей возможностью, чтобы представить его пред ней в смешном и карикатурном виде, что постепенно Соня и сама стала так же глядеть на Бессудного.

Она была страшно самолюбива и предпочитала лучше отказаться от человека, к которому в глубине души, несмотря ни на что, ее все-таки влекло, чем мириться с тем, чтобы другие находили его смешным, жалким и ничтожным.

Хотя почему он им казался таким, я никогда не могла понять. Правда, он резко отличался и манерами, и взглядами на жизнь, и всем своим внешним видом от тех людей, которые теперь составляли круг нашего знакомства, но, на мой взгляд, только в его же пользу, и перемена к нему Сони очень огорчала меня.

Я не понимала, чем он ей не пара и почему перестал быть парой только потому, что мы переехали в Петербург и начали богатеть. По-моему, Бессудный был умный, честный, хороший человек, с большим характером и трудолюбием, и главное — беспредельно любивший Соню. Это был человек, на которого всегда можно было положиться и который для семьи отдал бы последнюю каплю крови, а если у него сейчас ничего еще не было, то что за беда, большею частью у молодых супругов никогда ничего не бывает; благосостояние приходит только потом, с годами, да и что было у нас с Сашей самих, когда мы женились? Тоже ничего, но это не помешало ему начать богатеть в первые же годы, если только уж так необходимо непременно богатеть!

И разве тот же Саша не мог бы помочь им на первое время!

Но Саша и слышать о том не хотел.

— Э, матушка, с этим делом торопиться нечего,— сказал он, когда я заговорила с ним об этом.— Вот погоди, поживем здесь годок, другой, третий, войдем в силу — тогда этого добра сколько угодно явится, и, по крайней мере, будет из кого выбирать. А то выбрали какого-то Бессудного! Бог знает что такое, просто Бесштанников какой-то!

— Саша,— сказала я возмущенная,— как тебе не стыдно! Он хороший и честный человек.

Я инстинктивно начинала ненавидеть эти знаменитые Сашины слова «сила не в этом», и, когда он это говорил, каждый раз во мне что-то возмущалось и закипало и мне хотелось за что-то и за кого-то заступиться. Пробовала я не раз заговаривать о том и с Соней, но Соня или отмалчивалась, или сердито хмурилась, раздражаясь как бы и на меня; чем дальше шло, тем все обиднее и пренебрежительнее обращались оба они с Бессудным, и я уже даже не знала, чем мне сколько-нибудь загладить пред ним их странное поведение.

Наконец, и Бессудный потерял терпение, и когда раз как-то Соня в своих издевательствах над ним перешла уже всякую меру, он вдруг весь побледнел, поднялся с места и, подойдя к ней, спросил, глядя ей прямо в глаза:

— Софья Григорьевна, зачем вы это постоянно делаете? Хотите вы, чтобы я ушел от вас?

Соня вспыхнула и молчала. Бессудный тоже молчал, не отрывая от нее глаз, стоял перед ней.

— Хотите вы этого, Софья Николаевна?*— повторил он.

— Да,— сказала Соня тихо, но с какой-то злостью.

Бессудный вздрогнул и пошатнулся.

— Совсем бы ушел... навсегда?..— спросил он глухо.

С минуту Соня, казалось, колебалась. Она сидела тоже вся бледная, с опущенными глазами, и в лице ее было такое выражение, точно она боролась сама с собой и с каким-то отчаянным усилием что-то отрывала от себя и переламывала себя.

— Этого вы хотите? — спросил ее опять Бессудный не своим, строгим и глухим голосом.

— Да,— сказала тогда Соня еще злее и подняла на него глаза, блиставшие почти ненавистью.

Бессудный как бы сразу не поверил ей. Он жадно смот-

---

* Разночтение в первоисточнике.— *Прим. сост.*

рел ей в лицо, точно ища на нем хоть слабого луча надежды, хоть какого-нибудь проблеска былого чувства — но ее горевшие ненавистью и злобой глаза, верно, поразили его, и он тяжело опустил голову.

— И это ваше последнее слово?

— Последнее! — крикнула ему Соня так резко, точно слово это с болью вырвалось у нее самой.

Бессудный молча простоял еще минуту, точно все еще цепляясь за какую-то надежду, точно все еще думая, что Соня опомнится и возьмет назад свои жестокие слова, но Соня только тяжело дышала, и лицо ее, такое прелестное и милое всегда, было все искажено упрямым и злобным выражением.

Тогда Бессудный взял шапку, подошел ко мне, взял мою руку и крепко поцеловал ее, хотя раньше никогда не целовал.

— Спасибо вам, Наталья Константиновна, за все,— сказал он тихо, еще дрожащим голосом,— если когда-нибудь понадоблюсь, вам ли, Софье ли Григорьевне,— позовите, приду — где бы ни был.

И он вышел, крепко еще раз пожав мою руку.

Я сидела совсем расстроенная, и так мне жалко было Бессудного, так досадно на Соню, что я чуть насильно не остановила его, чуть не крикнула ему, чтоб он не уходил, что Соня сама на себя лжет, сама не понимает, не хочет понимать своего сердца, и чуть не заплакала, когда ничего этого не сделала и Бессудный ушел.

Когда он вышел, и шаги его затихли, мы несколько минут просидели молча, не заговаривая и не поднимая друг на друга глаз, наконец я не выдержала и заговорила первая.

— За что ты прогнала его, Соня? — сказала я с упреком.— Что он тебе сделал?

— Ах, оставь меня, оставь! — воскликнула Соня почти со слезами.— Он надоел мне,— прибавила она через секунду.

— Неправда,— сказала я тихо.

— Нет, правда, правда! — крикнула Соня, и глаза ее опять гневно вспыхнули, а лицо все задрожало.

— Боже мой, да что он тебе сделал! Чем он тебе надоел. Только тем, что любит тебя!

— Да зачем, зачем он меня любит! — крикнула Соня с какой-то страстною злостью.— Зачем! Разве я прошу его любви, разве я хочу ее! Она только мешает мне, только

мучает меня. Я не хочу его любви, я ненавижу его, ненавижу!

И Соня вдруг разрыдалась, порывисто сорвалась с места и бросилась к себе в комнату.

Я тоже ушла к себе, и долго просидели мы так порознь, каждая у себя, и на душе у меня впервые поднялась тогда та тоска, что так часто терзает теперь.

Несколько раз подходила я к Сониной двери, но она заперлась и не откликалась на мой зов.

Когда пришел Саша, он, должно быть, сразу по моему лицу понял, что что-то случилось, потому что сейчас же спросил:

— Что у вас тут без меня произошло?

Я вкратце передала ему происшедшую сцену; он, видимо, обрадовался и рассмеялся.

— И отлично сделала, что спровадила,— сказал он весело, потирая руки,— совсем он ей не пара, Бесштанников твой!

Тогда я серьезно возмутилась против него и заговорила так горячо, как, кажется, еще никогда с ним не говорила.

— Саша,— сказала я с негодованием,— это гадко мерить людей только по деньгам! Неужели же помимо них в человеке уже ничего не имеется и не ценится!

Но Саша, не желая, верно, ссориться и поднимать «вопросов» из того, что уже само собой кончилось к его удовольствию, отделался тем, что, по обыкновению, пренебрежительно пожал плечами и сказал:

— Ну, что там рассуждать, все равно ты этого не понимаешь.

Он имел обыкновение все споры с нами так кончать. Но на этот раз я была задета уже слишком сильно: во мне все кипело, и я не могла, как делала это постоянно, покорно согласиться с тем, что я будто бы действительно ничего не понимаю, и замолчать поэтому.

— Нет,— воскликнула я горячо,— может быть, я понимаю все это не хуже тебя! И я не верю, не хочу, не могу верить, чтобы у людей не было бы других идеалов, других стремлений, помимо денег и наживы их! Если мы стали такими, то это еще не значит, что все таковы, есть люди лучше нас, и они думают и чувствуют благороднее, выше, честнее нас, а если это не так, то я не знаю тогда, к чему существует человечество и лучше... лучше, может быть, в таком случае ему было бы не существовать вовсе!..

— Ну, матушка, занеслась,— сказал Саша и ушел, пренебрежительно махнув рукой.

Он всегда побивал нас своими «простыми словами», как выражалась Соня, и с ним можно было затеять какой угодно отвлеченный спор и говорить о самых возвышенных вещах, но благодаря его системе «простых слов» он всегда выходил точно победителем и все самые сложные вопросы разбивал и кончал одним каким-нибудь презрительным словом вроде: «ерунда», «все это вздор», «бабьи бредни» и, главное, своим любимым выражением «сила не в этом», и он говорил это всегда с таким глубоким убеждением своей правоты и с таким искренним пренебрежением к чужим «фантазиям», что выходило так, как будто бы он и действительно прав.

Грустно прошел этот день, и в тяжелом настроении провела я его; Саша, как всегда теперь, когда дома ему что-нибудь не нравилось, куда-то уехал, а Соня сидела у себя, запершись, и я больше не ходила к ней.

Она вышла только к вечеру, уже одетая для театра, в который мы с ней должны были ехать.

Лицо ее все еще было бледно и сумрачно, и глаза заплаканы, но она сейчас же подошла ко мне и, ласкаясь своей вкрадчивой, полукошачьей, полудетской манерой, которая была в ней как-то особенно обаятельна, сказала, прильнув головой к моей груди и пряча на ней свое заплаканное лицо:

— Пожалуйста, Таточка, не будем больше никогда говорить о нем...

— Не будем, если не хочешь,— ответила я с невольным вздохом,— только жаль мне его...

— Ну, может быть, и мне его не меньше жаль,— сказала Соня быстро и хмурясь опять,— но все-таки не будем!

Что могла я сказать ей на это! Ей самой было уже 20 лет, и она лучше меня должна была, конечно, понимать свою душу.

Может быть, я и действительно ошибалась, и Соня не любила его или любила так мало, что не стоило ради такого маленького и ненадежного чувства связывать навеки эти две жизни, как почему-то хотелось того мне.

Мы с ней крепко поцеловались и поехали в театр, куда скоро приехал и Саша с одним своим приятелем, тоже слегка ухаживавшим за Соней, и никогда еще, кажется, Соня не была так оживлена и весела, как в этот вечер.

Саша тоже был очень доволен, что мы «поумнели»,

тоже был очень в духе и из оперы потащил нас ужинать к Кюба или куда-то в этом роде.

Потом... потом все вошло опять в свою колею, и Бессудный исчез из нашей жизни...

Весною этого года Саша в первый раз повез нас с Соней за границу, прямо в Париж, где накупил нам массу всяких туалетов, шляпок, безделушек и где мы прожили три недели в каком-то чаду и угаре от всей этой суеты, магазинов, ресторанов, театров и тому подобных мест, куда он целыми днями возил нас.

Нас с Соней тянуло в Швейцарию и Италию; мы с ней мечтали увидеть море, настоящее, южное море, увидеть горы, которых никогда еще не видали; побывать в разных старых знаменитых галереях Италии, куда Соню, очень недурно рисовавшую и интересовавшуюся искусством, давно уже влекло. Но Сашу ни природа, ни музеи не интересовали; он называл все это «скучищей» и вместо Италии и Швейцарии повез нас из Парижа в Ниццу и Монако, где его счастье, не изменившее ему даже в рулетке, помогло ему не только не проиграться, но еще и выиграть несколько тысяч франков, так что по возвращении домой он шутливо, но не без гордости рассказывал потом, что по всем его счетам за границей уплатил монакский князь.

Так прошло еще года три, ничем особенным не выделявшихся, в которые жизнь, раз заведенная, катилась как по рельсам; только знакомства все увеличивались и переходили все в более и более богатый и широко живущий круг. Дела Саши шли все лучше и лучше, он так быстро поднимался в гору, что часто, кажется, и сам удивлялся тому, что называл своим «счастьем». На него уже глядели как на крупную деловую силу и будущего миллионера; ему завидовали и в то же время относились с видимым почтением, и самые солидные, крупные дельцы, как бы доверяя его счастью и ловкости, охотно шли с ним в дела, приглашали в свои общества, выбирали его в члены всевозможных правлений и, очевидно, глядели на него уже вполне как на «своего» человека, и вдобавок очень дельного, ловкого, талантливого да еще и такого, которому все удавалось. Саша расцветал все больше; его жизнерадостное и самоуверенное отношение к жизни все укреплялось и ко всем остальным достоинствам прибавляло ему еще репутацию человека очень приятного характера.

Мы с Соней видели его все меньше и меньше. Он постоянно заседал в каких-то комиссиях, заседаниях, завтракал со своими компаньонами и сослуживцами у Кюба и дома показывался только во время обеда да и то всегда с кем-нибудь, да иногда вечером заезжал на минутку к нам в ложу, если мы были в театре.

Часто его и совсем по целым неделям не бывало в Петербурге; его дела постоянно заставляли его ездить то в Баку, то в Одессу, то в Новороссийск, то в Лондон или Париж, и мы постепенно привыкали жить без него, но, будучи всегда вместе, не очень скучали, тем более что все наше время проходило так, что мы его почти не видели и нам даже не хватало его.

Почему это так происходило, мы и сами не понимали. В сущности, мы решительно ничего не делали. Даже живописью и музыкой, которой Соня так любила заниматься в Москве, здесь она совсем не занималась.

Мечты наши о высших курсах тоже развеялись как-то сами собой и отпали. Жизнь наша здесь, в Петербурге, с самого начала пошла так, что им прямо не было места в ней; мы смутно чувствовали это и чувствовали какое-то глухое, внутреннее недовольство собой за то в душе, но, не желая огорчать друг друга, молчали и не заговаривали о них больше.

Соня точно забыла о них, и я не напоминала ей — к чему, когда, очевидно, это все равно было невозможно. Времени с этими бесконечными выездами и приемами было так мало, что на серьезное его все равно не хватило бы. Мы чуть не каждый день возвращались домой к пяти часам утра и никогда не раньше трех; просыпались всегда разбитые, утомленные, точно не выспавшиеся и не отдохнувшие за ночь, только к 12 часам утра, и пока «вылеживались», как говорила Соня, вставали, одевались и завтракали, время подходило уже к трем часам дня; надо было торопиться ехать с визитами, или по магазинам и портнихам, или по выставкам, или еще куда-нибудь в этом роде. Нам с ней даже читать было некогда, и мы, в Москве читавшие с такой жадностью, что мама, бывало, говорила про нас, что мы «глотаем» книги, тут не читали почти ничего и, что хуже всего, почти уже и не стыдились того, почти уже и не стремились к тому.

Право, не знаю, нравилось нам это тогда или мы делали это только в угоду Саше да потому, что все кругом нас так же делали.

Должно быть, что все-таки же нравилось, а главное, мы, сами того не замечая, втянулись в это. Пожалуй, еще мне, с некоторой долей вялости, которая всегда была в моем характере, подчас такой образ жизни казался утомительным, но Соня с ее живостью, общительностью и жаждой жизни положительно втянулась в это и скучала не меньше Саши в те дни, которые нам случалось провести дома и без гостей.

По обыкновению, за нею много ухаживали, она имела несомненный успех и на всех балах являлась одной из первых дам, но настоящих женихов все-таки же не было, и никто уже не любил ее так, как любил когда-то Бессудный.

Нельзя сказать, чтобы она этим огорчалась; скорее, она была равнодушна к этому вопросу.

Чувство любви, как бы начавшееся было просыпаться в ней тогда, в Москве, к Бессудному, снова точно замерло. В ней даже и потребности к нему как бы не было, несмотря на то что ей шел уже 23 год и по натуре она была удивительно нежна и привязчива, а вид маленьких детей всегда будил в ней какую-то особенную нежность, как бы исходившую из инстинкта материнства.

Мне часто это казалось странным, и я не понимала,— как это она, такая мягкая, женственная и в то же время легко увлекавшаяся, вносившая долю страстности и экспансивности даже в нашу с ней дружбу, может так долго оставаться совершенно равнодушной ко всем мужчинам и никем из них сколько-нибудь серьезно не увлечься.

Иногда мне казалось, что где-то там, в глубине ее души, которую она прячет даже от себя, в ней еще не все прошло к Бессудному, и это мешает ей увлечься кем-нибудь другим.

По крайней мере, когда кто-нибудь случайно произносил при ней его имя, она болезненно хмурилась и замолкала, словно задумываясь о чем-то, но через минуту уже успокаивалась и становилась еще оживленнее и веселее, только оживлением каким-то немного нервным.

А порой мне казалось, что причина даже и не в Бессудном, а просто все эти выезды и тряпки отвлекают ее от всего серьезного в жизни, невольно разменивая на мелочи ее, так богато одаренную и так мало, в сущности, черпавшую из этой своей одаренности.

Но я так любила ее, что мысль остаться без нее, одной, невольно пугала меня, и я была почти рада, что никто не отнимает ее от меня и мы остаемся вместе.

Я и тогда уже понимала, что без Сони мне будет житься

гораздо труднее и тяжелее уж хотя бы потому, что больше будет оставаться времени быть наедине с собой и задумываться над многим, над чем, может быть, лучше было не начинать думать совсем. За эти три года случилось только два события, вытекшие, впрочем, одно из другого. Первое — это был тот знаменательный день, когда Саша сказал нам о своем первом миллионе, и второе, более незначительное, это то, что мы купили дом, старинный барский особняк, и переехали в него из нашей квартиры.

Я помню как сейчас ту минуту, когда нам Саша объявил про этот знаменитый миллион. Помню то приподнятое волнение, в котором мы с Соней были тогда все первое время. Помню, что мы с ней не могли ни спать, ни есть, ни думать, ни говорить ни о чем другом и даже во сне, кажется, все тем же грезили.

В Соне, так же как и в брате, была доля реализма, и миллион так сам по себе, как что-то отвлеченное, мало удовлетворял ее; ей хотелось непременно материализовать и воплотить его во что-нибудь, и она засыпала Сашу бесконечными вопросами,— что он с ним сделает?

Но Сашу эта мысль занимала теперь меньше всего, и он ничего особенного делать не собирался. Ему этот первый миллион был важен только как сила. В нем за эти годы действительно развился крупный, по-своему даже, быть может, гениальный спекулянт, и этот миллион только еще шире развертывал перед ним дорогу, давая возможность начать новые, еще более грандиозные предприятия, которые уже роились в его голове и увлекали его воображение. И потому Сонины вопросы оставляли его совершенно равнодушным; единственно, на что он соглашался — это купить дом-особняк на одной из лучших улиц. Это было, по его мнению, и выгодно, фешенебельно; он даже присмотрел уже несколько и теперь предлагал нам только выбрать один из подысканных им.

Эта мысль очень понравилась нам. Соню она прямо восхитила, как всякая новизна, всегда увлекавшая ее.

Слушая Сашины проекты, которыми в пылу экстаза он, против обыкновения, даже делился с нами, она тоже страстно увлекалась, и картины одна другой заманчивее и обольстительнее вставали в ее разгоряченном воображении. Ей хотелось и дворцов, и каких-то новых брильянтов, огромных, необыкновенных, и лошадей, выписанных бы прямо не то из Аравии, не то из Лондона, каких ни у кого не было; ей казался теперь этот миллион таким же неисчерпаемым,

как неисчерпаемы казались когда-то первые тридцать тысяч, и одно представление о нем уже кидало ее в жар.

Но раз как-то, только что мечтавшая о том, как лучше отделать наш дом, она вдруг задумалась и точно побледнела.

— Да,— сказала она тихо каким-то виноватым голосом,— это все для нас, для себя, а что же мы сделали на него для других?

Саша сначала не понял ее, но я разом поняла, и какой-то точно стыд и укор совести перед кем-то и чем-то, неясным мне самой, шевельнулся вдруг и в моей душе.

— Кому другим? — спросил Саша, не понимая, про кого она говорит.

— Я не знаю,— сказала Соня нерешительно,— но нельзя же все только себе, для себя, надо же делиться.

Тогда Саша понял наконец, но только махнул рукой.

— Ну, матушка,— сказал он успокоительно,— на этот счет можешь быть спокойна: я ежегодно отдаю известный процент на разные благотворительные общества!

— Этого мало! — сказала Соня горячо.— Я не знаю, но я чувствую, что это не то, что теперь ты обязан сделать что-то больше! А то это уже слишком несправедливо, одним все, а другим ничего!

— Это тебе не твой ли Бессудный такие идеи проповедовал? — спросил Саша насмешливо.

Соня вспыхнула и нахмурилась.

— А если бы даже и он,— сказала она резко и надменно,— разве эти идеи постыдны?

— Ну, матушка,— воскликнул Саша нетерпеливо,— много вы с ним в этом понимаете! Несправедливо иметь много! Скажите, пожалуйста! Тогда несправедливо иметь и немного, потому что всегда найдется кто-нибудь, у кого будет еще меньше! Ну да, впрочем, бог с тобой, жертвую тебе на твою щепетильность пять тысяч, можешь раздать их по своему усмотрению, для успокоения своей совести!

— Это что-то не то,— сказала Соня опять нерешительно,— нужно что-то другое, как-то иначе...

— Ну, матушка,— воскликнул Саша уже решительно,— больше ни одной копейки не дам, а не желаешь этого, так и ничего не получишь! Что, в самом деле, за фантазии еще; ты, кажется, воображаешь, что одним миллионом можно все человечество обогатить!

— Ну не покупай нам лучше брильянтов,— предложила я робко, боясь, что эта мысль не встретит большого сочувст-

вия в Соне, которая давно уже мечтала о брильянтовой ривьере, но она радостно кивнула мне головой и с жаром воскликнула:

— Конечно, конечно! Все-таки же в этом будет тогда хоть какая-нибудь жертва!

Но Саша окончательно рассердился и объявил, чтобы мы не дурили, а то в другой раз он никогда больше не станет нам ничего рассказывать.

— Брильянты,— закончил он,— вам нужны не для себя, а для других, значит, и рассуждать не о чем.

И он ушел, недовольный нами так же, как мы были точно недовольны за что-то им.

Но в том радостно-возбужденном настроении, в каком мы были тогда, недовольство не могло долго держаться в нас, тем более что на другой же день явились уже новые впечатления, потому что Саша предложил нам, не теряя времени, немедленно приниматься за осмотры домов, и мы с Соней со следующего же дня начали наш объезд и потом целыми днями только и делали, что совещались, спорили и чуть не ссорились из-за этих домов, которые нельзя было скупить все, а надо было выбрать непременно только один из них. Казалось бы, что дом выбрать труднее, чем купить брильянты, однако с ним дело устроилось гораздо проще и благополучнее, чем с этими несчастными брильянтами, из-за которых Соня чуть не до слез огорчила и разочаровала меня в себе.

Обеим нам Саша подарил по брильянтовой ривьере, но моя была больше и крупнее почти вдвое, и это обидело и задело Соню.

Она вся гневно вспыхнула, когда Саша открыл перед нами оба футляра, и, едва дотронувшись, в виде благодарности, губами до лба Саши, сейчас же ушла к себе.

— Ну,— сказал Саша, который любил, чтобы его подарки имели успех,— она что-то не на шутку дурить стала, замуж бы уж ей пора!

Мне это было очень неприятно.

Я знала, что Саша с Соней искренно и горячо любят друг друга, но за последнее время между ними все чаще и чаще пробегали черные кошки и чуть не постоянно происходили разные недоразумения и несогласия, переходившие даже в ссоры, и меня, ненавидевшую всякие ссоры, это очень беспокоило. Я пошла к Соне и нашла ее в слезах.

— Соня, деточка, о чем ты! Как тебе не стыдно! — ска-

зала я, привлекая ее к себе и, в свою очередь, чуть не до слез огорчаясь ее слезами.

Но Соня сердито вырвалась от меня и заговорила таким злым голосом, что мне даже больно стало:

— Не мне должно быть стыдно, а ему! Он делается чем богаче, тем скупее — это гадость!

— И все это,— сказала я с упреком,— из-за несчастных брильянтов — не ты ли сама совсем хотела отказаться от них, а теперь...

— Хотела, хотела! — воскликнула Соня раздраженно.— Мало ли что хотела! Это совсем другое — там было известное нравственное удовлетворение, которое примиряло с потерей их, но получать гадость, когда ему ровно ничего не стоит подарить нам одинаковые — это уже скупость и несправедливость, и я лучше вовсе не желаю от него никаких подарков, чем получать их точно из милости и из остатков! Ты сама прекрасно видишь, что твоя ривьера стоит, по крайней мере, вдвое дороже моей!

— Соня, Соня,— закричала я чуть не с болью,— как тебе не стыдно! Зачем ты так говоришь, зачем ты меришь это на деньги, на цифры! Я не верю, не хочу верить, чтобы ты искренно могла так думать! Ты просто раздражена сейчас, оттого и клевещешь на себя!

Соня сконфузилась и замолчала, опустив голову и нервно теребя свой мокрый от слез платок.

— А зачем,— сказала она тихо и уже смущенно,— он научил меня этому! Разве я думала так прежде!

И лицо ее из злого и чужого мне стало вдруг детски жалким, и она снова заплакала, но уже не злыми и раздраженными, а какими-то точно горькими и виноватыми слезами.

Я обняла ее, прижала к себе, и мы обе плакали, не понимая ясно о чем, но на душе было так тяжело и грустно, точно мы расставались с чем-то милым и дорогим, точно прощались с чем-то, исчезающим из нас самих...

— Ну хочешь, поменяемся нашими ривьерами,— сказала я, тихонько лаская Соню, но она молча покачала головой и крепко поцеловала мои мокрые от слез глаза.

— Нет,— сказала она тоже тихонько,— бог с ними, с этими брильянтами; это все пустяки, и не от них это, а от того... от того, что сами мы стали хуже... Скажи мне, ты не чувствуешь порой, как у тебя в душе точно испортилось что-то, точно заржавело как-то... и, когда это почувствуешь, так больно делается, так жалко чего-то... Бог весть, чего

жалко — самое себя как-то жалко... не теперешнюю себя,— а какую-то прежнюю себя... точно как-то понемногу все уходишь куда-то из самой себя — из прежней и делаешься какой-то новой, чужой, противной самой себе... тебе никогда этого не кажется, Наташа?

Я молча кивнула ей головой. Я даже говорить не могла — так мне было тяжело, так что-то болело и ныло у меня на душе, и долго мы с ней сидели так, обнявшись и прижавшись друг к другу, и молчали, думая каждая свои невеселые думы. Но Соня первая успокоилась и даже развеселилась опять.

Она всегда чувствовала все более сильно и страстно, чем я, но у нее скорее это и проходило, а я никогда не умела переходить быстро из одного настроения в другое.

Соня вскочила с моих колен и стала мыть свое заплаканное лицо и смеяться над собой. Когда ей случалось расплакаться, она первая же начинала потом вышучивать себя, изображая причину своих слез в таком комическом духе, что все невольно смеялись, и, верно, поэтому никто не придавал серьезного значения ее слезам, порывам и тоске.

Так было и теперь; через какой-нибудь час Соня уже так искренно хохотала над собой и над «инцидентом», что даже не верилось, что это та самая девушка, которая еще недавно дышала вся такою злостью, а еще более недавно с такою тоскою плакала над самой собой.

Но я была рада, то она успокоилась и развеселилась, и, глядя на нее, не понимала уже и сама, отчего мы с ней вдруг так разволновались и о чем собственно плакали.

Саша тоже был очень доволен, когда мы пришли в столовую и по нашим лицам он увидел, что все «окончилось благополучно».

Соня сейчас же подошла к нему, крепко поцеловала его и весь вечер, точно заглаживая свою вину, была особенно с ним мила и нежна, а он, с обычным ему в сущности добродушием, тотчас же перестал на нее дуться и, чтобы вознаградить ее, обещал ей на свадьбу подарить ривьеру еще лучше моей.

Таким образом «инцидент с брильянтами», как шутя назвала это Соня, был исчерпан и скоро забылся, но на душе у меня он все-таки оставил какой-то горький след, и каждый раз, когда мы с Соней надевали эти злополучные ривьеры, я невольно вспоминала его, и на сердце опять поднималась какая-то тяжесть и печаль...

Сказав, впрочем, что за все эти три-четыре года ничего

особенного больше в нашей жизни не было, я сказала не совсем правильно.

Было еще одно событие, быть может, незначительное по результатам, но очень повлиявшее на меня и во многом совершенно изменившее меня...

Это событие, неважное для других, но огромное по значению для меня, была моя вторая беременность. После первой, неудачной, прошло уже семь лет, и я почти потеряла надежду на то, что она может повториться... и вдруг счастье снова улыбнулось мне и мечта, о которой я перестала даже думать, такой прекрасной и несбыточной она уже казалась мне, опять чуть было не стала действительностью. Той действительностью, которая, верно, разом бы совершенно изменила все мое существование, дав ему новый глубокий и прекрасный смысл... Но судьба, или, вернее, я сама, опять разбила все... Я была так счастлива, когда это случилось, что готова была идти на все, делать все, лишь бы уберечь себя от повторения первой истории.

Саша тоже был в восторге; он мечтал, что это будет сын, которого ему всегда хотелось иметь, как продолжателя его имени и дел. В сущности, он был равнодушен к детям и не особенно горевал, что их у нас нет, но сына ему все-таки хотелось для укрепления «лаврентьевского рода» — как говорил он сам.

Но тот страх и осторожность, с которыми я, напуганная неудачей первого раза, относилась теперь к себе, казались ему преувеличенными и излишними.

— А как же бабы-то,— спрашивал он,— до последнего дня в поле жнут?! — и он решительно был против того, чтобы в чем-нибудь, а тем более с самого же начала менять наш образ жизни, и ссылался на Соню, которой будет вовсе невесело ни с того ни с сего просидеть взаперти чуть не целый год.

Сама Соня, положим, горячо протестовала против этого и возмущалась, когда Саша говорил это, но, когда вначале я действительно попробовала отказаться от выездов, я заметила, что она действительно стала скучать, хоть и не хотела в том сознаться. Все это вместе, а главное, Сашины насмешки над распусканием женщин, желающих в это время изображать из себя какой-то драгоценный хрустальный сосуд, готовый разбиться от малейшего неосторожного прикосновения, сделали то, что я действительно ни в чем не изменила нашего образа жизни и по-прежнему ездила с Соней каждый день на балы и вечера, затягивалась, и разве

только не танцовала, и т. д., и опять была наказана.

Сначала Саша был искренно опечален, особенно когда я чуть не умерла на этот раз, а Соня была в таком отчаянии, так страстно рыдала, обвиняя себя в эгоизме, которого теперь не могла простить себе, что я же должна была утешать ее.

Но когда понемногу я начала наконец поправляться и с возвращением к жизни понимать, «что» я опять потеряла — горе мое усилилось, разрослось и охватило меня такой тоской, и отчаянием, и угрызениями совести, что я не знала, что мне делать с собой, как спастись от себя. Я чувствовала себя почти преступницей, почти убийцей, и мысль эта чуть не сводила меня с ума.

Саша сначала старался, как умел, утешать меня и говорил: что-что другое, а дети всегда будут, а не будут, так и не надо — и без них отлично проживем. Имя его все равно не скоро забудется, и, коли он проработает еще лет 10, он так расширит дело, построит такие заводы, которые и без детей сохранят его имя.

Да и наконец кто знает, может быть, вместо сына родилась бы девочка, тогда это и совсем, значит, неважно.

Но я уже не слушала его и не утешалась больше его «простыми словами». Я понимала, что детей у меня уже не будет никогда, и стала вдруг понимать, что такая жизнь, как наша, без детей, без идеалов, без труда, без всякой руководящей идеи, кроме деловых операций моего мужа, без религии, без любви к людям — является чем-то постыдным и недостойным и что жизнь настоящая, ради которой стоит родиться и получается самое право жить — не может быть такой, какою сделали мы свою!

Но Саша ничего этого не понимал, и мое угнетенное настроение стало уже не на шутку раздражать его, тем более что оно не улучшалось ни от его ласк, ни даже от щедрых подарков, которыми он, точно в утешение и вознаграждение, засыпал меня. В конце концов он серьезно обиделся на меня и объявил, что «так дольше нельзя», что, в сущности, ничего особенного не случилось, что добро бы мы потеряли действительно ребенка, которому было бы уже несколько лет, а то что-то такое еще даже и не существовавшее, а я чуть не отравляюсь с горя; что никогда ничего не следует мелодраматизировать и преувеличивать, потому что иначе жизнь станет невозможной, и что как мне угодно, а чтобы я забрала бы наконец себя в руки, иначе он просто из дома сбежит.

Тогда я поняла и то, как розно мы с ним чувствуем и думаем, как далеки, в сущности, друг от друга! Но я все еще по-прежнему любила его и знала, что ему с его практичным и жизнерадостным настроением всегда был несносен и скучен вид человеческих страданий и горестей. Они скорее только раздражали его, чем будили его участие и сочувствие.

Жизнь, дарившая ему только удачи и удовольствия, развила в нем вместе с самоуверенностью и требовательность к себе, и он желал, чтобы она была праздником не только для него, но чтобы и все окружавшие его находили бы ее таковой же и не портили бы ему приятного настроения своим мрачным отношением к ней.

А во мне за эту болезнь, заставившую меня столько передумать и пережить, точно совершился какой-то моральный переворот, который если не отравил мне эту жизнь, то, во всяком случае, впервые еще как бы оттолкнул от нее, открыв и уяснив в ней что-то, чего я раньше не видела и не понимала. Но все-таки я «забрала себя в руки», как просил о том Саша, и, затаив в себе и горе и мысли, терзавшие меня, постаралась сделаться опять такой же, как была.

Но это было уже только на вид, а в душе моей с тех пор точно началось какое-то омертвение, постепенно все разраставшееся, захватывавшее ее все больше и больше, точно какая-то моральная гангрена,— пока не захватило ее всю.

Вскоре после этого времени в жизни нашей появился новый человек, имевший страшное влияние на все продолжение ее.

Человек, с которым познакомил нас как-то Саша, был Плешко — будущий муж Сони.

Плешко жил постоянно в Одессе, но в Петербурге у него были какие-то дела, ради которых он приезжал сюда по нескольку раз в год.

С Сашей познакомился он сравнительно недавно по какому-то делу, в котором они оба участвовали, и раньше он не бывал у нас, но в один из последних его приездов Саша привез его к нам, и Плешко стал бывать у нас чуть не ежедневно.

Он сразу начал сильно ухаживать за Соней. Сначала Соня только смеялась над ним, но после того как Саша дал ей понять, чтобы она не очень бы пренебрегала этим поклонником, считавшимся одним из самых крупных воротил юга, она начала несколько призадумываться и к ухажи-

ванию Плешко стала относиться уже с большим вниманием, хотя в то же время он был ей очевидно противен.

Саша страшно возился с ним; он глядел на него с нескрываемым восхищением и был в него почти влюблен. Ухаживание его за Соней положительно льстило Саше, и он с восторгом рассказывал нам, что у Плешко в Одессе лучший дом, лучшие конюшни и его знает весь юг, тогда как начал он с того, что был где-то в Бухаресте или Константинополе мальчишкой-газетчиком.

Но мне этот Плешко был не по душе.

Это был небольшой, полный человечек с короткими, жирными руками, выдающимся уже очень заметно брюшком и с какими-то неприятными для меня, сластолюбивыми, маслянистыми, точно вечно чего-то ищущими глазами.

Вся его фигура дышала таким самодовольством, которое граничило уже с нахальством, а его толстые, влажные, чувственные губы были мне как-то особенно противны. Его возраст, так же как и национальность и религию, определить было трудно. Он выдавал себя то за грека, то за румына, то за бессарабца или чеха, и вероятнее всего был просто евреем, на которого более всего походил. Говорил он на нескольких языках, и на всех одинаково плохо и с каким-то своеобразным акцентом, опять-таки же более всего напоминавшим еврейский. На вид ему было не то 40, не то 50 лет. Некрасивым его нельзя было назвать, напротив, скорей он был даже красив той специфической восточной красотой с резкими чертами, яркой окраской, в которой для нас, северян, есть что-то точно нечистоплотное и слегка даже противное.

У него не было родных или людей, знавших его хорошо с детства, и он сам, кажется, не знал наверное города, в котором родился; но это ничуть не смущало его, и, когда его спрашивали о том, он с гордостью показывал на себя своим жирным, коротким пальцем с огромным солитером и говорил: «Я сам свое отечество!»

И этот человек, точно действительно не имевший ни национальности, ни отечества, ни религии, ни родного языка и никаких, по-видимому, убеждений, не внушал мне доверия; я с первого же раза почувствовала к нему какую-то инстинктивную антипатию, которой очень возмутила Сашу, восторгавшегося, наоборот, и умом Плешко, и его энергией, и ловкостью и находившего его прямо чуть не гением.

Плешко сразу влюбился в Соню, или, вернее, его разом охватила к ней та страстная чувственность, к которой осо-

бенно склонны южане восточного происхождения и в которой всегда есть примесь какой-то животности, еще более отталкивавшей меня от него.

Да и Соне он был, очевидно, противен, и чем сильнее влюблялся он в нее, тем делался, кажется, противнее, и чувство отвращения к нему невольно прорывалось в ней, даже когда она, видимо, желала скрыть это.

Но я слишком хорошо знала ее, чтобы не понимать этого, и не раз замечала, как она вся нервно вспыхивала и брезгливо отшатывалась от него, когда он с каким-то плотоядным наслаждением в лице наклонялся к ней и целовал ее ручки.

А между тем, несмотря на инстинктивное отвращение к этому человеку, ухаживание его за ней положительно льстило ей, и она страшно кокетничала с ним, словно нарочно стараясь окончательно свести с ума.

Я не понимала, что ей за охота делать это и как может его ухаживание нравиться ей! Не понимала и того, как мог Саша так очевидно покровительствовать и чуть что не радоваться этому.

Не проходило дня, чтобы Плешко не был у нас. Он засыпал Соню цветами и конфетами; постоянно возил нам ложи то в оперу, то в Михайловский, то в цирк и непременно затаскивал оттуда куда-нибудь на тройках к цыганам или ужинать, причем всегда с каким-то особенным удовольствием подливал Соне шампанское и упрашивал ее пить, и чем больше Соня уступала и пила и, разгорячась, потом дурачилась и хохотала, тем сильнее, кажется, влюблялся в нее и окончательно млел подле нее, жадно впиваясь в нее своими масляными, туманящимися глазами.

Мне все это было так противно, что каждый раз я должна была всеми силами сдерживать себя, чтобы не возмутиться совсем и не наговорить ему чего-нибудь дерзкого.

А Саша был очень доволен. Он опять всюду охотно сопровождал нас и точно в угоду Плешко сам еще придумывал разные поездки и пикники, которые давали Плешко возможность проделывать все это.

Я пробовала говорить об этом и с ним, и с Соней, но Соня только отшучивалась, а Саша говорил: «Ну, матушка, у тебя все драмы!» — и махал рукой.

— Соня,— сказала я ей раз прямо,— зачем ты все это делаешь? На что тебе этот Плешко, неужели же ты согласилась бы выйти за него?

— А хотя бы и так! — сказала она каким-то новым в ней

со мной, вызывающим тоном.— Хотя бы и так, что тут особенного?

Меня даже в холод бросило.

— Боже мой, боже мой, да ты с ума сошла! — воскликнула я чуть не с отчаянием.— Да ты сама не понимаешь, что говоришь и на что идешь! Да нет, я не верю, этого не может быть, не должно быть! Это святотатство какое-то!

Соня стояла предо мной с побледневшим и сумрачным лицом, и мои слова, а может быть, и та страстность, непривычная ей во мне, с которой я заговорила, были ей неприятны, но тем не менее влияли сильнее, чем она, может быть, сама бы того желала.

— Ты всегда все преувеличиваешь, Наташа,— сказала она сухо.— Во всяком случае, зачем волноваться заранее — это далеко еще не решено.

И она перевела разговор на что-то другое и с этих пор стала при мне с Плешко гораздо осторожнее и сдержаннее, не то не желая даром мучить и дразнить меня, не то стесняясь во мне неприятной для себя свидетельницы, которая, как она прекрасно понимала, с болью следит за каждым ее словом и улыбкой этому человеку.

Я решила хоть со своей стороны не покровительствовать им и под разными благовидными предлогами стала отказываться от наших выездов и пикников с Плешко, лишая поневоле таким образом и Соню возможности участвовать в них.

Но Саша пришел в полное негодование и решительно потребовал от меня не заводить историй и не делать скандалов.

— Послушай,— сказала я ему тогда,— неужели ты не понимаешь, чем все это грозит кончиться?

— Чем? — спросил он простодушно, точно не понимая меня.

— Тем, что в конце концов она выйдет за этого Плешко.

— И отлично сделает! — воскликнул Саша с удовольствием.— Лучшего и желать нельзя!

— И ты можешь этого желать?! — спросила я с ужасом, почти не веря, что он искренно говорит это.

— А отчего же бы и нет? — сказал Саша почти тем же самым тоном, каким сказала это уже и Соня.— Отчего же бы нет? — продолжал он спокойно.— Плешко — человек, у которого состояния по крайней мере миллионов на шесть, коли не на все на десять! Кажется, такие женихи не часто находятся!

— Боже мой, да разве это важно! — воскликнула я в отчаянии пред этим полным непониманием смысла вещей — не того внешнего, видимого и фактического смысла их, который один они, кажется, имели в виду, а того глубокого, внутреннего смысла их, все освещающего или все разрушающего собой, от которого зависит вся душевная жизнь человека, со всем ее миром, счастьем, совестью и страданием, про который они точно совсем забывали или, вернее, считали неважным в сравнении с материальной и фактической стороной жизни.— Боже мой, да разве можно связать себя с человеком на всю жизнь, отдать ему себя всю без любви, без уважения, без доверия, с одним отвращением только к нему да с жадностью к его миллионам! — сказала я, не зная, как растолковать Саше все это, как заставить его понять то, чего он не только не понимал, но и не желал даже понимать, но он махнул рукой и сказал, презрительно пожимая плечами:

— Ну, матушка, пошла, поехала! И что у тебя за страсть какая-то развилась к трагедиям! И почему это она, скажи пожалуйста, кроме отвращения ничего к нему уж и чувствовать не может? Плешко не стар, очень мил, умен, талантлив, даже красив, один из первых богачей Одессы и вдобавок еще и влюблен в нее! Чего же ей еще надо, потвоему?

— Не стар,— сказала я с невольной усмешкой,— да он ей в отцы годится, но и это еще неважно, а важно то, что он развратный, грязный, циничный человек, для которого не существует ни принципов, ни совести, ни убеждений, который только испортит, развратит и погубит и самую Соню! Ты прекрасно это понимаешь и все-таки толкаешь сестру на такой грех, такую гадость! Это нечестно и недобросовестно, Саша! — сказала я, чувствуя в первый еще раз в жизни, как какое-то недоброе, возмущающееся чувство поднимается у меня к мужу, и впервые еще сознавая, как далеко ушел он от того юноши, честного, горячего, отзывчивого на все доброе, каким я когда-то узнала и полюбила его там, в Москве. И сознание это, с такой ясностью вдруг охватившее меня, наполнило меня такой тоской и горем, что я не выдержала и зарыдала и о Саше, и о Соне, так легко стремившихся к бездне, и о самой себе, понимавшей это, но не умевшей удержать их...

Но Саша взял шляпу и сказал:

— Ну, коли дело дошло до высоких фраз и рыданий,

то я лучше в клуб поеду, а тебе советую не дурить и в чужие дела не мешаться!

— Чужие! — сказала я с горечью.

— Ну, какие бы там ни были. Она, мой друг, тоже не девочка, ей самой двадцать четвертый год! Слава тебе господи, может понимать, что делает, и знать, чего хочет. Во всяком случае, ведь это не тебе грозит опасность сделаться madame Плешко, коли уж он тебе так противен, а ей, так, значит, и в отчаяние приходить тебе не из чего!

И, холодно поцеловав мою руку, Саша уехал.

Он теперь все домашние и почему-либо неприятные для него вопросы решал тем, что брал шляпу и уезжал в клуб или балет или какую-нибудь комиссию. Для него этот способ был действительно очень удобен, но меня это все больше и больше приучало замыкаться в себе; прежде у меня была хоть Соня, все мне собою заменявшая, но теперь и Соня точно отошла от меня.

После того, последнего нашего разговора с нею она, видимо, стала слегка избегать меня, и я чувствовала, как все более остаюсь одинокой, и мне не с кем было уже делиться всем, что меня волновало и мучило, неоткуда было ждать помощи и отклика на терзавшие меня мысли и вопросы... Что до Плешко, то у меня оставалась одна надежда, что Соня сама опомнится и прогонит его наконец, но надеждам моим не суждено было сбыться, и раз, когда мы с ней вдвоем возвращались в карете с какого-то вечера, она вдруг вскользь сказала мне:

— Сегодня Плешко сделал мне предложение.

Во мне все замерло, и я едва нашла силу спросить:

— И... и что же?..

— И я согласилась,— сказала она так просто и спокойно, точно говорила о согласии ехать на какой-нибудь вечер.

Я ничего больше не сказала, и Соня, тоже молча и отвернувшись от меня, смотрела в окно.

Ну что же я могла сказать ей на это? О, многое, очень многое, я знаю; я была старше, опытнее ее, я все-таки лучше ее знала людей и жизнь и лучше понимала, что предстоит ей с ним; она всегда была для меня как бы младшей любимой сестрой и чуть ли не самым дорогим существом на свете, и я чувствовала, что должна что-то сделать, должна как-то спасти ее, уже хотя бы потому, что где-то там с меня спросят отчет за нее и ее, и моя мать, оставившие мне ее чистой и честной, но что я должна делать, как именно спасать ее — я не знала и сама, но зато знала хорошо,

что Соню, так же как и Сашу, когда они что-нибудь твердо решат, бесполезно отговаривать и отклонять; они все равно никого уже не послушают.

Молча доехали мы до дома, молча поднялись по лестнице к себе, но когда и я, и она отпустили горничных, помогавших раздеться нам, я накинула на себя пеньюар и прошла к ней, и видит бог, что я сказала ей все, что только могла сказать, и что я на коленях стояла перед ней, умоляя не делать этого и не губить себя.

Но Соня слушала меня с бледным, сумрачным лицом, и по ее глазам, которые она почти не поднимала на меня, и по застывшей решимости, точно разлитой по всему ее лицу, я поняла, что ничто уже не поможет и что Соня решила бесповоротно. Тогда с отчаянием я поднялась с колен и горько спросила ее:

— Соня, ты не пошла тогда за такого человека, как Бессудный, а теперь идешь за Плешко?

Соня вздрогнула, и из глаз ее — этих глаз, боявшихся встречаться со моими,— вдруг полились слезы.

— Бессудный, Бессудный,— сказала она, плача, но точно с враждой и к нему, и ко мне,— что меня ждало с твоим Бессудным? Нищета!

— А тут что ждет тебя, Соня?

— То, что я хочу: богатство и удовольствие.

— И это все, чего ты хочешь от жизни! Я не верю тебе, ты клевещешь на саму себя!

— Во всяком случае, это — главное, чего я хочу от нее! — сказала она упрямо.

— Да где же твои идеалы в таком случае, в чем они, где? — воскликнула я.

— Не знаю,— сказала Соня резко,— меня никто им не учил! Вероятно, у меня их нет! Да разве они уж так нужны? С ними только труднее!

— Неправда,— сказала я горячо,— когда мы были с тобой моложе и жили еще в Москве, у нас были эти идеалы, мы знали их, мы еще верили тогда, что без них нельзя жить, и нам говорили о них!

— Да,— сказала Соня с искусственною холодностью,— но мы тогда были еще глупые девчонки и верили всяким фразам, а с тех пор все изменилось, и мы ушли от той жизни и от тех людей, которые говорили нам про это, а для тех, с которыми судьба свела нас теперь, ничего этого не нужно! Может быть, эти люди и хуже тех, но с ними веселее, с ними больше можно пользоваться жизнью, а я хочу взять от жиз-

ни все, что она может дать, и начинаю с того, что беру Плешко! — и она засмеялась каким-то нехорошим, деланным и вызывающим смехом.

— Что же тебе даст твой Плешко? — спросила я с грустью.

— Деньги, деньги и деньги! — сказала Соня, смеясь еще злее, и вдруг прибавила совсем Сашиным тоном: — Богатство — это сила, Наташа!

— Печальная сила,— сказала я,— в которой когда-нибудь ты очень разочаруешься...

— Может быть...— сказала Соня спокойно,— но пока этого еще не случилось, и я хочу испытать сначала его очарование.

Я чувствовала, что мы говорим на таких различных языках, что все равно, сколько бы ни говорили, уже не будем больше понимать друг друга. А когда-то — и сравнительно еще так недавно — мы жили, казалось, одною душой, одними мыслями, которые мы даже высказывали чуть не одновременно: так понимали друг друга с одного слова, с одного взгляда, так одинаково чувствовали и думали!

Но постепенно все это изменилось; мы стали точно дальше и более чужды друг другу, хотя еще по-прежнему любили одна другую, а я от той ужасной, на мой взгляд, будущности, которая ждала ее, мою Соню, любила ее теперь, кажется, еще сильнее, еще глубже, по крайней мере, жалела ее до терзания себя.

Соня посидела так молча, точно раздумывая о чем-то про себя, и вдруг снова заговорила:

— И потом, ты все это так говоришь, Наташа, точно сама ничем не пользуешься. Разве сама ты стала несчастнее от того, что стала богаче?

— Не знаю,— сказала я тихо.

— Не знаешь? — спросила Соня с удивлением и пытливо взглядывая на меня.— Не знаешь? Ну, вот видишь,— сказала она тогда, точно с каким-то торжеством,— ты даже не знаешь, счастлива ли ты, а ведь ты шла замуж за человека, с которым вы страстно любили друг друга, в которого ты верила, как в бога, и этот человек доставил тебе все, что только может дать мужчина любимой женщине и чего только может желать человек, и все-таки ты даже не знаешь, счастлива ли ты! Что же это значит! Вероятно, только то, что совсем счастья нет и не стоит, значит, искать его, а надо выбирать то, что интереснее и выгоднее, и с Плешко я, может быть, буду несчастна на один лад, а с Бессудным

была бы на другой, а ты с Сашей на третий — вот и вся разница, из-за нее не стоит и задумываться так глубоко и волноваться так горячо!

Я уже не пыталась больше возражать Соне, я только печально слушала ее и невольно сказала ей:

— Дай тебе бог никогда не раскаяться или, по крайней мере, не слишком сильно чувствовать потом свое несчастье!

— Ах,— сказала Соня, смеясь, почти уже весело,— об этом не беспокойся, я слишком легкомысленна для этого и всегда найду себе какое-нибудь утешение, ну, хоть в бесконечных новых шляпках, платьях, балах и тому подобных вещах.

— Это все надоест...— заметила я.

— Да, говорят, что все надоедает! — воскликнула она беспечно.— А нищета с твоим Бессудным надоела бы, наверное, еще скорее!

Мы посидели еще немного, как были — в наших ночных пеньюарах и туфлях на голых ногах, и, озябши, наконец разошлись по своим комнатам, но долго еще в ту ночь я не могла заснуть.

Наутро Соня торжественно была объявлена невестой Плешко.

Свадьба была назначена через 6 недель; оба, и Плешко, и Соня, торопились. Соня, точно боясь, что передумает, нарочно, кажется, спешила связать себя окончательно; Саша в глубине души побаивался, кажется, того же, а влюбленный Плешко желал как можно скорее получить Соню в свою собственность.

Он засыпал ее подарками и своею любезностью и щедростью старался очаровать не только Соню и Сашу, но и меня, тем более что прекрасно понимал, как внутренне я отношусь к нему.

Когда, приезжая, он брал мою руку и целовал ее своими толстыми, теплыми губами, мне делалось так противно, что я едва не отдергивала ее от него, а когда видела, как он, весь дрожа от своей животной страстности, наклоняется к Соне, смотрит на нее, расплываясь весь в плотоядную улыбку, своими нечистыми, заплывшими жиром глазами и охватывает тонкий стан ее жирными, короткими руками в дорогих перстнях, мне хотелось ударить его, хотелось рыдать, кричать от негодования и отвращения, хотелось выгнать его раз навсегда.

Я старалась только об одном, как можно реже видеть их вместе, и, как только Плешко приезжал, уходила в

свою комнату и оставалась там под разными предлогами.

Как ни мало было времени до свадьбы, но разные денежные недоразумения успели все-таки выйти между Сашей и Соней.

Конечно, Плешко был настолько богат, что не требовал за Соней никакого приданого, а сам еще преподнес ей в виде свадебного подарка свой одесский дом, который все называли настоящим маленьким дворцом.

Но Саша со своей стороны хотел что-нибудь сделать для сестры и положил на ее имя в банк 50 000 так, чтобы, не имея возможности тронуть капитала, она пользовалась бы всегда процентами с него. Но эти 50 000 возмутили и оскорбили Соню еще хуже брильянтовой ривьеры два года тому назад. Она уже привыкла считать на миллионы и сотни тысяч, а этот подарок в 50 000 казался ей нищенским и оскорбительным, и она резко объявила, что предпочитает совсем обойтись без Сашиных подарков, чем еще раз, хотя бы и в последний, заставлять брата «разоряться» на себя.

Она так и сказала «разоряться», но Саша сохранил, по обыкновению, полное хладнокровие.

— Ничего,— говорил он спокойно,— посердится и опять такая же будет, а когда-нибудь эти пятьдесят тысяч могут ей очень пригодиться. Да я еще и Плешко заставлю ей столько же положить, и тогда, по крайней мере, что там ни случись, а она обеспечена.

Но Соню и сто тысяч уже не удовлетворяли; она слышала отовсюду, что у Плешко миллионы, и говорила, что если уж Саша непременно так хочет, то пускай заставит Плешко подписать ей миллион.

— А то что такое для него пятьдесят тысяч! — говорила она презрительно.— Это даже стыдно как-то, из-за них и разговоров поднимать не стоит!

Но Саша был другого мнения.

— Черт его там знает, сколько у него этих миллионов; при таких делах не только у другого, у себя ничего наверное знать нельзя, а лучше синицу в руки, чем журавля в небе,— сказал он и действительно настоял на своем.

Надо отдать справедливость Плешко, он сейчас же выразил полное согласие и только сожалел, что несколько затрудняется сделать своей прелестной невесте более царский и достойный ее подарок, так как все его капиталы действительно в делах и для более крупной суммы ему пришлось бы ликвидировать некоторые из них, что дало бы большой убыток и не принесло бы пользы для самой же Сони.

Бог его знает, этого Плешко, искренно он так говорил или лгал, я даже как-то и миллионам его плохо верила и боялась, что Соня и в них, ради которых закрепощает ему себя, пожалуй, прогадает.

Хотя, с другой стороны, может быть, они и действительно у него были, но как ни был он влюблен в Соню, как ни любил поражать всех своим богатством и щедростью и пускать всем пыль в глаза, особенно там, где это приносило ему выгоду или какую-нибудь пользу, но к деньгам он, кажется, был очень жаден, и даже в то самое время, когда, казалось, что без счета бросает их на всякие прихоти, в нем все-таки проглядывала какая-то алчность и скупость, и очень может быть, что, несмотря на всю свою любовь, против его воли превращавшую его в Сониного раба, он предпочитал притворяться, что у него нет сейчас свободных денег, чем действительно подарить ей миллион, даже и в том случае, если их у него действительно было 10!

Но Саша, чтобы утешить Соню, шутя сказал ей:

— Если ты находишь, что пятьдесят тысяч уж так для тебя унизительны, то кто мешает превратить их для других хоть в миллион! Будем рассказывать, что в свадебной корзине Плешко преподнес тебе целый миллион, и будь уверена, что все поверят, а Плешко первый будет в восторге и уж, конечно, не станет опровергать.

Соня сумрачно ответила ему:

— Какие ты глупости говоришь! — но особенно протестовать не стала; эта мысль, кажется, действительно понравилась ей, и не прошло и недели, как слухи о грандиозном подарке Плешко своей невесте уже разнеслись по всему Петербургу, вызывая зависть, досаду и удивление и в то же время невольное почтение и к тому, кто мог преподносить такие подарки, и к тому, кто умел получать их.

Соню засыпали поздравлениями фальшивыми и неискренними, под которыми чувствовалась худо скрываемая зависть, но Соня, кажется, ничего не имела против таких чувств; скорей они ей даже нравились, как все, что выдвигало ее вперед перед толпой и заставляло говорить о ней, а Плешко и Саша тоже были очень довольны и тоже ничего не имели против таких слухов, которые могли оказывать на их дела только самое лучшее влияние.

Саша даже сказал мне как-то потом, шутя, через несколько времени, что благодаря этому слуху они с Плешко уже почти вернули свои подарки Соне.

Как ни мало оставалось времени до свадьбы, но приданое заготовляли все-таки огромное.

На Соню точно раж какой-то нашел, и она, казалось, опьянела от всей той массы кружев, батиста, бархата, мехов, серебра и бриллиантов, в которых мы с ней рылись целыми днями, разъезжая по всевозможным магазинам. Ни Саша, ни Плешко не стесняли ее и охотно платили по ее счетам.

Она выбирала все самое дорогое, самое роскошное; ей все хотелось чего-то особенного, чего-то такого, чего ни у кого бы больше не могло быть; ее вкусы и аппетиты в этом отношении часто просто поражали меня, и я не понимала, откуда они развились в ней в таких размерах, и невольно вспоминала прежнюю мою Соню, такую простенькую и скромную, не умевшую, бывало, отличить полотна от коленкора и так весело носившую свои дешевенькие домодельные платья и пятирублевые шляпки и не только не страдавшую оттого и не мечтавшую о роскошных туалетах, но даже мало и занимавшуюся этим.

И прежняя казалась мне не только милее и ближе, но как будто и красивее той, что сидела теперь передо мной в каком-нибудь поразительном парижском туалете, с осунувшимся, усталым лицом, в котором уже появилось какое-то новое, холодное и жесткое выражение, с беспокойным взглядом сухих глаз и с какими-то нервными, точно искусственными манерами, напоминавшими тех иностранных модных актрис, которых мы видели с ней в театрах.

Она все делала точно не для себя, а для других: точно нарочно старалась каждую минуту обращать на себя общее внимание, и если она входила куда-нибудь, и ее приход не вызывал никакой суеты, и к ней не бросались навстречу со всех сторон, подобострастно выслушивая ее приказания, она чувствовала себя почти оскорбленной и приходила чуть не в раздражение.

И все чаще переносилась я мысленно в Москву, в старое, милое, навеки ушедшее время, и душу каждый раз опять невольно обволакивала тоска.

Раз, выходя из какого-то магазина на Морской, мы вдруг лицом к лицу встретились с Бессудным.

Он проходил мимо в ту минуту, когда мы выходили из подъезда, но сейчас же увидел нас и остановился. Это было еще в первый раз, что мы встретились с ним с тех пор.

Соня быстро взглянула на него, вся ярко вспыхнула и, не останавливаясь, едва кивнув ему как-то надменно и зло,

точно сердясь на него за то, что он попался ей на глаза, поспешно прошла к карете и села в нее, не дожидаясь меня.

А я обрадовалась ему, сама не знаю отчего, и невольно остановилась перед ним; мне хотелось сказать ему что-нибудь теплое, сердечное, хорошее, но что сказать — я не знала и только смущенно и радостно протянула ему руку.

Он тоже, видимо, обрадовался нам и тоже радостно смотрел на меня своими хорошими, добрыми глазами и крепко жал мою руку и тоже, кажется, не знал, что сказать мне. Мы оба почему-то растерялись, и вдруг почти неожиданно для себя я сказала ему:

— А вы слышали, Соня выходит замуж?

И в ту же минуту мне стало досадно, зачем я сказала это, но Бессудный глядел спокойно, только худощавое лицо стало точно чуть-чуть бледнее и печальнее.

— Слышал,— сказал он просто, но с таким скорбным выражением в глазах, что я еще более раскаялась, зачем сказала ему это.— Слышал,— повторил он тихо,— и... и не поздравляю ее с таким выбором; ах, что она с собой делает, что делает! — вырвалось у него вдруг с такой болью и горечью, что я поняла, что он до сих пор еще любит ее и мучается за нее.

Мне хотелось утешить его как-нибудь,— хотя как и чем в таких случаях можно утешать! — но Соня резко и нетерпеливо позвала меня из окна кареты, я невольно вздрогнула и поспешно протянула Бессудному руку.

Он опять молча и крепко пожал ее и, не сказав больше ни слова, быстро и не оглядываясь в нашу сторону пошел дальше. Я же тоже молча села подле Сони. У нее было взволнованное лицо, которое она старалась сделать злым, и она нарочно сказала о Бессудном что-то резкое и обидное, но я не хотела говорить с ней теперь о нем и ничего не ответила. Но долго еще стояло предо мной, точно живое, его худое, скорбное лицо и в ушах раздавались слова: «Ах, что она с собой делает, что делает!»

И невольно с тяжелым вздохом я повторяла их за ним.

Свадьбу отпраздновали блистательно, на ней чуть не буквально было пол-Петербурга, то есть, конечно, того, о котором принято употреблять это выражение, а невеста в своих старинных кружевах и драгоценном жемчуге походила на какую-то венчающуюся принцессу.

Жених тоже сиял и торжеством, и самодовольством, и крупными солитерами (запонками на открытой груди

рубашки), сиял и Саша, озабоченно всем распоряжавшийся.

После небольшого «интимного», как говорил он, обеда, на котором было, однако, по крайней мере, 50 человек, совершенно постороннего для нас, в сущности, народа, молодые поехали на вокзал, чтобы ехать прямо к себе в Одессу. «За границу», куда обыкновенно совершаются все tour de noce*, их не манило. И тот и другой много раз бывали там, и Соне вовсе не улыбалось такое продолжительное tête-à-tête** со своим супругом, а Плешко торопился к своим делам, и без того запущенным за время его «жениховства», а главное, ему скорее хотелось показать Одессе свою блестящую жену.

Конечно, провожать их на вокзал приехала масса народа, Соне навезли столько конфет и букетов, что ее купе походило на настоящий уголок оранжереи, и я боялась, что она в нем задохнется, но Соня любила сильные запахи и, чуть не обливаясь вся духами, почти уже не чувствовала их больше.

Опять все пили шампанское, говорили поздравления, пожелания и двусмысленности, которым все бесцеремонно смеялись и вторили под влиянием, вероятно, слишком многочисленных тостов.

Я стояла к Соне ближе всех, но чувствовала ее такой далекой и чужой, так ушедшей уже от меня...

Она была очень оживлена и красива в своем элегантном парижском дорожном туалете, который на ней казался еще изящнее и красивее, чем на других, потому что она как-то особенно умела носить все. Она поминутно весело, но нервно и чересчур уже часто хохотала, шутила; говорила почти безостановочно, умудряясь перекидываться словами с 20-ю человеками зараз; только лицо ее было очень бледно и нервно подергивалось, да когда окончательно разгорячившийся от шампанского Плешко сладострастно наклонялся к ней и что-то шептал ей со своей чувственной улыбкой, она вся брезгливо вздрагивала и где-то в самой глубине ее глаз загорался вдруг словно ужас и отвращение, и мне невольно становилось страшно за нее.

Она тоже пила шампанское, поминутно чокаясь со всеми, и я с ужасом глядела, как она выпивает бокал за бокалом, точно нарочно стараясь опьянеть. Но, кажется, не

---

* свадебные путешествия *(франц.)*.

** наедине *(франц.)*.

пьянела, только лицо ее становилось все бледнее и измученнее, да смех, ежеминутный и громкий, вырывался как-то уж слишком больно и отчаянно из груди ее.

Перед последним звонком она вдруг припала ко мне, крепко обхватила меня руками и о чем-то зарыдала.

— Прости, прости меня, Наташа! — простонала она, и, боже мой, как страстно, как безумно захотелось мне вырвать ее отсюда и увезти куда-то дальше, дальше, где никакой бы Плешко уж не мог бы найти ее и иметь над ней власть.

Но что я могла сделать, что я могла! Я была одна с моей «нелепостью, фантазиями и предрассудками», как говорил Саша, а против меня были все, и на их стороне были и права, и закон, и, что хуже всего, была сама она.

Она рыдала на моей груди, страстно целовала мои руки и молила у меня в чем-то прощения, за что, в чем!

Разве передо мной она была виновата?

«Не у меня, а у себя, у себя моли прощенья,— хотелось мне закричать ей,— перед самой собой ты виновата, одну себя сгубила, перед собой совершила преступление!» Но разве я могла сказать ей это в такую минуту! Я так понимала ее, так чувствовала тот ужас, которым полна была теперь душа ее и который заставлял ее в последнюю минуту со страстным отчаянием цепляться за меня, в лице которой она точно прощалась со всем, что было дорогого и хорошего в ее жизни и в ней самой и от чего, добровольно отрекаясь, она навсегда уходила теперь.

И я уже ничего не говорила ей и только, тихо плача, осыпала поцелуями ее заплаканное лицо, ее голову — эту безумную, так заблуждавшуюся молодую голову, ее руки... и мне казалось, что у меня из души вынимают то последнее живое, что еще оставалось в ней.

Но прозвонил третий звонок; Соню оторвали от меня, подняли кверху на площадку вагона; кто-то окружил нас, что-то говорили, что-то кричали, должно быть, прощанья, пожелания, я не знаю, я почти ничего не понимала, ничего не слышала; я видела перед собой только Соню, только мою несчастную, сгубившую себя Соню, которая рыдала и рвалась теперь ко мне, протягивая мне издали руки, и голос ее был полон такого ужаса и отчаяния, что я сама рвалась к ней почти в таком же безумии, тоже протягивала к ней руки, но кто-то держал меня, не пуская двинуться с места, и поезд медленно начал уходить, увозя от меня куда-то в даль и темноту и Соню, мою Соню, и... и ее мужа... Боже

мой, ее мужа!.. Потом все скрылось, поезд исчез, и я осталась одна, в этой чужой, нарядной толпе, окружавшей меня с фальшивыми улыбками и с любопытными взглядами и что-то говорившей мне на прощанье; но Саша, видя, вероятно, в каком я состоянии, взял меня под руку и быстро повел к выходу.

Он посадил меня в карету и сказал, чтобы я приняла дома валерьяновых капель и поехала бы куда-нибудь в гости, чтобы развлечься, или легла бы спать, если очень устала, а ему надо было ехать на какое-то вечернее заседание.

И вот я ехала одна, к себе, в роскошный, опустевший дом, в котором с уходом Сони исчез точно последний смысл для меня, и в душе моей были тоска и ужас, близкие к безумию. Крик Сони, последний отчаянный крик ее, застыл в моих ушах и рвал мне сердце... и ясной в голове была только одна мысль, что теперь я уже одна, совсем одна и уже навсегда.

А жить все-таки же надо было...

. . . .

И остались мы вдвоем с Сашей. Первое время я так скучала, что просто места себе не находила. Как живое, стояло предо мной лицо Сони, с тем самым выражением застывшего в нем ужаса и отчаяния, с которым она рвалась ко мне в последнюю минуту с площадки вагона; оно просто давило меня точно каким-то тяжелым и страшным кошмаром, вставая передо мной как укор совести и днем, и ночью.

Сначала Соня почти ничего не писала, и если и писала, то такие коротенькие и пустые письма, по которым ровно ничего нельзя было понять, кроме того, что дом у Плешко действительно чудный, меблирован по-царски, знакомых у них полгорода и она очень много выезжает; но все это мы и сами знали и с большей или меньшей точностью могли предполагать, а о том, что меня больше всего интересовало — о внутреннем своем настроении,— она не писала ни слова. Я чувствовала, что она нарочно обходит это молчанием, и ее официальные, короткие листки белой бумаги, вместо настоящих писем, которых я ждала так страстно, даже не радовали меня.

Плешко тоже писал Саше; у них давно завелась между собой деловая переписка, но среди нее, большей частью post-scriptum, он прибавлял что-нибудь о Соне, и, несмотря на краткость этих приписок «мимоходом», в них все-таки прорывалась его влюбленность в Соню и самодо-

вольная, так свойственная ему гордость за тот успех, который, по-видимому, сразу встретил там ее.

Он был искренно восхищен тем, что в какие-нибудь два-три месяца она успела сделаться одной из самых модных женщин Одессы, «цариц города», как он тщеславно выражался, уже вскружила голову чуть не полсотне мужчин. «Я всегда мечтал о такой жене»,— наивно прибавлял он в одном из своих писем. «Всегда мечтал о такой жене!» А она, неужели и она всегда мечтала о таком муже!

Я тоже почти не писала ей; что я могла писать! Писать искренно, горячо, как наболело на сердце, было бесполезно, да уже и поздно, а обмениваться с ней такими же официальными, «белыми» письмами, какие она мне писала,— не стоило.

Слишком уж большая разница была между этими письмами и теми отношениями, которые были когда-то между нами и от которых до сих пор я все еще отвыкала с таким трудом и болью. Как ни любила я мужа, но с Соней мы все-таки были ближе. В нашей любви друг к другу была такая нежность, какая бывает между мужчиной и женщиной только в первые медовые месяцы влюбленности, а мы годы прожили в ней. Было время, когда мы почти не умели жить одна без другой, когда мы делились каждой мыслью и целыми часами говорили так, как могли говорить только друг с другом.

И вот все это отнялось у меня, и я не знала, найду ли я когда-нибудь подобное опять, не только уж в ком-нибудь другом, но даже и в ней самой...

Когда я вспоминала, что моя Соня, такая свободная, смелая, благородная и чистая прежде, сделалась теперь полурабой, полусодержанкой этого развратного, гнусного человека, делавшего из нее какую-то живую рекламу,— и представляла ее себе в его нечистых объятиях, меня охватывала такая тоска, что я ничем уже не могла заглушить ее в себе.

Саша видел, что я «заскучала», и хотя слегка подтрунивал «над бабьими нежностями, которые даже в простую дружбу умудряются вносить какую-то влюбленность», но все-таки старался меня по-своему развлекать. Он решил, что нужно мне заменить кем-нибудь Соню и... и нанял мне компаньонку!

Как я его ни убеждала не делать этого, как ни уверяла, что мне будет только еще тяжелее постоянное присутствие чужого человека, Саша не верил, говорил: «Э, глупости!»—

и в свою очередь уверял меня, что через какой-нибудь месяц я так привыкну к этому чужому человеку, что если она и не заменит мне вполне Соню, то все-таки же будет недалеко от того.

— А главное, матушка,— заканчивал он чуть не каждый раз,— я тебе уже говорил, что это будет гораздо приличнее. Я не могу всюду сопровождать тебя, у меня и без того дела по горло, а тебе выезжать вдвоем будет и удобнее и веселее. Не забросить же все выезды только потому, что Соня замуж вышла! Это невозможно! Ну, а в крайнем случае, если та, которую я наметил для тебя, очень уж тебе не понравится, ну, черт с ней, можно будет прогнать ее и нанять другую.

Больше всего в намеченной им компаньонке Сашу пленяло, кажется, то, что она переходила к нам прямо от светлейших князей Б. Я действительно очень надеялась на то, что с уходом от нас Сони он освободит меня от выездов, если уж не вполне, то хоть от таких частых, как прежде; но когда я заикнулась только о том, Саша рассердился, объявил, что я, верно, нарочно хочу ему портить отношения и что если, к сожалению, меня самое они не занимают, как занимали бы всякую другую женщину, то я обязана продолжать их для него, коли не хочу ему портить дел. Что это своего рода для меня обязательная служба, которую я должна нести для него — если действительно хочу быть ему верною женой и помощницей.

Быть «помощницей» его я не очень желала, но «портить» ему дела и огорчать его, любя его все еще так, как я любила тогда, я тоже не хотела. Да и не все ли мне было равно, как убивать мое время, которого у меня было так страшно много и которое я не могла, да, кажется, уже и не умела употреблять ни на что лучшее!

И вот ко мне поступила Марья Савельевна. Странное существо была эта Марья Савельевна. Она всю жизнь прожила по чужим домам и вся сделалась какой-то чужой, каким-то отражением других. У нее точно ничего не было своего: ни семьи, ни сколько-нибудь определенного положения, которое всецело зависело и сливалось с положением тех, у кого она жила; ни фамилии, потому что никто этим не интересовался и все звали ее просто Марья Савельевна; я сама всегда с трудом вспоминала, как ее фамилия, и ей, кажется, по очереди присваивали фамилию тех домов, где она жила. Не было у нее также и возраста, потому что ей с успехом можно было дать и 30 и 45 лет, ни даже «своей

физиономии», потому что «иметь физиономию» было, по ее понятиям, признаком дурного тона, чего она боялась больше «всего в мире». Она говорила, что «все порядочные люди должны походить друг на друга и стараться ничем не отличаться от других». Если бы она сколько-нибудь страдала от этого, она была бы очень жалка, но Марья Савельевна так привыкла быть отражением чужой жизни, так давно утратила все личное, если и имела его когда-нибудь, что не только не страдала, но, пожалуй, была бы гораздо несчастнее во всяких других условиях. Она была дочерью какого-то отставного генерала, чем очень гордилась, рано осиротела, и старая княгиня Г., у которой всегда было по нескольку воспитанниц, взяла ее к себе на воспитание и продержала потом уже в виде чтицы до самой своей смерти, после которой она перешла к ее кузине баронессе Д., а от нее к княгине Б. и так постоянно. Таким образом, Марья Савельевна с детства привыкла к своему положению и не находила его ни неестественным, ни неприятным.

Я сужу так потому, что знаю, что у нее были деньги, тысяч 12—15, на которые бы она могла, если бы захотела, устроиться как-нибудь иначе, но она предпочитала отдавать их потихоньку под проценты, а сама жить по чужим домам и копить свое жалованье, в сущности очень не маленькое — хотя зачем и для кого она это делала, я не могла понять, потому что родственников своих, если они у нее и были,— она не признавала, стыдясь их «маленького» положения, друзей же, таких, которым ей приятно было бы что-нибудь оставить,— также не имела. Она всю жизнь прожила чужими мнениями, чужими мыслями, чужими волнениями, чужими торжествами, но при этом умудрялась оставаться все-таки в стороне и не входить в них душой искренно и горячо. Они только рикошетом задевали ее, потому что она стояла тут же недалеко, простою свидетельницей, принимавшей во всем этом участие лишь постольку, чтобы поволноваться немножко, денек-другой, запомнить все в мельчайших подробностях и потом с удовольствием рассказывать о том.

Единственным сознательным стимулом ее существования была страсть к корректности. Хороший тон, хорошие манеры — это было каким-то легким помешательством в ней, ради которых она все готова была принести в жертву.

Она и людей судила только с этой же точки зрения.

Все люди делились для нее на три разряда: на людей общества, признаваемых ею «порядочными», и на «Dieu sait

qui»*, да еще на «мужиков», которых она почему-то ненавидела и боялась.

Порядочные люди были те, которые жили в хороших квартирах, ездили в своих экипажах, сидели в театре в бельэтаже и в первых рядах и презирали ее, Марью Савельевну. Если же они при этом занимали видное положение или носили титулованные имена, она окончательно уже преклонялась перед ними и говорила не только с ними, но даже и о них не иначе, как с каким-то растроганным почтением.

Непорядочными в ее глазах были все остальные, которые не могли так жить и которых презирала уже она сама, Марья Савельевна.

Она никогда не говорила: «Я думаю то-то и то-то» или «Я люблю это» — а всегда: «Княгиня Б. находила то-то и то-то, а графиня Л. любила это и не любила того-то». Как бывшая чтица княгини Б. и баронессы Д., она волей-неволей много читала, но старуха признавала только французских писателей прошлого столетия и книги религиозного содержания, а баронесса Д.— только газеты и современные французские романы, и потому, когда я, не зная, о чем говорить с моей новой собеседницей, заговаривала с ней о литературе, она поражала меня полным незнанием ее и совершенным равнодушием к ней.

Она искренно сознавалась, что не любит читать, что это скучно, и рассказывала сама, что когда ей, бывало, приходилось читать старой княгине Б. по нескольку часов в день, то она привыкла делать это так же машинально, как другие вяжут чулки.

И действительно, она была способна закрыть книгу на любой странице, оборвав чтение на полстрочке, и начать его потом снова, пропустив хоть 20 страниц.

Зато она знала истории чуть не всего Петербурга, и это, кажется, было единственное, что интересовало ее и, говоря о чем, она воодушевлялась.

Первое время, пока я еще стеснялась с ней и думала, что должна все дни проводить с ней, я страшно тяготилась ее обществом. Она тоже, очевидно, скучала со мной, и я замечала, что она говорит со мной и обо мне не иначе, как со снисходительным сожалением; считая меня очень недалекой, она, несмотря на свою корректность и какую-то особенную, ей одной свойственную вкрадчивую и лицемер-

---

* Бог знает что *(франц.)*.

ную любезность, не раз давала мне это чувствовать, а заодно уж и то, что в ее глазах мы все-таки не более как выскочки и, несмотря на все наше богатство, не можем равняться с князьями Б. и баронами Д. и что она, Марья Савельевна, дочь «заслуженного» генерала, воспитывавшаяся у княгини Б. и проведшая всю жизнь среди настоящей аристократии, сделала в своем роде mesalliance*, поступив к нам.

И вот она должна была заменить мне Соню!

Наше общее благополучие с ней заключалось, впрочем, в том, что, за исключением прогулок в экипаже, мы очень редко оставались вдвоем, да, пожалуй, еще в том, что она прожила у нас только полтора года и, к полному удовольствию своему и моему, перешла опять к каким-то князьям или графам, по которым так стосковалась у нас.

Мой день и теперь так же, как и при Соне, если даже еще не больше — потому что знакомства все расширялись,— начинался визитами, продолжался зваными обедами у нас или у других и кончался театрами и вечерами; а когда случайно выдавался час-другой свободы, я уходила на свою половину и с наслаждением сидела там одна,— роскошь, которая мне тоже была теперь почти недоступна.

С Сашей мы уже окончательно почти не бывали вместе, одни.

Я видела его всегда урывками, большею частью за обедом и всегда при ком-нибудь, потому что даже тогда, когда никого не звали, у нас всегда обедало трое или четверо посторонних, при которых невозможно было перекинуться ни одним простым, искренним словом. И это постоянное присутствие между нами чужого народа делало то, что и мы сами в конце концов становились все более и более чужими друг другу.

Случалось, что я не видела мужа целыми сутками и, встречаясь чуть не случайно на лестнице или в столовой, мы наскоро обменивались двумя-тремя словами и разъезжались в разные стороны, чтобы встретиться опять на минуту на каком-нибудь официальном обеде или званом вечере у знакомых.

Я еще так любила его, что такая жизнь всегда врозь, всегда с чужими, всегда точно в какой-то искусственной отчужденности друг от друга еще мучила меня и после разлуки с Соней — это было главное, что отравляло мне су-

---

* неравноправный союз *(франц.)*.

ществование и заставляло постоянно страдать в душе.

В сущности, я ни на что не могла пожаловаться на мужа. Когда мы видались, он всегда был очень мил и ласков; охотно исполнял все мои желания и просьбы, если они не противоречили его собственным, и, чтобы развлечь меня, засыпал подарками, щедрость которых составила ему репутацию «образцового мужа».

У меня было уже столько брильянтов, видеть которые на мне ему нравилось гораздо больше, чем мне надевать их на себя, что я уже не знала, что с ними делать, а Саша, убедившись, что всего этого накопилось уже в избытке, придумал делать мне из золота и осыпать драгоценными каменьями все другие мои вещи — флаконы, щетки, гребенки, чашки, бинокли, веера и т. д. Все, к чему я только ни прикасалась, издавало противный запах металла, неизбежный даже в золоте, и искрилось брильянтами, сделавшимися мне в конце концов противными.

Все находили меня счастливейшей женщиной и завидовали мне, а я чувствовала себя такой несчастной, такой заброшенной и одинокой. Чувствовала, как мы с Сашей делаемся друг другу все дальше и дальше и как он стремительно несется по дороге, казавшейся мне нечистой, опасной и невольно отталкивавшей меня; чувствовала, как он нравственно весь искажается, но изменить это не могла и не умела. Я вышла за него такой девочкой, неопытной, наивной и в своем обожании глядевшей на него снизу вверх, что получить на него какое-нибудь влияние не сумела с самого начала, а теперь это было еще невозможнее. Это влияние не только не увеличивалось с годами, но, скорее, все уменьшалось, и все мои разговоры, предостережения и вообще какое бы то ни было «вмешательство в его дела» казались ему скучными, неуместными и почти дерзкими с моей стороны; они только раздражали его и окончательно портили наши отношения, заставляя его избегать меня даже и в те редкие минуты, которые еще оставались у нас.

Он называл все это «бабьим нытьем», отравляющим жизнь других, и побивал меня своими простыми словами, под защитой которых ему жилось так легко, просто и приятно. Он говорил, что я «бешусь с жиру и от безделья, что мне не хватает только разве птичьего молока и просто мне делать нечего!».

Последнее было самое справедливое. Несмотря на то что очень часто у меня за целый день не находилось свободной минуты, которой я могла бы распорядиться, как желала,

хоть сколько-нибудь принадлежа самой себе, тем не менее в общем я все-таки ничего не делала. У меня не только не было какого-нибудь серьезного дела, в которое я могла бы вкладывать если уж не душу, то хоть искреннее желание, но даже и все те маленькие, повседневные дела, которые наполняют жизнь других женщин, заставляя их не замечать ее бессодержательности, от меня были отняты. Весь дом был заведен как большая, сложная машина, управлявшаяся полутора десятком слуг под руководством самого Саши, находившего, что я не умею ставить дом на ту ногу, какой ему хотелось, и потому почти совершенно отстранившего меня от всякого участия в домашнем хозяйстве.

Все делалось помимо меня и без меня, а мне подавалось уже устроенным и готовым вплоть до букетов по вазам и жардиньеркам, которые садовники ежедневно приходили освежать и менять. Предполагалось, что все это делается для меня, хотя, конечно, мне ничего этого не было нужно, и, теряясь в массе парадных, пустых комнат, в которых всегда было как-то холодно, неуютно и скучно, я бесцельно бродила по ним каким-то ненужным тут и, в сущности, излишним лицом.

Саша спрашивал меня, отчего я не займусь, например, благотворительностью, и говорил, что ему это было бы очень приятно, потому что сблизило бы меня тогда поневоле с такими лицами, с которыми без этого никогда не удастся даже познакомиться. Он предлагал мне жертвовать на это по нескольку тысяч в год, но вся эта благотворительность, которой занимались разные знакомые мои дамы, не тянула меня; у меня к ней сердце как-то не лежало, хотя, чтобы сделать ему приятное, я решилась попробовать и первое время старалась искренно заинтересоваться. Конечно, благодаря щедрым пожертвованиям меня с удовольствием выбрали членом нескольких обществ, намеченных Сашею, и тотчас же прислали сначала уставы, а потом приглашения на разные комиссии и заседания.

Я читала эти уставы, которые казались мне какими-то холодными, искусственными и ненужными, вроде моих показных комнат; добросовестно ездила на все заседания и комиссии, казавшиеся мне еще более ненужными и скучными, где, под личиной интересов общества, члены его вежливо ссорились и тонко интриговали друг против друга на почве личного тщеславия и честолюбия; устраивала вместе с другими разные выставки и базары, на которых с милыми улыбками и с благотворительной целью грабили друзей

и знакомых; жертвовала куда-то, по указанию Саши и по намекам разных важных председательниц, которым он желал угодить, сотни и тысячи рублей; ездила вместе с ними в каретах с лакеями смотреть «наших бедных», большинство которых казалось мне только ловко умевшими притворяться, льстить и выпрашивать; настоящие же бедняки были слишком забиты и несчастны, чтоб уметь проникать под покровительство наших важных обществ; но большого смысла и того горячего чувства, которое бы осветило для меня все это, все же не находила, и мне не переставало казаться, что все мы разыгрываем какую-то фальшивую и даже никому, в сущности, не нужную комедию.

Было, правда, несколько обществ, которые интересовали меня и казались мне серьезным и живым делом, но Саша находил мое поступление туда совершенно излишним, потому что нужных и интересных для него людей там не было, а глядели на эти общества несколько косо, потому что те идеи, которым они служили, были не в моде, и мое поступление туда могло, по его мнению, только повредить ему.

На вид я была вполне свободна, да и сам Саша искренно, кажется, воображал это, но, в сущности, у меня не было никакой свободы. Саша, почти не спрашивая моего согласия, разлиновал мою жизнь, как это было удобнее и желательнее ему самому, и даже наши знакомства завязывались исключительно по его выбору. Наши вкусы с ним в этом совсем разнились, и мои он находил удивительно непрактичными и мещанскими; почему-то всегда выходило так, что все люди, казавшиеся мне более симпатичными, терпели у него полное фиаско, и он держался с ними такого тона, что очень скоро они и сами отходили от нас.

Я знала, что в обществе, в котором мы вращались, меня считали неумной, скучной и неинтересной, а за мои бриллианты, которыми Саша заставлял меня увешиваться, полную фигуру и неподвижное лицо, нарочно усвоенное мною для выставки перед всеми этими чужими мне людьми, с которыми почему-то я должна была притворяться близкой и любезной, меня прозвали довольно зло «индийским божеством» и «брильянтовым истуканом», хотя, говоря правду, лично меня это трогало очень мало.

Саша часто даже сердился и искренно удивлялся мне.

— Не понимаю,— говорил он не раз,— как это ты не умеешь заставить никого ухаживать за собой! Молодая, красивая женщина, туалеты прекрасные, открытый дом —

и ни одного поклонника! Даже досадно за тебя. Другие в десять раз хуже, и старше тебя, и одеты отвратительно, а посмотри, как крутят головы и как окружены, а ты ни одного дурака не поймаешь!

Когда он так говорил, мне делалось обидно и больно, в душе невольно поднималось против него нехорошее чувство; я не понимала, как он может мне, жене своей, говорить такие вещи. Невольно западало сомнение в самой любви его, и приходило в голову, что если б он действительно любил бы меня, то не мог бы желать подобных вещей. Но при всем бы даже желании угодить ему я действительно решительно не умела «заставить ухаживать за собой», и всякая мысль о кокетстве была мне противна. В других женщинах мне это, пожалуй, нравилось; некоторым это положительно шло, но по отношению к самой себе — все эти поползновения на кокетство и ухаживания вызывали во мне только стыд и какое-то неприятное и неловкое чувство пред самой собой и другими.

Так прошла вся зима, зима без Сони. От нее я продолжала получать все такие же коротенькие, ничего не говорящие письма, с описанием раутов, обедов и туалетов, на которых и в которых она блистала.

Она точно нарочно прятала от меня свою душу, но я чувствовала и без слов и пояснений, что бедная душа болит, и как ни притворялась она веселой, счастливой и довольной, я не верила ей и чувствовала правду, как ни скрывала она ее.

К весне, наконец, я так соскучилась по ней, что уже не могла больше выдержать и решилась ехать к ней гостить в Одессу.

Страшно было мне ехать в дом Плешко. Страшно увидеть ее уже воочию женой этого человека; взглянуть на ее новую жизнь с ним и видеть все это так осязательно вблизи, каждый день, каждый час, все время, пока я пробуду там.

Но тоска по ней, тоска по искреннему, живому слову, которым без нее я целыми месяцами ни с кем не обменивалась; тоска по ласке, к которой мы с ней приучили друг друга и которой без нее я ни от кого не получала и никому не давала сама, так изгрызла меня, что я решила сломить себя, свое отвращение к этому человеку и ехать,— ехать во что бы то ни стало, чтобы только побыть опять вместе, хоть неделю, хоть день один, только чтобы отвести душу, наговориться, наплакаться вволю, не прячась, не в одиночку.

И вот я поехала к ней.

Что я передумала, перечувствовала, пока ехала, сидя одна в своем купе! Боже мой, да я, кажется, даже к Саше не ездила никогда с таким страстным чувством, с такою жаждой свидания! Когда я представляла себе, что через какие-нибудь двое суток уже увижу ее, обниму ее, я чуть не плакала от радости, от восторга и... и от горя. Какого-то неизъяснимого горя, семя которому бросили наша разлука с ней и ее ужасный брак и которое с тех пор все росло и росло в душе моей и грызло — как боль, как зарождающаяся смертельная болезнь.

Я считала часы, станции, версты, и сердце билось так, точно я ехала к своему возлюбленному, в котором была вся моя жизнь... и мне казалось, что я не доживу до этого мига свидания, не дождусь его, что это уже само по себе такое счастье, которое никогда не сбудется...

Но оно сбылось. Миг этот пришел, и мы увиделись... не на вокзале, там был и Плешко; при нем несколько застыл мой порыв; хоть мы и бросились друг к другу и расцеловались, но это было не то, не то, и мы обе это чувствовали и все время, что ехали в ландо с вокзала и он был с нами, мы болтали о разных пустяках и только улыбались друг другу да не выпускали руки одна другой.

Но когда мы приехали и остались наконец одни, вдвоем, мы обнялись, взглянули в глаза одна другой и заплакали...

Ничего мы с ней не говорили, ни о чем не спрашивали друг друга. Да и о чем было спрашивать, о чем? Разве мы не все сказали этими горькими слезами, которыми невольно заплакали обе в первую же минуту, как только остались вдвоем и взглянули друг другу в глаза?

Тяжелые это были слезы, горькие, мучительные... Верно, уж очень наболело на сердце у нас обеих, что мы не выдержали в первую же минуту свидания, но легче от этого не стало, кажется, даже еще тяжелей...

Соня опомнилась первая. Она точно испугалась, что выдала себя, смутилась и стала опять шутить и смеяться, только шутки и смех этот были какие-то напряженные, неискренние, но я поняла, что она опять надела передо мной свою маску и уже не снимет ее, как я мечтала о том, читая ее чужие письма и теша себя тем, что при свидании это разом все изменится.

Тогда я тоже стала тише... я поняла, что ошиблась... что Соня не раскроет мне своей души... и тоска снова охватила меня.

Соня спохватилась, что еще ничего не показала мне, и повела меня осматривать сначала дом.

Она рассказывала, водя меня по комнатам, как она все тут меняла и переустраивала по-своему, и обращала мое внимание то на какую-нибудь особенную комнату, то на статую, то на картину.

Ей, видимо, было приятно показывать все это; она опять оживилась, хотя оживление это казалось несколько искусственным и слишком нервным, слишком приподнятым.

Плешко тоже присоединился к нам и ходил вместе с нами, поминутно заставляя меня останавливаться перед более дорогими вещами; он не упускал при этом случая заявить, сколько за них заплатил и у какого разорившегося вельможи или креза купил их.

И чем дороже была вещь и важнее предшественник, обладавший ею раньше, тем любовнее и почтительнее указывал он на нее и тем дольше держал нас перед ней, заставляя осматривать со всех сторон.

— Софья Григорьевна как царица у меня живет! — говорил он с той особенной характерной чванливостью, которая была его главною чертой.

Соня немножко хмурилась и брезгливо морщилась, когда он чересчур уж усердно и настойчиво пояснял цифры, заплаченные за вещи, но особенно не протестовала и только порой замечала ему с нетерпеливою гримаской:

— Ну, хорошо... мы уже это слышали...

Или что-нибудь другое в этом роде.

Я тихонько смотрела на «царицу» с ее уже осунувшимся, побледневшим лицом, которое, впрочем, стало от этого точно еще красивее какой-то новой, странной и загадочной, не русской красотой; на ее роскошный халат, весь утопавший в дорогих кружевах; на огромные, до противного, солитеры в ушах и какой-то беспокойный, сухой блеск в глазах, и мне было жаль до боли мою бедную царицу, которой судьба предложила царить над этим старым, пошлым жидом.

Дом действительно был поразительно хорош, и в его роскоши, несколько причудливой и оригинальной, чувствовалось не столько кричащее богатство выскочки, сколько артистическая рука художника. Особенно хорош и оригинален был Сонин будуар; весь каких-то неопределенных мягких тонов, с какими-то фантастическими panneau* на стенах, со

* панно *(франц.)*.

стоявшими повсюду в вазах орхидеями и другими какими-то необыкновенными цветами, точно перенесенными сюда прямо из-под экватора и придававшими, вместе с этою массой всевозможных подушек, разбросанных по всем диванам и кушеткам, и каким-то странным светом, лившимся сквозь огромное окно из цельного желтого стекла, выходившее прямо на море,— этой комнате вид не то какого-то востока с его негой, страстью и ленью, не то чего-то декадентского с его болезненно-причудливым воображением, склонность к которому я заметила, впрочем, и в самой Соне, и в ее туалете, и в прическе, и даже в самых манерах.

Это было нечто совсем новое в ней, и мне казалось, что она бросилась на это только для того, чтобы как-нибудь занять себя, чтобы придумать себе хоть что-нибудь, чем можно было бы увлекаться.

После завтрака, переодевшись уже в другой, строгий английский туалет, она повела меня показывать мне свои конюшни. Лошадей, как и собак, она всегда любила, но теперь и это обратила, по-видимому, в страсть. У них были образцовые конюшни, необыкновенно светлые и чистые, со всеми новейшими приспособлениями, и Соня знала не только каждую лошадь по имени и ее отличительные черты, но знала и всю ее родословную и с гордостью перечисляла мне их знаменитых предков.

Она по очереди подходила к каждой из них, трепала их по шее, бесстрашно поднимала им ноги, осматривая копыта и подковы, кормила их сахаром, целуя их прямо в умные, красивые головы, и все время болтала при этом с жокеями и конюхами, осведомляясь о всевозможных мелочах из жизни своих любимцев.

Мы провели в конюшнях больше часа, и оживление Сони не уменьшалось, а мне почему-то делалось все более и более жаль ее.

Все это только указывало на то, как она ищет пополнить хоть чем-нибудь свое существование и свое сердце,— бедное, пустое сердце, которое просило любви и которому некого было любить.

Потом она повезла меня кататься и показывать город, предварительно отдав приказание никого не принимать весь день, который, как она выразилась, «целиком хотела посвятить мне одной».

И мы объехали с ней чуть не полгорода, и по дороге она все время рассказывала мне о своих одесских знакомых, о поклонниках, которых у нее, по обыкновению, были

десятки, о разных городских злобах дня, и все говорила, говорила, так быстро и, казалось, оживленно, что я убедилась еще больше, что она говорит о всем этом нарочно, чтобы... чтобы только не говорить о другом, что у нас обеих болело на душе. После катанья она опять показывала мне свои туалеты, кружева, брильянты — и все это с той же тревожной и нервной страстностью.

Точно всей этой выставкой окружающей ее роскоши она хотела доказать и мне и себе, что она очень счастлива и достигла всего, к чему стремилась... и за что продала себя! К вечеру у меня даже разболелась голова от пестрого калейдоскопа показанных мне вещей, и я чувствовала себя такой разбитой и усталой, что едва могла досидеть до 11 часов, когда наконец можно было уйти в приготовленную мне комнату, неподалеку от Сониной, но не рядом с ней, как мы к этому привыкли прежде. Мне казалось, что она почти довольна, что я ухожу так утомленной, что нам нельзя было даже поговорить на ночь, перед тем как лечь, что мы всегда делали с ней прежде.

Это был наш любимый час, и никогда нам с ней не говорилось так легко, свободно, как именно в этот поздний час, когда все вокруг нас затихало и нам никто уже не мешал; даже разойдясь уже наконец по своим комнатам, мы подолгу еще, бывало, переговаривались через стену, уже лежа в своих постелях.

Но я чувствовала, что теперь она боится этой минуты и ищет повода избегнуть ее; чтоб облегчить ей это, я нарочно притворилась усталой еще более, чем была на самом деле, и мы распростились, едва переступив порог моей комнаты, и по удовольствию, невольно отразившемуся на миг в глазах ее, я поняла, что не ошиблась.

Но заснула я в ту ночь не скоро. Все мне думалось о том, как начиналась наша жизнь и к чему она привела нас... Что было в ней тогда и что осталось теперь? И мне казалось, что осталось так мало, так горько мало, что жить почти уже было нечем. А между тем чего не могла я купить, как говорил Саша, на наши деньги — на эти проклятые миллионы, которые силой своей точно отняли у меня все, что я любила, что было чистого и хорошего в нашей жизни, для чего стоило жить и от чего сама жизнь казалась такой прекрасной, такой радостной, такой осмысленной! И что же дали они мне взамен? Что, что, кроме этой ненужной мертвой роскоши, которой я, к счастью или несчастью, не умела даже и пользоваться и увлекаться; не умела находить в ней

ту пьянящую прелесть и одухотворять ее в какой-то культ, как делала это Соня, которая топила в ней, как пьяница в вине, все живое в своем сердце — весь его жар и всю муку, всю боль души, жаждавшей совсем другого...

Нет, нет, я не верила ей, ее придуманному, искусственному, мертвому счастью, которым она хотела обмануть себя и меня... Не могла, не могла такая девушка, какой была она когда-то, удовлетвориться им; рано или поздно она должна была понять это и поняв... не знаю что сделать, но во всяком случае не примириться пассивно с ним на всю жизнь. На временный обман она, загипнотизировав самое себя, могла пойти, но на обман постоянный, систематический — ее не могло хватить. Я слишком знала и понимала ее — и тем страшнее было за нее...

Соня, должно быть благодарная и довольная в душе тем, что я ни о чем не спрашиваю ее, была еще ласковее и нежнее со мной, чем всегда, особенно при других.

Как только мы оставались с ней вдвоем, она смущалась, чувствовала себя, видимо, неловко и, чтобы скрыть это, начинала опять или показывать что-нибудь, или говорить о таких посторонних вещах, которые сами собой мешали завязаться всякому интимному разговору.

Но мы почти и не бывали наедине. Она «пожертвовала» или сделала вид, что жертвует мне только первый день нашего свидания, а со второго начались уже опять визиты, обеды, театры и т. д.,— словом, повторение все той же нашей петербургской жизни, в которой ни одной минуты не остается для себя и для тех, с кем действительно хотелось бы провести ее.

Даже напротив,— Соня непременно хотела показать мне своих одесских знакомых и поклонников, вроде того, как показала уже свои брильянты, конюшни и шляпки, и дала специально для меня один большой вечер и несколько маленьких обедов.

С утра до ночи ее окружал целый штат поклонников, сопровождавший нас и на прогулки, и в театры, и на вечера.

Утром... Утра, впрочем, не было, так как Соня поднималась только в первом часу, а уже с двух являлись визитеры, просиживавшие часов до четырех, когда мы с ней ехали кататься и встречали массу разных знакомых, о которых, любезно кланяясь им, она тут же сообщала мне целые биографии. В 7 часов был обед, тоже всегда с несколькими посторонними лицами, состоявшими все из тех же ее по-

клонников и из разных компаньонов Плешко, с которыми он вел дела; потом театр или цирк, потом,— если не ехали никуда,— чай у нее, тянущийся до трех часов ночи.

Ей это, по-видимому, нравилось. Она все время была очень оживлена искусственным и нездоровым оживлением, державшимся больше на приподнятых нервах, шампанском, нескромных шутках и на том злоупотреблении своей женской силы и красоты, власть которой над всеми этими господами точно тешила и льстила ей. Они смотрели на нее жадными, нехорошими глазами и поминутно целовали ей ручки с тем же плотоядным выражением, какое я заметила впервые у Плешко.

Большинство из этих господ принадлежало к той категории сытых, откормленных и выхоленных людей, которые смысл жизни видят в ловко устраиваемых делах, радости ее — в оперетке, скачках, тонких обедах и дорогих винах, а красоту ее — в красивых француженках и в собственных фраках, выписываемых из Лондона и Парижа.

Их разговор вертелся больше на концессиях, облигациях, учете векселей и акциях, а в промежутки — на городских сплетнях, скачках и лошадях, изредка на политике, но больше всего на местных актрисах, причем интересовались не столько их талантами, сколько — с кем которая из них живет, во сколько обходится и скольких уже разорила.

Все это обильно пересыпалось разными двусмысленностями, какими-то намеками, пикантными анекдотами и ежеминутным целованием Сониных ручек и пошлых комплиментов по адресу ее плеч, бюста, головки и т. д.

Ее манера держать себя с ними и их тон с ней казались мне странными и невольно шокирующими, но она или привыкла уже к этому, или находила это в порядке вещей и не только не оскорблялась, но казалась очень довольной и всем своим торжествующим видом точно хотела сказать мне: «Видишь, как я окружена, какой у меня дом, какая роскошь,— неужели же все это не стоило того, чтобы выйти за моего супруга?»

Но в моих глазах она видела только молчаливый протест и такое же без слов порицание ее.

Протест против ее мнимого счастья, которому я не верила, несмотря на все эти щедро расточаемые передо мной доказательства его, и протест, теперь, кажется, еще больший, против ее ужасного брака, который тут вблизи казался мне еще отвратительнее, чем прежде.

Она понимала это и, затаивая в душе оскорбление, которое я наносила ей своим неверием, все больше пряталась от меня.

Понимал это прекрасно и сам Плешко. Он сознавал, что я ненавижу и презираю его, но, угадывая мое влияние на Соню, старался прежде, пока был еще женихом и боялся, что Соня опомнится и разойдется с ним, подлаживаться ко мне; теперь, когда дело было сделано и она была уже в его руках, а я оказывалась бессильной и ненужной, он нарочно мстил мне именно тем, что било меня всего больнее. С виду он был любезен со мной почти до приторности, но, понимая, как мне больно видеть Соню женой его, как отвратительна мне его близость к ней, он нарочно дразнил меня, обращаясь с ней при мне с какой-то циничной и грубой фамильярностью, и особенно преследовал ее своими грязными ласками; он бесцеремонно сажал ее при всех к себе на колени, целовал в открытую грудь своими толстыми, чувственными губами, называя ее на каждом шагу с каким-то неподражаемым самодовольством «madame Плешко» и всеми силами стараясь показать мне свои права над ней, делая из этого какую-то утонченную пытку для меня, которою, верно, мстил мне за ненависть и презрение к себе.

Положим, Соня также не церемонилась с ним. Понимала ли и она также, что все это делается нарочно, чтобы мучить меня, и не желала участвовать в том, или ей самой были гадки его ласки и неприличный тон их, но она каждый раз брезгливо отшатывалась от него, а когда он уже слишком надоедал ей, с раздражением гнала его прочь.

Я плохо понимала их отношения.

С одной стороны, Плешко сам был не такой человек, чтобы совсем дать забрать себя в руки, а с другой — он, видимо, был по-прежнему влюблен в нее все тем же животным чувством и благодаря этой влюбленности до известной степени был у нее под башмаком.

Он потворствовал ей во всем, что согласовалось с его желаниями, а главное — выгодами.

Несмотря на царскую роскошь, которую он завел у себя, и на его страсть пускать в глаза пыль, в душе он был скуп и алчен к деньгам, и мне кажется, что если он так, более чем снисходительно, глядел на Сонин штат поклонников, то только потому, что умел извлекать из них выгоду в своих многочисленных делах. Среди этих господ, которым она с таким успехом крутила головы, было немало «тузов», по

выражению Плешко, которые так или иначе были ему полезны, и он снисходительно позволял им целовать ручки своей жены, нашептывать ей любезности и засыпать цветами.

По-своему, это ему, верно, даже нравилось, потому что делало его дом одним из самых заметных, а Соню одной из самых модных женщин Одессы, о красоте, туалетах, поклонниках и эксцентричности которой кричал чуть не весь город, невольно привлекая к ним в дом всю знать, и денежную, и служебную. Вероятно, по той же причине он глядел сквозь пальцы и на безумные траты Сони; точно наслаждаясь процессом проматывания денег, она дошла в своей расточительности до такой степени, что даже меня, уже привыкшую за последние годы к миллионам, поражала ее расточительность и та безумная роскошь, к которой у нее развилась какая-то просто болезненная страсть.

Вероятно, Соня, сама того не понимая, помогала Плешко в его делах и предприятиях и «окупала» себя, бессознательно заставляя расплачиваться за себя своих поклонников, ради нее готовых оказывать Плешко всевозможные любезности и услуги.

Вряд ли бы она стала сознательно помогать ему — это было совсем не в ее натуре. Она просто не думала о том и кокетничала направо и налево, потому что это нравилось ей и забавляло ее, наполняя жизнь тем же угаром и той же фальсификацией удовлетворенности, как и ее новая страсть к декадентству и лошадям.

Она принадлежала к тем женщинам, которые под легкомысленною оболочкой, заставляющей многих воображать об их доступности, сохраняют удивительную чистоту души и, с необыкновенною живостью темперамента,— полную физическую холодность. Но у нее всегда было свойство «наклепать» на себя, как когда-то говорила про нее еще покойная мама, а брак с таким человеком, как Плешко, развращенным, чувственным и циничным, не мог не отразиться на ней и не загрязнить ее воображения, и ее новая манера держать себя с мужчинами, какая-то вызывающая и сладострастная, невольно поражала и огорчала меня в ней.

Все это вместе было мне так тяжело и больно, что я не выдержала у нее больше недели, хотя ехала на три, и написала Саше, что две остальные проведу в Крыму.

Мне почти болезненно хотелось побыть одной, хоть недолго, одну какую-нибудь неделю, но только одной, совсем

одной, и я решительно была не в состоянии возвратиться сейчас же в Петербург, опять на эту ежедневную, ежечасную выставку себя.

Я уехала в Ялту и поселилась в окрестностях ее, в горах, в маленьком скромном пансионе, где было хорошо уже тем, что там не было никаких знакомых,— никто меня не знал, никто мной не интересовался, и никто не мешал мне жить и проводить время, как я сама того хотела. Я так устала быть вечно на людях, что теперь нарочно ни с кем не знакомилась и все дни проводила наедине с собой.

Ранним утром уходила я к морю и часами сидела на прибрежных камнях, слушая шум прибоя, или забиралась в горы, где выбродила все тропинки, вившиеся то по самому обрыву скал, то уводившие в глубь леса.

За эти 10 дней, что я прожила в моем полном одиночестве и тишине, лицом к лицу с природой,— 10 дней, в которые я могла наконец быть сама собой, в которые мне не надо было ни лгать, ни притворяться, ни насиловать себя,— я точно глотнула новых сил вместе со свежим воздухом этого безграничного моря и векового леса, точно обновилась вся как-то душевно, точно нравственно отдышалась и очистилась наконец, и хотя все то, что наболело на душе, оставалось все так, но оно уже не казалось мне больше таким безвыходным, удручающим, и на душе стало невольно легче и отраднее.

Но увы, скоро я получила письмо от Саши, в котором он писал, что ничего не имеет против моего пребывания в Крыму, но находит только неудобным, чтоб я жила там одна, а потому посылает мне Марью Савельевну!

И Марья Савельевна приехала.

Она изумилась и даже возмутилась, что я живу таким образом, Dieu sait où*, и объявила, что это прямо невозможно.

При виде ее меня снова охватило тупое уныние и отчаяние, и я равнодушно позволила ей проделать все, что она нашла «необходимым»; даже перевезти себя в модную, парадную гостиницу, в которой она сама выбрала для нас номера, подобающие нашему высокому положению, и где, к ее удовольствию, мы сейчас же встретили несколько человек петербургских знакомых, и моя свобода, мой нравственный отдых кончились; я опять попала в тот заколдованный круг, в котором билась как белка в колесе, не умея

---

* Бог знает где *(франц.)*.

найти себе выхода из него, и который начинал уже казаться мне таким же роковым и неизбежным, как и сама жизнь.

Так прошло еще года три-четыре; их не стоит описывать подробно; они все были схожи между собой и мало чем отличались от предыдущих. Только на душе у меня становилось все тяжелее, все больше накоплялось на ней горечи и тоски, да с мужем мы делались все более далекими и чуждыми друг другу.

Но я уже научилась жить про себя, в одиночку; он этого не замечал и продолжал жить своею жизнью, отдельной от меня, как я жила своей, отдельной от него.

Он уже давно махнул на меня рукой и не старался мне больше ничего доказывать, потому что убеждать в чем-нибудь такую дикую и нелепую женщину, какой я стала, по его мнению, было, на его взгляд, все равно бесполезно. У него были дела и важнее и интереснее.

Ему вообще было скучно со мной; без Сони это стало особенно заметно и для него и для меня, и он старался как можно больше сокращать те немногие часы, которые принужден был проводить дома.

Я видела все это, понимала, что он совсем ко мне охладел... и терзалась тем про себя, потому что все еще любила его; за что я его любила — я и сама не знала; я уже не делала себе больше никаких иллюзий на его счет, прекрасно сознавала все недостатки, которые и возмущали, и отталкивали меня от него, и все-таки же еще не могла разлюбить его, вероятно, просто потому, что была из тех женщин, которые могут любить только раз в жизни.

Но его полное равнодушие ко мне оскорбляло меня не только как человека, но и... как женщину.

Он еще не бросал меня окончательно, хотя я догадывалась, что он давно уже привык изменять мне, завязывая мимолетные и случайные связи со встречавшимися ему барынями и актрисами, к которым у него всегда была особенная слабость. У меня не было на то никаких фактических доказательств, да я и не искала их — к чему? — но я чувствовала, что инстинкт не обманывает меня, и молчала только из гордости да из какого-то чувства стыда и перед ним и перед собой, невольно удерживавших меня от всяких объяснений на эту тему. Время от времени он еще являлся ко мне со своими давно остывшими ласками и брал меня... как берут стакан чая из рук горничной,— не глядя ей в физиономию и почти не замечая при этом ее присутствия.

А между тем я считалась его женой, и предполагалось,

что не имею права отказывать ему, но каждый раз все возмущалось и оскорблялось во мне, и я чувствовала такой стыд, такое унижение, точно... точно каждый раз отдавалась чужому человеку, насильно берущему меня... В эти постыдные минуты меня охватывало презрение к самой себе и почти ненависть к нему. Но он не только не понимал этого, но даже и не желал понимать того, и когда раз, задетая, оскорбленная им сильнее, чем когда-либо, я не выдержала — с негодованием оттолкнула его от себя и разрыдалась почти истерически,— он искренно удивился и наговорил мне своих простых слов о женских причудах, капризах, нервах, болезнях и т. д. и всерьез предложил мне «полечиться».

Он не понимал, как исказились и изуродовались наши отношения, которые, впрочем, как это стало ясным мне теперь, когда я ко всему начала относиться сознательнее, никогда и не были такими, какими должны были бы быть. Но прежде они все-таки были сносны, и если, может быть, и прежде не было глубокого и полного понимания друг друга и настоящего хорошего счастья и любви, то была хоть иллюзия их, которая давала возможность жить, не замечая всего ужаса этого разлада; теперь же, когда не оставалось больше даже иллюзий, правда, глубокая и страшная, выступала во всей своей неприкрашенной наготе, и мне казалось, что у нас с ним ад или во всяком случае такие печальные и обидные отношения, хуже которых уже трудно себе что-нибудь представить, а он находил, что все это только моя фантазия и что все идет прекрасно и «как у всех».

— Помилуй, матушка,— говорил он,— ведь нельзя же через пятнадцать лет все такими же голубками ворковать, как и через полтора месяца! На все свое время!

И он доказывал мне, что всякая другая, сколько-нибудь благоразумная женщина чувствовала бы себя на моем месте счастливейшей смертной, а я все чего-то недовольна, набиваю себе голову всякими фантазиями и вздором, и бог меня знает, чего мне еще не хватает! Прямо какая-то непонятная неблагодарность судьбе.

Он упрекал меня за то, что я не умею сходиться с людьми, смотрю на них слишком недоверчиво и строго и после Сони ни с кем не желаю сближаться, между тем как если бы захотела, то среди массы наших знакомых, наверное, могла бы отыскать людей более или менее по душе себе.

Отчасти он был прав; я действительно была немного дика по натуре и нелегко сходилась с людьми даже и преж-

де, а теперь со всем тем, что болело у меня на душе и чем все равно ни с кем не могла поделиться, я окончательно замкнулась в себе и еще меньше прежнего умела и хотела сходиться с мало знакомыми мне людьми.

Несомненно, что и среди нашего круга, наверное, были люди простые и искренние в душе, быть может, также тяготившиеся ложью жизни и искавшие любви и правды ее и в людях, и в отношениях; но мы уже не умели быть друг с другом иначе, как в каких-то нравственных полумасках, которыми старательно закрывали свое настоящее, внутреннее «я» и показываться без которых в обществе казалось нам уже чем-то неловким и почти таким же невозможным, как показываться в обществе обнаженными, без платья; закрытые этими холодными официальными масками, уже не узнавали и не чувствовали больше друг друга...

А если и случалось почувствовать иногда что-то вроде намека на понимание, на какое-то нравственное сродство, то на более тесное сближение уже не хватало ни времени, ни простоты. Мы уже не умели отрешиться от фальши и условности, вкоренившейся нам в плоть и кровь; не умели просто заговорить друг с другом; просто подойти один к другому, и настоящего полного сближения, в котором, может быть, отдохнули бы душой, не выходило уже потому, что мы сами мешали ему, придумывая всякие осложнения и препятствия. Мы уже так отвыкли от искренности и простоты, что они почти стесняли уже нас, и нам уже было легче быть фальшивыми и неестественными, чем искренними и простыми. Легче даже уже и тем из нас, которые были, может быть, когда-то такими по натуре.

Впрочем, за последние годы на моем горизонте появилось наконец одно существо, которое ничего этого не признавало, жило своей собственной, молодой, искренней еще и горячей жизнью и... и невольно манило меня к себе. Существо это было Надя Голикова, старшая дочка моей старшей сестры, с которой постепенно мы почти совсем разошлись.

Надя только что кончила курс в гимназии у себя в Чернигове и приехала в Петербург, чтобы поступить на высшие женские курсы.

Она не захотела жить у нас, как не захотела и брать какую бы то ни было помощь от нас и от своих, и жила настоящей труженицей, бегая по урокам и просиживая до глубокой ночи за переводами и переписками, но зато обязанная только самой себе.

Она поселилась где-то на Петербургской стороне в крохотной комнатке вместе с другою своей товаркой и только изредка забегала ко мне.

Каждый раз, когда она приходила, меня точно опахивало свежей струей воздуха; такая она была еще юная, жизнерадостная, энергичная; так горячо веровала и в жизнь, и в людей, и в правду; так стремилась еще к каким-то подвигам, жертвам, борьбе, без которых жизнь еще казалась ей неосмысленной и даже невозможной.

Когда она приехала, ей было только 18 лет, но она уже о стольком передумала, столько уже уяснила себе, что, казалось, не ей нужно было учиться чему-нибудь у людей, а скорее она, юная, неиспорченная и верующая, могла еще чему-то научить их.

Она точно все прислушивалась, как живет человечество, и своим чутким, отзывчивым сердцем подслушивала все его страдания и горести и была полна только одной мыслью, одним желанием — служить ему, помочь ему, насколько было в силах ее; это не было в ней беспочвенными, фантастическими порываниями, как когда-то у нас с Соней; она ясно видела пред собой цель, ясно наметила путь свой и шла к нему бодрыми, торопливыми и радостными шагами, как умеют идти только в молодости, пока еще не свернут с него в сторону. Надя была настоящая дочь своего отца и своей матери, но только отлитая в более чистую, светлую и твердую форму.

Когда-то мы с сестрой были очень дружны, несмотря на то что между мной и ею было почти 7 лет разницы. Пока я не вышла замуж, или, вернее,— пока нам не начало «везти», наши отношения с ними, особенно мои с сестрой, были очень сердечные и теплые, но за последние годы они значительно расхолодились, и мы видались и переписывались все реже, хотя раз года в три я еще ездила к ним в Чернигов погостить дней на пять, на шесть.

Это была простая, хорошая, дружная семья, в которой после нашей петербургской фальши мне дышалось как-то особенно легко и просто, но, к сожалению, наши мужья расходились все больше и больше, а вместе с ними поневоле и мы.

Голиков возненавидел Сашу той раздраженной и озлобленной ненавистью, которая развивается иногда у двух людей, когда-то коротко друживших между собой и начавших жизнь при одинаковых условиях, с одинаковыми взглядами,

идеалами и принципами, но разошедшихся потом в совершенно противоположные стороны.

Саша говорил, что Голиков просто завидует ему, как всегда завидуют неудачники удачникам, люди, заеденные нуждой,— людям богатым или разбогатевшим, но я чувствовала, что в ненависти Голикова к Саше, полной какого-то ожесточенного и непримиримого озлобления, были еще другие, более глубокие причины.

Когда-то, еще в ту пору, когда они вместе ходили в свое техническое, он считал Сашу умным, талантливым, энергичным и честным малым. Он немножко и любовался, и гордился им, как гордятся иногда старшие, но более скромные товарищи своими младшими любимцами, которых они признают энергичнее и талантливее себя и, как бы руководя ими, влагают в них порой свои лучшие мечты и надежды — те мечты и надежды, которые, они чувствуют, будет не под силу совершить им самим и выполнение которых они в душе возлагают на этих избранников своих.

Таково было отношение Голикова к Саше прежде, когда они еще жили у нас оба вместе в своем мезонинчике на Сивцевом Вражке, но с годами Голиков убедился, что из Саши вышел только «ловкий делец», и разочарование его, вероятно, было тем сильнее, чем противоположнее были его надежды сначала. Тогда, как человек пристрастный и увлекающийся по натуре, он не только выбросил Сашу из своего сердца, но также искренно стал ненавидеть и презирать его теперь, как когда-то был чуть не влюблен в него, и без злобы и раздражения не мог даже говорить о нем.

Саша прекрасно знал это и не прощал Голикову его презрения к себе, невольно задевавшего его в душе, и, в свою очередь, платил ему полным, хоть, может быть, и не совсем искренним, пренебрежением удачника — к неудачнику. Он называл его не иначе, как «тупицей и идиотом», особенно после того, как ему вдруг пришла фантазия задобрить Голикова и предложить ему выгодное место в каком-то правлении, но Голикову это только дало повод написать Саше такой негодующий отказ, что вся его многолетняя злоба и презрение к бывшему товарищу излились тут еще ярче и сильнее, чем когда-нибудь.

Все это невольно отражалось и на наших отношениях с сестрой. Надя обожала мужа и на все глядела его глазами, хоть и ссорилась с ним по десяти раз в день, а вспылив, была в своих упреках ему часто безжалостна и жестока.

В минуты раздражения ей, бившейся всю жизнь в нужде и заботах и иногда не знавшей, как и чем поднять своих пятерых детей, невольно приходил в голову мой пример. Сквозь призму собственной нужды он казался ей чуть не сказочным счастьем и невольно поднимал в душе дурные чувства зависти к нам и раздражения против собственного мужа, не только не умевшего дать семье богатство, как умел дать их мой муж, но даже самого скромного довольства.

Надя была, может быть, самая благородная и в то же время самая несправедливая женщина, какую я знала. Для семьи своей и мужа, которых она обожала и ради счастья которых она не задумалась бы, кажется, принять на себя самую жестокую казнь, она была одновременно и счастьем и бичом, и рабой и деспотом, но это не мешало им всем страстно любить друг друга, и я часто думала, что на вид, для поверхностного наблюдателя, жизнь в доме Голиковых, при случае, могла бы показаться чуть не адом, а между тем под этим мнимым адом скрывалось настоящее, хорошее, глубокое счастье, и жизнь Нади с мужем была так тесно слита с существованием друг друга, что немедленно утратила бы весь смысл и радость, если б одну отняли от другого. А у нас с Сашей было как раз наоборот...

Я любила ездить к ним и возвращалась от них всегда точно освеженная, подбодрившаяся и отдохнувшая в той простоте искренности, которыми была полна их жизнь. У них я сама делалась точно лучше, проще и отзывчивее.

Мне нравился их дом, стоявший на краю города в большом и старом, почти деревенском саду,— он напоминал мне почему-то Москву и молодость.

Нравился их склад жизни — простой, здоровый и безыскусственный, где вы видели людей такими, какими они были на самом деле, а не такими, какими они считали нужным притворяться у нас, и где наша придуманная условность и фальшь были так же ненужны и неуместны, как и в избе.

Нравилась сама Надя, вспыльчивая, резкая, несдержанная, глядевшая уже в 40 лет чуть не старухой от своих вечных забот, болезней и нужды и все-таки же еще не утрачивавшая веры ни в жизнь, ни в людей, ни в идеалы; все же стремившаяся к каким-то лучшим и высшим идеям и подвигам, все еще не устававшая ни жить, ни любить, ни надеяться, ни даже мечтать почти так же, как и 20 лет тому назад.

Она и теперь была такою же энтузиасткою и так же, как прежде, готова была в каждую минуту и всей душой откликнуться на всякий клич и призыв, на всякое чужое горе и прийти на помощь участием и делом всем, кто звал ее, про кого она только слышала и с кем случайно сталкивала ее судьба.

Она всегда куда-то торопилась, всегда была занята чем-нибудь спешным и, несмотря на очень плохое здоровье, целыми днями работала то в кухне, то в огороде и саду, то на швейной машине; то учила с детьми уроки и мучилась над логарифмами и латынью, то помогала мужу писать его статьи и фельетоны и в то же время успевала читать, с каким-то наслаждением и почти благоговением, все, что выходило заметного и интересного, и волноваться новой книжкой, и брошюрой, и вопросами, по-видимому совсем ее не касавшимися, почти так же, как болезнями собственных детей.

Нравился мне, несмотря даже на его ненависть к Саше и на затаенное, быть может, презрение ко мне самой, и Голиков, казавшийся на первый взгляд желчным, озлобленным, раздражительным; беспощадно казнивший добрую половину человечества, не отвечавшую его требованиям к людям и его воззрениям на них, но в душе добрый и простой, как ребенок, и, несмотря на всю ту тяжелую лямку, через которую вела его жизнь по камням и терниям, не утративший бога в душе своей, ни разу не поколебавшийся в своих убеждениях, ни разу не пошедший ни на какой компромисс и сделку с совестью, убежденно веровавший в них и отстаивавший их с горячностью юноши.

Он умел ненавидеть, часто даже несправедливо, основывая эту ненависть на одном только принципе, предвзятом мнении, но умел и любить. Он мог злорадствовать над несчастием и неприятностями врагов своих или тех, кого считал таковыми по убеждению, порой никогда не видев их даже в глаза и знавший о них только понаслышке, но умел и болеть душой, как немногие, за тех, кого любил и кому сочувствовал. Он был почти старик, состарившийся так же преждевременно, как и жена его, но, когда начинал говорить и увлекался, казался чуть не юношей, несмотря на свою худую, согнувшуюся фигуру, поседевшие волосы и впалые щеки,— столько страсти слышалось в словах его и таким огнем зажигались глаза его тогда. Он ни о чем не умел говорить равнодушно и не понимал середины,— он всегда или громил, или возносил кого-нибудь.

В городе его считали немного сумасшедшим, как считают у нас, впрочем, таковыми всех, кто не подходит под общую мерку, и косились на него, находя его неудобным и даже опасным «в смысле благонамеренности», и это, кажется, было главною причиной, из-за которой ему нигде не давали хода. Но он мало обращал на это внимания, интересуясь всем, кроме собственной участи, давно уже махнув на нее рукой да и не считая это, кажется, особенно важным.

Они с Надей в своем Чернигове гораздо больше жили умственною жизнью, и, право, и читали, и рассуждали, и интересовались всем, что делалось в мире, гораздо горячее, чем мы в нашем «центре», а главное — они это делали не потому, что так полагалось делать, а потому, что в них самих была к тому горячая потребность.

Нравилась мне и их подрастающая молодежь, вносившая вместе с увеличивающейся нуждой столько жизни, шума и веселья, что всем, кто входил к Голиковым, разом становилось на душе как-то легче и радостней.

Надя была их старшею дочерью, и вот с появлением ее в Петербурге в жизнь мою точно ворвалась какая-то новая полоса света, которой сначала я не придавала особенного значения и даже почти не заметила возникновения ее, как это часто бывает с нами, когда, занятые мелочами жизни, мы пропускаем ее крупные явления, не замечая их огромного влияния на нас и почти не сознавая их даже и тогда, когда они приводят наши существования к полному перевороту. Так было и со мной по отношению Нади.

Сначала мне и в голову не приходило, какую роль суждено будет сыграть в моей судьбе этой девочке, почти ребенку предо мной.

Я просто любовалась ею, когда видела, и искренно симпатизировала ей,— быть может, за то, что она точно воскрешала передо мной что-то далекое, забытое, от чего веяло, словно откуда-то издалека, свежим, бодрящим воздухом молодости.

Это была небольшая, плотно сложенная девушка, с совсем простым лицом, которое было прекрасно только выражением какой-то внутренней силы и правды и такого глубокого проникновения, такой страстной верой в нее, что они точно освещали его все изнутри, и оно невольно врезывалось в память — не чертами своими, не красотой, а только этим выражением.

Она не любила бывать у нас и вообще старалась держаться как можно дальше, но мне, видимо, симпатизиро-

вала и изредка забегала ко мне в те часы, когда я была совсем одна.

Она рассказывала мне о своих курсовых делах, о разных встречах, о прочитанных ею книгах, о новых идеях, почерпнутых из них, и все, о чем бы она ни говорила, она всегда говорила горячо.

— Зачем говорить о том, что не интересует, не волнует, к чему совсем равнодушен? Слово должно быть вещим, а то только напрасная трата его!

И она действительно умела говорить только или о том, что волновало ее, или не говорить вовсе.

Саша называл ее не иначе как «юродивой» и говорил с насмешкой, что она «в папеньку пошла». Когда они встречались, он всегда вышучивал ее и спрашивал: зачем она пошла на высшие курсы, раз мечтает по окончании их сейчас же уехать куда-нибудь в глухую деревню сельской учительницей!

— Кажется,— говорил он,— для того чтобы учить деревенских ребят, большой премудрости не требуется, достаточно за глаза и гимназического образования, зачем же вам еще «высшее» понадобилось?

— Для себя,— отвечала Надя твердо, когда он уж очень приставал к ней.— Может быть, это и роскошь для той цели, которую я наметила себе,— сказала она раз ему,— но зато это единственная роскошь, которую я позволю себе для самой себя, а потом, разве для того, чтобы научить других хоть немногому, не нужно научиться многому прежде самому?

Но Саша махал рукой и спрашивал с насмешкой:

— И на медицинские пойдете?

— Непременно, если откроются.

— А потом тоже в деревню мужиков и баб лечить?

— Непременно, и только в деревню, и только баб и мужиков — в городе для богачей и без меня довольно!

Они с Сашей всегда говорили как враги; впрочем, избегая его вообще, она избегала и всяких разговоров с ним, и стоило ему войти в комнату, как она вся сейчас же съеживалась и пряталась в себя. Даже лицо ее при нем словно потухало. Но со мной она чувствовала себя просто и легко. Она видела, что я симпатизирую ей, сочувствую в душе ее идеям и мечтам, и сама относилась ко мне доверчивее, чем ко всему нашему остальному кругу, на который глядела почти так же враждебно и нетерпимо, как и ее отец.

Она точно понимала, что и мне самой живется здесь тяжело и уныло, и своею молодой, отзывчивой душой рвалась ко мне на помощь, хотя по какому-то внутреннему, сдерживавшему нас обеих чувству мы стеснялись говорить с ней об этом. Мы чувствовали, что в душе понимаем друг друга, но, верно, разница лет между нами была слишком велика, и это невольно мешало полной откровенности.

Порой, увлекшись, она говорила мне: «Эх, тетя, кабы вас вырвать отсюда!»

Но, вместо того чтобы дать волю себе и горячо откликнуться на ее призыв — я только улыбалась ей в ответ и спрашивала: куда же бы она меня тогда переселила.

— К людям,— восклицала она с увлечением,— к простым людям, для которых вы могли бы работать и среди которых стали бы жить совсем иначе!

Я отшучивалась и смеялась, потому что так уже привыкла к своей полумаске, что не решалась снимать ее вполне даже перед этой искренней, простой девочкой; но в душе каждый раз, слушая ее, поднималось какое-то странное, новое, точно влекущее куда-то чувство, и я любила говорить с ней, любила слушать ее. Мне казалось, что она своими горячими речами, от которых сама вся вдохновлялась, точно открывает мне что-то новое, точно толкает меня куда-то своею силой и указывает мне какой-то новый путь, который я только смутно еще чувствовала в сердце своем, но идти на него еще не решалась.

И когда я так слушала ее, мне чудилось, что она точно берет меня за руку и выводит меня на него, колеблющуюся и нерешительную; и мне, женщине вдвое старше ее, уже уставшей и разбитой жизнью, было отрадно опираться на эту почти еще детскую, но уже твердую и сильную руку и хотелось отдаться ей, хотелось сказать: «Веди меня, я пойду за тобой».

Но, конечно, я ничего подобного не говорила, и все наши разговоры имели чисто принципиальный и отвлеченный характер, но они все-таки западали мне в душу, и каждый раз я подолгу не могла отрешиться потом от их впечатления, тем более что со мной она почему-то всегда особенно воодушевлялась. Глаза ее разгорались, все лицо преображалось, и речь, смелая, горячая, молодая, и бичующая, и призывающая к чему-то лучшему и высшему, лилась особенно страстно, точно она действительно задалась целью «разбудить» меня, вырвать отсюда и увлечь куда-то за собой.

Саша ее терпеть не мог. Его добродушно-ироническое отношение к ней мало-помалу сменилось полным раздражением и почти ненавистью. Может быть, он бессознательно чувствовал силу ее влияния на меня и возмущался им, потому что оно было диаметрально противоположно его собственному.

Не любила ее и Соня. В сущности, она просто ревновала меня к ней и хоть сама же выбросила меня из своей жизни и почти совсем ушла от меня, но, привыкнув безраздельно царить в моем сердце, не хотела, чтобы кто-нибудь другой заменил бы мне ее, а Надю она была склонна подозревать в том более всех других и с самого начала, едва услышав о ней, стала уже относиться враждебно, всячески стараясь отстранять ее от меня. Не любила она ее, верно, еще и за то, за что в насмешку прозвала ее «нашей совестью».

В этом прозвище, данном в насмешку, было, в сущности, правды гораздо больше, чем хотелось того самой Соне.

Быть может, Надя действительно, даже помимо своего желания, будила в ней эту совесть, невольно напоминая ей, чем была когда-то она сама и чем стала теперь.

Соня была слишком чутка и восприимчива по натуре, чтобы не чувствовать этого, и слишком горда и уже эгоистична, чтобы желать чувствовать это, и не прощала Наде ни ее способности «будить совесть», ни того влияния, которое — она угадывала — эта девушка имела на меня.

Как бы там ни было, но ее враждебность к Наде была так сильна и она, по обыкновению, так мало желая скрывать это, что в ее приезды не только Надя еще реже заходила ко мне, но и я сама во избежание ссор и неприятностей старалась не видаться с ней.

За эти три-четыре года мы не раз виделись с Соней. Я, правда, больше уже не ездила к ней в Одессу, зато она несколько раз в год приезжала к нам в Петербург и, даже ездя за границу, почти всегда делала крюк и заезжала хоть на два, на три дня. Первое свидание, которого она, верно, всего больше боялась и смущалась, прошло и показало ей, что я не заговорю с ней ни о чем, о чем она сама не захочет говорить со мной; это, верно, успокоило и обрадовало ее, и теперь она снова не только уже не избегала этих свиданий, но, видимо, любила их. Она вообще полюбила разъезжать и добрую половину года проводила вне дома.

Верно, когда ей делалось у себя уже слишком противно,

а Плешко становился ей чересчур невыносим, она бежала и спасалась то у нас, то на разных курортах, то в Париже и Ницце, где, точно вознаграждая и утешая себя за все, блистала роскошными туалетами и целою свитой поклонников.

Я чувствовала, что у них с Плешко идет что-то неладно; она уезжала все чаще и чаще, а он, кажется, не очень препятствовал тому. Слухи до нас доходили тоже все нехорошие: говорили, что Соня кутит, меняет своих поклонников, как перчатки, и не только не скрывает того, но как бы бравирует тем и сама подливает масла на огонь всех сплетен и пересудов о себе, точно нарочно стараясь давать им побольше пищи. Говорили, что она безумно разоряет мужа и что если он действительно не разоряется и смотрит на все сквозь пальцы, то только потому, что умеет извлекать из похождений жены свою выгоду и потому не мешает ей.

Когда Соня приезжала, я ни о чем не расспрашивала ее и мы никогда не говорили с ней ни о Плешко, ни о ее браке, ни о чем другом, о чем, может быть, естественнее всего было бы говорить нам.

У нас с ней накопилось столько больных местечек, до которых страшно было дотрагиваться, что, щадя друг друга, мы замкнули все это в себе и тоже надели своего рода маски, но и под этими масками не переставали понимать все без слов и объяснений.

Я так ее знала, что читала в ее душе, как в открытой книге, даже тогда, когда она, по-видимому, закрывала ее от меня.

Теперь все ее главное старание было обращено на то, чтобы всех обмануть и заставить считать себя счастливой и вполне удовлетворенной тем, что сама выбрала. Признаться, что она несчастна, что она ошиблась и наказана, быть может, сильнее даже, чем заслуживала, казалось ей, должно быть, каким-то постыдным унижением, и она предпочитала притворяться изо всех сил и перед всеми играть комедию только для того, чтобы никто не посмел догадаться об истине. Порой все отчаяние ее сердца прорывалось в ней на минуты какими-то бурными порывами, но она сейчас же опять подавляла их в себе и, точно испуганная тем, что обнажила себя, начинала притворяться еще сильнее и обманывала, кажется, не только других, но даже и самое себя.

Когда она приезжала, мы встречались с ней всегда ра-

достно, нежно, почти растроганно и у нас она опять становилась как будто похожей на прежнюю Соню.

По крайней мере, была искренно весела, проста и словно отдыхала душой.

Во время ее приездов оживала и я; жизнь опять начинала казаться мне отраднее и лучше уже потому, что она была со мной и я не чувствовала себя так одиноко.

Все, что я слышала о ней, не отталкивало меня от нее; я любила ее такой, как она была, и не могла любить меньше только оттого, что она делала ошибки и проступки, быть может легкомысленные и непростительные на взгляд других.

Не могла и осуждать ее за них; я знала, что она несчастна, и прощала ей все, хоть, может быть, в этом несчастии она сама же была виновата. Я понимала, что такой страстной, увлекающейся и неустойчивой натуре, как ее, не легко было примириться с тем, что жизнь, которую она так любила всегда, которой так дорожила, вся исковеркана и загублена, быть может, уже навсегда.

Немудрено, если она нервно металась и билась в ней, ища хоть какого-нибудь выхода, создавая хоть какие-нибудь иллюзии если уж не счастья, то хоть мнимого удовлетворения, мнимого удовольствия, которыми думала заменить все то, по чему мучительно, но скрытно от всех болела душа ее.

Может быть, она и была грешница, но в глубине этой несчастной, загубленной души своей она была все та же Соня, горячая, искренняя, рвущаяся сердцем, помимо своей воли, на все доброе и хорошее и... и даже по-прежнему чистая по существу своему; но ее окружала грязь, и она закрывала глаза, чтобы не видеть ее, а если не видеть было уже нельзя, то она осыпала ее брильянтами и роскошью, чтоб обмануть себя, и все-таки же все видела, все понимала; понимала, что падает все ниже, и мучилась этим, но гордо, про себя, не желая никому сознаться в том и точно издеваясь над собой и над всем светлым, что еще жило в душе ее, делала все, чтоб уверить других, что если это и грязь, то именно такая, какая ей нравится.

И потом... потом я ненавидела Плешко. Может быть, это гадко и недостойно чувствовать так, но... но я не могла жалеть его.

Он, женясь на такой девушке, как Соня, во всяком случае, получил больше, чем заслуживал, а между тем не только не ценил того, не только не берег все то хорошее, что мог бы отыскать в ней, если бы только мог понимать это, но

первый же развращал ее грязной чувственностью своей низменной натуры и той полной деморализацией всех принципов и чести, которой он имел дерзость и пошлость открыто хвастаться.

За этот год он, видимо, успел сделаться Соне так гадок, что, вспоминая о нем, она невольно содрогалась и во время отсутствия его старалась точно забывать о его существовании, и уж конечно, не я желала напоминать ей о нем и говорить о ее долге ему, в который не верила сама.

А искушения, как нарочно, подкарауливали ее, быть может, больше, чем всякую другую женщину. Она была более чем равнодушна к мужу, не занята ничем, кроме ухаживаний и флирта, развращена той безумной массой денег, которую могла тратить, и всегда окружена целой толпой поклонников, между которыми легко могли встречаться люди, более или менее интересные, невольно нравившиеся ей. В нее влюблялись, это меня не удивляло. С каждым годом она становилась все красивее, изящнее и, вероятно, соблазнительнее.

Я редко видала женщину, к которой бы так шла роскошь, как к ней. Она точно была создана для нее и сама умела наслаждаться ею, как тонкий знаток и художник; в изощрении ее она доходила до виртуозности.

Не было цены, которая бы остановила ее, не было вещи, которую бы она призадумалась купить, раз что она нравилась ей.

Она вся была покрыта драгоценными кружевами и тончайшим батистом, пропитанным сильным ароматом духов, страсть к которым у нее тоже развилась до такой степени, что она даже ванны принимала не иначе, как выливая их туда целыми флаконами.

Это прямо был уж какой-то языческий культ тела, красоты и роскоши, на жертвеннике которого она сжигала все остальные начала жизни и даже самое себя.

Когда я спрашивала ее, зачем она это делает, к чему все это, она точно удивлялась и говорила:

— А что же мне больше осталось?

Раз она еще сказала мне:

— Боже мой, да разве с таким *омертвением души*, как у меня, можно любить что-нибудь живое? Ты пойми, ведь я мертвая, совсем мертвая, что же мне и осталось, как не этот культ мертвой красоты!

Но я не верила ей и чувствовала, что это омертвение только поверхностное, а там, где-то в глубине, таится еще

живой огонь, который может разгореться ярким пламенем, если только найдется рука, которая сумеет это сделать.

А пока она наслаждалась тем, что этот мертвый культ шел к ней, придавая ее красоте какую-то особенную, острую, пьянящую прелесть.

Со своим надушенным, прекрасным телом, со своими узкими, загадочными глазами, за которые ее еще в гимназии звали сфинксом, и роскошными туалетами, унизанная драгоценными камнями, к которым у нее тоже явилась болезненная страсть, она походила на какую-то сказочную, восточную царицу и действовала на мужчин, как какой-то наркоз или гашиш, и они влюблялись в нее больше, чем когда-либо. Но это уже не была милая, простая, полудетская любовь прежних дней; теперь она пробуждала в них какие-то роковые, мучительные и нездоровые страсти, и это, кажется, увлекало ее самое, доставляя ей какое-то странное, опьянявшее ее самое наслаждение кружить им головы тоже до какого-то безумного опьянения, до полной потери воли над собой.

Но в ее отношении к этим людям, влюблявшимся в нее до какого-то исступления, было что-то жестокое и беспощадное.

Она точно издевалась над их любовью и наслаждалась их унижением, как бы испытывая, до каких границ может доходить ее власть над ними.

Когда я спрашивала ее, неужели ей не жалко их, она отвечала всегда холодным презрением:

— Да разве эти люди чувствуют что-нибудь? А если даже и чувствуют, то тем лучше, ведь другого страдания они все равно не знают, так пускай страдают хоть в этом. За что их жалеть? Ты думаешь, сами они жалеют когонибудь? Поверь, они себя в обиду сильно не дадут, и, если я не буду мучить их самих, они сами будут мучить когонибудь другого!

Но, несмотря на все ее кокетства со всеми, кто только, кажется, ни встречался ей, сама она оставалась ко всем равнодушной даже тогда, когда воображала, что увлеклась; все это были только мимолетные порывы, которые остывали в ней раньше, чем разгорались вполне, и любовь, настоящая и глубокая, которой я ждала для нее как спасения, все не приходила.

Раз, между прочим, она сказала мне:

— Знаешь, Бессудный перевелся в Одессу, он теперь служит там в какой-то больнице.

Я быстро подняла на нее глаза и взглянула ей прямо в лицо, но оно было опущено, глаза тоже, и она притворялась, что играет своими бесчисленными кольцами и занята только ими.

— Ты виделась с ним? — спросила я ее.

Она кивнула головой и отвечала небрежно:

— Да, он заходил как-то!

Мы обе замолчали, но это известие, сама не знаю почему, обрадовало меня.

Как бы там ни было, а Бессудный все-таки был ее единственным хорошим и здоровым увлечением и сам он любил ее так чисто и преданно, как после, кажется, уже никто больше не любил, несмотря на все это обилие поклонников.

— Что же... он все еще любит тебя? — спросила я нерешительно.

Соня засмеялась и сказала «кажется», но сейчас же перевела разговор на что-то другое, и мне удалось заговорить с ней о нем только в следующий уже приезд ее.

— Ах, что Бессудный, Бессудный! — сказала она раздраженно и нетерпеливо.— Конечно, все то же, считает меня какой-то нераскаянной Марией Магдалиной, говорит в глаза, что я чуть не погибшая женщина, и все-таки не может разлюбить и ждет для меня какого-то чудесного спасения и перерождения. Чудак он!

— А ты, Соня,— спросила я, надеясь где-то в глубине души на то же чудесное спасение ее, о котором мечтал и Бессудный,— ты совсем к нему равнодушна?

— Что я! — сказала Соня грустно и немного помолчав.— Разве я могу любить?.. Я не умею...

— Не умеешь! Не можешь! — невольно воскликнула я.— И это, никогда не любив! Не верю тебе, не хочу, не могу этому верить, потому что знаю тебя чуть не с детства и знаю, что было дано тебе!

— Не знаю,— сказала Соня печально,— что мне было дано, но если и было что — все куда-то ушло...

Когда Соня говорила так, у меня сердце за нее кровью обливалось, так мне было больно и горько ее слушать, и я сама начинала бояться, что в ней, так безжалостно разменивающей себя на мелочи, уже действительно не хватит больше силы на такую любовь, о какой я мечтала для нее.

Но раз мне показалось, что,наконец, в ней что-то загорелось. Она приехала к нам в Петербург в каком-то новом в ней приподнятом настроении и постоянно говорила о каком-то Бергами.

Это был еще очень молодой человек, моложе ее самой года на три, полугрек, полуфранцуз, тоже один из крупных богачей юга.

По тому, как она постоянно возвращалась в разговоре к нему, и по тому возбужденному тону, каким говорила о нем, было очевидно, что он ей нравится, и, пожалуй, даже больше, чем кто бы то ни было до сих пор.

Сначала я была несколько удивлена таким выбором; мне не нравилась его сравнительная молодость и какая-то неопределенность национальности, которой я уже боялась после Плешко.

Но когда через несколько дней он приехал следом за ней в Петербург, я поняла, что этот выбор не так страшен, как показался мне сначала.

Он, бесспорно, был интереснее большинства других окружавших ее мужчин не только уже своею редкою красотой, но и всей своей личностью, в которой чувствовалась утонченная культура европейца вместе со страстною натурой южанина, но чистою и цельною. Он был прекрасный музыкант, вообще талантлив, хотя, может быть, не очень умен, но так образован и воспитан, что об этом можно было скорее только догадываться, чем знать наверное, а главное — безумно влюблен в нее.

Все это вместе невольно выделяло его из толпы других ухаживателей, в которых было больше чувственности, чем любви, и больше прихоти моды, чем искреннего увлечения ею; эта любовь, приводившая в ужас всю его семью и родню, боявшуюся, что он разведет Соню и женится на ней, которую, несмотря ни на что, он не мог вырвать из своего сердца, хотя, кажется, искренно желал бороться с собой, а вместе с этим и невольная внутренняя драма, которую переживал он, придавали ему в глазах Сони особенный интерес и заставляли не только дорожить им, но и желать во что бы то ни стало, вопреки всем, нарочно удерживать его подле себя и даже бравировать перед всеми тем состоянием, до которого он постепенно дошел. Состояние, напоминавшее по своей мучительности почти уже какое-то безумие.

Он как бы невольно заражал им и ее; при мне она тоже впадала в какое-то странное, непонятное ей самой волнение, заставлявшее ее постоянно думать и говорить о нем, а между тем никого еще, кажется, она не мучила так, как мучила его.

Ей точно доставляло наслаждение видеть на его лице

боль того страдания и той муки, которой она истерзывала его. Ее жажда власти над людьми, найдя в нем такую благодарную почву, дошла тут до своего апогея, и каждый день она придумывала ему все новые и новые пытки, доходя в них почти до такой же виртуозности, как и в своей страсти к роскоши.

— Послушай, Соня,— сказала я ей раз, измучившись сама за этого несчастного человека,— чего ты хочешь от него, наконец?

— Чего я от него хочу? — сказала Соня, точно впервые вместе со мной задавая себе этот вопрос, и глаза ее вдруг вспыхнули каким-то странным и недобрым огоньком.— Чего я от него хочу? — повторила она.— Хочу, чтоб он окончательно потерял голову и всякую волю над собой; хочу, чтобы не было бы жертвы, которую он задумался бы принести ради меня; хочу, чтоб он бросил все и всех ради меня, чтобы стал сам жалким рабом моим, забыл обо всем, кроме меня; хочу... ну да, хочу именно этого, хочу, чтоб он лучше застрелился, чем успокоился бы и равнодушно отошел бы от меня, как ему приказывают его папаша, мамаша, тетушка и вся родня.

— Бог знает, что ты говоришь, Соня,— невольно сказала я.— Я тебе не верю, ведь ты опять клевещешь на себя. Неужели же ты действительно можешь желать этого и тем более, если хоть сколько-нибудь сама любишь его!

— Любишь, любишь,— сказала Соня нетерпеливо.— Что такое любовь! Ее каждый понимает и чувствует посвоему. Я не понимаю и не хочу какой-то вялой любви, глубокой и нежной, как вы там ее называете. Я хочу такой, чтобы пьянеть от восторга, чтобы совсем терять голову, хочу любви мучительной, жестокой, безумной, до унижения, до подлости, до преступления. Если меня никто не умеет заставить так полюбить себя, так хоть я заставлю других так, и именно так любить себя. А он как раз такой человек, на котором интереснее всего достигнуть этого! — прибавила она уже насмешливо.

Я с недоверием слушала ее и молча смотрела на нее, и что-то новое, чужое и нехорошее чудилось мне в этой странной женщине, которая могла бледнеть от страсти, говоря так, и которая, увы, так мало напоминала мне мою прежнюю Соню.

— И тебе было бы не жалко, не страшно себя, если б он действительно застрелился в один прекрасный день?

Ее глаза на миг затуманились, точно опечалились, но

она сейчас же тряхнула головой и сказала вдруг с какой-то резкостью:

— Ничего мне не страшно, и никого мне не жалко, ни других, ни себя...

Вот в этом-то и был, быть может, главный ужас того состояния, до которого она постепенно дошла, эта какая-то преднамеренная жестокость и к себе, и к другим, быть может, только потому, что к самой себе ее накопилось слишком много.

— Все это одни слова,— сказала я ей,— они не дадут тебе ни счастья, ни покоя, а нужно тебе полюбить простой, хорошей, здоровой любовью, которая обновила бы тебе и душу, и жизнь и без которой ты все равно изведешься с тоски; а это все не то, все это какие-то только острые суррогаты любви, которые могут покамест увлекать и развлекать тебя, но никогда не заполнят собой жизни!

Но Соня горько засмеялась.

— Нет, Наташа,— грустно сказала она,— я уже не гожусь больше для такой простой здоровой любви, я вся уже слишком исковеркана и изуродована для нее морально. Мне нужны именно подобные суррогаты, как говоришь ты, и чем они острее, чем прянее, тем я больше чувствую в себе наслаждения ими. А то, чего хочешь ты для меня,— на то, мой друг, я и прежде была мало способна, а теперь и тем более.

И точно не желая больше продолжать разговор на эту тему, она позвонила горничной и приказала ей приготовить костюм для гулянья.

Вскоре после этого Соня уехала со своим поклонником обратно в Одессу, и некоторое время я ничего не слыхала о нем, потому что, по мере того как Соня чаще стала ездить сама, она почти совсем прекратила мне писать.

Но когда я вспоминала измученное, полубезумное лицо несчастного Бергами и наш знаменательный разговор с Соней, и особенно тот странный, недобрый огонек, который был у нее при этом в глазах, мне делалось как-то жутко и я начинала бояться, как бы и действительно дело у них не кончилось какой-нибудь драмой.

Но через несколько месяцев, к моему изумлению, я услышала, что Бергами женился, или, вернее, его женила на какой-то кузине перепуганная его романом с Соней родня, и я начала было уже успокаиваться, думая, что все кончится благополучнее, чем мне казалось; но радость моя была преждевременна, и вскоре я узнала, что Бергами без-

умствует больше прежнего и, бросив молодую жену, всюду ездит за Соней, а она, точно мстя и ему, и его родне за его женитьбу, бравирует этим еще больше, публично издевается над ним без всякой жалости и делает все, чтобы раздразнить его родню и жену, которые вздумали было отнять его у нее, и доказать им, что они ничего не поделают с ним и что он вполне в ее власти.

Тогда, напуганная всем, что я услышала, я много раз писала Соне, умоляя ее бросить всю эту историю, но Соня на мои письма упорно отмалчивалась и не ехала в Петербург ко мне, как я звала ее, а жила то в Париже, то на Ривьере, всюду возя за собой своего несчастного поклонника, и даже в Одессу показывалась редко.

Тогда я решилась сама поехать за ней в Ниццу.

Она не особенно удивилась мне, но, кажется, обрадовалась и на мои уговоры поехать вместе со мной теперь же в Петербург согласилась очень охотно.

Мы уехали на другой же неделе, а за нами поехал опять, конечно, и Бергами.

Он имел теперь вид уже совсем какого-то маньяка и, кроме мысли о Соне, любви к ней и той ревности, которою она постоянно терзала его, видимо, уже ничто в мире больше не интересовало его; а она в своих издевательствах и пытках над ним дошла уже до такой степени, что я даже не понимала, как у этого несчастного человека хватает еще терпения сносить все это, хотя порой, когда она говорила или делала что-нибудь, что уж слишком задевало его,— а говорила она ему на каждом шагу такие вещи, что вчуже за него делалось больно и стыдно чуть не до слез,— он вдруг весь бледнел и глядел на нее такими странными и дикими глазами, что мне делалось жутко и казалось, что он, наконец, не выдержит, кинется на нее и задушит ее тут же своими руками, отомстив ей за всю ту муку, чрез которую она вела его.

Раз, когда она в своих издевательствах зашла уж очень далеко и, казалось, каждым своим словом точно давала ему при мне нравственную пощечину, он, видимо уже едва владея собой, вдруг спросил ее:

— Зачем же вы держите при себе человека, которого так презираете? Зачем же сошлись с ним, хотя бы на миг?..

Тогда побледнела вся и Соня, поняв, кажется, в первый раз, что зашла слишком далеко.

Она низко наклонила голову и несколько секунд молчала.

— Затем,— сурово сказала она через минуту,— что себя я презираю еще больше.

Я невольно вздрогнула и подняла на нее глаза. В этих словах ее мне почудилась правда, горькая, ужасная правда, которая многое мне вдруг открыла и пояснила из того, что казалось мне в ней непонятным.

И страшно мне стало за нее; страшно было думать, как будет жить она с таким сознательным презрением к самой себе и к чему приведет оно ее!

Не знаю, утешил ли хоть сколько-нибудь такой ответ несчастного Бергами; впрочем, ее история с ним кончилась потом довольно скоро.

Он заболел какой-то тяжелой, нервною болезнью, и его увезли куда-то на Мадеру, а на нее это как будто не произвело большого впечатления.

Впрочем, она так изменилась за эти годы, что я все больше и больше разучивалась читать в душе ее, и могла только угадывать это и предполагать более или менее гадательно.

Она была одновременно и откровенна со мной, и скрытна.

Все, что касалось души ее, ее внутреннего мира, она ревниво прятала от всех и даже от меня, а все, что касалось фактов жизни и их внешней стороны, она выставляла почти с циничной откровенностью и даже охотно наклеветывала на себя.

Ей точно хотелось быть в глазах всех как можно хуже, и, казалось, она боялась, что в ней заметят что-то, оставшееся еще неизуродованным, что-то лучшее и более светлое и высокое, чем это показывала и желала показывать она сама.

Порой, особенно в первые еще годы, на нее нападали порывы страстного раскаяния; тогда она жаждала какого-то обновления и жадно кидалась в разные стороны, ища его и не находя, а найдя призрак его — не удовлетворялась им.

В такие минуты она впадала в крайности, совсем противоположные обычному складу ее жизни, и мечтала о том, чтобы пойти куда-нибудь вместе с простым народом и именно так, как ходит он, пешком и босой, за несколько сот верст на какое-нибудь богомолье.

Пойти так, чтобы почувствовать всю тяжесть, весь труд этого; чтоб изранить о камни и пески босые, непривычные ноги, чтобы спать где-нибудь в непогоду на голой земле, под открытым небом, подложив под голову только котомку;

чтобы через силу, чуть не на коленях, дотащиться до святых мест и там в темных пещерах или у подножия чудотворной иконы излить в страстных слезах свое покаяние и вымолить себе прощение... Соня говорила, что у себя, в своем декадентском дворце, и у меня, в наших роскошных и холодных комнатах, и даже в тех светских церквах, в которые мы с ней еще заглядывали время от времени, она не может молиться и не чувствует больше бога; ей казалось, что, если она уйдет от всего этого и хоть на время сольется с простой душой народа, она опять найдет и веру, и очищение самой себя.

Но время шло, и вместо киевских пещер и Тихона Задонского, куда она мечтала пойти пешком и босой, Соня попадала на курьерских поездах с целыми горами сундуков и чемоданов со всевозможными туалетами опять только в Ниццу да в Париж.

А между тем внутри ее действительно жило инстинктивное стремление к какому-то опрощению, за которое она цеплялась еще иногда, как за последнюю правду жизни.

Может быть, это было бессознательное влияние Нади и Бессудного, которому она подпадала помимо своей воли, а может быть, просто все еще не заглохшие окончательно отголоски прежних лет.

Она любила иногда вспоминать «московские», как она их называла, годы, ушедшие теперь уже так далеко, и порой ей точно хотелось вызвать самое себя из глубины тех годов; ее тянуло вернуться к ним хоть на миг, вернуться опять к самой себе, куда-то исчезнувшей почти бесследно; тянуло ко всему этому так, как тянет иногда людей, изощривших и испортивших себе вкус на всевозможных тонких и острых кушаньях, опять к здоровым и простым щам и каше.

Иногда она придумывала для того целые истории, что-то вроде «водевилей с переодеваньем», как она сама это называла.

Она надевала самые простые, темные платья, нарочно для этой цели хранившиеся у нас в шкафу, заставляла то же делать и меня, и, одевшись так, чтобы ничем не выделяться из толпы, мы тихонько, чуть не задними ходами, к полному изумлению всего нашего штата, уходили из дома, садились в конку или на простого извозчика, с которым сейчас же с каким-то точно наслаждением вступали в разговоры, и отправлялись куда-нибудь или в Гавань, на Пески, под Смольный.

Нам обеим это очень нравилось. Вероятно, просто по-

тому, что обеим нам инстинктивно хотелось уйти от самих себя, от всей этой растлевающей роскоши, окружавшей нас, и, слившись с простым народом, пожить хоть миг его простой, здоровой и нормальной жизнью.

В сущности, мы были не более как оторванные дети его — простые колокольчики и ромашки, привыкшие к простору полей и леса, а нас пересадили в роскошные, царственные оранжереи, и мы задыхались в них и рвались назад к солнцу, ветру и дождю своих незащищенных, но свободных и милых нам полей, на которых родились и выросли.

Тогда Соня разом оживлялась и веселела, как девочка.

В своем простеньком, темном платьице и дешевой шляпке, в которых так странно было видеть ее после роскошных туалетов, с гладко причесанными волосами она опять казалась молоденькой курсисткой, и передо мной точно совершалось чудо наяву и воскресала та прежняя Соня, какой я узнала ее впервые в Москве.

Целыми часами бродили мы с ней по разным захолустьям; заходили в лавки, покупали лакомства, раздавали его встречавшимся ребятишкам, наслаждаясь их радостью, и с удовольствием ели вместе с ними грошовые пряники и леденцы, от которых словно пахнуло Москвой и нашей молодостью.

Мы болтали с извозчиками, с нищими, которым Соня, точно сказочный Аль-Рашид, высыпала вдруг, к их изумлению, целые горсти серебра; заговаривали под разными предлогами с встречавшимися по дороге бабами,— самыми простыми бабами в платках, кацавейках и с грудными ребятами на руках, завернутыми в какие-то тряпки,— и все это так освежало нас, мы возвращались такими бодрыми и довольными, точно после какой-то моральной ванны или душа. Раз у нас вышло даже маленькое приключение, долго еще потом служившее темой наших разговоров и воспоминаний.

Мы разговорились как-то в конке с каким-то студентиком, по-видимому славным, милым юношей, тоже взросшим, верно, где-нибудь на черноземе далекой провинции и еще сохранявшим следы ее в лохматых, неприглаженных волосах, вылинявшей фуражке, небрежно сдвинутой со лба на затылок, и в неуклюжих, мешковатых движениях, напоминающих молодого медвежонка; но глаза у него были такие ясные и чистые, так просто и доверчиво глядели на мир, что, вглядываясь в них, в душе невольно просыпалась какая-то ласка к нему самому и теплота к людям вообще.

Он принял нас за курсисток и разговорился с нами, подняв выроненное Соней портмоне.

И может быть, это покажется глупым и странным, но за получасовой переезд наш по конке мы успели так разговориться и чувствовали себя с ним так просто и легко, что... что даже пошли к нему пить чай!

Он позвал нас совсем чистосердечно, просто потому, что у них с Соней уже разгорелся какой-то отвлеченный спор «о мировой скорби», как это всегда случалось с ней прежде, в старину, когда она целыми часами готова была спорить с кем угодно о бессмертии души или гражданских и нравственных правах женщины,— и нашему студентику, верно, еще очень горячему и «неуложившемуся», как сказала про него Соня, стало жаль бросить спор, ничем его не кончив и оборвав на самом интересном, по его мнению, месте, и он вдруг сказал нам:

— Вот вы, кажется, умные и славные девушки и, верно, без предрассудков, так давайте же взглянем на дело просто, зайдем ко мне, я тут рядышком живу, напьемся чаю и кончим наш спор на свободе. А то жаль так бросать его, не кончив, у вас очень интересные и оригинальные мысли об этом вопросе, а меня он давно интересовал,— право, зайдемте ко мне.

Я так уже отвыкла от простых человеческих отношений, что всякая ложь и условность казались мне проще самой простоты, и, невольно испугавшись, чуть даже не сбежала от нашего случайного спутника, хоть он и был мне очень симпатичен; но Соне перспектива этого маленького приключения, очевидно, улыбалась; она тихонько сжала мне руку, шепнув: «Пойдем», и я, конечно, пошла, как шла за ней всегда, куда она хотела.

По дороге, помню, мы зашли все вместе в булочную и фруктовую, и наш спутник купил сыра, колбасы и горячих саек, и, идя к нему все втроем, уже пешком, мы чувствовали себя так хорошо и просто, точно и действительно были старые друзья, случайно встретившиеся после разлуки.

Он жил где-то почти уж в Гавани, в маленьком, деревянном доме, на дворе которого дремал старый облезлый пес, рылись петухи и гулюкали голуби, и на нас сразу пахнуло опять Москвой, мамой, самими нами прежними и всем тем хорошим, навсегда исчезнувшим, но всегда живым в наших сердцах временем; мы радостно переглянулись с ней, и на душе вдруг стало так хорошо и отрадно, что... что даже плакать захотелось.

Просидели мы у него почти три часа, продолжая разговор, перескочивший уже, по крайней мере, на двадцатую, но все такую же горячую тему (хотя, конечно, я больше только слушала, а ораторствовали главным образом Соня и студентик), выпили с аппетитом по нескольку стаканов чая, поели все его сайки, за которыми когда-то в Москве сами ходили, бывало, к Филиппову, и расстались уже настоящими друзьями.

Маленькая заминка вышла только тогда, когда он спросил нас, где мы живем и можно ли ему будет прийти к нам, чтобы не обрывать так хорошо начавшееся знакомство. Мы с Соней немножко сконфузились и сказали, что лучше сами будем время от времени заходить к нему.

Он понял, что что-нибудь есть, но, конечно, был далек от истины, не стал настаивать и пошел провожать нас до конки.

На прощанье он еще раз крепко, как настоящий молодой медвежонок, пожал нам руки, попросил непременно навещать его, и мы вернулись домой такими счастливыми и довольными, точно вспрыснутыми живой водой, какими уже давным-давно не чувствовали себя.

Всю неделю мы с Соней вспоминали нашего милого студентика и уже опять собирались к нему, но вдруг, как нарочно, проездом через Николаевский мост, мы снова встретили его, прямо в двух шагах от нашего экипажа. Он переходил через дорогу и глядел прямо на нас; в первое мгновение мы так обрадовались ему, что совершенно инстинктивно весело закивали ему головой, но на лице его при этом выразилось полное изумление, и, не отвечая на наши поклоны, он остановился в таком остолбенении, что мы только тут вспомнили, что едем не в конке в виде простеньких курсисток, за каких он принял нас, а в роскошной коляске с ливрейным идиотом на козлах и в модных туалетах.

Тогда и мы тоже невольно сконфузились, растерялись, а Соня с досадой громко воскликнула:

— Боже, как глупо, ведь нужна же такая неудача!

Очевидно, он узнал нас — это было ясно по его пораженному лицу, но очевидно, так же решительно не понимал, что все это значит.

Но Соня уже смеялась и со свойственным ей живым юмором уже изображала его растерянную физиономию при виде наших особ в коляске, хотя в душе и ей, и мне было страшно неприятно и жаль, что эта история кончилась не-

удачно, что невольно отрезала всякую возможность продолжения ее, вселив в него, наверное, подозрение за разыгранную с ним комедию, смысла которой он не мог понять.

Но часто и долго еще вспоминали мы нашу встречу и визит к этому чужому мальчику, чье даже имя забыли тогда спросить, и каждый раз при этом воспоминании на нас веяло чем-то хорошим, светлым и освежающим.

У меня он почему-то сливался в один образ с Надей, может быть, потому, что оба они были еще такие юные, искренние и не испорченные жизнью.

Я старалась даже воспользоваться им, чтобы возбудить в Соне большую симпатию к Наде, но это плохо удалось: они положительно не любили друг друга, да и трудно им было любить — слишком уже большой противоположностью были они во всем.

Притом же Соня ревновала ее еще ко мне и тенденциозно не находила в ней ничего хорошего, не хотела верить ее искренности, обвиняла ее в напускном юродстве и говорила с ней и о ней не иначе как иронизирующим тоном.

Надя старалась не обращать на это внимания; надо ей отдать справедливость — она была выше подобных мелочей и легко мирилась с Сониными насмешками и даже нескрываемым недоверием к ней, но была одна черта в Соне, которую Надя не умела и не хотела простить ей и которая отталкивала ее больше всех остальных недостатков в ней, это — ее «язычество», как выражалась сама Надя; она со своим стремлением к подвижничеству, с ее глубокой верой в людей и горячей любовью к ним не могла понять, как можно жить «без бога в душе», наслаждаясь только культом самого себя, своего тела, своей красоты и теми наслаждениями, которые вытекали только непосредственно из них, то есть всего того, из чего Соня создала себе главный смысл своей жизни и чуть не религию ее!

Притом в жизни Сони преобладающим элементом были мужчины: их поклонения, ухаживание, флирт и та страсть, которую она так умела и так любила внушать им к себе, а в жизни Нади, несмотря на молодость и миловидность, их не было совсем. Для нее существовали только «люди», и она не делила их на мужчин и на женщин и так же мало понимала кокетство, флирт и ухаживание, как и китайский язык, которого просто не знала. Она только находила, что с женщинами ей легче и проще, а с мужчинами точно труднее и порой как-то словно неловко. Она так далека была от мысли о всяком кокетстве, что Соня, дошедшая

в этом до виртуозности, казалась ей воплощением какой-то аномалии и уродливым явлением, которое поражало ее, отталкивало и в то же время будило смесь невольной жалости и презрения.

А Соня, в свою очередь, находила чем-то неестественным и уродливым в молодой девушке такое полное отрешение от мужчин и от всего того, что чуть не с 12 лет уже наполняло жизнь ее самой. Она не хотела верить искренности такого направления и говорила, что это простая рисовка и напускное юродство. И мне кажется, что именно эта черта, к которой каждая из них относилась так различно — и обе, может быть, впадали в крайности,— больше всего отталкивала их друг от друга. Но последние полтора, два года Соня опять стала ездить гораздо реже.

История со злополучным Бергами, как бы там ни было, но наложила на нее некоторый след, хоть она и не хотела в том сознаться.

Она опять сильно изменилась, и на нее чаще стало нападать мрачное настроение, а самый характер ее стал гораздо тяжелее.

Раз, помню, она среди зимы, никого не предупреждая, вдруг неожиданно приехала из Одессы и с первой же почти минуты показалась мне такою странной и какой-то несчастной, что у меня сердце заныло недобрым предчувствием.

— Что с ней? — невольно спросила я себя, чувствуя, что с ней опять случилось что-то неладное, что сильно потрясло ее, хотя, по своему обыкновению, она ни слова ни о чем не сказала мне.

За обедом она нарочно усиленно пила шампанское, дурачась и болтая больше, чем когда-нибудь, и поминутно смеялась каким-то странным, нехорошим смехом, словно полным слез.

Я с ужасом смотрела, как пьет она бокал за бокалом, и, наконец, не выдержала и тихонько сказала ей:

— Соня, зачем...

Но Соня захохотала и вызывающе взглянула на меня.

— Что зачем? — холодно, таким же вызывающим тоном, каким был и взгляд ее, спросила она.— Зачем я пью? Так веселей, живется легче, ни о чем не думается! Это, кажется, единственно хорошее, чему меня выучил Плешко! — сказала она и горько засмеялась.

Саша услышал ее слова и поддержал ее. Он и сам уже не умел обходиться без шампанского и дорогих вин, кото-

рые пил точно воду, и потому, в этом отношении, и к другим относился более чем снисходительно.

— Отчего же,— сказал он одобрительно,— пить в меру да еще шампанское никогда не мешает, это — вино благородное!

— Вот именно! — воскликнула Соня с каким-то особенным выражением.— Именно так! Можно делать всякие гадости, только надо маскировать их «благородною» маркой, а если не хватает благородства, то можно заменить его просто дороговизной, ведь это почти одно и то же!

И она громко рассмеялась, стала еще больше со всеми дурачиться и опять пить.

Когда мы вышли из-за стола, я видела, что ей очень нехорошо, и увела ее в свою комнату. Она была страшно бледна и шаталась.

— Соня! — воскликнула я с отчаянием.— Зачем, зачем ты это делаешь?

Но Соня упала в кресло и зарыдала.

— Оставь, оставь меня...— сказала она с такою тоской и болью, что я еще яснее поняла, как несчастна она в глубине души.

— Оставь, мне так лучше... вели мне дать сюда еще!

Но я встала перед ней на колени и целовала ее руки.

— Вели...— повторила она мрачно.

— Нет, Соня, нет,— сказала я,— не велю, не могу я этого, да и не надо этого, не надо, гляди, тебе уже и так нехорошо.

— О, боже! — воскликнула она вдруг с отчаянием.— Да разве ты не понимаешь, что только с этим я и могу еще жить! Ты пойми только, какой ужас в душе моей! Ведь мне стыдно, стыдно жить!

Я вздрогнула, вспомнив тот тяжкий стыд жизни, который и во мне самой подымался теперь все чаще и чаще, и страшно мне стало... За нее страшно, за себя, за самую жизнь, которая, как бы давая людям все, о чем они обыкновенно мечтают, что воображают счастьем ее,— приводит их в конце концов к такому полному и безвыходному банкротству!

Это было еще в первый раз, что Соня так выдала себя. Что было причиной того, что произошло с ней и в ней самой — я так и не узнала никогда.

В тот вечер я уже ни о чем не расспрашивала ее; ей было так нехорошо, что я до глубокой ночи просидела над ней, а на другой день она уже справилась с собой; сно-

ва забрала себя в руки, приняла свой обычный легкомысленно-насмешливый и беспечный тон, которым прикрывалась нарочно, чтоб удобнее обманывать и себя и других, и сказала, что все это развинтившиеся червы и такие пустяки, о которых не стоит разговаривать.

С этого раза в настроении Сони произошла опять какая-то перемена. Она стала реже ездить к нам в Петербург, а приезжая, была или очевидно в подавленном духе, или в каком-то преднамеренно разнузданном.

Мое общество опять стало ей точно тягостно, и она предпочитала уезжать из Одессы больше за границу, чем к нам.

С Плешко отношения их тоже все ухудшались. Когда мне случалось видеть их вдвоем, они почти уже не разговаривали, и теперь презирала не только она его, но уже и он ее. По крайней мере, он говорил с ней и о ней тоном такого высокомерного пренебрежения, что, слушая его, во мне каждый раз все возмущалось и закипало обидой и негодованием за нее и хотелось крикнуть ему: «Молчите, подлый человек!» — и ударить его, как хотелось когда-то того же за его циничные ласки ей, бесцеремонно расточавшиеся им при всех. При мне он это как-то особенно и нарочно подчеркивал и выставлял на вид, вероятно, нарочно, чтобы мучить меня тем, как мучил раньше, прежде своими ласками.

Должно быть, он начал сильно урезывать ее и в деньгах, потому что я знаю, что она не раз обращалась за ними к Саше, что, при ее адском самолюбии, было ей, конечно, страшно тяжело и доказывало лучше всего, что положение ее было очень затруднительно.

Может быть, это тоже влияло отчасти на то, что она, обязанная теперь не только ладить с братом, но даже заискивать с ним, старалась реже видаться с ним и почти не ездила больше в Петербург, предпочитая объясняться в письмах.

По крайней мере, последний год я совсем не видала ее. Она даже писала мне только короткие записки, да и то лишь тогда, когда ей приходила фантазия выписать себе из Петербурга какую-нибудь шляпу или платье.

А я... да что же я... Я жила больше как машина, которую завели и пустили в ход, заставив действовать.

Если меня еще что приподнимало порой — то это только Надя.

Она приходила и заражала меня своею молодою горячностью, верой и жизненностью, умиротворяла своею глубо-

кой чистотой, и я хваталась за нее, как больной за последнее подкрепляющее и успокаивающее его средство.

Она сама не понимала своего великого значения для меня и не сознавала той роли, которую играла в моей жизни.

Правда, мы виделись с ней редко, но все-таки достаточно, чтобы поддерживать во мне инстинктивное желание жить и веру во что-то лучшее, что ждало если уж не меня, то хоть других.

Она так же бессознательно для себя воскрешала во мне эту веру, как бессознательно же для себя Соня убивала ее во мне.

Но время летело, годы шли, и в их удручающем однообразии я не заметила, как промелькнули все те четыре года, которые Надя провела на своих курсах. И вот она уже кончала их, и с ее отъездом я должна была лишиться и последнего живящего элемента моего существования.

Она уезжала в Вятскую губернию, на заводы, одним из учредителей которых был мой муж.

Он предложил ей там место школьной учительницы, и это было единственное, что она согласилась принять от нас, да и то потому, что тут был подвиг скорее с ее стороны — тот подвиг, к которому так стремилась она, чем услуга ей с нашей.

Заводы стояли в страшной глуши, в полутораста верстах от железной дороги, далеко от губернского города, но она ехала туда так радостно и бодро, окрыленная такими прекрасными, все озарявшими ей мечтами и надеждами, как мы с Соней, конечно, не ехали в первый раз даже в Париж, и, глядя на нее, возбужденную более чем когда-либо энергией и страстной жаждой начать скорее милое ей дело,— оживилась невольно и я, хоть и теряла ее для себя.

Она убеждала меня приехать к ней гостить туда, хоть ненадолго, недели на две, и посмотреть, как она устроит свою школу, и, не довольствуясь теперь ею одной, мечтала уже о народной чайной там, о библиотеке, о хоре и театре, устроенных из рабочих, и даже о доступных лекциях для них по разным вопросам, к которым хотела привлекать интеллигентных служащих и окрестных помещиков.

Саша, от которого главным образом зависело разрешение на все это, хоть и улыбался несколько скептически на ее радужные мечты, но, не будучи скуп и склонный всегда вести дело широко, обещал ей не только просить правление ассигновать на все это известную сумму, но был не прочь даже прибавить что-нибудь от себя.

И многое, кажется, Надя «отпустила» ему за его «несопротивление добру», как смеясь называла это.

И вот она уехала, а я опять провожала ее на вокзал, как 7 лет тому назад провожала и Соню. Но как не похожи были и эти проводы, и мое настроение на то, с каким тогда провожала я Соню, впервые уезжавшую от меня с Плешко...

Правда, несмотря на все мое безотчетное влечение к Наде, она не была для меня все-таки тем, чем была тогда Соня, но, главное, пути их были так различны, что насколько один ужасал меня, настолько другой, быть может, гораздо более трудный и тяжелый, невольно заставлял верить в себя и отпускать ее на него с легким сердцем.

Сначала она должна была заехать проститься к своим в Чернигов, а оттуда направиться уже прямо на заводы.

Она обещала подробно писать мне обо всем и, действительно, сдержала слово, и в первый же месяц я уже получила от нее длинное письмо с подробным описанием всего, что она нашла там, и с тех пор время от времени такие письма стали систематически приходить от нее, и впечатление от них получалось почти такое же, как бывало и от приходов ее самой. Она не только не разочаровалась, встав с делом лицом к лицу и столкнувшись со всеми осложнениями и трудностями его, но, кажется, полюбила его еще больше и еще горячее отдалась ему.

Ее письма с описанием самого завода, школы, ее питомцев, товарищей, рабочих и т. п. походили на письма влюбленного, описывающего свою возлюбленную, и, когда я читала их, в душе каждый раз поднималось какое-то новое, странное, точно растроганное чувство, и оно влекло туда, к ней, в эту глушь, на эти заводы, где кипела какая-то иная жизнь, так непохожая на ту, какой жила я здесь сама, такая далекая и, в сущности, чуждая мне и в то же время точно почему-то уже близкая мне и влекущая к себе.

Около этого времени я увиделась в последний раз с Соней.

Она приехала опять неожиданно среди зимы, на этот раз вдвоем с Плешко. Против обыкновения, он казался почти ухаживающим за ней с какой-то необычной в нем за последние годы заискивающей любезностью и предупредительностью.

Зато она имела вид мрачный и удрученный более чем когда-либо, а ухаживания Плешко приводили ее в такое раздражение, что она обращалась с ним еще презрительнее,

чем всегда, и на каждом шагу говорила ему в глаза страшные оскорбления.

Но когда было нужно, Плешко умел не обижаться и Сонины выходки переносил опять очень милостиво, стараясь или не замечать их, или обращал в невинные будто бы шутки.

Я не понимала, что все это значит, а Соня была в таком нервном настроении, что я не решалась расспрашивать ее, тем более что нам почти и случая к тому не выпадало; они остановились почему-то не у нас, а в Европейской гостинице, и мы почти не оставались с ней наедине.

Когда же я раз осторожно заговорила с ней об этом, Соня вспыхнула и, вся содрогаясь, точно от болезненного отвращения, сказала мне только:

— Ах, если бы ты знала, какая это гадина — мой супруг!

Но больше ничего говорить не стала.

Поневоле сердце сжималось за нее недобрым предчувствием, и я не знала, что думать, пока Саша не разъяснил мне наконец этого вопроса.

Оказалось, что Плешко затевал опять какое-то грандиозное дело, и ему надо было провести его в Петербурге, но оно осложнилось и грозило не состояться, потому что лицо, от которого зависело разрешение его, было против и не сочувствовало Плешко.

Но... но это же лицо где-то за границей познакомилось с Соней и было в восторге от нее.

И вот Плешко блеснула великолепная мысль устроить это дело через жену. Она должна была «хорошенько пококетничать», как выразился Саша, передавая мне «мысль» Плешко, и заставить лицо согласиться.

В неотразимости ее чар, как женщины, Плешко был уверен, но ему надо было добиться согласия Сони на эти чары, что при их дурных отношениях было уже гораздо труднее.

Но раз что-нибудь задумав, Плешко шел напролом, не брезгая никакими средствами, и теперь он ухаживал за женой, всячески склоняя ее «быть милой», и если «как умный человек» не платил еще при этом все-таки ее долгов, зато давал ей слово «джентльмена» — каким, кажется, искренно считал себя,— немедленно по подписании бумаги поднести ей 40 тысяч на уплату их.

— И ты веришь, что вопрос идет только о простом кокетстве?— с горечью спросила я, когда Саша рассказал мне эту историю.

Он немножко смутился, но отвечал небрежно уверенным тоном:

— Конечно!

Но я подумала, что вряд ли бы Плешко стал уж так ухаживать за женой, если бы дело шло только о простом кокетстве, на которое Соня, с ее врожденной страстью к тому, сама всегда была готова, и невольно горько улыбнулась и покачала головой на это безапелляционное «конечно».

Саша поймал мою улыбку и, кажется, обиделся за Плешко.

— Ну, ты всегда была к нему несправедлива! — сказал он с неудовольствием и прибавил, что во всяком случае такие вещи всегда зависят всецело от такта и ловкости самой женщины, а Соня настолько умная и опытная женщина, что, конечно, если захочет, сумеет добиться всего, ничем в сущности не заплатив.

На мой взгляд, это не составляло большой разницы: в одном случае — торговля телом, в другом — душой, не все ли это равно; но когда я высказала это Саше, он даже рассердился и сказал, что с моими понятиями разве только в монастырях жить, да и то не в современных.

— И притом,— воскликнул он, окончательно рассердясь,— из-за чего вся эта комедия, к чему все эти громкие слова! Кажется, из-за кого-кого, а уж из-за Сони можно бы было не поднимать их! Уж ее-то добродетель даже и не под сомнением, так что уж тут так много разговаривать теперь!

Тогда вспыхнула от негодования в свою очередь и я.

— А кто ее сделал такой? — спросила я, в упор смотря на него.

— Кто же, я, что ли? — спросил Саша с искренним изумлением.

— Мы,— сказала я ему тихо, но твердо,— все мы, толкнувшие ее на то, к чему она пришла теперь!

— Ну, матушка! — воскликнул он, махая рукой по своему обыкновению.— Села на своего любимого конька и поедешь теперь! Только мне все эти бредни слушать ни времени, ни охоты нет, можешь оставить их для обсуждения с твоей единомышленницей Надеждой Голиковой, а меня уж, сделай милость, уволь от них!

И тоже, по обыкновению, ушел от дальнейших объяснений.

Тем не менее дело постепенно, очевидно, подвигалось. Плешко прикладывал все старания и «лицо», узнав о при-

езде Сони и получив от нее, вероятно, любезную записку, немедленно явилось к ней с визитом и даже, кажется, повторило его несколько раз, потому что Плешко имел торжествующий и еще более нахально-самоуверенный вид и в то же время был озабочен и тревожен и без церемонии говорил Саше, что Соня своей «сухостью» тормозит все дело.

Наконец... наконец, как-то уже поздно вечером, когда я сидела за работой одна в своей комнате, вошла вдруг неожиданно Соня.

Она была в роскошном, открытом по-бальному туалете, с длинным треном, вся залитая брильянтами, но так бледна и с таким странным выражением на болезненно-искаженном лице, что я невольно ахнула и тревожно поднялась ей навстречу.

— Соня,— воскликнула я,— что с тобой? Ты нездорова? Откуда ты?

— От Донона, с обеда,— сказала она глухо и вдруг в изнеможении опустилась на кресло и зарыдала, охватив голову руками.

Сердце у меня жутко сжалось, я чувствовала, что угадываю правду, и молча стояла перед ней, не зная, что ей сказать и... и не смея спрашивать.

— Дай мне воды,— сказала она.

Я бросилась за графином и дрожащими от волнения руками едва могла налить ей стакан воды.

Она приподняла голову, взяла его у меня, выпила несколько глотков, потом отставила его на ближайший столик, провела руками по волосам, откидывая их со лба, точно ей было тяжко от них или от каких-то мыслей, и сказала с горькой усмешкой:

— Бумага подписана! Боже мой, боже мой! — вскрикнула она вдруг, вскакивая и заламывая руки над головой.— Если бы ты знала, как мне гадко! Как я себе гадка, как мне весь мир, все люди гадки! Какая гадость везде, кругом меня и я сама в ней! О, боже, боже, что они со мной сделали, что сделали! — точно стоном вырвалось из груди ее, и она снова упала в кресло и истерически зарыдала опять.

Я бросилась перед ней на колени, прижала ее к себе и покрывала поцелуями ее несчастную голову.

Она рыдала, сначала с какой-то прорвавшеюся вдруг страстностью, с каким-то безумным отчаянием, но я, как ребенка, держала ее в своих руках и только молча ласкала ее, и постепенно она стала затихать, точно успокаиваясь и затихая под моими ласками, и, затихнув совсем, подняла ко

мне свое прелестное, но бледное и измученное лицо и сказала с каким-то тихим, растерянным ужасом:

— Боже мой, Наташа, что же они с нами сделали! Что они с нашими душами сделали! Ведь у меня одна грязь, вместо души, осталась! И это я! Я, та самая я, какой когда-то меня бог создал! О, бог, бог, нет его больше ни во мне, ни для меня, ничего нет, одна грязь и ужас!

— Соня,— воскликнула я, почти с радостью,— бросим все это, уйдем отсюда!

— Куда уйдем? — спросила она безнадежно.— Разве от самой себя куда-нибудь уйдешь? Да ведь, куда бы я ни пошла теперь, я всюду понесу за собой и эту себя, грязную, подлую, так низко упавшую! Да и разве могу я теперь жить вне этого? Сознавать всю гадость, весь позор этого — могу, презирать себя за них всей душой, терзаться ими, тоже еще могу, но уйти из этого уже не могу! Все равно через месяц же не выдержала бы и вернулась бы назад, к тому же самому Плешко или кому-нибудь другому, такому же, как он, а может быть, и еще к худшему!

— Зачем же к нему, зачем же опять к такому, разве нет людей, разве нет спасения!

— Спасение, другие люди! — сказала она горько.— Да ты пойми, что те люди, которые ищут таких женщин, как я, погибли сами уже не меньше меня, и ни помощи, ни спасения мне от них ждать нечего! Такими женщинами, как я, увлекаются только или безумные, или развратные, и такие спасать не могут!

— Соня,— воскликнула я, схватывая ее за руки,— а Бессудный? Ты забыла его, разве он такой, как ты говоришь, и разве он до сих пор не ждет тебя! Вот кто спасет тебя, Соня,— он, он выведет тебя на другую дорогу, он очистит тебя от этой наносной грязи! Пошли за ним, напиши ему, ведь ты помнишь, что он сказал тогда, уходя от тебя, чтобы ты только позвала его, и он придет всегда и отовсюду, и он еще любит тебя, ты сама, сама мне это говорила! Напишем, напишем ему, Соня!

Но Соня безнадежно поникла головой.

— Бессудный, Бессудный,— проговорила она горько,— нет, Наташа, и этого нельзя, слишком уже низко я пала, чтоб отдать ему теперь себя... теперь после всего, что было... и такой... как я стала...

— О, Соня, он простит,— говорила я в каком-то экстазе, плача и целуя ее лицо и руки,— он простит, он все забудет...

Но Соня слушала меня и, горько улыбаясь, качала головой.

— Он забудет, он простит,— сказала она печально,— да я-то уже ни простить себя, ни забыть об этом не смогу! Разве это забывается? Нет, Наташа, не зови меня никуда, не жди для меня ничего, поверь, что мне нет уже ни спасения, ни возрождения... Бессудный,— заговорила она тихо и печально, точно сама с собой,— Бессудный, может быть, он единственный, которого я могла бы полюбить и который сам честно и искренно любил меня. И тем более, тем более не хочу я его губить и связывать с такой женщиной, как я,— не такая ему нужна подруга. Нет, Наташа, бросим, не будем лучше говорить об этом, поздно мне, милая, мечтать о каком-то обновлении... все во мне уже убито, ничего не воскреснет, не возродится, нет, брось меня,— я уже погибшая душа навеки...

Тогда, уронив голову на ее колени и чувствуя, сколько правды, ужасной, страшной правды в ее словах, заплакала и я...

Я поняла, что нет ей действительно ни выхода, ни спасения, и плакала над ней как над мертвой, плакала так мучительно и горько, как не плакала, кажется, еще никогда в жизни, а она сидела передо мной, точно вся застывшая и охладевшая ко всему живому, и машинально гладила меня по волосам своей тонкой, бледной рукой, залитой, как кровью, рубинами и брильянтами.

И глаза ее, эти странные, загадочные, узкие глаза, глядели куда-то мимо меня и не видели меня, но, казалось, видели что-то другое, от чего все больше застывали каким-то мрачным отчаянием, видели прошлое, от которого точно все содрогалось в ней, и вглядывались в будущее — в то будущее, которому она уже не верила, от которого ничего не ждала да которого даже и не было у нее больше...

. . . .

В ту ночь она не вернулась домой, а осталась ночевать у меня и легла в моей комнате, но сколько раз я ни взглядывала на нее этой ночью, глаза ее были все так же открыты и смотрели куда-то в пространство, слабо освещенное матовым светом ночника, все тем же застывшим, безнадежным взглядом, хотя, когда я тихо окликала ее, она закрывала их, притворялась спящей, но я знала, что ни на одну минуту не заснула она в ту ужасную ночь.

Наутро она поднялась, казалось, довольно спокойная,

только сильно пожелтевшая и осунувшаяся за ночь, и жаловалась, что ей холодно.

Я велела затопить камин и принести чай ко мне на половину. Все утро она просидела у камина, задумчиво смотря в огонь и зябко кутаясь в белый мех своей накидки.

Мы не поднимали больше нашего вчерашнего разговора; она вообще никогда не продолжала утром тех разговоров, которые вырывались у нее порой вечерами или ночью, когда мы бывали с ней только вдвоем, с глазу на глаз.

И вот молча и вяло сидели мы с ней так вдвоем перед камином, думая каждая свои невеселые думы, как вдруг дверь отворилась и вошел Плешко.

Соня вздрогнула, увидев его, и вся болезненно съежилась, но Плешко был очень в духе, имел сияющий вид и ничего не заметил или, может быть, не желал заметить. Он торжественно держал в руках небольшой портфель и любезно расшаркался перед нами, целуя, по обыкновению, руку, сначала мне, едва превозмогшую себя, чтобы не вырвать ее у него, потом у Сони, которая тотчас же брезгливо отдернула ее и даже с отвращением вытерла о мех своей накидки то место, к которому прикоснулись его губы.

Но Плешко этим не смутился.

— Ну,— сказал он, не утрачивая ничуть своего апломба,— ну, я вижу, madame не в духе. Но сейчас настроение ее будет меняться в самое радужное! О, Плешко джентльмен и держит слово даже перед собственной супругой, что не многими особами соблюдается! Но Плешко не делает исключения ни даже для самых близких. Что он сказал, то сказал, и потому, madame, получайте наш уговор! Извольте!

И он торжественно раскрыл свой портфель и вынул оттуда несколько толстых пачек.

— Вот, madame, вы видите, какой у вас любезный супруг! Он даже сам заехал в банк и сам привез вам все сорок тысяч чистоганом, чтобы вы могли не утруждать себя хлопотами! Теперь-с вы можете принимать их прямо на свои руки и вздыхать наконец свободно! Кредиторы не будут вас больше мучить, и вам хватит расплатиться с ними за все шляпки и накидки, и даже будут открывать кредит на новые! Это уж поверх условия, но Плешко, madame, умеет награждать услуги! Итак-с, вот, получайте, кстати, даже при свидетелях, это никогда не лишнее, особенно когда свидетель — олицетворение самой правды, как наша достопочтимая Наталья Николаевна!

И с чувством какого-то особенного удовольствия Плешко перелистал несколько раз пачки денег и с галантным поклоном протянул их к Соне.

Все время, что он рассыпал пред нами перлы своего красноречия, ни я, ни Соня не прерывали его, и только глаза Сони сурово следили за его движениями, да по лицу ее пробегали судорожные гримаски брезгливого отвращения, но когда Плешко протянул ей деньги, она вдруг так резко отшатнулась от его протянутой руки, что Плешко, не ожидавший этого движения, выронил несколько пачек и озабоченно бросился поднимать их.

— Мне не надо ваших грязных денег, можете оставить их себе! — сказала она, вся дрожа.

— Ну, ну,— заметил Плешко уже посуше, которому не нравилось такое небрежное отношение к его кумиру,— это только сегодня вы так говорите, а завтра будете бывать очень довольны, что получили их!

И, без церемонии положив их ей прямо на колени, он раскланялся еще раз, видимо чувствуя себя чуть не героем за свою щедрость.

Но Соня порывисто поднялась с кресла, собрала в руки все пачки и мгновение стояла, зажав их в руках и смотря на Плешко с такой ненавистью и презрением, что я подумала, что она сейчас бросит их ему в физиономию; подумал то же самое, вероятно, и он, потому что тревожно попятился от нее и проговорил уже с большим неудовольствием:

— Ну, ну, и зачем вся эта комедия! Это же было наше условие!

— Негодяй,— сказала Соня, вся трясясь,— негодяй!— И вдруг, точно передумав, подняла руки и одним сильным и резким движением бросила все пачки прямо в камин.

Плешко яростно взвизгнул и в одну секунду, с проявившейся в нем откуда-то силой, отшвырнул Соню в сторону, как безумный бросился к камину и, забыв опасность и не чувствуя даже боли, голыми руками принялся выбирать назад толстые, аккуратно сложенные и перевязанные пачки, которые медленно уже загорались по углам.

— Не смейте! — крикнула ему Соня.— Это мои деньги, вы сами это сказали, и я могу делать с ними, что хочу, и пусть они горят, пусть горят!

Но Плешко уже вытащил их и усердно топтал их ногами, туша огонь.

— Вы безумная и бессовестная женщина! — закричал

он, тоже весь трясясь от злости.— И деньги не ваши, а божьи! А вы сумасшедшая баба, и я больше никогда ни одной копейки давать вам не буду! Слышите, не получите больше ни одной копейки! Ни одной, никогда!

— Уйдите! — проговорила глухо Соня, бледная как смерть и почти задыхаясь от гнева.— Уйдите, или я убью вас!

— Уйдите же,— сказала я ему,— вы видите, в каком она состоянии, уйдите же!

Но Плешко только теперь почувствовал боль от ожогов и то дул себе на руки, запрятывая деньги обратно в портфель, то от боли снова ронял их и махал в воздухе обожженными пальцами.

— Сумасшедшая баба! — приговаривал он при этом, злобно смотря на Соню, и повторял опять: — Больше никогда, ни одной копейки, ни ползлота!

Тогда, видя, что с ним ничего теперь не поделаешь, я взяла Соню за талию и силою вывела ее в другую комнату.

Она, шатаясь, шла за мной как в столбняке и бессильно упала на первое кресло, которое я подставила ей.

С ней было что-то вроде нервного припадка, она вся дрожала и говорила еле слышно, белыми, помертвевшими губами:

— Скажи ему... чтоб он... уходил... или я убью его... понимаешь ты, я хочу... убить его хочу...

Я успокаивала ее и наливала капли, а Плешко через дверь требовал от меня вазелина и бинтов и, несмотря на весь трагизм того, что скрывалось под этой сценой, растерявшаяся, негодующая и пошлая фигура Плешко, требовавшего от меня вазелина и бинтов в ту минуту, когда Соня хотела убивать его, была так смешна, что я невольно улыбалась. Я крикнула ему, что сейчас вышлю девушку со всем, что ему надо, и, чтобы хоть немного вывести Соню из ее мрачного оцепенения, старалась и ей представить все это в комическом виде.

Но на этот раз она уже не смеялась, как смеялась всегда в подобных случаях, когда умудрялась даже в самые драматические моменты улавливать курьезные, невольно смешившие ее стороны. Она, молча, тяжело дыша, лежала на широком диване, куда я перенесла ее, и глаза ее опять угрюмо и мрачно смотрели куда-то в пространство перед собой, и я чувствовала, что в душе ее совершался опять какой-то переворот, и на этот раз, быть может, более сильный, чем когда бы то ни было прежде.

Я села с работой в руках у окна в той же комнате и невольно думала, к чему все это приведет ее, на что толкнет ее дальше, а она лежала молча и, чтобы не говорить, притворялась спящей.

Незадолго до обеда пришел Саша, которому Плешко успел уже все рассказать. Он тихонько вызвал меня в другую комнату и начал расспрашивать о подробностях.

Саша тоже, как и Плешко, находил, что Соня безумная женщина, от которой всего станет, и говорил, что или не надо было соглашаться на предложение Плешко, или же, раз согласившись, не поднимать потом такого скандала. Это, по его мнению, было по меньшей мере бестактно.

— Во всяком случае,— сказал он, пожимая плечами,— деньги ничем не виноваты, и бросать в огонь сорок тысяч и глупо, и безнравственно. Уж лучше пожертвовать их на что-нибудь, а Плешко ей тоже дарить их нечего, это прямо глупо. Ну, да я потом сам переговорю с ней! — прибавил он и вечером действительно зашел еще раз и, выпроводив меня, долго говорил о чем-то с Соней.

Что он говорил ей, я не знаю.

Ее голоса совсем не было слышно, а его звучал ровным и убедительным звуком спокойно и сознательно рассуждающего человека, и результатом вышло то, что на следующий день он привез ей от Плешко чек на новые сорок тысяч и... И Соня взяла его.

А еще через три дня Соня уехала за границу. Все эти три дня она была страшно мрачна, почти ни о чем не говорила, но много ездила по магазинам, как бы ища случая не быть со мной и опять того странного возбуждения, которое доставляло ей всегда это безумное швырянье денег по разным магазинам. За обедом и завтраком она опять выпивала по нескольку бокалов шампанского, как бы ища заодно и другого уже опьянения, и каждый раз, что я пыталась останавливать ее, она резко и нетерпеливо, почти с болью точно, говорила мне:

— Ах, замолчи, оставь меня, оставь! — и я невольно замолкала, зная, что теперь она все равно уже не послушает меня.

Перед самым почти отъездом она вдруг спросила меня:

— Ты очень презираешь меня за то, что... что я все-таки взяла эти деньги?

Ей, видимо, трудно было проговорить эти слова, и она не глядела на меня, произнося их, и лицо ее при этом было мрачно и как-то жестко.

— Нет, Соня,— сказала я грустно,— не презираю, я не умею ни презирать, ни разлюбить тебя,— не презираю, а жалею...

— Жалеешь,— проговорила она, горько улыбаясь,— ну, жалей, жалей... хоть именно этого-то я и боялась больше всего в жизни! Жалости чьей-нибудь... Ну, да теперь уж все равно! — прибавила она и махнула рукой.

Когда я провожала ее на вокзал, сердце мое сжималось как-то особенно тоскливо. Мне казалось, что она что-то задумала и что я никогда уже больше не увижу ее, и невольно становилось страшно за нее и хотелось ехать вместе с ней, быть вместе, лишь бы не оставлять ее одну.

Когда я ей сказала, что хотела бы ехать вместе с ней, она не только удивилась, но почти рассердилась и сказала, что не видит в этом никакого смысла! Зачем мне ехать с ней! Она, слава богу, всю жизнь ездит одна, и она решительно взяла такой тон, что об этом не могло быть и речи. Но перед последним звонком, уже стоя подле вагона, она вдруг обняла меня крепче, чем всегда, и, прижавшись ко мне, долго и нежно целовала меня.

— Соня,— сказала я ей тихонько,— позволь мне ехать с тобой, я нагоню тебя в Вене через день!

— Полно, Наташа,— возразила она почти спокойно,— все это вздор и... и расстроенные нервы... но я не дам им воли и опять скоро справлюсь с собой... вот ты увидишь... я вернусь совсем здоровая, а ты себя забери в руки... Ведь что бы там ни было, а надо же жить! — прибавила она тихо и задумчиво.

Я ничего не ответила ей на это, но в душе невольно спрашивала себя: да полно, разве уж это так необходимо — жить непременно, жить во что бы то ни стало, только оттого, что вам навязали эту жизнь? Разве не проще и даже не честнее добровольно освободиться от нее, когда она делается уж слишком тягостной и гадкой?.. Но ей я не высказала моих мыслей,— мне было страшно делиться ими с нею.

И мы расстались. С площадки вагона, с которого она не уходила, пока поезд не скрылся совсем, она еще раз, уже издали, крикнула мне: «Прощай, Наташа!» — и, услышав это последнее прощай, я зарыдала, сама не знаю почему.

Поезд ушел, я воротилась домой. Прошло несколько дней, а я все не могла избавиться от гнетущего впечатления, что мы расстались с ней навсегда и уже никогда не увидимся больше.

Но прошло несколько недель и месяцев, все, по-видимому, было тихо, и понемногу я начала успокаиваться, хоть почти ничего не знала о ней. Она не приезжала больше и не писала, не отвечая даже и на мои письма. Трудно также было понять их истинные отношения с Плешко, разъехались ли они окончательно или продолжали официально числиться супругами, и она только временно проживала отдельно от него, по обыкновению, где-то на Ривьере, которую так любила.

Слухи о ней становились все хуже и хуже. Говорили, что она страшно кутит, швыряет деньгами, более чем когда-нибудь, проигрывая их уже в рулетку по нескольку тысяч в один вечер, и тоже более чем когда-нибудь окружена толпой поклонников, среди которых без церемонии называли несколько имен, пользовавшихся у нее особенным успехом и расплачивавшихся по ее счетам.

Я слушала все эти вести, долетавшие до нас через разных знакомых, с горькой болью на душе, и даже Сашу они настолько задевали, что даже выводили его из его обычного равнодушия ко всему, что не касалось непосредственно его и его дел.

Раз он пришел из клуба, где встретился с одним приятелем, только что вернувшимся из Ниццы, совсем возмущенный какой-то новой выходкой Сони.

— Она совсем черт знает во что обратилась! О ней уж целые легенды там слагают! — сказал он с негодованием.

Я ничего ему не ответила,— что я могла сказать ему, разве только то, что сказала уже раз, но чего он все равно не понимал и не признавал! Я больше никогда с ним ни о чем не спорила, в сущности, мы и не говорили с ним ни о чем, если не считать самых банальных вещей.

Это, верно, нравилось ему отчасти, по крайней мере, это избавляло его от былых «сцен и драм», которые его всегда так раздражали.

Постепенно мы с ним стали такими чужими людьми, что даже и желания сближения, по которому я так мучительно тосковала когда-то прежде, уже не ощущалось больше.

У него была своя жизнь, интересовавшая его и бравшая всего,— а у меня... да у меня просто не было жизни.

В душе, в мозгу, в сердце все как-то одеревенело, притупилось и точно умерло. Я даже разучилась испытывать то острое страдание, которое охватывало меня, бывало, такою болью, тоской и ужасом прежде. Теперь эта тоска

обратилась уже во что-то хроническое, тупое и неизлечимое, страшное разве только своей безысходностью.

С этим можно было только доживать, а не жить, как доживает безнадежно больной, знающий, что ему уже нет спасения...

Единственно, что было еще сносно, это то, что я стала довольно часто прихварывать, и это давало мне предлоги сокращать выезды и сидеть больше дома.

Хоть и дома, впрочем, было немногим лучше; просиживать долгие зимние вечера одной со своими тяжелыми, гнетущими мыслями, с мучительным раскаянием и жалостью к своей исковерканной жизни, прошедшей так бесплодно, так ошибочно, так ничтожно и так одиноко, так горько одиноко... О, со всем тем, от чего порою вопль рвался из наболевшей груди!..

Моей единственной еще радостью были Надины письма, такие бодрые, такие юные, от которых веяло свежей воскрешающей силой...

Она все больше и больше увлекалась своим делом и все настойчивее звала меня к себе гостить...

И часто, часто мне хотелось все бросить и ехать к ней, пожить, отдохнуть подле нее, хоть немного... Я сама не знаю, почему я этого не делала; удерживала какая-то рутина, непривычка ездить в места, представлявшиеся такою далью и глушью, что казалось почти какой-то непреодолимой трудностью попасть туда, а главное... главное, удерживал инстинктивный страх перед возвращением потом опять к тому же, от чего так мучительно хотелось бежать.

В эту же зиму я простудилась, схватила воспаление легких и пролежала с ним больше месяца.

Когда я только что слегла, получилось известие о скоропостижной смерти Голикова; он умер параличом сердца. Сестра Надя совсем обезумела от горя, и моя Надя немедленно поехала к ней, успев мне только написать короткое письмо, что едет за матерью, чтоб уговорить ее переехать со всей семьей к себе на заводы. Это известие страшно огорчило меня, тем более что из-за моей болезни, случившейся так не вовремя, я не могла поехать туда сама, как мне того хотелось бы. И хотелось мне этого не только потому, что я могла бы быть полезна сестре, могла бы, может быть, поддержать ее в первое, всегда самое трудное время, но мне казалось, что близость к чужому горю, к чужому страданию, которое я видела бы так близко, поневоле участвуя, было бы полезно и мне самой, дав наконец

тот жизненный импульс, что я утратила так давно и без которого, как я поняла это теперь, жить все равно было невозможно.

Но пока, хоть и выздоравливающая уже, но все еще прикованная своим воспалением к постели, я размышляла об этом, мечтая о том, что поеду туда, как только выздоровлю совсем, получилось другое известие,— известие, чуть не стоившее мне жизни самой. Это была телеграмма Плешко о смерти Сони.

Когда я прочла ее, эту короткую ужасную строчку, я думала, что умру сама от горя и отчаяния, и то, что случилось, казалось мне такой невозможностью, таким диким ужасом, коверкавшим не только существование меня самой, но точно весь мир, что я не могла, не умела заставить себя верить этому, а между тем... не я ли сама ждала этого все время. О, ощущение этого первого ужаса, этой раздирающей боли, когда я впервые прочла эту страшную строку, на всю жизнь, сколько бы ни прожила я еще, уже всегда останется со мной и воскресает каждый раз, что я мысленно повторяю ее себе...

Сашу тоже это сильно поразило; он, кажется, вообще не верил возможности смерти в применении к себе и своим близким и весь как-то растерялся и даже выбился из колеи на несколько дней. Он немедленно выехал в Одессу, куда Соня зачем-то вернулась незадолго до смерти, а я все еще была больна, меня не пустили, и ее, мою Соню, похоронили без меня!..

Зато я получила от нее наконец письмо — то самое письмо, которое напрасно ждала я от нее столько времени; увы, я получила его, когда ее самой больше уже не было!..

Она писала мне его за несколько часов до смерти и начинала его теми самыми словами, что так долго стояли в ушах моих, были уже ее последними мне словами, которые она крикнула мне тогда из окна вагона.

Она писала:

«Прощай, Наташа! С тобой одной хочется побыть мне еще раз мысленно перед... перед тем, чтоб уйти отсюда навсегда. Я набралась наконец храбрости и выпила какую-то гадость... выпила ее потому, что не могу больше жить с этим отвращением к жизни и омерзением к себе... Что я покончу этим, я решила уже давно, и, если б у меня было больше характера, давно бы уже сделала это... Еще, быть может, в тот первый день, когда впервые почувствовала презрение к себе и поняла, как низко пала и как низко паду

еще потом... Но в том-то и несчастье мое, что его у меня никогда не было, и как ни глубоко презирала я уже и себя, и людей, как ни мало ценила уже, в сущности, жизнь, которую так страстно любила когда-то прежде, а расстаться с ней, уйти от нее совсем, уже бесповоротно, раз навсегда, мне все еще было почему-то жаль и жутко. А ведь я искренно воображала себя храброй и мужественной и даже нарочно испытывала эту храбрость, проделывая такие вещи, которые не решался делать никто другой. Я любила играть с опасностью и кидать вызов смерти, воображая, что не боюсь ее, но стоило мне приложить к виску холодное, стальное дуло маленького револьвера и взвести курок, как мне становилось так страшно, что я вся бледнела и с ужасом отбрасывала его прочь, как можно дальше с глаз, чтобы даже не видеть его...

Чего я боялась! Я, которая уже давно ни во что не верила, никого не любила, ничего не жалела, ничего не ждала больше и в душе которой осталось живым только разве одно еще чувство — презрение ко всему: и к себе, и к людям, и к самой жизни...

Сама не знаю, чего боялась, должно быть, просто боли да того внезапного полного какой-то страшной тайны перехода от привычного к непривычному, от известного к неизвестному, от жизни прямо непосредственно к тому, что мы зовем смертью. И я невольно затягивала со дня на день мой последний расчет с ней, как затягивала, впрочем, всегда и все другие свои расчеты, и, затягивая их, запутывалась в них все хуже, падала все ниже, пока... пока не решила, что выпить какую-нибудь гадость, вроде той, какую выпила сейчас, будет гораздо проще и легче, хотя бы уже потому, что это даст мне возможность избегнуть слишком резкого перехода и мгновенной, но, быть может, чересчур острой боли.

Я выпила хорошую порцию, от которой, надеюсь, не будет уже ни возврата, ни спасения, да я и не хочу их... и как видишь, это так нестрашно, что я сижу и пишу тебе. Я нарочно вглядываюсь в глубь себя и прислушиваюсь, страшно ли мне? Нет, не страшно; последние годы моя жизнь стала мне так гадка, что, что бы ни ожидало меня (если только вообще что-нибудь ожидает), хотя бы вплоть до полного уничтожения того, что было здесь моим кумиром, моим «я», чего мы с нашей страстной привычкой к жизни и подлой любовью к самим себе боимся, кажется, больше всяких мук ада, в который уже не верим

больше,— все-таки не будет хуже того, что было здесь.

Но вот... вот, кажется, что-то начинается... надо торопиться; я боюсь, что тебе не передадут моего письма, и хочу еще сама отдать его моей девушке, чтоб она сейчас же отнесла бы его на почту.

Видишь, какие маленькие мысли перед переходом, быть может, в нечто великое? Но ты ведь знаешь меня, я всегда была такою, а главное — мне хочется, чтобы ты непременно получила бы его. Ни для кого другого мой «уход» не явится, вероятно, таким ударом, как для тебя; я даже боюсь, что тебе с твоею натурой будет слишком тяжело перенести его, и вот тебе на прощанье один совет, которого ты, конечно, не ожидаешь от меня: поезжай, если станет уж очень плохо, к твоей Наде. Она подбодрит и успокоит тебя и... и, быть может, действительно укажет какой-нибудь новый путь, к которому я, увы, уже больше не способна, но на который с ее помощью еще можешь выйти ты. Не правда ли, ты не ожидала от меня подобного совета? Но надо же быть справедливой хоть когда-нибудь, и лучше за три часа до конца, чем никогда... Вот видишь, я могу еще трунить над собой, мое былое настроение почти вернулось ко мне... увы, тоже только за три часа до того же конца! Кто знает, быть может, она была права, когда называла меня язычницей! Я и действительно была ею! Я думала, что жить надо для себя, что главным кумиром человека должен быть для него — он сам, потому что все остальное неверно и гадательно, а единственным положительным фактом казалось мне — мое собственное существование, и вот с таким мировоззрением я пришла к такому полному банкротству, что мне больше ничего не остается, как свергнуть мой ничтожный, так обманувший меня кумир, со всем его языческим, наполненным лишь собой одним культом. Иди же к ней, быть может, она, в своем христианстве, научит жить тебя для других, любить других... И, может быть, вы найдете в том если не правду жизни, то хоть приближение к ней, а главное — вам труднее будет обанкротиться, потому что для вас будут многие, а я для себя была одна и, утратив себя — любовь к себе, веру в себя, уважение к себе,— утратила все, для чего жила...

Итак, прощай мой Наташок, помнишь, я так звала тебя когда-то прежде, давно; не оплакивай меня уж слишком сильно, не приходи в полное отчаяние и верь, что, если б я не совершила, наконец, этой казни над собой и осталась бы еще здесь, тебе пришлось бы оплакивать меня когда-нибудь

еще горше, чем теперь. Я не прошу тебя, конечно, «не забывать меня, любить, молиться обо мне», я знаю, что все это будет и без моих просьб и что ты все равно не можешь ни забыть, ни разлюбить меня, а твоя вера, которой ты, кажется, все еще не утратила, облегчит тебе и самое горе, и, веруя, ты будешь верить и в то «прощение» и утешение, которое найдется где-то там, верно, и для меня, как находится для всех, кто не нашел их здесь... Я, впрочем, и не искала их, да и теперь не ищу!.. Прощай же, милая, еще раз и теперь уже навсегда...

Твоя Соня».

О много, много раз перечитала я это письмо, пришедшее ко мне точно из иного мира, и сколько я ни читала его, оно все тянуло меня к себе, и из его строк, размашистых и нервных, так знакомых мне, передо мной, как живое, вставало лицо Сони, и казалось, что это она сама говорит со мной.

Я видела ее глаза, ее улыбку, ее гримаски, слышала ее голос, раздававшийся так ясно где-то внутри меня, что я невольно поднимала голову, ища ее.

Она все время стояла передо мной: я видела ее то еще почти девочкой там, в Москве, веселой и радостной, с несложившимися еще, по-детски узкими плечами и грудью, но с прелестным лицом, одной улыбкою которого она так легко покоряла людей; видела ее потом здесь, в Петербурге, окруженную толпой поклонников и уже какую-то нервную и неспокойную, все словно боявшуюся что-то пропустить, что-то не успеть захватить... Видела потом женой Плешко, всю покрытую драгоценными камнями и кружевами, но с какими-то искаженными, нездоровыми вкусами и болезненно-страстными порывами, когда она точно потеряла почву под собой и, ужасаясь внутренне тому, к чему пришла, старалась всех обмануть и доказать всем — и себе первой — что это именно то, чего она хотела...

Видела ее, наконец, склонившуюся над этим самым письмом, увы, первым и последним, в котором, наконец, правда, жестокая и страшная, воплем вырвалась из груди ее...

И я читала, читала эти исписанные рукой ее странички и не могла оторваться от них. Они точно вызывали ее предо мной, воскрешая снова такой, какой я так знала ее, так любила и без которой так пусто, так мучительно пусто было начинать жить теперь!

Но за эти дни, что я лежала, оправляясь от болезни и удара здесь одна, в своей спальне, со своими мыслями и с этим письмом, единственным, что оставалось мне от нее и от большей половины жизни, той половины, которая должна была бы быть лучшей, оставить такой яркий след, дать столько привязанностей!

И вот, вместо всего этого, остался только клочок бумаги, а написавшая его рука уже тлела теперь под землей. И я думала, думала без конца, и, по мере того как думала, с души моей точно спадала завеса, обволакивавшая ее раньше и мешавшая мне видеть и понимать все так, как увидела и поняла я наконец теперь. И прежде всего я увидела и поняла самое себя.

Я поняла, что человек может жить только или чувством, захватывающим его вполне, или делом и идеей, дающими смысл всему его существованию.

Я поняла, что для того, чтобы жить с сознанием своего права на жизнь, с оправданием собственного существования в своих же глазах, человек должен трудиться, должен сознавать свою полезность для других и работать над своим делом; должен уметь любить сам и быть любимым другими, а иначе его существование будет неполно и ненужно, а сам он жалок и несчастен.

Если он нужен хоть одному живому существу, он уже *может* жить, потому что *должен* жить, но у меня не было даже и такого привязывающего к жизни и осмысливающего ее существа, не было просто никого, кому бы подле меня жилось легче и отраднее, чем жилось бы без меня.

Я тратила свою жизнь, свое время, свою душу на чуждых мне людей, к которым, в лучшем случае, была только равнодушна, которые ничего не давали мне и которым ничего не давала сама я. Да и что могли бы мы дать друг другу, когда между нами не было главного — не было любви и искренности!

Нас соединяла ложь и фальшь искусственных отношений, и мы лгали друг другу всегда и во всем. Лгали в показных симпатиях и убеждениях, лгали в поступках, в словах, в улыбках и, постепенно втягиваясь в эту ложь, так свыкались с ней, что уже утрачивали чувство правды; утрачивали самое понимание ее, потребность в ней и, искажая в этой вечной лжи свою духовную личность, убивали в душе все живое, разучивались жить простой, осмысленной жизнью и любить сильною и здоровою любовью.

В этой жизни, построенной на чем-то таком искусствен-

ном, ложном и беспредельно эгоистичном, мы все, еще с детства, сами не зная зачем и ради кого и во имя чего, играем какую-то жалкую и бессмысленную комедию, которой все равно никто не верит и большинство даже исполняет, как плохие актеры, не наслаждаясь сами и не давая наслаждения другим, и играя только потому, что кто-то уверил их, что это необходимо и что иначе будто бы нельзя. И вот на это-то до сих пор я тратила себя и свое существование.

Не оттого ли и жилось мне так тягостно и печально, что в жизни моей не было ни цели, ни смысла, ни идеалов, ни труда, ни привязанностей, ничего, что одухотворяло бы мне ее! К чему я в сущности жила? Что делала, кому была необходима, кому приносила радость и пользу, кого любила так, как могла бы любить, как следовало бы любить?

Мужа? Да, когда-то прежде, и то не так, как следовало. Соню? Да разве это все была любовь? Любовь должна быть сильной и действующей; должна уметь руководить, оберегать и спасать того, на ком она сосредоточивается, а я была слаба и умела только страдать сама да пассивно смотреть, как дорогие мне люди гибли на моих глазах, и не умела сделать ничего для спасения их. О, кто знает, если бы я любила их так, как должна была бы любить, как поняла любовь теперь, может быть, мне удалось бы еще спасти ее, мою Соню, может быть, она пошла бы тогда совсем по другому пути. В своем предсмертном провидении она точно увидала мою душу и, поняв ее, как бы окончательно уяснила и мне самой то, к чему прежде я только смутно стремилась где-то в глубине себя, но на что до сих пор все не могла решиться.

Теперь я решилась. Ее смерть, ее «казнь над собой», как она сама назвала это, дали мне последний толчок, и я уже не колебалась больше. Все то, что еще недавно пугало меня, представляясь чем-то таким сложным и трудным, что я невольно отступала назад и даже спрашивала себя — имею ли я на это еще право, вдруг как бы перестало существовать, стало ничтожным, неважным и уже не могло больше удерживать меня.

Я желала теперь только одного — начать жить так, чтобы не чувствовать больше ее мучительной неудовлетворенности, ее гнетущего разлада и стыда перед самой собой.

Мой план был не широк и не сложен, но в нем заключалось для меня перерождение всего моего существа; он как бы давал мне новую веру и в себя, и в людей,

и в жизнь, давал новое желание к ней, новое право на нее.

Я просто решила купить то маленькое имение подле заводов, о котором мне не раз писала Надя, взять овдовевшую сестру и ее детей и переехать туда всею семьей на постоянное житье.

Будем жить там все вместе, будем вместе растить и воспитывать ее детей, которые, быть может, со временем заменят мне моих собственных; будем помогать Наде в ее школе, в ее больнице и столовой, а главное,— будем не закрывать, а открывать свое сердце для всех, кто позовет нас, с кем столкнет сама судьба и кому хоть чем-нибудь можно будет пригодиться.

Я знала, что муж будет против этого, что это сначала поразит и возмутит его и что, прежде чем достигнуть своего, мне придется выдержать с ним целую борьбу и... и, может быть, окончательно порвать с ним. Но я решилась, и это уже не останавливало меня.

Да и к чему обманывать себя.

Я знала ведь и раньше, что давно уже не нужна ему, что мы давно уже ушли друг от друга, и мой формальный уход теперь не мог принести ему ни горя, ни большого огорчения.

Он скоро убедится, что это, в сущности, лучшее, что я могла сделать, а та свобода, которую даст ему развод, как только он пожелает того, и которая доставит ему возможность связать свою дальнейшую судьбу с другою, более подходящею ему женщиной, вознаградит его за временную неловкость положения, которая, вероятно, более всего остального заставит его удерживать меня.

О, если бы я могла думать, что еще могу заставить его измениться, заставить прозреть и понять то, что поняла сама, я не ушла бы так легко, с таким сознанием своего права на то, но я знала, что это невозможно, что этого нет и не будет никогда уже потому, что он первый же не захочет того.

Из нас троих — он был самый счастливый, самый убежденный в своей правоте и самый удовлетворенный жизнью, и то, что заставляло страдать меня и довело до самоубийства Соню, для него или не существовало совсем, или казалось безумными бреднями, которым он не желал ни сочувствовать, ни тем более участвовать в них.

Нет, я могла уйти от него со спокойной совестью, но не могла без страшного разлада с собой оставаться опять здесь, по-прежнему, после всего, что передумала и пере-

жила за эти дни, что пролежала здесь совсем одна, оправляясь от своей болезни, читая и перечитывая письмо моей несчастной Сони, вспоминая все прошлое и заглядывая в собственную душу, в собственную жизнь и ужасаясь их.

Соня писала мне: «Попробуй жить для других!» — но до сих пор я воображала, что жить для других возможно только в том случае, когда эти другие являются для нас близкими и дорогими поневоле людьми, самые жертвы наши которым, в сущности, еще небольшая заслуга, потому что часто, принося их им, мы делаем это только потому, что не можем делать иначе. Но, сосредоточивая всю силу нашей любви на этих немногих, не отнимаем ли мы ее от всех других и, привязываясь так страстно к кому-нибудь одному, не утрачиваем ли мы интерес ко всем остальным людям и не закрываем ли тем сами себе мир, невольно охладевая к нему и не живя в нем и им?

Когда эти близкие, «невольно дорогие» мне люди уходили от меня и разочаровывали меня в себе, я, оскорбленная ими, гордо и холодно замыкалась в себе и, заглушая чувство любви к ним, заглушала его и ко всем остальным, не веря и не желая верить больше уже никому и сознательно убивая в себе тот инстинкт любви и теплоты к людям, без которых не может жить человек, становилась все равнодушнее, все недоверчивее к ним и все несчастнее для себя.

Но я чувствовала, что искра этой теплоты еще тлела где-то на дне души моей, и чувствовала, что она может еще проснуться и разгореться живым огнем и, разгоревшись, согреть других и спасти своей силой еще и меня самое.

Теперь, когда я поняла это, мир точно открылся мне, точно звал меня к себе какой-то непреодолимой силой, словно говоря мне:

«Приди и живи во мне и со мной и не бойся меня и моего страдания, которое я дам и покажу тебе, потому что в них жизнь и правда, и они научат тебя любви, а то, чем ты жила до сих пор, только мертвая ложь, в которой омертвеешь постепенно и ты сама».

И я хотела идти, я рвалась всеми проснувшимися силами души к нему, к этому миру, который открылся мне, и к этим людям его, которых я даже не знала, но которые вдруг стали мне близки, дороги, понятны и точно звали меня к себе скорее.

О, как ждала я теперь возвращения мужа, как страстно хотела кончить все здесь и начать там!..

. . . .

Муж вернулся. Он приехал все еще расстроенный и много рассказывал о Соне, ее последних днях, ее похоронах и о Плешко, с которым они рассорились и которого он бранил теперь.

Соня промучилась почти двое суток, но даже в самых сильных мучениях она гнала от себя докторов, отталкивала лекарства и кричала, что не хочет спасения и чтоб ее не смели спасать. Ее добровольная смерть, такой молодой, красивой, так, казалось, любившей жизнь и наслаждавшейся ею, поразила всех, и на ее похороны собрался чуть не весь город.

Но Плешко был возмущен и говорил, что такой смертью она опозорила его еще больше, чем позорила жизнью.

На этот раз Саша перешел на сторону сестры. Посвоему, он все-таки любил ее, и ее добровольная смерть, такая ужасная, неожиданная и непонятная для него, привела его в смущение и словно разбудила в душе его былую привязанность к ней и что-то вроде недоумевающих укоров совести.

Рассказывал он также и о Бессудном. Он видел его на всех панихидах и на похоронах Сони таким убитым и несчастным, что наконец и Саша понял, как этот человек любил ее, и даже сказал, что «кто знает, может быть, и действительно она была бы с ним счастливее!».

Когда, накануне отъезда из Одессы, он поехал еще раз на кладбище, он опять встретил там Бессудного, но они только молча раскланялись, и Бессудный сейчас же поднялся с могилы, у которой сидел, и ушел, ничего ему не сказав.

Когда он все это рассказывал мне, я чувствовала в нем что-то новое, что-то точно смягчившееся, и в душе моей мелькнула робкая мечта увезти его за собой...

Но когда я заговорила с ним о том, когда едва сделала первые намеки на то, что я передумала тут без него и к чему пришла,— его настроение разом изменилось и моя «новая выдумка», как он назвал это, поразила и возмутила его, и он рассердился опять не только на меня, «придумавшую такую чушь», но заодно опять и на Соню, которая «своим примером только сбила меня опять на всякие глупости». Но, конечно, он никогда этого не допустит и не разрешит.

Он думал, что еще может не разрешать и не допускать того!

Целую неделю у нас шла борьба с ним, то открытая, то глухая, но когда в конце концов он понял, что уже ничто не остановит меня и что я скорее умру, чем останусь, то понемногу успокоился и точно примирился с этим.

Наше последнее объяснение было почти уже мирное; он спросил меня только, зачем же, если уж я это так бесповоротно решила, понадобилось мне ехать в такую глушь, в какую-то Вятскую губернию, где и климат, и условия жизни гораздо тяжелее, чем в большинстве других губерний, более южных и более населенных.

Но мне было не важно, где жить, важно было только, как жить.

Но я знала, что мне будет хорошо и там, куда точно сама судьба указывала мне теперь идти.

Долго думала и мучилась я над вопросом: имею ли я право взять от него деньги, хотя бы в размере тех 20—30 тысяч, что стоило намеченное мной имение, или нет?

Для самой себя мне теперь ничего не было нужно, и я могла бы уйти, как была, в одном платье и пристроиться на какое-нибудь место за самое скудное вознаграждение.

Но я должна была иметь лишнюю копейку для тех, к кому шла, а эти 30—40 тысяч, ничего не изменяющие для него, дадут мне возможность извлечь из них много пользы и добра для других, и, во всяком случае, больше, чем он это сделает здесь сам.

Но Саша не понимал и этого. Он требовал, чтоб я взяла больше, говорил, что ему будет стыдно, что жена его живет чуть не нищей в то время, как у него самого миллионы, и что его даже все другие осудят за это, но у меня явился какой-то почти суеверный страх и отвращение к большим деньгам; я хотела взять ровно столько, сколько это было необходимо, хотя обещала обращаться к нему, когда его помощь понадобится другим.

Те последние дни, что мы провели вместе, перед моим отъездом к Наде, радостно и горячо откликнувшейся мне на это, когда я написала ей, и с нетерпением уже ждавшей меня теперь там, стали, быть может, нашими лучшими днями за последние, да — кто знает? — может быть, даже и за все годы нашего брака с ним.

Жалел ли он, что я уезжаю, трудно ли было ему отпускать от себя навсегда человека, к которому приучили его долгие годы привычки и когда-то связывала первая, лучшая

любовь, или в душе его тоже что-то проснулось и просветлело, но он провожал меня так тепло и дружески, как я не смела и ожидать. Под конец он принял все мои условия и покорился им, уже не возражая на них.

Накануне мы долго ходили с ним по зале, и я с помолодевшей и радостной душой уже доверчиво рассказывала ему все свои новые планы. Он молча слушал и говорил: «Ну, что же, давай бог, может быть, ты и права...»

— Саша,— сказала я ему,— помни, что ты свободен и что по первому твоему слову я дам тебе...

— Спасибо,— сказал он просто,— спасибо, милая, сейчас мне не нужно, да и не думаю, чтоб и впереди когда-нибудь понадобилось. Ну, да о том что загадывать, потом виднее будет! Ну, а в гости наезжать позволишь?

— Конечно,— отвечала я от всей души,— приезжай, посмотри, как мы будем жить и... и...

Я не договорила своей мысли, но он точно сам думал то же самое и договорил ее за меня:

— Может быть, и правда чему-то новому и хорошему научите... Что же, я не прочь... Так, как ты, совсем, вполне, я не могу, а помогать вам, чем в состоянии,— это, может быть, и действительно следует...

Мы горячо обнялись с ним в последний раз... И вот я уезжаю!

Мечта моя наконец воплощается передо мною! О, господи, помоги мне на новом пути моем! Дай не утратить мне той любви к нему и той веры в него, что теперь наполняет все существо мое таким счастьем, такой бодростью! Дай умереть, служа ему так же горячо, как теперь я иду на него! Помоги же мне, господи, помоги!..



А. Р. КРАНДИЕВСКАЯ

ТОЛЬКО ЧАС





I

Молоденькая писательница Рябушкина из разряда «начинающих» приехала в рудничный поселок Хотеевку за «материалом». Остановилась она у местного доктора Зуева — жена которого Марфа Ивановна доводилась дальней родственницей Рябушкиным,— и едва только переступила порог докторского дома, как тотчас же засыпала вопросами: сколько рабочих? какова заработная плата? скольким часам равен рабочий день? часты ли несчастные случаи и от каких причин? как вознаграждаются рабочие за увечья? какова администрация — справедливая или несправедливая?.. и т. д. и т. д. до бесконечности...

Доктор, коротенький и пузатенький, плешивый и розовый, давал «показания» бойко и весело, с шуточками и прибауточками, уснащая трескучую речь свою беспрестанным обрывистым смешком, похожим на кашель. Выходило у него так: скажет фразу и сейчас же весь заколышется, побагровеет и — «ках-ках-ках!..».

— Часты ли несчастные случаи?.. ках-ках-ках!.. Да сколько угодно... ках-ках! Тот под вагончик угодил, того камнем прихватит, землей завалит, дурным газом отравит... да мало ли случаев у нас!.. Вот на прошлой неделе трое рабочих на твердую породу напали: рыли-рыли, ничего не

выходит, надо было порохом взорвать... так один-то, что фитиль поджигал, не успел вовремя отскочить, ему полживота так и выхватило... А третьего дня глыба угля рухнула и двоих забойщиков насмерть расплющило... только мокренько стало... ках-ках-ках!..

Рябушкину хоть и раздражал нелепый хохот доктора, но все же слушала она внимательно, с тою трепетною и напряженною жадностью, на какую способны только «начинающие». Вопросы свои она задавала по заранее составленной «программке», заключавшей в себе тридцать два вопросных пункта. «Показания» доктора тоже разносила по пунктам, быстро испещряя поля программки какими-то одной только ей понятными иероглифами. Дойдя до пятнадцатого, она энергически раза два подчеркнула цифру 15, строго сдвинула брови и спросила тоном особенно деловитым и озабоченным.

— Ну-с, а какие же у вас просветительные и увеселительные учреждения для народа?

На что веселый доктор в знак величайшего изумления расхохотался чуть не до истерики.

— И выдумала же, прости господи!..— укоризненно протянул наконец он, с трудом превозмогая неистовый хохот свой.— «Учрежде-е-ния»!.. Помереть можно со смеху, побей меня бог!..

— Позвольте,— нетерпеливо и резко остановила его Рябушкина.— Неужели же ничего нет: ни воскресных классов, ни клуба, ни театра, ни библиотеки, ни чайной,— неужели же ничего этого нет?

— Ничевошеньки... Ни боже мой!..— дурашливо воскликнул доктор, глядя на Рябушкину восхищенно и благожелательно до последней степени.

— Да и на что нам эти ваши «учреждения», голуба вы моя? Ну хотя бы взять эти ваши почтенные чайные... на кой они нам? Водка не в пример превосходнее чая, клянусь честью!.. Положим, кабаки у нас воспрещены, но обыватели торгуют тайно, и живительной влаги можно достать сколько душе угодно. И пьют же, я вам доложу... и-и-и!.. Матыньки мои!.. Идеально, неподражаемо пьют!.. Иной «черный богатырь» в одно только воскресенье весь месячный заработок ухнет, да еще и одежу с себя пропьет... Потому не нужна она ему, одежа-то, под землею все равно нагишом ползает...

От этих «данных» у Рябушкиной на щеках бурые пятна выступали и глаза стали еще жаднее. «Какой материал! —

думала она, быстро бегая карандашом по полям программки.— Какой материал!.. Какие контрасты, выводы, сопоставления!.. Труд каторжный, ни с чем не сообразный по риску, и ужасный труд этот ничем не скрашивается...»

И, жадно вслушиваясь в дальнейшие «показания» доктора, Рябушкина в то же время уже сортировала эти показания в уме своем на «нужные» и «ненужные», причем нужные порывисто и поспешно заносила в виде иероглифов в программу, а на ненужные только презрительно морщилась.

На вопрос о «санитарных условиях труда, о новейших технических условиях» доктор, так же как и на вопрос о «просветительных учреждениях», ответил не сразу. Сперва поднял Рябушкину на смех, назвал ее «ходячей книжкой» и «грудным младенцем», а потом уже радостно сообщил о том, что шахты освещаются первобытными керосинками, отчего в галереях копоть стоит такая, что носы и уши у рабочих вечно забиты черными пробками величиною с орех. И машины разоренные, и вентиляция преподлейшая, и у вентиляционных дверей дежурят дети, между саночниками тоже попадаются дети, хотя детский труд строго воспрещен законом... Для крепей галерей употребляют гнилые подпорки, взятые из старых шахт, и ламповый дворик ради экономии перенесен с верху вовнутрь шахты, отчего загорелся как-то уголь и горел целые два месяца, и целые два месяца рабочие задыхались в адском пожарище, калечились, обжигались насмерть...

— Условия вам кажутся «ужасными»,— весело воскликнул доктор,— а нам самыми обыкновенными... Жизнь, голуба моя, не книжка, где все возвышенно и благородно. Жизнь — борьба-с, в некотором роде война, а война «не ужасная» никогда и не бывает,— поучительно пояснял доктор.

Рябушкина все черкала и черкала в тетрадке своей порывисто, поспешно и внутренно вся замирала от радостного сознания, что «любопытный материал» с каждой минутой разрастается, становится все любопытнее, все ценнее.

В конце концов Рябушкина узнала не только то, что требовалось узнать ей по пунктам, но еще и то, о чем в пунктах и не упоминалось. Любопытство ее было возбуждено до последней степени. Страшная жажда поскорее приступить к «наблюдениям» рождала тайное нетерпение, тревогу смутную и сладкую, похожую на ту, какую испытывают влюбленные. И потому весь остаток вечера Рябуш-

кина провела как в чаду, за ужином ничего не ела, на расспросы Марфы Ивановны о родных отвечала невпопад и ночь спала плохо: все думала о завтрашних наблюдениях, о том, как она спустится в подземное царство и увидит там собственными глазами все-все...

II

Было тепло, в воздухе светло, легко и отрадно по-весеннему, когда Рябушкина в сопровождении доктора подъезжала к шахте «Дианы». С высоты ярко-голубого неба, глубокого и безоблачного, глядело огромное, желтое и жаркое солнце. Под лучами его покрытая углем черная степь сверкала бесчисленными искрами, словно драгоценные камни, бриллианты и алмазы в невероятном количестве рассыпаны были по земле.

Чем-то странным, необычным и волнующим веяло от этой сверкающей черной степи с разбросанными по ней маленькими грязными домиками рабочих, с громадными, неуклюжими и мрачными надшахтными зданиями, с горами угля вокруг этих зданий, с сетью блестящих рельсов, по которым, как гигантские змеи, бегали взад и вперед вагоны, тоже черные, мрачные. Необычайными и волнующими казались высокие, узкие, черные и бурые трубы, рисовавшиеся на светлом фоне неба так ярко, отчетливо. Странными казались и люди, встречавшиеся на пути, с лицами черными, как у негров, и с такими же черными шеями и руками. Странным, удивительным было полное отсутствие растительности: ни кустика, ни деревца, ни травиночки... все голо кругом и черно-черно, угрюмо и мрачно. И только вдали, на самом горизонте, светлели серо-голубые курганы, но и эта светлая, зубчатая полоса степи, далекая и мечтательная, казалось, затем только и протянулась, чтобы еще сильнее подчеркнуть безнадежную тоску и уныние черной картины, волнующей и странной.

Рябушкина с жадным любопытством осматривалась по сторонам, стараясь схватить и запомнить все подробности этой картины. Но проникнуться всецело ее безнадежно унылым настроением не могла: мешала радость... тревожная и нетерпеливая, знойная и сладкая радость ожидания, что дальше будет еще «любопытнее, еще интереснее»... И даже трусливые мысли на тот счет, что «ведь несчастных случаев — масса, сколько угодно, как уверял вчера доктор... и, быть может, вот это желтое солнце и голубое

небо она, Рябушкина, видит в последний раз — почем знать? все может случиться...» — даже эти трусливые мысли не ослабляли ее радости. Как легкие черные птицы, мысли эти только пронеслись в мозгу ее и не оставались надолго, черные крылья этих птиц слегка задевали ее душу и не омрачали ни на иоту.

III

И только очутившись под сводами угрюмой и мрачной громады, именуемой шахтой «Дианы», среди шума, лязга, свиста и рева машин, гулкого грохота вагончиков, пронзительного треска электрических звонков, тревожных и озабоченных окриков грязных людей, суетившихся подле машин и вагонов,— тут только Рябушкина почувствовала резкий, неприятный холод в груди, как будто бы огромная, ледяная рука цепко схватила ее за сердце...

И когда подошел к ней инженер Зазулевич (который, по просьбе Петра Петровича, поджидал ее здесь уже с полчаса) и, галантно расшаркавшись, объявил, что он «весь к услугам», и при этом пригласительным жестом указал на черное отверстие шахты, страшною дырою зиявшее шагах в пятнадцати от них, то Рябушкина, взглянув на эту дыру, даже слегка вздрогнула: ледяная рука сжала сердце ей до боли, и резкий озноб пробежал по всему ее телу. Но это длилось какую-нибудь минуту или даже меньше, а потом Рябушкина опять вспомнила, что приехала она с целью наблюдений и что самое любопытное вот именно в этой черной дыре и заключается. Радостное ожидание снова согрело ее, и на месте страха заиграла буйная отвага.

— В таком случае идем! — вскрикнула она звонко, с удалью, и первая решительно двинулась по направлению к чудовищу.

Но доктор остановил ее.

— Те-те-те-те!.. Погодите-ка, голуба моя! — сказал он насмешливо, хватая Рябушкину сзади за кофточку.— Переодеться надо бы, в некотором роде маскарад... Ках-ках-ках!..

А инженер добавил:

— Вон туда пожалуйте, в коридорчик... Я вам уж и костюм приготовил...

И пошел вперед через все машинное отделение.

Рябушкина поспешно двинулась за ним.

В маленькой грязной комнатке на деревянном грязном

диванчике лежал «костюм»: ветхая ситцевая юбчонка, такая же кофточка, грубые опойковые башмаки и кумачовый дырявый платочек на голову. Все это Зазулевичем взято было для Рябушкиной у кухарки Авдотьи «напрокат».

— Ну вот вам и уборная... преображайтесь! — сказал инженер, щелкнул каблуками по-военному, поклонился и вышел, заботливо затворив за собою двери.

Минут через пять Рябушкина, уже «преображенная», снова появилась в коридоре, нелепая и забавная в своем новом наряде.

«Преображенным» оказался и инженер: в старой отрепанной курточке, в рыжих стоптанных сапожках, в холщовых шароварах и уродливом картузике.

Доктор увидал «ряженых» и затрясся от смеха. Смеялась и Рябушкина и, недоумевая, спрашивала:

— Да для чего все это?

— А вот увидите! — таинственно и многозначительно ответил наконец инженер и тотчас же озабоченно поднял с пола два плаща, которые только что принес откуда-то черный, как негр, рабочий. Один из этих плащей Зазулевич подал Рябушкиной, а другой набросил себе на плечи. Плащи, с капюшонами для головы, с тонкими бечевками около ворота вместо застежек, сделанные из грубой, как кожа, клеенки, насквозь пропитанные сыростью, были тяжелы, топорщились на все стороны и мерзко пахли гнилью.

— Не скажу, чтобы наряд был особенно приятный,— весело заметила Рябушкина, стараясь не прикасаться лицом к влажному, вонючему капюшону. И мокрые грязные бечевки у ворота она завязала с явным отвращением, гадливо сморщив нос и оттопырив на каждой руке по три пальца.

— Ну-с... идем! — скомандовал Зазулевич, передавая из рук рабочего в руки Рябушкиной зажженную лампочку.

И они двинулись обратно в машинное отделение. У самой шахты Рябушкина вдруг инстинктивно остановилась, как бы в нерешительности обернулась назад и посмотрела через открытое окно на далекое, синее небо особенно пристально и тревожно, словно прощалась и с небом, и со всем, что было на нем и под ним.

Потом Зазулевич взял ее за руку и осторожно повел на площадку подъемной машины.

— Точно жених невесту к алтарю ведет! — крикнул им доктор издали и, по обыкновению, захохотал, как дурак.

— Спускай! — тихо, но строго приказал кому-то инженер.

И тотчас же площадка подъемной машины дрогнула и провалилась в темную бездну...

В первое мгновение Рябушкина только и успела заметить, что они несутся в каком-то тесном колодце, сложенном из толстых гнилых бревен, по которым непрерывными потоками бежала вода. Затем свет исчез над ее головою, густая темнота ослепила ее, едкий, промозглый запах гниющего дерева и ржавого железа захватил ее дыхание до дурноты, а ощущение пустоты под ногами закружило голову...

IV

Очутившись на дне глубокой шахты, она в первую минуту от ужаса и недоумения с места сдвинуться не могла. Со всех сторон ее обнимала черная, непроглядная ночь, душная и теплая, смрадная и зловонная. Что-то где-то шумело, грохотало, гудело и скрипело, журчало и шлепало... Но что?.. Понять нельзя было, так как в глаза бросался только мрак один, всеобъемлющий мрак, беспредельный, бездонный и бескрайний... И было мокро кругом, лилась вода сверху на голову, брызгала с боков, хлябала внизу под ногами. Но откуда вода — опять же ничего нельзя было понять, ничего не было видно.

Как очумелая, Рябушкина шарила перед собою руками, с неестественною силою таращила глаза свои в темноту и одни только тусклые бледно-желтые огни лампочек и видела вокруг себя. Огни эти мерцали повсюду: вверху, внизу, с боков, сзади и спереди. Одни из них стояли неподвижно, другие перебегали с места на место, как живые, но темноты не рассеивали. Наоборот, огни, казалось, еще сильнее сгущали мрак, подчеркивали его и придавали ему что-то загадочное, мистически таинственное, непостижимое...

У Рябушкиной волосы на голове тихо шевелились и по всему телу ледяные иглы пробегали от одной мысли, что страшному мраку этому нет предела, нет конца и не будет, ибо мрак этот — вечный, безысходный мрак могилы, с ума сводящий мрак смерти. И ужас нечеловеческий, сверхъестественный, подобный тому, какой испытывают люди, заживо погребенные, леденил в жилах ее кровь, проникал все ее тело насквозь до самых костей, опьянял и угнетал. И да-

же тогда, когда глаза ее уже освоились с темнотою и она, кроме лампочек, увидела еще и черных людей, черных лошадей, части каких-то машин, колеса, рычаги, ремни, вагоны и тачки, нагруженные углем,— словом, увидала в могиле какую-то жизнь, какую-то странную работу, смутную и сложную,— даже и тогда она не в состоянии была побороть в себе этот сверхъестественный ужас свой и продолжала глядеть на все окружающее через призму этого ужаса. Все ей казалось здесь невероятным, непостижимым, недействительным, похожим на кошмар, на страшное видение, и все говорило о смерти. Перед нею двигались люди в странных одеяниях факельщиков, в широкополых шляпах и в коротких плащах и с ними вместе двигались желтые огни лампочек. Люди казались ей привидениями, загробными тенями, а огни — погребальными свечами. Стучали, гудели, шумели и скрипели машины, грохотали вагоны, топотали лошади, журчала вода, хлябала грязь под ногами — и это беспрерывное движение и многоголосый шум и гам казались ей воплощением ада на земле... «Да что же это такое, боже мой?.. Что это такое? — мысленно спрашивала она.— Что это за жизнь вне законов природы, без неба, без солнца, без воздуха и света?.. Что это за люди?.. Как они могут что-то такое делать в этих адских потемках, соображать, о чем-то заботиться, когда смерть сторожит их, подкарауливает, хищными глазами глядит со всех сторон... Вот нависли над головою черные своды потолка, мрачные, угрюмые, страшные: это — слой земли в полтораста саженей. Что стоит громаде этой опуститься на несколько аршин, и тогда все, что здесь есть, будет погребено заживо... Вот бежит лошадь: того и гляди, попадешь в темноте под ноги животного, под колеса вагона... С потолка льется дождь, по стенам журчат непрерывные потоки — это значит, что где-то поблизости в подземных слоях скопилась вода и она напирает на шахту со всех сторон и вот-вот прорвет стены и потолок, страшным ураганом ворвется в галереи и все здесь зальет, затопит, исковеркает...» В воображении Рябушкиной с быстротою молнии проносится ряд ужасающих картин наводнения, ряд смертельных катастроф, о которых она когда-либо слышала или читала. И от смертельного страха она вздрагивает всем телом.

А воздух?.. Какая отрава!.. От лампочек вьются черные струи густой копоти, и гниль — кругом, вверху, внизу, повсюду... Плесень, мокрота... Как можно дышать этой отра-

вой изо дня в день, из года в год, всю жизнь, всю жизнь!..

Инстинктивно Рябушкина закрывала рот, задерживала дыхание. Мерзкое зловоние, теплое и влажное, напоминало ей трупное гниение, и всю ее мутило, тошнота подступала к горлу.

И когда Зазулевич принялся объяснять ей что-то такое насчет машин и работ: как действовала водокачка и как вентилятор и кто из людей что делал, где были — штейгеры и где — машинисты, куда возили уголь и откуда, сколько пудов весит вагон и сколько таких вагонов доставят в сутки,— то вникнуть во все эти подробности Рябушкина не могла, да, к удивлению своему, и не хотела вникать. Ее вдруг словно подменили. Обычная живость ее пропала, а с нею вместе пропала и пламенная любознательность и страстное желание «все, все увидать собственными глазами». Она даже забыла, зачем, почему очутилась она в этом черном аду, в волнах мерзкого зловония? И зачем, для чего ей нужны эти люди, похожие на привидения...

По-прежнему все окружающее продолжало казаться ей не действительностью, не правдою, а страшным сном, тягостным кошмаром. И она реагировала на этот кошмар тупо и безвольно, впитывала в себя тягостные впечатления механически, как губка впитывает влагу.

Так же механически и безвольно, опьяненная мраком, пропитанная насквозь постылым, зловонным дыханием могилы, потащилась она за инженером в узкие и длинные галереи, в которых добывали уголь. Шлепая ногами по жидкой грязи, то и дело натыкаясь на какие-то острые камни, оступаясь в рытвинах, наполненных водою, она по-прежнему напряженно пялила глаза свои в темноту и думала только об одном: вот что-нибудь случится в этом страшном, запутанном лабиринте, по которому ведет ее инженер: рухнет земля, свалится камень, налетит лошадь, хлынет вода, сгустится «дурной газ», струившийся с угольных пластов с тихим, тоненьким свистом, и задушит, отравит или же загорится и взорвет... И, следовательно, она уже никогда больше не увидит светлого надземного мира, не увидит воздуха, радостного солнца, чудных звезд, мечтательного месяца... Мысли эти ее с ума сводили...

И опять представлялось невероятным, непостижимым все то, что она встречала в узких и низких ходах, по которым приходилось пробираться, согнувшись и сильно наклонив голову. Опять густую, с ума сводящую темноту испещряли тусклые, желтые огни, похожие на погребальные

свечи, могильную тишину оглашали странные, глухие и загадочные звуки... И опять ненужными, бессмысленными и постылыми казались объяснения инженера, который время от времени останавливался перед грудами развороченной земли, камней и угля и, указывая на уродливые выступы в стенах, трещины, рытвины и пещеры, похожие на зияющие раны, говорил:

— Вот здесь, видите ли, уголь лежит сплошным пластом и брать его легко, а вот твердые каменные породы, и тут уж приходится повозиться: где порохом взорвут, где динамитом...

И мерзко, отвратительно было смотреть на работу людей. Полуголые, в одних только высоко подсученных портках, люди походили на черных зверей. Мелькали гибкие спины... напрягавшиеся цепкие руки... худые, голенастые ноги... огромные, уродливые ступни... Пот, смешанный с черною угольною пылью, струился по возбужденным лицам, по черным согнутым спинам. Работа в духоте, в адском пекле, насыщенном отравою, «дурным газом», этим воздухом смерти,— была тяжкая каторжная работа, и окрики людей полны были тупого озлобления, тупой тревоги и заботы.

— Крепи, крепи, дьявол!.. Чего зеваешь?.. Того и гляди, как червя раздавит...

— А ты за собой смотри!.. У тебя вон у самого земля над башкой ползет...

— Э-э-х!.. Де-е-ержись! — доносится откуда-то, как стон, уныло и протяжно. И тотчас же глухие и частые удары, похожие на отдаленные раскаты грома, оглашают могильный мрак жуткою угрозою.

За низенькими, тяжелыми деревянными дверями, отделявшими один проход от другого, Рябушкина попадала из адского пекла в ледяной ураган и вся сотрясалась с головы до ног от пронзительного, резкого холода.

— Это вентилятор гонит чистый воздух,— всякий раз успокоительно объяснял инженер,— здесь обыкновенно рабочие простужаются, схватывают обязательные для каждого шахтера болезни.

И ловким, кавалерским жестом инженер подхватывал Рябушкину под руку и снова увлекал в духоту и пекло...

И чем дальше они бродили, тем все уже и ниже становились длинные ходы. Лошадей здесь уже не было и огней было меньше, а мрак непроницаемее, и тишина казалась полною, едва нарушаемою. Еле-еле слышны были голоса

углекопов и удары кирки. Люди работали, сидя и лежа на брюхе, на спине, на боках, в самых ужасных неестественных позах. Чем-то унизительным, оскорбляющим человеческое достоинство, веяло от этих скотских поз, от противоестественных поворотов головы, от ползанья в узких дырах на четвереньках и на брюхе, как ползают гады...

Наконец и без того узкие ходы превратились в какие-то кротовые норы, по которым нельзя было уже пролезть иначе, как только ползком.

— Куда мы идем? — вскрикнула наконец Рябушкина и припала всем своим изможденным горячим телом к мокрой земле, задыхаясь от пекла и обливаясь потом.

— А вот сейчас... тут поворот,— сказал инженер глухо и нетерпеливо, прерывающимся голосом. Он сам задыхался, сам был измучен усилиями, с какими приходилось пролазить эти кротовые норы.— Вот тут сейчас поворот, и тогда будет свободнее.

— О, боже мой... я больше не могу! — простонала Рябушкина, но, однако, подталкиваемая какою-то постороннею силою, подобною той, какая руководит сомнамбулом, снова поползла за инженером, купаясь в жидкой грязи по горло. И когда трудный поворот был пройден и можно было вздохнуть свободнее, то не было уже никаких сил двигаться дальше. Инженер усадил Рябушкину на каком-то гнилом обрубке и сам сел рядом с нею. Пот лил с его лица градом, и он тоже дышал тяжело и прерывисто.

— Тут, видите ли, очень узкие угольные жилы,— сказал он,— какой-нибудь аршин и даже меньше, следовательно, прорывать просторные ходы невыгодно и даже очень разорительно, вот и роют такие, чтобы можно было только хоть как-нибудь пролезть...

А Рябушкина опять его не слушала и сидела как отравленная. Ей казалось, что от адской жары, от вонючей духоты и от тошнотной, проникавшей всю ее насквозь влаги у нее сердце оторвется. Во рту у нее было сухо, горько, на висках и во лбу над глазами бились огненные жилы с такою силой, что казалось, вот-вот лопнут и лицо ее все обольется горячею кровью.

— Я больше не могу,— снова повторила она изнеможенно, перебивая Зазулевича на полуфразе.

Последний встрепенулся, вынул часы из кармана и поднес их к фонарю.

— Сейчас двенадцать, а мы с вами спустились в одиннадцать, следовательно, час... Что ж, можно и домой... Опи-

райтесь на меня... вот так!.. Отсюда мы пойдем уже более легким и ближайшим ходом.

И теперь Зазулевич уже бесцеремонно обхватил Рябушкину за талию и потащил с трудом, как тяжелую ношу.

А она, вся мокрая, горячая и задыхающаяся, уже ничего не соображала, ничего не видала и не слыхала и плыла, как во сне. И только за тяжелыми низенькими дверями, в волнах ледового урагана, она кое-как перевела дух, освободилась из объятий инженера и пошла самостоятельно, покачиваясь на ходу, как пьяная. На лбу у нее продолжали биться огненные жилы, стучало в темя, дрожали руки и ноги, и с тихим внутренним звоном кружилась голова...

V

Поднималась она вверх, на землю, точно так же, как и опускалась в шахту,— с затуманенным сознанием и с одним только ощущением ужасающей пустоты под ногами... В омертвевшем мозгу ее слабо мелькала одна только мысль: вот-вот что-нибудь случится в этом узком, мокром колодце, по которому бесшумно скользит платформа,— оборвется канат, и она с высоты полетит в темную бездну; лопнет деревянная обшивка колодца, и ее расплющат, сомнут гнилые бревна; свалится что-нибудь сверху, и ей размозжит голову... Наконец, повернется она как-нибудь неловко в подземной клетке, зацепится платьем за сруб или прикоснется к срубу локтем, спиною — и ей сорвет кожу, оторвет руку, пальцы... Инстинктивно она ежилась, горбилась, точно над нею удар заносили...

И вдруг забрезжил свет... Сперва слабый, серенький, как перед утром, потом все ярче, все белее. Наконец отчетливо и звонко хлынули откуда-то с высоты живые звуки живой жизни... О, да неужели же земля, небо, солнце, воздух?!

И с легким тоненьким вскриком, похожим на тот, каким вскрикивают дети, когда их ошеломят до испуга, до истерики неожиданною огромною радостью,— Рябушкина выскочила из подъемной клетки и огляделась кругом: да неужели же она на земле? И что такое теперь — утро ли, полдень или вечер? Ах, да не все ли равно!.. Только бы жить, жить, жить!.. Только бы небо, солнце, свет!..

И она сперва засмеялась, а потом заплакала... Чем-то чудесным, новым, словно неиспытанным показался ей белый день, лившийся со двора в широкие, раскрытые настежь

окна надшахтного здания... Чудесным, новым показался воздух, которым она надышаться не могла.

И весь тот день до самой ночи она носила в себе это до слез умилительное и благодарное сознание, что она — на земле и дышит воздухом земли, что над нею небо и солнце, что она жива и вокруг нее все живет... И весь тот день до самой ночи она всячески старалась забыть, не думать, не вспоминать о том, что было под землею, что было смертью и говорило только о смерти.

VI

И ложась в постель на ночь, она приняла все предосторожности, чтобы «не думать и не вспоминать». Она нарочно не потушила лампы, чтобы темнота ночи не напомнила бы ей темноты подземелья и всего, что там было. Закрывши глаза, она повторяла только одно слово: «Спать, спать, спать...» Этим ритмическим повторением она хотела загипнотизировать себя, внушить себе сон. Но гипноз не удавался. Черные видения тихо подступали к ней, окружали со всех сторон, дышали в лицо ей дыханием ужаса и смерти.

Опять видела она отравленные могилы, узкие и тесные, мокрые и смрадные... Видела черных людей, похожих на зверей... Видела и слышала их адскую работу под немолчною угрозою смерти... Видела самую смерть, разные кровавые катастрофы, о которых до сих пор знала только понаслышке из книг, из газет, теперь же видела перед собою, как живые: все эти обвалы, взрывы, пожары, затопления... раздробленные кости, проломленные черепа, обуглившиеся тела, оторванные руки и ноги... целые потоки крови человеческой, целое море слез...

Вопреки отчаянным усилиям с ее стороны «не думать, не вспоминать», воспоминания и думы все плыли и плыли перед нею, неумолимые и беспощадные в своей жестокой отчетливости и яркости. От взволнованной, лихорадочной работы мозга у нее опять мучительно болела голова, стучало в темя и в виски. И во рту было сухо, и опять вся она горела, как отравленная. Она и упивалась этими ужасными воспоминаниями своими, и в то же время боролась против них всеми силами, гнала их от себя с ненавистью.

— Ах, да не теперь! — беззвучно шептала она и то открывала глаза, то закрывала, сбрасывая с себя одеяло, вставала, садилась на постели, то снова падала в подушки и шептала: «Спать, спать, спать...»

Но, вместо того чтобы спать, она с мучительным сладострастием опять погружалась в то, от чего не знала, как избавиться.

«Ну хорошо...— думала она,— ну, пусть так... пусть все это непостижимо ужасно, нечеловечески жестоко, несправедливо, безумно... Да я-то тут при чем? Что я-то могу поделать?.. У меня вот голова болит смертельно, в темя и в виски молотки стучат, и мне даже думать нестерпимо мучительно... Ничего я не могу... да и никто, никто не может! Тут — заколдованный круг, из которого не выбраться, проклятая стена, о которую можно голову расколоть вдребезги и которая от этого не дрогнет ни на мгновение... И следовательно, чего же тут мучиться, о чем думать?.. Где тут выход? Э, да, впрочем, не в том дело... не в том дело... не в выходе... Какой тут, к черту, выход? И разве я выхода ищу?.. Просто думаю, потому что не могу не думать, не могу забыть».

И снова погружалась она в думы свои с наслаждением, с тоской и отчаянием.

Вспоминался ей рассказ доктора о взрыве рудничного газа на соседней шахте «Ольга». Погибло до ста человек. Наверх вытащили из развалин шахты не трупы людей, а груды горелого мяса и костей: не поймешь — где рука, где нога, где голова. Вместо фигур человеческих — какие-то бесформенные обуглившиеся головешки... Все отверстие шахты, весь сруб от верху и до низу саженей на сто был обрызган мозгами и кровью людей...

И ужасом диким, суеверным веяло на нее от этих кровавых видений... И казалось ей, что отныне она уже никогда-никогда больше не избавится от них... что они, эти видения, будут преследовать ее, отравлять ей жизнь до могилы...

— О, боже мой, боже мой, боже мой!.. Да что же это такое? Зачем, для чего? Кому это нужно? — отчаянно вопрошала она кого-то. И как бы в ответ на этот мучительный вопрос тотчас же припоминалось ей и другое, когда-то вычитанное ею из книг: «Если бы не было каменного угля, то что сталось бы с фабриками, заводами, железными дорогами, пароходами? Если бы не было каменного угля, остановился бы промышленный рост человечества, остановился бы прогресс, исчезла бы культура...»

И от этих книжных фраз, спокойных и бесстрастных, продиктованных здравым смыслом, логикою вещей, исторической необходимостью, у Рябушкиной все внутри закипало от злобы, протеста и негодования, неистового, бурного,

страстного... Хотелось этого «кого-то», спокойного и бесстрастного, вооруженного всеми доводами логики, стереть с лица земли... Хотелось крикнуть громко-громко на весь мир:

«Будь прокляты культура и прогресс!.. Будь прокляты историческая необходимость, логика вещей, грядущее счастье человечества, если для счастья этого нужны живые кладбища... Будь все проклято!.. Жизнь человеку дана однажды, и никто, никто не смеет зарыть эту живую жизнь в могилу преждевременно. А ее, эту живую жизнь,— зарывают... каждый день, каждый день миллионы людей погребают себя заживо, бродят в черных могилах, готовые ежеминутно принять мученическую смерть... Каждый день, каждый день из века в век, из поколения в поколение... Терпеливые, выносливые и безответные, как лошади, бесстрашные, как умалишенные, люди эти обречены на вечную пожизненную каторгу. Не совершив никакого преступления, они несут наказание величайших преступников, тяжких злодеев... Всю жизнь не ведать солнца, света и воздуха... уподобиться животному, пресмыкающемуся, ползать в мокроте и потемках, дышать отравою и каждую минуту ждать смерти... О, боже мой, боже мой, боже мой!..»

Она задыхалась, ломала руки... Яростное отчаяние разрывало ей сердце, тяжелая, как чугун, тоска давила грудь, в голову молотки стучали, и вся она горела, дрожала, как отравленная...

В первый раз за всю свою жизнь она почувствовала такую нестерпимо мучительную связь с людьми, которые не были ей ни родные, ни знакомые. Раньше она только воображала, что люди ей близки и дороги. Страданье людей она только теоретизировала, теперь же страдание это, страшное, неутолимое и безысходное страдание человеческое, вонзилось в сердце ей, как остро отточенный нож, и все внутренности ее обливались кровью.

Наконец, не в силах больше сдерживать жгучую боль души своей, она упала навзничь и застонала громко, во весь голос, душу надрывающим стоном, как будто ее убивали...

Тотчас же откуда-то прибежала Марфа Ивановна, заспанная, всклокоченная, в одном белье. За нею вскочил доктор.

— Истерика! — сказал доктор кому-то и выскочил обратно. Минуту погодя он вернулся уже в туфлях и халате.

— Ну-ну-ну...— урезонивал он Рябушкину строго, а у самого голос дрожал от испуга и руки дрожали.— Ну-ну!.. Выпейте-ка вот эту штуку... Все нервы, все нервы!..

— О, нет, нет! — вскрикнула Рябушкина звонко, с надсадою, превозмогая истерические стоны свои.— Это не от нервов... Нет, нет... А оттого, что нельзя жить! Поймите вы — нельзя жить, нельзя, нельзя! — выкрикнула она убежденно, страстно.— Поймите, нельзя жить!.. Никому нельзя жить... Ни мне, ни вам, никому в мире нельзя жить, раз есть то, что я видала сегодня... Ах, эти могилы!.. Этот смрадный, жгучий, черный ад!.. Понимаете? Я пробыла там только час... один только час, и вот — отравлена... А как же они-то все?.. Ведь они живут там и день и ночь, всю жизнь, всю жизнь... Ужас, ужас, ужас!..

Она с силою оттолкнула доктора, судорожно схватилась за голову и закачалась из стороны в сторону, как безумная.

— Боже мой, боже мой!.. Ходить над могилами с заживо погребенными и... и мечтать о счастье... и не понимать, и не чувствовать во всем этом безумной, невыразимо жестокой насмешки кого-то над ними, над всею жизнью нашей... Называть «трудом», «профессией» то, что служит воплощением ужаса, воплощением ада на земле... Нет, от всего этого с ума можно сойти!..

И в глазах ее, сухих и мутных, как тусклое выгоревшее стекло, блуждало мрачное безумие, лицо было бледное, и на лбу выступили капли пота.

— Именно с ума можно сойти,— говорила она все попрежнему звонко, с надсадою, злобно отталкивая доктора, который все топтался подле нее, то и дело подносил рюмку с лекарством и пытался насильно влить лекарство ей в рот.— Если сознаешь все вот так и почувствуешь, то уж после этого нельзя жить... Или... или... надо что-нибудь делать... Только что делать? Что? Что? Что? — вскрикнула она пронзительно, умоисступленно, вопрошающими глазами бегая по испуганным лицам доктора и докторши... этих двух стариков, в своих белых ночных сорочках с оголенными шеями похожих на детей.

— Что делать, чтобы счастье одних не окупалось таким нечеловечески ужасным страданием других?.. Что? Что?..

И, вспомнив, что никто и ничто не разрешит ей этого страшного, рокового вопроса, который тяготеет над людьми, как проклятие, никто не скажет — зачем, для чего нужны зло, мучения и смерть... вспомнив это, она зарыдала го-

рестно, сиротливо и отчаянно... И, вся сотрясаясь от рыданий, опять упала на постель и, ломая руки, плакала долго-долго, упоенно и страстно, до бесчувствия, до полного забытья и изнеможения...

VII

А на другой день она уже уезжала из Хотеевки, отказавшись от дальнейших «наблюдений». Без стыда она не могла вспомнить своей вчерашней радости по поводу «богатейшего материала», противно было глядеть и на программу, и на иероглифы, которые она всего только день тому назад заносила с таким наслаждением, с таким трепетным восторгом. Ибо то, что раньше жило в ее воображении как «материал», только теперь вдруг открылось в сердце ее свежею раною, одно прикосновение к которой рождало в ней тоску и отчаяние. Да и что могла сказать она этими своими иероглифами?.. Не только она, юная писательница из разряда начинающих, с очень маленьким и сомнительным дарованием, не знает таких слов, от которых земля, насыщенная страданиями человеческими, напоенная слезами и кровью, исторгла бы из груди своей вопль негодования... и содрогнулось бы, возмутилось все живое и изменилось, переродилось — не только она, маленькая, слабая женщина не знает таких слов, но и никто-никто не знает!..

И больная, расстроенная, нервно потрясенная, убегала она от незнакомой жизни, полной молчаливого, терпеливого, привычного горя... И в первый раз уносила в молодом, впечатлительном сердце своем острый и жгучий, как заноза, нестерпимо мучительный вопрос: так что же делать? что? что? что?



В. И. ДМИТРИЕВА

ПЧЕЛЫ ЖУЖЖАТ





I

В ветвях цветущей старой липы жужжали пчелы. Сладкий запах липового цвета опьянял; мерное гудение пчел убаюкивало, и почтенный отец Юлианий, казначей Устьинского монастыря, немножко задремал, сидя на скамеечке в тени цветущей липы. В саду было тихо и жарко; сквозь густую листву кротко сияли позлащенные главы монастыря. Безмятежный покой владычествовал повсюду... Жужжали пчелы... И отцу Юлианию снились тонкие, нежные сны, душистые, как липовый цвет, музыкальные, как пение пчел.

— Славные пчелки! Милые пчелки... Божьи работницы...— шептал о. Юлианий сквозь дремоту.— Трудитесь, трудитесь, милые... Не трудивыйся да не яст... И медок нынче добрый будет... Сильно липка-то зацвела... Вот ведь и старое дерево... а какое плодовитое... да будет благословенна смоковница плодоносящая... иже есть на потребу человецем...

Он всхрапнул, свесив голову на грудь... Причудливые узоры сновидений опутали его мозг. Он видел точно сквозь хрусталь, как толстые, черные корни старой липы жадно пили кровь земли, как поднимались вверх по стволу янтарные соки, претворялись в сладкий мед и наполняли чашечки цветов, отяжелевшие от избытка влаги. И большие, серь-

езные пчелы торопливо припадали к раскрытым устьицам цветов, вбирали в себя душистый сок и, усталые, опьяневшие, тяжело опускались вниз со своей сладкой добычей. Их было много, страшно много... сотни, тысячи, миллионы... и все они бесконечною вереницей с певучим жужжанием проносились мимо о. Юлиания. Он видел их большие, озабоченные глаза и коричневый бархат спинок, обсыпанный цветочной пылью; он слышал звон и шелест их сильных, сетчатых крыльев, и голова у него кружилась от этого беспрерывного движения и звона, от запаха меда, который они в себе несли.

— Милые... голубочки... труженицы вечные...— бормотал во сне о. Юлианий.— Трудиться, трудиться надо... Всяко убо древо, еже не творит плода добра, посекаемо бывает... и в огнь вметаемо... Побольше, побольше медку-то... Ах, хорош липовый медок!..

И сонный мозг плетет новые пестрые узоры. Липы уже нет,— липа куда-то исчезла, и о. Юлианий стоит посреди громадного хрустального дворца. Высоко-высоко над головою сверкает купол; прозрачные, узорчатые стены вздымаются к небесам. Но это не простые стены... это пчелиные соты, и каждая ячейка до краев налита густым, светлым медом. Мед льется через край, мед течет по полу, мед липнет к ногам и поднимается все выше, а вереницы пчел все тянутся и тянутся, и нет им конца. «Будет уже, будет!» — хочет сказать о. Юлианий, но дыхание спирается у него в груди, мед слепит глаза, жужжание заглушает его голос. В ужасе он хочет бежать... и вдруг стеклянный купол с грохотом обрушивается на него, черная бездна разверзается под ногами, и страшный, грозный голос вопиет: «Отец Юлианий! Отец Юлианий!..»

О. Юлианий открыл мутные глаза.

— Господи, господи, господи! — пробормотал он, поднимая затекшую руку для крестного знамения.— Согреших, согреших... Петровский пост ныне, а я рыбное вкушал... Господи, господи! Множество содеянных мною лютых помышляя, окаянный, трепещу страшного дня ссудного. А рыбка-то была жирная... Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей...

— Отец Юлианий! Отец Юлианий!..— продолжал между тем взывать голос, но уже не из бездны, а откуда-то совсем близко.

О. Юлианий с трудом поднял отяжелевшую голову. Перед ним стоял служка Митронюшка, длинный, нескладный

паренек, с желтыми пушистыми волосами и птичьим лицом, покрытым прыщами. Он имел крайне растерянный вид: скуфейка съехала у него на затылок, волосы стояли дыбом, глаза вылезли на лоб.

— Отец Юлианий! — повторил он таким голосом, каким обыкновенно кричал «караул».

— Ну что еще, ну что еще? — заворчал о. Юлианий, недовольный тем, что его видели свящим.— «Отец Юлианий»! — передразнил он Митронюшку.— Я и без тебя знаю, что я — отец Юлианий. Чего ты зявкаешь? В кои-то веки отец Юлианий подремать вздумал, и сейчас уже все над душой стоят. Ну, что «отец Юлианий»?

— Отец Юлианий...— снова проговорил Митронюшка и взмахнул своими длинными руками.— У нас несчастье случилось...

— Свят, свят, свят господь Саваоф!.. Что такое? Какое несчастье?

— Сарафановские мужики наши луга косят...

— Врешь?!

— Да ей-богушки... Всей деревней вышли, да так отмахивают, отмахивают так!..

— Батюшки мои! — возопил о. Юлианий, всплескивая руками.— Пречестный и животворящий крест господень... Да что же ты, дурак, пнем-то стоишь? Беги, кричи, собирай братию... а я к архимандриту.. Батюшки, матушки, до чего мы дожили!..

И, подняв свое грузное тело со скамейки, о. Юлианий с юношеской легкостью устремился из сада. Митронюшка, размахивая руками, как огромная черная птица несся за ним... И вскоре — тихая обитель зашумела, заволновалась и наполнилась тревожными, негодующими голосами. Старая липа осталась одна... Медовый запах густою струею лился с ее цветущей вершины. Пчелы жужжали...

II

Деревня Сарафановка находилась всего в полуверсте от Устьинского монастыря, и монастырский луг вплотную подходил к сарафановским гумнам, на которых давно уже никто не видел ни скирда хлеба, ни омета соломы, никаких запасов, указывающих на то, что здесь живут «хозяйственные мужички». Везде было пусто, голо и неприютно; все до последнего зерна, до последней былинки соломы съедалось задолго до нови, а остальное время Сарафановка

ела самое себя, то занимая кое-где под рабочие руки, то побираясь Христовым именем. Как убогая старушка, сидела она при дороге и скорбно глядела на прохожих и проезжих подслеповатыми окнами своих взлохмаченных, развалившихся изб, ничего не прося, ни на кого не жалуясь. И когда прохожий или проезжий прямо из земных тенистых рощ Устьинского монастыря, миновав цветущие широкие монастырские луга, попадал на серую, пустынную улицу Сарафановки, по которой с голодным хрюканьем бродили два или три свиных скелета,— на него нападала оторопь и он спешил поскорее пройти или проехать мимо этого страшного обиталища голода и нищеты. Но, отойдя, он долго еще оглядывался назад и, видя на безмятежной синеве горизонта темную кайму леса вперемежку с зеленым бархатом лугов, начинал думать, что все это ему приснилось... до того странно было появление голодного призрака среди зеленого приволья лесов и лугов!..

Сарафановцы и сами так думали. Каждую весну, когда луга покрывались травой и теплый ветер нагонял на Сарафановку пахучие волны, мужики выходили из своих прокопченных лачуг, задумчиво смотрели на пестрое море цветов и ноздри их жадно раздувались, вдыхая сладкий запах медуницы, кашки и полевой гречки. Что-то смутное бродило в их дремлющих душах, замигали живее огоньки в тусклых глазах, и корявые ладони сами собою начинали чесаться, как бы ощущая прикосновение косы. «Эх, размахнуться бы!» — гвоздила сарафановцев одна и та же неотвязная мысль. А зеленые волны с шелковым шелестом набегали на Сарафановку, низко кланялись под ветром желтые, синие и красные головки цветов и, как бы поддразнивая, шептали мужикам: «На, возьми!» И им казалось странным голодать и терзаться рядом с таким богатством.

Когда-то эти луга принадлежали сарафановцам, но много лет тому назад предки нынешних мужиков отдали их монастырю во «временное пользование», да так и не получили обратно. Как это случилось,— нынешние сарафановцы и сами хорошенько не знали, но твердая уверенность, что луга были их, жила в каждом из них и передавалась из поколения в поколение. Об этом им рассказывали старые старики, которые хорошо помнили прежнюю сарафановскую межу, отделявшую их землю от монастырской; об этом говорил один устьинский монашек, который собственными глазами читал в какой-то старинной книге, как еще 50 лет тому назад сарафановцы с кольями и топорами ходили на мона-

стырь отнимать свою землю и как их усмиряли вызванные из города солдаты. Теперь межа давно заровнялась и заросла травой, так что даже и старики не могли ее найти; ученый монашек помер; старинная книга хранилась неизвестно где, и, казалось бы, всякая надежда в душе сарафановцев должна была заглохнуть, как заглохла сарафановская межа. Но... проходили годы,— старые старились, молодые подрастали; монастырь все расширялся и богател; Сарафановка все съеживалась и беднела, а прежняя уверенность, что рано или поздно луга будут их, никогда не покидала сарафановцев, каждую весну они жадными глазами смотрели на волнующееся море трав и думали:

— Эх, размахнуться бы!..

Несколько лет тому назад вернулся из службы их односельчанин Исай Шкворнев. Ушел он серым, белогубым пареньком, а вернулся бравым унтер-офицером, с галунами на рукавах и с сознанием собственного достоинства во всем обличье. Сарафановцы сначала не узнали в нем прежнего «Исайку» и с некоторым недоверием косились на «солдата», даже собственная жена Шкворнева на первых порах побаивалась важного унтер-офицера и называла его не иначе как «Исай Кузьмич». Однако унтер-офицер повел себя так просто, что скоро все перестали на него коситься и единогласно решили, что «солдат-то, паря, ничего, совсем не гордый, и форсу никакого не оказывает...». А потом, спустя еще немного времени, Исай Кузьмич, как человек бывалый и грамотный, сделался совершенно необходимым для своих односельчан и приобрел репутацию самого почетного лица в Сарафановке.

Грязь, нищета и беспросветное невежество родной деревни сначала очень поразили Шкворнева, который за пять лет службы уже порядочно отвык от мужицкой жизни. Но вместо того чтобы бежать из Сарафановки куда глаза глядят, он остался и начал понемногу налаживать свое убогое хозяйство. Целые дни он с топором в руках ходил вокруг да около усадьбы, там приколачивал, здесь подпирал, чистил навоз, перегораживал плетни, но ничего из этого не выходило, и все, сделанное сегодня, завтра снова разрушалось. Нужно было все строить заново, а для этого требовался лес; своего же леса у сарафановцев не имелось, и покупать было не на что. То же самое вышло и с земледелием: нужно сеять — семян нет; семена есть — сеять негде. Одним словом, куда ни кинь, все клин... Исай Кузьмич махнул рукой и задумался. Сидеть в грязи, как сидели сарафа-

новцы, ему не хотелось; выкарабкаться из грязи было некуда. Оставался опять-таки один выход — уйти из Сарафановки, но Исай Кузьмич об этом и не думал. Он любил свою грязную, бедную, темную Сарафановку крепкой сыновней любовью, и уйти из нее казалось ему таким же грешным делом, как уйти от родной умирающей матери. Уж коли беда — так заодно; уж коли помирать — так вместе. И Исай Кузьмич остался, заодно со всеми голодал и холодал, заодно со всеми тянулся из последних сил и так же, как и все, каждую весну выходил за гумно и задумчиво смотрел на жирные монастырские луга, по которым гулял теплый веселый ветер. Но в то время, как другие только и думали о том, что «хорошо бы размахнуться»,— у Исая Кузьмича бродили в голове другие думы, и заросшая дедовская межа мерещилась ему и наяву, и во сне.

Однажды зимой, никому не сказавшись, ушел он в город, пробыл там целую неделю и вернулся спокойный и довольный. Тем же вечером он собрал у себя самых почтенных, деловитых мужиков и объявил им, что был в городе у адвоката, рассказал про луга и просил — нельзя ли это дело разобрать по закону и луга сарафановцам вернуть. Адвокат сначала было отказался, но потом навел в разных присутственных местах справки и, когда узнал, что сарафановцы давно уже тягаются с монахами из-за лугов, обещал похлопотать. Главная вещь — разыскать какие-то нужные бумаги; если они найдутся — дело на мази: адвокат доведет дело до суда, а ведь сарафановцам только это и нужно. Суды нынче не прежние; суды — скорые стали и милостивые — разберут дело по закону и присудят луга мужикам...

— Вот оно как, старички! — закончил Исай Кузьмич.— Уж простите, что я с вами раньше не посоветовался: не хотелось мне вас зря обнадеживать. Так и думал себе: коли выгорит — скажу, не выгорит — промолчу. Ну, а теперь оно так выходит, что без вашего согласия нельзя: нужно сообща обдумать — начинать дело или нет? Согласны, старички?

— Господи, да как же не согласны! — в один голос закричали «старички».— Ведь у нас у всех испокон веку только и думки об лугах! Дедам-то нашим, может, они и не нужны были, а нам без них — одна смерть! Что ж мы — полоумные, что ли, чтобы от своего добра отказываться? Дай бог тебе здоровья, Исай Кузьмич, золотая твоя головушка... Ты только вызволи нам от монахов нашу кровную

землицу, а уж про согласье и не спрашивай: все согласны до единого, и образов нечего сымать...

— Ну, а коли так, то и с богом! — сказал Шкворнев.— Давайте судить да рядить, как нам половчее это дело оборудовать.

И дело пошло в ход. Адвокат попался молодой, ретивый, сам ходил по присутственным местам, сам разыскивал нужные бумаги, приезжал несколько раз в Сарафановку и вместе со стариками обошел весь монастырский луг, отыскивая старую межу. Межи хотя и не нашли, но зато отрыли в волостном правлении целый ворох разных бумаг, по которым выходило, что луга, действительно, были сарафановские, что не раз мужики из-за них судились с монастырем, но суд почему-то никак не мог решить этого дела и запутал его до того, что и концы все потерялись. Отыскалась и старинная книга, про которую когда-то говорил ученый монашек,— одного только не нашли — плана на землю, и хотя старики клятвенно уверяли, что план есть, но где он находится — указать не могли.

— Ну, плохо ваше дело, старики! — сказал адвокат.— По всему видно, что луга ваши, а все-таки без плана ничего не поделаешь. На суде первым делом документ требуют, без документа никак нельзя. Суд — дело строгое!

— А на что суду документ, когда и так видно, что луга наши? — спросили старики.

Адвокат развел руками.

— Такой закон, старички! Закон — великое дело! — сказал он.

Тут выступил один из «старичков», Лука Заяц,— кургузый, рыжеватенький мужичок с красными, разъеденными трахомой глазами и длинным, торчащим изо рта зубом, который придавал его лицу смешливое выражение.

— Великое дело — закон! — закричал он, размахивая руками.— Какое это великое дело — закон, коли бедный у богатого на задворках стоит, а богатый у бедного в красном углу сидит? Разъясни ты нам, дуракам, этот самый закон, господин ученый?

— Ну, уж этого, старички, я не могу! — усмехнулся адвокат.— Разъяснять законы — это дело не мое — на это сенат поставлен; мое дело — законы применять.

Лука Заяц хотел было что-то возразить и уже взмахнул опять руками, но благообразный старик, Иван Уклейкин, с длинною до самого пояса бородою и светлыми детскими глазами, его остановил:

— Погоди, Лука, не буровь! Дай господину адвокату свое слово высказать. Так как же, господин, стало быть, по нашему делу без документа никак нельзя?

— Нельзя, дедушка. Кабы можно было, разве я бы отказывался?

— Ну, а ежели мы присягу примем, что земля наша?

— И присяга не поможет. Вот и Исая Кузьмича спросите, он вам то же самое скажет.

Старики посмотрели на Шкворнева,— он стоял, опустив голову в землю, и по его угрюмому лицу они поняли, что и вправду их дело пропащее...

— Так-с! — сказал со вздохом Иван Уклейкин.— Вот тебе и суд, скорый да милостивый!.. Нет, видно. Может, он для кого и милостивый, да не для нашего брата мужика... Пойдем, старики, чего тут около пустого места проминаться-то...

Адвокат уехал, а с ним вместе ушли и надежды, оживившие ненадолго беспросветную жизнь сарафановцев. Опять стало тихо, пусто и мертво, и Сарафановка погрузилась в мрак и отчаяние. По вечерам в окнах изб не светилось ни одного огонька: керосину не было, и сидеть было нечего, поэтому все засветло заваливались спать и спали долго, спали беспробудно, как звери спят в своих берлогах. Жуткое молчание водворялось тогда в деревне; только изредка ветер с тоскливым воем проносился над нею да в соседнем овраге грызлись остервенелые собаки, обгладывая труп павшей от голода лошаденки.

Но весной, когда снежные сугробы впитались в землю и теплый ветер принес в Сарафановку запах свежей травы, старики послезали с печей и без всякого уговору пошли к Исаю Кузьмичу. Шкворнев был дома и, сидя перед окошком на обрубке, пытался из своих старых сапог соорудить новые сапоги старшему сынишке, Ваське. Васька стоял тут же и с любопытством смотрел на отцову работу.

Старики помолились на образ и поздоровались с хозяином за руку.

— Здравствуешь, Исай Кузьмич! Бог на помощь!

— Спасибо! — отозвался Шкворнев и снова уткнулся в сапоги. За зиму он сильно похудел, обро́сился, запустил щетинистую бороду, и в нем теперь с трудом можно было узнать прежнего щеголеватого унтер-офицера с галунами на рукавах.

Старики сели и молча переглянулись между собою.

— Ну что, Исай Кузьмич! — заговорил наконец Иван Уклейкин.— Как дела-то?

— Да что ж дела? Дела, как сажа бела.

— Так... А мы, знаешь, все про луга думаем!

— Да и я то же думаю.

Старики опять переглянулись и осмелели.

— Во! — воскликнул Иван Уклейкин, и его детские глаза радостно заблестели.— Как же ты думаешь, Исай Кузьмич, луга-то все-таки наши, а?

— Известно, наши.

— Ну, а коли наши, так и того... нельзя ли как без документу?

— Как без документу?

— А так... взять да и косить...

Исай Кузьмич поднял голову и посмотрел на стариков. Их лица были ясны и спокойны, а зуб Луки Зайца торчал как-то особенно уверенно и твердо.

— Ну, а закон-то как же? — спросил он.— Не взирая, стало быть, на закон?

Лука Заяц стремительно схватился с лавки и возопил:

— Великое дело — закон! Какой-такой великое дело — закон, коли нам всем один конец — подыхать? Что с законом, что без закону,— все равно, братцы, смерть одна! Будя! Не хотим боле терпеть! Косить да возить — вот тебе и закон! На! Возьми! Откуси с пальцем!.. Они над нами повластвовали, теперь мы повластвуем!.. Всем миром пойдем! Ляжем наземь и помрем! На, режь, бей, топи,— смерть одна! Великое дело — закон!..

Он кричал и метался в исступлении и, со своими кровавыми вывороченными веками, с длинным, торчащим зубом, был похож на страшный призрак голода и нищеты, восставший со дна смрадной ямы, чтобы крикнуть на весь мир о своем страдании.

Старики смотрели на него и одобрительно покачивали головами. Когда он кончил, Исай Кузьмич поднялся с обрубка.

— Что ж, старики! — сказал он.— Я согласен. Мир решил, и я с ним. Коли беда — так заодно; коли помирать, так вместе. С господом!

— С господом! — повторили старики и перекрестились на образ. Васька смотрел-смотрел и тоже стал отмахивать большущие кресты с серьезным видом взрослого мужика, который хорошо знает свое дело.

III

В то утро, когда о. Юлианий дремал в саду под мирное жужжание пчел, вся Сарафановка до свету поднялась на ноги. В бледных сумерках рассвета слышались мужские голоса, скрип ворот, тяжелые шаги, лязганье отбиваемых кос. Бабы наскоро таганили на загнетках жиденькое хлебово на завтрак. Исай Кузьмич встал раньше всех и, достав из сундука бережно завернутую в тряпки косу, пошел налаживать ее под сарай, где единственная корова с тяжелым пыхтением выскребала из кормушки остатки полусгнившей соломы. Слышно было шуршание ее жесткого языка по пустым стенкам кормушки, прерываемое иногда тоскливыми вздохами. Исай Кузьмич посмотрел на ее вздутый, облезлый живот, на заостренные позвонки, торчавшие, как гребень, вдоль спины, и сам вздохнул.

— Что, брат, подвело кишки-то! — сказал он и ласково потрепал корову по костлявому крестцу.— Ничего, потерпи малость, нынче свежего сенца пожуешь!

Корова поглядела на него тусклыми, гноящимися глазами и вздохнула еще тоскливее. «Эх, хозяин! — говорил ее печальный взгляд.— Какое уж тут сенцо... хоть бы соломки-то!»

Рассвело, и небо стало наливаться теплым румянцем. Кое-где хрипло перекликались уцелевшие от зимней голодовки петухи; с поля наплывали и дробились плачущие перезвоны монастырских колоколов. Колокола были старинные, чуть не с самого основания монастыря, и в надтреснутых голосах их звучала старческая жалоба и грусть. Давно уже собирались их переменить да, кстати, и новую колокольню выстроить, но архимандрит был человек прижимистый, скупой, и все монастырские доходы тащил в государственный банк, покупая на них разные процентные бумаги. И чем больше накоплялось процентов на монастырский капитал, тем все больше ветшала и разрушалась старенькая колокольня, тем печальнее звучали древние колокола.

После завтрака сарафановцы стали собираться на косовицу. Один по одному они выходили на улицу и хвалились друг перед другом своими косами. Общий смех вызвала коса Луки Зайца: она была вся в зазубринах, точно пила, и при каждом взмахе хлябала и дребезжала, как зарезанная.

— Ну, уж коса! — говорили мужики.— У ней зубьев

больше, чем у Луки во рту! Эта коса — не траву косить, а кисель резать.

Но Лука Заяц нисколько не смущался и, с отеческой нежностью поглаживая свою косу, отвечал:

– Кисель!.. Вот поглядишь, какой кисель будет: подставь голову, и ту смахну – за милую душу! А что она, матушка, старая у меня, так это еще милей: старая, да бывалая, на Дон со мной хаживала, ковыль белый кашивала... Так-то!

С Устья снова наплыли жалобные стоны колоколов,— Исай Кузьмич снял шапку

— Ну... господи благослови! — серьезно сказал он и перекрестился.

Шутки и смех разом смолкли; все сняли шапки и тоже перекрестились. Потом взмахнули косы на плечи и гурьбой двинулись за околицу. Бабы и ребятишки с лукошками в руках побежали за ними.

Луга еще дремали, примятые за ночь росою, и восходящее солнце то там, то здесь зажигало в траве голубые и красные искры. Мужики остановились, и почти молитвенный восторг вспыхнул в их сердцах при виде этой зеленой равнины, сверкающей праздничными огнями. Стало тихо, как в церкви; у многих на глазах выступили слезы.

— Трава-то, трава-то.. чистый мед!..— прошептал наконец Лука Заяц и всхлипнул.

— Сам бы ел, да зуб не берет! — подхватил молодой парень Трушка, радостно оскалив зубы.

Этот легкомысленный возглас вывел мужиков из благоговейного созерцания,— все зашевелились и загалдели.

— Ну, ребята, кому зачинать? Исай Кузьмич, становись ты! Наперед, наперед заходи, а мы за тобой...

— Зачем я? — возразил Исай Кузьмич.— У меня в солдатах рука ослабла. Ивану Семенычу Уклейкину зачинать, вот кому!

— Быть! Иван Семеныч, становись! Зачинай, Иван Семеныч!

Иван Уклейкин выступил наперед.

— Ох, ребята, кабы мне не осрамиться! — с скромною улыбкой сказал он и, поплевав на руки, взялся за косу.— Да-авно я такой травы не кашивал!.. Кабы не осрамиться...

— Валяй, Иван Семеныч! Зачинай с господом!

— Ну-кась, попробую! — вымолвил старик и взмахнул косою. Дождем брызнули из-под нее разноцветные искры, и трава пышною зеленою пеной сникла наземь.— Ну-

кась, попробую,— повторил Иван Уклейкин и пошел, и пошел, отмахивая саженями, устилая свой путь ровными грядами травы и широко, сильно, красиво забирая косою. Мужики засмотрелись.

— Ловко! — воскликнул восхищенный Трушка.— Чисто косит Иван Семеныч, прямо под первый номер!..

Вторым стал Исай Кузьмич, за ним длинною вереницей пошли и остальные, и луг наполнился мерным жужжанием кос и трепетным шорохом падающей травы. Лука Заяц из скромности шел последним, но старался вовсю, не отставая от передовых, и его старуха коса гремела и звякала так усердно, что ее далеко было слышно. А бабы и ребята с кошелками тут же по следам косцов собирали траву и еще мокрую таскали на деревню своим оголодавшим буренкам и гнедкам.

Косили до полден. Солнце припекало не на живот, а на смерть и давно уже выпило всю росу; по обсохшей траве коса пошла тяжелее, но никому не хотелось остановиться. Один Лука Заяц начал что-то отставать, и коса его гремела уже не так ретиво, как прежде. По временам он вынимал из гамана брусок, деловито ляскал им по косе, потом озабоченно глядел на небо и снова шел по ряду, вздыхая и что-то бормоча себе под нос.

— Что, дядя Лука, ай уморился? — кричал ему смешливый Трушка.

— Уморился!..— ворчливо передразнивал его Лука.— Ты бы вот не уморился с этой, прости господи, клячугой... У, черт, зубатая!..— обращался он к косе.— Вихляется во все стороны, словно хвост коровий... все руки отмотала...

— Аль плоха стала? — не унимался Трушка.— Что так? А хвастался: моя коса — всему миру краса...

— Молчи, долдона! — огрызался Лука и, поляскав бруском, пускался опять по ряду с сердитым лицом, блестевшим от пота.

Наконец он совсем ослабел и, присев на кочку, объявил, что трава травой, а все-таки нужно бы и пожевать чего-нибудь. К нему присоединился Трушка и, вынув из-за пазухи оковалок размокшего от пота, черного и липкого, как смола, хлеба, впился в него своими огромными, белыми зубами. Остальные косцы не приостановились даже: они дорвались до работы; они так измучились от тесноты и безделья, что готовы были косить без передыху день и ночь. Иван Семеныч Уклейкин был в упоении: лицо его помолодело, глаза сияли, коса играла в его руках; он не

чувствовал никакой усталости и казался так же свеж и бодр, как вначале.

— Озарился старик-то! — сказал Трушка, глядя на Ивана Семеныча.— Здорово косит! Теперича его не остановишь: что твой добрый конь.

— Ну, и Исай ему не удаст! — возразил Лука.— Даром что солдат, а в крестьянском деле никому не уступит.

Они посмотрели на Исая Кузьмича. Высокий, сильный, с расстегнутым воротом рубахи, он шел по пятам за Уклейкиным, и лицо его было так строго и серьезно, как будто он не косил, а служил обедню.

— Ну, пойтить! — сказал Трушка. — Ленив я работать, а чтой-то, глядя на них, опять разохотился.

Он взял косу и, оставив Луку лежать на земле, пошел к косцам.

Полуденное солнце жарко пылало над лугом; скошенная трава привяла и струила густой, сладкий запах; мерно жужжали косы. А там, далеко, по дороге, мутилось и прядало серое облако пыли.

Первые заметили это облако бабы, которые ворошили сено. То та, то другая приставляла ладонь к глазам и всматривалась в белесую даль, где прыгал и крутился серый, пыльный клубок. Потом одна из них сказала:

— Кто-то едет!

— А мало их тут притка носит! — добавила другая, тощая, как скелет, баба, за свой длинный крючковатый нос прозванная Чекой.— Большак, вот и ездят!

И бабы снова принялись «грабить» пышные, темные вороха подсохшей травы.

IV

Между тем облако все ширилось, наплывало ближе и ближе, принимало определенные очертания. Уже видны были быстро мелькавшие ноги лошадей, дуга и поднятый верх тарантаса; дальше маячило еще что-то длинное, черное — за пылью и не разберешь что. Бабы забеспокоились и опустили грабли.

— Чтой-то много едет! — воскликнула рябая, востроглазая девка Феклуха.— Никак верхом!.. Ишь ты, полосуют — чисто свадьба.

— Какие это едут? — проговорила робкая и смирная Федосья, жена Исая Кузьмича.— Надо бы мужикам, что

ли, скричать. Исай Кузьмич! Исай Кузьмич! — закричала она мужу.

— Ча-о! — отозвался издали Исай Кузьмич.

— Глянь-кась, какие-то е-едут!

— Пуща-ай!..— отвечал Шкворнев и продолжал косить.

Но робкое Федосьино сердце не успокоилось. Она обернулась к сынишке, который рядом с нею тоже ворочал сено.

— Васятка, ну-ка, бежи на дорогу, глянь, кто едет. Чегой-то боюсь я...

Васятка вместе с другими ребятишками пустился на канаву, которая отделяла дорогу от луга. Когда ребята прибежали к канаве, тарантас поравнялся с ними и из-под пыльного верха выглянуло красное от жары лицо с черными усами. В некотором отдалении от тарантаса громыхала тележка, на которой сидел и сам правил толстый монах, а сзади, верхом на долговязой серой лошади, рысил, тоже красный и потный, урядник. Мальчишки остановились и с любопытством смотрели на проезжих.

— Стой, стой! — закричал усатый барин на кучера.

Тот придержал лошадей, которые сейчас же начали недовольно фыркать и мотать головами, отгоняя крутившихся над ними слепней.

— Эй вы! — обратился усатый барин к ребятам.— Тут прямо можно на луг проехать?

— Не...— отвечал Васятка.— Тут перекопано. А вам зачем?

— Ишь ты, еще спрашивает, сучонок! — выругался кучер и повернулся к барину: — В обход надо, ваше благородие, вон по тропинке-то!

Барин что-то сердито пробурчал и стал вылезать из тарантаса, брякая шашкой, которая путалась у него между ногами. В это время подъехали и монах, и урядник.

— Ну, отец Юлианий, вылазьте, пойдем! — крикнул ему барин.

О. Юлианий растерянно замигал глазами.

— А они нас... не того?..— спросил он, не торопясь вылезать из тележки.

— Ну, вот еще! Вылазьте, вылазьте! А ты, Диденко,— обратился барин к уряднику,— ты верхом поезжай. Верхом тут можно.

— Слушаю, ваше благородие!

О. Юлианий, вздыхая, слез на землю и нерешительно побрел к канаве, где уже стоял усатый барин.

— Ох, я ведь, пожалуй, здесь и не перепрыгну! — ска-

зал он.— За грехи мои наказал меня господь телесами тучными, и тяжко мне, господи, бремя сие неудобоносимое...

— Ничего, ничего, валяйте!

О. Юлианий занес ногу и приготовился прыгать, но промахнулся и с шумом обрушился в канаву. Ребятишки бросились бежать.

— Батя, батя! — запыхавшись, говорил Васька отцу.— Там приехали... начальник какой-то... усищи — во!.. А с ним монах, да то-олстой! Зачал через канаву сигать и загруз... Они сюда идут!

Косцы на минуту приостановились и поглядели в ту сторону, где в солнечном блеске медленно двигались темные фигуры.

— Становой! — сказал Исай Кузьмич.— Со всем парадом... с урядником...

— И преподобный Ульяний растрёсся! — воскликнул Трушка, смеясь.— Ишь, его подняло!.. Бывалыча, хмысу* придешь попросить на топку,— с места не скачнется, а нынче, гляди, чисто перо летит... укололо!..

— Наплевать! — вымолвил Шкворнев.— Полпутя прошли — назад не ворочаться... Коси, старики,— наше дело правое!..

Косы опять заблестели.

Да по речке, по быстрой
Становой едя пристав!..—

замурлыкал было Трушка. Но на него сурово оглянулись, и он замолчал.

Становой с о. Юлианием подошли к мужикам; за ними подъехал урядник и, спрыгнув с лошади, остановился поодаль, не сводя глаз с начальства. Лицо станового выражало непреклонную решимость; о. Юлианий беспомощно пыхтел и обливался потом. Мужики, как бы совершенно не замечая их, продолжали косить. Становой хотел было сразу начать ругаться, но странное молчание косцов смутило его, и он с недоумением посмотрел на о. Юлиания. Тот отвечал вздохом.

— Эй вы, послушайте,— заговорил наконец становой, сдерживая закипавшую в нем досаду.— Что же это вы делаете, ребята? А?

Никто даже не оглянулся,— мужики молчали, и только слышно было мызганье кос по траве и тяжкое сопение о. Юлиания.

---

* Хмысь — сучья со срубленных деревьев.— *Прим. авт.*

— Вы видите, отец Юлианий? — обратился к нему становой.— Вы видите, что делается? Вы понимаете? Я не понимаю!.. Они даже *мне* не отвечают! Попробуйте вы.

— Братие!..— дрожащим голосом начал о. Юлианий.— Почто замыслили злая? Лужок-то ведь наш, монастырский, а вы косите... яко тати полунощные... да, именно как тати, пришли вы во двор овчий и... того... этого... нехорошо, братие... видит бог, нехорошо!

Мужики сосредоточенно работали косами и, не торопясь, подвигались вперед. О. Юлианий, путаясь своими короткими ножками в подоле длинной хламиды, старался идти с ними в ряд, а становой мрачно шагал сзади.

«Тати... тати!— думал он, крутя усы с такою яростью, как будто хотел выдернуть их с корнем.— Какие там тати?.. Черта лысого они понимают... По матушке бы их хорошенько пустить — вот это дело...»

— Кого обижаете, братие? — продолжал взывать о. Юлианий.— Господа бога обижаете... Он, батюшка, все видит... и воздаст! Воздаст коемуждо по делам его...

Он споткнулся о кочку и чуть было не упал, но становой успел подхватить его под локоть и в ту же минуту заметил, что один из косцов — это был Трушка — улыбнулся во всю свою широкую пасть. От такой дерзости у станового захватило дух, и вне себя он ринулся на Трушку с кулаками.

— Ах ты, м-мерзавец! — загремел он.— Смеяться?.. Я тебе пок-кажу смеяться, р-рожа эдакая!..

— Посторонись, ваше благородие! — спокойно сказал Трушка и занес косу.

Становой едва успел отскочить, и коса со свистом повалила к его ногам сочную грядку срезанной травы.

— Посторонись, ваше благородие! — повторил следующий мужик, и новая грядка упала к ногам станового.

Он заметался во все стороны.

— Что?.. Вот как?.. Бунт? Неповиновение?.. Ах вы, такие-сякие... Скоты! Мерзавцы... Эй, ты!.. Старик! Остановись... Брось косу! Тебе говорят аль нет?

— Посторонись, ваше благородие! — ласково вымолвил Иван Уклейкин и продолжал косить.

Становой оторопел и, вытаращив глаза, смотрел на мужиков. Он их не узнавал... Он не узнавал этих смирных, забитых сарафановцев, которые, бывало, за версту ломали перед ним шапки и торопливо сворачивали в сторону, завидев начальство. Теперь во всех их движениях, в серьезных и спокойных лицах, в размеренных и точных взмахах

косы и особенно в их молчании было что-то страшное, чуялась какая-то грозная сила, которая пришла неведомо откуда и властным голосом говорила ему: «Ваше благородие, посторонись!..»

Становой, сняв шапку, вытер платком выступивший на лбу пот. Между тем на шум сбежались бабы и с граблями на плечах выстроились вокруг станового. Впереди всех стояла тощая, крючконосая Чека, и глаза ее светились желтым, угрожающим блеском, как у голодной собаки, у которой хотят отнять кость. И вся она,— сухая, шершавая, с коричневыми пятнами на иссохших щеках, с торчащими сквозь рубаху мослаками,— была похожа на злую собаку, готовую перегрызть глотку всякому, кто осмелится протянуть к ней руку.

О. Юлианий дернул станового за рукав.

— Пойдемте!..— проговорил он трепещущим голосом.— Уйди от греха, сотворишь благо... Нехорошо здесь, ей-богу, нехорошо!

— Постойте...— нетерпеливо отмахнулся от него становой и еще раз приблизился к мужикам.— Послушайте, вы!..— начал он и сам удивился тому, как это вышло у него неуверенно и робко. Он откашлялся и продолжал потверже и погромче: — Слушайте, ребята,— не дело вы затеяли. Ведь это что такое? Денной разбой!.. Самоуправство... форменный грабеж! Последнее мое вам слово: бросьте косы, разойдитесь с миром, и ничего не будет... Иначе дело ваше плохо: все пойдете под суд... на каторгу... под расстрел! Слыхали? Вы сами знаете: нехорошо посягать на чужое добро! Доведись до вас: что бы вы сказали, если бы, к примеру, я забрался к вам во дворы да и потащил, что мне понравится!..

— Эка! — крикнула вдруг Чека и рассмеялась хриплым, каркающим смехом.— Да ступай, тащи... все равно ничего нет! Все уже потаскали!

Становой сделал вид, что не слышит, и снова обратился к мужикам:

— Я знаю, кто это вас мутит! Это все Исай Шкворнев! Давно уж он у меня на примете. Не было его — и жили вы тихо-смирно; как он вернулся,— все пошло шиворот-навыворот. Не слушайте его, ребята, подведет он вас под беду!.. Я его насквозь вижу... вредный человек, давно ему в Сибири место! Он у меня...

— Постор-ронись, ваше благородие! — во все горло

гаркнул Лука Заяц и чуть было не зацепил станового по ногам своей зубатой косою.

— Пойдемте! — прошептал опять о. Юлианий, трясясь всем своим тучным телом.— Пойдемте... Ну их! Вон они какие... аки тигры рыкающие... Свят-свят-свят, господь Саваоф, исполнь небо и земля славы твоея... Ну ее в болото и траву!

И, впившись в станового, как исполинская черная пиявка, он повлек его за собою.

Ды становому на юан
Ды провиянт свежий нужан!..—

запел им вслед Трушка.

У канавы становой остановился и поглядел назад. Мужики косили, бабы ворочали граблями траву, косы сверкали.

— Ну, погодите вы у меня! — злобно прошипел он, чувствуя себя униженным и оскорбленным.— Погодите, я до вас доберусь... Отец Юлианий, что же теперь нам делать? Надо дать знать исправнику!

— Пойдемте, пойдемте! — умолял о. Юлианий, таща его в канаву.— Вся нутренняя моя содрогается страхом великим, и свет очес моих затмился, яко в день судный... Жив аль нет — я уж и не знаю... Бабы-то, бабы-то — чисто дьяволицы... ба-атюшки мои! А косы... м-м! м-м!.. так и ходят... Смерть моя!.. Чайку бы теперь...

V

Губернатор был занят чрезвычайно важным делом он сидел в гостиной своей супруги, председательницы дамского комитета попечения о раненых и больных воинах, и решал затруднительный вопрос о том — можно ли вязать солдатские шлемы из красной шерсти или нет? Дело в том, что купец Севрюгин пожертвовал в комитет несколько фунтов красной берлинской шерсти, и дамы, члены комитета, находились теперь в большом затруднении — что делать с этой шерстью? Некоторые дамы советовали шерсть продать, а на вырученные деньги приобрести мыла и махорки; другие находили, что продавать пожертвованную вещь както неудобно; наконец, одна из них, m-me Маевская, предложила связать из шерсти шлемы, и все решили, что это будет очень мило и чрезвычайно практично. Дамы уже взяли себе по мотку, но тут вдруг явился неожиданно во-

прос: подходит ли красная шерсть для солдатских шлемов, которые вяжутся обыкновенно из серой, и вообще прилично ли русскому солдату носить такие яркие цвета?

На совещание был приглашен сам губернатор.

— Гм...— задумчиво промычал он, разглядывая пунцовые мотки, разбросанные по столу.— Не знаю... Это уж слишком. Не люблю я красного цвета!

— Но почему же? — возразила m-me Маевская.— Это будет очень мило! Тепло, удобно и... красиво! Простой народ любит красное.

— Мало ли что он любит? Нет, нехорошо... неловко както! Бросается в глаза. Красный цвет — опасный цвет: он раздражает и наводит на дерзкие мысли. Этого надо избегать.

— Ах, боже мой! — воскликнула m-me Маевская.— Но ведь носите же вы сами пальто на красной подкладке?

— Это совсем другое дело. Здесь красный цвет является символом власти, и притом же это установленная законом форма, ношение которой для лиц известного звания обязательно. Но нарядить русских солдат в красные колпаки — это... это что-то фригийское! Это... революцией пахнет.

— А ведь и в самом деле... мы об этом и не подумали! — с ужасом произнесла губернаторша, всплеснув руками.— Alexis, ты прав, как всегда!.. Нужно придумать что-нибудь другое...

И она бережно отодвинула от себя крамольную шерсть, как будто бы уже одна близость ее грозила страшной опасностью.

— Но что же мы с ней будем делать? — спросила m-me Маевская.— Ее очень много... Не пропадать же ей даром?

— Я думаю, не связать ли из нее чулки? — предложила губернаторша и обратила на супруга вопросительный взгляд.— Alexis! Чулки... можно?

— Чулки? Гм-да... Чулки, пожалуй, можно. На ногах не видно,— с игривой улыбкой сказал губернатор и после некоторого молчания добавил: — Впрочем, зачем солдату чулки? По моему мнению, это совершенно излишняя роскошь. Солдат должен носить не чулки, а...—pardon, mesdames! — ему нужны портянки! Пусть и носит портянки.

— Да, да, да! — согласилась губернаторша.— Ты, Alexis, прав, как всегда! Мы уже имеем эти... как они называются? А чулки мы отошлем офицерам. Бедняжки, они так во всем нуждаются, так благодарны за всякую мелочь... Наш уполномоченный в своем последнем письме из Тели-

на... ах, m-me Маевская, да ведь я вам еще не читала этого письма?

— Вы получили письмо оттуда? Ах, прочитайте!

— Сейчас... Прелестное письмо! Они развернулись в Телине... У них уже есть раненые и больные. Шесть офицеров и не помню сколько-то солдат. Они все в восторге от наших сестер, от пищи, от ухода — ужасно благодарят. Это так трогательно, так трогательно! Я вам сейчас прочту... Ах, Платон Плато-оныч!..— воскликнула она нараспев, и лицо ее озарилось светлой улыбкой.

Все обернулись к дверям. В гостиную, бесшумно скользя мягкими подошвами по паркету, не вошел, а вплыл ближайший друг и наперсник губернатора, доктор Камзольников, служивший старшим врачом на железной дороге. Кругленький, маленький, подвижной, он весь маслился и блестел от избытка туков, переполнявших его хорошо упитанное тело. Блестела у него голова, чуть-чуть прикрытая реденьким белым пушком; блестело гладкое, круглое лицо, на котором от жиру совершенно не росли волосы; блестели маленькие, узенькие глазки, притаившиеся в глубине набухших век. Осторожно неся на коротких ногах свое жирное брюшко, по которому змеилась двойная золотая цепь, он подплыл к губернаторше и приложился к ее ручке, потом перецеловал ручки у других дам и, наконец, уже обратился к губернатору и почтительно склонил перед ним блестящее чело. Губернатор благосклонно пожал ему руку.

— А мы вас ждали-ждали...— пропела губернаторша.— Где это вы пропадали, Платон Платоныч?

Камзольников озабоченно вздохнул и, вынув батистовый, совершенно дамский платочек, отер им свой блестящий лик.

— Ах, не говорите!.. Замучили! Опять в суде был.

— Вероятно, какой-нибудь иск?

— Все то же! Эти людишки просто нарочно лезут под вагоны, чтобы обогащаться на счет управления железной дороги. Отхватите ему какой-нибудь палец — и вот уже сейчас пожалуйте вознаграждение за увечье! Он весь-то гроша медного не стоит — пьяница, лентяй, разиня,— а за палец, изволите ли видеть, требует ни более и ни менее как тысячу рублей. Каково?

— Возмутительно!.. Ну что же, присудили?

— Отказали! Там один либеральный адвокатишка распинался, что дело вовсе не в пальце, а в нервном потрясении, вследствие которого истец будто бы потерял трудоспо-

собность, но это уже совсем очевидная нелепость. Представьте: малый ростом чуть ли не с Петра Великого, физиономия — во! — и вдруг нервное потрясение? Отчего? Оттого, что по глупости или спьяну, а то, может быть, и с заранее обдуманным намерением полез под вагоны, и ему там немножко помяло какой-то дурацкий палец... Нервное потрясение!.. Ха-ха-ха... Уд-дивительно! А поглядите на этих же самых молодцов, как они у себя, там, на кулачках друг другу зубы вышибают и ребра ломают,— это ничего... Никакого нервного потрясения!

Все посмеялись.

— Ах, Платон Платоныч, вы остроумны, как всегда! — сказала губернаторша.— Я люблю вас слушать. Но теперь перейдемте к делу. Вы знаете — я получила письмо из Телина?

Камзольников сделал серьезное лицо и приготовился слушать. Он тоже был членом комитета и принимал деятельное участие в снаряжении второго санитарного отряда, отправляемого на Дальний Восток. Он даже любезно взял на себя приготовление каких-то капустных консервов, но это дело оказалось таким сложным, что вот уже второй месяц отряд никак не мог сдвинуться с места, ожидая, когда консервы будут готовы. Некоторые злонамеренные люди уже начинали сомневаться в существовании камзольниковских консервов и распускали по городу слухи, что он сушит капусту в собственном кармане, но Платон Платоныч, зная, что клевета — удел всех великих людей, не обращал никакого внимания на злостные сплетни и продолжал в глубокой тайне производить свои сложные капустные операции.

Губернаторша достала из серебряного ридикюля письмо и, быстро пробегая его глазами, заговорила:

— Да... так вот. Они развернулись в Телине. Погода чудная. 170 кроватей... сестра Игнатьева заболела лихорадкой... Нет, это все неинтересно. Ах, вот, вот! К ним поступило шесть офицеров. Двое уже выздоравливают и шлют вам (то есть нам!) горячую благодарность за все, за все... Они еще нигде не встречали такого внимательного отношения, такой заботливости, такого чудного персонала. Вот их собственная приписка: «Доктор Марков — восторг! Сестры — прелесть! Стол — чудо! Мы никогда не ели такого божественного шоколадного торта, как здесь. Это — не торт, это — мечта... Целуем всему дамскому комитету их ангельские ручки»... Ну, и прочее... Не правда ли, как это трогательно?

И взволнованная губернаторша посмотрела на всех заслезившимися глазами.

— Ужасно мило! — воскликнула m-me Маевская.— Бедняжки! Воображаю, что они испытывали, когда вдруг, прямо с поля битвы, из-под града пуль — и шоколадный торт! Поразительный контраст!

— Ну, еще бы! Ведь они там лишены всего, всего! Я думаю, не послать ли нам туда еще несколько пудов шоколаду?

— Это письмо непременно надо напечатать! — сказал Камзольников.

— Вы думаете — напечатать? — спросила губернаторша, скромно потупившись.

— Непременно! — решительно повторил Камзольников.— Это произведет колоссальное впечатление на общество! В наше время, когда самые почтенные имена забрасываются грязью, когда каждый газетный писака лезет с своими грязными руками в вашу, так сказать, святая святых,— обнародование подобного документа будет иметь громаднейшее общественное значение. Пусть все видят, что не оскудела еще русская земля истинными патриотами, пусть знают, что есть еще на Руси святые женщины, которые скромно и просто делают великое дело христианской любви, облегчая, насколько хватит сил, страдания наших далеких воинов-героев!..— с пафосом закончил Камзольников и вытер платочком выступившую на лбу испарину.

M-me Маевская в восхищении тихонько зааплодировала; губернаторша вытерла навернувшуюся слезинку.

— Я уж не знаю как,— сказала она.— Alexis, ты как думаешь?

Но Alexis не успел ответить, потому что в эту минуту на пороге появился лакей и с таинственным видом доложил, что в приемной дожидается уездный исправник и желает видеть его превосходительство по весьма-весьма важному делу.

— Pardon! — обратился губернатор к гостям.— У меня маленькое дело. Я сию минуту вернусь. Тяжела ты, шапка Мономаха! — пошутил он, уходя.

Исправник большими шагами ходил по приемной и имел крайне расстроенный вид. От жары и волнения длинные усы его обмокли, обвисли и придавали его толстому лицу унылое выражение. Густые черные брови были высоко подняты вверх в знак недоумения и незаслуженной обиды. Глаза беспокойно бегали по сторонам. При входе начальника гу-

бернии он поспешно провел рукой по пуговицам кителя, тронул себя за эфес шашки и, убедившись, что все в порядке, пошел навстречу губернатору.

— Что такое случилось, добрейший Никандр Иваныч? — спросил губернатор.

Исправник еще выше поднял брови и отрапортовал:

— Покорнейше прошу прощения, ваше превосходительство... побеспокоил, не в урочный час... но, ваше пр-во... у меня в уезде неблагополучно...

— Неблагополучно? Что такое? Где?

— В деревне Сарафановке, ваше пр-во... Бунт! — испуганно выпалил исправник.

При слове «бунт» губернатор весь подобрался, как полковой конь при звуке трубы, и в глазах его заиграли огоньки. Он губернаторствовал недавно и с нетерпением ждал случая показать свои административные способности, чтобы выдвинуться на первый план и обратить на себя внимание. Случай представился...

— Бунт? — отрывисто повторил он.— Гм... Скверно!.. Где это Сарафановка?

— За Устьинским монастырем, ваше пр-во, Калмыковской волости. Совсем смирные были мужики, ваше пр-во, но вчерашнего числа вдруг вышли скопом на монастырские луга и самовольно косят, ваше пр-во!

— Косят?

— Косят, ваше пр-во! Сейчас же по вызову отца архимандрита выезжал туда пристав второго стана с урядником и убеждал прекратить самовольные действия, угрожая в противном случае поступить по всей строгости законов...

— Ну и что же? — нетерпеливо перебил его губернатор.

— Косят, ваше пр-во! — горестно вздохнул исправник, и брови его взлетели на самую вершину лба.

Губернатор прошелся по комнате большими шагами.

— Хорошо! Я их утихомирю...— с гневом сказал он.— Надо немедленно принять самые строжайшие меры. Однако что же они говорят в ответ на увещания?

— Ничего не говорят, ваше пр-во. Молчат и косят!

— Косят? М-мерзавцы! Ну, у меня они заговорят не своим голосом. Вот что, добрейший, я сию же минуту переговорю с полковником, и вы поезжайте туда, в эту, как ее?.. Сарафановку, что ли, и приготовьте там все, что нужно... понимаете?

— Понимаю, ваше пр-во... Все будет готово!

— Их там много?

— Человек семьдесят, ваше пр-во, кроме баб и ребят.

— Роты будет достаточно?

— Вполне, ваше пр-во! Даже слишком. Они от десяти солдат разбегутся.

— Ничего, надо побольше страху нагнать, чтобы на всю жизнь осталось. Негодяи! Тут война,— правительство озабочено важным делом, а они идут грабить... Ужасно! Дикий народ... Звери какие-то!..

Исправник откланялся и, возвратив брови на их обычное место, уже совершенно успокоенный, отправился приготовлять «все, что нужно».

VI

В 7 часов утра к станции Триполье медленно подошел товаро-пассажирский поезд, и из вагонов III класса, тяжело позвякивая ружьями, стали выпрыгивать солдаты в полном походном снаряжении. В то же самое время из II класса вышло на платформу несколько офицеров и вместе с ними уездный врач Лазутин, приземистый господин с клочковатой бородкой, растущей откуда-то из-под шеи, и таким громадным носом, что, казалось, не нос состоит при докторе, а доктор при носе. Вся эта группа в нерешительности остановилась на платформе, несколько смущенная любопытными взглядами пассажиров, глазевших из окон вагонов. Но их здесь уже ждали. На подъезде станции стояли исправник, становой, урядники и несколько стражников в своих неуклюжих серых шинелях, напоминавших каких-то допотопных двуногих зверей из породы человекообразных обезьян. Исправник первый увидел прибывших и, торопливо сбежав со ступенек, пошел к ним навстречу. Они обменялись приветствиями.

— Ну что? Как? — спросил один из офицеров, высокий седоватый человек, с болезненным усталым лицом и грустными глазами.

— Все то же! — со вздохом отвечал исправник, вздымая брови.— Косят и молчат... Ума не приложу, что с ними сделалось. Такие смирные мужики были. Это их сбил с толку Исайка Шкворнев, солдат. Как он вернулся со службы, так и начал мутить. Удивительно, право, как эти мужичишки набираются фанаберии на военной службе!

Офицер потупился и замолчал.

— А это далеко? — спросил белокурый поручик.

— Да нет, близехонько! Отсюда до монастыря версты

три, да там,— ну, верста, не больше. Для вас лошади уже готовы,— отец архимандрит распорядился...

Он повернулся к станции, из-за угла которой выглядывала любопытная мордочка Митронюшки. Увидев, что на него смотрят, он поспешно скрылся, а исправник показал офицерам на длинный ряд экипажей и верховых лошадей, растянувшийся за станцией, у постоялого двора.

— Вы можете ехать хоть сейчас,— продолжал исправник.— В монастыре закусите, напьетесь чаю, отец архимандрит хотя и скуповат, но для такого случая не пожалеет ничего. Луга-то у них — золотое дно, а отец архимандрит деньгу любит. Уху у них готовят замечательно! А я подожду его превосходительства: они прибудут с экстренным через час.

Он вынул толстые золотые часы, озабоченно посмотрел на них, потом приложил к уху и опять спрятал. Прозвонил третий звонок, и поезд, тяжело кряхтя, начал отходить.

— Смотрите, какая хорошенькая! — шепнул белокурый поручик другому, толстому, неповоротливому, с большим красным лицом и узенькими белесыми глазками, в которых застыла добродушная лень.

Поручик повернулся к поезду и посмотрел: в окно I класса выглядывала кудрявая брюнетка и, заметив, что офицеры ею любуются, кокетливо улыбнулась.

— Прелесть! Душанчик! — воскликнул белокурый и сделал под козырек.

— Да... ничего! — лениво пробормотал толстяк.— Но я бы предпочел теперь чего-нибудь выпить и закусить. Есть хочу, как сто чертей!

Поезд отошел и с глухим рокотом скрылся в лесу; на путях сразу стало как-то пусто и тихо. По обе стороны полотна зеленела прохладная гуща леса, и оттуда тянуло нежным запахом цветущего шиповника и острой свежестью росистых полян. Слышались задумчивые переливы иволги, а в промежутках какая-то птичка звонко и настойчиво выделывала короткие металлические трели, точно ножницы точила.

— Чудное утро! — сказал белокурый, втягивая в себя душистый лесной воздух.— Земляникой пахнет.

— Да! Хорошо,— согласился толстяк.— Теперь бы где-нибудь на полянке, с самоварчиком...

И оба они вдруг замолчали, вспомнив то, для чего их сюда привезли.

— Что ж, ехать так ехать! — говорил между тем седоватый офицер.— Мы вот что: мы людей отправим вперед, а сами поедем вслед. Господа, распорядитесь! — обратился он к офицерам.

Офицеры сделали озабоченно деловые лица и направились в другой конец платформы к водокачке, где в ожидании приказаний группами расположились солдаты. Некоторые из них курили; другие толпились у крана и горстями пили воду; третьи рассыпались у ограды тенистого садика и обрывали ветки цветущих лип, обмахивая ими свои загорелые лица. Свежее солнечное утро, тихая красота леса, безмятежные голоса птиц размягчили их загрубелые в казарменных стенах души, и они вели себя как школяры, вырвавшиеся на волю. Даже почтенный фельдфебель из сверхсрочных, для которого весь мир давно уже превратился в одну громадную казарму с ученьем, смотрами и словесностью,— и тот немножко оттаял, и на его строгом, одеревенелом лице плавала благодушная улыбка. А в некотором отдалении от солдат уже собралась кучка любопытных — ребятишки, девки в красных юбках, пильщики с лесного склада,— и все с удивлением, смешанным со страхом, смотрели на оживленную возню вооруженных людей, неизвестно зачем появившихся на тихой лесной станции. Одна крошечная девчонка с деревянной чашкой, наполненной недозрелой земляникой, так увлеклась любопытством, что выдвинулась вперед и, разинув рот, остановилась перед фельдфебелем, очарованная блестящими галунами его нашивок.

— Лушка! — закричали на нее девки.— Куда те демон несе! Вот она, ружьишша-то, как пальне!..

Девчонка в ужасе метнулась назад, но фельдфебель уже заметил ее и обратил на нее свой благосклонный взор.

— Эй ты, шишгаль! — закричал он.— Почем у тебя ягоды?

— Три копейки! — трепетным голоском отозвалась девочка.

— Давай сюда!..

Девочка оглянулась назад, как бы ища поддержки на случай каких-либо недоразумений, и нерешительно подошла к фельдфебелю.

— А ты отдашь? — робко спросила она.

— У, дурища! Иди, что ль!.. Велики деньги — три копейки!

— Иди, Лушка, чего ты? Небось ён не троня!..— поощрили девочку из толпы зрителей.

Девочка осмелела и вместе с фельдфебелем стала пересыпать ягоду в пестрый фельдфебельский носовой платок.

— Анадысь вот так-то один дяденька ягоды взял, а деньги не отдал,— рассказывала она шепотом.— Я жандару жаловалась, а ён мене по затылку — не шляйся, говорит, здесь!

— Ну, то был один дяденька, а то другой! — шутил фельдфебель.— И дяденьки разные бывают! На, держи!

И, важно достав из кошелька три копейки, он положил их девочке в чашку.

Ободренные фельдфебельским благодушием зрители придвинулись ближе, и один из пильщиков, подслеповатый мужичок в белой рубахе и громадных, дырявых лаптях, развязно спросил:

— А позвольте спросить, служивый, куда едете?

Фельдфебель сделал вид, что не слышит, и величественно кушал зеленые, твердые, как орехи, ягоды.

— Стало быть, так надо понимать, на войну, что ль, вас гонят? — продолжал мужичок, ласково улыбаясь.

Фельдфебель наконец услышал и грозно обернулся к любопытному пильщику.

— Ты чего? Ну? Тебе-то что? — рявкнул он.

Мужичок оробел и поспешно отступил назад.

— Да то...— смущенно забормотал он.— Я так-то говорю... дескать, гляди, малый, не на войну ли...

— Малый-малый! — передразнил его фельдфебель и, увидев идущих по платформе офицеров, моментально сделал свирепое лицо и заорал на свою роту:

— Эй вы, черти! Разыгрались, такие-эдакие?.. Становись!.. Смирр-на!

Ребятишки, девки, пильщики бросились бежать; смех и шутки смолкли; послышалось отрывистое звяканье штыков. Солдаты с серьезными лицами стали строиться, и вместо веселых, смеющихся людей по линии железной дороги протянулось что-то длинное, черное, бесформенное, отбрасывая от себя на землю сумрачную тень.

— Ужасно все это глупо и неприятно! — говорил белокурый поручик.— Я бы предпочел Маньчжурию, честное слово. Даже думать об этом не хочется!..

— А знаете что? — сказал толстяк, оживляясь.— Все-таки мы с вами обязательно должны зайти в буфет. В этих случаях выпить по рюмашечке положительно необходимо!

Их нагнало еще несколько офицеров, и один из них, тощий и нескладный, как колодезный журавль, с неприятным, осклабленным лицом, воскликнул, смеясь:

— Слышите, слышите, господа? Иван Геннадиевич уже мечтает о рюмочке! Ах вы, эпикуреец! Подождите: говорят, у архимандрита будет необыкновенная уха и семи сортов наливка...

Но заметив в солдатских рядах какой-то непорядок, он, как бешеный, сорвался с платформы, и слово «мать!» вонзилось в благоуханную лесную тишь.

— Как орет!..— с гримасой прошептал белокурый поручик.— Слышать этого не могу... так и мутит!

Через несколько минут длинная, черная, бесформенная масса с мерным топотом втягивалась в зеленую глубь леса. Радостная, суетливая жизнь кипела в его таинственных чащах: где-то далеко без перерыва куковала кукушка; беззаботно перекликались веселые дрозды, и неведомая птичка продолжала точить ножницы, как будто стараясь заглушить задумчивые возгласы иволги. Толстые шмели, голубые бабочки и золотистые жучки плясали над пышными кустами шиповника, щедро раскрывшего для них румяные чашечки своих цветов; в узорчатой листве берез и дубов носились какие-то неясные шорохи, шла шаловливая возня, звенели чьи-то тоненькие голоса: «Как хорошо, как весело жить!» Солдаты шли молча, и эти радостные лесные голоса напоминали им далекое детство, когда и им тоже было хорошо и весело жить. Солдаты шли, и их мерный шаг грубо и резко врывался в нежную и ласковую музыку леса. Тяжелые винтовки оттягивали им плечо; длинная, сумрачная тень ползла рядом, безобразно изгибая свою щетинистую спину. Солдаты шли молча, смотрели на розовый шиповник, усыпанный золотыми жучками, слушали унылый плач кукушки и старались не думать о том, куда и зачем они идут.

VII

Сарафановцы косили. Они почти что не отдыхали, не пили, не ели, и дневали, и ночевали на лугу, покинув свои смрадные, темные избы, где было так трудно, так тяжело жить. Они были как пьяные от работы, от сытного запаха сочной травы, от всего этого богатства, которое, как клад, долго не давалось в руки и с которым было связано столько надежд и ожиданий.

Вся их бедная, голодная жизнь как будто осветилась,

и они уже заранее высчитывали, по скольку возов достанется на двор, сколько можно продать, сколько оставить и какие улучшения сделать в хозяйстве. При этих расчетах нужда так и поперла из всех дыр: оказалось, что одни уже давным-давно не ели настоящего хлеба и теперь мечтали купить мучки; у других избы совсем развалились; третьим необходимо было справить хоть какую-нибудь одежонку, потому что старая попрела в отделку... Ломоть чистого настоящего хлеба, новая рубаха, новые лапти, перекрытая крыша — этого было, пожалуй, чересчур мало для человеческого счастья, но сарафановцы так оскудели, так изголодались, так измучились от своей нищеты, что и малое представлялось им большим. Лука Заяц до того расхрабрился, что стал подумывать о женитьбе сына, и втихомолку ото всех обдумывал важный вопрос: во сколько обойдется свадьба?

И вдруг, среди всех этих тайных надежд, радостных ожиданий, сложных расчетов, над лугом пронесся отчаянный крик:

— Солдаты идут!

По лугу точно дрожь пробежала. Бабы перестали копнить сено; Лука Заяц с размаху засадил свою косу в землю и никак не мог ее вытащить; веселый Трушка засвистал. А рябая, востроглазая Феклуха продолжала вопить:

— Солдаты идут!..

— За́сыть тебе! — крикнул на нее Лука, силясь выдернуть косу из земли.— Раскаркалась, ворона криворотая! Где солдаты?

— Вон... по-за лесом!..— задыхаясь, пробормотала Феклуха.— Идуть-идуть... аж земля почернела... Мотри, на нас...

Лука посмотрел и на грани устьинского леса увидел что-то движущееся, сверкающее, от чего даже больно сделалось его воспаленным глазам. Он снял шапку и почесался.

— Оказия! И — то никак солдаты... Неужто на нас? Исай Кузьмич! Слышь-ка, солдаты идут!

Косцы давно уже слышали Феклухины вопли, и хотя на сердце у них тоже дрогнуло, но они и виду не подали. А солдаты все двигались и двигались, словно черная река, и полуденное солнце зажигало белые искры в колючей щетине их штыков.

У Луки Зайца вдруг похолодело под коленками и ноги

ослабели. С усилием он рванул косу,— она крякнула и переломилась пополам. Луку даже слеза прошибла при виде жалкого обломка, оставшегося от его верной старухи косы.

— Э-эх! — вздохнул он.— Прощай, кормилица,— видно, накосились мы с тобой в остатний раз... Не к добру это дело... Знать, не косить уже мне больше на этом свете...

Он бросил косу наземь и подошел к косцам.

— Что же теперь, братцы? Видать, дело-то наше пропащее?

Один из мужиков, Дементий Плаксин, остановился и злыми глазами посмотрел на трясущегося, ослабевшего Луку.

— Ну? — угрюмо спросил он.

— Да как же?.. Вишь, солдаты... Что с ними поделаешь? Бросать надыть...

— Бросать? — презрительно вымолвил Дементий.— Эх ты... Слизень! А кто кричал надысь: всем миром помрем! Ляжем наземь и помрем... Забыл? То-то! А теперича — «бросать надыть»... Нет, паря, бросать поздно. Коли помирать, так и помирать — дело обчее. Затем и на образа крестились.

Эти твердые и строгие слова будто кнутом Луку ударили. Слабость в ногах прошла; в груди что-то зажглось,— он поднял голову и прямо глянул в лицо Дементию.

— Верно, Дема! Дурак я старый. Это как в сказке бают: нет смерти — кличешь, а пришла — погоди маленько... То-то и оно, что коротка душа мужичья! А вот как ты меня осенил по башке словами-то своими, вот я теперича опять в свой дух и вошел... Жил Лука — били; помер — схоронили, только ведь и всего, более ничего не будет... Так, что ли, Дема?

Остановились и другие косцы, прислушиваясь к словам Луки. Только Иван Уклейкин даже не оглянулся: с детски безмятежным лицом взмахивал он косою, и белая борода его развевалась на ходу, как степной ковыль.

Черная река все текла, и серый туман пыли клубился над нею. Исай Кузьмич пристально всматривался в ее непрерывное течение.

— Рота, никак, будет! — сказал он с сумрачной усмешкой.— По семи солдат на брата... Знать, страшна Сарафановка... страшнее японца!

Картошки пекут,
Солдатищщи бегут.

Солдатищща любить —
Надо чишче ходить! —

запел неунывающий Трушка и игриво поддал в бок Феклухе, которая в немом ужасе смотрела на приближающихся солдат.

— Слышь, что ль, Феклух? Дурак любит красно, солдат любит ясно,— бежи скорей, корсетку новую надевай!

— Отвяжись, шишига! — с плачем крикнула Феклуха.— Вот он те насыпя под рубаху-то!..

— А насыпя — встряхнем! Чай, свое — некупленное!..

Эх, тряхну да махну!
Не ходи к хохлу,
Ходи к русскому,
К петербургскому!

Но Феклуха уже не слышала Трушкиных приговорок и побежала к бабам, которые, сбившись в кучу, точно стадо, напуганное грозою, смотрели на мерное шествие солдат.

— Ну, старики! — снова заговорил Исай Кузьмич.— Надо нам в этом случае сговориться. Дело сурьезное начинается — миром его не кончить. Крепко монахи в наш лужок вцепились — без бою не обойдется. Что делать будем?

Мужики угрюмо молчали. Исай Кузьмич продолжал:

— Вот что я вам скажу: пущай все дело на мне будет,— я согласен. Так и объясню: дескать, я и по судам ходил, я и бумаги выправлял, потому человек я грамотный и всегда за всех отвечать могу, а что луг этот наш — в этом хоть сейчас присягу приму. Эдак оно ладнее выйдет. Коли бросил волку одну овцу, не станет же он все стадо портить? Так, что ли, старики?

Дементий Плаксин, который все время нетерпеливо мотал головой, при последний словах Шкворнева точно с цепи сорвался и сердито закричал:

— Так, так... Ничего не так! Дело обчее... все косили, всех и суди, вот тебе и все! Что мы, ребята, что ли? Наш луг и правда наша, а у волка и правда волчиная,— все равно, его овцой не ублажить... На, жри всех, коли зуб востер! Придет время, и подавишься...

— Верно, верно, Дементий! — загалдели все.— Коли судить, так всех судить,— всем миром пойдем! Луг обчий, и дело обчее... Становись, ребята, коси! Все присягу примать будем, коли до суда дело дойдет!.. Коси, небось наше дело чистое! Не мы воры, монахи — воры, а в судах, известно, правды нету — ее давно за монетку продали...

— Стойте, старики! — сказал Исай Кузьмич.— Коли всем отвечать, так и всем, пущай по-вашему будет, а я еще одно слово скажу. Баб не надо... пущай бабы домой идут, ихнее дело здесь сторона. Чего им зря-то болтаться?

— Верно, Исай Кузьмич,— бабам тут делать нечего! Эй, бабы! Забирайте ребят, айда домой!

Но бабы мялись и не шли, о чем-то переговариваясь.

— Бабы, вам говорят аль нет? Домой ступайте!

Выскочила Чека и, подбоченившись, стала перед мужиками.

— Бабы домой? Почему такое — домой? — закаркала она.— Чем вам бабы помешали? Небось такие же люди, не хуже мужиков понятие имеем! Домой! Ишь ты! Как работать,— баба горб подставляй, а судить-рядить — баба на печь полезай! Будя! Насиделись! Не пойду я домой, чего мне там делать?

— Ну, назол! — сказал Исай Кузьмич с неудовольствием.— Эдакая колготная баба! Да ведь солдаты идут, поняла аль нет?

— А что мне солдаты? Стрелять, что ль, будут? Да пущай стреляют, здоровое дело! По крайности, помрем вместе, а домой я не пойду. Издыхать-то все равно где — что дома на полатях, что в поле под кустом! Наше житье и так хуже смерти...

— Тьфу! — плюнул Исай Кузьмич и обратился к Федосье:— Ну, Федоська, а ты иди... У нас с тобой ребята малые, нам их пожалеть надо... Отца не будет, так хоша мать останется. Ступай, Федосья, и Васятку уведи... Авось бог даст, увидимся...

— Исай Кузьмич!..— вымолвила Федосья, с ужасом глядя на мужа.

— Иди, иди!..— повторил Шкворнев и отвернулся.

Федосья хотела еще что-то сказать, но не посмела и, взяв за руку Васятку, пошла к деревне. Видно было, как она спотыкалась и шла, останавливалась и опять шла; наконец, дойдя до гумен, совсем свалилась наземь, обхватила Васятку обеими руками и завыла.

Солдаты уже перешли через канаву и, перестроившись, черною стенкой надвигались на мужиков. А по дороге, в серых облаках пыли, мчались экипажи, бегунцы, верховые, а за ними, тяжело скрипя колесами, тянулись два воза, нагруженные свежей лозой из монастырской рощи. На возах сидели стражники и с тупым усердием нахлестывали вожжами понурых лошадей.

VIII

— Послушайте, разве отсюда нельзя прямо проехать? — с неудовольствием спросил губернатор, когда экипаж остановился у канавы и исправник почтительно доложил о том, что надо выходить.

Брови исправника совершенно исчезли под фуражкой.

— Можно, ваше пр-во, через гумно, но там, осмелюсь сказать, дорога очень гадкая! — с испугом сказал он.

Губернатор поморщился. В эту минуту он воображал себя чем-то вроде Наполеона, и ему хотелось явиться перед бунтовщиками торжественно и грозно, дабы один вид его заставил их упасть ниц и смириться. И вдруг его принуждают выходить из коляски, перескакивать через канаву, идти пешком... Это было уже совсем невеличественно, а скорее смешно, и губернатор рассердился.

— Возмутительно! — ворчал он, глядя на канаву.— Это дурацкое земство совершенно ничего не делает для благосостояния края: занимаются там разными резолюциями, конституциями, а дорог нет... Упразднить бы их всех!..

Исправник сочувственно вздохнул, поиграл бровями и помог его превосходительству спуститься на землю.

Они подошли к канаве, около которой уже стояли носатый доктор и становой, из уважения к губернатору не решавшиеся первыми перепрыгивать на ту сторону. Доктор смотрел на воза с розгами, которые в эту минуту сворачивали по узкой меже налево, и вид гибких розоватых прутьев, должно быть, возбуждал в нем какие-то веселые мысли, потому что он осклабился, выставив наружу длинные желтые зубы.

— А старцы-то постарались! — сказал он.— Хорошую кашку мужичкам приготовили,— свеженькая, вкусная, горячая!.. Это что такое, шелюга, что ль?

— Чего-с? — спросил становой, искоса наблюдая за каждым движением губернатора и готовый во всякую минуту ринуться ему на помощь.

— Да вот розги-то... Что это, шелюга или береза?

Но становой не успел ответить на этот интересный вопрос, потому что с легкостью молодого козла внезапно перелетел через канаву и почтительно нежно поддержал под локоть запутавшегося в полах своей шинели губернатора.

— Спасибо!..— слегка отдуваясь, пробормотал губерна-

тор.— Мм... ф-фу!.. Это в своем роде какой-то чертов мост... а туда же конституции требуют! Показал бы я им конституцию!..

Выбрались из канавы исправник и доктор; вслед за ними выскочили было два каких-то черных шлыка, но, увидев, что губернатор еще не ушел, снова юркнули в траву и притаились.

— Ну, что же?.. Где эти?..— спросил губернатор, сердито шевеля усами.

— Вон там, ваше пр-во! — поспешно отвечал становой.— Вон, куда солдаты пошли!

Губернатор, щурясь от яркого солнечного света, обернулся и увидел ровные сверкающие ряды штыков, а между ними что-то копошащееся, мелкое, похожее на кучку серых козявок. При виде этих маленьких, жалких козявок, окруженных штыками, губернатор весь подобрался и снова почувствовал себя Наполеоном.

— Что это? Они, кажется, продолжают косить? — с негодованием воскликнул он, присматриваясь к движениям козявок.

— Косят, ваше пр-во! — с сокрушением отвечал становой.

— Даже в моем присутствии?.. Каково нахальство!.. Идемте!.. А вы распорядитесь там, чтобы все было готово!

Осчастливленный губернаторским доверием становой резвою рысцой побежал вперед, а за ним, в сопровождении исправника и Лазутина, величественно последовал губернатор. Когда они были уже далеко, трава в канаве зашуршала, показались опять черные шлыки, и наружу выскочили два монастырских послушника. Один был Митронюшка; другой, тоненький и робкий, как девочка, его приятель — Ивасик.

— Ну, пойдем скорей! — сказал Митронюшка.— А то без нас начнут!

— Постой, Митроня!..— пугливо вымолвил Ивасик.— Боюсь я чтой-то!..

— Ну, вот еще! Идем, что ли!

— Да ведь стрелять будут... Жалко... мужиков-то!

Митронюшка махнул рукой и, мотая во все стороны своими желтыми косицами, помчался по лугу. Ивасик подумал и тоже побрел за ним.

Весь красный, задыхаясь от жары, усталости и гнева, предстал губернатор пред сарафановцами. Они уже не косили и стояли молчаливою толпой, угрюмо поглядывая на

солдат и на возы розог, около которых хлопотали стражники и урядники. Было странно видеть этих простых, деревенских людей в их заплатанной, нищенской одежде, в лаптях и онучах, с мозолистыми от тяжкой работы руками, с загорелыми худыми лицами, загнанных, как дикие звери в западню, окруженных ружьями, штыками, солдатами, офицерами, урядниками и целым сонмом чиновных особ, откормленных, выхоленных, хорошо одетых. И на лицах мужиков выражалось недоумение и худо скрытая злость. Дементий Плаксин стоял, весь взъерошенный и мрачный, точно леший; за его спиной то приседал, то подымался на цыпочки Лука Заяц; веселый Трушка был бледен, но дерзко улыбался. Один Иван Семеныч Уклейкин оставался благодушен, как всегда, и, сияя своими ясными голубыми глазами, потихоньку отбивал в сторонке косу. Он смотрел на все происходящее, как на досадную помеху работе, и думал только об одном, чтобы поскорее кончилась эта канитель и чтобы опять можно было, когда господа натешатся, приняться за прерванное дело. Многое уже видал он на своем долгом веку и давно перестал чему-нибудь удивляться и негодовать. То ли еще бывало!..

Губернатор подошел и остановился; мужики молча и как будто нехотя сняли шапки. Но этого губернатору показалось мало: глаза его мгновенно налились кровью, глотку перехватило, и он неистово закричал, приправляя каждое слово свое отвратительной руганью, которую считал необходимой в сношениях с «простым народом».

— На колени, такие-сякие, разэтакие!.. Я вас!.. Вы у меня!..

К его удивлению, вся эта безмолвная, серая и, по-видимому, покорная толпа только слегка всколыхнулась, но никто не тронулся с места. Скверные, бессмысленные слова, сыпавшиеся из уст такого важного и пожилого человека в генеральской шинели, поразили мужиков; они переглянулись и сурово потупились. Застыдился даже становой и скромно отвернулся в сторону, делая вид, что не слышит; стражники, возившиеся около розог, подняли головы и разинули рты от изумления. А губернатор, топая ногами и брызгаясь слюной, продолжал выкрикивать:

— Разбойники, хамы, бунтовщики!.. На колени, вам говорят, мерзавцы... Запорю!.. Перевешаю! Расстреляю!..

И опять скверная, подлая, бесстыдная брань, которой всякий порядочный крестьянин совестится даже в пьяном виде, зловонной грязью разлилась над чистыми зелены-

ми полями, заглушая радостное щебетание жаворонков.

— Ловко ругается! — осклабляясь, прошептал тощий офицер белокурому поручику.— Где это он так намастачился?..

Белокурый ничего не отвечал и с брезгливой гримасой рассматривал концы своих запыленных сапог. Мужики угрюмо молчали. Вдруг лицо Дементия перекосилось злою судорогой, и он боком, как медведь, двинулся вперед.

— Запорю да расстреляю...— прогудел он, исподлобья глядя на губернатора.— Было бы за что... расстрелять-то. Больно того... шибко едешь!..

— Как? Что? Кто? — крикнул губернатор, и его толстые черные усы затряслись от бешенства.— Кто это говорит? Кто сказал? Где он?

Толпа снова заколыхалась, сдвинулась теснее и втянула в себя Дементия. На его месте очутился Исай Шкворнев.

— Ваше превосходительство, дозвольте слово сказать,— начал он почтительно и твердо.— Мы не разбойники; мы за свое доброе страдаем. Луга испокон веку наши были; монахи владеют неправильно. На это бумага есть, а они ее скрыли. Прикажите, ваше превосходительство, это дело рассудить по закону!

— По закону! Он правильно говорит! — зашумели мужики, все ближе и ближе надвигаясь на губернатора.— Какие мы воры? Свое добро не воруют! Мы от суда не бегаем, пущай нас суд рассудит! Мы до всего доходили, а нам говорят: где бумага? У монахов бумага, пущай они ее отдадут! Как по бумаге выйдет, так и будет, а сейчас мы без лугов пропадаем, пропадаем. Нету больше нашего терпения!..

— Молчать! — закричал губернатор.— Какая бумага? Что такое? Мерзавцы, негодяи, да как вы смеете со мной так разговаривать!

— Мы есть хотим, ваше высокое благородие!..— заявил Лука Заяц, выставляя из толпы свое сморщенное, обезображенное вечным голодом и болезнями лицо.

— Мы своих ребят всех на погост перетаскали, а монахи с жиру лопаются! — проурчал Дементий Плаксин.

— Нас цинга заживо съела — землю заместо хлеба грызем! — через головы мужиков каркнула длинноносая Чека.

И, теснясь вокруг губернатора, каждый выкрикивал ему в лицо о своих страданиях, о долголетней нужде и беспомощности, о страшной тяготе своего заброшенного существования, в безумной и слепой надежде, что этот важный

барин в генеральской одежде наконец их услышит, поймет и расскажет там, где-то наверху, о том, как мучается, как погибает мужик... Оглушенный этими беспорядочными криками, испуганный голодным и злым блеском устремленных на него глаз, губернатор на минуту потерялся и отступил назад. Но стройные ряды солдат в полной боевой готовности, толпа офицеров, полицейских и дюжих стражников, стоявших навытяжку в ожидании распоряжений, розги, штыки и патроны — все это сразу успокоило его и возвратило ему сознание своей силы и власти.

— Молчать! — грозно повторил он, окидывая мужиков гневным взглядом.— Да как вы смели?.. Да кто вас научил? Ты кто такой? — накинулся он вдруг на Исая Кузьмича, который с шапкой в руках стоял ближе всех.

Выскочил становой и что-то зашептал губернатору, а Исай Кузьмич снова повторил почтительно и твердо:

— Мы, ваше превосходительство, бунтовать не желаем. Мы правды хочем добиться. Вот мы все, как есть, перед вами,— пущай нас суд рассудит как следует, по закону. Суда просим, более ничего.

Губернатор смотрел на его спокойное лицо, обросшее клочковатою русою бородой, и это спокойствие показалось ему неслыханной дерзостью. Он весь побагровел, как подкладка его шинели, и с трясущимися усами подступил к Шкворневу, который сразу сделался ему почему-то ненавистен.

— Так... это ты... Исай Шкворнев? А? — медленно спросил он.

— Так точно, ваше превосходительство.

— И тебе... суда потребовалось? Суда просишь?

— Так точно... Как суд присудит, так и будет.

— Вот тебе суд, мерзавец, сукин сын! — неистово закричал губернатор и, размахнувшись, изо всех сил ударил Шкворнева в лицо.

Густая, красная струя облила мужику бороду и грудь. Он нагнулся и вместе с кровью выплюнул на траву два зуба.

— Вот тебе суд! — повторил губернатор и ударил еще и еще.— Взять его!..— хрипло прибавил он и махнул стражникам своей белой, пухлой рукой, на которой остались кровавые брызги.

Исай Кузьмич пошатнулся и чуть было не упал, но два стражника налетели на него, как воронье на падаль, и, подхватив под руки, потащили к возам с розгами. Толпа

охнула и двинулась за ним; послышался резкий женский вопль.

— Бабы здесь? — загремел губернатор.— Гнать баб в шею! Нагайками их!..

Конные урядники, держа нагайки на отлете, врезались в толпу и начали лупить направо и налево по бабьим спинам и головам. Слышны были глухие удары и противный свист ремней, рассекавших воздух; вздрагивало и стонало под нагайками живое тело, и тихий луг, над которым еще недавно теплый ветер пел свои ласковые, вольные песни, наполнился криками боли и отчаяния, топотом бегущих ног, ругательствами и проклятиями озверелых урядников и мужиков. Дементию Плаксину, который вцепился урянику в ногу, нагайка впилась прямо в лоб, и он свалился под копыта лошади. Бабы бежали, спотыкались и падали; их хватали, рвали на них одежду, платки, фартуки, и на траве запестрели разноцветные обрывки и лохмотья. Солдаты тупо смотрели на эту дикую охоту; некоторые улыбались; другие хмуро отворачивались. Белокурый поручик болезненно морщился; толстяк тяжело сопел и икал; он был пьян, и ему было все равно. Громадный нос доктора трясся, как студень, от беззвучного смеха, в глазах бегали игривые огоньки.

— Табло! — сказал он, скаля свои желтые зубы.— Бабы-то, бабы-то — так и скачут, точно блохи! А вон за ними и мужик удирает... Удивительно труслив этот народ!

Белокурый поручик посмотрел на него исподлобья и отвернулся; толстый что-то промычал и громко икнул. А губернатор продолжал кричать хриплым от натуги голосом:

— Так их! Хорошенько!.. Лупи! Пускай знают, как не в свое дело нос совать...

Вдруг голос у него осекся... Прямо перед ним выросла Чека и впилась ему в лицо горящим, как у бешеной кошки, взглядом. Она была ужасна: рубаха на ней была разорвана, и сквозь лохмотья торчали наружу костлявые плечи и грудь. Платок с головы был сорван, пыльные космы волос, точно змеи, извивались вокруг лица, на щеке чернела глубокая ссадина.

— Чего же не бьешь? Бей, что ль? — закричала она не то со смехом, не то с плачем.— Аль думаешь, не помрешь? Помрешь небось — все сдохнем, всех червь есть будя!..

Губернатор отшатнулся и крикнул красному и потному уряднику, который уже спешил к нему на помощь.

— Чего ты смотришь? Гони ее, ведьму!..

Урядник, стиснув зубы, налетел на Чеку, схватил ее за шиворот рубахи и поволок в сторону. Но Чека рванулась, оставила клок рубахи в руках урядника и побежала по лугу.

— Дурак! — выругался губернатор.— С бабой справиться не может!

Чека бежала, задыхаясь и выкрикивая проклятия. Урядник мчался за ней, ополоумевший от злобы. Догнал, размахнулся, и нагайка со свистом опустилась на голову Чеки. Женщина упала, потом поднялась и снова побежала, но второй страшный удар снова обрушился на нее, она взметнулась, точно подстреленный заяц,сникла наземь и больше уже не поднималась.

Мужики сгрудились, зашумели и всей толпой надвинулись на губернатора. Впереди стоял Иван Семеныч Уклейкин с косой в руках.

— Зачем, барин, бабу бьешь? — с горьким упреком сказал он, глядя на губернатора своими кроткими голубыми глазами.— Ну, бей нас, мужиков, коли твое засилье взяло, а баб-то к чему? Бабы ни в чем не причинны!

— Видать, им только с бабами и воевать! — злобно и резко крикнул Трушка.

Губернатор махнул рукой, на которой еще чернели застывшие брызги мужицкой крови.

— Взять их обоих! — хрипло крикнул он.— Драть!.. Всех драть!.. Без пощады!.. Оцепить... Косы отобрать...

Среди офицеров произошло движение; послышалась короткая команда:

— На руку!..

Солдаты взяли «на руку», и в один миг вокруг мужиков образовалась густая, железная цепь штыков, которая отделила их от всего вольного и светлого мира, где цвели цветы, пели жаворонки, шумел теплый, ласковый ветер, навевавший сарафановцам несбыточные сны о лучшей жизни. Мужики оглянулись и, увидев со всех сторон сверкающую щетину, поняли, что ждать больше нечего, бежать некуда, сопротивляться невозможно.

— Шабаш! — угрюмо проговорил кто-то.— Вот тебе и суд!

Трушку и Ивана Семеныча уже тащили к телеге. Иван Семеныч шел покорно, опустив голову, но Трушка яростно отбивался руками и ногами, рычал, как медведь, и пробовал даже кусаться. Стражники запыхались и ругались. Внезапно Трушка ударил одного из них ногой в живот, вырвался

на минуту и обернул свое окровавленное лицо к солдатам.

— Братцы!.. Солдатушки!..— закричал он.

Но обозленные стражники снова набросились на него; громадный жилистый кулак заткнул ему рот, и крик Трушки потерялся без ответа в глубине небес.

IX

Первым лег под розги Исай Кузьмич. Страшный, с распухшим, посинелым лицом, с затекшим глазом, он, ни слова не говоря, разделся и опустился наземь. Губернатор с ненавистью смотрел на его спутанные волосы, в которых застряли былинки сена, на худую обнаженную спину с проступавшими под кожей мослаками и испытывал злорадное удовольствие от того, что этот здоровый, сильный мужик, который стоял перед ним давеча с таким гордым и спокойным лицом, лежит теперь на земле голый и униженный, в полной его власти и бессильный сопротивляться.

— Мерзавец! — сквозь зубы вымолвил губернатор и насмешливо прибавил: — Что, хочешь теперь суда, скотина? Вот я тебе сейчас покажу суд — небо с овчинку покажется... Начинай! — крикнул он стражникам.

Секли два стражника из унтеров,— секли со вкусом, с оттяжкой, с каким-то зверским удовольствием, выбирая самые чувствительные места и часто меняя обшмыганные прутья на свежие. Особенно старался один из них — ротастый, с бычачьими глазами, с желтыми от табака усами, которые беспрестанно лезли к нему в рот. От усердия у него даже слюна текла, и он поминутно отплевывался и облизывал свои толстые красные губы, как будто ел что-нибудь очень вкусное. Губернатор смотрел на них строго и хмуро, и в его неподвижном, тяжелом взгляде светилось что-то жадное, тупое, звериное, и угол рта под толстыми усами судорожно дергался. Остальные стояли вокруг серьезные, молчаливые, сосредоточенные, точно бить и истязать распростертое перед ними беззащитное, голое человеческое тело было самым важным делом их жизни, точно в этом истязании заключалась самая главная суть всего их существования. Только белокурый поручик стоял, отвернувшись, и сбоку видно было, как его щека то бледнела, то наливалась ярким румянцем. Изредка к Шкворневу подбегал носатый доктор и с часами в руках деловито считал пульс. Губернатор обращал на него вопросительный взгляд.

— Ну, что? Как? Прекратить? Или еще можно? Не издохнет?

— Ничего, можно! — успокоительно отвечал доктор.— Здоров, как бык!

И стражники снова принимались стегать несчастную худую спину, уже давно покрытую кровавыми рубцами.

Исай Кузьмич не кричал и не стонал, только вздрагивал каждый раз, когда прутья впивались ему в тело. Наконец он и вздрагивать перестал, и когда доктор подскочил к нему в последний раз, у Шкворнева не было уже ни пульса, ни дыхания. Студенистый нос доктора побелел.

— Довольно! — сказал он, испуганно моргая глазами...— Будет...

— Он умлел, ваше благородие! — глупо улыбаясь, проговорил стражник.— Ничего, отойдет!

— Оттащить его!..— приказал губернатор, с брезгливой гримасой глядя на истерзанную спину Шкворнева, из которой сочилась сукровица.— Будет теперь бунтовать, такой-сякой.

Когда стражники оттаскивали в сторону полумертвое тело с безжизненно мотающеюся головой и опущенными, как плети, руками, где-то совсем близко, за спиной губернатора, послышался тоненький, всхлипывающий плач. Губернатор быстро обернулся и увидел двух монашков, из которых один плакал навзрыд, а другой старался его увести и изо всех сил тянул за подрясник.

— Это что такое? Кто это? — сердито воскликнул губернатор.

— Мы... мы из монастыря... Поглядеть!..— пролепетал один.— Ивасик, да пойдем же...

— Вон отсюда! Розог захотели? Стражники, всыпьте им...

Стражники двинулись к монашкам. Митроня шарахнулся в сторону, но Ивасик остался на месте и, глядя на губернатора сверкающими сквозь слезы глазами, сказал тоненьким голоском:

— Вас бог накажет за это... Бог!

— Вот я тебе покажу — бог! — стиснув зубы, гаркнул губернатор.— Держите его!..

Видя, что приятель в опасности, Митронюшка схватил Ивасика за полу и во весь дух припустился бежать. Видно было, как Ивасик упирался и иногда замедлял бег, но Митронюшка, более сильный и ловкий, подхватывал его за шиворот, толкал в спину коленками и локтями; происходила

короткая борьба, и затем оба опять летели вперед, мелькая своими черными шапочками. Наконец оба кувыркнулись в канаву, мелькнули еще раз и исчезли.

Губернатор проводил их глазами и, хмуря брови, крикнул стражникам:

— Ну, что стали? Тащи следующего... Вон того старика... кудлатого... Он разговаривать больно любит.

Стражники схватили Ивана Семеныча под локти, и хотя старик не оказывал никакого сопротивления,— ротастый больно ударил его в шею.

— Ну, иди, что ль! — перекосив лицо, злобно прошипел он.— Сымай штаны... разговорщик!..

В толпе мужиков пронесся не то вздох, не то стон. У Дементия Плаксина по лицу проступили бурые пятна и нижняя губа затряслась.

— За что деда бьешь? — громко сказал он.— Где такой закон, чтобы стариков бить? Душегубы! Разбойники!..

Последние слова застряли у него в горле, потому что по мановению губернаторской руки стражники заткнули ему рот и отвели в сторону. Наступила тишина. Иван Семеныч, высокий, красивый, с развевающеюся седою бородой, стоял перед губернатором и спокойно смотрел на него своими светлыми, тихими глазами. Под этим взглядом все почувствовали странную неловкость и смущение; даже губернатор потупился и, вынув из кармана платок, с брезгливой миной стал вытирать с своей руки кровавые пятна. К нему подошел седоватый офицер и что-то шепнул на ухо; губернатор нетерпеливо вздернул плечами.

— Вздор! — отрывисто проговорил он.— Все они бунтовщики... Я имею право. Ну?! — заревел он на стражников, которые топтались около Ивана Семеныча и смущенно переглядывались.— Копаются, такие-сякие... Дать ему полсотни горячих! Пускай поговорит теперь,— я послушаю...

Стражники засуетились, неуклюже срывая со старика пояс, и снова над лугом послышался отвратительный свист розог вперемежку с коротким щелканьем их по живому телу. Иван Семеныч не выдержал и протяжно застонал.

— Что? — злорадно прошипел сановник.— Не нравится? Поговори теперь у меня,— ты мастер разговаривать, такой-сякой... Хорошенько его, хорошенько... Молодцы! Ну-ка, прибавь еще!

Иван Семеныч уже не стонал, а кричал в голос, жалобно, по-детски всхлипывая и ногтями царапая землю. Смутный шелест прошел по рядам солдат; лица мужиков зака-

менели. Белокурый поручик порывисто отошел в сторону и полными слез глазами уставился на пеструю козявку, которая озабоченно ползла по рукаву его шинели, шевеля блестящими черными усиками.

Порка продолжалась до вечера, и только немногие сарафановцы не попали под розги, потому что было уже поздно и губернатор устал и проголодался. «Разговорщиков» — Уклейкина, Шкворнева, Трушку и Плаксина — замертво свалили на телеги и под конвоем прямо отвезли в больницу; пятерых других арестовали и отправили в острог; а остальные, получив строгое внушение не бунтовать, были отпущены по домам. Усталый, но довольный губернатор с приятным сознанием исполненного долга сел в тарантас и уехал к архимандриту пить чай с семью сортами наливок; за ним двинулась и вся его свита: исправник, становой, урядники и стражники. Потом увели солдат, и, когда их тяжелый топот замер за лесом вместе с обрывками разухабистой песни, которую им приказали петь,— над опустевшим лугом водворилось мертвое молчание. На небе догорала желтая заря, и было что-то погребальное в ее тусклом свете, разлитом над истоптанной равниной, где вместо душистых цветов и трав теперь валялись только груды измочаленных, окровавленных прутьев. Но пришла грустная ночь, загасила зарю и все задернула сумраком печали. А там, за гумнами, притаившись в серых потемках, смутно чернела Сарафановка и угрюмо молчала.

X

Луку Зайца не драли, но он пришел домой весь почерневший как земля, с дикими, блуждающими глазами и сейчас же залез на печь, накрылся тулупом и отвернулся к стене. Его трясла лихорадка, и все одна и та же картина мерещилась ему в душной темноте печи, куда он спрятался, чтобы ничего не видеть и не слышать. Видел он зеленый луг, над которым сверкает и движется железный лес штыков, видел красное лицо губернатора с толстыми черными усами, видел худые мужицкие спины, вздрагивающие под ударами розог, и страшная злоба, тоска и обида распирали его иссохшую грудь до того, что трудно было дышать. Тогда он начинал стонать и плакать, но к печи подходила жена и лезла с расспросами.

— Лука, а Лука?.. Ты чего?.. Може, испить?

Лука весь съеживался, поплотнее накрывался тулупом и, ничего не отвечая, душил в себе стоны и плач.

И опять перед ним на закоптевшей стене расстилался зеленый луг, сверкали штыки, поднимались и опускались пучки прутьев, краснела кровь на вспухших, иссеченных спинах... А они, сарафановцы, стояли тут же, молчали и смотрели, как истязают самых лучших их людей, самых смелых, самых почтенных и уважаемых «стариков». Это особенно мучило Луку Зайца, в этом была для него главная обида, злость и тоска... Как они могли смотреть и молчать? Как они могли терпеть, когда на их глазах позорно раздевали и секли, как мальчишку, Ивана Семеныча Уклейкина, самого первого, самого беспорочного человека в деревне? Легкомысленный Трушка и то заступился, а они, бородачи и степенные мужики, ни слова не сказали и только жались друг к дружке, как несмысленые бараны, которых пригнали на бойню резать. «Бараны и есть! — злобно шептал Лука.— Испужались!.. Ясных пуговиц, кабыть, не видали... Эх, дурачье, дурачье, за то-то нас и порют!.. Закричать бы на всю степь, да сгрудиться, да навалиться, небось бы увидали, какой-такой мужик на свете живет... А стрелять бы зачали — пущай... Лучше же помереть, чем эдакую страмотищу терпеть... Э-х!..» И вдруг в Луке закипела такая бешеная ярость против своих обидчиков, что хилая грудь его расширилась, кулаки отяжелели, и он сам себе представлялся страшно огромным, сильным, смелым богатырем, который все может, все сделает, за всех отомстит. «Погоди!..— думал он, обращаясь к воображаемому губернатору.— Погоди, барин, ты еще настоящего мужика-то не видал... Чего ты видал? Зад мужичий видал, а лица своего мужик тебе еще не показывал. Дай сроку маленько, он тебе и лицо покажет,— смотри тогда, кабы и твоему превосходительству не привелось мужику ответ держать. И заезженная лошадь брыкается, коли ее дуром бить, а мужик, чай, не лошадь, в нем душа человечья живет... Ты думаешь, коли мужик, так с этим только и слов, что «мать» да «мать»? Нет, погоди, мы с тобой по-другому заговорим, дай только нам слова найти. Много слов у мужика на сердце, да еще язык на цепи привязан, а вот когда цепь-то раскуем, держись тогда, ваше превосходительство,— подымется мужик и всю твою силушку по былочке разнесет! Позабудешь тогда, на чем стоишь; и рад бы назад податься, да будет некуда...»

Так думал, лежа на печи, Лука Заяц, и что-то красивое,

смелое, горячее зажигалось в его душе, и красивые дерзкие слова сами просились на язык. Он на минуту забывался; черная, закоптелая стена избы куда-то уплывала, и чудились ему во сне широкие, светлые улицы, звон колоколов, говор и гул толпы, стремительный топот множества ног. Идут... идут... идут — и конца им нет... И у всех одинаковые лица — строгие, смелые, мужественные, все шагают твердо и ровно, как солдаты, и у каждого в руках сверкает и переливается на солнце отточенная коса. «Мужик пошел!..— думает сквозь сон Лука Заяц.— Ох и много его — со всей России, должно, поднялся... Гляди-ка, гляди, как шагает... Эдакого не одолеть...» Радостное и гордое чувство подмывает Луку. «Стой, братцы! — кричит он.— И я с вами!..» Он бросается в толпу, зацепляет ногой за камень, падает... и открывает глаза. Перед ним опять грязная, постылая стена; внизу тихо возится и покашливает жена, а он сам лежит на печи под рваным тулупом, такой же маленький, оголодавший, смирный Лука Заяц, как и был, с гноящимися, больными глазами, с торчащим во рту безобразным зубом,— несчастный, смешной, забитый мужичишка!

— Эх, дурачье мы! — шепчет Лука, и снова ему вспоминаются розги, окровавленные спины, штыки, губернаторская матерщина, губернаторская белая рука, ударившая по лицу Исая Шкворнева. Он корчится от стыда и обиды и в сознании своего бессилия горько плачет жалкими, скудными, старческими слезами.

Так пролежал Лука целых двое суток, а на третьи поднялся, поплескал себе на лицо водицей из ковша, помолился богу и попросил у жены «перемениться». Жена взглянула на его обтянувшиеся скулы и заострившийся, точно у покойника, нос и ахнула.

— Родимая ты моя матушка,— да ты никак помирать собрался?

— Помирать,— сиплым от долгого молчания голосом сказал Лука.— Давай, что ли, рубаху-то скорее — идтить надоть...

— Куда еще? — слезливо закричала жена.— Сидел бы уж лучше дома, целей будешь...

И, совершенно позабыв о том, что несколько дней тому назад сама кричала, что луг — ихний и монахам давно пора жир из пуза выпустить, она прибавила:

— И на притку вы связались с этим лугом, пропади он пропадью... Вон Чеку-то как отхвостали — соборовалась вчерась, под святыми лежит. И тебе того же хочется?

Лука ничего не ответил — надел чистую рубаху и порты и пошел во двор. Там он долго лазил под сараем, озабоченно переворачивал разную хозяйственную рухлядь и чего-то искал. Не нашел, заглянул на огород и, задумчиво постояв перед плетнем, с решительным видом выдернул из земли два кола потолще, вернулся во двор и начал тщательно обтесывать их топором. Сосед, услышав тюканье топора, подошел к воротам и с любопытством посмотрел на работу Луки.

— Что это мастеришь, Лука? — спросил он шутливо.— Гроб, что ли, себе?

— Гроб...— неохотно отвечал Лука и еще усерднее затюкал топором. Сосед посмотрел-посмотрел и отошел.

Но то, что делал Лука, был не гроб. Обтесав и обстругав начисто колышки, он сложил их крестообразно и крепко-накрепко сбил гвоздями. Потом достал из-под крыльца две новые тесинки, обгладил их, обрезал концы и прибил в виде треугольника к трем коротким концам сложенных кольев, а четвертый, длинный, заострил топором, чтобы удобнее было втыкать в землю. Вышел крест вроде тех, какие ставят на могилках деревенских кладбищ. Покончив с этим делом, Лука отнес крест на гумно и зарыл его в старую солому, а сам вернулся домой и начал натягивать на себя полушубок.

— А обедать-то? — с недоумением спросила жена.

— Не хочу я...

— Как это не хочу? Два дня валялся не пимши, не емши, и опять не хочу? Святым духом, что ль, сыт? И так, словно мощи, высох...

Лука опять не сказал ни слова, нахлобучил на голову свою ушастую шапку и пошел прямо к Федосье Шкворневой.

Федосья с красными, распухшими от слез глазами сидела у припечки и кормила грудью ребенка. Ребенок громко сопел, втягивая в себя молоко, и косился на мать, которая казалась ему сегодня какой-то чужой и странной, а она судорожно вздыхала и по временам сморкалась в подол. Больше в избе никого не было.

— Ну... здравствуешь!..— сказал Лука каким-то виноватым голосом, избегая глядеть на заплаканное Федосьино лицо.

Федосья молча кивнула ему головой. Лука сел.

— Вот дела-то, Федосьюшка, а? — продолжал он.— Наделали мы делов... Вилами не расковыряешь? Ну и дела!..

Вместо ответа Федосья громко заплакала. Ребенок выпустил изо рта грудь, поглядел на мать и тоже заревел.

— Засыть!.. И без тебя тошно! — закричала на него Федосья и, дав ему шлепка, посадила в зыбку.— Глаза б мои на вас не глядели, уши бы не слыхали — о-ох! горюшко мое, горюшко...

Ребенок замолчал и с любопытством уставился на Луку. Лука сидел понурившись и смущенно ковырял заплату на полушубке. Он чувствовал себя в чем-то виноватым перед Федосьей,— может быть, в том, что ее муж так жестоко пострадал за общее дело, а вот он, Лука, остался цел и невредим. И от этого ему было стыдно, и он не знал, что сказать Федосье в утешение.

— Была ведь я у него, ходила!..— говорила между тем Федосья, плача и сморкаясь.— В больницу вчерась ходила, все ноги стоптала — не ближний свет, пятнадцать верст... Не допустили! Под окнами солдаты, на галдарее солдаты — никого не допущают... Уж я просила-просила, молила-молила, хошь бы мне глазком на него поглядеть — стоят, ровно каменные, и духу изо рта не выпущают... Господи, и что же это за люди на свете живут... аль они не люди, а идолы?.. А Исай-то Кузьмич дюже плох, мне там докторица выбегала — сказывала. До сей поры, бает, занозы из мяса вынимают, и весь он, мой сердешный, пузырями пошел... Гляди, помрет... Что я, горькая, тогда с ребятами буду делать?..

Лука слушал Федосьин плач, и снова в душе его загоралось что-то сильное, смелое, горячее, как огонь... Он встал.

— Погоди, Федосья, слухай!.. О ребятах не горюй — ребят твоих мы не бросим... Покель мы живы — и они живы; мы сыты — и они сыты... А что Исай Кузьмич за нас кровь свою пролил — этого мы во веки веков не забудем и внукам-правнукам закажем, чтобы помнили и навсегда в уме своем держали. Великое дело — кровь человечья!.. Каждая капелька ее у господа бога сосчитана, каждой кровинке цены нету... И который человек ее занапрасно пролил, тому она во времени не росинкой божьей, а рекой-морем отольется... Слышь, Федосья, слово это верно: кто чего посеял, то ему и отродится!

Федосья перестала плакать и с удивлением глядела на Луку. Он весь трясся, точно внутри у него сидел кто-то, сильный и большой, и рвался вон из хилого, дряблого тела. Гнойные глаза расширились и горели желтым пламенем; по лицу бегали быстрые, как молнии, судороги; отрывистые и

красивые слова смело и грозно летели из безобразного рта с торчащим зубом. Это был не смиренный и жалкий Лука Заяц — это был совсем другой, незнакомый человек, и его сильные слова возбуждали в душе Федосьи бодрость и смутную надежду.

— Слышь, Федосья? — продолжал между тем Лука каким-то пророческим голосом.— Видала ты, как в поле хлебушко сеют? Распахала ты землю, бросила семя — и нет его, не видать, и куда оно девалось — никто не знает... Что ж ты думаешь: сопрело оно в земле, и звания от него не осталось? Ан нет, погоди,— прошла зима, пригрело солнышко, и взойдет оно буйным колосом и опять живет, опять в дело идет... Так-то вот оно и кровь человечья,— николи она на земле не пропащая, потому у бога ей счет ведется... Ты-то думаешь себе: убил человека да и забыл, а она, матушка, все помнит! Долго ли, коротко ли, а уж она свое отрыгнет!

— Отрыгнет? — с ужасом прошептала Федосья.

— Отрыгнет! — повторил Лука вдохновенно и даже палкой об пол стукнул.— Попомни мое слово, Федосьюшка, разольется кровь мужицкая, пролитая по всем селам и городам, по храминам и палатам, и будь ты хоть князь, хоть губернатор, хоть сам анпиратор,— она тебя везде сыщет! Встанет столбом огненным и спалит всех наших мучителей, грабителей и судей неправедных. И сгинут они, как мошкара от ветру, и взыграет сердце мужицкое.

— О, господи! — воскликнула Федосья.— Да когда же это будет-то? Никакой силы-мочи нету терпеть! Уж измываются-измываются... Кабыть мы и не люди... У хорошего хозяина скотина лучше живет, чем мы, горькие, крестьяне православные... Мало, что бьют, да еще и в тюрьму сажают... за что? Ох, так и кипит мое сердце, так и кипит! Кабы кто сказал, чего делать надо,— взяла бы ребят и пошла хоть в омут головой, только б правду найти. Да куда идти-то, Лука, а? Где она, правда-то, живет, знаешь?

Но Лука уже сгас, как догоревшая свечка, и, казалось, с тупым удивлением смотрел на Федосью. Глаза его померкли и покрылись гнойной мутью; на дряхлом лице проступила жалкая растерянность. Помолчав немного, он вдруг спросил:

— А где же у тебя Васятко-то?

— А кто его знает... на задворках где-нибудь бегает.

— На задворках? Ну, ладно. Пойду я. А ты, Федосья, не сумлевайся, мы тебя не оставим. Исай Кузьмич — мир-

ской человек... Сиротами не останутся. А може, бог даст, Исай Кузьмич выправится,— мы его на поруки возьмем.

Федосья грустно задумалась.

XI

Лука нашел Васятку на дворе около коровы, которая, видимо, была сыта сегодня и с довольным видом пережевывала жвачку, отмахиваясь от мух облезлым хвостом. Но Васятке все казалось, что она еще хочет есть, и он хозяйственно тыкал ей под морду пучки зеленой травы, приговаривая: «Ну, чего же ты? Ешь, коли дают, а то вот не будет ничего, вот тогда и насидишься?..» Васятка был малый серьезный и в восемь лет имел уже вид настоящего степенного, хозяйственного мужичка. Рос он без отца одиноким, заброшенным солдатенком, видал на своем веку всякую нужду и обиду и давно привык считать себя большим человеком. Он никогда не играл с ребятами на улице, льнул больше ко взрослым и любил слушать разговоры мужиков, вставляя иногда собственные замечания, на которые мужики отвечали снисходительными усмешками. Поэтому он нисколько не удивился, когда к нему подошел Лука Заяц и заговорил:

— Здорово, Васюха! Как живешь?

— Плохо, дядя Лука! Вот тятьку у нас опять взяли,— деловито отвечал мальчик.— Без тятьки дело совсем каюк.

— Каюк, это верно! — со вздохом согласился Лука.— А я, Васюха, за тобой пришел. Пойдем!

— Куда?

— Ты дела-то свои покончил?

— Покончил. Да какие дела — делов-то немного. Вот кабы лошадь была! — с сожалением добавил он.— А то без лошади какое хозяйство? Так, одни пустяки.

— Ну, так пойдем.

Васятка заботливо подгреб траву поближе к корове, огляделся по сторонам, не забыл ли чего, и тогда уже они вышли на улицу. По дороге Лука заходил еще к Уклейкиным, к Плаксиным, к Трушкиной матери, и каждый раз к ним присоединялось еще несколько ребят. Увязались даже две девчонки, тащившие на руках пузатых малышей с сосками во рту и в разноцветных шлыках на голове. Когда ребят набралось больше десятка, Лука оглядел весь свой маленький пискливый отряд и повел его на гумно. Там он

порылся в соломе и достал давешний крест; ребятишки, разинув рты, с удивлением на него смотрели.

— Это чегой-то у те, дяденька? — спросил внучек Ивана Семеныча, белобрысый и синеглазый Володька.

— Нешь не видишь? Хрест! — сказал Васятка солидно.

— Не хрест! — поправил его Лука.— Храмчик.

Васятка внимательно оглядел крест со всех сторон, подумал и сказал:

— Знаю! Это которые на дорогах ставят, где какое несчастье случилось,— к примеру, убили кого...

— Во-во, это самое! — воскликнул Лука.— Умен ты, Васюха, весь в тятьку!

— Да я видал их, храмчики-то эти,— продолжал Васька.— На бугре около Воробьева хутора такой есть. Мы с тятькой однова шли, и тятька велел мне шапку снять и перекреститься. Душу там загубили, оттого и храмчик стоит. Кто ни пройдет, тот и помолится, а душе-то от этого легче на том свете станет.

— Верно, верно, Васюха! Ну, а теперь, кто хочет храмчик нести, держи!

Все сразу бросились к кресту,— каждому хотелось его нести хоть за кончик. При помощи Луки дело уладилось, и ребята, взвалив на плечи довольно тяжелый храмчик, торжественно и благоговейно последовали за Лукой, который шел впереди с заступом в руках.

Вышли на луг и по валам засохшей, истоптанной травы направились к тому месту, где два дня тому назад секли сарафановцев. Здесь Лука остановился и слезящимися глазами посмотрел вокруг, как бы вспоминая все, что здесь произошло. Он долго молчал; молчали и ребятишки, глядя на кучи почерневших прутьев, раскиданных на земле. Прутья уже высохли и скорчились как бы в судорогах боли; земля была вся изрыта и загажена, точно ее тоже били и истязали... и кладбищенская тишина стояла над этим печальным местом. Узорчатые облака плыли по небу, отбрасывая на землю крылатые тени... Казалось, какие-то молчаливые птицы реют над землею и с ужасом проносятся мимо, взмахивая беззвучно темными крылами...

— Ну, ребята...— хрипло проговорил Лука.— Сымайте шапки... сейчас храмчик становить будем!

Ребята бережно положили крест на землю и сняли шапки. У всех лица были серьезные, точно в церкви; даже самый маленький из них, Сенька Плаксин, по прозванию

Груздик, и тот задумался, глядя на Луку большими черными глазами. Лука взялся за заступ.

— Ну, господи благослови!..— сказал он и, перекрестившись, начал рыть землю. Ребятишки тоже перекрестились и, обступив Луку, смотрели, как черная, жирная земля комьями летела из-под заступа.

— Я знаю, зачем храмчик! — прошептал Васятка.— Здесь мово тятьку надысь засекли...

— И мово!..— сказал другой.

— И дедушку тоже!.. — подхватил белобрысый Володька.

Маленький Груздик вдруг горько заплакал, и крупные, светлые слезы, как бусины, катились у него по щекам, падая на черную, изрытую, загаженную землю. Мальчики поглядели на него и еще теснее сдвинулись вокруг Луки.

— Мой тятька страсть сильный! — сказал Васятка.— Кабы один на один, он бы его приложил об землянку! Я, когда большой мужик буду,— ни за что не дамся!

— Ври! Небось солдаты придут — дашься! Они с ружьями.

— Ан не дамся! Я тоже себе ружье куплю. Они на меня, а я палить зачну!

— И я! — отозвался Савоська.

— И я! И я! — закричали все.

Лука между тем кончил рыть яму и вытер полой полушубка вспотевшее лицо.

— Ну, готово! Ребята, подымай храмчик, сейчас становить будем.

Дети бросились к кресту. Груздик заплакал навзрыд.

— Ты чего, милачок? — ласково спросил его Лука.— Об чем?

— Могилка!..— всхлипывая, отвечал Груздик.— Тятьку схоронили...

— Что ты, какого тятьку? Тятька жив, в больнице лежит. Бог даст, выправится, опять домой вернется.

Храмчик подняли, опустили заостренным концом в яму и закидали ее землей. Потом Лука разровнял землю заступом и притоптал ногами.

— Эх, родимая ты наша землица! — приговаривал он.— Из тебя мы страдаем, из тебя кровь свою проливаем!..

И когда на том месте, где бились и корчились истерзанные тела сарафановцев, вырос убогий, из старых кольев

сооруженный крест, в гнойных глазах Луки Зайца опять загорелся огонь.

— Слухайте, ребята! — заговорил он, ударив заступом в землю.— Слухайте и запомните... Святое это место: наша горькая обида тут похоронена... Слухайте, ребятушки, старого Луку Зайца! Нам помирать, а вам жить; возрастайте старикам на смену, да не зайцами долгоухими, а ясными соколами... Плохое житье заячье — весь свой век трусить да по темным норкам прятаться! А сокол — птица вольная, расправит крылышки и летает себе на просторе, по поднебесью... Нет ему ни пана, ни начальника — сам себе господин, сам себе и работник... Возрастайте, детки, соколами, набирайтесь ума-разума поболе, крепше друг за дружку держитесь, малых не обижайте, а большим сами в обиду не давайтесь. А чуть мало-маленько сердцем ослабел — выходи на это место, где старый Лука Заяц храмчик поставил, припади ухом к земле: отцовская кровь тебе сейчас голос подаст!..

Лука облокотился на заступ и так стоял в своей ушастой шапке, в косматом полушубке, серый и пыльный, точно дух земли, знающий все ее скорбные тайны, ее вековечную тоску. Дети смотрели на него со страхом и любопытством; Груздик перестал плакать, и крупные слезы стыли на его худом лице.

— Дяденька, а дяденька! — робко заговорил Васятка.— А теперича-то она будет чего-нибудь сказывать?

— Кто? — спросил Лука.

— Да землица-то!

Лука пожевал губами и подумал, как бы вспоминая о чем.

— А ты послушай... може, чего и скажет! — сказал он наконец.

Васятка лег на живот, приставил ухо к земле и стал слушать. За ним полегли и другие; девчонки посадили своих младенцев под храмчик и тоже распластались рядом.

— Володька, слышишь? — шепотом спросил Васятка.

— А ты?

— Слышу... Кубыть, пчела гудеть... у-у! у-у!..

— Не пчела...— прошептал Васька.— Люди идут... Много-мно-ого!..

— Ой, ребята, чегой-то жутко!..— воскликнула одна из девочек.

И ребятишки снова замерли, прислушиваясь к таинст-

венным голосам земли. Облака бежали по небу, и их сумрачные крылатые тени бесшумно рождались и бесшумно умирали в знойной тишине.

XII

Старая липа в монастырском саду отцветала. Обильные гроздья липового цвета пожелкли и источали тяжелый, душный запах увядания; сытые пчелы, отягченные медом, жужжали лениво и добродушно. О. Юлианий сидел на своей любимой скамеечке и изнемогал от жары; полотняный подрясник его был расстегнут, обнажая жирную, белую шею в складочках и ямочках; с лица катился пот, который он беспрестанно вытирал вышитым полотенцем, доброхотным даянием какой-нибудь рачительной богомолки. Перед ним стоял низенький, лысый монах с лукавыми бегающими глазами, в глубине которых таилось что-то злое и насмешливое.

— О, господи, господи, вскую мя оставил? — вздыхал о. Юлианий.— Так ты говоришь, сено-то у нас того... совсем плохое вышло?

— Какое сено, отец Юлианий? — воскликнул монах горестно, а в глазах заиграли насмешливые огоньки, которые он сейчас же спрятал под толстыми красноватыми веками.— На сене, прямо сказать, мы нынче обожглись — и половины не соберем! То растаскали, то растоптали, ажно душа скорбит. Дай бог, чтобы себе на потребу осталось, а уж продавать и не думай. Не сено, а жмых!

— Что наделали, что наделали! — с сокрушением сказал о. Юлианий.— Ни себе, ни людям! Развратился народ, бога забыл, дерзновенно восстает на служителей церкви... Не то чтобы, как в старину, на обитель потрудиться безвозмездно — норовят сами с обители счистить. Вот он, господь-то, и наказует — и мором, и гладом, и войной, и бичами, и скорпионами... Ну, что же они, как теперича? Смирились?

— По видимости, смирились. Метали мы стога — ни одной души не видели. А стороной слышно — толкуют...

— Толкуют? Что же... как? Толкуют?

— Разное...— небрежно отвечал монах и пустил глаза куда-то в сторону.

— Грозятся? — с тревогой спросил о. Юлианий.

— Да... не то чтобы грозятся... а... баба там у них одна померла.

— Баба? Ну? Какая баба?

— Да там... нагайками, что ли, ее засекли... Будто бы от этого.

— Нагайк... ф-фу, жара какая!.. И несть, иже укрыется теплоты его... фу-у!

Тяжко дыша, о. Юлианий взял с колен полотенце и погрузил в него свой пылающий лик. Пока он утирался, монах исподтишка наблюдал за ним; в сощуренных глазах его сверкало злорадное удовольствие; тонкие губы кривились от сдерживаемой усмешки.

— Так баба, говоришь, померла? — заговорил снова о. Юлианий, вынырнув наконец из полотенца.

— Да, то-то, что померла,— приняв смиренный вид, отвечал монах.— Кто ее знает отчего; может, ей так на роду было написано. А болтают, будто становую жилу нагайкой ей перешибли.

— О, господи, господи, душу мою к тебе воздвигох!.. Что ж, стало быть, ропщут?

— Роптать не ропщут, а... ругаются. Да что: ажно и говорить не хочется!

— Говори, говори!.. Не возбрани словесе во время спасения... Как же ругаются-то?

— Да говорят: Устьинскому монастырю теперь аминь! Какие, говорят, это монахи? Это не монахи, а кровопивцы, не столь богу молятся, сколь свой мамон несытый угобжают... И еще разное такое неподобное глаголют... Дескать, за ихние дела не токмо всю братию надобно искоренить, а и стены-то по щепочкам разнести...

— Сами злосмрадные дела сотворили, а монастырь виноват...— завздыхал о. Юлианий и еще раз вытерся полотенцем.— От кого питались? От кого всякая блага имели? От обители... Бывало, леску попросить, того, сего — все к нам да к нам... А теперь поносят... Ну, да бог с ними, пущай... Господь многомилостив, он не допустит, понеже месть нечестивого огнь и червь...

— А еще что ведь выдумали? — продолжал монах, видимо наслаждаясь смятением о. Юлиания.— На том месте, где их драли-то, взяли да храмчик поставили!

О. Юлианий весь всколыхнулся, багряные щеки его чуть-чуть побелели.

— Храмчик? — упавшим голосом спросил он.

— Да. Прямо на этом самом месте! Для памяти, значит... чтобы и дети, и внуки помнили.

— Дети и внуки...— растерянно прошептал о. Юлиа-

ний.— Ох, чтой-то задушило меня совсем... Поди-ка, принеси мне кваску с медком!

— Кваску? Сейчас.

Монах медленно пошел к калитке, но, сделав несколько шагов, снова вернулся.

— А у нас с Ивасиком чтой-то сделалось! — сказал он.— Вроде как бы родимчик. Бьется и плачет, бьется и плачет! Ходили они с Митроней на луг-то, когда мужиков пороли. С той поры и сделалось. От крови, должно. Кровь увидал.

— Поди, поди... кваску-то! — вымолвил о. Юлианий, слабо махнув рукой.

Монах ушел. О. Юлианий весь распустился, свесил голову на грудь и тяжело дышал. Его душил горячий запах липового цвета; жужжание пчел было нестерпимо; в голове путались какие-то недоконченные мысли, отдельные слова, неясные образы. Баба с перешибленным хребтом... Ивасик... кровь... и храмчик на том месте, где драли мужиков. Храмчик ставят для памяти. И они будут помнить и будут рассказывать детям, дети внукам, внуки правнукам, что на этом самом месте запороли нагайками бабу... Какая это баба? Не та ли черная, худая, как смерть, которая бесновалась и кричала громче всех тогда на лугу? И о. Юлианий из тенистой прохлады тихого монастырского сада вдруг как бы перенесся под горячее, залитое солнечным блеском небо, на широкую, зеленую равнину. Что-то жужжит и сверкает и темною тучей надвигается на о. Юлиания. Это пчелы роятся... нет, не пчелы! Это мужики... идут, идут... и земля стонет под их ногами, и косы, словно молнии, блещут в их руках. «Братие!» — коснеющим языком лепечет о. Юлианий, силясь остановить грозное шествие. Но они не слышат; они идут, и суровы их черные лица, и непреклонна их тяжкая поступь, и косы их мечут жгучие искры. «Посторонись, ваше благородие!..»

— Пропал, пропал! — шепчет о. Юлианий.— Господь бог мстяй мстит ти...

И вот уже он смят, опрокинут и придавлен к земле; страшная тяжесть навалилась ему на грудь, что-то гулко треснуло, и звякнули все разом монастырские колокола, как на похоронах.

О. Юлианий очнулся. Все было по-прежнему; он сидел на скамейке; над ним в узорчатой листве мирно гудели пчелы, и пахло горячим медом. Но отзвуки похоронного трезвона, казалось, еще дрожали в воздухе, и о. Юлианий

никак не мог понять, во сне это было или наяву. Жужжание пчел, тяжелый топот толпы, похоронный перезвон — все это странно сплелось вместе и оставило в душе щемящее чувство тревоги и тоски.

С монастырского двора донеслись какие-то крики и голоса. О. Юлианий вздрогнул.

— Батюшки, что такое? Не перед добром... эдакие сны... Кричат!.. Кричат и есть...

Он поднялся со скамьи и опять сел: по дорожке мчался Митронюшка, этот неизменный вестник всех монастырских радостных и горестных событий. На нем не было лица.

— Отец Юлианий! — закричал он еще издали.— Беда! У нас колокольня треснула!

О. Юлианий смотрел на него с ужасом и беззвучно шевелил губами.

— Треснула! — продолжал Митронюшка, задыхаясь.— Так и расселась, ажно колокола зазвонили... Ой, страшно! Как же теперь звонить-то будем?

О. Юлианий встал и пошатнулся; ноги его не держали.

— По... поддержи меня...

Митронюшка бережно подхватил его ослабшее тело и повел из сада. Вся братия уже высыпала на двор и толпилась вокруг колокольни.

— Стара больно... Ее давно бы на слом пора... Когда еще строено-то,— при царе Горохе. Вся мохом взялась...

— Моли бога, что не во время службы. Несдобровать бы звонарю... Я слышу, как ба-ахнет, чисто пушка выстрелила. И колокола жалобно так зазвонили... словно по покойнику. Это она, матушка, сама по себе отходную звонила!

Лысый монах с кружкой кваса в руке толкался между тем между братией, задирал голову кверху и, как бы торжествуя победу, выкрикивал что-то резким, отрывистым голосом:

— Я говорю, сбывается... Зачем мужиков-то пороли? Жадность обуяла! Горе вам, мытари и фарисеи! Одной рукой в перси себя бияша, а другой — рубаху с нищего сымаша. На словах-то «братие», а на деле — прутие!.. Вот оно и сбывается по слову божию: мне отмщение и аз воздам... И воздаст! И воздаст! Нынче колокольня треснула, а завтра у кого-нибудь чрево треснет...

— Молчи ты...— зашептали монахи, увидев приближающегося о. Юлиания.— Разверз пасть-то... Не кричи, услышит...

— А мне пущай! Имеющий уши слышать да слышит! Я не боюсь! Я не хочу молчать! Одиннадцать лет молчу — будет! Хочу и кричу! Вон камень треснул, а человек не камень... У меня сердце треснуло!

И он метался в исступлении, вздымая руки к небу, и желтоватая пена кваса из кружки текла по его худым и грязным пальцам.

Митронюшка подвел между тем о. Юлиания к колокольне. Дряхлая и обомшелая, как прешедшая предел жизни старица, она осела набок, и толстые балки, на которых висели колокола, перекосились. Из-под самой крыши, по стене, покрытой серо-зелеными язвами и наростами, вилась широкая черная трещина; штукатурка местами осыпалась, и обнаженные кирпичи зияли, словно кровавые раны на живом теле. Холодный ужас таился в недрах расселины и глядел оттуда незрячим, темным оком. Неясные шорохи еще реяли за древними стенами, как будто там шла какая-то таинственная работа, несущая разрушение и гибель.

— Кончилось наше тихое житие! — слезливо прошептал о. Юлиа765, сотрясаясь всем своим дряблым телом.— Грядут времена иные, и будет сие земле в погибель и в опустение... Вот уже оно при дверях — слышим, видим и осязаем... Прииде день великий гнева его, и кто может стати?

Братия испуганно молчала. За стенами все еще слышались шорохи и шелесты, шла невидимая работа разрушения. А в саду над липой жужжали пчелы.



Т. Л. ЩЕПКИНА-КУПЕРНИК

ПЕРВЫЙ БАЛ





Платье вышло прелестное: белый тюль и бесчисленное множество оборочек, так что похоже было не то на облачко, не то на пену, не то на первый снег,— словом, на что-то нежное, воздушное и невинное. Самое генеральшу оно занимало несравненно больше, чем ее дочь, Ольгу Николаевну, для которой оно было сшито. Генеральша даже, когда легла, приказала его принести себе в спальню. Оно красовалось, надетое на манекен, и Марья Филипповна поворачивала его перед кроватью то так, то эдак, а генеральша, утопая в своих подушках, осматривала его в лорнетку и любовалась им.

В просторной спальне было тепло и уютно. Перед киотом теплилась лампадка, в печке, потрескивая, догорали дрова. Огромная двуспальная кровать красного дерева, с которой генеральша не расставалась, несмотря на свое почти десятилетнее вдовство, блистала нарядным белоснежным бельем — гордостью и слабостью генеральши, невинной, как все ее слабости.

Сама генеральша, полная, не старая еще женщина, возлежала в свежей батистовой кофточке под атласным пуховичком, и лицо ее хранило выражение безмятежного довольства. Рядом, на низеньком столике, стояли две чашки чаю, вазочка с вареньем и флакон с ромом — генеральша

любила кушать вечерний чай в постели, когда не было гостей; это было уютнее, чем сидеть вдвоем в большой, торжественной столовой, куда все равно Ольга к чаю не выходила: ее или не бывало дома, или же она у себя в комнате поила каких-нибудь «косматых и лохматых», как с добродушным пренебрежением генеральша называла Ольгиных приятельниц и приятелей. В Ольгины знакомства она, по слабости душевной, не вмешивалась; но с упрямой кротостью пассивной натуры не подпускала их к себе, чуждалась и не одобряла, как не одобряла вообще Ольгиного поведения.

Ее как-то пугала и Ольгина замкнутость, и манера уезжать на два-три дня из города, глухо объясняя: «К подруге», и ее книги, и ее верховая езда, и привычка стрелять по утрам в саду в пустые бутылки, и бесконечное количество выписываемых ею книг — все решительно. Но она всю жизнь ни с кем не спорила: от споров и объяснений у нее делалась мигрень. Она даже прислуге отказать не умела, и это за нее делала Марья Филипповна.

Все, и она сама в том числе, считали ее ангелом, и она так вошла в эту роль, что, если ей что-нибудь и не нравилось, она только поднимала глаза к небу, говоря: «Вот какова моя жизнь!» И старалась об этом больше не думать.

Но сейчас генеральша была в самом радужном настроении: с неделю тому назад Ольга вдруг выразила желание поехать на бал. Это случилось в первый раз в ее жизни, и генеральша прямо расцвела. Она немедленно подняла всех портних на ноги и целую неделю, забыв даже свою обычную мягкую леность, жила в атмосфере тюля, кружев, шелка, цветов,— словом, всего, чего ей сильно не хватало все эти годы. Генеральша была глубоко добродетельной женщиной, верной памяти своего супруга; со дня его смерти она перестала и наряжаться и выезжать, но зато заранее мечтала, как она будет наряжать и вывозить свою красавицу Оленьку. А Оленька подросла — и разрушила все ее мечты: она выказала совсем иные вкусы, «не одевалась, а только прикрывалась», как с огорчением говорила генеральша, и, окончив гимназию, собралась было ехать в Петербург на курсы, но, так как занятия не начинались, она второй год жила дома и, вместо того чтобы выезжать и принимать, запиралась со своими книгами или уходила, а то и уезжала к неизвестным и неприятным генеральше подругам.

Вместо приличного общества у нее бывали «косматые и лохматые», да еще постоянно проходили на ее половину

разные оборванные люди, которых она и кормила, и одевала, и отправляла на вокзалы. Средства у нее были свои, да генеральша и не жалела денег; но она уже начинала опасаться, что Оленька испортит свою жизнь окончательно и никогда не сделает хорошей партии. Ей уже исполнилось двадцать лет! А сидя у себя взаперти, партии дождаться трудно. Сохрани боже, еще вздумает выйти за какого-нибудь такого... в косоворотке!.. Генеральша вся холодела при одной этой мысли. И вдруг Оленька обрадовала ее: сама сказала, что хочет на бал! Правда, и здесь было маленькое разочарование: вопрос платья, цветов и всего прочего она всецело предоставила матери, и хоть та и занялась этим с добросовестной энергией, но все же ей как-то было неприятно такое отсутствие в Оленьке интереса к этим важным вещам. Генеральша неоднократно высказывала по поводу этого свое изумление в разговорах со своей наперсницей Марьей Филипповной, или, как ее звали все знакомые,— «вдовой», хотя муж ее и был жив и только находился в безвестной отлучке. Вдова была худая, сухая женщина лет пятидесяти. Жила она на крохотные свои средства и снимала комнату с мебелью у дьяконицы, но эта комната, главным образом, служила пристанищем ее сундукам, а сама она и дневала и ночевала у генеральши. Для генеральши она была незаменима: никто не умел так вкусно налить чаю, так хорошо растереть вазелином со спиртом и напоить малиной в случае легкой простуды, так выбрать в магазине что-нибудь, чего прислуге не поручишь, и т. д. и т. д. Кроме этого, генеральша иногда страдала нервным сердцебиением и не могла спать одна: тогда отворялась дверь в гардеробную, и вдова спала там на большом диване. Гардеробная понемногу почти целиком перешла в ее владение, там оставались и ее несложные туалетные принадлежности, и ее работа, и даже портрет ее исчезнувшего мужа. Но переезжать совсем к генеральше она не соглашалась, и, может быть, поэтому между ними всегда царил образцовый мир: комната у дьяконицы играла роль стены из «Романтиков». Особое свое почтение к генеральше вдова выказывала только тем, что обращалась к ней всегда во множественном числе: «Дорогие мои!» или «Ненаглядные мои!» — не иначе.

Беседы их на ночь были всегда продолжительны и отличались всегда искренностью со стороны генеральши и все понимающим сочувствием со стороны вдовы.

— Да, вдова! — говорила и теперь генеральша, опуская

лорнетку и принимаясь за свой чай.— Прямо не понимаю я, какая теперь молодежь пошла! Взять хотя бы Оленьку: едва далась примерить: «Прекрасно,— говорит,— мама, превосходно!» А сама даже не взглянула толком! Таковы ли мы были в молодые годы? Бывало, всякому пустяку радуешься... Я помню, мать мне позволила голубую бархатку на шею повязать: так ведь я все зеркала в доме переглядела, прямо прыгала от восторга! А ей все — все равно.

— Ольга Николаевна учеными будут, дорогие мои,— сказала вдова.— Они все над книжками.

— Ах, боже мой, над книжками! Я вот сама институт с шифром кончила, и это мне не мешало и танцы любить, и веселиться, и чудную партию сделать... А Оленька, при всей своей любви к книжкам, даже серебряной медали получить не могла! Никогда я себе, вдова, не прощу, что отдала ее в гимназию. То ли дело институт! В институте и прекрасные манеры привьют, и языки... и пение, и танцы... Это на всю жизнь остается. А в гимназии, кроме знакомств со всякими чуть ли не кухаркиными дочерьми, ничего нет. Это все профессор Грегоровиус виноват. Право, убедил, уговорил... Чтобы не разлучать с его девочками... А меня легко уговорить... Самой жалко было с ней расставаться: думала, отдать в институт — совсем одна останусь. И девочки... А где они теперь, его девочки-то? Одна в Цюрихе, другая — просто неизвестно где. А все гимназия! Налейте мне еще чайку, вдова, только сами!

Когда вдова принесла еще чаю генеральше, та продолжала изливать верной наперснице свое сердце.

— Одна надежда у меня, что ей понравится на балу... Увлечется этим и забудет все свои чудачества. Она ведь такая: уж если чем-нибудь увлечется, так вся без остатку. Господи, хоть бы ее кто заинтересовал!..

Вдова придвинулась ближе к постели и сделала таинственное лицо:

— Что я вам скажу, дорогие мои...

— Что? — спросила генеральша оживленно и даже приподнялась на полном локотке среди подушек, в позе рубенсовской Цитереи среди пены морской.

— Мне что почудилось... Вы только не сердитесь, если я, может, и ошибаюсь. Я думаю, они и на этот бал захотели... потому что не впал ли им в глазок кавалер один?

— Какие глупости, вдова! — разочарованно протянула генеральша.— Какой кавалер ей мог понравиться? Она никого не видит и знать не хочет из здешних молодых людей.

— Из здешних... так ведь есть и нездешние... Воля ваша... Я все замечаю, все слышу: такая уж я приметливая! И не хотела бы — а так вот само в глаза и бросится!

— Да что же вам бросилось-то?

— А вот...— еще таинственнее зашептала вдова,— прошлый раз, как у вас была председательша... и говорила про этот бал... я чай разливала, помните?

— Ну, ну?

— Ольга Николаевна их так внимательно слушали... и говорят: «А князь Гордынский тоже будет там?..» — «Как же,— говорит Анна Викторовна,— натурально будет: они все трое приглашены, помилуйте,— говорит,— мы им так благодарны за их,— говорит,— распорядительность» и все такое... Ольга Николаевна так, знаете, помолчали, глазки опустили, потом и говорят: «Интересно мне на него вблизи поглядеть»... Так, будто равнодушно говорят, а я их личико, слава богу, давно знаю — у самих так ноздри подернулись: верный признак, что они в волнении.

— И пустяки же вы говорите, вдова! — с легкой досадой, ставя чашку за стол, возразила генеральша.— Будто вы не знаете Оленьку! Да Оленька бы и на глаза его к себе не пустила. Ничего вы не понимаете! Он вот, говорят, целые три деревни перестрелял.

— Да уж как хотите, радости мои, может быть, я и глупа, а только любовь не разбирает! Вы его видели? Красавец, стройный, улыбка ангельская; а что ж, что он назначен бунтовщиков усмирять? Он государю служит верой и правдой и защищать нас приставлен! А если он Ольге Николаевне понравился,— я их тоже знаю: ничего не спросят, а пойдут за него — и все тут! И княгинюшкой будут!

— Ах, вдова, вдова...— поддаваясь, хотя еще слабо протестуя, вздохнула генеральша.— Боюсь, что не увижу я ее княгинюшкой! А стоила бы она того! Не следует так говорить о родной дочери, но ведь действительно красавица!

— Вся в мать, вся в мать, красавицы мои! — умиленно подхватила вдова. Генеральша засмеялась и шутливо потрепала ее ручкой по губам, чмокнувшим тут же эту пухлую ручку.

— Не льстить, не льстить! Велите-ка лучше Доре убрать это платье, да и пора ложиться.

Вдова, бесшумно ступая обутыми в суконные туфли ногами, подошла к кнопке и позвонила два раза барышниной горничной.

На звонок явилась Дора — худенькая, цыганского типа

девушка с горящими глазами, в черном платье. Она молча убрала манекен.

— Что барышня делает? — спросила генеральша.

— Легла... читает,— тихо ответила Дора.— Больше ничего не нужно?

— Ничего. Скажите барышне, чтобы очень долго не зачитывалась, а то завтра глаза красные будут!..

У Доры нервно подернулся угол рта. Она наклонила голову и вышла.

— Да вот и прислуга теперь пошла,— вздохнула вдова.— Хоть бы эта Дора... удивительно дерзкая девушка!

— А что? Разве она что-нибудь вам сказала? — обеспокоилась генеральша, не любившая, чтобы ее вдову обижали.

— Нет, грех напраслину взводить. Она знает, как вы, мои золотые, ангельски ко мне относитесь. Разве бы она посмела сказать? Но она так как-то молчит дерзко. И никогда не скажет: «Легли-с, читают-с», а «Легла, читает»...— ну, разве это пристойно?

— Да, это правда. Но уж очень ее Оленька любит, и честная она такая...

— Барышня ей слишком много позволяют. Всюду с ней ездят, на манер компаньонки, читают, разговаривают, как с равной. Ну вот она и загордилась.

— Уж это Оленькино дело... Она ее сама и нашла, привезла откуда-то. Я говорю: есть ли у нее рекомендации? А она мне: «Не беспокойтесь, я ее знаю». Ну, пусть, как хочет...

— А безбожница какая! Второй год у вас — ни разу не говела, постов не соблюдает... В страстную пятницу молоко ела! — с ужасом сообщила вдова.

— Тоже от Оленьки переняла...— вздохнула генеральша.

— А я уж думала, дорогие мои, не из жидовок ли она?

— Ну вот еще! Паспорт ведь у меня: псковская мещанка Дарья Телегина...

— Да, конечно... только не русское у нее обличье!

— Ну, бог с ней! Зовите, вдова, Дуняшу, велите себе постелить, да и ложитесь. Поздно.

— Зачем же мне Дуняшу беспокоить? Я и сама, у меня тут все... Я и чашечки уберу...

Через несколько минут все было тихо и темно, только при свете лампадки белелась в гардеробной длинная фигура с дьяковской косичкой, отбивающая земные поклоны.

И под журчание молитвенного шепота генеральша заснула мирно и сладко.

На следующий вечер зарубовский дом был необыкновенно оживлен. Из комнаты в комнату метались портнихи, горничные, пахло духами, пудрой, утюгами; француз-парикмахер грел щипцы на спиртовой машинке. Генеральша одевалась у себя в комнате перед большим трюмо, у которого зажгли свечи; ей помогали вдова, портниха и Дуняша, и у них шла непрерывная болтовня, рассказы, восклицанья, оханья и смехи.

У Ольги Николаевны было тихо. Ее большая комната, установленная книжными шкафами и полками, скорее напоминала комнату студента, чем молодой барышни.

На узкой железной кровати, беспомощно раскинувшись, лежало приготовленное платье.

Сама Ольга Николаевна сидела перед письменным столом. Этот любимый ее старый стол, с клеенчатой обивкой, был весь закапан чернилами, исцарапан и изрезан ножом. Маленький бюст Толстого, стоявший здесь с ее детских лет, которого она не имела духу удалить, хотя уже давно пережила пору увлечения им, сердито глядел на брошенные на стол перчатки, кружевной веер на белой ленте, букет фиалок, на все, что с таким интересом выбирала для нее генеральша. На стройные ноги молодой девушки уже были натянуты тонкие, как паутина, белые чулки, сквозь полупрозрачный шелк которых просвечивала розоватая кожа, и белые туфельки. Они представляли странный контраст с ее девически скромным бельем без всяких украшений и прошивок. Тяжелые золотисто-русые волосы, которые она обыкновенно носила заплетенными в две косы, двумя пышными волнами ложились ей на плечи. Она сидела, вытянув вперед обнаженные руки, и, обхватив ими колени, смотрела в одну точку. Дора стояла у кровати тоже молча и неподвижно. Обе, и барышня и горничная, как будто забыли, что надо одеваться. В дверь постучали. Обе вздрогнули. Это Дуняша принесла ей батистовый пеньюар.

— Маменька вам прислали. Может француз головку вам убрать?

Дора накинула на Ольгу пеньюар, и за Дуняшей вслед явился черненький улыбающийся француз с гребенкой за ухом.

Ольга чуть-чуть поморщилась, когда его не совсем опрятные и пахнувшие жирной помадой руки взялись за ее

голову. Дора, следившая за всеми ее движениями своими горящими глазами, вся покраснев, быстро сказала:

— Может быть, я вас причешу?

— Все равно мама не успокоится, пока он меня не изуродует,— ответила Ольга и равнодушно отдала голову в распоряжение мосье Жюля. Она сидела молча и машинально глядела в поставленное перед ней зеркало. Оно отражало точно чужое ей лицо, так изменяла его модная прическа. Разделенные надвое волосы прикрыли лоб, и он стал ниже, а глаза, и без того темные и большие, казались еще темнее от соседства золотистых завитков. Наверху мосье Жюль сколол их углом.

— A la greque! — объяснил он.— У madmoiselle такие большие волосы, что ничего иного с ними нельзя поделать. Oh, ce qu'une parisienne aurait donné pour ces cheveux! У наших дам нет волос, одни postiches*. Можно сюда пучок фиалок? Так madmoiselle совсем напоминает madmoisselle Миерис из «Quo vadis»!

Он произносил «Куо вади» и долго еще болтал по парикмахерской привычке, не обращая внимания на то, что ему не отвечают. Наконец он кончил прическу и удалился.

Ольга встала и обвела глазами комнату. Глаза ее останавливались то на том, то на другом предмете. Она точно медлила отчего-то... Потом взгляд ее упал на платье, на неподвижно стоявшую Дору.Она вдруг сказала решительно:

— Ну что ж... надо одеваться.

Дора подала ей платье. Обе молчали. Слышно было, как билось сердце Доры. Громко, сильно, точно кто-то ударял ей в грудь маленькими молоточками, пока она застегивала платье сзади. Опять постучали в дверь.

Вошла вдова и принесла от генеральши кружевной платок.

— Вот, маменька забыли вам дать... Господи, Ольга Николаевна! Да какие же вы красавицы! Точно невеста, в белом!..

Вдова взирала на нее с умилением, даже ручки на животе сложила молитвообразно. Ольга улыбнулась ей одними губами и в каком-то раздумье повторила за ней:

— Невеста...

Вдова еще раз покачала головой.

— То есть всегда бы вам в белом ходить, Ольга Николаевна, а то все в черном, ровно монашки какие! Маменька

* Как у гречанок! ...О, что бы дала парижанка за такие волосы! ...накладные волосы *(франц.)*.

сейчас уж совсем готовы, просили вас прийти к ним, как оденетесь...

— Я тоже... сейчас буду готова! — своим бесстрастным голосом сказала Ольга.— Я приду.

Вдова вышла. Дора продолжала застегивать лиф. Пальцы ее так дрожали, что крючки не попадали в петли. Ольга Николаевна вдруг обернулась и спросила:

— Что, Дора, похожа я на невесту?..

Дора вдруг соскользнула на пол, обеими руками охватила колени Ольги Николаевны, прижалась к ним и замерла. Только плечи ее вздрагивали.

Ольга нагнулась к ней и, стараясь приподнять ее, гладила ее по голове, как ребенка:

— Дора, Дора!.. Где же наша сила воли?..

Ее лицо было бы совершенно спокойно, хотя и смертельно бледно, если б не вздрагивали ноздри. И вся она сейчас, высокая, стройная, красивая, казалась сильнее и старше Доры, хотя была моложе ее лет на семь.

— Зачем не мне, зачем не мне!..— простонала Дора, вся содрогаясь от беззвучных рыданий.

— Дора, Дора! — с нетерпением сказала Ольга, видя, что та не унимается.— Ты же мне делаешь... больнее. Это твоя помощь?.. Я не плачу...

— Я безумная! Я не буду больше! — прошептала Дора. Она все еще не вставала с колен. Нагнулась еще ниже и прильнула губами к беленькой туфле.

— Дора! — Ольга вся вспыхнула, хотела рассердиться. Но в лице Доры было что-то такое, что она вдруг протянула вперед руки и крепко прижала к себе поднявшуюся Дору.

С минуту они стояли молча, обнявшись. Ольга закрыла глаза. Глубокая продольная морщина прорезала ее лоб. Губы были плотно сжаты.

Вдруг она быстрым движением почти оттолкнула Дору.

— Ну, кончено... Довольно. Пойдем сейчас к маме... туда. Лучше сейчас же, что бы ни было... Передай всем привет. Прощай, прощай, Дора!..

Она сильно стиснула ее руку, тряхнула головой и ушла, кивнув головой на стол.

— Принеси все... к маме. Эти... вещи.

Генеральша уже была готова, в фиолетовом бархатном платье, сияющая бриллиантами и улыбками.

Увидав дочь, она даже ахнула и вдруг неожиданно прослезилась: генеральша вообще легко плакала.

— Что вы, мама?..— сказала Ольга, целуя руку матери.

— Мне так жаль, что ты целых два года потеряла! — всхлипывала генеральша, утирая глаза батистовым комочком.— Все взаперти... Всегда в черном, точно бедная курсистка какая-нибудь! А тебе так идет белое... И такая ты у меня красавица!..— И она обняла дочь и поцеловала ее, прижавшись к ней влажной от слез щекой.

У Ольги вдруг что-то дрогнуло в лице. Совершенно неожиданно она спросила мать:

— Мама... а может быть, вы не поедете?

Генеральша остолбенела и даже плакать перестала:

— Что это ты?

Ольга как-то сконфузилась.

— Да так... я подумала, что, может быть, вы... с непривычки... устанете... или не в настроении... Там ведь будет Анна Викторовна...— смущенно объяснила она.

— Что ты, милая, бог с тобой! — обиженно возразила генеральша.— Кажется, я еще не Пиковая дама, от дряхлости не рассыпаюсь. Вдруг бы я на твой первый бал не поехала!

Ольга опустила голову. Мать оглядела ее со всех сторон, перевернула, еще и еще оглядела под оханья вдовы и Дуняши, поправила какую-то складочку, какой-то завиток... Потом начали искать перчатки. Потом пропала лорнетка. Потом отпоролось кружево.

Наконец после долгой возни Дуняша доложила, что лошади поданы, и все высыпали на крыльцо. Вплыла в карету генеральша в соболях, потом луч от фонаря осветил золотистую голову с пучком фиалок...

— Дора, не простудись! — крикнула Ольга срывающимся голосом, увидев Дору, стоящую на крыльце в одном платье с непокрытой головой.

— Все равно уж! — прозвучал в ответ полный отчаяния голос Доры.

Раздался возмущенный оклик вдовы:

— Разве можно так господам отвечать?

И карета тронулась.

В гостиной, в углу под пальмами, где сидели почетные дамы города (и сама губернаторша, и предводительша, и председательша), образовалось нечто вроде святая святых. Все прибывшие гости устремлялись прежде всего туда, прикладывались к ручкам, осведомлялись о здоровье и затем уже отправлялись: молодежь — в большую залу, почтенные старцы — в дальние гостиные, где были раскрыты

карточные столы, а большинство дам — тоже в залу, любоваться своими произведениями в светлых платьицах.

В почетном углу генеральша быстро нашла и место, и добрых знакомых. Пошли комплименты:

— Votre fille est charmante!*

— Это ее первый бал? Как же вам не совестно было, дорогая, так долго не показывать нам этой прелести?..

— Вы увидите, она будет царицей бала. Ravissante, ravissante!**

Между собою дамы потихоньку шушукались. Считали, сколько Ольге может быть лет; находили, что она слишком гордо держится для первого бала.

— Elle manque de*** женственности, душечка! — говорила сухопарая, похожая на старую деву прокурорша.— В девушке, n'est-ce pas главное — женственность. Одна красота ne vaut rien****!

— Но к ее жанру красоты это идет! — возражала добродушная председательша.

— Смотрите, как бы ее у вас скоро не похитили! — вслух обращалась прокурорша к генеральше.— Недолго она потанцует!

На ушко друг другу дамы сообщали, что не будет ничего мудреного, если Оленька Зарубова не засидится у матери на руках: у нее, по крайней мере, сто тысяч приданого!

— Ах, ma chére, больше: две тысячи десятин одной земли да дом в городе!

— Но, говорят, характер пренеприятный... Синий чулок какой-то... Самоуверенная... Эксцентричная, мать — в грош не ставит: да это и видно — voyez les airs qu'elle se donne!*****

И пели вслух:

— Delicieuse! Delicieuse!******

Генеральша сияла.

Ольга некоторое время сидела в гостиной. К ней подлетел представленный ей губернаторшей молодой чиновник особых поручений из остзейских баронов, лучший танцор в городе, и представил ей еще несколько кавалеров. Она отказалась от pas d'espagne, который начинался, так как не

---

* Ваша дочь очаровательна! *(франц.).— Пер. авт.*

** Прелестна, прелестна! *(франц.).— Пер. авт.*

*** Ей не хватает *(франц.).— Пер. авт.*

**** не правда ли... не стоит ничего! *(франц.).*

***** посмотрите, какой важный вид! *(франц.).— Пер. авт.*

****** Восхитительна! *(франц.).— Пер. авт.*

учила его в гимназии; обещала барону вальс, еще кому-то — кадриль, еще кому-то — мазурку. Барон, радостно возбужденный, красивый, блистающий ослепительной манишкой и лаковыми туфлями, на носках которых так и горели два солнышка, умчался в залу, а она осталась на своем месте возле арки, с которого хорошо была видна вся зала.

Белая с золотом зала с огромной люстрой, в подвесках которой играли радужные огоньки, и с электрическими бра по стенам, была залита светом. Оркестр помещался на большой эстраде под портретами царствующих особ, а по стенам сидели дамы и присаживались и вспархивали, как бабочки с цветов, танцующие барышни.

По зале — на огромном свободном пространстве — извивались пестрой, нарядной гирляндой танцующие пары.

Красивые, хорошенькие, только миловидные, изящные,— но все молодые, все оживленные, скользили по паркету барышни — целый цветник. Перегибаясь, улыбаясь, кто томно склонив головку набок, кто задорно откинув ее назад; розовые, голубые, желтые, сиреневые, светлые фигурки, легкие цветные ножки; обнаженные плечи; обнаженные руки; цветы в волосах и на груди; блестящие мундиры, черные фраки — все это мелькало, извивалось, переплеталось, расходилось прихотливой вереницей под звуки изящного мотива.

Ольга смотрела на них. От непривычки, от сильного света, ярких цветов, звуков музыки и легкого гула толпы, благовоспитанного гула, в котором слышался шелест шелковых юбок, вееров, французских фраз, у нее слегка кружилась голова. Она вдруг вспомнила свою подругу, Соню Грегоровиус. Это была бледненькая, болезненная девушка, которой в четырнадцать лет запретили танцевать. Она ей рассказывала:

— Знаешь, как я сделала, чтобы не завидовать? Сижу раз на вечере у Жени Кромской, и так мне захотелось потанцевать, так завидно стало... Я и зажала себе уши крепко-крепко, чтобы не слышать музыки. И вдруг мне стало не завидно, а просто смешно. Все прыгают, делают разные странные движения, красные, растрепанные, точно сумасшедшие... Я с тех пор и не завидую!..

Отчасти подобное впечатление производила сейчас на Ольгу картина бала. После ее обычной жизни, которую она проводила в совершенно иной обстановке, среди людей, живущих трудом и борьбой, преданных страстно одному общему делу, людей по большей части знакомых не только

с трудом, но с нуждой, лишениями, самоотречением,— здесь, казалось ей, собрались существа из иного мира. Этим людям как будто неизвестно было, что делается в эту минуту на их же родине. По их отношению к этой родине они свободно могли бы быть кафрами или зулусами. Они как будто ни о чем не подозревали — ничего не знали и продолжали, безмятежно и с увлечением, смотря по характеру, отдаваться веселью танца, ласке музыки, развлечениям флирта и кокетства...

Ольга во все глаза смотрела на них, и вдруг она вздрогнула, как от электрического толчка.

К губернаторше подходил, позванивая мелодически шпорами, молодой офицер. Это был очень высокий, стройный человек, идеальной красоты, с головою Антиноя, которую только немного портили небольшие, серые, чересчур холодные глаза. Глаза смотрели светло и жестоко, но это скрадывалось очаровательной улыбкой, раздвигавшей алые губы и открывавшей ряд белых, как миндаль, зубов. Он почтительно поцеловал руку губернаторши и на отборном французском языке сообщил ей, что его превосходительство ищет ее.

Она встала, взяла его под руку и вышла с ним.

Дамы заволновались вслед ему.

— Ну, как вам нравится наш новый лев, князь Гордынский? — спросила председательша генеральшу.

— Замечательно красив! — восторженно отозвалась генеральша, не отрывая лорнета от глаз.— И что же... с состоянием при этом?

— Н-нет! но tres bien nè* и на чудной дороге. Так молод и уже полковник... Здесь, знаете, его отряд произвел чудеса: в два дня все было кончено! Действительно, прямо лев, а не человек: совершенно не знает, что такое страх...

Ольга, вся замерев, смотрела вслед Гордынскому. Он проводил губернаторшу до ее супруга и вернулся в бальную залу. Подошел к хорошенькой брюнетке, которая так и вспыхнула, наклонился — и через минуту они уже заняли место среди танцующих. Танцевал он замечательно, с грацией и вместе с силой, ни минуты не был смешон; свою легкую тоненькую даму он как-то и оберегал, и вместе властвовал над нею. Многие засматривались на красивую пару.

Пристальнее, упорнее всех смотрела Ольга. Оторваться не могла. Как-то не вязались в ее голове эта красота,

* из хорошей семьи *(франц.)*.— *Пер. авт.*

это увлечение танцем, это лицо с тем, что она знала, с тем, что привело ее сюда. Она на минуту зажмурила глаза. И тут, не так как у Сони, совсем обратное ощущение явилось у нее...

Музыка продолжала звучать то плавно, то задорно, точно смеялась и поддразнивала легкая, яркая мелодия, сочетавшая безыскусственность испанской песенки и грациозную манерность модного танца. Шелестел шелк, звенели шпоры, пахло духами и цветами... А перед закрытыми глазами Ольги под эту музыку вставали другие картины — другие видения, до ужаса яркие.

Вот убогая комната... Женщина месит тесто для хлеба; ребятишки играют на полу, рядят щепку в лоскуточки... Молодой рабочий собирается отдохнуть... Шум... звон шпор... этих самых шпор! Громкие голоса:

«Ты Васильев?» — «Я...» — «Иди сюда...» — «Помилуйте, за что же?..— женщина восклицает.— Да вы, верно, Якова Васильева ищете, а это Дмитрий?..» — «Не твое дело!» — грубо обрывают ее. Женщина покорно замолкает. Шепчет: «Опять недели на две в тюрьму угодит... хоть бы не дольше!..» В это время на дворе выстрел, целый залп... Она, обезумев от страха, бросается туда, дети за ней, тянут ее за юбку... Жалкая женщина в ней; белая стена забрызгана кровью... Хозяина нет: его расстреляли без суда — по приказанию начальника отряда. *За сходство фамилий!* Женщина рассказывала это им, стоя перед ними с этими детьми, держащимися за ее юбку, и трясясь от рыданий без слез... Ольга была сама в этой лачуге и видела кровавые пятна на белой стене... Но разве эта женщина одна? Десятки, сотни женщин тянутся перед нею. Такой же длинной вереницей, что сейчас извивается по зале под звуки музыки... Избитые, измученные женщины... лохмотья, землистые лица... Девушки, девочки, почти дети — опозоренные, обесчещенные шайкой «карателей»... Вот безумная старуха, у которой на глазах расстреляли единственного сына за то, что он не пошел на работу... Вот женщина с грудным ребенком у груди, в которой пропало молоко в тот день, когда при ней убили ее мужа за то, что нашли у него револьвер... Еще мать, у которой застрелили одиннадцатилетнего сынишку за то, что он не ушел с дороги по приказу... Все обнищавшие, осиротевшие, голодные, с умирающими от голода детьми... О, какая страшная сарабанда!.. Они рвутся вперед, они стонут, рвут свои волосы, царапают ногтями иссохшие груди... Их глаза полны кровавых слез,

их десны распухли и побелели от голода... Сколько их... Сколько их...

Она с ужасом открыла глаза. Но вместе этих страшных призраков по-прежнему по зале плыла розовая, голубая, пестрая гирлянда нарядных, улыбающихся женщин...

Оркестр замолк — но ненадолго. На минуту поднялся шум, шарканье, двиганье стульями, разговоры. Потом дирижер крикнул преувеличенно-значительным тоном:

— La valse, s'il vous plait!*

И чахоточный капельмейстер взмахнул палочкой. Оркестр подражал румынскому. Поднялась и запела сладкая, тягучая мелодия — мелодия «Голубого вальса». Перед Ольгой, изогнувшись, стоял барон и, улыбаясь, глядел ей в лицо: он успел оценить его новизну и красоту и ждал этого вальса с нетерпением:

— C'est la valse promise!..**

Ольга, еще хорошенько не понимая, что с ней и где она, машинально встала, пошла с ним в залу, положила ему руку на плечо и поддалась медленному темпу вальса. В голове ее еще мелькали образы, мысли, картины — но мало-помалу ее нервное возбуждение начало как бы убаюкиваться и скрадываться вальсом, скрадываться, чтобы уступить место другому ощущению, неожиданному и незнакомому.

Зная танцы только по казенным урокам в гимназии, на которые весь ее гимназический кружок смотрел как на отбывание несносной повинности, Ольга и не представляла себе, что такое танцевать с хорошим танцором. А барон танцевал великолепно. Он держал свою даму ловко, как-то в одно и то же время нежно и сильно, минутами почти приподнимая от полу; пол точно плыл под нею. На время ее охватило полное забытье и ощущение прямо физического блаженства, как в детстве, когда она качалась на качелях. Так же захватывало дух, и щекотало в горле, и, наконец, голова закружилась до того, что она приостановилась и прошептала:

— Не могу, в горле пересохло!

— Так вам надо освежиться... Пойдемте, я вам чего-нибудь достану,— заботливо предложил барон и, ловко прокладывая дорогу среди танцующих, повел Ольгу к буфету в соседнюю комнату.

Он подал ей бокал с чем-то искрящимся. Она жадно выпила. Ледяная струя слегка заколола в горле, свежая,

* Вальс, пожалуйста! *(франц.).— Пер. авт.*

** Это обещанный вальс!.. *(франц.).— Пер. авт.*

душистая, похожая на холодный огонь, разлилась по каждой ее жилке.

— Что это такое?

— Coupe glacée*,— ответил он.— Но после этого непременно надо танцевать, иначе вы простудитесь. Это была военная хитрость, je ne vous ferai pas grâce de cette valse**.

Улыбаясь, он опять ее увлек в залу, немного крепче прижал к себе и с минуту так стоял, выжидая момента вступить в вальс. И опять ее подхватило с земли... Шампанское с непривычки бросилось ей в голову. Вальс казался упоительным. Скрипки вздрагивали и стонали, как от наслаждения, и отдавались в сокровенной глубине ее существа. Фиалки у ее груди увядали, и обвевавший ей лицо теплый воздух был душистым и нежащим. Ей казалось, что она чувствует, как переливается алая кровь под ее теплой кожей. Барон шептал ей:

— Vous dancez comme une fée!***

Он не хотел выпустить ее, да и она сама уже не хотела этого. Не хотела, чтобы кончился этот вальс, с каждым поворотом которого она все ближе к чему-то роковому, неизбежному... отдалить бы его конец! Вечно бы, как тени дантовского ада, как сухому листу в вихре ветра, носиться бы вот так, ничего не зная, не чувствуя, не думая...

Она полузакрыла глаза. Волны сладкой, раздражающей музыки обволакивали ее истомой, подхватывали, мчали куда-то; кругом точно море шумело, и сквозь этот шум морской ей казалось, будто кто-то невидимый, но властный нашептывает ей:

«Все отдам тебе, если, падши, поклонишься мне!..»

Да, все это может быть ее!.. Стоит ей отказаться от того, на что она обрекла себя, стоит захотеть?..

Она молода, хороша, она это видит в восторженных глазах мужчин; в ее юном сильном теле переливается горячая кровь... Ее точеные руки созданы для ласки... Захотеть?.. И все ее — этот блеск, бриллианты, запах цветов, эта музыка... Исчезнут, как тень, призраки мучений, цепей, истязаний, всего, к чему она была готова,— и будет только свет, веселье и эта музыка... Сладкая, сладкая музыка...

Но музыка вдруг оборвалась. Очарование исчезло — налицо была действительность.

---

* Замороженное шампанское *(франц.).— Пер. авт.*

** от этого вальса я вас не освобожу! *(франц.).— Пер. авт.*

*** Вы танцуете, как фея! *(франц.).— Пер. авт.*

— Позволите вас проводить к вашей maman? — спросил барон.

— Нет... я отдохну... Я слишком много танцевала.— Несколько минут он обмахивал ее веером. В зале начали готовиться к кадрили. Оркестр играл какую-то интродукцию.

Ольга вдруг еще больше побледнела.

— Вам дурно? — испугался барон.

— Нет... душно! Достаньте мне мороженого...— быстро приказала она. Барон исчез. Ольга встала во весь рост, придерживаясь левою рукою за спинку стула: к ней подводили Гордынского. Он шел своей походкой победителя, гордо держа идеальную голову. Но не дошел до Ольги — и приостановился. Ольга глядела на него, не отрываясь. Что-то жуткое почудилось офицеру в этом взгляде. Так необычна была выразительность этого взгляда, с таким не то ужасом, не то отчаянием смотрели на него широко раскрытые глаза, почти черные от расширившегося зрачка, что этот странный, почти панический ужас передался и ему, и он вдруг побледнел.

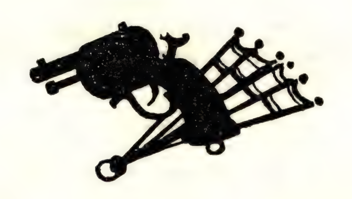
С минуту оба глядели друг другу в глаза.

«Вот, вот оно...» — мелькнуло в голове у Ольги. Мысль о матери пронзила ее только на мгновенье. Все кругом нее вдруг точно пошатнулось, повалилось куда-то в бездну, свет потемнел — она ясно видела перед собою только красивое, бледное, жестокое, потому что улыбка сбежала с него, лицо... Она быстрым движением опустила руку за корсаж. Что-то блеснуло в ее руках... Выстрел, другой, третий... Офицер взмахнул руками и упал.

Остановилась музыка. Послышались женские вопли. Когда ошеломленная толпа пришла в себя и прихлынула, по зале уже бежал дежурный полицеймейстер.

Ольга стояла неподвижно, зажав в руке револьвер.

Гордынский лежал убитый наповал.



Е.М. МИЛИЦЫНА

В ОЖИДАНИИ ПРИГОВОРА





Светает. В густом морозном воздухе тонет большой город. Иней льнет к домам, придает каменным громадам смутные мягкие очертания, стирает с них краски, пушистым налетом ложится на арках ворот, выступах подъездов. Толстые белые проволоки телеграфа, телефонные сетки, электрические фонари, обындевевшие решетки садов — все сливается в легком призрачном рисунке.

Улицы еще пустынны. На главной из них около высокой сквозной кирпичной ограды видна кучка народа. Мягкий покойный колорит утра ложится на большие широкие фигуры мужиков в серых свитах, на овчинные полушубки баб, обмотанных теплыми платками, на холщовые сумочки с хлебом, беспорядочно наваленные на снегу около запертых ворот. Крестьяне ходят перед ними взад и вперед, заглядывают сквозь просветы ограды на большой, пустынный двор, в глубине которого угрюмо, словно сторонясь от большой улицы, высится старинный барский дом, с густым парком за ним.

Они испуганно смотрят на черные, слепые, переплетчатые окна дома, на таинственную дверь, прячущуюся за толстыми облупленными колоннами, на его широкое рассевшееся крыльцо и обвалившиеся орнаменты со львами и

копьями над балконом, на развалины служб, разгонистым полукругом обхватывающих с обеих сторон широкий двор.

И то томительное ожидание, с каким они приехали сюда из дальних сел и деревень в военно-окружной суд, заседающий в этом доме, связывает их испуганную мысль с прошлым величием дома. Тут будут судить их братьев и сыновей за поджоги и нападения на усадьбы помещиков, и в этом молчаливом, разрушающемся доме произнесут им приговор.

И в смутных, страшных образах встают перед ними неведомые им тени былых владельцев этого дома, и другие, было стершиеся из их памяти, как барельефы на нем.

Отделившись от кучки, ходит взад и вперед высокий седой старик и подолгу смотрит белыми, помертвелыми глазами на дом, стонет, сплевывает в тоске слюну, и кажется ему, словно он проваливается в какую-то тьму, и не выбиться ему из нее, как не выручить из острога и петли сына, хоть и привез он целых четверых свидетелей на него, которые, как изваяния из серого камня, молчаливо стоят у страшных ворот. И теперь ему представляется уже небывалою дерзостью тот поступок сына, которому старик сам раньше сочувствовал, так что «блаже́й» было бы «вернуть все на прежнее» и примириться с ним, чем затевать то, что привело в этот дом.

Но кто-то неживой, неумолимый скрылся в нем, и нет к нему доступа.

Старик еще помнил, как пустой двор перед домом бывал полон возков и карет, как гремела музыка в доме и легкие тени мелькали в его окнах.

Отошло крепостное право, и дом долго стоял заколоченным. Угрюмо смотрели окна; обваливалась штукатурка; над старым парком тучами носились и вили в нем гнезда вороны. Бывая в городе, старик часто проезжал мимо дома, уже не интересуясь знать — живет ли кто в нем,— и даже не замечая его.

Прошло еще много лет, и дом опять привлек к себе его внимание: из открытых окон его несся нестройный гул песен, гармоник, гиканья и свиста. Над губернией была объявлена чрезвычайная охрана, и в доме стояли казаки.

Опять двор был полон лошадей, и мелькали красные околыши, ухарски заломленные над взбитыми чубами.

Пронеслась волна революции. Потухли пожары помещичьих усадеб, стихли возбужденные речи, в испуганной

мужицкой памяти улеглись страшные картины усмирений. Уехали казаки.

Дом снова опустел, точно вымер, и только временами словно просыпался от какого-то долгого сна и удивленно смотрел на улицу своими скучными окнами, а по вечерам до поздней ночи горел весь каким-то упорным, немигающим, тусклым светом среди мрака и тишины широкого двора.

Это значило, что в доме шли заседания приехавшей в город сессии военно-окружного суда. И тогда каждый день гоняли в него и обратно из губернской тюрьмы арестантов. Одни шли, озираясь как пойманные звери, другие — гордо окидывая улицу взглядом и так звеня своими кандалами, словно на них были драгоценные украшения.

Медленно двигались к нему, занимая всю улицу, большие партии участников городских революционных организаций. Вон в переднем ряду партии молодое улыбающееся лицо минного матроса, его храбро расстегнутая на морозе арестантская куртка, открывающая высокую грудь, его блестящие, щегольски подобранные одной рукой цепи на франтовских арестантских штанах с большими медными пуговицами по лампасам. Его довольная вызывающая фигура точно дополняет суровый облик бледного бородатого соседа с тонкими раздувающимися ноздрями и горящим фанатизмом взглядом — главаря всей организации — и резко оттеняет глубокую задумчивость, застывшую не то вопросом, не то сожалением о чем-то, в мягких чертах сельского учителя по другую его сторону. А рядом с ними и сзади исхудалые фигурки девушек, взявшихся под руки, с нежною улыбкою на истомленных тюрьмою лицах, и пиджаки и поддевки рабочих, и еще что-то, не поддающееся определению, подслеповатое и растерянное, словно ошибкою попавшее в сомкнутые ряды.

Бледные, усталые, они тянулись к людям, стоявшим на тротуарах, каким-то особым, вопрошающим взглядом, острым и наблюдательным, мгновенно схватывающим все оттенки выражений: привет, улыбку, грусть, бесконечную тоску материнских глаз, их слезы и злорадные огоньки иль покойное равнодушие и любопытство остальных. Вот в толпе высокая женщина и черный сосед ее с тонким усталым профилем — это «они» — близкие, рассеянные теперь всюду. Их много. Они еще таинственны для некоторых из идущих в партии, но уже один их вид, глубокий взгляд вызывает страстное, неудержимое влечение к ним,

и напряженно вытянутые шеи втягиваются, острые глаза загораются теплою радостью встречи.

Плавные, усталые движения подсудимых, выражения их лиц сливались во что-то удивительно цельное, словно они двигались под музыку неслышного марша, сотканного из самых тонких отражений мысли и ускользающих, непередаваемых движений души, вызванных дорогими встречами, вспыхнувшими огнем желаний, тоской замкнутой, заглушенной страсти... Многие словно видели чрез лица и улицу свой долгий путь на каторгу или виселицу.

Подчиняясь маршу движений, торжественно ехали вокруг конные стражники, и в такт ему шагали конвойные солдаты, с обнаженными саблями на плечах. В такт провожала их толпа, останавливаясь на перекрестках и подолгу прощаясь с ними взглядами.

— Скоро ль наших-то пригонют? — спрашивали время от времени бабы, уставшие носить и баюкать грудных детей, заглядывая красными, бессонными глазами вдоль все еще пустой улицы.

— Не дождусь, умру, не прощусь,— стонал старик с помертвелыми глазами.— Тимохин отец умер... Небось ждет теперь Тимоха увидеть его с нами, а его уж и схоронить успели. Так и я с тоски одной помру.

— Как теперь сказать Тимохе-то, што отец помер и жена родила неблагополучно! Умрет до петли.

— Молчать надоть. Одно слово — молчать.

— Што ж теперь поделаешь-то? Вот и мой мальчонок умирает; чую, умирает. Може, уж и умер: давешь не копошится,— прислоняя круглое лицо к отверстию подвернутого полушубка, нараспев говорит маленькая круглолицая баба, которую звали Марьей.— Велел беспременно привезть: «Я,— говорит,— подержать-то не дадут — так хошь через решетку на него погляжу в последний разок». Привезла, а он умираить... Да мне што: мне бы ему-то живого показать, а там пусть — все равно погибать. И всем пятерым не жить.

— Вы, бабы, хошь раньше времени-то не войте.

— Погодите, всего еще навидаетесь.

— Суд не нынче кончится. Не все сразу,— успокаивали их большие, загадочно покойные мужики.

— Будете плакать, ничего не поймете.

— Знаю, што так. Где уж тут? — соглашались бабы и опять ходили перед запертыми воротами или сбивались кучками около телеграфных столбов.

Улица оживлялась. Показались извозчики, конки, разносчики газет. Учащиеся, чиновники, барыни, простой люд двигались как в тумане перед ожидавшею у ворот группой. Иногда к ней подходили, расспрашивали и, уходя, бросали ей в свою очередь несколько слов, смутною тревогою ложившихся ей на сердце. Часа через два они знали, что суд уже присудил в эту сессию восемнадцать человек к смертной казни.

Но вот движение на улице замедлилось; на перекрестках стал останавливаться народ.

— Гонят!

Бабы бросились было навстречу, но вернулись и замерли у ворот вместе с мужиками. Показались верховые стражники, конвойные с саблями и в средине их темно-бледные лица арестантов, почти неотделимые от серых шапок и курток.

Широко расставляя скованные ноги, путаясь в цепях и деловито поддерживая их, они спешили, спотыкались, вязли в снегу и тянули за собою скованных вместе, словно их гнало что-то, что знали и видели только они.

Кругом слышались грубые окрики: «Стой! Осади назад!»

— Ты куда! — перегородил старику дорогу конный стражник, замахиваясь над ним плеткой.

— Сын он, сын мне.

— Был сын, и держал бы около себя. А пустил в тюрьму, наш стал. Прочь!

Скованная масса подошла к воротам и скрылась во дворе. Бабы опять было кинулись ей вслед, но их вытолкали, и ворота снова затворились. Возле дома долго еще слышался лязг кандалов и окрики конвойных; потом все стихло, двор опустел.

— Ну теперь идите и вы,— подошел к воротам солдат.— Родных велено впущать. Да только пачпорта чтоб там предъявлять,— предостерегал он, отворяя калитку.

Подхватив сумочки, толпа спешила к открытым дверям суда.

Грязная лестница, широкие оборванные двери с блоком, высокие комнаты с лепными остатками на потолках, клоки обоев и выбитый паркет говорили о недавнем пребывании казаков.

Крестьяне пугливою кучею сбились к засаленным, изрезанным ножами и исписанным окнам в передней и долго стояли, оглушенные, неподвижные, молчаливые.

В соседней комнате теснились солдаты, пригнавшие

арестантов. Среди них виднелись рослые стражники в лохматых овчинных шапках с характерными отпечатками страстей на лицах и угрюмая, тяжелая и неповоротливая тюремная стража в своих черных, словно траурных, формах, тупая, молчаливая, с тяжелыми бездушными взглядами. Она как-то не подходила ни к деревне, ни к городу и, казалось, родилась и выросла в тюрьме, впитала в себя ее жизнь, толщу стен, оглохла, ослепла для человека и покойно гоняла арестантов, не замечая ни их лиц, ни убыли, ни смены.

Дверь в свидетельскую была полуотворена. Крестьяне видели в ней своего попа, маленького, в коротенькой зеленой ряске, из-под которой виднелись рыжие, заплатанные сапоги, видели его круглые, беспокойные глазки и жидкие, льняные пряди по плечам, высокого, рябого монопольщика, раскосого и хитрого, его жену с белыми глазами, молчаливую и напуганную, и своего урядника с острой, удлиненной головой и зеленоватыми глазами над выдавшимся носом и толстыми губами.

Попа они не боялись; они знали, что показания его не останутся для них тайной, а он дорожил своим приходом. От урядника зависело многое. Перед отъездом на суд в селе и ночью в городе, на вокзале, его хорошо угостили из боязни, чтобы он «не наплел чего», и теперь ото всех этих угощений лицо его было красно и полно какого-то хитрого добродушия, а нижняя губа свешивалась. Он со всеми заговаривал, кивал на следующую комнату, где были сложены вещественные доказательства, смеялся, потирал руки и все выходил в переднюю. Рябой монопольщик, подозрительно косясь на родню подсудимых, опять уводил его под руку в «свидетельскую».

Мужики особенным, загадочным взглядом всматривались в урядника, каждое движение которого казалось им многозначительным. Уже два года, как он жил в их селе, гулял на их свадьбах, был общим кумом и сватом, но как только являлась возможность придраться к чему-нибудь — из свата и кума вмиг превращался в крючка, из доброжелательного советчика — в лукавого и жестокого предателя. Крестьяне знали, что у него нет ничего цельного, что весь он источен червем хитрой разлагающей мысли, нет даже цельной правдивой ненависти к ним и он — только лгун, и тем не менее, когда из села забрали пятерых и урядник пустил слух, что жалеет их, отцы взятых ходили к нему, кланялись, просили «постараться» и отдали ему

«пока» по пятерке. Урядник обещал «выправить», посоветовав не тратиться на защитников и положиться на него одного. Теперь же он хвалился, что три часа будет держать речь перед судьями.

«Выдаст,— думали мужики, следя за ним.— Спасибо не послушались, защиту взяли. Для того и брать не велел, штоб ему не помешали перед начальством выказаться».

Высокий старик стонал и уже не надеялся больше на своих четырех свидетелей, которых он долго уговаривал и «угощал» всячески, перед тем как привезти — судьи и не посмотрят, думалось ему,— поверят уряднику. Старуха больна; самому дай бог до дому добраться — уж не встану. А тут еще защите плати; и похорониться нечем будет. Да еще вперед требуют: а ну как на петлю?.. Жеребец заводский, две кобылы, корова — прахом пошли. Пока в уездной тюрьме сын сидел, писарям одним да надзирателям сколько всего перевозил. «Вот, вот, говорили, выпустим; жди». А заместо того — в губернскую перегнали; пропало все мое ни за што. Да в придачу еще и петля... А за што?

Старик никак не мог понять ни письменных законов, ни чрезвычайного положения. Он знал только, что сын вместе с другими парнями, встретив на дороге своего барина, посмеялся ему: «Из гнезда-то скоро придется фить!» — а его товарищи отобрали у барина револьвер, хотели было и часы взять, но часы он упросил оставить «ради отцовской памяти». У другого помещика они омет ржаной соломы сожгли — тот самый, за который он зимой назначил по пяти рублей за воз. А што в монополию ночью вломились, деньги отобрали — думали землицы на них весною принанять — так их всего-то там по два рубля тридцать копеек на человека оказалось. И монопольщик первый пальбу открыл — руку Тимохе прострелил, а сам теперь простреленный пинжак суду кажет. Да уж коли бы пинжак-то на ем был, а то — на стенке висел... А што шашка в доказательствах приложена, так шашку при обыске сын сам принес: в риге была «ущемлена». Може, и не нашли бы... Наговорить-то все можно: вишь, в монастыре у игумена деньги отобрали; стражника да сыщика убили. А хто видел?..

До всего доходила мысль старика; но как только он узнал, что сыну грозит петля, «в голове вдруг похолодело и потемнело; ослаб весь, а сердце с того времени зажглось».

Старик гнулся, мотал головою, словно хотел вытряхнуть из нее страшную мысль, и порою, забывшись, удивленно

всматривался в лица стражников иль, вытянув шею, напряженно прислушивался к чему-то.

Бабы сидели рядом на длинной скамье, закутанные в платки, из-под которых выглядывали только их тяжелые глаза с темными набухшими веками, покрасневшие носы, вспухшие губы. Они сидели молча, неподвижно, отдавшись в полную власть безысходного горя. Ужас, от которого они состарились и высохли за два года сиденья мужей в тюрьме, придвинулся теперь так близко к ним, что они уже могли видеть и слышать его: суд протянется еще два, три дня, а там, говорят, и казнь в двадцать четыре часа после приговора или вечная каторга. Позади же, в деревне, бессильная одинокая борьба с голодною смертью.

Беременную бабу с четверыми детьми уже гнал из дому пятнадцатилетний брат мужа. «На што вы мне сдались — кормить вас! Ступай за им!» — кричал он как-то подвыпивши. Ни свекор, ни свекровь не вступились.

Другой бабе, жившей в отделе с мужем, родня его запретила что-либо продавать из хозяйства: «Он теперь все равно решенный. Може, наши дети щастливы будут — им хошь што-нибудь достанется. А тебе жаних готов. Твое дело замуж итить».

— Муж-то жив еще! Не хочу! — отбиваясь то от одной, то от другой из подосланных советчиц, кричала баба.

— Не хочешь — в город иди: у тебя всего одна девочка; тебя в кухарки и с ней возьмуть.

Третья не обижалась ни на родню, ни на «общество», а на жену одного из товарищей мужа, который был в бегах. Жена этого товарища должна была отдать ей пятьдесят рублей, какие при дележе добычи пришлись на долю ее мужа. Из этих денег она получила всего пять рублей; а когда перед отъездом на суд пришла просить остальные — на защиту мужа и горько плакала, ей дали еще рубль.

— Хорош товарищ — сам на воле гуляет, а моего в петлю гонит — рубль дала. Не на смех это?

Сердце ее рвалось от обиды, от острого желания мести и сознания в то же время, что она не выдаст, и этим пользуются.

— Ох и люди ж! — вздыхала она.— Тех же Мирошниковых взять: на какие деньги такую свадьбу справляли? Сыну петлю назначили, а они по всей улице песни играют, девку выдают... Да ведь кто плясал-то? Мать... Какими ногами?.. А другим и вовсе до тебя дела нет. Где ж тут правде быть?.. Не миновать ему петли. Рази защита даром будет старать-

ся? Она небось как и звать-то его забыла. «Ишь, мол, в пяти делах участвовал; одним из самых главных считался, а какие-то пять рублей дает». Лучше уж ничего не давать, ему поберечь.

И она тяжелыми глазами всматривалась в страшную дверь, около которой блестели обнаженные сабли.

Четвертая, красивая молодая Дарья, которую уже заметили солдаты и стражники и подмигивали ей, сверкала белыми ровными зубами и все отводила в сторону большие карие глаза, в которых солдатам казались вызов и чувственный смех, несмотря на то что Дарья сердилась на них.

Девять лет она прожила с мужем в богатой избе его отца. Свекор был скуп и жесток. За ним стоял целый ряд преступлений, которые, казалось, переплелись с каждым днем его семейной жизни. За одно слово укора он убил свою тещу; через год так посадил о пол жену — за то, что она снесла ковригу бедной вдове, что та, безмолвно прохворав три недели, отдала богу душу. Даже восьмидесятилетний слепой отец его, укорявший сына за такие поступки, боялся в последние годы своей жизни ночевать дома и скитался по соседям. И только Константин, муж Дарьи, в малолетстве страшившийся отца пуще огня, резко восстал на него после смерти матери. Старик поспешил вторично жениться и вместе с молодою женою стал издеваться над сыном и невесткой, кормившей грудного ребенка. Их старались «задавить» работой; а в то время, как они переезжали с поля на поле, убирая большие посевы отца, их хилый мальчик целыми днями валялся без пищи, обгаженный, облепленный мухами и «тянул из родителей душу».

Константин стал пьянствовать, а на вино воровать у отца муку, зерно. Дарья плакала; просьбы бросить пить не действовали. Между молодыми начались раздоры. Дарья стала ходить с синяками; когда же на ней появлялось новое платье или платок, свекор еще пуще злился, допытываясь у сына, откуда это взялось. С обеих сторон страсти разгорались, и скоро уже не было дня, когда или сын не боялся за свою и Дарьину жизнь, или отец с мачехой. Ужасом этой жизни воспользовались. Константину предложили принять участие в ограблении винной лавки. Рассчитывая развязаться через это с ненавистным домом отца, он согласился и теперь за три рубля двадцать копеек, пришедшихся на его долю, ожидал петлю или каторгу. Жизнь Дарьи, как забрали мужа, стала еще невыносимее, а на просьбы у свекора марки на письмо к мужу она слышала неизменный

ответ: «Тыльки на марки и будем робытымо. Попався — хай сыдыть». Ребенок вскоре умер, Дарья ушла от свекра. Вся прежняя жизнь словно тяжелая глыба отвалилась от сердца. С мужем связывало только то, что, воруя у отца на вино, он старался также «нагодувать як-нибудь больну дытыну». А еще она была благодарна ему за то, что он прислал ей из тюрьмы письмо, в котором велел ей выходить замуж, «як тыльки его отжинуть зовсим», и теперь приехала в суд не столько ради свидания с ним, сколько — чтобы переговорить с его защитником: может ли она последовать совету мужа, если его сошлют на каторгу. От нее веяло степью, загаром солнца, избытком молодых, неизжитых сил.

Около нее тихо сидела худая белокурая женщина с громадным животом, прислушиваясь к жизни того, кто не позволял ей ни шевелиться, ни плакать.

На коленях ее соседки с приветливым умным лицом, Фионы, барахтался годовой мальчик, выпучивал глазенки, остро смотрел на мать и поминутно схватывал ее цепкою ручонкою за нос. Мать улыбалась ему сквозь тихие, частые слезы: ребенок был вылитый отец.

Маленькая Марья, та, что привезла мальчика по просьбе мужа, видела, что ребенок умирает. Она не боялась, что ей придется, может быть, дня два, три носить с собою его трупик, завернутый в пеленки — «под забор ведь не кинешь и в людях мертвенького не оставишь».

Распродав, что было можно, и навязав все вырученные деньги на крест — на защиту мужа, и наперед лишая себя этим всякой возможности кормиться с детьми, она шла ко дну кротко, послушно, довольная сознанием, что муж вспомнит на казни, «как она об нем старалась».

Ее Ефима «задавила нужда» на полудушевом наделе. Тихий и безответный, как Марья, он упорно бился на нем с пятерыми детьми, выдал сестру, схоронил отца с матерью; а когда единственную лошаденку увели из ночного, биться уж не хватило сил.

— Будет тебе дурака-то строить,— предложили ему.— Пора за ум взяться. Видишь — у нас на все хватает, а не ломаем горб. И Марье твоей пора лохмоты-то сбросить, барыней будет ходить.

Угостили для храбрости. Дал согласие и вместе с Константином попался на первом же «деле».

Прислонив к своему темному лицу посиневшее личико ребенка, Марья закрыла глаза набухшими веками и, казалось, заснула вместе с ним каким-то смертным сном.

Звякнули цепи. Бабы, старик, мужики в свитах, вздрогнув, вскочили с мест, образуя узкий проход. Блеснули сабли, показались скованные попарно арестанты. Родня, жадно вытянув шеи, смотрела на них расширившимся вопрошающим взглядом.

Глаза у всех были какие-то пустые, прозрачные, выцветшие, а сквозь эту пустоту и прозрачность смотрело что-то острое, похожее на притаившийся ужас и бешеный гнев. Одни смеялись, кивали головами; другие молодцевато подтягивались, но и смех, и молодцеватость, казалось, тоже были где-то на поверхности блестящих зрачков и не захватывали живой глубины человека.

Арестантов провели обратно. Взволнованная родня долго не садилась, смотрела на дверь, прислушивалась, и чуть только звякали цепи, кидалась в сени и ждала. Провели еще четверых, потом двоих.

— Семейство живо ль? — кинул называемый Тимохой, не видя отца.— Хозяйка?

— Слава богу! Слава богу! — быстро залепетала мать, кланяясь, чтобы этим скрыть свое смущение.

Заметив, что на лестницу вышла и Дарья, туда же направились два стражника. Они долго стояли, курили и переговаривались, улыбаясь ей.

По ступенькам легко и молодцевато, словно играя тяжелыми кандалами, поднимались два арестанта: худой и черный Ефим и высокий, статный блондин — муж Дарьи. Он уже заметил что-то особенное в поведении жены и теперь поглядывал на нее как-то сбоку, одним глазком, как смотрят орлы, и улыбался тоже какою-то особенною, тюремною улыбкою, словно желая показать, что он уже выше всего; и даже на жену, которая, может быть, «гуляет», смотрит так же беспечно и храбро, как на ожидавшую его виселицу или вечную каторгу. Но губы его заметно дрожали, а нижняя бессильно свешивалась.

— Ну, ну! Пофорси еще! Немного осталось! — кинул ему вроде шутки стражник.— Тебе ведь, Глущенко, вот что,— картинно провел он по горлу рукой.

Арестантов словно толкнул кто. Стражник потешался над их бледностью, мгновенно залившей еще недавний отблеск жизни. Рот его раскрылся; видны были даже желтые, кутние зубы.

— Чего ощерился? — кинул ему Глущенко.— Знаю тебя!

И в этом «знаю тебя» была такая сила отвращения и

такой жгучий огонь мести, что смех стражника застыл в его глазах и только судорогами злобы сбегал с лица.

— А што ж?

— То, что над этим не смеются. Человек тоже.

— И смеяться не буду, как язык высунешь, вроде бешеной собаки.

— Подавись им!

Весь разговор произошел на трех-четырех ступеньках. Быстрый, как ураган, он смял все человеческое, бросив обоих в бездну кошмарных отношений, диких взглядов, нервных улыбок...

Конвойные быстро распахнули двери и втолкнули в них арестантов, словно спеша загородить их своими спинами от разъяренного стражника.

Бабы оцепенели.

Стражник грузно привалился к перилам и несколько минут дрожащими руками закуривал папиросу, то нервно мял ее, то вынимал изо рта. Побелевшее лицо его мало-помалу успокаивалось; под глазами ложилась усталая синева.

— Нынче их каждый день, как собак, десятками давят. Че-ло-ве-к,— протянул он с презрением и, замяв огонь, далеко отбросил папиросу.— Что ему веревка? Он давно к ней готов... Другой идет, как на праздник: «Здравствуй, говорит, петёлочка моя желанная, давно меня ждешь»... Веревкой их удивишь. Даже петлю сам наденет — вот до чего дошли... Священник к нему с крестом, а он: «Отойди. Мне, говорит, веревка милей твоего креста. Убирайся с ним вон куда!»

Бабы слушали с неподвижными глазами, полными ужаса. Перед ними вставал мир, куда не долетали ни мысль их, ни плач, ни мольбы, в котором далекими и чужими казались им мужья...

Стражник недовольно взглянул на них и резко оборвал речь.

Они вернулись в переднюю и с тревогой в голосе шепотом передавали слышанное на лестнице. К ним придвинулись мужики и тянулся тоскующий старик с помертвелыми глазами.

— Сон я нынче ночью какой видел: не знаю уж когда и спал, а только видел,— говорил он тихо, с трудом улавливая слова в кружащейся мути мозга,— четверо наших, и сын с ними, за столом сидят. И как будто стол брашный, а пустой... И на всех венцы.

— Ве-н-цы!.. Ну, значит, петли. Смотри, четверых и приговорят.

— Как тогда их поминать? Куда причислить? — припав головою к подоконнику, плачет одна из матерей.

Неподалеку стоит немолодой стражник с окладистою русою бородою и внимательно водит по лицам крестьян косыми, глубоко запавшими, рыжими глазами, порою отворачивается от них и, прячась от взглядов, словно записывает в мозгу свои наблюдения. Когда же крестьяне переставали говорить и с замкнутыми лицами следили за ним, он начинал ходить взад и вперед, значительно, строго постукивая о пол ружьем. Но лишь только они отвлекались от него, снова старался подойти поближе, как бы желая точнее уловить выражение их лиц, низкий наклон головы, сторожкое очертание их серых фигур. Больше всего ему хочется незаметно приблизиться к двух парням, горящие глаза которых — он заметил — особенно зорко следили за ним. Ему хочется подслушать их короткие речи, понять те знаки, какие они быстро делали проводимым арестантам, глядя на них таким вопрошающим взглядом, в котором стражник читал, что они больше знают, чем он, чем весь состав суда — кто остался на воле из шайки, где спрятаны неразысканные прокламации, оружие, бомбы и какие у непойманных планы. Но подойти незаметно все не удавалось, и он опять начинал ходить и постукивать ружьем, с сознанием своей присяги и долга, скупой и трезвый, без жалости и обмана, выслеживая и пополняя в уме длинный список уже накрытых им «крамольников».

Тусклыми, скучными глазами и с таким видом, словно его тошнило, смотрит на крестьян другой стражник, с бледными отвислыми ушами, нечистой кожей и спадающими углами сухих, тонких губ. Он «слаб головою» и не может присутствовать при казнях. Зная, что начальство недовольно им и выкинет его при первом удобном случае, службою он не дорожит и несет ее нехотя, вяло — только из страха перед голодом.

То появлялся, то исчезал в другой комнате четвертый стражник — высокий, статный красавец с черными бархатными глазами. Поводя широкими плечами и плавно раскачиваясь гибким телом, он то небрежно-ласково прижимал к себе ружье, то замирал как статуя и быстро оборачивался, словно его кто подкарауливал сзади, и весь вытягивался в строгой готовности исполнить всякое приказание, когда мимо него проходил дежурный офицер. Безграмотный, тем-

ный, рано покинув деревню, пошел он «искать жизни»: мостил мостовые, работал на шахтах, тысячи верст исшагал степями, берегом моря за призраком счастья; попал в солдаты на войну, выучился грамоте и, окончив службу, поступил в жандармы. Но, прослужив полгода, ушел от строгой дисциплины жандармской службы в стражники — на волю, какую любил больше всего на свете. И вот уже три года, как он ездит на своей лошади по деревням, измеряя ими свою силу и власть. Ему приятна внешняя почтительность к нему крестьян; он знает, что она, как тихий омут, скрывает в себе глубокую ненависть к нему, но его тешит опасная игра силы и слабости, быстроты и неподвижности, тьмы и света. Его подстерегают в этой игре, но подстерегает и он. Охваченный страстью, целыми ночами простаивает он у окон избы, где собрались выслеженные им, дрожа в сладостной лихорадке опасности, или ловит их в степи, готовый пасть в неудержимой горячке преследования. Зная темные глубины жизни, он страстно любит ее и поклоняется только силе, какая бы она ни была и в чем бы ни проявлялась. Силу он видит и в мягкости и, умея прикрыться красивыми фразами, прославляет деликатность даже в сыске: «Ты этим подозреваемого только располагаешь,— поучает он товарищей,— душа у него раскроется, и пока ты с ним ласково говоришь, глядь, у него уж пять слов наперед для тебя готовы, он уже и попался; а только ему и вида не подаешь. А как подведешь ему итог его словам, он и глаза выпучит. Тут его хошь руками бери: духом упадет, плакать начнет, руки ломать... С ласковым, деликатным человеком ему не так страшно и на казнь идти».

Глаза его под черными ресницами мягко смеются, речь течет плавно; но стоит только собеседнику сказать какое-либо неосторожное слово иль мелькнет в его глазах насмешка, недоверие, словно кто смахивает с лица стражника цветущее веселье; с минуту длится его испуганное недоуменье, лицо становится злым и надолго застывает в холодном, жестком покое.

Опять загремели цепи, и опять крестьяне бросились к проходу, теснясь и налегая друг на друга.

Вывели скованных вместе: коренастого, с широкими круглыми плечами и круглою головою, Калачева, и высокого бледного — Пряслова. Оба были уже приговорены к смертной казни за другие дела и теперь спокойно относились к ожидавшему их суду и даже радовались ему, как

случаю увидеть своих, подышать воздухом, пройтись по городу от тюрьмы до суда.

Калачев был приговорен три раза к повешению и теперь смеялся над судьями. Он знал, что ему оставалось жить всего несколько дней и что тюремное начальство дожидалось только окончания этого процесса, чтобы его повесить. Но с того раза, как его вывели из тюрьмы, он стал мотать свою богатырскую силу, какую до тех пор не могло сломить заключение. И чем больше он мотал ее, тем более, казалось, она входила в него, вливаясь годами энергии в оставшиеся часы и минуты жизни. Ум, чувство работали как никогда. Щеки его напружились, округлились и разрумянились; глаза сделались блестящими и красными от внутреннего огня и беспрерывной зрительной лихорадочной работы: снежные улицы, небо, серые сумерки тюрьмы, солдаты, лица крестьян, казалось, пылали в них, охваченные каким-то кровавым огнем, сжигающим жизнь. Иногда сил было так много, и так они были всеобъемлющи, что заслоняли собою все, и Калачев уже несколько раз кричал на улице: «Смотрите, вот Калачев идет!» Быстро вспыхивали мысли и словно перебрасывали через какую-то реку жизни легкий мост к смерти: выплывал план умереть не во тьме, на виселице, а средь бела дня перед народом, когда партию поведут в суд для выслушивания приговора в окончательной форме. Сделать вид, что хочет бежать, и пусть его тут же пристрелят: в этом тоже будет борьба и последний вызов.

Холодно, серыми глазами скользнул по лицам крестьян Пряслов. Когда-то он, будучи писарем в их селе, завел организацию, доставлял литературу и выработал план борьбы. Но, несмотря на все его усилия, вокруг все металось, шарахалось из стороны в сторону, то вырастая до дикой бесцельной отваги, то падая в бездну такого же дикого, беспричинного страха. Одних сослали или казнили; другие были испуганы до жалкого лепета и предательства. Правда, его будут помнить, но память о нем как тень ляжет на былое. Он уже и теперь затерялся для массы в хаосе охватившего ее ужаса, и никто не приехал свидеться с ним. Он знал, что будет один, и ни в чьем мозгу не запечатлеются его предсмертные слова, ни в чьих глазах не отразится скорбь по нему, ничье сердце не сожмется от жалости к нему. Ближе всех будет палач в черной маске, а дальше... глаза прокурора, священника, надзирателей, городовых, глаза, от которых, как от каменной стены, отскочит последний луч его сознания. А там, далеко, в темной деревне,

когда узнают — испугаются, ничем не согреют его память... Мать будет «криком кричать» и биться. Но разве это то, что оживило бы душу, прошло бы перед казнью, как светлый мираж в степи?

В испуге скользнут бледные, безнадежные мысли: «Эх, и чего ему было надо! Чего недоставало? Кому лучше сделал? Сам погиб и за собою сколько потащил».

И ни у кого не вспыхнет ярким пламенем его душа... Притихнут, узнав о казни; и будут шепотом передавать о ней, бледнеть при громких вопросах, отговариваться незнанием.

К Калачеву также никто не приехал. С тех пор как его в первый раз приговорили, отец его пил «смертную» и уверял всех, что «Ванюха» жив, что его уже водили на казнь, а вместо того вывели подземными ходами в чужие земли и — много, много, года через три — он обязательно вернется.

Произошло движение. Конвойные, стражники вытянулись со строгими лицами; крестьяне попятились назад. В широко распахнутую дверь входили, ни на кого не глядя: тучный красполицый генерал — председатель суда и двое судей: один — бывший кавалерист, другой — из армейских штабс-капитанов, уже дослужившийся чина подполковника за время пребывания военным судьей. За ними шел лет тридцати прокурор с испитым лицом и лысиной.

— Родные могут войти! — крикнул дежурный офицер. Крестьяне столпились у двери в зал; у них осматривали выданные из волости удостоверения и впускали по одному человеку на подсудимого, через что многим пришлось остаться в передней.

Началось чтение длинного обвинительного акта. Серая скованная масса сидела, не шевелясь, на черных скамьях. За короткими сухими фактами, иногда за одним словом его, перед нею вставали целые картины яркой жизни: веселая дерзость нападений, смертельная опасность погони, вызов всему, о чем нудно, жестко напоминал им обвинительный акт.

Вот белесоватая степь крутится в поземке. Вдали во тьме слышны крики, набатный звон. Калачев, взвалив на плечи раненного в ногу Пряслова, бежит прямиком по снегу, бросив дорогу, по которой сейчас помчится погоня: в станице ими убито два казака — при попытке арестовать их в тот миг, когда они вчетвером садились в сани, чтобы догнать ехавшего в монастырь с деньгами казначея. Один из това-

рищей также убит, другой скрылся, пользуясь темнотой. За ними уже числился длинный ряд дел, и за их головы назначена награда.

— Брось меня! Пристрели! Спасайся сам! — молит Пряслов, чувствуя, как кровью наполняется сапог, и видя, как она смачивает ноги Калачева.— Все равно не уйдем.

Калачев кладет товарища на снег, сбрасывает с себя куртку, полуголый рвет окровавленными руками рубашку на бинты и вяжет ими раненую ногу товарища. Крутит поземка; холодный ветер пронизывает разгоряченное тело: полушубки брошены на постоялом дворе.

— Пристрели. Замерзнешь. И там схватят, куда придем: в крови все. Спасайся хоть ты.

— Погибать так вместе,— решительно отвечает Калачев и опять несет на себе товарища. Как во сне слышит Пряслов лай собак, потом словно опускается куда-то в глубокую воду и теряет сознание.

Чуть свет казаки окружили ригу, где спрятались беглецы.

— Сдавайтесь! — кричат голоса.— Не то живьем сожжем.

Калачев отвечает выстрелами. Казаки ворвались, лишь когда были расстреляны все патроны.

Это была последняя облава на них.

— «Благодаря только агентам сыскного отделения,— слышится размеренный голос,— удалось открыть в селе Красный Гай преступное сообщество, поставившее себе целью вооруженною силой ниспровержение существующего строя и установление демократической республики. С сообществом этим два года безуспешно боролась местная полиция, не будучи в состоянии проследить в целом движения, охватившего несколько сел».

Перед подсудимыми встают эти агенты — в черных революционных рубахах, с широкими кожаными поясами, приехавшие к ним из города с паролем партии социалистов-революционеров и массою нелегальных листков и брошюр.

И опять перед ними картины: почет, с каким встречали агентов в селе — ведь от самого губернского комитета присланы, признавшего полезною деятельность их братства и решившего еще более повысить ее. Всего навидавшийся и наслушавшийся на войне Фоменко, обучавший в овраге стрельбе боевую дружину, первый принимает их как братьев в свою избу, водит по остальным братчикам, показывает склады оружия и знакомит с прочими сочувствующими

движению крестьянами, которые видят в них какую-то новую, смутную, могучую силу.

Вот Тимохин отец, умерший с тоски, что сына приговорят к казни, всенародно облекает перед ними свои заветные мечты в детски наивные, сказочные образы: то он вышел на утренней зорьке к колодцу и только было нагнулся зачерпнуть из него водицы, глядь, стоит перед ним какой-то в накидке — в каких господа от дождя хоронятся, распахнул ее, и весь, как есть, увешан «левольвертами», ружьями, саблями, бомбами.

— Видишь? — говорит.

— Вижу.

— Таких-то нас много. Ждите и надейтесь.

И скрылся. А то еще, слышал он, кто-то из мужиков и все войско ихнее видел. Завязали ему глаза и повели. И долго вели — всю ночь. А когда сняли повязку, увидел широкую долину, окруженную горами, и несметное войско на ней. Костры горят, палатки везде пораскиданы. И сказали ему, что войско почти уже все собрано — не хватает немногого, чтобы было пятьсот пятьдесят пять тысяч. Как наберется ровно это число, так и выступят. «Передай, говорят, всем крестьянам, что ты видел и чтобы готовились».

Приезжие оказались хорошими чтецами. Они собирали крестьян и задавали им такие вопросы, от которых у них, как от выпитого вина, кружилась голова.

Две недели пролетели как сон.

Ночью изба Фоменко была окружена казаками. Страшными глазами взглянул он на гостей и сразу понял все. Схватил револьвер, чтобы тут же уложить их и себя, но курок только насмешливо щелкал: патроны были вынуты гостями еще с вечера. Он за другой, за винтовку — и там ни одного.

Забрали целых шестнадцать человек; оружием и литературой нагрузили две подводы. По дороге в тюрьму их всех жестоко били, в том числе «друзья», принесшие пароль.

«А все через себя,— встают взволнованные мысли, заслоняя слова обвинительного акта.— Сами пароль выдали: «зеленая ветка», сами же и попались через него. Обошел подлец лавочник братчика Антона: прикинулся сочувствующим, книжек понадавал, что ему урядник принес для этого, и угостил. Тот и выболтал... Теперь-то все ясно».

Картины сменялись картинами, полные отваги, ненависти, жажды мести...

Вот перед ними другой товарищ: на всем ходу спрыгивает он с поезда и спешит к виднеющемуся вдали лесу. Поезд быстро тормозит; за ним спрыгивают замеченные им подозрительные люди и с криком гонятся следом. Впереди какой-то мужичонка на телеге; только бы добраться до него, и он спасен. Одним прыжком вскакивает он к нему и, приставя револьвер к голове, приказывает гнать. Лошадь мчится вскачь; пули свищут, как осы. Вот уже и лес, еще какая-нибудь верста, как лошадь падает со всех ног, уложенная наповал. Опять он бежит; другая пуля перебивает колено. Падает, вскакивает и, волоча ногу, спотыкаясь и опять падая, не чувствует боли. Голоса ближе; вот и опушка... Третья пуля пронизывает плечо; последняя разбивает череп.

Организация, охватившая несколько сел, как говорилось в обвинительном акте, была сломлена: одни казнены, другие сосланы в каторгу или томились по тюрьмам. Остатки ее разбежались по городам или образовали шайки, начавшие заниматься экспроприациями.

На скамье подсудимых был лишь ничтожный осколок былой организации. Атаман этого осколка, Ващенко, раньше один из деятельных членов организации, был также пойман и уже присужден к смертной казни. По настоящему делу он являлся лишь свидетелем, но так как у него развилась скоротечная чахотка и он доживал последние дни, допрос с него по этому делу был снят в тюрьме.

Начался допрос свидетелей со стороны обвинения...

В четыре часа был объявлен перерыв. Уставшие, голодные, выходили крестьяне из зала суда и смешивались с конвойными и стражниками.

— В петлю гонють,— слышался взволнованный, придавленный говор.— Урядник деньги обирал, выправить обещался, а теперь два часа кряду топил. Чего и не было — плел, перед начальством старался.

— Уж так топил, так топил.

— За што дюже так строго-то да немилостиво?

— Под какую страсть-то подводють, господи!

Голоса устало стихали.

Бабы, закутанные в свои платки — несмотря на страшную духоту, опять уселись на лавки. Некоторые вяло жевали булку. Два мужика дремали, облокотившись на колени.

Рядом с Марьей, запрокинув голову на подоконник, развалился толстый городовой. Виден только его красный, мясистый нос и торчащие кверху усы. Он чувствует свою

сытость, утробно доверчив и простодушно рассказывает о казнях, при которых присутствовал: о том, как ему приходится помогать укладывать в гробы казненных и складывать им руки, получая за это от палача по пяти рублей с трупа; льнет к бабам и томно жалуется им, что начальство совсем про него забыло и он с утра ничего не ел.

Стражник с бархатными глазами отыскал в темном углу Фиону, красивое лицо которой заметил еще днем, и, подсев к ней, ласково смотрит на спящего на ее коленях ребенка, зажав между ног заряженное ружье. Он страстно любит женщин и хорошо знает их психологию.

— Дальний? — прерывает молчание Фиона.

— Из Киева.

— Небось жена, дети есть?

— А как же: по десятке каждый месяц им шлю.

— Здесь-то ты почему ж?

— Нас девяносто человек с «губернии», самых способных, прислано сюда законам обучаться.

— Каким законам?

— Как, значит, государство понимать, и что такое преступник, и как с ним поступать. Здесь мы только по случаю бываем, по наряду... А ты все плачешь,— мягко скользнул он взглядом по ее лицу и темно-синим глазам.— Ты ведь Тищенкова?

— Его.

— Любила мужа?

Теплая волна осветила лицо Фионы:

— Сьятно жили.

Стражник прильнул ближе.

— Как такую красавицу не любить?

— Старухой стала,— стыдливо потупилась Фиона.

— А мне тебя жаль, истинно говорю. Ради такой и я бы на всякое дело пошел.

Красивое лицо стражника, его крепкие мужские губы, властно покоряющий ласковый голос смутно волновали женскую душу, и Фиона ослабевшим голосом начала ему рассказывать про свою жизнь с мужем; про то, скольких они родили детей, и как отец радовался на них и любил их.

Тихие слезы неудержимо катились из ее глаз, и слова скатывались такие же — светлые, тихие, нежные...

«Не знает, кому тоску свою раздать»,— думал стражник, слушая музыку женского чувства, которое сквозь дымку слез рисовало ей дорогие, неясные дали. Фиона подняла глаза, и в них мелькнуло отражение испуганного удивле-

ния, словно ей показалось странным, что муж не возле нее и не в селе или поле, а скованный, там, за дверью.

— Ужли враз после приговора и вешать? — спросила она упавшим голосом.

— Пустое,— нехотя отвечал стражник, которому не хотелось расстаться со сладкой истомой женской близости.— Тех, которые судом останутся недовольны, в другой раз судить будут, а если жалобе их и не дадут хода, так скреплять приговор еще главнокомандующему войсками пошлют. Может, тот помилует.

— Если бы так! Мне бы только знать, что жив-то он! Пусть зашлют далече! Уж я не думаю о том, чтобы жить с ним. Пусть никогда не увижу, да лишь бы знать только, знать, што жив-то он!

— Замешан-то он сильно. Да авось уцелеет.

— Так и закричала бы на весь дом.

— Кричи не кричи, этим не поможешь. Намедни в суде баба одна упала: сына к казни приговорили; рвет на себе рубаху, платок. Стали ее одевать. «Не хочу, кричит, одеваться, не буду. На што мне теперь одежа, коли его повесят». Так и вытащили на мороз; не знаю, что там с нею было.

— Часто у вас кричат?

— Случается. А то вот молоденькая одна, городская: жениха приговорили к повешению — тоже упала; думали, обморок с ней, а она яду хватила, и ему каким-то манером ухитрилась еще раньше в папиросе передать. Смотрим, и он хлопнулся. Пока то да се; за доктором послали — оба готовы.

— Господи! Што только деется, што деется!

Стражник не отвечал, припоминая растерявшихся судей, испуганных конвойных и словно выросших вдруг арестантов, которые, гремя цепями, сплелись вокруг бившегося в агонии товарища, тянувшего за собою на пол скованного с ним. Тот обнимал его. А в глазах и изменившихся лицах арестантов было что-то до того торжествующее и вызывающее, что он на минуту даже залюбовался на них.

Публику удалили из залы, и по лестнице и коридорам долго носился взволнованный шум голосов, криков, плача.

— Ох и страшно ж!.. А им... еще страшнее.

— Ну, не так, как это кажется,— ответил стражник.— Мы ведь от них скрываем; никогда не говорим, в какую именно ночь... не пугаем... Но только они и сами не спят: днем отсыпаются, а по ночам чуть где стукнет, вскакивают,

как один. И не к нему идут, а он все думает — сейчас его брать.

— Да разве ж к этому привыкнешь?

Стражник задумчиво смотрел перед собою. Мысль его кралась по коридору тюрьмы, вбирая в себя знакомые ему двери, «глазки», стражу на часах и даже его шаги, такие простые и естественные, от которых переставало биться сердце приговоренных, останавливалась кровь, наливаясь в руки и ноги и приковывая человека к месту каким-то страшным ударом, который сразу уничтожал в нем силу, накопленную на всю жизнь, убивал до казни. И часто на виселицу вели не живого человека, а какую-то шатающуюся, бессознательную тень...

Иные от этого удара сходили с ума. Другие резали себе горло отломленными ручками чайников, вешались на лоскутьях платья, обливали себя керосином, кидались головой в «парашу». Третьи шумели, «калили» бога и начальство, словно стараясь пробить этим какую-то брешь в душах участников их казни.

— И ты... видел? — дрожа, спросила Фиона, не договаривая мысли.

— Доводилось,— подымая плечи, проговорил стражник.

— Да как же ты? — заметалась женщина, откидываясь от него в угол, чтобы не прикасаться к его шинели.— Как же ты... мог?

— Из веры.

— Из ве-ры?.. Да рази ж господь велел убивать? Его самого, батюшку, распяли.

— Тебе этого не понять.

— Дадут им причаститься-то? — робко спросила Фиона.

Стражник снисходительно улыбнулся:

— Причастника вешать нельзя, крест дадут.

Наступило молчание.

— Правда, что скованными вешают?

— Правда.

— А как же перекреститься-то?

— Это уж как знает. Руки не вплотную сковывают.

— Неужто и на тот свет в кандалах идут?

— На руках — замком заперты, а на ногах наглухо заклепаны.

— Матушка божия! — воскликнула Фиона, чувствуя, что не может больше обнять всего ужаса и всей тоски, переполнившей сердце.— Да каково же тебе было смотреть на твоего распятого сына! Да подкрепи ж ты нас!

Она не видела больше ни стражника, ни остальных, бывших в комнате.

Стражник встал и, выпятив грудь и расправляя ноги, подошел к Дарье, вокруг которой толпились конвойные солдаты.

Покойные, темные, они плотоядно смотрели на нее, подмигивали ей, подталкивали друг друга и хохотали над своими вожделениями, сильные общим чувством.

— Хоть посидеть-то рядышком,— стаскивая товарища, сидевшего возле Дарьи, и приваливаясь к ней, проговорил один при общем взрыве смеха.— Когда нам придется. Теперь по случаю хоть.

— Га, га, га.

— Отойдить, обрыдли! — скаля зубы, бросала им Дарья.

— Га, га, га.

— Чи вы бабы сриду не бачилы? Лизуть, як репехи до собаци!

— Ги, ги, ги.

— Мужа повесят, выходи за солдата замуж. За солдатом жить хорошо.

— Тьфу!

— И, ги, ги, ги.

— А ежель на вечную сошлют, може, за им пойдешь?

— Чего я там не бачила?

— Свиданья будут давать, а на что другое не надейся, мамочка.

— Чистое яичькя! — не выдерживает какой-то прыщавый солдатик.

— Нет, ты послухай, што я тебе скажу, моя дорогаичка,— обнимая Дарью за плечи, шепчет ей на ухо третий.

— Не лизь: у пыку дам! — отшатывается Дарья.

— Га, га, га.

Дарья, как отуманенная, смотрит перед собою тяжелыми, остановившимися, злыми глазами, продолжая скалить зубы, словно огрызаясь от циничных шуток и вызывая взрывы довольного смеха.

В стороне несколько конвойных молчаливо наблюдают сцену. Они знают, что в их команду попадают обыкновенно самые темные, самые несознательные — такие, которые даже слово «арестанты» не научаются правильно произносить за всю свою долгую службу в ней, а говорят «рестанты». Они знают также, что те животно веселы всегда и ничего не видят и не слышат из того, перед чем дрожит

порой и бессильно бьется их слабая мысль, придавленная силою воинского долга, заставляя их уединяться, молчать, бледнеть и вздрагивать при виде начальства, его внезапных вопросах, и чувствовать себя страшно запуганными. Они привыкли к грубым шуткам своих товарищей, их грубому, как сама казарменная жизнь, открытому половому разврату и, казалось, ничему уже не удивлялись.

— Подождали бы хоть, когда повесят, черти,— холодно проговорил один из них.

Тьма гоготала. Она забыла службу, суд, страшную комнату, где томились подсудимые в ожидании смертного приговора...

Тускло светят лампочки. В табачном дыму, духоте человеческих испарений толкутся серые, сливающиеся фигуры. В глубине просторной комнаты виднеются койки для дежурных, охраняющих здание суда. На них валяются в самых непринужденных позах. Конный стражник, раскинув согнутые в коленях острые ноги, мечтательно играет на одной из них своею плеткой. На столиках между ними идет «трынка». Слышатся громкие восклицания: «Хлюст! Замирил! Две под тебя!», циничные возгласы, взрывы хохота.

Несколько конвойных вылавливают деревянными ложками из ведерок холодные остатки щей, принесенных арестантам.

Обнаженные сабли, ружья в козлах посреди комнаты, отдаленное звяканье цепей — все напоминало какой-то военный постой или бивуак на поле сражения.

В тусклые окна светился залитый электричеством город.

С утра опустевший и замолкший на ночь дом снова наполнился солдатами, стражниками, закутанными женщинами с бессонными тяжелыми глазами, сдавленным говором и звоном кандалов, от которого крестьяне вздрагивали, словно просыпаясь от сковывавшей мозг и тело усталости.

Калачева не было среди пригнанных арестантов. Тюремному начальству донесли, что накануне, когда партию выстроили вечером у суда, чтобы гнать обратно в тюрьму, он, после обычного предупреждения арестантов старшим конвойным — вести себя смирно дорогою, иначе к ним будет применено оружие, крикнул: «Так што ж! Равно помирать-то!»

Начальство хорошо знало психологию «смертников». По

этому крику, а также всему поведению Калачева накануне оно догадалось, о чем он замышлял. Ему вместе с прочими велели идти в суд, но вместо того врасплох схватили в его одиночке, связали и бросили в темный глухой карцер, откуда не долетало ни одного звука. Там он должен был пробыть весь день, а в ночь решено было его повесить. Заодно решили повесить и Ващенко, и еще одного, Петрова, осужденного вместе с ним.

Дарья ласково смотрела сегодня на своего мужа, когда конвойные вели его мимо нее во двор. Вчера, когда она вместе с другими бабами провожала арестантов до тюрьмы и партия уже входила в ворота, муж ее, обернувшись, крикнул ей: «Приди ще!» Она ясно расслышала эти слова сквозь его рыдающий голос, и они всю ночь стояли перед ней.

В карих глазах ее светилось что-то теплое; на лицо легла неуловимая мягкость.

— Одирвав ты мие серце от печенок,— кинула она ему, когда его вели обратно.

— А я б свие умисте з печенками для тебе вырвав,— отвечал муж.

Дарья притихла и сидела как пришибленная. Признание, сорвавшееся у самолюбивого мужа, за полтора года сиденья в тюрьме стосковавшегося по ней, еще более ударило по сердцу, нежели вчерашнее рыдающее «Приди ще», напомнило наполовину забытое, прежнее счастье, встало мучительными, нежданными вопросами.

— Пийду з им,— решила она вслух,— як ни повисять.

— Ну, бабы! — глядя на просветлевшее лицо вчерашней «скалозубки», смеялись конвойные.— Вчера за солдата замуж собралась выходить, а нынче ее от прежнего не оторвешь.

— Та вин же сам вилив,— виновато оправдываясь, улыбалась Дарья.

В переднюю вошла небольшого роста пожилая баба и остановилась на пороге комнаты, где, как и вчера, толпились конвойные и стражники. Выцветшие голубые глаза ее остро окинули присутствовавших и остановились на противоположной двери, ведшей в зал суда.

— Мать, мать атамана шайки,— пронесся шепот.

— Где? Какая? — спрашивали любопытные, не видевшие ее ранее.

— Вон, что в полушубке у двери стоит.

— Лядащая-то?

— Она самая.
— А я-то думал... мать атамана...

Серая масса делилась замечаниями, рассматривая вошедшую. Бархатные глаза красавца стражника расширились и загорелись.

Ващенко продолжала смотреть на запертую дверь, словно видела за нею что-то такое, перед чем не смел дрогнуть ни один мускул ее измученного, застывшего лица.

— Скоро перерыв? — спросила она у проходившего мимо дневального.

— Через час, не раньше. А что?

— Да нельзя ли будет как-нибудь генералу сказать, чтоб дали мне пропуск к сыну. Я мать Ващенко. В тюрьме сказали — к нему обратиться.

— Хорошо, скажу писарю, он доложит.

Около стояла табуретка. Ващенко села на нее и попрежнему не обращала ни на кого внимания. Но вот ушедший вовнутрь взгляд ее словно зацепился за настороженно впившиеся в нее глаза стражника, потемнел и замелькал быстрыми искорками.

«Узнала»,— подумал стражник.

И перед обоими встала связавшая их когда-то картина: осенний ветер, дождь; в избу к Федосье Ващенко пришел ее сын, два года скрывавшийся от полиции.

— Мамочка,— проговорил он печально.— Устал я бегать, как собака. И холодно. Все у меня болит. Желается мне заночевать хоть одну ночку дома, около тебя.

— Ох, сыночка, выследят! Ох, заберут! — борясь с желанием пригреть и приласкать сына, шептала в страхе мать.

— Хоть одну ночку, мамочка. Неужели так тут и случится? Всего одну только.

Он лег на теплую лежанку и вскоре уснул. Затеплив лампадку, мать вглядывалась в тонкое, похудевшее лицо сына, черные пряди волос, свесившуюся с лежанки руку, ловила его дыхание, прислушиваясь ко всем шорохам на улице... И из глубины настороженного чувства робкими тенями тянулись воспоминания былых, разбитых надежд.

Пригревшись, сын сладко спал.

Наружи послышались быстрые чмокающие шаги, и сразу под окнами, в сенях, дворе выросли громкие крики: «Отворяй!»

Дверь сильно затрясли.

Мать ахнула, хотела крикнуть: «Сыночка, приехали!» —

но голос не слушался, издавая какие-то смешные звуки: п... п... п... п... Сердце замерло, ноги приросли к месту.

Дверь с грохотом сорвалась с петель.

Что-то большое, шумное ворвалось в избу. Мать видела лишь, как черный стражник одним прыжком очутился возле сына и, навалясь на грудь, схватил его за руки.

— А, попался! Теперь не уйдешь от меня! Мой! Связать его! Обыскать! — командовал он.— Довольно ты меня помучил!

И было столько торжества, столько дикой радости в словах, самых звуках его голоса, что к матери сразу вернулось потерянное самообладание. Ей вдруг представилось то, о чем она не смела даже подумать все эти два года — виселица, грозившая сыну. Страх, жалость, мольбы за него — все поглотилось ужасом блеснувшей мысли; а на место растерянности и страха вставало что-то до того покойное, от чего веяло холодом могилы. Зубы стучали, как в лихорадке; дрожь трясла тело, а мысль, словно торжествуя, подсказывала какие-то дикие, злорадные слова, в которых были гнев и ненависть, вызов и безграничное отчаяние...

Неимоверным усилием воли стараясь быть покойной, она подошла к сыну и, словно не замечая стражников, медленно говорила ему:

— Не спеши, не спеши, сыночка. Сперва одну ногу обуй, потом другую.

Она чувствовала, что говорит не то, и цеплялась не столько за слова, сколько за тон своего голоса, как за силу, которая должна была передаться и сыну и поддержать его.

— Я те тут поговорю еще! — крикнул стражник.

— Хорошенько, хорошенько обувайся, сыночка,— словно не слыша грозного окрика, говорила мать.

— Прочь! Нагайки захотела, ведьма!

Сыну не дали как следует одеться и вывели на улицу. Мать выбежала провожать его, увидела верховых с ружьями, телегу, на которую бросили связанного сына, хотела что-то крикнуть, но ноги подкосились, «ударил ее по́морок».

С тех пор как взяли сына, она словно оглохла и ослепла, вся уйдя в прошлое. Перед нею был лишь он. Она видела его еще ребенком, слышала его голос, которым он трех слов не мог сказать, чтобы одно из них не было нежное, ласковое «мамочка».

Вот она, недавно вторично вышедшая замуж, везет его, восьмилетнего мальчика, из дома вотчима в Ростов — отдать в ученье сапожнику, своему брату. Тихий, робкий мальчик растерялся от шума большого города и забился под крыльцо постоялого двора, умоляя мать везти его обратно.

Вот он, уже юноша, идет к ней степью. Она издали видит его высокую, стройную фигуру, выбегает ему навстречу, радостно бьющимся сердцем измеряя каждый его шаг. Как он вырос за эти восемь лет, что она не видела его, какой стал пригожий, да «ствольный», да нарядный в своем городском платье.

— Мамочка, ты звала, вот я и приехал,— слышит она его радостный голос,— не ослушался тебя.

Они сели на пригорке, в виду села, и он весело рассказывал ей, какая ему была привольная жизнь с тех пор, как он переехал в Одессу и попал в книжный магазин. Как много читал там книжек и узнал хороших людей.

— Тут, мамочка, такие есть,— указал он на принесенный в числе вещей узелок,— что, если узнают, достанется мне. Но если бы ты знала, какая в них правда, какая ужасная правда, мамочка!

Она слушала его и с тайным страхом косилась на узелок; потом стала рассказывать, как тосковала по нему день и ночь, с тех пор как его крестная мать, умирая, видела сон, будто оброс он весь мохом — с этого и тоска началась.

Когда они переходили реку под самым селом, мать стала упрашивать сына бросить в воду страшный узелок. Сын говорил, как он любит книги, как мечтает открыть их правду другим,— но мать продолжала настаивать.

Узелок скрылся под водою, а сын грустный шел рядом с матерью и боязливо, как она раньше на книги, посматривал на приближавшуюся избу вотчима.

А вот и он сам, словно еще более угрюмый и нелюдимый, чем был прежде.

Вечером Федосья зорко следила за сыном с печи, стараясь запечатлеть все его новые, невиданные еще ею движения. Вот он молится богу. Она приподнялась и замерла, объятая ужасом: сын «бил поклоны», но не крестился. Она слышала от людей, что пошли такие — в бога не верят, церковь не признают, причастия не принимают и ругают правительство. «Неужто и он?» — мелькнула мысль, сме-

шиваясь с чем-то кошмарным, чего не принимало чувство матери.

— Сы...но...чка, да никак ты в бога не веришь! — вскрикнула она каким-то воющим голосом, в котором дрожали неимоверный страх, мольба и горе.

— Чего ж ты так испугалась? — обернулся он к ней, светлый и ласковый.— Бог, он во мне, мамочка.

— Нет, ты крест, крест клади.

— Да не все ли равно? Не в кресте сила.

И он опять засмеялся.

Мать долго не могла успокоиться.

А наутро он весело принялся за работу: ловкий, сильный, скоро вскопал огород, натаскал глины матери избу мазать — лошади не было.

— Еще что сделать, мамочка? Ты устала,— слышались его ласковые слова,— уж старенькая; одна во всякий след. Дай помогу, мамочка.

Мать чувствует, как тает от его ласки тяжесть ее неудачной жизни со вторым мужем.

А перемежилась работа, он уже на улице, рассказывает: отчего идет дождь, отчего гром и молния, где какие государства есть и как живут в них.

Стал собираться около него народ; стали на селе поговаривать, что Ващенко в бога не верит.

Стала мать тосковать.

— Зачем ты, сы́ночка, все это рассказываешь?

— Да ведь это ж все правда, мамочка.

— Не нужна мне твоя правда; мне нужен ты. Ты ведь один у меня. Скрепись, не рассказывай, прошу тебя.

— Не буду, не буду, мамочка.

А сам за картуз и опять на улицу.

— Мама! — запыхавшись, вбегает приемная дочь.— Петя там опять что-то рассказывает!

Мать бежит на улицу:

— Петя, дорогое мое чадо, ведь ты же мне обещал! Ты ж обещал! Пойдем.

— Постой, постой, мамочка. Сейчас. Дай только досказать.

— Идем, идем.

— Одно только слово, всего.

— Што это он там болтает? — угрюмо встретил ее вотчим.— Меня уж стражник пытал. Захотел пропадать, пускай один пропадает, а то и нас попутает.

— Што ж ты сказал ему?

— Што народ говорит.

— Ах, чо ж ты наделал! Да зачем же ты это? Предатель ты, предатель. Заберут теперь моего Петю! Ох, заберут! Ох, заберут!

— Так пускай он не выражает таких слов.

— Да каких? Каких?

Вотчим упрямо молчал.

А дня через два кто-то ночью подошел к окну и стал смотреть в избу. Светила луна. Мать видела прильнувшее к стеклу лицо и тень еще кого-то, притаившегося у плетня. Неслышно, как привидение, скользнула она в сени, разбудила сына и выпустила его во двор.

Тени сошлись, постояли и скрылись.

С этой ночи мать перестала спать, а сын начал хорониться в сараях, ригах, ометах соломы соседей.

Когда заметили, что он скрывается, стали примечать каждый шаг. Молва росла.

Ващенко нанялся кашеваром к чабанам. Жили в курене; кругом расстилалась беспредельная степь; в синем небе реяли коршуны; томила истома, зной. И степь, и пугливые отары овец накладывали на рослых загорелых чабанов какую-то ровность, покой. Говорили мало: когда же кто-либо принимался играть на жалейке, звуки были такие же ровные, как степь, легкие, как ветер на ней, меланхоличные, как зори заката.

Ващенко стал видеть сны. Раз даже не вытерпел, прибежал к матери и рассказал ей:

— Вижу я все, мамочка, какие-то сады, реки быстрые, леса дремучие и все ищу какого-то правосудия. И нынче ночью тоже пришел я будто в какой-то большой сад, цветы там разные, птички поют. Хорошо как, и сказать нельзя. Смотрю, и ты там стоишь, а одеянье на тебе из одних слезок, и катятся они, а не спадают,— вроде как риза на тебе. И лицо у тебя светлое, пресветлое... Мамочка, сады эти — они будут на земле; будет, мамочка, всем счастье; будем любить друг друга. Придет и до нас правосудие.

Ушел, а мать плакала.

Дошло до помещика, что у него чабаний кашевар в бога не верит.

Призвал, спрашивает:

— Ты, говорят, в бога не веришь? В тюрьму, видно, захотел.

— А вы верите, а из людей кровь пьете.

Подскочил, ударил. Велел вытолкать за околицу; грозился собаками затравить.

Пришел домой. Вотчим встретил «сумерками». Сели ужинать. Вотчим молчит. Мать видела, что у сына дрожат руки и лицо то бледнеет, то покрывается пятнами. Она знала, что сын «стыдлив на еду», и ломала голову, как облегчить его положение.

— Надо бы под капусту огород унавозить,— обратилась она к мужу.

— Давайте, батя, я завтра это сделаю.

— Обойдется и так.

— Вот кизяки у нас тоже на исходе.

— Ну, я начну кизяки готовить? Хорошо, батя?

— Без тебя приготовятся.

Сын положил ложку, а наутро чуть свет собрался уходить, завязав в платок краюшку хлеба.

— Куда ты, сы́ночка?

— И сам не знаю.

Наступила осень, зима, опять пришло лето, от сына не было вестей. Мать таяла, упрекая мужа.

Ровно через год сын пришел опять, на этот раз с одним узелочком.

Глянула мать, а там только книги.

Рассказал, что жил в Москве на фабрике — больше прежнего хороших людей узнал. Заметили на одной сходке, выслали под надзор в Орел. По три дня не ел, работы просил — не дают. «Ты, говорят, против нас пошел, а наш хлеб хочешь есть». Стал разносить по селам прокламации. Выследили; пришлось бежать.

Опасаясь ареста, опять начал скрываться по соседям. Больше прежнего пошла молва. Стражники то и дело стали заглядывать под разными предлогами в избу вотчима.

Надо было уходить. Но куда? Срок паспорту истек; за новым — сказали матери из волости — чтобы сам явился. Было ясно — хотят арестовать. Нанялся к карусельщику играть на гармонике по ярмаркам. Но карусельщик велел как-то надеть шапку с бубенцами и трясти ею перед народом. Показалось обидно; расчелся. Опять пришлось вернуться в село и скрываться в нем.

Мать издали следила за сыном: знала, где он был, что говорил, где ночевал; в каком конце села пьянствовали стражники; у кого расспрашивали про него,— и предупреждала от опасности. Знала, где и как он ушел от них: как они

пришли раз по указанию в одну избу взять его и застали там — в избе, кроме него, была только «молодайка» — и как он схватил из люльки ее ребенка и стал носить его, укачивая и приговаривая: «Спи, спи, дочка», а его матери велел «сбирать обед». Стражники были новые и приняли его за хозяина; перерыли все вверх дном в горнице, лазили на чердак и ушли, пожимая плечами.

Мать видела, что сын не может строго выбирать людей: кто скрывал его, становился товарищем, вносил свои счеты, требовал удовольствий, денег. Накатывался какой-то огромный клубок, опутывал сына и катил к пропасти. Удержаться не было ни сил, ни возможности.

Начались экспроприации. С разных сторон стали доходить вести об удачных нападениях на усадьбы помещиков, винные лавки, купцов, кулаков-крестьян. Страсти разыгрывались. Удача предприятий туманила голову, а тьма переделывала их по-своему: создавала героев, сказочные подвиги, толкала на новые.

И скоро по всей округе уже гремело имя «славного разбойника» и носились изменчивые, призрачные картины, полные творчества бездольной жизни, обид, глубоко затаенной мести.

То узнавала мать, что для поимки сына приехало двадцать сыщиков из города, что хотят во что бы то ни стало «выбить» его из большого родного села, где борьба с ним была трудна.

Превратясь вся в слух и зрение, она улавливала в окружавшем ее водовороте страстей сочувствие к сыну. Ей чудилась погибель его в тысячах случайностей: жадности и страхе односельчан, любопытстве и болтовне жинок, их доверчивости; в самых ничтожных мелочах. От вечного прислушивания вырастали крики в ушах: ей казалось, что это ловят ее сына. Мелькала ли где тень, ей чудилось, что это пробежал «он» без пристанища и ищет материнского взгляда. В нищей братии, которая повадилась ходить к ней за подаянием и проситься ночевать, она по тонким приметам видела переодетых сыщиков. Имя Христа, с которым они входили; лохмотья, жалкое смирение, простодушная глупость забитых людей — казались ей предательскими: во всем таился обман, не знающий пощады, острый выслеживающий взгляд, который словно клал свои страшные таинственные приметы на стены ее хаты, на вещи сына, на образа, перед которыми, ползая по ночам в смертельной тоске, мать выдавала тайны сына... Ноги ее почти отнялись от

нервной потрясающей работы, какую могла вынести только мать.

А наряду с этим ее верования, вся жизнь приниженности и нужды претворялись во что-то новое, в какую-то неведанную раньше силу, и образ «разбойника» перевоплощался в ней в лучезарные одеяния материнской мечты. По одному слову, намеку, выловленному из ужаса и мрака окружавшей жизни, стоустой людской молвы, сонному видению, вокруг страшного имени плелись и создавались нежные краски, полные творческой красоты, ее радовало, что разбойника, за голову которого уже была назначена крупная награда, любили дети и лазили к нему играть, когда он лежал, завешанный тряпьем, где-нибудь под чужой кроватью, скрываясь днем от всех взглядов. Ее умиляло, что он «прост», что такому-то купил корову, другому самовар, третьему дал денег снять землю, что он «милостив без конца». Она слышала, что его товарищи уличили двоих из односельчан, недавно приставших к шайке, в предательстве и, заперев их в заброшенной угольнице, товарищеским судом присудили к смерти. Сын страшно тосковал и не спал ночей. Ему казалось, что уличенные лишь из страха перед истязаниями согласились на измену. Они умоляли его помиловать их, взять опять в шайку и клялись погибнуть вместе.

Поверить им, уговорить товарищей простить их и взять с собою — значило открывать им и дальше свои планы и людей, у которых было пристанище. Отпустить — отравить шайке новыми заботами, подозрениями последний час отдыха.

Затягивалась какая-то мертвая петля.

Шел третий день; томились приговоренные, томились и приговорившие. Атаман сидел, опустив голову.

— Есть у бога сад,— обратился он к товарищам,— и много в нем всяких цветов: душистых, махровых и простых, и всем им хочется солнца. И они в этом саду,— указал он на приговоренных.— Ужели мы вырвем их из божьего сада; они такие же темные, какими были мы? Помилуем их.

Товарищи угрюмо согласились.

Один из предателей был бос. Стояла осень. Сын снял с себя сапоги и отдал ему.

И чудились матери во всем этом вещие сны сына о садах и правосудии, какого он искал тогда.

Помилованные пришли к стражникам и открыли все,

что узнали. Началось еще более жаркое преследование. Шайка металась, как в огне.

Как-то вечером Калачев встретил на улице одного из предателей и двумя выстрелами уложил на месте.

— Мамочка,— сказал сын, когда они сошлись ночью в густом тальнике у реки,— я хочу жениться.

Мать удрученно молчала. Женить сына было ее заветной мечтой, но теперь и эта мечта принимала странные, тревожные образы: какую и где мог сын высватать себе невесту, когда на нем, в воображении всех, уже лежала петля.

— Кто ж она, сы́ночка?

Голос ее испуганно дрожал.

— После убитого вдова осталась с ребенком — так я ее возьму.

— Да когда ж ты?..— мать хотела сказать «спознался с ней», но не договорила.

— Нет, мамочка, у нас ничего не было. А только куда ж ей теперь, бесприютной, с ребенком? А вдовою она через нас осталась.

— Да она ж первая тебя выдаст! — воскликнула пораженная мать.

— Я так к ней подойду, мамочка, что не выдаст: я ее сына воспитаю, человеком сделаю.

Они долго сидели в тальнике. Сын рассказывал матери, что уже все товарищи согласились уехать куда-нибудь — в Сибирь, на Кавказ — и купить там землю. Туда же перевезти всех хороших людей из села и соединиться всем для новой жизни.

Было решено везти туда: глухую бабку Акулину — для присмотра за призрачною птицею; деда Агафона, «мастака» заговаривать от змеиных укусов и зубной боли, знающего привычки старых домовых и умеющего разгадывать их предсказания к добру и худу.

— Выстроим себе там, мамочка, четырехэтажный дом и будем все проживать в нем. Дом будет виден издалека, и всякий, кто захочет отдохнуть в нем, пусть смело идет к нам. Мы всем будем рады.

Мать уже слышала, что некоторые жинки успели поругаться из-за тех мелочей, какие, по мнению одних, были необходимы, по мнению других, лишни в жизни в неведомой стране. Бабка Акулина говела перед призрачным отъездом в призрачные края. Дед Агафон помолодел лет на десять.

Дыхание сына ласкало впалую щеку матери. Она ви-

дела всю несбыточность его мечты и что ему уже не вырваться из опутавшего его клубка. Она сама раньше лелеяла мечту уехать с ним куда-нибудь подальше и даже, чтобы сделать ее реальнее, собирала ему украдкою от мужа в неведомую дорогу деревянные ложки, чашки, холсты; но теперь эти мечты были так же далеки, как тот четырехэтажный дом, о котором говорил сын.

Они долго засиделись в тальнике...

— Ващенкова,— подошел к ней писарь,— скорей! Сейчас генерал выйдет. Я докладывал ему.

Федосья вздрогнула и, сжимая в руках сложенный в трубочку платок, пошла за писарем. Лицо ее опять застыло.

В противоположных дверях показались председатель, прокурор и кавалерист-судья.

— Ваше высокопредседательство,— кланяясь генералу, заговорила Федосья,— дайте мине до сына хвиточек,— остатни часы доживае.

— Мать Ващенко? — строго спросил генерал.

— Мать, мать. Остатни,— уж я верно знаю.

— Как? Почему? Это никому не известно.

В густом голосе его дрожали растерянные, сбивчивые нотки. Тяжелые, усталые глаза тревожно забегали по комнате: к приговоренному к казни обыкновенно уже никого не допускали. Тюрьма не любила выдавать свои тайны и выработала целую систему приемов, чтобы сохранить их. Добивавшемуся свиданья отцу или матери осужденного тюремное начальство, смотря по его положению и характеру, то туманно и уклончиво, то уверенно и успокаивающе говорило, что их сына переслали в другой город для снятия допроса или что он болен и его нельзя беспокоить; то грубо отказывало, безо всяких объяснений.

— Кто же это мог сказать? — обиженным голосом проговорил прокурор, выдвигая еще более нижнюю челюсть.— Странно.

Отставной кавалерист смотрел на мать удивленными, неморгающими глазами.

— Да как же так? — уже внушительно заговорил председатель.— Этого, матушка, даже и мы не знаем.

— Я знаю, ваше сиятельство,— звенящим голосом отвечала Федосья.— Сердце матери все узнало. Я и ямы видела.

— Ямы, гм... Какие ямы?

— Куда положат моего сына. Три их. Либо в эту, либо в

ту ночь конец ему будет. Я ко всему готова; только бы мне еще живого его захватить.

— Ну, хорошо, хорошо,— перебивая ее, заспешил председатель, словно стараясь оградиться от какого-то кошмара, выступившего перед ним в образе матери.— Вот тебе пропуск. Иди, иди.

— Покорно благодарю за милость.

Федосья не спеша свернула билет. От ее острого взгляда не ускользнула тревога, пробежавшая по лицам офицеров.

— Получила пропуск? — спросил подстерегавший ее на лестнице черный стражник.

Ему вдруг страстно захотелось поговорить с Федосьей. Четыре месяца он караулил ее сына в тесной, темной, без воздуха одиночке уездной тюрьмы, истомленного заключением и допросами, какими вымогали у него выдачи сообщников.

Четыре месяца стражник наблюдал, как разрушалась в нем крепкая молодая жизнь и как из ужаса повеявшей на него смерти вырастало в нем признание какой-то грозной силы, перед которой он часами лежал ниц, волнуя сердце стражника желанием достигнуть его душу. В ней чудилось ему смирение перед тем жестоким и властным, в чем видел он бога своего.

Он считал себя верующим.

Мать с ужасом отшатнулась от него и вышла на улицу.

Пестрая толпа, рысаки, витрины магазинов плыли перед ней, как обманчивый мираж. Сейчас она увидит сына, с которым не виделась год — с тех пор, как его перевели сюда из уездной тюрьмы.

Вот уже и низкие скученные дома, изрытые ухабами переулки, серые люди, солдаты; все чаще и чаще попадаются стражники, жандармы.

А вон за околицею, в стороне от дороги, и высокое четырехэтажное здание с черными на белом фоне стен совками над рядами окон, окруженное высокою каменною стеною.

Минуя полосатую будку и шлагбаум, Федосья прошла через двор в приемную.

Юркий, в новенькой форме помощник смотрителя с закрученными усиками останавливает на ней острый, испытующий взгляд, вертит в руках ее пропуск, пожимает плечами, снова вертит и скрывается в конторе. Она не замечает, сколько времени ждет его; не видит, что рядом сидят родные заключенных, ходят конвойные, надзиратели,

жандармы; не слышит, как бьются о каменные стены, сливаясь в смешанный гул, многосотенные голоса, звон кандалов, бряцанье ружей, шаги часовых. Она представляет себе свидание с сыном, какое уже много раз видела и пережила в своем воображении в долгие бессонные ночи, и окончательно решает, чтобы не расстраивать сына, говорить с ним тем торжественным языком, каким писала ему в тюрьму письма. Готова уже речь, в которой должны быть следующие слова: «Благословляю тебя, чадо мое дорогое, принять смерть с верою и покаянием. Не отрицайся от бога, от веры, евангелия и креста. Там, сы́ночка, будет суд праведный; говорят, что страшный, только это неверно: страшный тут — от судей, а там от бога не страшный. Предлагаю тебе, сы́ночка, поисповедайся по-христиански и по закону божию, а впрочем, есть твоя воля на то, я тебя не принуждаю».

И дальше шли все такие же торжественные выражения, какие, по мнению матери, должны были подкреплять сына в его последние часы. За ними вставали и прятались другие, от которых жгучей болью схватывало и замирало сердце; но мать решила крепиться, не высказывать их и даже не плакать.

— Иди в свидальную, сейчас выведут,— дотронулся до ее плеча тюремный дядька.

Она пошла, высоко, неверно поднимая ноги, не чувствуя пола, и шла, пока не уперлась головою в решетку.

За другою, напротив, показался неясный, шатающийся облик, с трудом передвигавший гремящие кандалами ноги.

Неужто сын! Как ввалились его щеки, блестят глаза!

Федосья видела, как бессильно запрокинулась его голова, когда он поднял ногу на приступочку, с какой полагается разговаривать с пришедшими на свиданье.

— Сы́ночка! — вскрикнула пораженная мать.

— Здравствуй, мамочка,— послышался хриплый, неживой ответ.

— Ты ли это?

Она не могла вспомнить ни одного слова приготовленной речи и молчала. Молчал и сын, опустив голову.

За обоими стояли тюремные надзиратели, за сыном и сам смотритель тюрьмы — чтобы слушать их разговор, а молчание длилось... Казалось, ему не будет конца.

— Как твое здоровье, сы́ночка?

— Теперь ничего не болит.

— Как тебя кормят?

— Обед стали хороший давать за последние дни, только я его не ем... ничего не хочется.

Мать поняла, что перед ней был покойник, что сын двигался и говорил лишь по привычке.

— Сы́ночка,— возвысила она голос,— кланяются тебе репьевцы, и суходольцы, и погореловцы, помнят и любят тебя, и все тебя жалеют.

Слова были из тех, какие должны были остаться спрятанными где-то глубоко, глубоко, но они вырвались сами собою.

Яркие пятна выступили на щеках сына, грудь стала высоко, неровно вздыматься. Он хотел сказать что-то, но слова тонули переливающимся хлипом, руки дрожали, тело тряслось в лихорадке, бившей его приступами с самого утра.

— И я всем кланяюсь,— уловила мать.— Пусть живут за меня.

Он отдышался и вытер рукавом кровавую пену с губ.

— Сестру мою крестовую не кидай, воспитай ее, выдай замуж; она всегда будет до тебя пригортаться, и ты не останешься одна. Передай ей мой привет братский, и отцу названому, и всем, всем.

Голос был грустен; на глазах блестели слезы.

— Самовар сестре отдай, поддевку отцу... а картуз новый себе на память спрячь... Письмо мое тут, в конторе, тебе приготовлено... береги его; карточку тоже спроси... А вербу на огороде, что я посадил, не руби — пусть растет.

Мать поняла, что сын боялся затеряться и хотел на всем оставить свой след на земле; а ей хотелось как можно ближе подойти к ожидавшей его смерти, рассмотреть ее, припасть к сыну невидимкою в его страшную минуту. Утром для этого она была у тюремного священника и просила его сказать сыну на казни, что была его мать и целовала тот самый крест, который теперь он дает ему. Была у начальника тюрьмы и умоляла его обойтись с сыном на казни ласково и не пугать его.

— А я, сы́ночка, ты уж прости... я свое сердце жалею... Тебе, может, все равно, а для матери...

Она крепко сжала зубы, чтобы не разрыдаться.

— Ты уж крест прими.

— Хорошо,— ответил он еще грустнее.

— Какая на тебе рубаха грязная, сы́ночка,— як свята земля. Я привезла тебе новую, тонкую, и подштанники. Ваше благородие,— обернулась она к смотрителю тюрь-

мы,— нельзя ли моему сыну надеть на смерть ту рубаху?

— Нельзя.

— Хороша, мамочка, будет и эта, я ее недавно одел.

Мать видела полосы пота на ней. Ворот был расстегнут, и сын несколько раз поднимал скованные руки и почесывал худую, тонкую шею.

— Отдай ее, пусть другой кто-нибудь за меня поносит... Мне теперь ничего не нужно... Доживаю последние дни... Помираю... и казнь мне назначили... Ну, пусть так, пусть я разбойник, атаман шайки, а вот Петров по одному делу со мною осужден на смерть, а я его в первый раз увидел в здешней тюрьме.

— Ващенко, кончай свиданье, не расстраивай мать!

— Ваше благородие, минуточку еще! — взмолилась Федосья.

Выбирать слов уже не приходилось. Надо было торопиться, боясь перерыва свидания, а сказать было так много, словно ничего еще не было сказано.

— Дорогое мое чадочко, сознайся мне: может, через меня ты теперь такую смерть принимаешь, потому что вышла я во второй брак. Говорил же ты мне: «Вывела ты меня на чужую сторону, в чистое поле, на буйный ветер, променяла на мужа своего».

— Ну, что теперь об этом поминать.

— Ничего, ничего, сы́ночка. Ты меня не жалей, говори правду, потому — я на воле, белый свет вижу, а тебе сырую землю приготовили.

— Ващенкова, не расстраивай сына!

— Томит меня неизносимая беда, тянет мое сердце. Простишь ли ты мне?

Она ухватилась руками за решетку, чтобы не упасть.

— Ващенкова, кончай! Пора!

— Сы́ночка, благословляю тебя,— словно защищаясь, заметалась мать,— не бойся. Будет еще суд праведный,— вспомнились слова из приготовленного вступления и опять пропали.— А только постыди, постыди ты перед смертью палача.

— Вывесть ее!

Она впилась в решетку, не чувствуя, как ее брали под руки, отрывали от железных прутьев.

— Прощай! Про-о-щай! Про-о-ща-й! Целую тебя в последний раз,— прильнула она губами к решетке.

Сын сделал то же.

— Прощай, прощай, мамочка.

— Сыночка! Сыночка! Сыночка! — вскрикивая все громче и громче, билась мать. Ей хотелось рвать на себе волосы, упасть на пол, умереть, но смутная мысль, что она может обозлить начальство и этим повредить сыну на казни, вязала рвавшееся сердце.

Ее довели до ворот. Переступая их, она услышала кандальный звон и бросилась назад.

— Куда! — загородил ей дорогу стражник.

— Дай, дай еще раз взглянуть на сына! Это на нем кандалы гремят! Я знаю!

— Вон! Больно много знаешь! Умрешь раньше времени!

Ворота захлопнулись. Что-то последнее оборвалось в сердце. Мать долго стояла на месте... обернулась, взглянула еще раз на ворота, мутным взглядом обвела тюрьму, черные совки под окнами и опять пошла на кладбище.

Оно было возле, почти за оградою тюрьмы. Густыми, сомкнутыми рядами стояли на нем сбитые по одному образцу — из двух заостренных кольев — некрашеные кресты с намазанными на них черными номерами. Под каждым номером значилось два покойника. Смерть собирала обильную жатву с переполненной тюрьмы и губернской больницы, и из экономии места в каждую могилу ставили по два гроба; когда же их не хватало на четное число, последний опущенный в могилу только слегка присыпался землею, иногда по нескольку дней дожидаясь товарища.

Ямы заготовлялись с осени, а чтобы земля в них не замерзала, до краев набивались навозом. Длинными рядами тянулись они перед окнами тюрьмы. Весною могилы проваливались; солнце пригревало мелко зарытые трупы, и ветер нес на тюрьму удушливый смрад разложения.

Словно кости самих мертвецов, серели издали наклонившиеся во все стороны тонкие кривые кресты. В некоторых местах они слегка расступались, оставляя неширокие полосы, совершенно незаметные со стороны: они были видны только из окон верхнего яруса тюрьмы.

Черная, тучная, перемешанная с навозом земля на них была сплошь взрыта и сливалась в какой-то безобразный нарыв, образуя вспухшие неровные поверхности. То были наскоро забросанные по ночам бескрестные могилы казненных.

Не было ни ограды вокруг кладбища, ни кустика на нем — ничего, за что бы зацепиться теплому, живому чувству. Ужасом заброшенности веяло от него, грязного, неряш-

ливого, ютившегося за задворками каких-то притонов, лепившихся около тюрьмы.

Мать шла по одной из вспухших полос, проваливаясь и увязая в рыхлой земле. Сердце ее дрожало, ноги подламывались. Она только что видела сына, говорила с ним; он остался там, но был уже и здесь — частью этой гнойной земли.

Освященная веками, омытая слезами смерть, сливавшаяся с жизнью в вечном царстве, в сиянии и красоте, какую так знал и любил народ, она была тут другою, полною безмолвного ужаса, перед которым бессильно билась и холодела мысль и гасли вековые слова молитв и жалоб.

Вот и три свежевырытые ямы.

— О-о-о-о! — завопила мать, падая на насыпь одной из них и словно измеряя своим криком всю глубину своего горя. Из хаоса сбитых, неверных представлений с трудом вырывались мысли, которых нельзя было ни поймать, ни запомнить — так быстро являлись они и бесследно исчезали. Сознание то терялось, то возвращалось. Холодная земля липла к лицу, груди...

Когда Федосья села, то долго внимательно рассматривала комочки земли, приставшие к рукам, кресты, тюрьму, потом неуверенно поднялась, как поднимается человек, которого сбросила понесшая лошадь и он не знает — переломаны у него ноги или нет. Подошла к ямам, увидела на дне одной навоз; спустилась в нее, выгребла и выкидала комья. Одна из ям показалась мелка. Пришла мысль: положат в нее сына, просочится к нему вешняя вода, и будет ему мокро и холодно лежать в ней.

Захотелось вдруг вырвать могилу сына из ужаса этого места, отгородить ее своею ласкою, слезами. И мысли, взлелеянные веками народного горя, запросились сами собою. Мать черпала их, как воду из глубокой криницы, и они являлись по первому зову — сильные, красивые, чеканные.

— Не ты ль, ямочка, будешь моего сына спасать? — «закричала» она над могилою.

Ты ль будешь его, как я, примовлять?
Нет у тебя ни одного окна, ни двери;
Не заходит к тебе солнце,
Не завевает ветер.

Она перешла к другой могиле:

Может, ты, ямочка, будешь его пригревать,
Как я пригревала, как я привечала?

. . . .
. . . .
Скажи мне, могилка свята́, не ты ли? —

спрашивала она у третьей.

Сегодня я пришла к вам, могилочки,
И солнце вам светит, и ветер веет;
А завтра приду — уж будете вы закрыты;
Положат моего сына, засыпят сырою землею,
Навалят на грудь ему и на голову,
И не будет ему слышно никакого шума,
Ни голоса товарищей,
Ни звона колокола христианского...

Ей казалось, что она уже говорит с сыном тем загробным языком, который был теперь всего ближе и понятнее ей.

Теперь мне своя — чужа́ сторона,
Все люди чужие.
Не придешь ты ко мне,
Не выглянешь из-за угла,
Не пробежишь нигде, нигде...

Смеркалось, когда она, шатаясь, шла с кладбища.

— Нынешнюю ночь будут моего сына казнить,— сказала она хозяйке грязного постоялого двора, стоявшего через дорогу, напротив тюрьмы.— Нет ли у тебя елею лампадку засветить?

Растрепанная, отекшая от пьянства женщина оправила лампадку.

— Господи! — молилась мать.— Будет мой сын в эту ночь смерть принимать свою страшную, будет смотреть в очи палачу... Пошли ему кончину легкую...

Других слов не было, и она только «била поклоны».

В соседней комнате долго ссорились, слышалась брань, и покойно спал отец Петрова, которого не допустили на свиданье с сыном, сказав, что его переслали в другой город.

Наконец все стихло. На лавках, полу лежали спящие, закутанные фигуры.

— Господи, да развали уж ты тюрьму и выпусти моего сына! — вырвался вопль.— Иль бы он умер до этой страшной ночи!

И опять «била поклоны». И опять не было слов...

Вышла на улицу. Через дорогу как в тумане мерещилась тюрьма. Над краями толстой ограды ложился слабым заревом свет с тюремного двора. Как гнезда высились над ней со всех сторон деревянные будки на столбах. На этот раз

они были пусты: даже часовые не должны были видеть того, что делается во дворе.

Мать продолжала стоять на дороге, с невероятною силою напрягая слух, чтобы уловить, что делается «там»... Но ни единый звук не долетал до нее... Мелькнула мысль прокрасться к будке, влезть, взглянуть оттуда, броситься вниз, помешать... и исчезла: ужас творившегося на дворе словно переселился и в нее, сковал члены... Кругом все спало. В домах погасли огни. Около тюремной ограды словно ездила какая-то невидимая, призрачная стража...

По спине, казалось, водил кто-то холодною рукою: она сокращалась и дрожала бегающею дрожью. Испуганно бился живот и подтягивался к спине. Рубаха была мокра, а руки и ноги окоченели. Мозг, казалось, тоже окоченел и остановился на одной мысли: казнят.

Чтобы не потерять рассудок, Федосья входила в дом, смотрела на спавших, окна, образа, свет лампады... Молиться она уже не могла...

И она опять выходила на дорогу, боясь переступить через нее, как через какую-то грань, из-за которой уже нет возврата...

Когда она вышла в третий раз из дома, уже смутно светало. Она осмелилась подойти ближе к тюрьме и увидела свежий санный след от ворот на кладбище, всплеснула руками и закричала:

Вот уж и санный следочек,
Вот уж проехал мой сыночек,
Вот уж и люди прошли.

А дальше что кричала — не помнила — и шла по этому следочку. Когда увидела заброшенные могилы, закричала еще громче:

Матынька ты моя, святая земля,
Рано ж ты моего сына к себе приняла.
И заря тебе еще не светила,
А ты уж его собою прикрыла...
. . . .
. . . .
На то ль я его себе породила,
На то ли вскормила, вспоила,
На то ли во слезках купала,
Чтоб ему доля такая припала?
Другие-то матери убирают своих детей цветами,
А тебя убрали тяжкими цепями...

Кричала, пока не выбилась из сил. Сколько времени пробыла на кладбище — не знала. Оттуда опять пошла к тюрьме, долго кружилась вокруг нее, проходила туда, куда никого не пускают; узнавала там, где озлобленно хранят страшные тайны и нельзя вырвать слова. Останавливала жандармов, стражников, тюремных дядек, конвойных, и из их слов, часто испуганных, мимолетных, перед нею создавалась картина казни. Она узнала, что сына не переставала бить смертная лихорадка и его повесили в эту ночь только потому, что, по свидетельству больничного врача, ему оставалось жить всего день, два, и боялись, как бы он не умер до казни. Когда пришли его брать, он со страха весь обмочился и не мог говорить. Его вели под руки, и он шатался; и только что «засмырнули» веревкою, как он испустил дух, не висел и пяти минут. Когда же сняли, «совсем, совсем» походил на обыкновенных покойников, так что начальство даже сказало: «Ай да Ващенко, изо всех казненных один такой красивый».

«Побилив, як крейда, и глазки закрыв, и губочки стулив»,— думала мать, находя в том утешение, что сын «почти, почти», своею смертью умер. Она узнала также, что Петров, которого так жалел сын, почернел, как чугун, глаза окровянились и вылезли, и высунулся язык; а Калачев, приблизившись к палачу и мотая головою, словно хотел бодаться, так крикнул ему: «Здравствуй, палач!» — что тот в испуге попятился. Узнала, что Калачев долго бился на веревке, и так сильно, что тряслась перекладина.

Но в какую из трех могил положили ее сына, никто ей сказать не мог.

Мать опять была у священника и узнала, что сын принял крест; прошла к смотрителю тюрьмы и просила отдать письмо к ней сына и его карточку.

— Домой, домой поезжай,— отвечал смотритель,— карточка тебе не выдастся, а письмо на место пришлется. А в случае не получишь его, через три месяца можешь на имя губернатора прошение о нем подать.

Явилась мысль поставить над сыном крест, и стало как будто легче: находилась цель, для которой нужно было жить.

— Ваше благородие,— говорила она инспектору тюрьмы,— прошу я вас, дозвольте крест сыну поставить.

— Крест? Ему крест?.. Да ты с ума сошла! — закричал на нее инспектор и даже затопал ногами.— Этак он, пожалуй, и моих бы детей зарезал, а ему крест!

Пошла с тою же просьбою к председателю суда. Там ее не приняли; к прокурору, и там получила отказ. Была у какой-то барыни; та, слушая ее, плакала и все хваталась за голову, говоря: «Нет, об этом я не могу просить мужа, мне вредно расстраиваться, я так слаба».

И велела прислуге напоить ее чаем с вареньем.

Жандармский полковник кричал на нее: «У, сука, какого сына родила! Креста захотела!.. Сейчас отправляйся домой, а не то — завтра этапом вышлю!»

— К живому к тебе не допускали и от мертвого из губернии гонят,— думала мать и шла дальше; еще кому-то что-то рассказывала; кто-то в ужасе бледнел перед нею; кто-то опасливо смотрел как на сумасшедшую.

А дальше все уже сливалось в каком-то кошмаре испуга, слез, насмешек и брани... Ходила без цели, и где была — уже не помнила. Прошла всю главную улицу; стояла на площади перед масленичной каруселью; почему-то купила булку и ела ее большими кусками.

А вечером почему-то пришла в суд, поднялась по лестнице и, когда увидела солдат, стражников, закутанных баб, вдруг вспомнила, что тут судятся товарищи сына.

В духоте и испарениях, в чаду лампочек по-прежнему устало двигались солдаты с ружьями, стражники и томительно ждали приговора родственники.

Судьи совещались.

Прошло еще часа два. Наконец двери суда отворились; желавшие слышать приговор стали входить в зал.

Он был пуст. Среди грязных, облупившихся стен ярко горел длинный, красный стол. Дежурный офицер с холеными усами ходил взад и вперед перед тусклыми окнами, да в дверях с трех сторон стояли солдаты.

Крестьяне, не присаживаясь на расставленные скамьи, жались к стене, друг к другу. Сердца бились пугливым ожиданием, каждая минута казалась долгой, тяжелой. Прошло еще с час. Темная усталость сковывала болью мозг. Многие зевали.

Раздалась команда ввести подсудимых. Блеснули лезвия сабель, показались серые, скованные фигуры и выстраивались в ряды, осторожно лязгая кандалами.

— Встать, суд идет! — испуганно крикнул солдат, распахивая двери в смежную комнату, и в зал, словно отбивая такт, вошли судьи.

Родные подсудимых видели перед собою выпрямившиеся

фигуры, гордо закинутые головы, увешанные орденами груди...

Председатель взял бумагу. Настала жуткая тишина.

Вот оно наконец то, что со страхом ждалось годами, бессильным гневом клокотало по тюрьмам, крутилось в мути мозга, сводя с ума, тоскою укладывало в могилу, робкою надеждою тлело в сердцах матерей, исходило слезами жен, жалобными воплями детей; вот оно скинет сейчас свой мучительно-загадочный образ; вещим, может быть, словом утушит ненависть, светлым лучом заглянет в измученные, истомленные души.

Громкий, уверенный голос читал холодные, чуждые слова о каком-то строе, каких-то статьях и нарушениях закона... а вот и имена, дорогие, понятные, единственные на свете. И вслед им что-то кошмарное резнуло ухо, ударило в сердце. И опять шли чуждые статьи и нарушения, а за ними имена, и снова, и снова страшное, невероятное, ошеломляя слух, вонзалось в сердце, туманило голову, безумным ужасом захватывало всего человека.

Ни быстрой смены чувств, ни испуга не было видно на лицах арестантов, словно то, о чем говорил приговор, давно было известно им и только пряталось в их бледных, землистых лицах, а теперь тоскою выступило яснее: скользнуло загадочною улыбкою по лицу Пряслова, залегло в расширенных глазах мужа Дарьи, не спускавшего взгляда со своей «скалозубки».

Родные, вытянув головы, напряженно прислушивались к именам и приговорам, но какой-то внутренний слух не принимал их. Имена смешивались: страшное слово «казнь» витало около всех их, и хотелось выгадать час, минуту незнания; боялись спросить друг друга.

— Оправдан и освобождается от суда и следствия Степан Горемыкин,— громко произнес председатель, как бы желая подчеркнуть этим особую милость суда, и, словно возмутившись, что невинный продолжает оставаться среди осужденных, приказал секретарю распорядиться его немедленно освободить.

Смутный шум вздохов пробежал по зале.

Арестанты заколыхались и, неловко толкая друг друга, стали скрываться за саблями конвойных в другую комнату.

Растерянно продолжали стоять родные, боязливо отдаляя страшную минуту действительности.

Как во сне, цепляясь друг за друга, спускались они по лестнице и окружили наружную дверь, откуда должны

были выйти приговоренные, но стражники, еще так недавно мирно беседовавшие с ними, грозно крича и размахивая ружьями, отогнали их в глубину пустынного двора.

Послышался знакомый лязг, озабоченные громкие голоса, и в белесоватом свете ночи неясно выросло длинное, серое, бесформенное видение.

Кто-то крикнул: «Прощайте, не убивайтесь!» Кто-то: «Пришлите чаю, сахару, а то у нас нет!» Еще один: «Живите подольше!»

Запылали факелы и побежали отблеском по черным всадникам и серым фигурам приговоренных.

Опять послышался приказ старшего конвойного арестантам: держать себя смирно с угрозою оружием.

— Марш!

Передний солдат с силою оторвался от места, словно его держала вся эта скованная вереница. В такт ударили цепи. Поплыли огни...

Родные бежали позади, увязая в снегу. Никто не кричал.

Улицы были пустынны. Город спал.



В. Н. ЦЕХОВСКАЯ (ОЛЬНЕМ)

ДИНАСТИЯ





— Ну и было бы самому идти в Государственную думу вместо Вадима, чем теперь так нарекать на него,— сказал беспечно и нетерпеливо Павел Алексеевич.

Арсений Алексеевич провел сухощавой рукой по своей острой темной бородке, потом ответил сдержанно, не отводя глаз от замысловатого пасьянса:

— Ты прекрасно знаешь, что я не мог пойти.

— Из династических соображений? — лениво усмехнулся негритянски-толстыми губами преждевременно ожиревший Павел.— Чтобы не оставить Натальинский уезд сиротою? Без третьего поколения Неповоевых на предводительском посту?

— В предводители я легко бы провел и тебя, и Вадима. На первых же выборах. Все равно Неповоевы. И все равно третье поколенье.

— Что касается меня, я — пас. Никакого амплуа не приемлю. Если уж в третью Думу спасать отечество не пошел... предводительство — тем более насмарку. Но Вадим? Вадиму чрезвычайно к лицу было бы предводительствовать.

— Ты полагаешь?

В холодноватом тоне старшего брата прорвалась раз-

драженность. Но он умел, когда желал, сдерживать себя и углубился в пасьянс еще сосредоточенней.

Павел заметил недовольство, однако не захотел уступить.

— Очень к лицу,— повторил он чуть-чуть лукаво.— Больше, чем тебе. Не сердись только. Во-первых, Вадим нигде не доучился, и это стильно. Для предводителя — очень. Как предводитель, Вадим более цельная фигура, чем ты. Ты — университетский, дипломированный. Ты — точно живой укор всем иным... настоящим, *чистым* дворянам. Затем... у тебя свои твердые руководящие принципы. Историческая роль русского дворянства... Неуклонная обязанность держаться на высоте... Быть достойным и прочее. Это также для многих стеснительно. А Вадим... с ним всякому удобно. Наконец, внешность Вадима? Ведь уродится же этакий Святогор-богатырь! Весу восемь пудов с походом. Не жир, как у меня, одни мускулы. Гнет серебряные рубли, лучше мужика траву косит. Плечи — шире косой сажени, борода — русая, лопатою. Хоть сейчас на монумент его тащи, не посрамит земли русской. А голос? Труба иерихонская. В Думе он классически молчит. И хорошо делает, говоря между нами. Но для председательствования на уездных собраниях у него клад, а не голос. Он и гомеопат, и пчеловод... Все такое безгрешное. И совершенно в дворянском жанре. Так что почему ты не поехал в Думу сам, а послал Вадима... я положительно не понимаю.

— Подумай. Может, догадаешься.

Арсений Алексеевич не отрывался от пасьянса. Павел медлительно покачивал свое грузное тело в качалке. Откинувшись назад, он держал кверху большую голову с недлинными волосами светлого оттенка, рассеянно вглядывался в темно-зеленый купол виноградной беседки. Эта круглая, обширная как цирк беседка, сплошь доверху густо увитая цепким виноградом, предназначалась у Арсения Алексеевича на случай летних обедов при приемах гостей. Приемов, впрочем, у Арсения Алексеевича совсем не бывало. А беседку все же построили над правым берегом веселой и быстрой Горли. Построили лет восемь назад одновременно с новым не то домом, не то замком, возведенным Арсением Алексеевичем. И замок стоял тут же, над берегом, саженях в сорока от беседки, у подножия парка, который спускался к реке от старой барской усадьбы. Он был немного фантастический, этот замок. Трехэтажный, серовато-сиреневой окраски, с плоской крышей, с глухими и

открытыми балконами всюду, с верандой вокруг нижнего этажа. Готические окна, полированный каменный фундамент, серебристые решетки несимметрично разбросанных балконов, закругленные башенки по углам... Все это поблескивало теперь под знойным солнцем, все еще не утратило свежести новизны.

Было жарко. Но в затененной беседке не ощущалось жары. Лишь особый знойно-золотистый, чуть зеленоватый от виноградных зарослей свет напоминал, что июнь почти на исходе, что завтра — начало сенокоса и от сегодняшнего воскресенья всего трое суток до Иванова дня.

— Так не догадываешься? — помолчав и не дождавшись ответа, спросил Арсений Алексеевич.

Павел опустил качалку вниз, поставил ноги на твердо утрамбованный пол беседки и потряс головою.

— Нет. Мои ленивые мозги не постигают столь тонкой премудрости.

— А премудрость простейшая. И постигать нечего. Помещик обязан лично работать на земле. Обязан. Иначе он — чиновник, художник, адвокат и кто угодно, но не представитель своего сословия. Ты и Вадим не хозяева. Отнюдь. Значит, пригласить платного управляющего и все на него оставить? Это после того, как я вложил в имение чуть не все женино состояние? После всех моих начинаний? И овцеводство мое, и конский завод... Все в чужие руки? Но тогда мы и половины не получим того, что теперь получаем. Ни я, ни вы с Вадимом. Наши две с половиною тысячи десятин на троих — да-алеко не золотой клад. Рабочие руки дóроги, все дьявольски вздорожало. А жить нам всем — мне с семьей, Вадиму с Ларисой, да и тебе тоже — надо прилично. Соответственно нашему,— как ты на мой счет часто иронизируешь,— прирожденно сословному достоинству.

— Но в Думе ты получал бы жалованье на подмогу?

— И проживал бы его целиком, как Вадим проживает. Их только двое, он и жена. У меня же семья.

— Да-а. Это... разумеется. Пожалуй, что верно.

Павел досадливо, немножко смущенно потер крупными и пухлыми пальцами свой жирный затылок. И обрадовался, вспомнив еще про что-то, упущенное из виду.

— А имение дяди? — напомнил он несколько тверже и оживленнее.— Ведь тоже две с половиною тысячи? И оно всецело в твоих руках?

Арсений Алексеевич усмехнулся не то с горечью, не то с укоризной.

— Гебе кажется земля дяди ценной находкой? Напрасно. У дяди Валерьяна все заложено-перезаложено. Не секрет же для тебя, полагаю? Две закладных в банке. Есть частные обязательства. Сколько проценты съедают. Кроме того, дядю самого содержать надо. Тебе, может, кажется: дядя старик, паралитик... много ли ему нужно при семье Арсения? Только и расходов на него, что оплатить камердинера. А на деле, если сосчитать,— во что одно франтовство его обходится! Все эти костюмчики, курточки... ассортименты шляп, запонок, галстухов. Духи, косметики. А его страсть к лекарствам? Ко всяким омолаживающим средствам? Даю тебе слово: он больше тратит на себя в месяц, чем я за полгода.

— Но все же... то есть... Я хотел сказать...

— Ты хотел сказать: но все же долги его погашаются? И имение достанется моим детям чистеньким? Но это только и заставляет меня возиться с его делами. Если бы не его дарственная... если бы это не родовая, не повоевская земля, да я бы ни за что!..

— Видишь? Какой ты у нас... собиратель, Иван Калита.

— О, могу тебя уверить... Он, составляя дарственную, все рассчитал отлично и правильно. Не возьми я его земли в свои руки, все уже продали бы кредиторы. Дядя остался бы ни с чем, безногим нищим. У него не было другого выхода. А я все равно был запряжен. Ну и рассуди, как бы я шел в Думу с таким грузом за плечами?

Наконец, я должен следить за воспитанием детей. Воспитатели воспитателями, а необходимо и мое влияние. Мстислав и Игорь — наше будущее. Не только мое, всей семьи нашей, пока ни у тебя, ни у Вадима — нет детей. Ах, дети, дети... Большая радость, но и крест нелегкий. Уж не говорю о расходах. Но сколько жертв во имя их. Если бы ты знал только... И, какие жертвы!

— Да, ты много тратишь на их воспитание.

Арсений Алексеевич очнулся от какой-то своей волнующей думы.

— Еще бы,— проговорил он прежним, спокойно-деловитым тоном.— Один мистер Артур содержание податного инспектора у меня получает. Даже больше. Потому что на всем готовом. А Жюль? А Эрнест? А русский учитель?

— Русский — что. Иностранцы у тебя дорогие. Но это, извини меня, твоя же прихоть.

— Как прихоть? Необходимо вытравить из детей кое-что специфически русское: лень, спячку, инертность, распущен-

ность нашу. Самодурство, моему нраву не препятствуй, мягкотелость, наконец, русскую. Я для того и удалил всякое женское влияние. Мать родную, Ксенашу, и ту отодвинул в сторонку. Вот вам мистер Артур. Пока не вырастете, он бог и царь ваш. И конечно, никаких разговоров. Моих детей надо воспитать подобающим образом. Чтобы четвертое поколение натальинских предводителей было почище третьего. Жизнь идет вперед, а дворянство хочет стоять на месте? Нельзя. Ему нужны престиж, авторитетность. И выдержка, выдержка.

— Малы еще они, мальчики твои, для такой муштровки. Им бы еще в мяч играть, а не в предводители готовиться.

— Мяч — мячом. Мяч, спорт, гимнастика, холодная вода. Но и выдержка, послушание. Игорю — восьмой год, Мстиславу — десятый. Не так уж и малы. Да и воспитывать никогда не рано. С колыбели начинать надобно. Чтобы — храни бог — не вышли продуктами российского выращиванья. Как ты, говоря примерно. Человек с образованием, два факультета прослушал, а какой прок? Хоть бы с японцев брать пример научился. Проникся их преданностью всему своему, их национальным чувством. В Лондоне, в Париже ты небось был в парламенте? Интересовался, как и что у них? У себя же дома — кнутом тебя не загонишь. Я и Вадима в Думу послал потому, что ты отказался. Только потому.

— И впредь откажусь. Не посылай, пожалуйста. Не верю в самую возможность что-либо там сделать. И за себя не поручусь. Вадиму ты как сказал, сядь справа, ближе к октябристам, там он и вовеки пребудет. Он смотрит на себя, как на твоего наместника. Я же не то. Покажись мне, что истина на стороне слева, я не задумаюсь пересесть.

— Этого лишь недоставало. Чтобы Неповоев...

— То-то и есть. Оттого и не пошел я. Тебя огорчить жаль было. Проснись во мне энергия, тебе же беспокойство. А Вадим, он человек удобный. Его сотней лошадиных сил не сдвинешь с места. Он не ослушается.

— Но... он скандален? Безличность круглая. За две думских сессии ни одного слова.

— Бедняга. При его-то болтливости. Думаешь, легко ему это?

— Ты все блягерствуешь.

— А разве лучше, если бы он вдруг взял да заговорил? О чем-нибудь близком его сердцу? О гомеопатии, например?

О преимуществах ее перед леченьем аллопатическим? Или о пчеловодстве?

— Спаси господь. Про гомеопатию не заговорит: он дал мне слово и, как джентльмен, не нарушит его. На него можно положиться.

— То-то же. А кстати... Знаешь, какая легенда ходит о Вадиме по уезду? Будто ты, снаряжая его в Думу, сказал в напутствие: «Молчи, Вадя. Как Неповоев и брат мой, ты достоин сесть в Думе. Но прошу тебя... молчи, что бы ни случилось, кто бы что ни говорил, что бы ни делали, ты знай одно: молчи. Пока ты молчишь, только я один и знаю, что ты... ну, не очень умный. А как заговоришь, вся Россия узнает».

— И чему же ты радуешься? Над чем смеешься? — вскипел Арсений Алексеевич.— Сам, наверное, и сочинил, и пустил в оборот эту идиотскую сцену.

— Вот еще... Стал бы я. Мне кузен Миша рассказывал.

— И Миша, и ты — оба хороши, одним елеем мазаны. Вот... Не угодно ли с подобными сородичами? И когда зубоскалят? Когда мы — точка опоры, переходная ступень в переходной эпохе. Зубоскальство вместо того, чтобы собраться воедино. Доказать, что мы вовсе не развращенный, дряблый класс, как о нас говорят и думают. Не паразиты...

Арсений Алексеевич внезапно умолк.

В среднем из трех закругленных входов в беседку приостановилось кресло с дядей Валерьяном.

Кресло придерживал сзади камердинер из ротных фельдшеров, расторопный, худощавый, малорослый, чем-то похожий на рыжего муравья. И пиджак был на нем шоколадно-рыжеватый, будто нарочно, чтобы дополнить сходство.

Дядя Валерьян грациозно приветствовал племянников полуигривым, полуснисходительным и благосклонным движением левой руки.

— Э? Друзья мои, вы здесь? Примите уверение в глубочайшем...

Приложив руку к груди, он шутливо-низко наклонил голову в прозрачной, дымчатого цвета волосяной жокейке и на секунду замер в этой позе.

Выхоленный, чистенький, подозрительно розовый, тщательно принаряженный, с высохшими ногами на подножке кресла,— он все еще был недурен. Особенно с первого взгляда. К нему даже шли его нелепо растрепанные усы, блестяще-золотистые, вероятно, подкрашенные. У него были

неестественно молодые, сверкающие белизной зубы, розовые, артистически отполированные ногти на тонко-нежных, как у женщины, пальцах. И, как у женщины, унизаны были его пальцы кольцами модных фасонов с разноцветными камнями. Он умел носить самые несуразные вещи, гордился своим уменьем. Пожалуй, действительно, другой в его возрасте был бы очень смешон в этом бело-желтом фланелевом костюме с широким, желтоватым поясом из кожи вместо жилета, в такой пестро-клетчатой сорочке. Смешным показался бы на другом и дымчатый галстук с крупным бантом, и пурпурно-красный фуляровый платочек, картинно выдвинутый из-за кушака. А на нем вся эта пестрота никого не смешила. Будто ему так и подобало.

— Друзья мои? — произнес он снова.— Я вам не помешал?

— Чем же, дядя? — стараясь сказать радушно и чуть повысив голос, ответил Павел.

Дядя был глуховат. Но не любил, чтобы с ним говорили, как с глухим, напрягая голос.

Камердинер вкатил кресло в беседку.

— Ну-с? — обратился дядя к камердинеру.— Ну-с, Артемий Кобелякин, по прозванию Артамон? Теперь ты можешь покинуть меня. И пойти съесть твой обед. Но живо у меня. Слышишь?

— Слушаю, Валерьян Мстиславович.

— Не прохлаждаться долго. Да не мозоль глаза. Жди тут поблизости, пока не кликну.

— Я мигом, Валерьян Мстиславович.

Валерьян Мстиславович остался неженатым и не позволял называть себя барином.

Артамон вышел.

Арсений Алексеевич сидел, углубившись в пасьянс.

— А вы тут что? — спросил у Павла дядя.— Препирались как будто? Опять Павлик раздражает Арсюшу? Ай-ай-ай! Как не стыдно. Брату только и отдыха, что в воскресенье. Мы все сидим у него на шее... И нам ли не уважать его отдых? Ай-ай-ай! А я так не могу достаточно налюбоваться Арсением. Благоговею перед ним. Так все предусмотреть. Так блистательно всем распорядиться. Никогда не упустить ни малейшей мелочи, и в то же время — никакой суеты. Ни крика, ни ругательства. Корректность позы... Корректность туалета. Редкий административный дар. Хороший бы из тебя премьер-министр вышел, Арсений. У-ух! С силой воли... ежовые рукавицы. Одна помеха — не уме-

ешь гнуться. Тебя можно сломать, согнуть — ни-ни. Никому не удастся.

Дядя говорил лестные вещи, но говорил иронически-снисходительным тоном. В его учтивости было что-то высокомерное. Точно он по доброте своей снисходил к кому-то, делал поблажку чьим-то слабостям и сам немножко трунил в душе над этим.

Арсений Алексеевич словно не слушал дифирамбов. Ему не удавалось освободить бубнового короля в пасьянсе, и это, казалось, поглотило его внимание.

Но он был польщен, хотя и знал цену речам дяди. Ему по сердцу пришлось то, что говорил дядя о неспособности его, Арсения, гнуться. Скорее сломится, но не согнется... Это думал о себе и сам Арсений Алексеевич и считал эту черту свою большим достоинством.

А дядя продолжал восхваления:

— И как тебя хватает на все? Поразительно. Даже не загораешь от солнца. Между нами, друг мой, как ты спасаешься? Употребляешь что-то... Но что? Какой косметик?

Арсений Алексеевич рассмеялся.

— Поразительно,— продолжал дядя.— К тебе, значит, не пристает загар. Вот счастливчик. А я загораю, и ужасно, до черноты. Хотя у меня есть средство. Верное. Могу поделиться, если кто желает. Умыванье. Надо взять самую мелкую гречневую муку. Первый сорт, мельчайшую. Смешать в равном количестве с порошком фиалкового корня и... Ну, словом, если хочешь, я пришлю тебе.

— Благодарю. Не нужно.

— Препарат чудесный. Испытан мною. На опыте. Ни веснушек, ни желтых пятен, ни загара. Мне шестьдесят два года. Я двадцать второй год веду сидячую жизнь в кресле. Но цвет моего лица ни в чем не уступит вам, молодежи.

— Превзойдет нас, дядя,— медлительно покачиваясь в качалке, отозвался Павел.

Валерьян Мстиславович удовлетворенно улыбнулся. Он снял с головы ажурную жокейку. Круглая, розовая голова его, лишенная волос, блестела, как перламутровая.

— А все мои косметики,— сказал он.— Косметики и лекарства. Я многое приготовляю сам. Артамон у меня главный лаборант по косметической части. Земляничный сок у нас... Огуречная вода... Настой росного ладана... Сок из лепестков яблони. Все из непосредственных источников. Природа — враг человека. Но она же и друг его. Его защи-

та и помощь. Надо уметь пользоваться ее дарами. В том-то и состоит секрет молодости английской королевы Александры...

Дядя попал на своего излюбленного конька. Это скучно было слушать. Павел осторожно прервал его слова:

— А от моего ожиренья у вас нет косметического средства, дядя?

Дядя понял маневр и, будто невинно, ответил в отместку:

— Есть. Как не быть. Но прежде прекрати подкожные впрыскиванья.

Павел даже дрогнул от неожиданности. Он до сих пор думал, что об этом не знают.

Дядя любил говорить всем неприятные вещи, любил касаться чужих секретов. Но всегда в третьем лице, полупрозрачно, замаскированно. Никак нельзя было осадить или оборвать его без того, чтобы самому не расписаться в получении ядовитой стрелы.

Теперь же он говорил прямо, как о явлении, давно и всем известном.

— Шутка сказать, мышьяк ежедневно! Оттого и толстеешь. Он ведет к жировому перерождению тканей.

— Но позвольте,— возразил Павел, не отрицая.— В Тироле горцы...

— Э-э! Горцы! В Тироле у горцев — какая трата энергии на хождение по горам. А ты на что тратишься? На лежанье?

— А моя бессонница? Многолетняя, хроническая? Вам это кажется пустяком? Я почти не засыпаю без наркотика. От такого сна наутро вялость, тяжесть в голове, расслабленность. Мышьяк только и бодрит меня. Дает иллюзию равновесия. Если б не он, как бы я жил, не знаю. Только это и возбуждает немного. Появляется ощущение легкости, приятности. Словно давило меня что-то. А тут я взял и освободился от тяжести.

Странно было слушать эти признания от такого массивного, крепкого на вид человека.

— Ну и пеняй на себя,— сказал дядя.— Вот и причина толщины. Тебе тридцать четвертый год, и столько жира. Безобразие.

— Систематическое отравление,— вставил свое замечание Арсений Алексеевич, не отрывая глаз от пасьянса.

И он, очевидно, знал давно про впрыскиванья Павла.

— Бог милостив,— протянул Павел, оправившись от смущения.— Бог милостив, а я осторожен,— добавил он

уже шутливо.— Я по всем правилам науки. Не отравлюсь, не бойтесь.

— Но ты уродуешь себя! — наставительно заметил дядя.— И как это можно настолько не заниматься собою, чтобы по доброй воле жиреть, разрушаться? Это даже неопрятно. Некультурно. В том-то и есть одно из главных отличий человека белой кости...

— А! И вы, дядя, как Арсений, в белую кость веруете? — спросил Павел, отводя дядю к новой теме, на этот раз незаметно.

— Всеподданнейше и непреложно.

Валерьян Мстиславович заиграл своими кольцами, собираясь привести доказательства. У него была привычка передвигать большим пальцем то правой, то левой руки многоцветные кольца, надетые на остальных пальцах.

— Натурально, верую. Пораскинь умом, хоть немного, уверуешь и ты. Пойди к Арсению на завод конский или сравни овец, простецких и каракулей. Возьми коров, собак, кур. Кого хочешь из мира животных. Какую огромную роль играет порода. Неужто же для человека она ничего не значит? Вспомни про наследственность. О прирожденных свойствах и качествах. Даже строение тела совершеннее у аристократа, чем у мужика. Э, дорогой мой. Порода — это порода. И я тебе советую не пренебрегать ею, когда задумаешь жениться. Бери выше себя, родовитее. Это можно. Ниже — никоим образом. Из вас троих один Арсений в порядке. Взял девушку из хорошей фамилии. С большими средствами... Красавицу. А вы?.. Ты совсем не женишься. Вадим... Я предпочел бы, чтоб и он не женился. Хорошо еще, что детей нет. Развел бы кутейников. Жена — поповна. Фи! Даже звучит непристойно. Мало того что поповна... Актриса. И актриса-то самый низший сорт, из малороссийской труппы. Бог знает что! Как допустить себя до этого? Ну, понравилась она тебе... Лечил ты ее своей гомеопатией, она уверовала в нее... На здоровье. Живи с нею в свое удовольствие, пока она тебе по вкусу. Но жениться? И кому? Неповоеву? Это уж слишком. Чересчур. Совсем в дурном тоне. А главное, не нужно вовсе. К чему? Никакой необходимости. Я не говорю о ней дурно. Лариса — милейшая особа. Хотя пренекрасивая женщина. В роли жены она достаточно прилична, добродетельна. Все это так. Не спорю. А все-таки бывшая актриса и поповна. Духовенство — почтенный класс, тоже согласен. Но поповна Неповоеву не пара. Все должно быть на своем

месте. Все только тогда и хорошо, когда на своем месте. Вон у Арсения на клумбах немец Адольф Прибе чудеса развел всякие! И там все на культуре зиждется. На совершенствовании пород. Пересадил бы ты в такой великолепный цветник чертополох или репейник? Или мяту? Очень почтенное растение. Целебное даже. Но тут оно не у места. Тут от него — засорение, диссонанс. Ты же первый скажешь, что глупо. Так вот, когда вздумаешь жениться, вспомни о мяте.

— Ну, я не собираюсь.

— Э, придет пора, женишься. На всякого теленка найдется свой мясник.

— А вот вы же?.. Не женились, дядя?

— Я не из телят, мой милый. И не женился по иным соображениям. Не из лени, как ты. Я уклонился сознательно. Боялся. Ревнивым боялся оказаться. Слишком хорошо знал чужих жен, чтобы доверять собственной. Женщине и погоде я никогда не верил. Ибо знал, что знаю. Легче найти мужа, не изменяющего своей жене, чем жену... ээ... э... гм... Ну, жену, которая не хотела бы изменить своему мужу.

Павел исподволь с тревогой глянул полуприкрытыми глазами на Арсения Алексеевича. Арсений был болезненно ревнив, но всячески скрывал свой мучительный недостаток. Скрывал от родных, от чужих, от прислуги, старательно, с выдержкой, следя за собою на людях до мелочей. Но тем не менее все знали про это, как и про впрыскиванья Павла. Точно по молчаливому уговору, никто из семьи не подавал вида, будто считает Арсения способным к ревности. В его отсутствие и то избегали разговоров об этом. И также без уговора, но дружно старались не задеть как-нибудь случайно больную струну его души. Один дядя, прикидываясь несмышленым, часто вертелся вокруг запретной темы. Он находил в ней, как во всяком поддразниванье, своеобразное развлечение.

Долго и пространно говорил дядя о женском коварстве.

— Нападайте, нападайте на женщин,— заметил ему Павел, оберегая Арсения.— А кто первейший их почитатель?

— Я. И отъявленный. Даже и теперь, в мои годы, в моем положении... не могу существовать без увлечения. По сей день Ксенашу платонически обожаю. Как божество, как

вдохновенье. Несу мой восторг к ее ножкам. Как дань земного восхищенья пред неземною красотой. И в присутствии мужа не боюсь признаться. Позволяешь, Арсений? Хе-хе... Я думаю. Теперь-то. Теперь мне все можно. Эх вы, молодежь. Куда вы годитесь? Ты, Павел, десять лет на моих глазах корпишь бесчувственным истуканом. А я десять лет увлекаюсь Ксенашей. По мне и сейчас...

Он комически запел, раскинув сверкающие кольцами руки.

Лучше в Го-орле мне бы-ть
Утопл-э-э-энно-му,
Чем на све-ете мне жи-ить
Невлюбл-э-э-энно-ому.

Павел насторожился.

Его вялое сердце напомнило о себе резко и оглушительно. Убыстренные, сильные удары сразу отозвались внутри головы, в ушах и пониже ушей.

Безнаказанно издеваясь над Арсением, дядя мог целиться и в иную мишень.

Ведь это он, Павел, десять лет со времени женитьбы Арсения жил под неодолимой властью безнадежного влечения к Ксении Викторовне. И именно с первой встречи, когда увидел ее уже как невесту брата. Сперва, в студенческие годы, он боролся с этим, потом перестал. Он не мог, да теперь и не захотел бы отделаться от своего безотрадного увлечения. Он любил Ксению Викторовну со всею страстью и нежностью, доступной его вялой душе. И это тайное чувство — одно лишь оно — заполняло, скрашивало и оживляло бескрасочную жизнь Павла.

— Ксенаша... ох, Ксенаша, это — такая пленительная женщина! — вздыхал дядя патетически и злорадно.— Трудно взглянуть и не плениться. Что-то в ней особенное. Бунтующее, будоражащее. На что англичанин — Артурка! Идол каменный. Надут, как только может быть надут англичанин. До глубины глубин презирает все наше, русское. А и тот от миледи в восхищенье. Тает и он, пень стоеросовый. Улыбку уст, движенье глаз ловит... И он восчувствовал. А красавец парень, спора нет. Красив, бестия. Эти холодные, синие глаза, черные ресницы. Гибкий, молодой, рослый... Совсем герой из аглицкого романа. Из романа прежнего, старинного. Тип этакого лорда с девизом: «Их глаза не смеются, непреклонны они»... А тут и преклониться готов, каналья? Захватило и его. О, имей я жену,

на пушечный выстрел к дому своему не подпустил бы такого Адониса. Хотя бы жена была святейшей из мадонн. Нет-с, сударыня. Дудки-с. Атанде-с, madame-с, женщине и погоде я не доверяю-с.

Сдвинув брови, Павел опасливо и искоса глянул вторично на брата.

Арсений Алексеевич сидел, опустив глаза на стол с картами. По-видимому, он был поглощен пасьянсом. Но по быстрым, непроизвольным движениям его плотно сжатых челюстей Павел понял, что он волнуется.

А дядя говорил и говорил:

— Мимо Ксенаши не пройдешь равнодушно. Красота сама по себе. А женственна она еще, до мозга косточек женственна. Вот что захватывает. Мало уже таких, как она. Женщина не наших дней, скорее семнадцатого столетия. Ведь это очаровательно? Живой анахронизм. Но какой прелестный анахронизм. Я позволил бы себя четвертовать за такую. Женщина, которая в наши дни отдает в руки мужа все, что имеет. Ничего себе не оставляя. А?! Беспрекословно, бесконтрольно. Вот мои триста тысяч, бери, сделай одолженье. Все мое — твое. Делай со мной и с моими деньгами — что пожелаешь. Созидай замки на сотни лет для поддержания своего феодального достоинства. Устраивай сады Семирамиды, разводи арабских лошадей, выписывай каракулей... Ты мой муж, глава и повелитель. Делай, что хочешь. Разве не прелесть это? Ваша мать, Агриппина Аркадьевна, была побогаче Ксенаши. А много она из своего личного состояния отдала отцу вашему? Ломаного гривенника не видел. И до сей поры сама всем своим владеет. Маргарита, сестра ваша, разбросала по ветру приданое. А дураку своему небось тоже не дала ни полушечки? Нет, такой, как Ксенаша, не найти другой. Если бы нашлася, женись, Павел. Вместо одной — двух племянниц боготворить буду.

— Я ни на какой не женюсь. Последую вашему примеру.

— И с таким же успехом,— тихо, чтобы не быть услышанным дядей, но жестко и злобно произнес Арсений,— тоже к сорока годам допрыгаешься до спинной сухотки.

Как это часто бывает с глухими, Валерьян Мстиславович услышал то, что не предназначалось для его слуха.

— Спинная сухотка? — переспросил он будто добродушно.— Э, что ж? Хочешь стать Дон-Жуаном, будь

готов к табес-дорсалису. Старо, но верно. Зато жизнь есть чем вспомнить, зато мы пожили. Вам не доведется так пожить. Что вы, молодое поколение? Лихих отцов расслабленные дети. И нагрешить не умеете, как следует. А мы умели. Нас любили. Добровольно. Мы женщин не держали на привязи. Не тиранили, не заставляли любить их страха ради. Сами они за нами бежали. Да, мы умели. И грешить, и концы в воду прятать. Все умели.

— Вы хоть умели концы в воду прятать. Соблюдать известный декорум. Теперь и то признано лишним,— заговорил Арсений Алексеевич спокойно и поучительно, слегка в тон дяде, но решительно не понимая его намеков.— Теперь все чуть не на площадях. Чуть не с барабанным боем. Вот-де мы плевать на всех, ничего не уважаем. Чем пакостнее, тем почетнее. Аристократичнее. Как же не быть вырождению? Никто никого уважать не желает. Семья, родина, нация — все пустые звуки. Хотя бы Марго наша? Не успела замуж выйти, уже бросать мужа, разводиться. Такой-сякой, изменяет. Мало ли что случается в семье? Не все же тащить на улицу? Плоха та птица, что свое гнездо пакостит. Я за то больше всего и ценю англичан: какое у них огромное уважение ко всему своему. К своему дому, к своей семье, нации, к своим формам общежития. Из уважения к себе вытекает это. А у нас? У нас атрофия этих понятий. Мне перед мистером Артуром за всю семью нашу стыдно. То, что он видит у нас, по его понятиям, прямо дико. И разве не правда? Вадим на его глазах женится бог знает по-каковски, Марго скандалит, мужа бросает, пропадает по шести месяцев неведомо где. Мама... я не хочу сказать о матери ничего плохого. Но, согласитесь, у мамы тон и ухватки пятнадцатилетнего подростка? Женщине за шестьдесят лет. В ее годы это... это смешно, наконец! И тон мамы, и вся жизнь ее — непонятное что-то. Со своего таврического имения она имеет свыше двадцати тысяч в год. Чистоганом. А где они? Мы ничего не знаем. Все остается в Киеве. То ли это благотворительность ее? Ее безалаберность, нерасчетливость? Эксплуатирует ли ее кто-нибудь? Или просто так — все идет прахом? Неловко и спросить даже. Но летом мама едет в Неповоевку, нагонять экономию. И у нее, действительно, нет денег. Ей не хватает на жизнь ее доходов. И все фантазии, фантазии... К чему понадобилось ей дом в Киеве строить? Киев не наш район. Что у нас общего с Киевом? Почему Киев? Отчего не Тамбов, не Одесса, не Саратов? А дом проглотил прорву

денег. Особняк бездоходный. Умрет мама, кому он нужен? Куда девать его? И так — все.

— А что ж, приедут они сюда, Марго и мама? — спросил Павел.— Ведь собирались на лето.

Арсений Алексеевич в недоумении пожал плечами.

— Кто угадает, что им вздумается. Собирались. С весны собирались. А вместо того очутились в Крыму, в Алупке. Теперь писем нет. Может, уже в Финляндии. Или еще где-нибудь. В таком месте что и в голову не взбредет. И вот Артур видит всю бестолковость эту. Видит, может быть, в худшем свете, чем есть на деле. Почем мы знаем, что он думает о маме? Или о Марго с ее мальчишескими выходками, с ее жаргоном уличного гамена? И мама, и Марго компрометируют себя, сами того не примечая... Павел незаконно сожительствует с крестьянской девкой. Держит ее при себе тут же, на глазах у остальной семьи. Ясно каждому, что это за горничная, которую восемь лет возят за собой, зимою — в город, летом — в деревню.

— Словом, ты, как старший брат и представитель рода, чувствуешь себя ответственным за всех нас перед мистером Артуром? — насмешливо резюмировал слова Арсения Павел.— Что за комиссия, создатель...

— А что Павлику сожительствовать с девкой Оксаной не следует, это и я разделяю,— ехидно и подстрекающе вмешался дядя.— Живя с простой бабой, человек опускается, грубеет. Наконец, возможность появления детей? Простая баба... Фи! Для этого есть более подходящие персонажи. Есть жены своих мужей, при мужьях состоящие. Сколько угодно. Еще удобнее — жены, не живущие с мужьями. По закону ее дети — дети ее мужа. И баста. У тебя никаких обязанностей, всегда ты свободен. Дивлюсь я твоей нетребовательности, Павлик. Как? Баба? Простая баба? Извини меня, но это вульгарно. Я бы не знал, как приступить к ней. Как начать всю эту... игру? Ну, вот — Оксана — как ты говорил с нею на первых порах? Как сближался? Как разыскал ее?

— Я и не искал вовсе. Сама нашлась. Привела ее мать, к маме в горничные. Мама не взяла. Я случайно проходил мимо и похвалил ее. Говорю кузену Мише: вот экземпляр хороший. Сказал и забыл. А на другой день ее ко мне приводят, не желаю ли взять в горничные? Я и взял.

Дядя помолчал чуточку и сказал внезапно:

— А экземпляр, правда, недурной. Она красива. Толь-

ко — баба, простая баба. Но идеал здоровья. Отдаленно на Ксенашу похожа.

— Не нахожу,— небрежно произнес Павел с отлично разыгранным спокойствием и закурил папиросу.

Дядя в упор глядел на него.

Глаза у дяди были светлые, старчески-выцветшие, с крошечными, черными зрачками, похожими на булавочные головки, но пытливые и любопытные, как у молодого.

Павел думал, задерживая дыханье: «Только бы не покраснеть, не побледнеть, не измениться в лице».

И сам чувствовал, что лицо у него остается, как всегда, ленивым, массивным, иронически спокойным. Он уже понимал, что подходец дяди не удался, что он — Павел — не выдаст себя. От этого было смешно и радостно.

Но дядя поджал нижнюю губу, точно хотел сказать: «Не проведешь». И сделал еще попытку смутить Павла:

— Неужели же ты до сих пор не приметил? Есть, есть сходство... И немалое. Разновидность того же типа. Оксана более грубое его выражение. Первобытное, сильно упрощенное. Но тип — один.

— Не нахожу,— еще раз сказал Павел и сладко потянулся, зевая так, что пошатнулась и закачалась качалка под его грузным телом.

— Ой, женит она тебя, в конце концов, на себе. Вспомнишь мое слово.

— Никогда. Я умру неженатым.

— Тем лучше. Хоть буду знать, кому завещать в наследство свои коллекции.

— Спасибо. Я не любитель порнографии. К чему мне гадость эта?

— Ах ты, профан! Гадость? У него это — гадость? Почему гадость? Жанр как жанр и не хуже других жанров. А если насчет ценности, то и ценность немалая. Редчайшие есть уники. Со всех международных рынков. Из-за этого я два раза вокруг света объехал. Собирал в Индии, в Турции, в Японии, в Китае. Японцы, шельмецы, и в этой области виртуозы. На пальмовых листах, на папирусах, на чем только нет у меня рисунков. Попади на знатока — капитала не пожалеет. А ты говоришь: гадость?

Звуки гонга понеслись от замка в парк, к реке и над речкою, сзывая к обеду.

Сзывать начинали в три без четверти. Четверть часа полагалось на ожидание. После того нельзя было явиться к столу, хотя бы и самому хозяину дома.

— Артамон! Артамон? Ты здесь? — закричал из беседки дядя.

— Здесь, Валерьян Мстиславович,— откликнулся Артамон где-то поблизости.

— Стань передо мною, как лист перед травою.

— Есть, Валерьян Мстиславович.

— Молодец. Хвалю за муштру.

— Рад стараться, Валерьян Мстиславович.

Под жарким солнцем покатил Артамон кресло извилистыми дорожками молодого парка среди ярко-зеленых газонов с цветущими розами, олеандрами и фуксиями, мимо обсаженных цветами бассейнов с фонтанами, мимо пестрых цветочных куртин. Арсений и Павел Алексеевичи шли за креслом дяди. Миновали белую аллейку жасминов в цвету, обогнули огромную ковровую клумбу с вензелем Ксении Викторовны и очутились у восточной веранды, примыкающей к столовой. Вблизи веранды встретились на площадке с мальчиками и гувернерами.

В белых пикейных костюмах с голыми от туфель до колен ногами, в плоских английских шляпах и плоских туфлях без каблуков мальчики возвращались с рыбной ловли.

— Дядя Павля! — обрадованно закивал головой и всплеснул руками младший, Игорь. У него были золотые волосы и лицо красивой матери. Но лицо несколько болезненное, не такое яркое и дышащее здоровьем, как у Ксении Викторовны. А фигурой он удался в отца, худенький, тонкий, пропорциональный, но с живыми, быстрыми, не похожими на отцовские движениями. Если Игоря тянуло к кому-нибудь или увлекало что-либо, он забывал про остальное. И мистер Артур, при всей своей непреклонной настойчивости, чувствовал себя бессильным искоренить эту черту в ребенке.

Игорь и сейчас вмиг забыл об Артуре, о присутствии отца, о прочих гувернерах. Отшвырнув удочку, он бежал навстречу Павлу.

— Дядя Павля! Дядя Павля! Мо-ой доро-ого-ой! — захлебываясь и ликующе кричал он.— Где ты был все утро? Праздник ведь, а я тебя не видел сегодня! Отчего не пришел к нам удить рыбу? Знаешь Славе как повезло, четырнадцать штук поймал. Одна — вот така-ая. Право, хочешь, посмотри в ведре. А у меня не клюет и не клюет. Только клюнуло — зовут обедать. Я заторопился, и сорвалось, такая досада. Здравствуй же... дядя Павля!

— Горюшка,— нежно, от души сказал Павел, растроганный этой встречей.— Здравствуй, милый.

Склонившись вниз, он медлительно поцеловал пухлые губы и разгоряченные щеки мальчика. Погладил его круглую, похожую на шар голову, близко заглянул в сияющие детские глаза, такие блестящие и немного смешные от неодинаковой их окраски. Один глаз у Гори был темный, материнский, другой посветлее, золотисто-карий. Игорь не выпускал Павла Алексеевича, обхватив руками за шею. Легкая панама Павла свалилась с головы, шляпка Игоря слетела на землю еще раньше, когда он бежал к Павлу.

— Дядя Павля! Дядя Павля! — повторял мальчик в восхищении.

И тут оба они одновременно встретились взорами с холодно-синими глазами мистера Артура, с его взглядом, призывающим к порядку их обоих.

— Вы балуете его,— укоризненно-вежливой скороговоркой шепнул Артур по-французски, так как Павел Алексеевич не говорил по-английски.

Руки Игоря сами собой разжались, освободив плененную шею. Павел неуклюже и смущенно нагнулся за панамой, которая откатилась в сторону по дорожке.

Потом Артур чуть приметно указал своими синими в черной оправе глазами, что если уж так, то Павлу надобно поцеловать и старшего Мстислава. И Павел Алексеевич послушно обернулся к Мстиславу.

— Славушка, здравствуй.

Но это уж был не тот тон, не та нежность.

Румяный, рослый, крепко сложенный, похожий на дядю Вадима, Слава поцеловался с Павлом прилично и выдержанно, как подобало питомцу мистера Артура.

— А меня? А меня-а? — шаловливо и жалобно прокричал дядя Валерьян у ступеней веранды.— А дядю Валю забы-ыли?

Он не позволял называть себя дедушкой и всегда подчеркивал, что он дядя.

Дети поцеловали и его.

И на этот раз мистер Артур мог бы похвалить обоих.

На веранде Арсений Алексеевич разобрал самолично только что доставленную в запертом портфеле почту. Отложил в сторону на столик газеты и журналы. Переглядел письма и оставил их на столе, не читая. Распечатал

лишь одно, самое интересное, бегло пробежал его глазами и сказал недовольно:

— Вот те раз. Вадим прямо из Петербурга на Беатенберг едет, не заезжая домой.

— Это почему? — изумился Павел.— Он так тосковал по Неповоевке! Так рвался к своей пасеке! Так ждал думских каникул!..

— Ларисины штучки,— пожал плечами Арсений Алексеевич.— Ее, конечно. Вадим выносить не может заграницы. Да и не сезон теперь. Лето в начале. Кто сейчас за границей? Никого, кроме евреев. Евреи и свободные профессии. Но Лариса потащила, и он, по обыкновению, не сумел отказать ей. Лариса не любит Неповоевки.

— Неповоевка ни разу не была гостеприимна к ней,— укоризненно возразил Павел.

Арсений Алексеевич твердо ответил:

— Неповоевка не имела никаких для того поводов.

Обедали при открытых окнах в столовой орехового дерева, убранной на старинный лад, за красиво сервированным столом со старым серебром и старинной посудой. Обед шел, как священнодействие. Два лакея служили в белых перчатках, большие букеты в хрустальных вазах на столе наполняли комнату свежим запахом белых лилий и роз.

Ксения Викторовна сидела во главе стола. На ней было белое, вышитое белым по тюлю платье на глухом, тоже белом чехле, доходящем до кистей рук и до самой шеи. На груди у нее и у пояса были пришпилены палевые розы, и больше никаких украшений. Ее яркое лицо, золотоподобные волосы, карие, почти черные глаза, высокий рост и пышная фигура, ее особенная, горделивая и в то же время отчасти застенчивая манера держаться — все в ней точно просилось на картину. Говоря о ней — красавица,— дядя не впадал в преувеличение. Но угадывалась при взгляде на нее какая-то странная раздвоенность: помесь пылкой женщины и безвольного ребенка. Было что-то бьющее в глаза, раздражающее, действующее на чувственность в ее чересчур подчеркнутой, как будто даже излишней красоте. Она знала это, и сама застенчиво тяготилась впечатлением, какое производила ее внешность.

В начале обеда с каждым из присутствующих перекинулась она несколькими приветливыми фразами, как полагалось хозяйке дома. Потом замолчала, потупилась. Лишь изредка, словно ненароком, останавливала глаза

на лице Арсения Алексеевича. Она уже уловила его подозрительно присматривающиеся взоры. Угадала обычное, ревнивое волнение, которое он искусно прятал за ширмой неразговорчивой величавости. Он мог укрыть это от других, но не от нее. Она-то знала хорошо, что означает, если он крепко-накрепко сожмет зубы и быстро задвигает челюстями. После этого быть буре. Будет для нее всенощное бдение, тягостное, унизительное для обоих объяснение наедине. Будут в спальной топанье ногами, площадная брань, отвратительные упреки беспочвенных подозрений. Одна резкая выходка будет вытеснять другую, одно оскорбление превосходить другое. Недоверчивые, злобные и сумрачные глаза, глаза взбесившегося животного. Сдавленный голос, свистящий шепот незаслуженного презрения... А после — раскаяние, может быть, даже слезы. Горячие поцелуи и ласки, которые надо сносить, делая вид, будто уже не помнишь только что причиненных обид. И обещания, что это в последний раз, что больше это не повторится.

«Но почему? — беспомощно спрашивает у себя Ксения Викторовна.— Какая причина? Ведь никого нет чужого? Все свои, привычные?»

После спаржи разошелся дядя, он не смолкал до конца обеда.

Ксения Викторовна будто бы улыбается его прибауткам, а сама подмечает и подмечает. И наконец, улавливает: Артур, вот кто причина.

«Скоро до лакеев дойдет очередь»,— обидчиво думает она.

Ей больно, хочется заплакать. Но дядя шутит, и она улыбается. А сама уже боится смотреть на Артура. Но против воли часто взглядывает на него. Не хочет, а присматривается к гувернеру. Артур же, ничего не подозревая, сидит против мальчиков, безмолвно дрессируя их еле заметными движениями спокойных синих глаз. И дети понимают его безошибочно. Игорь раскрошил было свой хлеб. Спохватился и аккуратно собрал крошки со скатерти на тарелку с остатками рыбы. Покраснел, сконфузился, глянул сперва на Артура, потом на отца виноватыми глазами.

Ксении Викторовне жаль Игоря.

«Бедный, Горюшка. Дрессируют, как щенка или кролика».

Игорь ее любимец. Он, в свою очередь, обостренно привязан к матери. Порой не выдержит и при всех бросится к ней на шею с криками: «Моя дорогая! Моя золотая!

Моя! моя! моя!..» Расплачется до судорог, до спазм в горле. Тогда его трудно успокоить, и Ксении Викторовне впору плакать тоже. А то — проснется среди ночи и заплачет, крича: «К маме! Хочу к маме! Позовите маму! Мамулю!» И Артур холодно и строго увещевает его, пока мальчику не станет стыдно за свой порыв. Бедный Горюшка, одинокое сердечко. Отчего он не такой спокойный, не такой уравновешенный, как Слава? Вот и сейчас... ерунда, мелочь эти хлебные крошки, а он из-за них страдает. Колотится в груди сердчишко, недоволен собою: опять опростоволосился. А вон и Слава чуть не попал впросак. Не вовремя хотел попросить квасу, уже протянул стакан, но глянул на Артура и остановился. У этого нет виноватого вида. Но связан и этот. Оба — бедные, оба в неволе. Шесть глаз неотступно следят за каждым движением мальчиков. Во-первых, Артур... Этот — главный. Ксения Викторовна испытывает к нему такую острую неприязнь, точно англичанин приставлен и к ней воспитателем. Разговаривать с ним и то еле заставляет себя... Иногда кажется, будто это он отнял у нее детей, лишил ее детского общества, детской ласки. Затем дрессирует детей еще француз, плотный брюнет, Жюль Казе, лет под сорок, большой щеголь с красивым парижским акцентом. И худощавый немец, шатен в веснушках, Эрнест Миллер, любитель пива, гимнастики и шахматной игры. Один русский учитель — Николай Митрофанович — отдален от детей. Тот, бывший преподаватель гимназии, пострадал за что-то политическое и с большим гонором. Держится особняком, боится очутиться на положении наемника. Обедает и чай пьет у себя в комнате, отзанимается свои часы, и дети больше не видят его. Эти же трое не отходят от малышей.

Бедные дети...

Ксения Викторовна чуть вздыхает, глядя в сторону гувернеров. И вдруг соображает, что вздох ее может быть истолкован превратно. Смущается и краснеет, как провинившийся Игорь, и виновато глядит вокруг испуганными глазами. Арсений Алексеевич спокойно говорит о чем-то с дядей. Но когда молчит, у него не перестают двигаться плотно прижатые одна к другой челюсти. Скверный признак, будет всенощная... И за что? За что? Все больней и тягостней Ксении Викторовне. Она уже не знает, в какую сторону смотреть, с кем говорить, куда девать самое себя? Все валится у нее из рук, пропадает аппетит и ровное настроение духа...

А обед идет своим чередом. Подают мороженое. На столе — парниковые дыни, персики, крупнейшие вишни, бычачье око — из своих грунтовых сараев. Блюда с клубникой, земляникой, ранней малиною. Ксения Викторовна не сводит глаз с мальчиков. Игорь — лакомка и любит фисташковое мороженое. Но ему, как всем, дали сливочного пополам с фисташковым. Он красноречиво глядит на мать. Только-только что не попросит: давай поменяемся? Ксения Викторовна с невыразимым удовольствием проделала бы этот обмен. Но не решается и не решится. Баловство ведь непорядок? Ее желание нежданно осуществляет Павел Алексеевич.

— Горюшка,— говорит он через стол просительно и невинно.— Хочешь, возьми мое фисташковое, а мне дай твое сливочное? Хорошо? Я не ем ничего зеленого.

Горя так доволен, что не в состоянии выговорить ни слова. Он лишь усиленно кивает головой в знак согласия. Не глядя на Артура, спешно протягивает свою тарелочку с мороженым. Боится, как бы не запретили. Или не передумал бы Павлик.

«Смешной»,— говорит себе Ксения Викторовна и улыбается, не замечая, что у нее на глазах слезы.

Мена совершена. Артур неодобрительно прикрывает свои глаза розовыми веками с черной опушкой. Недоволен и Арсений Алексеевич. Но Горя ничего не видит, набросился на мороженое, увлекся. Когда он раскрывает рот, чтобы отправить туда ложечку с зеленоватой массой, так и сверкают его неправильно расставленные белые, заостренные, как у грызуна, зубки. Горя достиг своего, он доволен.

— Игорь! — строго обращается к нему отец, чтобы отвлечь его от наслаждения лакомством.

— Что, папа? — растерянно переспрашивает Игорь, думая, будто отец уже сказал ему что-то, а он не расслышал.

— Вы с Мстиславом по-аглицки говорите сегодня? Или по-французски?

— По-аглицки, папа.

— Значит, завтра по-немецки?

— Да, папа,— отвечает Игорь, уже не боясь своей русской речи. Он вспомнил, что отвечать старшим нужно на том языке, на каком спрашивают.

Арсений Алексеевич интересуется узнать, как провели дети время до обеда.

И Игорь обстоятельно лепечет ему, что до завтрака они

были на гимнастической площадке. Играли в крокет, бегали на гигантских шагах, лазали по лесенкам, упражнялись с трапецией. После завтрака удили рыбу. Купались в купальне перед обедом.

Арсений Алексеевич заговаривает с Славой о результатах рыбной ловли.

Ответы Славы спокойно-почтительные, точные, без лишней интонации, без лишнего слова. Он говорит немного медлительно, потому что временами заикается и боится заикнуться. Но отвечает так, что хочется похвалить его за точность ответов.

За черным кофе Арсений Алексеевич спрашивает у дяди:

— Вам ничего не надо в городе? Я через час еду.

— В город? — поражается Ксения Викторовна.— С каким же поездом?

— Без поезда. На велосипеде. Своих людей проверить хочу на ярмарке. Скота продавать отправил много. Послал и лошадей. Не мешает наведаться. Доверять — хорошо, проверить еще лучше. Завтра утром домой буду.

Ксения Викторовна сбита с толку. На лице у нее недоумение, но краска удовольствия заливает ей щеки, лоб, уши, даже подбородок.

«Ошиблась,— решает она уверенно.— Если бы было *то*, не уехал бы на ночь. Ошибка, слава богу. И как мне померещилось ярко? В первый раз ошиблась. Удивительно».

Перед вечером Павел Алексеевич долго сидел на диванчике под низким навесом своего покривившегося крылечка. Сидел и пил золотистый квас, наливая стакан за стаканом из запотевшего от холода хрустального кувшина. В широком чесучовом пиджаке, без жилета, в малорусской вышитой сорочке с расстегнутым воротом, грузный и лениво сонный,— Павел казался теперь живым олицетворением бездеятельности и лени.

Время от времени появлялась из сеней Оксана.

Рослая, цветущая, крепко сложенная, она была одета уже на городской лад. В серую юбку английского, неважно выполненного фасона, в белую кисейную в мушках кофточку с присобранными к обшлагам рукавами. Черный бархатный кушак, желто-красные туфли на французских каблуках, прическа с локончиками, со множеством гребенок — все городское, скорее — подгороднее, мещанское. Но даже

эти полузабавные претензии не портили ее внешности. Соблазнительно просвечивали сквозь кисейные рукава ее наливные бело-розовые руки, мягко округленные, с ямочками у локтей. Золотились густые волосы бронзоватого оттенка, сверкали при улыбке превосходные зубы. У нее были плавные движения и легкая походка, немного грустное выражение лица, полунедоверчивая усмешка. А в общем, она была одной из тех женских фигур, которые всегда замечаются мужчинами, хотя бы в самой большой толпе.

Когда кувшин с квасом опустошался, Павел Алексеевич говорил отрывисто:

— Оксана, квасу!

Оксана исчезала с пустым кувшином и приносила его еще более запотевшим. И Павел Алексеевич опять вливал в себя стакан за стаканом.

Наконец он сказал также отрывисто:

— Оксана. Умываться!

Оксана послушно ответила:

— Сейчас.

Павел Алексеевич ушел в спальную мыться.

Он жил в дедовском доме на опушке парка, в самой неказистой из неповоевских усадеб. Отцовский дом в глубине парка занимал летом Вадим пополам с матерью. У них было все подновлено, благоустроено: и мебель хорошая, и цветы из оранжерей Арсения Алексеевича, ковры, пианино, портьеры. Домик же Павла носил отпечаток запустенья. Приземистый, ветхий, с тростниковою крышей, когда-то рубленный, а не так давно обложенный, как футляром, желтым кирпичом,— он не имел непроходной комнаты. Весь его беспрепятственно можно было обойти кругом, переходя из одной комнаты в другую. Свет в нем был мрачно-серый, напоминавший тюрьму. Низко нависшие потолки со сводами, небольшие, старинные оконца, группа перистых белых акаций перед самыми окнами, тяжелая, топорно прочная мебель домашней выделки времен крепостного права. Кто заходил сюда, тому казалось, что здесь живут временно, как на постоялом дворе.

Павел Алексеевич долго мылся и переодевался. После ушел гулять перед вечерним чаем.

Он не любил молодого парка с его показной красотою и порядком, называл новый парк вокруг замка — сквером. Павла больше тянуло в старый парк, полный тени и влажности, задумчиво тихий, словно грустящий о чем-то. Там блестели среди зелени три проточных пруда, обсаженные

тополями и вербами. Хорошо было бродить возле них молча и думать свои думы. А то и вовсе не думая, сидеть и дышать прохладой, пока где-то вверху, за густыми деревьями, ослепительно светит и жжет палящее солнце. Все здесь было обычно для помещичьих насаждений прежнего времени. Переброшенные между прудами горбатые мостики, пересекающие аллеи, овальные зеленые берега прудов, зеленые отражения деревьев. Насыпной искусственный островок на одном из прудов, высоко выступающий над водою, с шумливыми осокорями, с болотно-яркой травой. Ничего оригинального. Но хорошо. А еще лучше было у прудов в лунные ночи, когда становилось особенно тихо и жутко и деревья пропускали сквозь листья пятнистый свет на дорожки, а пруды недвижимо блестели, как насыщенные чем-то золотым, расплавленным. Тогда реяли вокруг опоэтизированные тени былого, отошедшие в небытие, и так хотелось прислушиваться подольше к тишине или к ночным звукам. Хорошо было и теперь над прудами. Аромат, влажная свежесть, предзакатная тишина... Павел не заметил, как побежало к вечеру время.

Он вышел к реке в парк Арсения, когда садилось солнце. Оно уже не припекало, но еще ярко блестело в речной зыби, освещало косыми лучами и сиреневый замок, и зеленые беседки, стеклянные квадратики оранжерей, молодые деревца шатристых лип, каштанов, дикой оливы, шелковицы, акаций, иолантусов, кипарисов. Уже садовники поливали из водопроводов клумбы, деревья, газоны. Воздух был пропитан запахом цветов. Цвели жасмины, доцветали бульденежи, красноватой дымкой подернулось розовое дерево, развернулись к вечеру каприфолии.

На дорожке над Горлей стояла Ксения Викторовна и возле нее дядя в кресле с Артамоном позади.

Дядя глядел только что умытым, освеженным, с юношеским tainom* на розовом лице. В петлице у него была живая гвоздика совсем неестественного, зеленовато-голубого цвета.

— Давно гуляете? — спросила Ксения Викторовна у Павла.

— Давно. Я там, в старом парке. Мне та часть больше нравится. На месте Арсения я там бы где-нибудь и дом построил. Пять, десять десятин,— можно выбрать место. Зачем ему понадобилось сюда, к реке? Здесь, на берегу,

* краска *(франц.)*.

была такая чудесная поляна. С такой массой полевых цветов... Даже вспомнить жалко.

— Но ее каждый год смывало водою,— напомнил дядя.— Если бы Арсений не бросил двенадцать тысяч на укрепление берега, здесь, где мы стоим, текла бы Горля. А после и парк начала бы резать. Арсений отвел в сторону течение. Это его большой успех.

— А все-таки жалко,— повторил Павел.

— Вы любите все старое,— улыбнулась ему Ксения Викторовна.— А я — нет. И того парка не люблю. Там грустно, точно умирает кто-то. Все кажется: вот здесь когда-то всем хорошо было, а теперь не стало хорошего. Через пятьдесят лет и тут будет так же. Пройдет кто-нибудь новый, чужой и подумает: а славно жилось им когда-то! И не догадается, не придет ему на мысль, что это вовсе не так. Не верю я старым паркам. Не верю, что кому-то там хорошо было. И старых усадеб не люблю. В них горем пахнет. Плакать хочется... Отзвучали стоны, отболели муки, а след остался. Какой-то тонкий, неуловимый след чего-то грустного, опечаленного.

— Вы декадентка, Ксенаша,— пошутил дядя.— Смею вас уверить, что там жилось не так уж плохо. Особенно хозяевам. И вообще, лучше иметь все эти латифундии,— дядя обвел глазами вокруг себя,— чем не иметь их. Верьте мне. Я говорю по горькому опыту. Вы рассуждаете как женщина. А женщине — что? Ей одно нужно. Нет этого одного — и она блажит... она недовольна.

— Что же это одно, дядя?

— Э, ma belle...* к чему слова? Они понижают настроение.

Он плутовато улыбнулся, заиграл кольцами, понюхал свою неестественно голубую гвоздику. Потом негромко запел с игриво-залихватским пошибом, покачивая в такт головою:

Иэ-ээ бу-уду-у те-бя-а я-а лэс-ка-эть,
Цэ-э-эло-о-ова-эть!
Аа-эбни-ма-э-эть!

Ксения Викторовна всмотрелась в конец береговой аллейки и сказала:

— А это что за живописная фигура?

Поглядели и дядя с Павлом.

---

* моя милая *(франц.)*.

— Цыганка,— догадался первым Павел.

Дядя подтвердил:

— Цыганка. В город на ярмарку, верно, пробирается. А ярмарка — бойкая. Я катался после обеда, у парома не протискаться. Ждут гуськом переправы, в очередь. Возы, арбы, шарабаны. Все шоссе заняли, до конца села хвост чернеет. Хорошо работает паром сегодня.

— Пойдем, взглянем на нее? — указала Павлу Ксения Викторовна на цыганку.

Но цыганка и сама шла навстречу гуляющим.

Она была еще не стара и по-своему красива. Умеренно полная фигура, смягченно правильные черты темно-оливкового лица, черные волосы, вьющиеся и не тонкие. Даже на выпуклых губах был у нее черноватый налет, словно насела угольная пыль, мельчайшая и легкая, почернившая губы. Только синеватые белки глаз и два ряда крупных зубов не чернели на ее лице. На ней нарядно смешивались желтый, синий и красный цвета. Дорогие кораллы, дукаты и мониста покрывали грудь и черную шею. Шелковый пестрый платочек чуть держался на голове, оставляя открытыми уши. Костюм цыганки был не из дешевых. Но лежала печать неряшества на этой принарядившейся женщине. От нее несло испареньями грязного тела, давно не мытого, потного.

Цыганка поклонилась Ксении, угадав в ней хозяйку.

— Здравствуй, красавица. Хочешь, погадаю? Дай ручку. Всю правду скажу.

— Не надо, милая. Не о чем. Все уже разгадано.

Цыганка глядела на Ксению Викторовну пристально, пытливо. После сделала жест, будто сказала: не все разгадано, есть еще о чем.

Почему-то взгляд ее волновал Ксению Викторовну. Захотелось погадать, и неловко было признаться в этом.

— Погадай лучше мне,— игриво предложил дядя.— Скоро ли я женюсь? И какая будет у меня невеста?

— Черная,— мельком глянув на него, ответила цыганка.

— Че-орр-ная? Не ты ли, мой ангел?

— Твоя невеста — могила черная! — повысила голос гадалка, будто зная, что говорит с глуховатым. Дядя побледнел до синевы под своим tein'ом. Рот его беспомощно раскрылся, да так и остался полуоткрытым.— Только еще не скоро тебе жениться,— пророчески продолжала цыганка.— Поживешь еще, не бойся. Еще ты как малое дитя станешь и долго так будешь. Потом уже... Тебе не скоро.

— А мне скоро? — сорвалось у Ксении Викторовны.

— Тебе?

Опять пристально глядела на нее цыганка неподвижным взглядом черных, как черника, глаз.

— Тебе не знаю. Дай ручку. Скажу по правде.

— Нет, нет. Не надо. Я и так...

Ксения опустила руку в парчовый мешочек, что был у ее пояса. Вынула крошечный кошелек и не могла открыть его: дрожали руки. Цыганка остановила ее.

— Спасибо, красавица. Если погадаю, заплатишь. Милостыни цыганке не надо.

— Ей поцелуй горя-ачий нужен! — запел, дурачась, уже оправившийся дядя.— А вот ты и соврала, чернуха,— заговорил он скептически и весело.— Моя могила не будет черная. Когда придет мой час, меня положат в склеп из серого камня. Серый же камень не черный, как тебе должно быть известно.

— А думаешь, тебе там не черно будет? — ответила полунебрежным вопросом гадалка.

Дядя не расслышал.

— Что такое? Что она говорит? — заволновался он.— Павел, что она сказала?

— Пустое, дядя. Все то же. Вам не скоро еще.

Цыганка снова повернула лицо к Ксении и настойчиво повторила:

— Так не дашь ручку?

Ксения Викторовна насильственно улыбнулась, бросила на гадалку недоверяющий взгляд, но протянула руку. Цыганка схватила ее обеими своими оливково-черными руками, повернула ладонью кверху. Ослепительно белая рука Ксении Викторовны так резко отличалась от соприкасавшихся с нею пальцев гадалки, точно это были не две женские руки, а совершенно различные предметы из совершенно несхожих материалов.

— И богатая, и добрая, и красивая, и несчастливая,— гортанно затараторила цыганка, сыпя словами, как чем-то металлическим.— Есть все, только счастья нема. Очи ясные, а много слез знали. Много плачут. Так, что никто не видит. Кто тебя любит, тот мучит. От него и... Нет, постой... дай разглядеть лучше.

На весу дрожала рука Ксении Викторовны. Ксения Викторовна боялась чего-то, что-то жадно рвалась услышать и тут же наблюдательно, почти насмешливо различала мелкие, мелкие капельки пота на черных пальцах и кистях рук цыганки, ощущала кисловато-едко-клейкий запах ее

давно не мытого тела. Было противно до гадливости от близости этого неряшливого существа. А не хотелось вырвать руку, хотелось дослушать до конца.

Цыганка пристально глядела ей в лицо, изучая не столько ладонь, сколько глаза, лоб, губы, подбородок, линию затылка. Она будто хотела выиграть время, чтобы всмотреться получше в черты Ксении, проникнуть в ее душевную жизнь, определить характер. Более опытная, искушенная жизнью женщина старалась прочесть на лице другой, менее искушенной, главнейшие тайны всегда несложной, специально женской доли.

Нехотя перевела гадалка взор на руку и начала торопливо:

— Все есть у тебя, а доли не видно. Нема счастливой доли. Не видала в пеленках, не увидишь до гроба. Кто тебя любит, тот мучит. От него — твои слезы. От него и погибель твоя. Еще запомни: если загубишь — сама загинешь.

Ксения Викторовна, потеряв самообладание, с силой вырвала свою руку. Губы у нее посинели, лицо стало мертвенно-желтое. Глядя на нее, взволновался и Павел. Ксения Викторовна, казалось, больше, гораздо больше, чем остальные, понимала слова цыганки. И растерялась от испуга, переходящего в ужас.

— Что за чушь! — повелительно и строго, совсем по-помещичьи прикрикнул на цыганку дядя.— Ты, матушка, ври, да знай меру. Этакая шарлатанка. Какую чушь порет, пугает только. Урядника захотела? Или к приставу?

Цыганка стояла спокойно, не обращая внимания на окрик, словно не слыша его.

— А скоро? — спросила у нее Ксения Викторовна, еле двигая посиневшими губами.

Гадалка отрицательно покачала головой.

— Не знаю, красавица, не знаю.— Ей как будто жаль было Ксению Викторовну.— Прости глупую. Может, и не то это. Ну, позолоти ручку, дай что-нибудь. Я тебе еще скажу. Там еще много есть... хорошее. Я не все сказала.

— Не надо, не надо... не нужно больше.

Ксения Викторовна достала из кошелька рубль и подала цыганке.

— Спаси тебя бог, красавица. Прощай, добренькая. Спасибо.

Она отошла.

Павел заглянул в перекошенное лицо Ксении Викторовны.

— Да вас, кажется, серьезно встревожило это? — сочувственно спросил он и невольно улыбнулся.

— Стыдитесь, Ксенаша,— пристыдил дядя.— Этакая абракадабра. Чепуха явная. И загубишь, и загинешь... А что? Где? Когда? Каким образом? Нельзя постигнуть. И вы, светская женщина... Женщина образованная, современная, вы вдруг верите в подобный вздор?

— Я не верю,— поспешно сказала Ксения, оправдываясь.— И не думаю верить. Просто у меня... закружилась голова. От нее так противно пахнет. Голова закружилась, вот и все. Идемте. Пора к чаю.

Вечер неприметно перешел в ночь.

После чая Ксения Викторовна осталась с дядей на веранде играть в шестьдесят шесть. Она играла рассеянно, думая о другом. Дядя попевал: «Иэ-э-буду тебя я ласка-эть! Цэ-эло-ва-эть! Ааэ-эбнима-эть!» И трунил, уверяя, будто еще Ксения вся во власти гаданья цыганки.

Павел Алексеевич опять очутился над речкой.

Месяц — молодой, похожий на отрезанную половину арбуза, медленно двигался по небу. От него еще было мало света. Звезды отражались в темной глубине затихшей Горли, горели там глубоко, блестящими, как пылающие угли, точками. За рекой лежали освещенно серебристые пятна вырубленных лесов. На одной линии с парком, но подальше, у поворота реки, стоял лесок, густой и высокий. Под ним темнел берег, и вода у берегового подножья казалась черною. Как раз на фоне этого затененного поворота то и дело переплывал узкую речку паром с фонарем посередине. Громыхая, вкатывались на паром повозки и арбы, гулко стучали копытами кони по деревянной настилке. Павел Алексеевич следил за движеньем на переправе. Издали ему отчетливо был виден большой, огненно-желтый фонарь на пароме, выхваченные из темноты фигуры, на которые падал свет. Вот выделилась голова серого вола с широко изогнутыми рогами. Даже можно было разглядеть выражение воловьей морды, спокойно-задумчивое, точно беспристрастно наблюдающее, и часть его серо-белой, крутой спины, остальная половина которой сливалась с чернотою воды и берега. Еще не двинулся паром, но вол повернул голову в сторону и исчез в темноте, будто его сняли с экрана. Расцветали шатристые молодые липы вдоль береговой аллеи. Они уже белели желтоватыми букетами под скупыми лучами неяркого месяца. Роса блестела на

траве, на виноградных листах беседок, на перилах мостков, на спинах скамеек.

Было грустно — непонятно почему.

Ужинали так же торжественно и сытно, как ели за обедом. Только не было Арсения Алексеевича, да дети с гувернерами не выходили к ужину. Ксению Викторовну тревожило что-то. Какая-то скрытая мысль, забота или огорчение. И Павел, глядя на нее, не мог понять, отчего это? Неужели в самом деле расстроила болтовня цыганки?

Ночью после ужина он, томимый бессонницей, долго еще бродил одиноко над рекою. Хотел утомиться в надежде, не уснет ли тогда без наркотика.

И все время мечтательно думал о Ксении Викторовне, о ней одной.

А дома как всегда поджидала его Оксана.

Оксана проскучала вечер. Давно заперла она на болты ставни и двери, по-ночному душно становилось в низких комнатах, а Павла Алексеевича все не было.

И как всегда Оксана сердилась.

— Ну, чего шляется, прости господи? Деревьев не видал, что ли? Добро бы в компании, а то один же?

Если бы Павел Алексеевич «шлялся» в компании, Оксана была бы недовольна еще больше . Но теперь ей думалось, будто ее досада оттого, что он гуляет один. Было же обидно, что вот он и один, а все равно не торопится домой, потому что дома его не привлекает ничто.

Оксана переходит от одного запертого окна к другому, прислушивается, вздыхает. Но легких, знакомых шагов не слышно. Пусто и тихо за окнами в парке. Свистят лишь в кустах соловьи, допевают летние песни. Или изредка прошелестят листья на деревьях, когда набежит ночной ветер.

Оксане скучно.

Ее комната — самая уютная в доме. Горит синяя в золотых звездочках лампада перед иконами на угольнике, покрытом вязаной скатертью. Иконы — старинные, барские, в киотах. Одна — в серебряной потемневшей ризе. Свет от лампадки голубоватый, приятный, ласковый. Оксана любит этот свет, и Павлу Алексеевичу он нравится. Лампадка перевозится то в город, то в деревню, как и сундук Оксаны. С ними она не расстается. Сундук — необъятных размеров, серый, с белым мраморным рисунком,— занимает весь простенок от печки до платяного шкафа. Чего в нем нет!

Сколько белья, тонкого, полотняного; рубашки цветного батиста — дюжинами. Вышитые на досуге полотенца и наволочки, простыни, салфеточки, скатерти. Платья летние и зимние, нижние шелковые юбки, лисья шуба с суконным верхом, черный плюшевый жакет. Сколько ботинок лакированных и шевровых, платков, шарфов, косынок, шарфиков. Оксане из-за ее сундука завидуют женщины мужицкой Неповоевки. И много по этому поводу толков, пересудов, осуждений.

А все же Оксане не по себе, ей грустно.

Мирно освещает голубым светом лампада липовую кровать под белым одеялом с башней подушек в кисейных наволочках на голубых шелковых чехлах. Кровать старинная, тоже барская, такая широкая и глубокая, что пуховая перина Оксаны тонет здесь, почти не возвышаясь. А в городе перина дивит своими размерами городских знакомых Оксаны.

При голубом свете кажутся менее громоздкими, чем днем, и гардероб, и комод, отделанные под карельскую березу, и туалет на комоде с ненужными Оксане ящичками, и тусклое зеркало туалета за кисейными занавесками. Мирно пахнет мятой, чебрецом, еще какой-то душистой травою от букета, что стоит в стакане перед иконами.

Казалось бы, все так благополучно, привольно.

Сегодня были в гостях мать с невесткою, и сестра при них подоспела, замужняя, из дальнего села. Ехала в город на ярмарку, зашла проведать. И все говорили чуть не разом:

— Ты — как в раю. Чего тебе? Тебе — счастье, ты — барыня.

Мать денег на ярмарку приходила просить, взяла, сколько хотела. И сестре нужно было денег. Оксана дала ей десять рублей не без скрытого тщеславия. Сестра была старшая, когда-то помыкала Оксаной, гоняла на посылках, драла за уши. А теперь завистливо, с почтеньем качает головой и все вздыхает:

— Тебе счастье... счастье. А у нас...

Жалобы на жизнь лились у всех трех, не утихая. И после вздохи:

— Тебе счастье. Ты — как в раю. Благодари бога. Ты — барыня.

— Не забывай родичей, Оксана. А то и тебя бог забудет.

Эти женщины считали себя как бы посредницами между

богом и Оксаною. Точно бог для того уготовил рай для Оксаны, чтобы она помнила о родичах...

Они ушли, выпив два самовара чаю, много водки и наливок, уничтожив запасы закусок, горячих и холодных, много сластей и орехов.

Ушли с деньгами и щедрыми гостинцами, с благодарностями и пожеланиями.

А Оксана, оставшись одна, промаялась, скучая, вечер. Одна в доме она боялась воров. Но теперь, в половине летней ночи, отперла дверь, вышла на крылечко послушать, не идет ли? Было тихо. Ей послышались шаги в аллее со стороны дома старой барыни. Она обрадованно прислушалась, забыла о досаде ожиданья.

— Идет?

Но шаги не Павла Алексеевича. Тот ходит легко, хотя и толстый. А это кто-то ступает, как десять пудов несет, и сапоги простые, твердые. Сторож, верно, возле старого дома?

Колотушка сторожа застучала именно там, откуда раздавались шаги. В селе на колокольне прозвонили двенадцать раз.

— О, господи... Двенадцатый час. Скоро светать будет. И чего шляется, прости господи?

Опять заперта дверь, Оксана опять у себя в комнате. И опять щемит у нее в душе.

Летом, как-никак, а ждать его легче. Хоть знаешь, где он, с кем. Тут все свои... А зимою? То — в клубе, то пойдет — кто его знает куда. Может, с барышнями где-нибудь?

«Барышни» — это девушки из приличных, вернее, помещичьих семейств. Иначе говоря, те, на которых Павел Алексеевич мог бы жениться. Они грезятся Оксане в ревнивых сновиденьях, ими отравлена ее жизнь, как ядом. Первые два года Оксана не боялась женитьбы Павла. Как-то и не думалось об этом. Началось с того, что выходила замуж кузина Неповоевых, Бетси.

Венчали в городе зимой, сейчас после крещенья. На свадьбу съехалась родня. Приехала из Киева и старая барыня, Агриппина Аркадьевна, с горничной, Жюстиной.

Старая не любит русских горничных, говорит: кувалды. И Жюстина у нее — полька. Служит лет пятнадцать уже. Носит шляпу, по-французски знает, ездит с барыней за границу. Некрасивая, сама из шляхтенок, но угодливая, пройда, подлиза, около барыни — как вьюн... Жюстина перед тем еще летом сблизилась с Оксаной. Все прибегала пить

шоколад и кофе, учила, как держать себя не по-деревенски. Прибежала и теперь в городской флигель Павла Алексеевича. Повертела хвостом и говорит:

— А твой «фацет» шафером? Не боишься?

— Чего? — не поняла Оксана.

— Ну, как чего? Сколько барышень будет, весь уезд. То он нигде не бывает, теперь всех увидит. Еще и сам разохотится жениться. Такой жених, первый в уезде. Перед ним вон как будут крутиться.

Оксану будто резануло что-то.

Но она не хотела показать, что испугалась. И ответила угрюмо:

— Куда ему жениться. Такому толстому.

— Эге, сердце мое. Не посмотрят, что толстый. Еще какую красавицу возьмет. Лишь бы его охота. Первый жених в уезде. Не век же ему с тобою...

Жюстина ушла, а Оксана осталась как угорелая.

С тою же Жюстиной пошла она в церковь посмотреть венчанье. Жюстина и билеты достала. Пришли поздно, Жюстина старую барыню одевала долго. Церковь была полна, хотя впускали по билетам. Яркий свет всех паникадил, богатые наряды, блеск камней, цветы букетов среди зимы, розовый бархатный ковер от входа до аналоя — все ослепило Оксану. Она отдалась зрительному наслаждению, впитывала в себя никогда не виденный блеск и яркость, парадную выставку барского тщеславия. Невесты еще не было, ее ждали. Головы всех обращались ко входу: скоро ли? В толпе возникло легкое движение, словно пробежала волна. Кто-то спросил вблизи:

— Уже? Приехала?

И одновременно вырвался крик у Оксаны:

— Ой, мамочко!

— Тш-ш! Тихо! — строго прижала ее к церковной стенке Жюстина.— Тихо-о, говорю тебе. Тихо, варьятка! То шафер с дружкою, а не...

Оксана опомнилась.

По нежным цветам розового ковра среди расступившихся зрителей шел к аналою Павел Алексеевич под руку с молоденькой барышней. Она несла белый букет, была в белом с золотом платье, и сама напоминала золотое сиянье, и улыбалась счастливой, сияющей улыбкой. И Павел Алексеевич был совсем не тот, что дома. Не распущенный, расстегнутый и сонный, не с колючей щетиной небритых щек, а праздничный, подтянутый, щеголеватый, даже

красивый. Дорогой фрак скрадывал его полноту. Все на нем сидело так, будто было приклеено. Он, как и его дама, не шел, а плыл, словно не касаясь земли, и тоже улыбался кому-то, но не сияющей, а почтительно восхищенной улыбкой.

— Смотри мне, варьятка! — шипела в ухо Оксане Жюстина.— Только пискни... я тебя зараз в полицию. Там тебе покажут, как скандальничать.

— Да чего вы? Я — ничего. Меня придавили,— хотела оправдаться Оксана.

— Но, но. Дури тех, кто глупее тебя. Знаю я, что тебя придавило.

Этот вечер отравил душу Оксаны. С того дня она уже не знала покоя. Если Павел Алексеевич уходил из дому, а уходил он постоянно, Оксана упрямо поджидала его, жестоко терзаясь. Не ложилась спать, как бы поздно он ни вернулся. Часами простаивала перед окнами клуба, когда Павел Алексеевич играл там на бильярде, бродила вокруг тех домов, где он бывал изредка на званых вечерах. Но перед ним стойко молчала, ничем не выдавая своих мучений. О ее поведении заговорила прислуга в городской усадьбе Неповоевых. Через Артамона слух дошел до Валерьяна Мстиславовича, а тот оповестил всех, кто хотел и не хотел слушать. Павлу житья не стало от дядиных насмешек. Малолюбознательный и равнодушный, Павел теперь только начал понимать, почему до его возвращения никогда не ложится спать Оксана. Открытие и рассердило, и удивило его, он был огорчен. И жаль было Оксану, и оставалась еще надежда, что все это — неправда, преувеличение. Он, наконец, прямо спросил у Оксаны:

— Послушай... Правда ли, что ты дежуришь возле клуба, пока я там играю? И куда бы я ни пошел, ты бежишь к тому дому, под окна? Неужели это правда, Оксана?

Оксана растерялась, прорвалась, заплакала...

Павел Алексеевич повторял ей обескураженно:

— Оксана... слушай, Оксана. Да, право же, этого не нужно. И я вовсе не думаю жениться. Уверяю тебя. Если бы я желал... что бы мне помешало? А не женюсь же? Вот видишь. И никогда не женюсь... Уверяю тебя. Перестань же, не нужно это вовсе.

А она, плачущая и вздрагивающая от рыданий, вышла из терпенья и, захлебываясь, закричала злобно:

— Я знаю, что вам не нужно! Ну и убейте меня! Убейте, убейте... Лучше убить, чем так... мучить!

С тех пор Павел стал держать себя с нею несколько настороже. Начал щадить ее, считаться с ее привязанностью. Отчасти это тяготило его, порой же такое чувство ее вызывало в нем растроганность. Чаще всего, особенно при дяде или при посторонних, он обращался с Оксаной, как барин с горничной. Говорил холодно, повелительно, даже подчеркивал сухость тона. Еще чаще не примечал ее совсем. Но перестал засиживаться вне дома до рассвета. А иногда старался быть помягче, повнимательней, чтобы вытравить подозрение, не причинять лишней боли.

Зато Жюстина, угадав больное место Оксаны, изводила ее, разжигая ревнивый бред.

Только и разговоров было у Жюстины — что-то будет, когда пан Павел женится? При Жюстине Оксана упорно сдерживалась, отшучиваясь замечаниями, вроде:

— Куда ему такому толстому жениться?

Она рассказывала, будто к слову, но с целью возбудить зависть, позлить Жюстину:

— Вон — прошлый год пиджак сделал, уже не годится. Руки не влазят. На животе вот как не сходится. Мне отдал — на кофточку. А пиджак как есть новый. Посмотрите — какой... чесучовый, по два с полтиной.

Но уходила Жюстина, и после того долго и горько плакала Оксана над чесучовым пиджаком.

Сама она была верна Павлу Алексеевичу до приторности. Сердилась даже, когда попристальней смотрели на нее мужчины. А соблазнов было у нее немало при ее внешности и положении. За это время один раз даже выйти замуж представлялся случай. И неплохо могла бы выйти. Когда в деревне мужики «бунтовались», у Арсения Алексеевича больше года жили на постое казаки, караулили экономию от пожара. Старший из них — вроде как офицер — проходу не давал летом Оксане. Все околачивался около желтого флигеля. Как Павел Алексеевич обедать, гулять или купаться,— он, казак, уже тут как тут. Сперва так подбирался. После, говорит, погоди малость, выйдет срок, женюсь на тебе... Оксана только рассмеялась в ответ. Мужик мужиком, как его ни поверни. Хоть и старший Никакого благородства обхождения в нем нету. И забраковала. Казак после запил с горя.

Оксана задумалась до того глубоко, что не слыхала приближающихся шагов Павла Алексеевича. Ждала столь-

ко часов, а тут не услышала. Очнулась лишь, когда щелкнул его ключ в замке у входа, и Павел Алексеевич впотьмах вошел в прихожую.

Оксана обрадовалась, но рассердилась на себя: и как она прозевала? Ведь не спала же! Нашла спички, чиркнула о коробочку одну, другую, третью, чтобы зажечь свечу. Спички ломались, не хотели зажигаться. Наконец зажгла-таки и вышла в прихожую.

— Ты еще не спишь, Оксана? Отчего ты не ложишься?

— Так. Вот свечка. Может, квасу?

— Нет, благодарю.

Павел рассеянно взял у нее свечу. Он шел к себе в спальню, но приостановился на половине прихожей. Оксана стояла у открытой двери своей комнаты, чуть освещенная синей лампадкой. С минуту Павел вглядывался в лицо, будто изучая его или сравнивая с кем-то. Потом вернулся обратно, приблизился к ней и спросил мягко:

— Так тебе не спится?

— Не спится.

— Мне тоже. Скучно тебе было одной? Посидеть с тобою? Я не усну тоже.

Оксана посторонилась, пропуская его в комнату, тускло залитую голубоватым светом. Павел Алексеевич на ходу погасил свечу, бросил на сундук подсвечник и сел в углу на твердом диванчике.

— Присядь, Оксана.

Она села на диване рядом с Павлом, там, где он указал, приглашая.

— Как у тебя хорошо тут,— снова очень мягко сказал он.— Этот свет голубой. Тихо, чисто... Будто в келье.

Оксана вздохнула.

Павел Алексеевич помолчал. После осторожно, словно боясь обидеть, придвинулся к Оксане и робко, едва прикасаясь, погладил поверх кисейных рукавов ее плечи. Оксана посмотрела на него удивленно, потом сердито сверкнула глазами. Павел Алексеевич не видел выражения ее глаз. В странном полузабытьи он ласкал плечи Оксаны молча, нежно и бережно, как что-то очень, очень хрупкое. И с мягкой робостью чуть слышно проговорил, задыхаясь:

— Ксения... Ах, Ксения... дорогая!

Но вдруг вспылившая Оксана с неудержимой жестокостью разрушила его иллюзию.

— Опять?! Вы — опять?! — громко, хрипло и злобно вы-

крикнула она.— Опять: Ксения?! Я вам не Ксения, а Оксана! Вы сколько раз обещались. Нужно вам Ксению, и ступайте к ней. Она барышня, а я — Оксана, мужичка! С ними вы — вон как. А со мной: «Оксана! Квасу! Оксана! Побриться!» Ну и идите к ним. А я не хочу. Не надо совсем, убирайтесь.

Как только что проснувшийся, Павел глядел на Оксану. На ее покрасневшее от гнева лицо с полувыпуклыми, коровьими, как мгновенно определил он сейчас, глазами, на высокую грудь, на наливные под прозрачными рукавами плечи. Глядел равнодушно, немного недоброжелательно. Под его взглядом Оксана стихла, съежилась. А он поднялся с диванчика и медленно пошел к двери. Тогда Оксане стало страшно расстаться с ним после того, как он рассердился, может быть, обиделся.

— Куда же вы? — испуганно остановила она.

Павел шел, не отвечая.

Оксана прыжком бросилась к двери и очутилась на дороге, заграждая путь.

— Куда вы? Павел Алексеевич... Барин? Вы сердитесь? Я не буду больше.

У нее был вид провинившейся, но не избитой за свою вину преданной собаки. Она была готова на все, лишь бы удержать его. Пускай даже думает, что это не она, а другая. Та — другая... какая-то, верно, барышня, которая знать его не хочет... может, смеется над ним. Не Оксана, а та, Ксения. Пусть все, что угодно. Но лишь бы не уходил, остался. Чтобы опять стал ласковым, непохожим на себя, таким особенным, как был только что. Чтобы гладил ее руки и повторял: «Ксения... ах, Ксения...»

— Барин, Павел Алексеевич. Не уходите.

— Оставь, Оксана. Пусти меня.

Оксана заплакала.

Слез не переносил Павел Алексеевич, и теперь слезы были кстати. Он смягчился тотчас же.

— Оксана, да что с тобой? — сказал он, уже вполне владея собою.— Что это, право? Хуже ребенка. Истеричкой становишься. То прогоняешь, то плачешь: не уходите. Ну, я не уйду, не уйду... не ухожу, видишь? Перестань только. Ведь я не хотел уходить, сама же прогнала?

Он вернулся к диванчику.

— А вы зачем меня опять «Ксения» зовете? Я ж просила вас? Я — Оксана.

— А затем, что не люблю коверкать твое имя.

— Да-а. Всегда говорите: Оксана. А тут: Ксе-ни-я. Не нравится Оксана, зовите всегда Ксения.

— И звал бы всегда. С удовольствием. Но....— Павел запнулся и договорил, решившись на самое рискованное, наиболее опасное средство:

— Но ведь Ксения Викторовна — тоже Ксения? И ты же должна сама понимать... В больших домах нельзя звать одним именем и хозяйку, и тебя, например. Ну, поняла? Поняла, почему не зову всегда?

Он говорил успокоительно, с полным самообладанием. Оксана с пылающими щеками кивнула головой. Но глаза ее были опущены вниз, она прятала их, чтобы не выдать свое подозрительное недоверие.

— Поняла, Павел Алексеевич. Не сердитесь. Я не буду больше. Вы не сердитесь? Ну, скажите.

— Да не сержусь я. Не сержусь нисколько. Довольно, Оксана. Какая ты, право, нервная. Вон уже рассвет за ставнями. А ты все не спишь.

Не спала в эту ночь и Ксения Викторовна. За обедом ее расстроил муж, перед вечером — цыганка. Впечатления дня отслоились в душе и угнетали. Слова цыганки, непонятные для других, много сказали самой Ксении Викторовне, коснулись ее беспощадностью ясновидца самых сокровенных сторон ее интимной жизни, испугали пророческой угрозой.

Горничная Малаша закрыла окна, притворила изнутри ставни на окнах в нарядной спальне Ксении Викторовны, спустила шторы, помогла Ксении Викторовне снять платье и корсет, накинула на нее зеленый батистовый халатик с рисунком в персидском вкусе, расшнуровала сквозные переплеты ботинок, надвинула на ноги мягкие туфли из зеленого сафьяна.

— Причесать на ночь? — спросила она.

— Нет, я сама. Больше ничего. Идите.

Ксения Викторовна заперла за Малашей дверь. Походила в задумчивости по спальне, неслышно ступая по блеклосерому ковру в розоватых и палевых розах. Она не переставала думать о цыганке.

— Но не могла же она знать? Да и откуда? Здесь никто не знает. Значит, что же? Ясновиденье? Предсказание?

Делалось жутко, холодели руки, хотелось отвлечься от

этих мыслей; Ксения Викторовна приблизилась к трюмо, зажгла у зеркала электрические лампочки, поглядела на себя в зеркало прямо и в профиль, вынула из волос осыпанные гранатами гребенки и шпильки, аккуратно сложила их у трюмо на колонке. После тряхнула несколько раз головой, расправила пальцами рассыпавшиеся по спине и по плечам волосы, еще раз провела по волосам, распутывая их, руками потянулась к полочке сбоку, чтобы достать гребень, да так и замерла, перегнувшись. В трюмо ясно отражался Арсений Алексеевич. Он стоял там, сзади, в глубине комнаты, в щели между шкафиком ампир и углом камина. Стоял недвижимо в притаившейся, словно что-то подстерегающей позе. Истомленное, побледневшее лицо, сжатые губы и челюсти и неподвижность... неподвижность каменная.

«Призрак»,— не подумала, а скорее ощутила Ксения Викторовна.

Потом их глаза встретились в зеркале, взгляды скрестились и отразили на лице Ксении дикий ужас, у Арсения Алексеевича — смущенность и тревогу.

Призрак поспешно отделился от стены, подбежал к зеркалу.

— Не пугайся, Ксенаша. Это — я. Живой я, не призрачный.

— Арсений?

— Ну, я. А то — кто же? Живой, не бойся.

— Но... ты же... в городе? — не понимая, что говорит, произнесла Ксения.

— Значит, нет... если стою возле тебя. Вернулся с полпути. Раздумал. Приди в себя, Ксеничка, успокойся.

Он обнял Ксению Викторовну, отвел от зеркала и посадил на софу. Пошел за альков к кровати, принес оттуда стакан с водою.

— Ксенаша. Да напейся ты. Как ты дрожишь. Опомнись. Ну, что это?

Ксения напилась и опомнилась.

— Как ты напугал меня, Арсений.

— Виноват. Прости. Я не хотел. Не ждал, что увидишь.

— Не ждал?

Ксения Викторовна, что-то медлительно соображая, привстала с софы.

— Так чего же ты хотел? Чего ждал там, в углу? — гневно крикнула она, выпрямляясь.— А, понимаю. Опять караулил? Вернулся с полпути, пробрался сюда... Хотел

проследить, не впущу ли любовника? Кого же? Кого? Артура? Жюля? Или кого-нибудь из лакеев?

— Ксенаша...

— Нечего, нечего! Довольно я прощала. Теперь из-за Артура, я видела... поняла за обедом. Боже мой, да когда же конец этому?

— Ну, я виноват. Прости меня. И на этот раз прости...

— Надоело мне прощать! Довольно. Твои сцены... Твои упреки... Без конца, без конца. Каждый день, каждый час новые вариации.

— Но если это моя болезнь... мое проклятье? Имей же и ко мне хоть жалость, если не снисхождение. Разве я сам не страдаю? Не извожусь? Не мучусь? Если бы ты знала... Я вижу пред собой до того реально... Ты и он... Такие отвратительные, чудовищно гнусные картины... И мне так больно... Надо же пожалеть и меня, Ксенаша.

— А меня кто-нибудь жалеет?

— Я. Всегда. Постоянно. Даже когда терзаю... когда наиболее оскорбляю тебя.

— Спасибо за ласку.

Ксения иронически рассмеялась. Хотела встать и отойти, но Арсений Алексеевич удержал ее за руки. С усилием посадил на софу обратно, сел на полу у ее ног, продолжая держать за руки.

— Ну, будет, Ксенаша, ласточка, зоренька моя, ненаглядная. Я опять обидел тебя. Но это же болезнь, ты знаешь. Как винить человека за то, что он болен?

— Однако человек не бьется головой о стену от того, что он болен.

— Не бьется? Почем ты знаешь? А может, бьется и не раз? Может, и сегодня бился? Это — такое страданье... Если бы ты могла понять! Нечеловеческое! Ты добрая, сжалилась бы... Раз навсегда простила бы.

— Не могу. Слишком обидно. Тебе не следовало жениться.

— Если бы знал раньше, что во мне сидит это проклятье... ни за что бы, никогда, ни на ком не женился.

— А я на твоем месте... если бы я считала, что у моей жены такие наклонности потаскушки, как ты про меня думаешь... ни за что не стала бы жить с нею.

— Кающегося не бьют, Ксеничка. Я признал себя виноватым.

— А мне, думаешь, легче от этого? Завтра опять провинишься. И опять будешь каяться.

— Не буду. И сегодня ничего не было бы. Дядя днем разжег во мне это. Как начал, как начал...

— Дядя?! Ты способен придать значение даже его словам? Он нарочно говорит. От скуки издевается над всеми. А ты...

— Я цену дяде не хуже тебя знаю. Но знаю и другое.

— Интересно узнать и мне, наконец, что?

— А то, что ты кокетка. Потайная... Почему чуть ли не каждый мужчина с вожделением пялит на тебя глаза?

— В твоем воображении.

— Нет, нет... Мое воображение ни при чем тут. Это факт. И ты знаешь, что правда. Почему с другими женщинами,— тоже красивыми,— не бывает этого? По крайней мере, в такой степени? Потому что каждый угадывает твою чувственность. Это и привлекает к тебе всякого.

— В твоем воображении.

— Не дразни меня. Плохо будет.

— Опять? Господи... Арсений! Да проследи всю мою жизнь с тобою. С первого дня. Был ли хоть крошечный повод к подозрению?

— Поводов, может, и не было. Не знаю. Они, может, и воображались мною. Но почва для них была, есть и будет. Возделанная, глубокая...

— Какая? Какая, спрашиваю я у тебя!

— Не будешь ли ты уверять, что вышла за меня по пламенной любви?

— Ах, вот что. Но и ты же не по любви женился? Всего два-три раза видел меня до того. Не было времени воспламениться. Женился оттого, что нашел подходящей для себя партией. А я же не подозреваю тебя ни в каких мерзостях? Я не говорю, что выходила по любви. Мама тяготилась мною, оставляла в тени, хотела спихнуть с рук скорее. Ей самой еще жить хотелось... а тут я, живая улика ее возраста. Я ей мешала. Меня держали в черном теле, тяжело было. Ты заговорил по-человечески, и я тому была рада. Но после... разве после я не любила тебя?

— О, как ты всегда хорошо скрывала это!

— Ты несправедлив. В чем я не уступала тебе? В чем отказала за эти десять лет? Даже прихоти твои, даже...

— Не хочешь ли ты напомнить, что вот и дом этот, в котором я, изверг, терзаю тебя, невинную жертву, даже и он возведен на средства жертвы?

— Стыдись, Арсений. Дом возведен для детей наших. Они не только твои, а и мои дети. Я не о доме. Я хотела

сказать... что и всячески старалась украсить нашу жизнь... Сделать ее теплее, сердечнее. Скрыть от всех все, что портит ее. Я иду на все уступки. На все решительно. От пустяков до крупного. Ты не хотел, чтобы я играла и пела...

— О-о? Еще что? Еще какая жертва возложена тобою на алтарь семьи?

— Не о жертвах речь, об уступчивости. Тебе неприятно было, что я пою и играю...

— Еще бы. Какому мужу приятно, если жена его завывает с любым встречным лоботрясом: «Так и рвутся уста навстречу дрожащим устам»?

— Ничего подобного я не завывала.

— А твоя игра в четыре руки с Химичевым?

— Он серьезный музыкант. И никогда не относился ко мне, как к женщине.

— Не верю я в вашу серьезную музыку.

— Пусть так. Ты не хотел, чтобы я играла? Я подчинилась. Сколько лет не прикасаюсь к клавишам. А я любила играть, Арсений.

— Умилен столь тяжкой жертвой.

— Дальше...

— Есть и дальше?

— Есть. Много есть. Тебе неприятно было, что я танцую.

— Еще бы. Обниматься на моих глазах со всяким болваном!

— Но это принято во всем мире! Ну, дело не в том. Я с удовольствием плясала... Но оставила и танцы. Навсегда. Нигде не танцую. Не выезжаю никуда, где надо быть декольтированной. В самую большую жару не надену ничего прозрачного. Мы живем, как в монастыре. Никто чужой не бывает у нас, и все-таки ты недоволен?

— Я же говорю: тиран, деспот, изверг, злодей. Отелло... Есть и еще продолжение?

— О, есть. Я с мелочей начала. Ты отстранил меня от детей. Как ни больно было, я подчинилась. Заметь: подчинилась, хотя не разделяю твоих взглядов на воспитание. По-моему, ласку, нежность ничто не заменит для ребенка, я сама выросла без этого. Знаю, как больно. Но ты захотел, и дети не у меня, а у Артура. Как я не люблю этого человека. Он словно отнял у меня самое дорогое. Точно обсчитал меня в чем-то. С наслаждением вышвырнула бы его из нашего дома. Чтобы не выламывать души моим детям. А ты...

— Ксенаша... довольно!

— Нет, мало. Еще не все, еще мало. Ты поступаешь со мной, как с последней тварью. И это — единственный близкий мне человек? Отец моих детей... Мой муж, так сказать, защитник.

— Остановись. Будет. Мне больно. Я не могу больше.

— А мне не больно? И я не могу больше. Не могу терпеть молча. За что я должна переносить такие унижения? Где бы мы ни были, кто бы у нас ни был, я вечно как на иголках. Не уверена в себе. То ли я говорю, то ли делаю? Не показалось бы тебе что подозрительным. Я не знаю, куда смотреть, потому что ты следишь за моим взглядом. Не знаю, отвечать ли, когда со мной заговаривают. Ведь потом за каждое слово, за каждый случайный вздох, за взгляд — придется держать ответ, выносить сцены. Я одичала, стала бояться людей. Мне уже в тягость общество. Наконец...

— Но, Ксенаша, голубка... Ну, умоляю тебя, пощади. Не надо остальных «дальше». Их можно насчитать много, я признаю. Но надо же снисходить к...

— А разве я не снисхожу? Не стараюсь все понять, все сгладить?

— Что ж мне делать, если это сильнее меня? Не осуждай строго. Я так люблю тебя. Так хочу понимать тебя всю, без остатка. Знать каждую мысль твою, каждую мечту, причину каждого вздоха, чтобы все принадлежало мне, одному мне... Ты иногда задумаешься и молчишь, а на губах улыбка. Будто мечтаешь о чем-то. А я не знаю, о чем. И не узнаю никогда, вот что убийственно: этот иной, замкнутый в себе, целый мир отдельный. В человеке, с которым я слился воедино, к которому прирос неразрывно. Кажется, размозжил бы себе или тебе голову, лишь бы узнать: да что же там? О чем она думает? Где витает? Что в ее душе таится? Ну, скажи, о чем ты мечтаешь? Вот так, наедине с собою?

— О покое, Арсений.

— Не может быть. Ты неискренняя и теперь. И теперь не говоришь правды. Ты чересчур молода, чтобы думать о покое.

— Это оттого, что я никогда не знала его. Мечтаем всегда о недостижимом.

— Ксенаша, деточка моя, ты несчастлива со мною? Я измучил тебя. И продолжаю мучить. Да, да, сознаю и не смогу сделать тебя счастливой. Одно то, что ты шла за

меня, не любя... Что ты как бы заставляешь себя переносить меня, ласки мои и недостатки... Нет, тебе не понять этого. Ведь что такое ревность? Боязнь утраты. Боязнь потерять близкого человека. Его любовь, его присутствие, его покорность.

— Я понимаю. Но чего ты хочешь? Есть ли хоть одна сторонка в моей жизни, устроенная по моему, а не по твоему вкусу? Нет, нету. И, однако, ты недоволен. Все, что у меня есть,— все твое. Даже жизнь моя, здоровье. И их я ставлю на карту, лишь бы ты был доволен. Ты не хочешь больше детей, не хочешь дробить имение? Я подчиняюсь и тут. Сколько операций за эти последние годы? В такое короткое время. А мне так хотелось иметь девочку. Уж ее бы не отняли у меня для Артура. Но ты сказал: какая гарантия, что будет девочка, а не мальчик? И я согласилась. Да, гарантии быть не может. Все, все по-твоему. Я подвергаю себя смертельной опасности, лишь бы...

— Но, Ксенаша? Ведь профессор...

— Что ж профессор? И профессор говорит то же. У меня железное здоровье, но и для него есть пределы. Ткани дряблеют, надрывается организм. Нельзя насиловать его до бесконечности. Вот, перебои сердца появились... Откуда? У меня было богатырское сердце. Никогда не чувствовала, есть оно или нет. А теперь перебои. Ты говоришь: нервное? Хорошо, допустим, но откуда они? Я не хочу больше этого риска. А ты подозреваешь гадость. Будто я жажду научиться секретным средствам. Чтобы изменять тебе с безопасностью. Ведь я знаю: ты не позволил профессору...

— Опять упрек? Я же просил: довольно корить, не будь жестокой. Когда ты хвораешь в Х.,— разве я мало терзаюсь? Сколько страха. Какая жалость к тебе. Какие угрызенья. Не для меня же это? Все для них, для детей. Для их будущего. Я седеть начал из-за тех операций.

— Лучше бы ты не седел, Арсений. А вот странно, я забыла рассказать тебе. Перед вечером была здесь цыганка. В парке. Взялась гадать мне и сказала: «Если загубишь, сама загнешься». Ты понимаешь? Поразительно ведь? Правда? Мне стало очень жутко.

— Вот ерунда. Как она проникла сюда? Чего Ефрем смотрел? Собаками бы ее.

— Эх ты... помещик. Собаками... Однако, день на дворе? Уже четыре. Я так устала. Вся, вся разбита. По всем швам, по всем суставам. И голова кружится...

— Помочь тебе раздеться?

— Не надо. Я сама. Уходи, Арсений. У тебя сенокос сегодня. Иди, тебе пора. А я вся, вся разбита.

Сенокос был в разгаре.

Звенели, сверкая, на лугах косы, косили траву в старом парке.

Рано утром шел купаться Павел Алексеевич, пока не исчезла ночная свежесть в воде и в воздухе. Он любил купаться на открытом месте и по утрам ходил не в купальни, что стояли у подножия молодого парка, а подальше, на песчаную косу за поворотом реки. Дышалось пока свежо. В тени над прудами висел туман, как сплошное облако. И над струистой рекою под солнцем еще не рассеялся пар, похожий на золотой дымок, хотя уже отделился от поверхности воды. Тенисто было в аллеях, поблескивала роса на траве, на не скошенных пока полянах еще не свернулся от солнца нежно-голубой цикорий. Напоминая звуки флейты, посвистывали вблизи Вадимовой пасеки иволги. Горлинка по-утреннему, без умолку и передышки, укоризненно и сокрушенно повторяла свое настойчивое: кру-кру-кру...

В мешковатом полотняном пиджаке, в смятой ночной рубахе, без жилета и нараспашку благодушествовал на свободе Павел, уже подбодренный утренним впрыскиваньем. Он отпер калитку у ворот, вышел на дорогу и остановился, глядя вдаль. По дороге кто-то катил в отдаленье, коляска сделала поворот с большой дороги к парку. Павел Алексеевич приложил к глазам козырьком руку.

— Не Вадим ли раздумал за границу?

Но солнце на новом изгибе дороги осветило за спиной кучера три дамских шляпки, цветных и пестрых, как громадные бабочки. Одна из шляп — белая, с серебряно-белыми блестками, похожая на опрокинутый ушат,— взвилась с головы в воздух и приветственно заколыхалась.

— Марго! — крикнул Павел громко и радостно. Он тоже замахал в воздухе мохнатой, толстой простыней и своей панамой. Из свернутой простыни летели на землю полотенце, мыло, гребешок, мочала. Павел, не видя этого, смешно топтался на месте, размахивая простыней и шляпой.

— Марго, Марго! Маргоша...

Коляска приближалась. Уже были видны лица Марго,

Жюстины и Агриппины Аркадьевны. Доносился знакомый голос Марго:

— Павлик! Павля! Поль, Павлуша, Павленька... Павла, брат мой возлюбленный...

Еще миг — и Марго выпрыгнула из экипажа.

— Павлик! Павля, Поленька, здравствуй. Все такой же неповоротливый? Мой моржик, кубик, тюлень, крокодил... Рыба-кит, слоник...

Марго без шляпы, запыхавшись от крика,— небольшая, стройная, ловкая,— висела у Павла Алексеевича на шее, теребила его во все стороны, целуя куда попало. Вся она была в белом с русскими прошивками: белое манто, юбка и блузочка, припыленные в пути. Мать оставалась в коляске, по обыкновению, непостижимо молодая. Недаром звали ее в Натальинском уезде Иммортелькой: она не увядала. Даже как будто стала с прошлого года еще моложе, розовее. Или это падала на ее лицо тень от блекло-розовой газовой шляпки с розовыми лентами, завязанными под подбородком? В тускло-розовом легком платьице не то ампир, не то директуар с поясочком под грудью, без единой морщинки на лице, высокая и худощавая, с такой тонкой талией, что, по сравнению с нею, фигурка Марго кажется более возмужалой,— мать все та же, какой помнят ее дети лет двадцать назад. Те же волосы, выкрашенные в прошлогодний угольно-черный и угольно-ровный, красивый цвет. Те же, как из мелких жемчугов, зубы, тот же голосок и смех. Все те же искусственно юношеские, вошедшие в привычку живые движения, прежнее щебетанье, заученные улыбки, нарочитые суживанья миндалевидных глаз...

Павел с трудом освободился от Марго и подошел к коляске поздороваться с матерью. Приложился к ее душистой руке, обтянутой ажурной, блекло-розовой митенкой. Поцеловал руку почтительно, но холодновато.

— Здравствуй, Павел. Как живешь? Бог мой, на кого он похож? Опять потолстел. Еще больше. Небритый, нечесаный, распоясанный... Совсем хулиган какой-то.

— Не ожидал встретить вас, мама. Отчего не телеграфировали? Выслали бы экипажи.

— Да мы так внезапно собрались. Москиты одолели в Алупке. В один день собрались.

— Мама хотела телеграфировать, я удержала. С тех пор как у Арсения конский завод, у него лучше не спрашивать лошадей. Я уж заметила: у кого завод, тому всегда лошадей жалко.

— Садись, Маргоша,— попросила Агриппина Аркадьевна с нетерпением.— Спать адски хочется. Еле ворочаю языком. Могу недоесть, недопить, но недоспать — выше сил моих. На рассвете вышли из вагона. Что за варварское расписанье! Садись, Марго. Едем.

— Я, мамочка, пешком приду? Я потом... с Павликом.

— Трогай, извозчик.

Экипаж двинулся.

— Ты куда, Павля?

— На косу купаться.

— Ух, и я бы выкупалась. Жаль, не взяла полотенца. В бауле у меня сверху. Извозчик, подожди! Останови его, Павлик.

— Не стоит. Возьми мою простыню. Чистая.

— А ты как?

— Со мной еще полотенце. Собрать вот надо. Как тебя увидел, все растерял на радостях.

— Павлик... милый.

— Тебя назад свести? К купальням?

— Не на косу же.

Повернули назад к парку.

— Павля, голубчик... как я рада тебе!

— Бессовестная Маргошка. Не приезжала два года. Зиму целую ни слуху ни духу. Как в воду канула. Хотя бы мне написала.

— Ага! Тебе напиши — и все узнали бы, где я. А я не хотела.

— Это я бы предал тебя? Да я за тебя...

— Знаю. А все ж боялась. Могло всплыть, помимо тебя. Как-нибудь случайно. В прошлом году не могла приехать, постройкой была занята. Виллу свою строила в Одессе. Ух, и влетела я с нею, Павлик. Ну да после... потом расскажу. Слушай, что это у нас на кладбище? Церковь построили?

— Какую церковь. Всего часовню. Родовую усыпальницу воздвиг Арсений.

— На королевский манер?

— В миниатюре. Можем все помирать, беспрепятственно. Всем хватит места. Склеп внизу наподобие манежа.

— Давно готова?

— Еще осенью освятили. Внутри художник расписывал. Васнецовские копии. И старые могилы отца, деда, бабушек — все приведены в порядок. Видишь, какие памятники, цветники? Все лето прошлое кипела работа.

— Решетка кругом изящная.

— Четыре тысячи одна она стоит.

Марго, вздохнув, юмористически тряхнула каштановыми завитками своей прически.

— Блажь,— сказала она.— Вроде моей одесской виллы. Или замка Арсения. Ну, к чему замок с башнями над Горлею?

Павел улыбнулся. Они обогнули прилегающее к парку кладбище и вошли в ворота.

— Ах, Павлик... но как же я рада тебе!

— А я?

— Хочется все поскорей рассказать. А с чего начать, и сама не знаю. Ну, ты слышал, конечно. Я своего Постромцева в трубу. Тю-тю. Побоку. К черту!

Марго быстро, будто что-то вычеркивая, провела рукой перед своим лицом и глазами Павла.

— А чертыхаться все не разучилась?

— Ууу! Еще лучше умею. Но сдерживаюсь теперь. Теперь я в обществе такая приличная. Прямо не узнать. Слежу за собою. Знаешь, как я невоздержанна на язык? Бывало, такое ляпну... дядя — отставной гусар и тот чуть не краснеет. А посмотрел бы ты теперь меня на людях. Все молчу, молчу... будто немая. Неудобно, знаешь. Соломенная вдова, щекотливое положение... И что бы я ни выкидывала, со мной ничего нельзя себе позволить. А тут всякая дрянь на тебя, как на легкую добычу, смотрит.

— Правильно, Маргоша. Не дальше, как в воскресенье, дядя мне реприманд читал. По поводу Оксаны моей. Девка, говорит,— неэстетично, вульгарно. Для этого есть, говорит, жены разные, не живущие с мужьями. Ее дети — дети ее мужа, сама же она изящнее простой бабы.

— А, старый эротоман! Жив еще?

— Что ему? Нас переживет. Так Постромцева в тираж? Решительно?

— К черту, к черту! Бесповоротно. Денег от меня так и не получил до конца. Ни сантима. Назло ему все на свою виллу простроила. А вилла, Павлик, несуразная. По образцу одного из шале́ королевы Виктории. Но пшик вышел. Надули меня с участком. Дрянь участок, в этом месте кругом земля ползет в море. Года через два может ничего не остаться. Все будет в море. Уже и сейчас дачники не снимают, боятся обвалов. Но — пусть. В море выброшу, а Постромцеву ни сантима. Ничего. Вот: кукиш. Выкуси.

— Марго!

— Чего ты? Мар-го-о... А он хорош? Пусть выкусит. Ага? А что? Женился на богатой? Обошел влюбленную Маргошку? Получай, мой ангел. У, дрянь какая. Я не из жадности, Павлик. Ты же знаешь. Я и жадность? Огонь и вода. У меня хуже, чем у мамы, все сквозь пальцы плывет. Но обидно мне. Как? Я его, дурня, люблю, а он мне: денег?! Ах ты... черт бы тебя побрал. Мразь подлую... Да убирайся ко всем чертям, чтобы и духу твоего подле меня не было! К счастью, детей нет. Вдруг удались бы в папашеньку? Брр... Одна мысль в дрожь вгоняет. Кабаки, карты, лошади, скачки, женщины... Очень милый фруктец. А я одна, как старый пень, дома сижу. Дни и ночи одна. Подумай сам, Павля, на что он мне, ананас такой? К черту, понятно. А какие он мне сцены устраивал. Горящими лампами в меня швырял.

— Негодяй.

— Ну, и я, положим, не оставалась в долгу. Тоже и я с коготком. Если захочу кому насолить... ну, сумею. Он у меня в синяках, как свинья в репеях, ходил. У меня свой метод: скок — прямо в глаза с ногтями.

— Маргоша... ты ли это?

— Я, я, Павля. Не ужасайся.

— Развод тебе взять следует.

— Вот этого-то мне бы и не хотелось.

— Значит, думаешь опять?..

— Ничего не значит. К нему опять? Ни за какие коврити. С голоду помру, не вернусь. Да он уже и безразличен для меня. Давно. Как вон дерево это. Вытравила я в себе к нему все чувства. Сошелся, говорят, с кем-то. Мне на досаду. Тоже со средствами дура. А я услышала, даже сердце не екнуло. Не завидую ей ни в каком отношении. Лгунишка, фат, пустельга, мелкота, ничтожество. Убила дура бобра. Я — одна; она — другая. А развода не дам. Не дам на пакость. Потанцуй у меня. Поищи невест богатых. Не дам, не дам. Все равно он никого не осчастливит! На ком бы ни женился.

— Тебе-то до него что? Тебе бы самой освободиться?

— Да я не хочу освобождаться вовсе. Боюсь опять наделать глупостей. А так я бронирована. В любовницы не пойду из самолюбия. Замуж — нельзя. Отлично. Для меня же лучше, чтобы были преграды. А я — ненадежная. Хоть бы постареть скорее. Мне бы только до сорока лет добраться. Там уж не страшно. Не будет искушения. Я сама не надеюсь на себя. Боюсь споткнуться. Хорошо рассуж-

дать да философствовать, пока никто не нравится. До первого увлечения. А начнет ухаживать, да еще настойчиво кто-нибудь, кто понравится... тогда трудно. Тогда как бы моя философия кувырком не полетела. Сердце у меня привязчивое, легко разбухает от нежности. Я и то уж оберегаю его. Как поймаю себя раз, два на мысли: увидеть бы такого-то,— так и начинаю избегать. Умышленно, систематично. За себя боюсь, Павлик. Не влететь бы опять. Ведь себе дороже стоит.

— А финансы твои как?

— У, скверно. Очень, знаешь, трудно. Свободной наличности — никакой. Имущества — одна вилла на Малом Фонтане и та — бездоходная.

— Бери у меня, сколько надо.

— О, Павлик. Ты все тот же... славный? Нет, спасибо. Будет обирать тебя.

— А куда мне? Своей части все равно не проживаю.

— Нет. Не хочу. Обойдусь. Может, еще и дача не провалится. Потом работать буду.

— Ты? Работать?

— Ух, как презрительно. Да ведь я и эту зиму вовсе не за границей была. Я на сцене служила.

— Что ты говоришь?

— Только это секрет, Павлик. От всех, от всех. Тайна. Даже мама не знает. Не приведи бог, Арсений услышит. Убьет. Укокошит своею рукою. Как! Рожденная Неповоева? И вдруг?.. Смотри не проговорись, родненький.

— Где ж ты служила?

— Какой у тебя оторопелый вид, Павля. Ха... Смешно, ей-богу. Чего же ты испугался? Ну, служила. А где? Черт знает где, собственно говоря. В С. Город губернский, будто большой, а глушь. Дыра изрядная. И не понравилось мне на сцене. Тошно вспомнить, не вернусь, верно. Помнишь, какой успех я имела в любительских?

— Как же. Видел тебя в «Сорванце». Очень недурно играла.

— Ай, ай, Павлик. Лучше ударь меня... но не говори... не смей говорить этого слова!

— Что? Какого?

— Слова недурно. Никогда не произноси. Я ненавижу его. Пусть меня изругают, повесят, высекут... но не говорят недурно. Не могу. Меня преследует это слово. Убивает, жжет. У меня везде, все, всегда — недурно. И никогда хорошо. Все по-дилетантски. Я и картину нарисую недурно,

и Шопена сыграю тоже. В Одессе моего Шопена сам Падеревский хвалил. Специалист от Шопена и тот сказал: недурно. Только техники, говорит, мало, Я и спою, и в «Сорванце» выступлю. Но все лишь недурно, не больше того. Ты знаешь, Павел: я и писать могу. И тоже недурно. Как-то на своего Постромцева разозлилась, думаю, постой, я тебе покажу, что я такое! Взяла и написала повесть. Сгоряча, в две недели. Послала N — писатель ведь? Настоящий?

— Ого. И какой. Ну? Ну? Что же он?

— Да что? Все то же. Сказал и он: недурно. Написал мне. Осторожно так... чтобы не завоображала лишнего. Недурно, говорит, у вас вышло. И представь, передал напечатать! В журнал, в хороший... И деньги заплатили. По семьдесят пять рублей с печатного листа. Ей-богу.

— Молодчина, Марго. Честное слово, ты у нас самая умная.

— Умная, умная... А кроме глупостей всю жизнь ничего больше не делаю.

— Отчего ж ты еще не пишешь? Это лучше сцены. Приличнее.

— Да так. Поостыла я. Тогда, после повести, и сама думала, что умная. Вот была счастлива. То есть подвернись он мне тогда, N этот... зацеловала бы его, кажется. А потом призадумалась. Начала соображать: чему я так радуюсь? Ведь это все то же, мое прежнее, старое недурно. Напишу еще десять, двадцать, сорок вещей, опять то же? Немножко хуже, немножко лучше, а все лишь «недурно». Я и бросила. И без меня таких писак достаточно. Зачем у них хлеб отбивать? У меня хоть вилла в Одессе. И в Неповоевке, и у мамы я всегда могу приютиться, есть где голову преклонить. А у другой — такой, как я,— может, теплого пальто или калош купить не на что? Ох, Павлик, за это недурно я ненавижу себя. Черт бы его во мне побрал и меня с ним вместе!

Подошли к купальням.

Марго хотела спуститься вниз по ступеням лестницы.

— Погоди,— остановил ее Павел.— Тебе с того мостика сойти удобнее. Здесь мужская теперь. Глубоко.

Марго еще прошла по береговой дорожке, Павел нес за нею простыню.

— И на сцене, говоришь, не понравилось? — спросил он тихо.

Марго остановилась у вторых сходней.

— На сцене еще туда-сюда... куда ни шло. За кулисами вредно. Сброд разный, амикошонство у них, хамство. Не то, что вареную рыбу, селедку едят с ножа. Нравы я тебе скажу... дегенератские. Не говорят: я люблю, но: я вас желаю. А? Вообрази, честь какая? Он — желает? «Моя сезонная жена», «мы живем театральным браком» — это в обиходе. Трудно и разобрать сразу, где чьи мужья и жены. Все фамильярничают со мною. Я ведь там что? Актриса без имени, без покровителя. Всякий с тобой запанибрата. С кондачка, свысока даже. «Дорогая моя», «Какие у вас глазки», «Заходите ко мне в гости»... Это со мной-то? А? Ах, дрянь какая. Вот дома всегда: Марго — чертыхается, у Марго жаргон гаменов, Марго — богема, Марго — отчаянная. А там, представь себе... там я на каждом шагу, во всякий момент чувствовала в себе барыню! Здесь я вас всех привожу в ужас. Там меня все шокирует, коробит. Зевнет кто-нибудь из братьев актерщиков, потянется... мне уже неприятно. То он спиной ко мне сядет, то ковыряет при мне в зубах. А то еще, в моем присутствии, разговаривая со мною, брюки на себе оправляет! А? Брюки?

— Маргоша, бедная. Вот попала.

— Тебе смешно, Павел! А мне каково было? Я не привыкла. Мне — вредно. Так бы и свистнула по уху!

— Или: «скок в глаза с ногтями»?

— У, с наслаждением. Ах ты, рвань подзаборная, шантрапа полосатая... Да как ты смеешь у меня перед носом брюки подтягивать? Ну, подумай, Павлик! Я — дама; полузнакомая с ним дама, а он — брюки?

— Ужасно.

— Нет, ты не смейся. Вникни. Ведь это свинство? Неуважение? Подтяжек нет у него, или, я не знаю...

— Скажи спасибо, что хоть не ухаживали за тобою.

— Этого я не боюсь. У меня своя тактика, вмиг отстанет. Система непонимания. Я не понимаю. Он и то, другое и третье — никакого действия. Не разумею, и все тут. Разозлится, решит: «Дура, от своего счастья бежит», плюнет и отойдет. Так, знаешь, лучше. Меньше врагов наживаешь. Мужчины — тщеславные. Иной до смерти не простит любовного афронта. А так... что с меня взять, если я глупая? Это от бога.

— Но все-таки выдержала до конца сезона?

— Стыдно сбежать было. Самолюбие не пускало. Взялась, думаю, так уж выдержу, дотерплю до конца. Денег у меня нет. Свои, какие взяла в запас, растрынькала.

Пораздавала, поистратила. А сборы плохие. Мое жалованье маленькое, и то платят неаккуратно. Веришь ли? Были дни, на чае и на колбасе сидела. Или — картофель еще. С кильками.

— Маргоша!

— Ну, пожалуйста... Без знаков восклицания. Начнешь причитать, совсем не буду рассказывать ничего. И чай, и селедка — это шелуха, мелочи. Из области физических лишений. Я таких лишений не боюсь. Могу сводить на нет свои потребности. Было бы из-за чего. Плохо другое: не захватила сцена. За шелухой ядра не оказалось. А то бы я все претерпела. Не из-за чего страдать было. Весной к маме в Киев приехала, она так и ахнула. Глаза провалились. Круги синие — в два пальца. Щеки — вот здесь — треугольником. Знаешь, как у стариков? Отрепалась, обносилась вся. Мама стонет, монологи читает. Роман подозревает за мной многотомный. Ты бы, говорит, к доктору по женским болезням? А на кой он мне черт, доктор женский? Меня покормить надо посытнее. Я зимовала с драматической труппой, а мне — доктора? Пока-то откормили. В Алупке уж от морских ванн поправилась.

После купанья Павел Алексеевич был готов раньше Марго. Порядочно времени пришлось прождать ее наверху в аллее.

В своей семье больше всех любил он Марго. Был привязан к ней тепло, снисходительно, скучал, когда не видел долго. Ее аристократически тонкие черты, мальчишески бесшабашные выходки, беззаботное легкомыслие, бросающее точно вызов реальной жизни, все нравилось в ней Павлу. Особенно полусознательный, часто шаржированный юмор ее речи. Когда Марго рассказывала что-нибудь, Павел не переставал улыбаться, хотя бы шел разговор о печальных предметах. Смешно было не то, что говорила она, а то, как произносились ее фразы. Смешили ее шутовские интонации, плутоватые улыбки и подмигиванья, выраженье лица, комические ужимки, гримасы, жесты, ее особый жаргон, свои выдуманные словечки, ее привычка своеобразно поджимать губы, бравировка развязностью, удальское «черт возьми» и «у, дрянь какая».

Марго вышла из купальни с мокрыми волосами, в незастегнутой сзади кофточке, в криво надетой юбке. Мохнатая простыня, белое манто и зеленовато-белый шарф беспорядочно были смяты у нее в руках в один общий комок.

— Павлик! Где ты? Иди сюда. Помоги мне скорее.

Павлик поспешно спустился вниз. Марго свалила свой груз ему на руки.

— На вот это. Неси. Осторожней, не перепачкайся. Манто мокрое. Я уронила в воду. Да застегни мне блузочку. Не умею без горничной, не достать самой сзади. Что ж ты стоишь? Вот, не сообразит. Брось пока. Положи на пол. Ну, застегивай.

Павел застегнул скоро и ловко.

— Павлик? Ах ты, тихоня. Мы о нем: тюлень да моржик... неповоротливый да неуклюжий. А он вон как ловко. Какие крошечные пуговки, и в один секунд. Был в хороших руках, сейчас видно. Обучен.

— Погоди, у тебя юбка набок. Повернись. Еще влево... вот так.

— Но у тебя навык, как у портного? Ба-альшущая, братец, у вас сноровка одевать женщин.

— Вот еще. Стал бы я одевать их. Это потому, что для тебя. И ты — не женщина.

— Не женщина? А кто же я?

— Маргоша.

— Ха-ха... Ну, Павлик, мне есть смертельно хочется. Голодна, как сорок тысяч сестер. Ты покормишь меня? Жюстина и мама завалились спать, блеск глаз своих оберегают. У Арсения еще не встали. Я к тебе на чай, Паоло. Зовешь?

— С восторгом. Но... удобно ли?

— Без «но». Во-первых, мне закон не писан. Во-вторых... с твоей Оксаной я ведь знакома?

— Но, Марго?.. У меня и из мужчин наших никто не бывает, кроме дяди. Ни здесь, ни в городе. Арсений, если мимо проходит, то так на мой домишко глядит, будто там нет ничего, одна воздушная призрачность.

— А мне наплевать. У Арсения свои глаза, у меня свои. Идем. Я есть хочу. И я к тебе, Павлик.

Оксана тревожилась.

Третий раз выносила подогретый самовар на крылечко, а Павла Алексеевича не было с купанья.

— Шляется, прости господи. И чего на ту косу за полторы версты тащиться? Мало ему воды в купальне?

Уже солнце подобрало ночную росу, уже выдвинулось из-за тополей на углу парка, а Павел Алексеевич все не возвращался. Оксана подумывала, не запереть ли дом, не бежать ли на косу? Может, дурно сделалось? Или зацепился за корягу? В Горле коряга на коряге, яма на яме... Но

стыдно было бежать разыскивать. А вдруг он вернется другой дорогой? А вдруг — так себе, шляется, пока не жарко, в поле или над речкою?

Женский смех раздался за площадкой, где росли густо высокие, наполовину одичавшие белые сирени. Смеялся и Павел Алексеевич громко, раскатисто, шаловливо.

Оксана застыла в недоумении.

Женский голос донесся опять:

— Парк, голубчик мой, парк! Я молодею, когда вижу тебя. А Горля? «О, Горля, милая моя, любил ли кто тебя, как я?»

Раньше, чем Оксана сообразила, кто это, Павел Алексеевич и Марго вышли из-за сиреневой площади.

— Оксана,— позвала Марго.— Здравствуйте, Оксана. Узнаете? Не ждали?

— Маргарита Алексеевна?..

Оксана обрадовалась непритворно. Стремглав кинулась по дорожке навстречу.

— Маргарита Алексеевна... Барыня... Откуда вы взялися? Ах, господи. Это вы?

Марго вырвала свою руку, которую хотела поцеловать Оксана. Потом поцеловалась с Оксаной.

— Здравствуйте, Оксана. И пожалуйста, не называйте меня барыней. Терпеть не могу. А откуда взялась? Сейчас с мамой приехала со станции. Павлик водил купать меня. А теперь я страшно есть хочу и пришла...

— Чаю, Оксана. Живо! — повелительно сказал Павел, перебивая сестру.— Тащи все, что есть. Да просуши вот это. Барыня в воду уронила.

— Слушаю.

Через минуту Марго сидела за чайным столом на крылечке.

— Кушай, Маргоша. Пей чай, кофе. Может, шоколад сварить? Будь, как дома. Я сию минуту. Приведу лишь себя в цензурный вид. А то родная мать и та говорит: небритый, нечесаный, на хулигана похож.

— Иди, иди, Павлик. Не стесняйся.

Маргарита Алексеевна с аппетитом закусывала, пила чай из стакана Павла в серебряной подставке. Оксана суетилась возле стола, вынося из дома новые и новые закуски. Она раскраснелась от волненья. Расставляла на столе, что надо и чего не нужно было доставать. Сливки, ром, масло, сыр швейцарский и простой, холодную телятину, еще разные закуски на хрустальных и фарфоровых

тарелочках под стеклянными колпаками. А также горчицу, соль, водку, винные бутылки... Прислуживала усердно, немного робко, сконфуженно.

— Сливочек, Маргарита Алексеевна? Кипяченые... а вот — сырые. Может, простокваши подать?

— Ммм...— мычит с полным ртом Марго и, проглотив ветчину, добавляет: — Не надо. Я не охотница до нее. А я вам кое-что в подарочек привезла, Оксана. Платье. Хорошенькое, сицильеновое. Самое модное. И комнатные туфли из Ялты.

— Спасибо, ба... Маргарита Алексеевна. Всегда вы меня вспомните. Какие добрые, как Павел Алексеевич.

— Ужасно добрые. Оба в равной степени. Ну, что, Оксана? Как дела?

— Да ничего,— грустно опускает глаза Оксана.

— Павел Алексеевич опять потолстел. Нехорошо это.

— От квасу, верно, Маргарита Алексеевна. Пьют, пьют, нельзя удержать. Грушевый все... Ведрами берем из экономии.

— А по ночам спит?

— Мало спят. Как раньше.

— А-а?

Марго делает над своей левой рукой колющий жест, отлично изображающий впрыскиванье из шприца.

Оксана печально и утвердительно кивает головой.

— Нехорошо,— повторяет Маргарита Алексеевна. Она задумчиво глядит на пушистые верхушки белых акаций, обступивших дом и крылечко.

Оксана вздыхает.

Задумчивость уже сбежала с лица Марго. Она коварно улыбается и ставит внезапный вопрос:

— А как у вас насчет маленького? А? Все нету?

Мучительно, до слез багровеет Оксана. Еле в силах она отрицательно качнуть головой.

— И не ожидаете? — прежним эпически спокойным тоном допытывается Марго, пережевывая пирожок с вкусной начинкой.— Тоже нехорошо. Для вас, Оксана. Тогда бы все иначе было.

— Не дает бог, Маргарита Алексеевна.

— Гм... Ну, бог тут ни при чем, кажется.

— Дядя их все женить хотят,— произносит Оксана, будто жалуясь.— Как приедут с креслом, так сейчас женить да женить тебя надо. Других и речей не слышно.

Марго мгновенно вспоминает рассказ матери со слов

Жюстины,— как Оксана говорит, маскируя тревогу: куда ему жениться, такому толстому? Марго хочет утешить Оксану, сказать приятное, доставить радость. Она, оставляя смысл, меняет форму Оксанной надежды. И замечает с непринужденностью, делающей большую честь ее сценическим способностям:

— Куда уж... Где уж его женить, толстяка этакого!

Оксана пунцовеет, расцветает, хочет что-то ответить, но приодевшийся Павел Алексеевич кричит из сеней:

— Оксана. Простокваши!

— Сейчас, барин.

Когда она убегает в ледник, Павел говорит:

— Жулик ты, Маргарита. Тебе бы королевой быть. Обожали бы тебя подданные.

— Что так?

— Как ты ко всякому сердцу подобраться умеешь. И память у тебя — королевская. Когда это было, что она про меня Жюстине сказала? А ты помнишь. Умеешь обласкать. А вот я не умею. Не выходит у меня. Но ты — жулик.

— Нимало не жулик. У меня симпатия к Оксане. Жалко ее, дурочку. На что она жизнь свою кладет? Не стоишь ты, толстый, этого.

Появилась простокваша.

— Ну, рассказывай, Павля, что у вас? — заговорила Марго.— Что лорд Арсений?

— По-старому.

— Тот же режим? То же затворничество? И сам лорд по-прежнему не говорит, а речет?

— Все без перемен.

— Маньяк он, Арсений. Раб своих маний. А она... Ксенаша ваша, превознесенная, хваленая?

— И она все такая же...

— Индюшка?

— Что?

— Понятно, индюшка. Индюшка, индюшка, и не возражай мне, не говори. Ни слова. Как же не индюшка? Так обезличиться? До такой степени подчиниться? Мягкотелость жирной индейки. Ничего больше.

Загремел гром.

— Дождь? — изумился Павел немного натянуто.— Вот те на. И некстати: у Арсения сено в покосах. Какая роса была с утра. Говорят, большая роса — не будет дождика. А дождь настоящий.

Марго выглянула с крылечка в ту сторону, откуда под-

ходила нежданная туча. Дождь сыпался густой, серый, бесшумный. Мягко ударялись капли дождя о мягкие листья акаций.

— Нет, этот дождик пройдет сейчас,— уверенно сказала Марго.— Он недолгий. Набежной. И туча — тоже. Тут есть она, тут не стало. Помнишь, как меня покойная бабушка называла: набежная Маргошка? Смотри, Павел, как красиво. Там, на грядке. Как алмазы,— на листьях настурций. Вода накопится и бух от тяжести. А лист остался сухой, жирный. А вон мелкие капельки... как прыгающий бисер. Будто шарики ртути выскочили из термометра.

— Малышом я любил слизывать такие капли на капустных листах. Там они крупнее.

— Хорошее время было, Павлик. Тебе жаль детства? Мне — ужасно. Арсения дети не пожалеют, как мы. Мудрят, мудрят над ними. Право, лучше не воспитывать вовсе. Как нас выращивали. Неряшливо, бестолочно... А для детей лучше. Росли себе на воле, как горох при дороге, и отлично было. Мама или за границей, или дома, но всегда собой одной занята. У отца — свои дела. Зато у нас — сколько воспоминаний осталось веселых. Помнишь, как мы с тобой разоряли сорочьи гнезда? И ты после дразнил меня, что теперь я навек останусь рябая? Нам было мило наше положение. Нам говорили: ты из Неповоевых, тебе все можно. У Арсения же не так. У него ты из рода славных Азров... значит, как град на верху горы, должен то и это... Его дети возненавидят свое дворянство и самое имя: Неповоев. И все равно не превратятся в английских пэров. Как с ними ни бейся. Главное, фальшь в основе. Неповоевы — вовсе не аристократия. Обыкновеннейшие дворяне. Уездные предводители? Эка важность. Таких семейств, как собак, много.

— Жаргон у тебя, Маргоша.

— Кому не нравится, пусть не целует. Или не слушает. А, гляди, уже просинь на небе? Я права, набежной был дождик. О, я знаток природы... Боже мой, я дома? Какое это приятное сознание. Дома — на целое лето.

— А потом?

— Потом что-нибудь выяснится. Мама зовет жить с нею в Киеве. Но это не подходит. Не уживемся мы, слишком разные. У нее свои фантазии, у меня свои. Я ее стеснять буду. Она теперь увлекалась негром. Всю зиму.

— Как негром? Каким?

— Каким... черным. Не знаешь, какие негры бывают?

Настоящий, как деготь. Из цирка. Со слонами там, что ли... дрессировщик слонов, кажется. Я в пост приехала, он по целым дням у мамы. Жюстина говорит, всю зиму так. Нахал отъявленный. Туп, развязен, держит себя, как дома. И вообрази, мне вдруг вздумал делать умильные глазки? А? Ах, дрянь какая, эфиопская рожа. Я его так проучила... не скоро забудет. А мама с ним возится, как с болячкою. И вообрази...

— Ну, Христос с ним,— морщась, как от дурного запаха, остановил Марго Павел.— С мамой, пожалуй, действительно тебе неудобно.

— Мне не нравится. Одна Жюстина сколько крови испортит. Тоже нахалка у мамы. Бестия большой руки вертит всем домом. Спекулирует на том, что обожает маму. Льстивая — до дерзости. В Алупке, например... уверяет, будто маму за гимназистку приняли. И мама верит. Верит всему, что бы ни сказала Жюстина. Та ее гипнотизирует лестью.

Павел опять поморщился.

— Ты лучше скажи мне: ну, лето пройдет, а потом? Что потом думаешь делать?

— Почем я знаю, что будет потом? Может, виллу свою продам.

— И проживешь деньги?

— Проживу, разумеется.

— А потом?

— Опять потом? Какой несносный. А потом умру, может быть. Не два же века мне жить?

— Ты хуже ребенка, Марго.

— Подумаешь, какой ментор. Тогда видно будет. Что-нибудь да придумаю.

Дней через десять после приезда Марго неповоевская семья вся оказалась в сборе. Прикатил с Беатенберга и Вадим Алексеевич с женою.

Он занял свою половину в отцовском доме. Но так тихо было возле этого дома, что дом и теперь казался необитаемым. Ни детей, ни собак, ни голосов — ничего не слышно. Изредка, подражая Падеревскому, играет Марго Шопена; остерегаясь шуметь, толпятся у бокового крылечка по утрам больные Вадима Алексеевича, ждущие облегченья от его гомеопатических лекарств. В остальное время дом стоит точно покинутый. Белый, с серыми верандами и серыми

жалюзи, одноэтажный, выстроенный покоем, с площадкой и боковыми проездами перед крыльцом,— он больше походит на грандиозный памятник, чем на что-то жилое. Цветут заготовленные с весны клумбы перед верандами, открыты двери и окна, зеленеют в вазах по бокам каменных ступеней крыльца столетние, если не старше, исполинские кактусы, мясисто-сочные, словно обсыпанные бело-зеленой пылью. А все кажется, что в доме никого нет и он лишь прикидывается, будто в нем живут люди.

В честь съехавшихся гостей устроен был пикник на скошенном лугу среди леса над Горлею.

Отправились с утра на целый день. Мягко зеленел заливной луг после сенокоса, как ровно обрезанный, бархатистый ковер зеленой окраски. Дядю доставили в коляске. Остальные приехали на лодках по Горле. Едва причалили к берегу, мужчины с детьми пошли купаться. Луг наполнился раскатами громового голоса Вадима Алексеевича, плеском воды, взвизгиваньями Гори и Славы, с которыми дурачился в реке Вадим Алексеевич, его громким, сочным, довольным смехом:

— Хо-хо-хо...

Дамы размещались поудобней у длинного стола, на пригорке, в тени деревьев. Дядя — весь в белом, с красной бутоньеркой на груди — занял место в центре стола. Рядом с ним — Агриппина Аркадьевна. Она была в ударе сегодня. Ни в лодке, ни на лугу не стихали мелодические переливы ее искусственно звонкого голоска. Шутила, как резвая девочка. И платье было на ней юное, девическое. Полукороткое, беловато-голубое из японского прозрачного шелка с вышитыми букетиками выпукло-синих васильков. Они с дядей и любезничали, и пикировались друг с другом. Зато солидничала Марго — в солидном платье из суровой парусины. Ей не хотелось выделяться своим мальчишеством среди молчаливо скромных невесток. Ксения Викторовна старалась поговорить с каждым ровно столько, сколько требовало приличие. Видимо, была поглощена своими какими-то думами. А Лариса молчала без церемоний, не обращая ни на кого внимания, уставившись в пространство задумчивым невидящим взором. Недаром была захолустной поповной, она не думала о приличиях. Высокая, худощавая, плоская и бледная, гладко причесанная, небрежно одетая, она имела не то нигилистическую, не то разгильдяйскую внешность. Казалось, для нее решительно безразлично, как на нее посмотрят, что будут думать о ней в том

родственно-чуждом обществе, куда она случайно попала. Это равнодушие ей особенно ставили в вину почти все Неповоевы. Из-за него, главным образом, к ней не хотели привыкнуть.

Дядя говорил Агриппине Аркадьевне:

— В том-то и состоит секрет моложавости английской королевы Александры...

В это время за его спиной раздался громоподобный голос Вадима:

— Моложавость не есть молодость, дядюшка! Моложавость — это уже хв'альсификация... Хо-хо-хо...

Мужчины подходили к столу позади Вадима. Голиаф по сложению, мускулистый силач, ширококостный, плотный блондин с красивым, типично русским лицом и чудесными зубами,— Вадим не смеялся, а гремел, не ходил, а тяжко попирал землю.

— Хв'альсификация, дядюшка и мамаша. Хо-хо-хо...

Агриппина Аркадьевна зажала уши.

— Вадим, ради бога... Не труби. Я оглохну.

— Виноват, маменька. Не буду. Никак не могу обуздать свои голосовые средства.

— Лучше бы упражнял их в Думе,— шутливо сказал Павел, подходя разом с Арсением.

— В Думе? В Думе говорить, братья мои, не хот'ца мне что-то. Не могу изнасиловать себя. Да не всем же говорить. Надо кому-нибудь и слушать, братья мои? Я двенадцать тысяч и семь раз имел возможность заговорить. И все...

— Не решался? — подсказал Павел.

— Нет, братья мои. Не не решался, а не хотел. Не находил нужным. А будь воля моя, двенадцать тысяч и семь раз имел возможность.

Повторять «двенадцать тысяч и семь раз» было привычкой Вадима Алексеевича. Так и звали его многие из знакомых: двенадцать тысяч и семь раз.

Расселись вокруг стола с яствами.

Дети с гувернерами и русским учителем в конце стола, немного поодаль. Братья — трое в ряд, визави́ с дамами. Повар и поварята уже суетились за кустами вокруг передвижной плиты, раскаленно шипящей. Лакеи подавали чай, шоколад, кофе и одновременно холодный завтрак.

Арсений Алексеевич сказал Павлу, продолжая недоговоренное раньше.

— Так и не добился ничего. Сколько ни ходил возле него. Никакого личного впечатления и из этой сессии.

— Чудаки вы, братья мои,— спокойно возразил Вадим.— Да что я буду рассказывать? Ведь все в газетах было?.. Дума как Дума. А о моем личном впечатлении... оно то же, что и в прошедшем году. Нудно, братья мои. Толчение воды в ступке. Что она, Дума, сделать может? При существующих беспорядках? Оглянитесь на наш город. Беззаконие на беззаконии, взятка на взятке. Из главенствующих лиц, кажется, один ты ничего не берешь, Арсений. Законы — сами по себе, жизнь — сама по себе. К чему тут Дума? Да еще такая, как она есть? У нас полицмейстер приедет к N. «Я *тысячу* раз говорил тебе, жидовская морда, такой-сякой, то-то и то-то»... Следовательно, надо дать тысячу. И все знают, что надо. И знают, что когда К. он запустил: «Я *пятьсот* раз говорил тебе, собачьему сыну»,— К. сказал: «Ижвините, господин паличмейстер, ви говорили тольки *двести* раз». И дал двести. Так вот, когда жизнь пестрит такими сценками... Когда им уже и не дивится никто,— ты о Думе? Силен ли подъем национального чувства? Солидарно ли дворянство? Каковы мои впечатления? Зачем? Кому они занимательны, впечатления мои? А хочешь знать, я же сказал: мне в Думе нудно. Будто сижу в присяжных заседателях на се-е-еренькой сессии. Дела-то все больше о мелких кражах со взломом. Или на сумму свыше трехсот, но меньше тысячи рублей. И уйти нельзя, и сидеть тошно. Вот как мне там, братья мои, коли знать хотите.

— Ты, верно, сидишь в Думе, а сам все о своей пасеке мечтаешь? — спросила Марго через стол, улыбаясь.

— Ну, не непрерывно. А скучаю. До бесчувствия скучаю. Не об одной пасеке. Вообще. Я там, как в ссылке. Здесь у меня все мое осталось. Тут и с гомеопатией мне раздолье, лечи, сколько хочешь. Не успел приехать, так и повалил народ. И пасека у меня, и купанье. Рыбная ловля, гимнастические упражнения. По вечерам — ракеты. Все мое, самое любимое. А там — чуждо как-то, неприютно. Как подошла весна,— до чего я пасечнику своему, деду Лукашу, завидовал! Ей, право... Что смеетесь, братья мои? Помилуйте, девятого мая там снег еще шел. Зелени — ни намека. Иду я в драповом пальто по своей Фурштадтской и думаю: счастливый, счастливый дед Лукаш! Сидит он хозяином на моей пасеке, и горюшка ему мало. Солнце ему светит, мокрой землей, весною пахнет. Поди, уже и черемухи, и груши у нас отцвели. Пчела небось с яблонь несет хватку. Может, и то отошло уже... До акации дело

доходит... А я в драповом пальто по каменным улицам фланирую. Так-то, братья мои.

— Скучать-то ты скучал... А после Думы не на пасеку свою, а на Беатенберг помчался? — упрекнул Арсений Алексеевич.

Вадим ответил:

— Ларочке захотелось. Я было и согласился. После гляжу: невыдержка, тоска одолевает, тошно. Чего мне тут, на курортниках, думаю. И взмолился рак щучьим голосом: «Ой, до дому!» Уступила сейчас. Женка у меня, спасибо ей, добрая. Сговорчивая. Чего ни попроси, все уважит. А в Думе мне хотя бы о гомеопатии поговорить? Может, удалось бы убедить, хоть немногих. Так и того нельзя. Запечатано. Давши слово, держись, обошел ты меня, Арсюша... Вырвал тогда слово это. У меня уже как раз возник теперь проект...

— Ради создателя, Вадим. О гомеопатии? Да что ты!

— Да я молчу. Я не скажу, не тревожься. Но если бы вернул ты мне слово мое... Проектец знатный, хороший, братья мои. Обучить всех сельских учителей леченью гомеопатией. И затем — преподавать в школах. Чтобы народ имел возможность сам лечиться.

— Не срамись, Вадим. Сделай одолженье.

— Ну-ну... Чего доброго, заплачешь еще? Я же сказал и сдержу слово, если не освободить меня от него. Сдержу. Но это предрассудок у тебя, Арсюша. Предубеждение. Непродуманное. У нас в России современная медицина не в состоянии помогать простому народу. Сами земские врачи признаются. А земства тратят 30—40 процентов своего бюджета на санитарное дело. Что же получается? Игра впустую. Между тем как гомеопатия...

— То же знахарство,— подсказал Павел, грызя в зубах стебелек зеленой зубровки, случайно уцелевшей от косы.

— Зна-хар-ство?

— Само собою.

— Ошибаетесь, Павел Алексеевич. Далеко не знахарство. Основатель гомеопатии, доктор Самуил Ганеман...

— Заметь: еврей был, должно быть?

— Это все равно. Образованнейший человек своего времени. Его признавали огромным авторитетом. Профессор Ведекинд писал о нем: гениальный.

— Когда это было? Сто лет назад.

— Тем лучше. Идея, которая выжила сто лет, это уже не мираж, не заблуждение. Тут уж есть, над чем подумать.

Книга Ганемана «Органон» до сих пор показывает всем, что мы имеем дело с титаном. Так мощно потрясти столпы старой медицины...

Павел Алексеевич рассмеялся.

— Смеяться надо всем нетрудно,— побагровел Вадим.— А излечение по закону подобия признают и сейчас даже многие аллопаты. Как неоспоримый факт. Как результат опытов. Да что. Гениальный Пирогов не расставался с гомеопатической аптечкой, путешествуя по Кавказу. И он же давал совет одному тяжелобольному врачу прибегнуть к гомеопатии.

— Может быть, тому уже больше нечего было посоветовать?

— Ничуть твоя ирония не ядовита. Разумеется, нечего. Ибо только гомеопатия и могла помочь. А с тех пор — какие шаги вперед. Теперь гомеопатия пользуется всеми медицинскими науками, которые стоят на высоте. Отвергает лишь фармакологию да терапию. Но это же науки туманные? Бредущие на ощупь, еще не разработанные? Их негодность признает и сама аллопатия.

— Разве?

— А почитайте Вересаева! Ведь это же полное отчаяние! Полная беспомощность врача перед болезнью. Врач, леча болезнь, разрушает мне организм. В одном месте пытается помочь, в другом портит. Благодарю покорно. Я пришел к тебе в дом оказать помощь. Дать денег взаймы, что ли... И, проходя,— произвел у тебя маленький,— а то и большой,— пожар? Хороша помощь. Не ожидал. Благодарю покорно. Лечение, которое не выдерживает самого основного своего принципа — не вредит больному... оно, по-вашему,— научное?

— Браво, Вадим! — подзадоривающе крикнул через стол дядя.— Да ты оратор? Вот бы так в Думе. Жаль, жаль, что ты связан!

— Но гомеопатия еще менее может претендовать на научность? — скучливо и раздраженно проговорил Арсений.

— Кто тебе сказал? Неправда. Неверно, заблужденье. Косность человеческого ума и натуры. Гомеопатия выжидательный способ лечения. Он зиждется на благотворной, целительной силе природы. Similia similibus curantur. Лечи подобное подобным. Клин клином вышибай, иначе. Выбирай наиболее подобное болезни средство. Потому что самородная болезнь устраняется подобною же болезнью, вызванной

искусственно. Вот и все... Аллопаты сами не вполне знакомы с действием своих лекарств. Еще меньше с истинным значением лечимых симптомов. Гомеопатия же... она знает, что делает. Если я даю больному арнику, ноготок-календулу, ромашку-хамомиллу, то...

— Ты знаешь, что даешь безвреднейшие средства,— опять невозмутимо просуфлировал Павел.

— Восхитительные средства! Их крадет у нас уже и старая медицина. Смеяться легко. А предубежденность говорит о незнакомстве с предметом. Почти всегда... Смех невежды самый неукротимый.

— Как пыл правоверного гомеопата.

— У нас смеются, острословят... А вот в Вашингтоне... где культура — и вы согласитесь, надеюсь? — почище нашей... Так там на открытии памятника Ганеману присутствовал сам президент, Мак-Кинлей. В тысяча девятисотом году. И даже выступил с речью. Да. Там не боятся показаться отсталыми. И Ганеману воздвигнуто еще три памятника. Кроме Вашингтона. В Лейпциге, в Париже и...

— В Кетене,— невинным голоском с дурачливой подобострастностью докончила Марго.

Вадим Алексеевич посмотрел на нее изумленно, одобрительно, полунедоверчиво.

— Ты откуда знаешь?

— Да ты же сам, Вадя, двенадцать тысяч и семь раз говорил...

Все засмеялись. Вадим Алексеевич тоже.

— Вот так всегда,— сказал он потом с укоризной.— В самом серьезном деле все только и ждут у нас смешного коленца. Почему наш народ не может сам лечиться гомеопатией? Только бы немножко подготовить его, и дело в шляпе. Разве те фельдшера, что его лечат, подготовлены серьезно? Я воочию знал одного, который отсыпал лекарства «на глаз расстояния», как он выражался. Восемнадцать гран хины отвалил на один прием беременной бабе! Все на глаз расстояния. И он же говорил: хирургия — моя стихия. Страшно охоч был до операций. Так это, по-вашему, разумная медицинская помощь населению? И не лучше разве вооружить такого гомеопатией?

— Такого-то, пожалуй, лучше,— согласился Павел.— По крайности, вреда не причинит. Если не поможет.

Вадим отходчиво смирился. Он махнул рукой, будто говоря: э, да что с вами! И мощно выкрикнул Славе и Горе:

— А ну, хлопцы! Не пойти ли нам с удочками? Парит,

братцы! Как бы дожж'а не собрался. Самая ловля перед дождиком.

Вадим Алексеевич, стоя возле мальчиков, развязывал удочки.

— Ну, ребята... Вот вам. По удочке и марш. Айда. В ногу. За мною... Левой! Правой! Левой! Та-эк-с. Я одобря-я-яю! А теперь, ну-ка, ребята, трио: ммы-ы-ы...

Мм-мы-ы на-ло-овим для-я ушицы
Зо-ло-ти-истых о-оку-не-ей!

Весело смеясь сверкающими разноцветными глазками, Горя подхватил беззаботно и звонко:

Мы наловим для ушицы
Золотистых окуней...

Слава с удочкой на плече шагал молча, полувопросительно посматривая краешком глаза в непроницаемое на этот раз лицо мистера Артура.

До обеда удачно удили рыбу, купались еще раз, играли на отрастающей бархатистой траве в крокет. И Павел Алексеевич, привыкший к метким бильярдным ударам, загонял бог знает куда чужие шары, выигрывал все партии.

Обедали очень долго. Дольше, чем обыкновенно. Ели полевой кулеш с дичью, шашлык, карасей в сметане, уху из рыбы, пойманной на удочки! И еще много блюд, приготовленных не здесь, среди леса, а доставленных сюда уже готовыми. За десертом Вадим Алексеевич жаловался, что у него болят от еды челюсти и жевательные мышцы. Но и после того и он, и другие еще долго сидели за столом, пили черный кофе с ликером.

Вадим говорил, говорил, говорил. Точно хотел вознаградить себя за все петербургское молчанье. Его остроты и шутки были избитые, общеизвестные, но сыпались они как из рога изобилия, и Вадим Алексеевич смеялся первым над ними. Вроде: «Ваше звание, сударь?» — «Высочайше утвержденного общества Санкт-Петербургских железных дорог империальный пассажир».

Или еще:

— Беседуют двое, оба на взводе. Один — идеалист, другой — человек земных настроений, без лишних иллюзий! Первый напевает, сентиментально убеждая второго: «На заре ты ее не буди!» А второй, в ответ, несколько придирчиво: «П-п-почему?» — «На заре она сладко так спит!» —

«Ну, так что ж?» — «Утро дышит у ней на груди!» — «На-а-аплевать!»

— Ой, Вадя! — кричит Марго умоляюще.— Двенадцать тысяч и семь лет этому твоему дуэту.

Но Вадим неуязвим. Он говорит невозмутимо:

— Что за беда? Хорошую вещь и повторить можно.

— Я знаю иначе,— подхватывает игриво дядя.— Хорошую вещь и посмотреть не грех. Архиерей... На вечернем торжестве каком-то... Возле сильно декольтированной губернаторши.

— Эээ... ну...

— Дядя, дядя... Это не при детях. Здесь — дети,— смеется Марго.

— И дамы,— сурово напоминает Арсений.

— Э, молчу, молчу.

Обед кончен.

Перед вечером собирали в лесу для костров дрова. Лакеи свалили собранный хворост в кучу, подбавили сухих березовых и дубовых привезенных из дому дров, и на лугу запламенели с приятным треском огромные костры.

Monsieur Жюль Козе вызвался показать Ивана «Купаля». И перепрыгнул с разбега самый обширный из костров. Ему единодушно зааплодировали. Но прыгать через огонь не нашлось больше охотников. Затеяли игры с участием мальчиков и гувернеров. Играли в кошки-мышки, в подбрасыванье платка, в колечко, наконец, в горелки. Бегали все, кроме дяди и Агриппины Аркадьевны. Агриппина Аркадьевна много раз объясняла, что она разучилась бегать.

— Совсем, совсем разучилась. Потом так мускулы болят. Не поднять вверх ни ноги, ни колена. Вот этого движения никак потом не сделать.

Она шаловливо показала перед французом Козе, какого именно движения. Француз сделал соболезнующую мину, а дядя ехидно повел глазами и сказал кротко, будто покоряясь велениям судьбы:

— Мы с вами уж посидим, дорогая. Куда уж нам, старикам, бегать? Кости-то уже хрупкие. Того и гляди, ногу сломишь.

Агриппина Аркадьевна сжала зубки, но села.

У Павла Алексеевича Слава поймал его даму, Ларису Андреевну. Павлу пришлось гореть.

Бежала очередная пара, Ксения Викторовна и Арсений. Несмотря на излишек полноты, Павел бегал, как и танцевал, легко и быстро. Он погнался за Арсением. Но у сухо-

щавого Арсения оказались юношески-крепкие ноги. Он ловко ускользнул из рук Павла, значительно опередил его и повернул назад, стремясь навстречу отставшей Ксении. Тут только заметил Павел, что Ксения Викторовна отстала, что бежит она плохо, нетвердо, неуверенно. Павел, сделав поворот, отрезал путь к ней Арсению. Через минуту Ксения Викторовна в руках у Павла, ее голова слегка ударяется о его грудь. Всю ее Павел ощущает так близко. И эта близость сжигает его сознание. Подкашиваются ноги, исчезает дыхание. Горячая, блаженно-сладостная, отважная до дерзости волна подхватывает Павла и увлекает куда-то глубоко в пропасть, минуя все препоны сознания, парализуя задерживающие центры. Павел стремительно сжимает обеими руками свою добычу. Он чуть не падает с ног, увлекая за собою и Ксению Викторовну. Томительная, годами назревавшая в нем потребность в близости именно этой, а не другой женщины — затемняет все. Но это длится момент, не более. Сознание вспыхивает с обостренной силой. Павел выпустил из рук Ксению Викторовну: он переполнен тревогой и опасением: не заметили ли? С тревогой в глазах оборачивается он к подбегающему Арсению. Тот спокоен, в хорошем настроении, доволен своим уменьем бегать.

— Что? Поймал меня, толстый? Туда же гнался... Вот Ксенаша — скороход по твоим силам.

Прошло, миновало. Никто не заметил.

Павел Алексеевич смелее взглядывает на Ксению. Она безмятежна и чуть рассеянна. Ей не то нездоровится, не то скучно среди этой беготни и шума. Бледна, немного вяла, чем-то озабочена.

В паре с Ксенией Викторовной и опять вблизи нее Павел до того волнуется, что ему трудно дышать. Теперь Ксения Викторовна примечает это, но говорит утомленно:

— Как вы запыхались. Вам вредно бегать.

Павлу неприятны ее слова. Инстинктивно ему хочется, чтобы Ксения Викторовна считала его гигантски мощным, несокрушимым, полным энергии и силы.

Горит Арсений и сейчас же ловит проворного, как зайчик, Горю.

— Папа? Вот молодец! — увлекшись, кричит разгоряченный игрою Горя.— Вот хорошо бегаешь.

Гореть остается monsieur Жюль Козе. Он пропускает несколько пар. Будто умышленно никого не ловит, будто поджидает кого-то. Снова пора бежать Павлу и Ксении

Викторовне. Козе погнался за Ксенией, но не настиг ее, хотя настигнуть было легко. Опять Ксения Викторовна в объятиях Павла, опять горячая волна заливает его сознание. И так же быстро, как налетела, уступает очередь отливу. Не успевают Ксения и Павел стать на свое место, как Козе уже поймал быстроногую Марго, разъединив ее с мистером Артуром.

Ксения, увидев, что горит Артур, сдвигает брови и говорит Павлу:

— Я устала. Отведите меня незаметно в сторону. Не хочу больше играть.

«Словно испугалась англичанина? Или не хочет, чтобы он поймал ее?» — бегло подмечает Павел. Но ему некогда задерживаться на этой мысли.

Несколько шагов, и они за густым терновником, позади играющих в горелки, на извилистой лесной дорожке, что спускается вниз к речке.

— Я сяду,— говорит Ксения Викторовна.— Не могу идти. Дрожат ноги.

Павел усаживает ее тут же на дорожке, у кустов лесной калины. И сам опускается на траву рядом с Ксенией.

С поляны несутся взвизгивающие голоса. Выделяется пискливый тенорок Жюля. Потрескивают костры. Дядя чему-то громко смеется, насмешливо и злорадно. Горя кричит возбужденно:

— Дядя Вадя... а фейерверки? Скоро ракеты?

Вадим Алексеевич басит в ответ:

— Подожди, брат. Пусть стемнеет. Какие же фейерверки среди дня?

— А римские свечи будут? А звезды Неповоевки?

— Будет, будет. Все будет. И звезду Неповоевки сожжем. Погоди ужо, не горячись.

Еще день, но солнце за облаками. Побледнела речка, темнее кажется зелень дубов. Под кустами калины у заросшей дорожки пахнет чебрецом, раздавленным под ногами. Цапля прокричала где-то вверху, как капризный ребенок. В воздухе — запах земли, остывающей от солнечного жара.

Павел не отводит испуганного взгляда от побледневшего лица Ксении Викторовны. Но той горячей, сжигающей сознания волны уже нет, несмотря на близость Ксении Викторовны, несмотря на то, что они одни. Теперь Павел и сам опасается, как бы не налетело недавно пылавшее ощущение: наедине с нею труднее овладеть собой, легче забыть-

ся, прорваться. И ей, Ксении, легче заметить все, что осталось незамеченным там, в толпе играющих. Да и здесь она как бы под опекой Павла. Павел спрашивает заботливо и пугливо:

— Вы устали, Ксения Викторовна?

Ксения отвечает с усилием:

— Устала. Очень устала. Нехорошо мне сегодня. Не следовало бегать. Я так ослабела.

— Нехорошо? — повторяет Павел, бессознательно вкладывая в свой вопрос много нежности, тревожной заботы, любовного опасения.

Ксения Викторовна утомленно вздыхает.

— Вам нездоровится? Вы больны? — настойчиво добивается ответа Павел.

— Да... вроде того. Хотя... может быть, пройдет.

В ее тоне что-то необычайное. И сердитое, и испуганное одновременно.

Павел не понимает. Он смотрит вопросительно-удивленными глазами. Ксения Викторовна добавляет, не доканчивая:

— Я боюсь...

— Боитесь? Чего?

— У меня какое-то непонятное предчувствие. Все время. С весны еще. Все кажется, будто я умру скоро Вот, вот, вот... и меня не станет.

— Бог с вами! Вам умирать? Вам?!

Голос Павла, сорвавшись, доходит до шепота. Дрожит рука, которой он упирается о землю. В волненье он не знает, что сказать.

— Если вам умирать, вам, полной сил, в расцвете...— говорит он наконец,— кому же жить после того? Тогда таким ненужным тунеядцам, как я, например... живьем, значит, ложиться в землю?

Помолчали. Ксения Викторовна покачала головой.

— А кому я нужна? — произнесла она и докончила с несознаваемой жестокостью: — Тоже никому.

Павлу мучительно хотелось крикнуть: «Мне!» И потом сказать ей что-то необычайно нежное, задушевно-теплое, нечто такое, что защитило бы, согрело и утешило эту суеверную женщину среди ее тоскливых предчувствий.

Но опять у него не хватало слов, опять он молчал. А Ксения Викторовна повторила:

— Тоже никому. Дети? Они и при мне без меня живут. Арсений?.. Поплакал бы сперва, зато после... потом ему без

меня будет покойнее. А для себя самой? Для себя хорошо жить, когда есть счастье. Или кажется, что оно будет, что оно еще может быть.

Она не договорила, испугавшись сказать лишнее.

— А все же страшно. Пугает... Я боюсь. Как представлю себе, что никогда не увижу Гори. Не увижу аистов весною. Не услышу музыки, шума деревьев. Много и важного и мелочного приходит на мысль. Но главное, что все исчезнет. Для меня исчезнет. Самое страшное в слове «никогда» Что я никогда не увижу, не услышу, не буду ощущать, чувствовать, что я исчезну. Перед этим сознаешь себя такой побежденной, такой бессильной. И такой протест закипает против этой побежденности. Так хочется бороться, осилить А понимаешь, что нельзя, что не в твоей воле. Нет я боюсь... Страшно!

— Да что вы, Ксения Викторовна,— остановил ее Павел, уже рассердившись.— Этак забрать себе в голову.. так и в самом деле доведешь себя...

— Но это же извне, независимо от меня,— ответила она более спокойно.— Ничего я не забирала в голову. Напротив. Мне самой страшно. Я ведь вовсе не желаю... Я боюсь умирать.

— А я нет,— вырвалось у Павла.— Может быть, оттого, что это всегда в моей воле.

— В вашей воле? Как?

— Ну, как... Как у всякого. Каждый может, когда захочет...

— Аа... вы про это.

— А разве нет?

— Нет, не каждый. Я бы не решилась — первая. Добровольно? Нет, никогда. Как бы плохо мне ни было. Все перенесла бы... Но это? Нет. И многие не смогли бы. А вы?

— Думаю, что смог бы. Если бы жизнь стала совсем невмоготу. Или если несчастье... Большое, непоправимое, которое нестерпимо больно и не к чему нести. Тогда бы..

— И вам не страшно? Даже говорить? Даже думать?

— Наоборот. Приятно. Приятно сознавать себя хозяином над собой же. Думать, что вот... один лишний укол моего шприца и я освобождаюсь.

— Но от чего?

— От всего. От плохого, от хорошего, от...

— Но и плохое, и хорошее, оно проходит. Может возвратиться, опять пройдет. Оно изменяется, теряет значение, оставляет надежды. А тут: никогда.

— Но это же закон природы, Ксения Викторовна!

— То-то и страшно. То-то и пугает, что неотвратимо. Я как подумаю, что вы все останетесь... будете жить, играть в горелки, смеяться, а я... там... одна? Что я буду уничтожена... что меня похоронят. Одна — в этом склепе? О-о!

— Ну, хорошо,— полушутя сказал Павел,— даю вам слово переселиться к вам в склеп. Чтобы не оставлять вас одну. Вас это утешает? Хоть немного? Если да — я готов. Уж коль вам умирать... матери детей, молодой, сильной,— такой бездельник, как я, не имеет права жить. Никакого. Лягу и я подле вас костьми. Обновим склеп вместе.

Ксении показалось это неправдоподобным. Она улыбнулась.

— Раньше вашего срока не ляжете,— пошутила и она.— Небось не захочется. И смотрите... вдруг я явлюсь тогда в фосфорическом свете и скажу: «Павел! А помнишь? Павел! Помнишь твое обещание?»

— Я и без напоминанья не забуду.

— Но срок, срок?..

— Его можно ускорить. У меня, в аптеке моей, есть ценное снадобье. Кураре называется. Когда я гляжу на него, мне нравится думать: вот захочу... и всему конец!

Ксения Викторовна повела плечами, содрогаясь.

— Сильное оно? Снадобье ваше?

— О, очень! Растительный яд. Из коры одного растения, сейчас забыл названье. Чрезвычайно быстро всасывается из подкожной клетчатки. Достаточно помазать им ничтожную царапину, и человека нет. Паралич дыхания. Ценно, что чрезвычайно быстро. Не успеешь оглянуться...

— Это страшно, а не ценно,— вздрогнула опять Ксения.— К чему вы держите такие средства? Может подвернуться минута слабости, уныния. И вдруг после захочется назад? А уже будет поздно...

— Ну что ж? Тогда несколько ужасных мгновений. Но коротких, весьма коротких. А вернее всего, не успеешь подумать о возврате. Но даже в случае малодушия нельзя ничего предпринять. Концу предшествует паралич. Полная недвижимость. Значит...

Он хотел еще что-то добавить, но из-за калиновых кустов, чуть не вплотную наскочил на него Арсений.

— Ты? — крикнул Арсений Ксении Викторовне озлобленно.— Ты уже здесь? И Павел? А где же он?

— Кто?!

Ксения Викторовна надменно повысила голос. Глянула, будто прокричала: «Мы не одни, опомнись!»

Глаза Арсения блуждали. Крепко сжатые челюсти двигались ускоренно. У него было растерянное, бледное лицо, трясущиеся губы.

Локализируя вспышку, Павел заговорил недальновидно и благодушно:

— Ксения Викторовна устала бегать. Сказала мне неприметно увести ее. Я уж боялся, не сделалось бы дурно, до того побледнела. К счастью, прошло скоро.

— Вы здесь... все время были? — спросил Арсений виновато стихшим и уже ласковым голосом.

— Ну, да... а где ж? Говорю же: нехорошо Ксении Викторовне стало.

— А я пошел... Артура искать,— начал объяснять, путаясь, Арсений.— Исчезли вы с Ксенашей, Артур и Марго. Я думал, Ксенаша, ты и Марго вместе, а Артур, думаю, как заблудится один в лесу...

Ксения Викторовна устало, с отвращением откинула назад голову, закрыв глаза.

Павел помог ей подняться с земли. Ксения Викторовна взяла его под руку и медленно пошла к поляне, не взглянув на Арсения.

На лугу догорали костры.

Поляна посерела, хотя до ночи еще было далеко. На потемневшем небе, быстро поднимаясь вверх, плыли с запада широкие, дымные тучи, постоянно меняя очертания. Будто струйки дыма расстилались от них по серому небу. Особенно от тех клочков, что отрывались от той темной массы, не поспевая за нею. Надвигалась буря. На поляне зашумели, засуетились, забегали: начали спешно собираться домой, пока не хлынул дождь. Марго, мистер Артур и Горя катались на лодке; они чуть не опоздали, но все же явились вовремя. Дядю, Агриппину Аркадьевну и мальчиков отправили в дядиной коляске. Остальным опять пришлось разместиться в лодках.

Вадим гнал против течения большую лодку с непостижимой быстротой. Но лодку нагоняла из-за леса сизо-синяя туча, и всем казалось, что подвигаются вперед слишком медленно. Вот уже шумит за лесом и близится к реке, шелестя деревьями, ветер. Рябь пошла по воде. Галки перепуганно сорвались с выбранных на ночь мест, понеслись в сторону подальше от тучи. Цапля прокричала, как больное дитя, и вышла на самый берег песчаного откоса. Остано-

вилась в тревоге у зарослей лозняка — тонконогая, с длиннейшей шеей, с искривленным, будто высушенным нарочно тельцем, несуразная до забавного, вернее — до отвращения. Постояла, неуклюже приподнялась кверху и полетела вдаль, тяжело взмахивая крыльями, слишком большими по ее тощему корпусу.

Ветер сносил лодку. Трудно было грести даже Вадиму Алексеевичу. Ему на подмогу сел на весла Павел.

Он мерно взмахивал веслами, а сам, как замагниченный, все притягивался взглядом к Ксении Викторовне. Не выходили из памяти ее слова о предчувствиях близкой смерти Павел тревожился. Что-то щемило и теснило внутри груди Словно вкладывали под грудную доску металлическую пластинку и нажимали ею, налегая на сердце.

Ксения Викторовна сидела, задумавшись, устало опустив голову, обвитую палевым шарфом.

И лицо ее, и поза, казалось, говорили Павлу:

— Ну, да, я больна, я умру... уже умираю. И как вы все не видите этого?

Туча расстроила пикник, но не оправдала опасений. Пронеслась мимо, не разразившись дождем. Вечер наступил без росы, сухой и душный.

Вадим Алексеевич долго не ложился спать. Заготовлял порошки гомеопатических лекарств к завтрашнему утру. Не докончив работы, он вышел на веранду освежиться.

Ночь спустилась над парком, темная и звездная. Душно было под деревьями в ночном сумраке. С прудов чуть несло сыростью, еле уловимым запахом тления. А ближе, кругом веранды пахло резедой и ночными цветами, пряной маттиолой, душистым табаком, ночной красавицей.

Стояла июльская тишина. Лишь уверенно и неугомонно трещали в поднявшейся отаве кузнечики. На противоположном крыле дома погас свет в окнах Агриппины Аркадьевны. У Марго еще горел зеленый фонарик. Подражая Падеревскому, Марго негромко играла что-то лирическое. Но вот музыка стихла, исчез бледный свет и в этих окнах. Темнота сгустилась, зеленовато вспыхивают и погасают светляки. То на газоне возле грядок с цветами, то в центре газона, где темнеет раскидистая муза с сочными листьями, то сбоку в траве, под деревцами штамбовой сирени. Пробили часы на колокольне, громче и громче звенят кузнечики. Вадим Алексеевич аппетитно зевнул, но не успел докончить зевка

— Вадим, ты не спишь?

Лариса Андреевна выделилась из темноты из-за угла веранды, спросила застенчиво, замялась, будто ожидая приглашения.

— Ты гуляешь? А я хотел попросить тебя помочь мне здесь с порошками. Да подумал, небось легла уже. Побоялся беспокоить.

— К тебе можно?

— Почему нельзя? Если я ничем не занят? Сижу и звезды считаю. Возился, возился с порошками, до того устал, даже голова вспотела. А ночи какие: сухие, теплые, настоящие летние. Э-эх, подвела нас зря эта буря сегодня. Даром мои фейерверки на луг прокатились.

Лариса Андреевна молча взошла по ступеням. Молча прислонилась к деревянной колонке веранды.

— Вадя...

Затем повторила громче:

— Вадим... слушай, Вадим.

Голос ее был ровный, обычный, по-видимому, спокойный. Но Вадим Алексеевич, зная ее, понял, что она чем-то взволнована.

— Ну, что там? Опять показалось что-то? Взглянул кто-нибудь косо? Или еще что? Ну, что приключилось? Да что с тобой? Ларочка?

— Я хотела тебе сказать... Отпусти меня, Вадим. Я уйду.

— Уйдешь? Куда? Что ты хочешь сказать, я не понимаю. Куда уйдешь?

— Не знаю. Куда-нибудь, но уйду от тебя. Совсем. Как Марго ушла от мужа.

Вадим Алексеевич опешил. Лицо его, освещенное лампой сквозь окно кабинета, отразило испуг, досаду, опасенье. Лариса Андреевна оставалась в полутени за колонкой.

— Господь с тобой, Лара. Что это ты вдруг?

— Я не вдруг. Я давно, уже давно думаю. И в Петербурге, и за границей. А здесь, когда я здесь, среди твоих... не перестаю думать только про это. Лишняя я среди них, чужая. На каждом шагу дают мне понять: ты не наша. Игнорируют, не примечают. Кроме Ксении Викторовны, никто говорить не хочет. Да и та из вежливости. А ты смотришь, будто так и быть должно. Бог с вами со всеми. Унизительно жить среди вас. И хуже всего, что ты не любишь меня вовсе. Тоже не примечаешь. Будто нет меня.

— Я? Ларочка... я не люблю?

— Не оправдывайся. Не поверю. Женился, жалеючи, любить никогда не любил. Мне давно хочется освободить тебя. Уйти, развязать тебе руки.

Лариса Андреевна не плакала, не повышала голоса. Но, зная ее, Вадим понимал, что это прямолинейное существо легко осуществит свою угрозу. Уйдет из-за ничего, из-за того, что показалось что-то. Разобьет жизнь и ему, и себе, себе — непоправимо. Его испугало это.

— Но... Лара? — сказал он, взвешивая каждое слово.— Чего ты хочешь, я не понимаю? Чтобы я пылал? Становился на колени? Говорил: «Я обожа-ю»? Я не умею этого. Должно быть, родился уж таков. С холодком по этой части. Никогда не пылал, не сумасбродствовал из-за женщины.

— Никогда? — подозрительно спросила Лариса.

— Даю тебе слово. В юности, кадетом еще, в тетку был влюблен. Но это так... идеальное. Она и не знала даже. Потом были связи с женщинами. Разные... Но я ни разу не вкладывал в них души своей. Не пытался опоэтизировать, смотрел, как на прозу. Ты мне понравилась; больше всех других пришлась по характеру. На тебе я и женился.

— Понравилась ли? Вот что неправдоподобно. Некрасивая я... Невоспитанна. Болезненная, пресная. Дядюшка твой называет меня пресной. Это правда. Чем же я понравилась тебе? Из великодушия женился. Увидел, что не за свое дело взялась я, со сценой этой. Что растерялась, не знаю, как быть. Пожалел и решил: спасу ее.

— Ну, что говорить пустое? Нравится то, что нравится. А чем? Отчего? Почем я знаю? Я о женитьбе со страхом думал. С трепетом. Как начали все в уши жужжать: пора, пора жениться, женись на ком-нибудь подходящем. Я молчу, а сам помышляю со скорбью: боже мой, боже мой... да эта «подходящая» ночь и день надо мной трунить будет? Снисходительно, покровительственным тоном, как все родичи мои кровные? Надо мной, над гомеопатией моей, над всем, что мне мило. И придется всю жизнь терпеть и переносить у себя под боком постоянного критика? Да на что мне испытание это? Да ни за что не женюсь, думаю. А тут ты... В гомеопатию поверила, и вижу я, душа человек. Я и женился. И вот, сколько времени... до сих пор не пожалел ни разу. Жена и товарищ хороший. А ты-то, оказывается, недовольна. Ты вон что напустила на себя. Уходить да развязывать руки. К чему? Оставь, Ларочка, не порти себе жизнь выдумками. Кто тебе сказал, что я хотел бы развязать свои руки? Не верь. Глупости. Двенадцать ты-

сяч и семь раз повторю: глупости. У тебя расстроились нервы. И в этом я повинен. Не надо было тащить тебя в Неповоевку. Знаю ведь, что к тебе здесь плохо относятся... что не по душе тебе тут. А потащил, ради своего удовольствия. Но соскучился же я свирепо.

— Да нет, совсем не то. Я и там, на Беатенберге, чувствовала себя премерзко. Даже рада была уехать. Языков не знаю. Тоска. Одурь голову берет, не нахожу себе места. Погляжу на женщин: красивые, расфуфыренные, стильные. Чучело я чучелом перед ними. И все про тебя думаю: он тоже красивый, здоровый, богатый. Не по себе жену взял. Развязать бы ему руки, как бы он воспрянул. Любил бы этих красивых, занимательных или женился бы, как Арсений, на богатой, на красавице. А я пресная, повисла камнем на шее, отравляю ему жизнь, связываю...

— Лара. Если ты еще раз повторишь когда-нибудь эти глупости, прибью! Ей-слово, прибью. Слышишь? На чертей мне какие-то там вертихвостки курортные? Я их и смолоду избегал. С ними свяжись только... Сам не рад будешь... Я, можно сказать, ни сном ни духом. А у нее — вон какие мысли!

— Но если печет меня... огнем печет это?

— Да что, собственно?

— Что я не пара тебе...

— Плюнь. Глупости. Выдумки. Это называется, высасывать из собственного пальца горести.

— Не говори, не говори. Теперь я поняла одну вещь. Знаешь, мой папаша... он — старенький, слободской священник. Из старинных батюшек. Необразованный. Заговаривает ветер при пожаре и сам верит в это. Но умный он. Детской доброты человек, и жизнь знает... Ох, как знает. Насмотрелся. Так он все говорил старшей сестре, когда та замуж за офицера хотела идти: «Ой, Маша, руби дерево по себе. Нехорошо не по себе рубить. И срубишь, а не потащишь». Теперь я поняла, что это значит. Маша-то послушалась, а я не по себе срубила.

— Выбрось из головы, Ларочка. Сделай мне такое одолженье. Ну, чего тебе хочется? Чтобы я на коленях перед тобою стоял? Изволь. Стану.

Лариса Андреевна испугалась.

— Не надо, не надо. Утешил и без того. Спасибо, милый.

— Слава богу. Укротил строптивую. Спать пора, Лара. И не создавай, пожалуйста, себе ужасов. А завтра встань

и ты пораньше. Поможешь мне с порошками управиться. С утра, чуть свет, больные. Тех, что я заготовил, никак не хватит. Нет ни хинина, ни арники, ни нуксвомики. Ничего не осталось. Еще я обещал от запоя одной бабе средство. Для мужа ее. Впрочем, то я сам приготовлю. Ты хинином да арникой займись. Чтобы побольше. Как можно больше арники и хинина.

Летние дни побежали на убыль, но лето не сдавалось. Отошла торопливая жатва, за ней возовица. Уже заблестели отчищенной сталью плуги у сжатых полос. Начала краснеть отцветающая гречиха, позднее просо с махровыми венчиками и то отдавало желтизной. В поле оставались зелеными лишь высокие конопляники с ровными и пышными, зелено-темными стволами.

Наступили засушливые дни, дремотно и знойно стало в лесу, в деревне и в поле, накаленная земля пылала под ногами. По проезжим дорогам подолгу стояли недвижимо облака тонкой пыли, если кто проезжал днем или ночью. Но как весною, было влажно и зелено в молодом неповоевском парке. Там журчали фонтаны, шла усиленная поливка, без устали работали водопроводные рукава, обильно разливая речную воду. И как весной, цвели куртины, ярко зеленели газоны, разрастались молодые деревца.

Зато, будто в предчувствии осени, затихла жизнь в неповоевских усадьбах.

Ксения Викторовна недомогала.

За обедом чаще и чаще занимала ее место Агриппина Аркадьевна. Арсений Алексеевич по горло был занят хозяйством. А за обедом сидел, покусывая губы, сумрачный, затихший, озабоченный. Его молчание и угрюмый вид угнетающе действовали на остальных. Все тоже молчали, даже болтливый Вадим, даже дядя. Потом Арсений заговорил открыто, что Ксения Викторовна больна. Какое-то женское недомоганье. Может быть, потребуется маленькая операция. И торопливо собрался с Ксенией Викторовной в Х.— ближайший университетский город.

После их отъезда — в тот же день — Павел шел с Марго за парком в поле. Надвигался безлунный вечер. На западе светлело небо, едва тронутое отсветом давно погоревшей зари. Вечерний свет был тусклый, серовато-бледный. Марго и Павел переходили через крестьянский выпас. Над землей едва зеленела пыльная, съеденная до корней трава. Подни-

мался повыше лишь горький, низкорослый полынок, да высились кое-где колючие репейники с бураково-красными, склоненными цветами. Темнел на краю поля парк, густой, отсюда будто таинственный; отчетливо выделялись на его опушке высокие тополя. С другой стороны — поближе к полю — дремала деревня. На крышах многих изб стояли выводками аисты. Уже тесно стало в гнездах выросшим детенышам, и старики, и дети ночевали, стоя на постройках или на голых ветвях усыхающих деревьев. На фоне светлого неба аисты выделялись над крышами, как бы повиснув в воздухе, их высоких ног не видно было издали.

Павел Алексеевич опечаленно молчал. Молчалива была и Марго сегодня.

Нежданно скатился метеор из-под потемневшего облака, как из-под приподнятой занавески. И полетел вниз, не дугой, а прямо — яркий, бело-блестящий, словно частица восхитительного фейерверка.

— Гляди, гляди,— заторопила Павла Марго.— Как красиво. Видел?

— Видел,— нехотя ответил Павел, думая о другом. Марго затихла опять.

Не скоро, долго помолчавши, она заговорила про то, о чем думали оба, но каждый по-своему.

— Боязно за Ксению Викторовну. Выдержит ли?

— И ты боишься? — изумился Павел.— Я тоже.

— Так и ты знаешь?

— Что у нее нехорошие предчувствия? Еще бы. Сколько раз толковала.

— Начнешь предчувствовать... поневоле. Который раз уже! Страшно, что так часто. Какой Арсений жестокий. Ведь это он все. По его настоянию.

— Что ты говоришь такое? — погасшим голосом переспросил Павел, осененный догадкой, еще смутной.— Что часто? И что «который раз»? О чем ты?

— Я? Я... ну, об операциях... Да полно, Павел. Разве не знаешь?

— Не знаю... то есть... не знал. До сих пор не знал.

— Ну, что это, какой недогадливый. Точно младенец. Или с неба свалился?

— Кто же тебе сказал?

— Никто. Разве эти вещи говорят? Само самой узнается. Никто не говорил, а все знают. Как про твой мышьяк. Или о ревности Арсения. Арсений не хочет больше детей. Чтобы не делить Неповоевки. Ну, и... ну, и ясно.

— Вот что.

Павел, сняв шляпу, вытер платком вдруг вспотевший лоб свой.

— Да ты, в самом деле, не знал? — удивилась Марго, мельком глянув на него, и поспешно отвела глаза вдаль, к горизонту.

Он признался растерянно еще раз:

— Не знал.

— И чудной же ты. Так ясно, и не догадаться. Мне жаль ее. Хотя злит меня, что она до такой степени индюшка. А, черт возьми! Как можно быть такою? Так подчиняться? Ну, попадись он мне в мужья, я бы ему показала! Пусть бы он со мной поговорил про операции эти... попомнил бы на долгое время. А она — кисель. Как воск, что захочешь, то и вылепишь из нее.

Павел, шатаясь, еле держался на ногах.

— Но... как же Арсений? — едва шевеля губами, выговорил он.— Ведь любит же он ее?

— Любит ее... а свои фантазии еще больше. И раз не встречает отпора... Что с тобой, Павлик? Павел, на тебе лица нет? Тебе дурно? Сядем скорей, сюда к канаве... Отдохни минутку, Павел!

Шаги Павла замедлялись, слабели. Он не садился, а клонился к земле. Марго понимала, что не сможет удержать это грузное обессилевшее тело, и пугалась еще больше. Но все же ей удалось не уронить, а посадить Павла, хотя и с большим напряжением.

— Павел, ты слышишь меня? Павлик!

Павел не откликался.

Лицо его не побледнело, а позеленело: губы белые, глаза ввалились, полузакрыты, щеки осунулись, будто вмиг похудели.

Он все слышит. Догадывается, что сидят они на траве у конопляника над межевой канавкой, что Марго очень испугана. Но в глазах у него темно, он ничего не видит, не может ответить Марго, чтобы ее успокоить. Наконец он произносит, делая неимоверное усилие над собою:

— Ни... ни-че-го. Сейч... час... Сейчас пройдет.

И в самом деле, ему уже лучше.

— Обопрись на меня, Павлик. Тебе тошно? Кружится голова?

— Ничего, ничего... прошло уже.

Землисто-серое лицо Павла принимает живой оттенок. Не поднимая с плеча Марго головы, он испытующе-при-

стально заглядывает ей в глаза. Словно спрашивает:

— Ты поняла? Догадалась?

Марго выдерживает этот взгляд непринужденно.

— Нет, не догадалась,— отвечают ее глаза. Она смотрит открыто, но чуточку непонятливо, как глядят иногда актрисы в ролях невинных инженю. Затем говорит озабоченно, но недогадливо:

— Сердце, сударь, у вас не в порядке. Оно, оно... Ни с того ни с сего дурнота, обмороки. Понятно, сердце. Толстей да пей квасу больше. Не то еще будет. Так не беречь себя!.. А! Черт возьми!..

В вечерних сумерках Павел присматривается к Марго, не мигая. Но ничего нельзя прочесть на ее всегда выразительном и подвижном лице. На нем выражение непонятливости — и только. Если и догадалась, то не хочет показать, что поняла.

— Ну, ну, не ворчи, Маргоша. Уже ничего, прошло уже. Можно идти, если хочешь.

Павел приподнялся с земли.

— Нет, посидим. Отдохнем еще, и я устала. Видишь, Павлик, нажил-таки болезнь сердца? Это — квас твой.

— Квас — своим чередом, а и взволновался я... от того, что ты рассказала,— признается Павел, отважно подходя к истине, чтобы затушевать ее.— Ведь это возмутительно. И для меня новость, я не знал. Не допустил бы мысли, что Арсений...

— До такой степени эгоист?

— Вот именно.

— У-у... Дай ему только волю. А скажите, сударь, давно у вас с сердцем это? И часто обмороки?

— Зачем часто? Очень изредка, хотя давненько.

— Тебе лечить надо сердце. Поезжай к специалисту. На воды куда-нибудь.

— Ну, не настолько еще плохо. Но на всякий случай мои дела приведены в порядок. И духовное завещание готово.

— Павлик!

— Ну, чего ты? Дело простое, житейское. На прошлой неделе ездил в город. Ради завещания нарочно. У нотариуса написал. По закону, как быть должно. В случае чего, пожизненно все мое тебе, Маргоша. Дашь Оксане немножко. По твоему усмотрению. Остальным владей на здоровье. А после тебя — Горе и Славе поровну. Я и Арсения поставил в известность. Он ничего, одобрил. Для него важно,

чтоб не выходило из рода. А тебе... Да ты уже плачешь? Маргоша? Но погоди, рано еще. Еще я цел и невредим.

— Павля... Что выдумал, глупый? Не возьму ни грошика. Не возьму, ей-богу! И думать не смей, чтобы я пережила тебя. Вот глупый.

— Ведь от слова не станется. От завещания также. Если сердце шалит, мало ли что может приключиться? Я на всякий случай. Но весьма возможно, что переживу тебя и еще двадцать раз буду менять завещание. Надо не бояться смерти,— тогда она боится подойти к нам. А как хорошо пахнет коноплей. Понюхай. Слышишь?

Слезы уже высохли на ресницах Марго. Она говорит задушевно:

— Люблю и я этот запах. И особенно в поле. Свежее что-то, и хорошо от него. Будто опять становишься ребенком. Помнишь, как мы в коноплянике в войну играли? Вадим — полководец, ты со всего размаха рубишь хлыстом конопляные верхушки, а я в засаде сижу в траншее. Там, за парком... помнишь?

Захолодало сразу после первого августа. Резкий ветер нагнал холодный дождь, и началась осень. Еще стояли зелеными омытые после засухи кусты и деревья, зазеленели наново невспаханные поля и выгоревший луг. Еще часто проглядывало солнце, освещая далекие горизонты в прозрачном до кристальности воздухе. Как летом, плыли белые облака на синем небе, но уже запахло осенью. Осенний шелест деревьев, суховатый и жесткий, осенний блеск нежаркого солнца, похолодевший воздух — все говорило: осень, близко осень. Затихли птицы, шуршат подсохшими листьями безголовые подсолнухи на огородах, загудели и зажужжали молотилки на селе. А на лугу собираются чайки и бродят, будто совещаясь о чем-то, и стаями пролетают дальше с жалобным вопросом: «Чьи вы?» Молодые аисты кружат в высоте, упражняя и пробуя крылья, уже готовы к отлету. И все призадумалось в природе, словно собираясь в далекий путь.

Арсений Алексеевич слал домой коротенькие письма.

Операция необходима. Операция назначена на третье число. Готовимся к операции. Наконец, операция совершена, надеемся на благополучный исход. Несколько дней не было совсем вестей, и вдруг среди ночи потрясающая срочная телеграмма Вадиму Алексеевичу:

«Ксения Викторовна скончалась от паралича сердца. Ве-

зу в Неповоевку, прошу все приготовить. Арсений Неповоев».

Тотчас все были на ногах в доме Вадима. Стало суетливо, печально, отчего-то немного страшно.

Среди общей ночной сумятицы незаметно исчезла Марго.

Ночи оставалось еще немало, темно, холодно и сыро было в парке после вечернего дождя. Падали крупные капли с намокших деревьев, размякли дорожки. Марго в одном платье, с покрытой головой шла к флигелю Павла. Там спали. Запертые двери, запертые окна с болтами на ставнях... Сырая, осенняя тишина, разлитая в темноте, притаившаяся и жуткая.

Марго остановилась, соображая, где, за какими окнами спит Павел. Потом пошла в туфлях по мокрой траве к окну, постучала в ставень раз, другой и третий. В щелях мгновенно заблестел свет, в комнате стукнуло что-то опрокинутое — не то стул, не то столик,— и хриповатый голос Павла спросил у самого окна:

— Кто там?

— Это я, Павел. Я, Марго. Вадим получил телеграмму. Ксении плохо... Очень плохо... Отвори мне скорее.

Павел, полуодетый, вышел на крыльцо. Позади него, в сенях, колеблясь, горела свеча. От нее еще темней казалось на крыльце, еще больше сгущалась чернота под акациями возле дома.

— Умерла? — коротко проговорил Павел в темноте.

— Да,— покорно и так же кратко ответила Марго.

Замолкли оба.

Павел прислонился к сырой и холодной каменной стенке. дома.

Марго не видела его, но знала, что он дрожит, что говорить он не в силах. Она и сама дрожала от сырости, холода и волненья. Надо было увести Павла обратно в дом, а Марго боялась, что еще рано. Не лучше ли дать ему время очнуться от этого душевного столбняка? Для того она и бежала сюда среди сырой ночи, чтобы помочь Павлу справиться с самим собою, безмолвно поддержать его в эту первую, наиболее тяжелую минуту горя. Теперь, если даже он не сдержится и выдаст себя, то ведь только перед нею, перед Марго. Это — ничего, не опасно. Во много раз хуже, если перед другими. Если бы завтра ему сообщили при всех, при дяде... До утра он обуздает себя, затаит все лишнее.

А пока — молчать. Молчать — самое лучшее... Так промолчали они довольно долго.

После, взяв брата за безжизненно повисшую руку, Марго тихо произнесла:

— Павел!

Она будто предостерегала его от чего-то, о чем-то напоминала, призывала к самообладанью. И Павел опомнился. Голос Марго вывел его из оцепененья.

— Ты промокла, тебе холодно,— сказал он с заботой.

Обняв Марго, он увел ее в комнаты.

И Марго поняла: уже не опасно, он овладел собою.

Проснулась Оксана.

Промокшая от ночной росы, Марго хотела идти к Оксане переодеться. Но вспомнила о погибшей так нелепо Ксении Викторовне, и жалость, щемящая жалость переполнила всю Марго, теперь уж без отношения к Павлу.

Она истерически выкрикнула, забывшись:

— Павел! Голубчик! Дорогой! Ведь это же ужасно! Ведь зарезана? Зарезали! Живьем, среди бела дня... Так безнаказанно, так жестоко... И мы — все, все! Все мы виноваты. Зачем молчали? Зачем позволили? Зачем?..

— Перестань,— остановил ее Павел.— Не плачь. Довольно. Уже свершилось, уже не поправишь.— Он говорил это, стоя у окна столовой. И против воли напряженно прислушивался, ожидая еще чего-то, какого-то невозможного, но неистово-радостного опровержения несчастья.

Но ничего не было. Лишь громко плакала Марго, да за окном зашумел ветер, опять нагоняя осенний дождь.

Хоронили Ксению Викторовну четырнадцатого августа.

Белый катафалк, певчих и духовенство выписали из города. Фасад вокзала на станции был убран черным сукном с дубовыми гирляндами.

Ранняя осень давала переменчиво дождливые дни. То надвигались тучи и лил дождик, густой, временами теплый. То он проносился, небо делалось ясно-синим, белой цепью плыли по нем облака, и казалось — опять лето.

Ясно было и сегодня.

Автоматически жил эти дни Павел Алексеевич. Он был молчалив, не приходил в отчаянье. Даже мог бы показаться равнодушным или опечаленным лишь официально. Все в нем замерло, застыло, притупилось. Он отвечал на вопросы, пил чай, ходил в дом Арсения обедать, умывался, брил бо-

роду, только не спал вовсе. А когда наступала ночь, садился у стола с зажженной лампой и сидел до утра почти недвижимо, делая усилия сообразить, понять, что случилось, почему это так, а не иначе? Но мысли путались, голова утомлялась, не хотела усвоить что-то главное, основное. А всякие мелочи он и понимал, и помнил отчетливо. Не забыл надеть все черное, когда служили первый раз панихиду. Напомнил Вадиму, что часовню и склеп ко дню похорон надо убрать цветами.

На станцию уезжали рано утром, к почтовому поезду. На рассвете Марго в трауре подъехала к крыльцу Павла в маленьком фаэтоне.

— Я готов,— сказал Павел через окно голосом неестественно спокойным.

На станции он подмечал все, даже самое ненужное. Траурные декорации, любопытство железнодорожных служащих, нетерпеливость духовенства, равнодушие певчих. Утрированно подчеркнутый траур Агриппины Аркадьевны, длиннейший креп спереди и сзади, ниспадавший от шляпы до полу. И лица неповоевских слуг, и выражение глаз у дяди, сидящего в кресле с Артамоном позади. Это выражение испуга и растерянности, смешанное с запрятанным отблеском чисто животного ликования, точно говорящее с наслаждением: «А я — вот я — не умер»... И монументноподобную фигуру Вадима, который не уставал распоряжаться и повторять:

— Прежде всего — никакой суеты. Чтобы каждый помнил свое место. Никакой суеты.

Гроб привезли при почтовом поезде в товарном вагоне. Поезд через несколько минут ушел дальше, и центром внимания всех остался кирпично-красный, товарный вагон, такой простой, обыкновенный... Пока стоял поезд, там, на другом конце его, у вагона первого класса, встречали Арсения Алексеевича. Павел не пошел туда. Он увидел Арсения уже подходящим к одинокому товарному вагону.

Арсений шел, сгорбившись, понурив голову. Лицо у него обострилось, пожелтело, наплаканные глаза припухли. В бороде выделилась седина, неприметная раньше.

Павел не забыл приблизиться к нему, молча пожал его руку.

— Да... вот,— выговорил запекшимися губами Арсений, скорбно указав на вагон головою. Когда раздвинули вагонные стенки, оттуда, изнутри, удушливо пахнуло застоявшимся запахом тубероз. К вагону приставили ступени.

Внутри его стены, пол, потолок, прямоугольный ящик посередине, покрытый парчой и похожий на престол в церковном алтаре,— все было убрано зеленью, цветами. Хризантемы, розы, гелиотропы, гиацинты и множество белых тубероз. Их сильный, сладко-пряный, головокружительный запах насыщал воздух, заставлял отворачиваться от вагона, как от трупного запаха.

Из ящика вынули гроб, металлический, серебристо-белый, игрушечно-красивый, на изогнутых ножках, со стеклянным отверстием на крышке. Служили панихиду,— торжественную и долгую,— тут же на платформе, у вагона. Слава плакал громче всех, а у Гори не находилось слез, он лишь обескураженно глядел на гроб, чего-то не понимая. Поминали боляриню Ксению, а после подходили к гробу, возлагали на него новые цветы, пугливо заглядывали в застекленное отверстие, крестились...

— Как изменилась. Не узнать! — говорил позади Павла дядя.— Потемнела вся. Как скоро, три дня, и уже... разложение...

И в голосе его был отклик бессознательного, затаенного ликования, будто кричащего с наслаждением: она, а не я!

Павел не подошел к гробу, не захотел заглянуть в него.

Скорбная складка залегла между бровей у Гори, но глаза у него оставались сухими. Недоумело смотрел он на все, что происходило. А поравнявшись с Павлом, спросил, не постигая:

— Но где же мама?

— Она там,— ответил Павел и показал на гроб.

— Там? Да это не она вовсе!

— Да ведь она же умерла! — пояснил Павел почти с досадой.

— Как умерла?

— Перестала жить. Ее нет уже.

— А ты говоришь: там она?

— Так что ж? Там, но она — неживая.

Горя пожал плечами, он все-таки не понял.

Подумал немного, стоя с широко раскрытыми, недоумевающими глазами, опять приподнял плечи кверху, опустил их вниз и огляделся, будто обиженный. А когда установили гроб на выдвинутой подставке катафалка и вдвинули под балдахин, Горя шепнул Павлу:

— И мы там сядем? С нею?

Павел поглядел на него в упор, многозначительно и сказал с мрачной иронией:

— Нет еще. Мы... подождем немного.

Арсений Алексеевич шел за белым катафалком с непокрытой, посветлевшей от седины, головою. Шел версту, другую... Это стесняло весь кортеж. Нельзя было повезти гроб быстрее, пропадало время.

Вадим попробовал было отвести Арсения в сторону, но тот не поддался.

Тогда вышла из коляски Агриппина Аркадьевна в ореоле креповых вуалей. Она взяла Арсения под руку, чтобы задержать на месте.

— Сядь в экипаж, друг мой. Восемнадцать верст еще. Нельзя же на ногах все время.

— Оставьте меня!

Он круто и раздраженно освободил свою руку.

— Но в церкви ждут с отпеваньем? Когда же мы поспеем, если так? Ночью?

— Подождут! Я так хочу. Мне легче так.

— Арсений, я тебе, как мать, говорю. Я приказываю, наконец.

Он досадливо сморщился.

— Ах, пожалуйста... Нельзя ли без этого... без представлений!

И упрямо побежал догонять уже отъехавший катафалк.

Проселочной дорогой, влажной, местами топкой, медленно подвигались вперед. Павел ехал с Марго и обратно от станции. Лошади ступали нога за ногою, шагом. Солнце горело за облаками, не выплывая на небо.

От солнечных лучей светились облака, окруженные сияньем. Даль за полем лежала необычайно ясная. Далеко на горе, версты за четыре, а может, и дальше,— выступала группа ветряных мельниц. Не трудно было рассмотреть отсюда, снизу, как вращались от ветра мельничные крылья: до того был прозрачен воздух.

Когда проезжали лугами, выглянуло солнце. В одном месте наткнулись на табун слетевшихся аистов. Их было много в разных концах осенне-зеленого луга. Слетались со всех сторон новые и новые стаи, как на сборный пункт большого военного лагеря. Одни спокойно паслись на лугу, другие взлетали высоко вверх, сверкая под солнцем белыми крыльями. Парили чуть пониже облаков, повисали без движения в воздухе, описывали правильно широкие круги, и опять парили и догоняли друг друга.

Из общей массы выделился один, верно, старый и опыт-

ный, твердо знавший предстоящий путь. Он полетел к югу. За ним двинулись остальные, пока еще нестройно разбросанной сетью. Поднялись и те, что оставались на лугу, и стали нагонять табун серебрящихся под солнцем белых пятен.

А вожака и не видно уже.

Следя глазами за отлетающей стаей, Павел задумчиво сказал, как бы самому себе, не обращаясь к Марго:

— Ксения Викторовна уж не увидит их весною.

Ночью после похорон Павел не раздевался. Опять сидел у стола при зажженной лампе. Глубокая задумчивость омрачала его лицо, хотя определенных мыслей не было. Звон стоял в ушах, больно было физически от ворвавшегося в жизнь сознания пустоты. От того, что вдруг стало совершенно пусто, и эту пустоту нечем заполнить.

Кто-то негромко стукнул в дверь.

— Марго,— подумал Павел. Он медленно встал отворить дверь, но, отворив, попятился в изумлении: за дверью стоял Арсений.

— Я к тебе,— отрывисто проговорил Арсений и вошел, как стоял, со шляпой в руках, в накинутом на плечи пальто.

— Никак не могу уснуть, Павел. Не сплю все время. Дай чего-нибудь для сна... Впрысни мне. Сил больше нет выносить это.

Павел глядел застывшим взглядом. Он не сразу понял просьбу. В ушах продолжался прежний звон, пусто было в мыслях, все казалось глубоко безразличным. Не скоро стряхнув с себя безучастность, он приказал себе понять, чего хочет от него Арсений. Затем снял с плеч Арсения пальто, вынул из его рук шляпу, подвел к столу, усадил в кресло, где сам сидел перед этим.

Арсений повиновался беспрекословно.

Павел спросил, пытаясь говорить поласковее:

— Что же тебе? Немножко морфию?

— Чего знаешь. Лишь бы подействовало. Тяжко мне. Невыносимо. Без сна не выдержу дальше. А жить надо, нельзя не жить. Дети!.. Если бы не они... какое счастье, только выстрел, и ничего. Все кончено. Разом. Я так метко стреляю, без промаха. Но дети!.. Нельзя. Не смею, не могу. А как хотелось бы...

В душе у Павла было прежнее безучастье. Однако он нашел и нужный тон, и слова, требуемые настоящей минутой. Он сказал благоразумно и увещательно:

— Полно. Что ты? К чему? Ведь уже свершилось... уже не поможешь.

— В том и горе: уже не поможешь. Кайся, бейся головой о склеп, проси, умоляй, требуй прощенья... изойди слезами от сожалений — поздно. Уже свершилось. Не поможешь. А жить нужно. После такой вины... такой потери? Надо, надо жить! Дети.

Арсений потер рукой лоб и лицо, собрал в складки кожу лба, наморщив ее пальцами, как бы принуждая себя припомнить что-то, и пробормотал, припомнив:

— Уснуть бы? Помоги, Павел.

Павел и теперь ответил, как надо было:

— Ты бы у меня уснул? Дома все напоминает тебе... Расстраивает. Ложись здесь? Встань, я раздену.

Арсений Алексеевич подчинился, как дитя.

— Ложись сюда, на подушку. Погоди, я укрою... Вот так. Теперь приготовлю шприц...

Павел подошел к шкафику в стенке, достал из жилетного кармана ключ, отпер секретный замок со звоном. Вынул шприц из никелевого футляра, переменил иглу, продезинфицировал ее спиртом.

Арсений следил глазами за этими приготовлениями внимательно, немножко испуганно.

Остро и холодно запахло эфиром.

— Готово,— сказал Павел и подошел к кровати.— Открой спину. Пониже лопаток, там не так больно. Не бойся. Я раньше натру эфиром.

— А ты никуда не уйдешь? — спросил Арсений уже капризно.— Не уходи. Не оставляй меня.

— Хорошо. Не уйду никуда.

— И свет пусть горит. Не так жутко. Спи и ты здесь. Вон, на диване. Что, уже? Уже впрыснул?

— Уже.

— А я и не заметил как. И скоро я усну теперь?

— Скоро. Сейчас уснешь. Помолчи, не разговаривай больше.

Павел до утра сидел у стола при горящей лампе.

Он знал, что Арсений заснул крепко, надолго, по крайней мере, до полудня. И все-таки опасался, как бы не спугнуть тихого сна, который спустился на тоску и утомленье Арсения.

Сам же Павел не чувствовал потребности ни в сне, ни в забвении.

Наутро снова служили панихиду в часовне над склепом

Ночью шел дождь, мелкий и неугомонный, а день настал серый, шумел ветер. Тепловатая сырость перенасытила воздух. Так и висела влага надо всем и на всем, на траве, на постройках, на зеленых и золотисто-хрупких осенних листьях.

Кружились и пролетали стаи ворон, тяжело падали на землю с деревьев одинокие, намокшие листы.

Уже не хватало свежих цветов в Неповоевке, к похоронам все были срезаны. Только мгновенно вянущие вьюнки оставались на цветниках, обвивали кладбищенские кустарники, кресты, памятники, часовню. Ветер теребил их мягкую зелень, раскачивал тонкие цветы — синие, белые, розово-красные,— и цветы колыхались на неприметных ножках, будто плавая в воздухе.

Арсений Алексеевич спал у Павла так долго, что панихиду пришлось отложить с двенадцати на два часа дня.

Пропели вечную память, надо было уходить из часовни.

По красному песку кладбищенской аллейки впереди других шли дети с мистером Артуром. И там, в этой небольшой группе, вдруг раздался короткий и громкий крик, словно придушили кого-то. Затем свалился на мокрый песок Горя. Бросились к нему — он лежал недвижимо, как каменный, с сжатыми челюстями. Глаза были открыты, зрачки закатились кверху. Думали — обморок. Но мальчик судорожно двинулся всем телом, и с ним началось что-то непонятное. Руки и ноги попеременно сгибались, выворачивались, голова забилась о землю, побагровевшее лицо искажали невероятно страшные гримасы. Высовывался и оттягивался язык, глаза неестественно вращались, изо рта выступила розоватая пена.

К нему на помощь бросился Арсений Алексеевич. Бросился деловито, озабоченно, как будто нисколько не испугавшись.

— Язык... Он откусит язык!

Арсений Алексеевич разжимал челюсти Гори, придерживал его голову, старался облегчить возможность дыхания и делал все с таким неторопливым уменьем, словно был врачом-специалистом.

Остальные перепуганно теснились вокруг на траве и на дорожке, не зная, что предпринимать. Припадок прошел быстро, он продолжался несколько минут, но казалось, не будет конца этому странному явлению.

Подергиванья смягчились, стихли. Несколько легких толчков, пробежавших по телу мальчика, и к Горе вернулось сознание. Расслабленный и изнемогший, он не знал, что с ним было. Не мог понять, почему он на сырой земле в новой траурной куртке? И не то лень, не то неохота было ему даже и выяснять это. Он сейчас же закрыл глаза, по-видимому, уснул спокойно и крепко. Тогда Вадим Алексеевич с бережностью поднял его, как пушинку, и понес к дому на вытянутых руках.

Первой отозвалась после того Агриппина Аркадьевна.

— Истерический припадок,— беспечно сказала она, но беспечность ее была деланная.— Он не плакал все время, а сам такой нервный... так любил мать... Вот и разрешилось.

Арсений глянул на нее, словно хотел остановить, но промолчал.

Спустя меньше часа Горя проснулся на своей кровати. Он ничего не помнил, только слабость была у него огромная.

Арсений Алексеевич с сдвинутыми бровями сидел подле мальчика, вглядываясь в него долго, сумрачно, пытливо.

— Горюшка? У тебя болит что-нибудь? — спросил наконец Арсений Алексеевич.

— Нет,— ответил Горя изумленно.— Зачем меня положили?

Видно было, что он силится и не может выяснить себе, что случилось.

Его оставили лежать в постели до вечера.

За обедом опять говорили об истерическом припадке. Ждали врачей из города.

Но Арсений Алексеевич поставил диагноз и без врача.

— Оставьте,— сказал он дяде, когда тот начал об истерии у детей.— Для кого вы говорите? Если для меня, то напрасно. Припадок не истерический, а падучий. Разве я не видел? Для меня — нечего золотить пилюли. Я ко всему готов. Не приходит никогда одна беда, всегда несколько. Я жду и готов.

Он умолк и сидел, сгорбившись, опустив низко голову, ускоренно двигая плотно сжатыми челюстями.

К вечеру доктора подтвердили его мнение: припадок был падучий, несомненно.

Арсения Алексеевича утешали, предписывали давать Го-

ре бром, бром и бром... Обещали, что припадок может больше не повториться или будет повторяться, но очень изредка. Арсений Алексеевич молчал, сумрачно сгорбившись, поникнув головою, и на лице его отражалось:

— Я ко всему готов. Не приходит никогда одна беда, всегда несколько.

А вечером, перед ужином, он пришел к Марго и предложил ей:

— Ты не знаешь, что с собой делать. Вот тебе цель жизни — останься у меня. Вырасти моих детей.

Марго беспомощно открыла испуганные глаза.

— Мне? Мне... остаться у тебя? — повторила она.— Но... Но это же не подходит!

— Почему? — спросил Арсений, не понимая.— Лучший исход, какой и для тебя, и для меня, и для детей моих можно придумать.

— Но я сама скверно воспитана, Арсений! Как мне воспитывать твоих детей?

— Тебе и не придется воспитывать. Для этого есть Артур. Но им и не нужна близкая женщина в доме... Представительница дома, хозяйка. Ты одна могла бы занять это место. Мне, как предводителю, должно жить более открыто. Принимать у себя... вообще, не так замкнуто. Я всегда понимал это. Да все не до того было. Ты — в роли хозяйки здесь... чего приличней? Ты — женщина умная, моя сестра родная... чего лучше? Измени лишь немного свои напускные манеры. А после... Здесь, в своем кругу, ты можешь встретить кого-нибудь порядочного, подходящего... Развод так облегчен теперь, а ты еще молода. Важнее всего, что тебе не придется компрометировать себя. Не будешь слоняться по свету какой-то бездомной бродягой. Извини меня, но эти женщины-одиночки... они всегда подозрительны. Будь она хоть святая из царствия небесного.

— Благодарю за заботу обо мне,— чуть иронически ответила Марго.— Но я не боюсь показаться кому-нибудь бродягой. Наплевать, если и хуже подумают. Мне не страшно, хотя вообще... а, черт возьми! Большая это неприятность — родиться женщиной. Да что поделаешь? Надо мужественно донести свой удел до могилы. И дотащу как-нибудь. А ни встречать никого, ни вступать в брак не хочу больше. У меня, знаешь, такие препротивные воспоминания обо всем этом. Никакого желания пережить их наново.

— Тогда тем более для тебя важно иметь известное положение в обществе. Точку опоры в жизни. Иметь свой дом. И мой дом будет твоим.

— Не могу я, Арсюша. Спасибо, большое спасибо. А не могу. Может, я — эгоистка, бессердечная... дурная, черствая, бестолковая... но я не выдержу. Не в состоянии буду. Не выдержу ни за какие блага.

— Не выдержишь? Чего же?

— Прости меня, но... твоего режима, Арсений.

Осень торопилась наложить на все свой отпечаток. Грустно стало в Неповоевке. Агриппина Аркадьевна и Жюстина уже совещались об отъезде. Но неловко было уехать раньше панихид в девятый и двадцатый день со смерти Ксении Викторовны.

Дожди утихли. А осеннее разрушение продолжалось и при ярком солнце после едких утренних туманов. Уже сильно отдавала из-под низу желтизной пронизанная солнечным светом осина, зарумянились клены, зазолотились березы, начал отливать бронзой вяз.

Шло отлетное движение птиц. Горели на солнце красно-рыжие ягоды рябины; мягкие, черные кисти бузины клонились от тяжести, да, как весною, гудели пчелы над наново зацветшей резедой.

Слова Арсения Алексеевича: «Не приходит никогда одна беда, всегда несколько»,— оказались пророческими.

На девятый день по кончине Ксении опять все собрались в часовне. Не являлся лишь Павел. За ним пошел Вадим Алексеевич и застал Павла в его спальной мертвым. Он *по ошибке,*— должно быть второпях,— впрыснул себе в грудь вместо мышьяку что-то другое,— как оказалось потом,— яд кураре.

И лежал, вытянувшись, поперек широкого дивана у стенного шкафика с наркотиками.

Вся обстановка смерти говорила о случайности. Окна спальной были открыты, дверь незаперта. Сам Павел перед тем сбирался на панихиду. Умывался, брился, надел черный костюм, галстук, темные запонки. И шляпу, и пальто, и палку приготовил для выхода. Затем уже, очевидно впопыхах, расстегнул манишку на груди и сделал впрыскиванье, которое оказалось последним.

Лицо его было спокойное, неподвижно безразличное. Глаза — широко открытые, ничего не отражающие. Но все же — словно глубокая задумчивость омрачала его черты, и на застывших чертах этих лежал отсвет какой-то продуманно решенной, еще не вполне угасшей мысли.

Он сдержал слово.



А. В. ТЫРКОВА

АФИНЯНКА





Тихо всплеснули под утесом весла невидимой лодки. Раздалось шуршание дерева о камни и лязганье железной цепи.

Епископ остановился посреди террасы, прислушался и ласково улыбнулся, как бы издали приветствуя этой улыбкой своего любимого ученика.

Потом опять зашагал, заложив руки за спину. Улыбка отлетела. Поперек высокого белого лба, обрамленного двумя ровными волнами русых волос, легла морщина. Брови сдвинулись над прямым носом с широкими, резко очерченными ноздрями. На ходу, шепотом произносил он слова, бросавшие суровые тени на лицо, обрамленное густой бородой.

«Жена мужественная венец мужу своему, жена злотворная, яко же в древе червь, тако мужа погубляет...»

Это изречение мудрого иудейского царя, на себе познавшего ядовитую сладость женских чар, взял епископ для воскресной своей проповеди.

Уже горела в его душе острая радость обличения. Слова теснились послушными рядами, солдаты, готовые сразиться с темными полчищами людских слабостей и заблуждений, страстей и пороков. Окруженный воинством их, епис-

коп не видел ни моря, ни серой зелени олив, ни жаркой алости вечернего неба, пытающегося задержать на себе ласки уходящего солнца.

С неотступностью злого видения вставали перед ним широкие ступени ипподрома, яркие наряды женщин, их нарумяненные лица, возбужденные жестким волнением ристалищ, горячим дыханием толпы, жаждой ощутить собственную привлекательность. И куртизанки, славившиеся на всю Византию пышностью жизни и неутолимым бесстыдством ласк, и девственницы из знатных фамилий, показываясь народу, равно старались придать себе греховную соблазнительность. Дерзко алели их нарумяненные губы, глаза были полны обещаний и призывов, доносившихся до епископа не только на шумных площадях, среди плеска толпы, жадно следившей за бегом коней и мельканием колесниц, но и в лиловом сумраке церкви, где лица женщин белели на верху, на хорах.

Не раз движение маленькой руки, блестевшей золотом и камнями, манящая или надменная улыбка, струившаяся для тех, кто молился внизу, вызывали в монахе благочестивую тревогу за паству. Невидимый яд лился с полутемных хоров, откуда слышался звон золотых украшений, подвесок, драгоценных уборов, вкрадчивый, тихий, но четкий шепот молодых женских голосов и запах духов, притираний, холеных женских тел, порой почти заглушавший благочестивый аромат ладана.

Не раз, распростершись на полу своей молельни, под окнами которой нежно плескалась синяя волна Марморы, епископ со слезами на глазах благодарил создателя за то, что ограждает он его от соблазна плоти, что ищущий добычи взор грешницы вызывает в нем только холод праведного отвращения.

Не раз видел он унижения и муки братьев — монахов, раненных острием запретных плотских желаний, и, сострадая, радовался своей свободе, считал ее благодатью божией, дарованной ему, грешному. Ни в часы утренней молитвы, когда само солнце прозрачностью своей разгоняет чары дьявольского наваждения, ни среди полуночных бдений, когда церковь полна сумеречных теней, дыханье женщин, доносившееся с хоров, не вызывало в нем волнения.

Но нередко с горечью думал он, что, быть может, правы были иудеи, отделив в храме своем женщин, как прокаженных. Потом вспоминал о немногих истинно набожных женах, которые там, на хорах, с благочестивой жадностью

ловят каждое слово, каждое движение священнослужителя, и ради этих праведниц готов был пощадить остальных.

Епископ с юности своей познал творения греческих философов. В молодую душу влили они крепкую любовь к родине. Позже отвернулся он от мирских мудрецов, еретиками и лжеучителями признал их и склонился перед ясной благостью Иисуса. Но греком остался до конца дней своих, желал, чтобы не только внешним могуществом, но и внутренними доблестями украшена была Византия, и обо всем, что грозило ей гибелью или слабостью, скорбел и как пастырь, и как гражданин.

Он видел, как сластолюбивая женственность растлевает и дворец, и войско, и богатых граждан, и темную, городскую толпу. Как опутывает она своими нитями город благочестивого Константина. Видел и обличал, сурово и страстно.

В последнее воскресенье, когда говорил он о ненасытной жадности куртизанок и знатных дам к нарядам, к роскоши, дрогнула придворная толпа, окружавшая на хорах императрицу. Из-под жемчугов, нанизанных по краю красной, низко спущенной на брови шапки, гневно вспыхнули темные глаза властительницы. Но этот огонь не устрашил красноречивого монаха, только сделал его слова беспощаднее и пламеннее.

Опять о том же готовится в воскресенье говорить епископ. Соблазн порочной женской красоты, овладев телом мужчины, унижает и темнит душу его. Ради спасения этой, господом любимой, души скажет он им:

«Бесчисленное количество демонов носится вокруг нас в воздухе, жадно ищут они путей к слабой душе человеческой, а через женщину легче всего находит бес доступ в ослабевшее сердце»...

Епископ остановился, произнес эти слова вслух тем голосом, мягким, как ласка, и твердым, как бронза, который давал ему власть над людьми, и отблеск праведного гнева блеснул в глубоких глазах, облаком пробежал по ясному, светлому лбу. К людям, слепым, падшим, грешным, всегда теплились в его великодушном сердце милосердие и жалость. Он счастлив был, что учение Иисуса давало право на всех изливать свет любви, освещавшей его душу. Но рядом с кротостью жило в нем негодование, страстное и жесткое. Его обращал он на демонов, чье темное присутствие так же явственно ощущал он духовными очами, как явст-

венно видел очами телесными все великолепие мира божьего.

Еще горел в нем огонь праведного обличения, пробужденного мыслью о злых силах, когда внезапно появилась перед ним высокая фигура женщины, закутанной в темную паллу.

Багрянец медлительного заката заливал полнеба. Воздух светился, напитанный отблеском невидимых роз. За краем террасы море лежало густо-фиолетовое, с нежно-красными искрами, блестевшими на гребне маленьких, бесшумных волн, подымавших к земле дыханье невидимых, подводных трав.

Легкой и призрачной казалась женщина в этом вечернем празднике красок. Она пришла так неожиданно, будто лукавый морской ветер принес ее из неведомых стран. Край тонкого темно-синего плаща закрывал голову и шею, скрадывая линию плеч и рук. Но и в неподвижности ее чувствовалась стремительная гибкость молодости.

Епископ подивился, как могла попасть она на уединенный остров, населенный только монахами. С привычным благоволением спросил он:

— Кто ты, женщина? Что привело тебя ко мне в этот необычный для посещения час?

Она осталась стоять неподвижно и, не подымая с лица плаща, сказала тихим, мягким голосом, которым говорят люди, привыкшие придавать цену своим словам:

— Авва, ты мудр и добр. Скажи, разве тот, кто потерял сокровище, принадлежавшее ему, не должен искать его днем и ночью, не думая о часах обычных и необычных?

— Я не знаю, о каких сокровищах говоришь ты, женщина. Может быть, то, что ты считаешь драгоценностью, я отверг бы, как нищету.

Тихий вздох, похожий на сдержанный смех, донесся из-под плаща...

— О, если б это было так... Если бы отдал ты мне мое богатство, как ненужное тебе... Отдай мне его, авва...

Женщина наклонилась, всматриваясь в лицо собеседника, и складки ее одежды переместились, заструились. Отчетливо выступило на красном небе тонкое плечо и длинная, стройная линия ноги. А лицо по-прежнему оставалось скрытым, невидимым.

— Если ты говоришь о сокровищах земных, то их у меня нет,— мягко ответил епископ,— а сокровища небесные неисчислимы и доступны каждому, чья душа тяготеет к свету

вечному. Если ты хочешь искать их, я готов помочь тебе...

— Не помощи ищу я у тебя, монах, а справедливости,— гордо сказала женщина.

Быстрым движением стряхнула она плащ с головы и, придерживая край длинной одежды, приблизилась к епископу. Густые красновато-бронзовые волосы тяжелым узлом спускались на тонкую белую шею. Темнели большие печальные глаза, слабо розовел нежный, маленький рот. Видно было, что ни румяна, ни белила, ни иные ухищрения не касались еще этого девичьего, светлого лица. Изысканность одежды и мягкость движений обличали в ней женщину из знатного круга. Епископу показалось, что где-то уже видел он узкий, упрямый подбородок и маленький выпуклый лоб с приподнятыми к вискам тонкими бровями.

— Как отпустили тебя родные одну? — спросил епископ.— Ведь от города до монастыря день пути на веслах.

— Я не одна. Там на берегу мои слуги. К тому же я не из Византии. Я из Афин. У нас девушки пользуются равной свободой с юношами. Нас не запирают, как рабынь.

— Значит, ты язычница! — воскликнул епископ и тотчас пожалел, что не сдержал в голосе укора.

— Я уважаю Иисуса из Назареи и считаю его мудрецом,— вежливо ответила девушка,— но мой старый учитель, да дарует ему бог светлое место в подземном царстве, научил меня выше всего ценить право испытующей мысли.

— Замолчи, девушка. Ты даже не понимаешь кощунственной дерзости своих слов! Что такое жалкая, слепая человеческая мысль рядом с незыблемой ясностью святых книг.

Теперь они стояли близко; высокий монах в грубом таларе из толстого коричневого сукна, скрадывающего худобу стана, истощенного постами и ночным бдением, и девушка, тонкая и хрупкая. Но слабой не казалась она. Маленькая головка, золотившаяся в последнем отблеске заката, держалась на плечах прямо и гордо, голова воина, бросающего вызов.

Темные девичьи глаза не опустились перед кроткими, но все-таки привыкшими владеть людьми очами, глядевшими на нее сверху с пастырским осуждением.

— Не будем спорить, авва,— тихо произнесла она.— Не ради риторских состязаний сделала я по изменчивым волнам моря переезд из Афин в Византию, где люди изменчивее и опаснее морских волн... Я приехала к тебе...

Она остановилась. Что-то тревожное и слабое впервые мелькнуло в глубине лучистых глаз.

— Ко мне? — переспросил он и слегка склонился к ней, как обычно склонялся к тем, кто нуждался в нем.

Из складок синего плаща серебряной рыбкой вынырнула маленькая белая рука и доверчиво легла на жесткий рукав монастырского талара.

— Я ищу своего жениха,— сказала девушка.— Его зовут Зенон. Он тоже из Афин. Мы с детства обручены. Отец послал его в Византию, и я не видала его с тех пор. Торговавшие в вашем городе купцы сказали мне, что он здесь, что ты учишь его мудрости. Авва, авва, верни мне его!

Епископ выпрямился и отступил. Маленькая рука соскользнула и опять утонула в темных складках, бессильная и отброшенная.

— Женщина, зачем ты лжешь? У того, кого ты зовешь Зеном, нет больше земной невесты. С церковью Христовой обручился он.

Глаза девушки блеснули, точно кто-то ударил камнем по кремню. Сдерживая голос, чтобы не крикнуть, как кричит зверь, настигнутый охотником, она прошептала:

— Зачем ты оскорбляешь меня, авва? Философ, дававший уроки и Зенону и мне, с детства научил меня отвращению ко лжи. Мы оба привыкли говорить только правду. Спроси его, обручен ли он с афинянкой Аницией, дочерью Сикстония, или нет? Или вы в ваших монастырях учите притворяться и лгать, и он побоится сказать тебе правду?

Она тихо, зло засмеялась, но сквозь смех звенели слезы, увлажнившие глаза.

Епископ слишком любил своего ученика, чтобы жалеть ее. И радовался, что Зенон далеко, в соседнем монастыре, по другую сторону пролива, куда послали его списывать священные книги. Зенон был искусный писец, умевший выводить киноварью и золотом затейливые заглавные буквы, и чудесный рисовальщик, украшавший поля рукописей изображениями святых и ангелов.

— Напрасно, афинянка, ты хвалишься своей любовью к истине. Слуги Христовы тоже не боятся правды. Уже одно то, что не вспомнил о тебе Зенон ни разу за два года, что безропотно разделяет он со мной труды монашеского жития, показывает, как далек он стал от греховных земных страстей...

Еще не кончил епископ говорить, как внезапно вспом-

нил, где видел он это светлое лицо с узким подбородком, над которым нежно алел маленький рот, с темной глубиной широких глаз, с приподнятыми концами тонких бровей. Черты невесты, далекой златоволосой афинянки, любовно зарисовывал молодой монах на жестких полях священных книг. И в новом свете предстало перед учителем усердие молчаливого ученика. Пахнуло из глубины горячим дыханием соблазна, шелест темных крыл прозвенел, смеясь, за его спиной. Сурово сдвинулись брови над испытующими, добрыми глазами.

Но не на себя рассердился он, а на нее, на эту стройную девушку, дерзко ворвавшуюся в благочестивое уединение монастыря.

Настороженным сердцем почуяла она в его лице, в глазах, в голосе какое-то колебание, и усилилась смелость ее.

— Кто дал тебе право, монах, считать наши страсти греховными? Как может маленький, слабый ум пытаться опрокинуть веления создавшего нас? Любовным тяготением напоен весь мир. В лесной тиши птицы и звери ищут друг друга. Цветок, склоняясь, целует лепестки соседнего цветка. Даже жалкий, слепой земляной червяк выползает рано утром на росистую дорожку, отыскивая себе подругу. И планеты текут среди бездонной синевы сфер, скрепленные силой взаимного влечения. А вы хотите человека лишить того, что равняет его с божеством, вы хотите затуманить источник радости и жизни. Кто дал вам это право, монах?

Голос ее пел как струна, о которую ударяется ветер. Сумерки заползали в складки синего плаща, сливая ее с наступающей мглой, делая ее похожей на сизое облако, украдкой спустившееся с гор.

— Божественным делает человека смиренная покорность господу,— возразил епископ, стараясь сдержать праведное недовольство, порожденное в нем этими языческими речами.

— А разве в любви нет покорности богу? — воскликнула афинянка, блеснув глазами, точно гранями алмазного убора, и прибавила вкрадчиво и нежно: — Монах, ты уже забыл, что значит молодость. Кровь уже не горит в твоем сердце, а тихо струится, как горный поток, выбравшийся на равнину. Дни, даже ночи, готов ты наполнять созерцанием и молитвой. Но ведь мы с Зеноном еще молоды, и великий Пан тысячею голосов зовет нас к себе. О, если бы ты слышал эти призывы, если бы ты знал всю жгучесть их...

Опустив голову, девушка прикрыла лицо краем плаща,

точно боясь, что прочтет монах в ее тоскующих глазах всю тревогу желаний. Целомудренной страсти было полно это движение. И монаху показалось, что капля горячего масла упала ему на сердце. Впервые подумал он о себе, как о человеке, молодость которого уже прошла. Горькое сожаление о безвозвратно утраченном ночной птицей промчалось через его мудрую душу. С юных лет, добровольно, с радостью отстранял он от себя утехи плоти. И вдруг увидал, что костлявая рука времени уже отняла от него чашу испытания, к которой никогда не припадали его не знавшие поцелуев уста. Неведомая раньше печаль сжала его сердце.

А девушка схватила его руку нежными, похолодевшими от волнения руками и прижимала ее к своим щекам и шептала:

— Верни мне его, авва, верни. Я не могу больше жить без него.

Осторожно высвободил епископ руку и тоже тихо, точно боясь, что ночь подслушивает их, спросил:

— Зачем ищешь ты его? Разве в Афинах нет больше юношей? Ведь он отверг тебя?

— Нет,— твердо сказала она.— Я не верю этому. Я так же нужна ему, как и он мне. Я знаю, без меня нет счастья ему. Монах, ты говорил о греховной любви. Но разве не боги внушают любовь, подобную той, которая наполняет меня? В доме моего отца бывали юноши и смелее, и богаче, и умнее Зенона. Но для меня они — как деревья в лесу, как камни на дороге. Мне нужен он, только он. Платон говорит, что любовь сильна только там, где она охватила тело и душу... Но зачем я это говорю тебе! Разве вы, монахи, проклявшие жизнь, можете понять...

В тоске сплетала она пальцы рук, полная смятения, страсти, призыва, пытаясь сдержать слезы, уже давно струившиеся в сердце. Епископу почудилось, что легкие темные одежды женщины издают то же шуршание, которое порой слышал он, когда демоны, наполнявшие воздух, обступали его паству. А узкое белое лицо светилось в сгущавшихся сумерках, гордое и ясное. Монах отступил и твердо сказал:

— Не жизнь проклинаем мы, а грех, несущий с собой тление и гибель вечную. Уйди, афинянка. Тот, кого звала ты Зеноном, поднялся на высоту, недоступную тебе.

Легкий смех, горделивый и горький, раздался в ответ ему.

— А не думаешь ли ты, авва, что об этом лучше всего

судить самому Зенону? Где же он? Зачем ты прячешь его? Неужели ты считаешь его таким слабым, что боишься моей встречи с ним? Ведь если он поднялся высоко к облакам, а я ползаю внизу, во прахе, тебе нечего опасаться: я не найду дверей к его душе.

Епископу хотелось сказать: «К душе, может быть, и нет, но тело юноши всегда открыто для соблазна женского...»

Смутное уважение к девушке, столь непохожей на суетных, лживых византиек, удержало его. Ее слова сердили его. Но то, как она говорила, прямота и настойчивость ее речи невольно влекли к ней. И тем сильнее было желание оградить Зенона, спасти его от возврата к прежней жизни, не осиянной светом Христовой истины.

— Хорошо, я сделаю так, как ты просишь...

Еще не кончил он, как женщина, взмахнув темными краями плаща, стремительно упала к его ногам и, пряча лицо в грубое сукно его талара, шептала:

— Благодарю тебя, отец... Теперь я вижу, что христиане милосердны и полны любви... Я попрошу Зенона, чтобы он дал мне книги ваших учителей, я хочу понять те истины, которые наполнили тебя великодушием и милостью. Отец, отец, проведи меня к нему.

Томление, и радость, и любовное нетерпение переливались в ее голосе. Могучая сила прибоя, готового все снести на своем пути, звенела в нем.

Епископ сложил руки на груди, как будто стараясь этим движеньем оградить от налетевшей бури и своего ученика, и себя.

— Ты не дослушала меня, женщина. Я не знаю, кто ты, ни откуда ты. Но глаза твои и голос говорят о страдании, а господь заповедал нам жалеть даже заблудших. Чтобы убедить тебя, что далеко за собой оставил Зенон все прежние страсти и слабости, я покажу тебе его, и ты сама увидишь, чем он стал. Но обещай мне, что ты не выйдешь из кельи, пока я не позову тебя.

Девушка не сразу встала с колен. Она выпрямилась и, закинув голову, взглянула на звезды, ища защиты у них.

О чем-то своем перешептывались они в небесной глубине. И море тихо пело свою песню где-то за скалами. И серая цикада, притаившись в цветущем розовом кусте, крикливо перекликалась с далекими своими подругами...

— Зачем же ты...— с упреком начала афинянка и умолкла.

Тихо поднялась она с земли и сквозь сумерки пытливо

смотрела в лицо того, кто держал в своих руках ее судьбу. Во мгле высокий лоб монаха белел, точно лучась, и в этой белизне ей почудилась неумолимость мрамора. Она поняла, что другие пути закрыты перед ней, и решилась, смутно уверенная в победе.

— Хорошо, я обещаю, но если я увижу, что он, как прежде, мой, тогда никакие силы не удержат меня. Ты слышишь, монах?

По ступенькам, ведущим к террасе, раздался стук деревянных котурнов о камень. Епископ взял женщину за руку и быстро ввел ее в открытую дверь тесной каменной кельи.

Здесь епископ отдыхал от тягостной для него нарядности своих дворцовых покоев. Здесь он любил молиться, одиноко уходя в мир, светлый и бесплотный. И было жутко и тревожно, когда молодая девушка скользнула в темноту комнатки, когда он услыхал, как зашуршала сухая трава под ее легкой стопой.

Ученик уже входил на террасу. Он был высок, но спина, привыкшая гнуться над рукописями монастырских библиотек, утратила юношескую прямизну. Темнота скрадывала его черты, но епископу казалось, что он видит и худые, впалые щеки, и крупные добрые губы, прикрытые мягкими, темными усами, и кроткий, печальный взгляд серо-карих глаз. Как к младшему брату, привязан был к нему епископ и втайне гордился его набожностью, его далекостью от земной суеты, его начитанностью и в эллинской мудрости, и в Новом завете, который Зенон изучал с неослабным, нежным рвением. Наставнику казалось, что душа ученика, прозрачная и чистая, видна ему вся, насквозь, во всей своей благочестивой глубине, как в летний день в тихой заводи видно дно моря.

Страстные речи златокудрой афинянки затуманили эту прозрачность. И то, что нежные лики ангелов, обступавших святое писание, списанные набожной рукой молодого писца, напоминали взглядом темных глаз, алостью губ, взмахом бровей лицо девушки, взволновало епископа сильнее, чем ее мольбы и признания.

— Добрый вечер, отец,— сказал юноша и, приблизившись, поцеловал его в плечо.— Сегодня у меня счастливый день...

— Почему? — испытующе спросил епископ, а сам стал против дверей и тревожно прислушивался к чуткой тишине, царившей за его спиной во мраке кельи.

— Я нашел в их библиотеке старый греческий свиток.

— Христианский? — живо спросил епископ.

— Нет, вряд ли,— виновато ответил молодой монах.— Первые слова звучат точно слова Платона.

Епископу показалось, что соблазны древнего мира со всех сторон обступают его. Месяц уже взошел из-за горы и делил террасу на две половины. Одна была иссиня-черная, другая серебристо-белая. Вглядываясь при этом свете в лицо ученика, епископ сказал:

— Сын мой, почему ты никогда не говорил мне, что оставил в Афинах невесту?

Юноша отступил.

– Отец, когда ты меня, раненного, поднял на улице и принес в свой дворец, и ухаживал, и спас мое тело от смерти, и светом истины спас мою душу от гибели, я дал себе обет при помощи твоей служить только господу нашему Иисусу Разве дурно поступил я, скажи?

– А она, эта девушка? Ты забыл о ней?

Голос звучал непривычной суровостью. Юноша любил епископа со всей преданностью ученика, жаждущего истины и жизни вечной. Честно и усердно нес он старческое бремя монашества, равнодушно глядел на соблазны византийских прелестниц и жил в особом мире, куда не доносились голоса окружающей суетной жизни Все, что не касалось церкви, молитв, обрядов, было далеким, туманным. Утренняя тишина храма царила в юной душе.

Но во сне часто виделась ему глубокая темнота девичьих глаз и розовые очертания знакомых губ. Тогда с утра, долго лежа на холодных плитах кельи, твердил он молитвы, и горькая радость струилась в его теле. А днем, сам того не замечая, осторожно выводил он кистью на жестких полях пергамента черты далекой, покинутой невесты.

— Господу нашему Иисусу хочу я служить до конца дней моих,— тихо ответил он.

И тотчас же страстная тревога ворвалась в душу юноши Образ Аниции встал перед ним, любимый и утраченный. Епископ, благословляя, положил руку на его голову, но юноше казалось, что учитель почувствует трепет, охвативший его тело, и в ужасе, отгоняя от себя вражескую силу, воскликнул он

– Не искушай меня, отец, вопросами о том, что уже отринул я от себя

Какой-то шорох раздался в келье, и епископ торопливо сказал

– Сын мой, я верю чистоте твоей Ступай, скажи

братьям, что сегодня я вместе с ними буду совершать вечернюю молитву.

Юноша сделал несколько шагов и остановился. Из темноты раздался его голос:

— Отец, откуда ты узнал о ней?

Ревнивое ухо монаха уловило в этом голосе ту же зловещую страстность, которая наполняла все существо афинянки.

— Довольно, сын мой, ты все сказал мне. Ступай и жди меня.

Зенон медлил. Ему показалось, что какие-то сети накинуты на него. Но не сумел он понять, что в молчаливой темноте кельи притаилась его судьба, и, понурив голову, покорно скрылся за поворотом стены.

Когда шаги его затихли, епископ обернулся. В дверях, уже залитых лунным светом, стояла Аниция. Конец плаща опять прикрывал маленькую голову, и вся она казалась таинственной и строгой, как те женщины, которых язычники изображали на погребальных урнах.

Епископ ждал слез, и укоров, и проклятий, но афинянка сказала:

— Прощай, монах, мне больше нечего делать у вас... Это не мой Зенон, это другой...

Медленно направилась она к краю террасы, потом остановилась, повернула к нему лицо, на котором глаза казались еще темнее при свете месяца, и сказала:

— Зачем ты убил в нем радость? Неужели так велят ваши боги?..

Она исчезла, не дожидаясь ответа.

Наутро епископ встал рано и отправился в свою обычную прогулку кругом острова, на ходу повторяя обличительные слова проповеди, развеянные появлением афинянки. Над синевой моря стлалась легкая белизна тумана. Далекие горы замыкали горизонт, точно каменная стража, поставленная над сокровищами Азии. Дикие цветы, выросшие среди серых камней, наполняли воздух сладостью утреннего благоухания. Солнце вставало за зелеными холмами. От лучей его алмазами, рубинами, изумрудами сверкал залив, а воздух струился легко и празднично.

Епископ остановился над обрывом, прислушался к свисту иволги, прыгавшей в густой сосне над его головой, и вдруг всем своим худощавым, сильным телом ощутил красо-

ту мира. Благодарно простер он к солнцу руки, как в течение тысячелетий простирали их там, в глубине Азии, служители Аполлона, Белы, Митры и многих иных могучих богов, имена которых позабыты, но сила живет из века в век.

И вместо суровых и жгучих упреков, порицаний, обвинений, которые он собрал в душе своей, сорвались с его улыбающихся уст радостные строфы из книги Хвалений, когда-то пропетых гениальным царем маленького палестинского народа:

— Хвалите его, солнце и луна, хвалите его, все звезды света...

Повторяя слова венценосного поэта, призывал он к славословию снег и ветер, горы и деревья, птиц и зверей, царей земных, и отроков, и жен.

С туманом поднявшись из зыбкой синевы моря, медленно прошла перед ним тонкая фигура женщины. Стан целомудренно прятался в легких складках темной одежды, а маленькая златокудрая головка с ясным узким лицом и печалью темных глаз светилась, смелая и чистая. Красота ее была, как красота гор, и цветов, и птиц, и, как они, ждала она солнца и радости.

Шепотом, не думая о том, что он говорит, точно кто-то другой говорил за него, епископ произнес:

— Малодушный мальчик, зачем отрекся ты от нее...

И устрашился этих слов. Припав к острому камню, лежавшему у дороги, прикрыв плащом голову, точно прячась от врага, он вспомнил слова великого сердцеведа Иоанна Златоуста:

— Взор целомудренной женщины может быть опаснее глаз бесстыдницы...

Чудилось ему, что над ним шелестят крылья. Боялся он, что это крылья демонов, но тайная сладость струилась в душе, охваченной неиспытанной поздней тревогой.



Л. А. АВИЛОВА

ПЫШНАЯ ЖИЗНЬ





Она маленькая. Ей всего три года. У нее дед Антон Губан, бабка Анисья, а мать ее зовут Матрешей. Отца она не знает; он ушел на заработки года два назад и пропал. Может быть, его уже и в живых нет. Все может быть. Поэтому и Матрешу и ее, маленькую Любку, выгнали из дома свекра, так как баб и ребят и без них там много. Матреша теперь ни девка, ни вдова, ни замужняя и живет опять у своих родителей. Избенка у них крошечная, в новом порядке против господского сада.

Любка уже все знает и все может рассказать. Она не жалеет, что ее отец, Аким, пропал.

— Вихрь его возьми! — серьезно говорит она.— На кой он нам нужен? Мы и без него проживем!

— А дед у тебя хороший?

— Когда хороший, а то пьяный. Он, подлец, наш самовар в кабак утащил.

— Ну, а бабушку ты любишь?

— Бабка дура. Закутает голову, ничего не слышит. Совсем дура.

— Только мать хороша?

Любка смеется.

— Знать, вправду, хороша?

— Лупоглазая! — немного конфузливо определяет Любка, и нельзя понять, похвала это или порицание.

Летом Любка весь день на улице.

Мать сшила ей из лоскутков пестрый чепец с оборкой, и это ее гордость и ее радость. Платье ее с замазанным передом надето на голое тело, ножонки босы, руки и лицо всегда грязны, но когда на ее голове чепец, она считает себя нарядной.

— Обрядилась! — говорит она и конфузится от своего собственного великолепия.

Кроме чепца, у нее есть еще сокровище: нитка черного бисера. Ее она надевает только по праздникам.

На улице у Любки всегда есть дело. Она гоняет кур, ловит котенка, возит в тележке подобие куклы, возится в золе, поднимая ногами облака пыли.

Кто бы ни проходил мимо дома Губана, все всегда видят Любку и редко кто не заговаривает с ней, чтобы посмеяться ее бойким ответам.

— Где мать-то?

— На поденной. Садовник придтить велел.

— А тебя чего не взял?

— Я, как захочу, сама пойду.

— Работать будешь?

— А то?

— А за что тебя сегодня, говорят, бабка била?

— Да ведьма! Вот и дерется. Право слово, ведьма старая.

В окошечко избы показывается голова старухи Анисьи, и сморщенное лицо ее ласково смеется.

— Да когда же я те, касатка? Что ты? Иди, умница, домой: дождик сейчас пойдет, замочит. Иди, желанная!

Но Любка уже знает, что бабушке всегда кажется, что «сейчас пойдет дождь и замочит», и на ее зов она никогда не обращает ни малейшего внимания. Только послушайся ее и зайди в избу, и она сейчас же будет вычесывать Любке голову, а то, еще того хуже, снимет с нее платье, посадит голую на лавку, а платье в корыте выстирает и сушить повесит. Сиди и вой, пока высохнет. Не хочется голопузой-то на улицу выскакивать. Скажут: «Бедная, перемениться не во что». А Любке это обидно, потому что она убеждена, что двор у них богатый. Когда ей в гостях предлагают уго-

щение, она всегда пожимает плечами и немного презрительно улыбается и отворачивается.

— Пей чай, Любка.

— У нас дома свой чай-сахар.

— А пряника хочешь?

— У нас много всяких пряников.

— У вас, поди, и варенье варят?

— Варенья у нас страсть!

И хвастается она убежденно и даже не может себе представить, чтобы у них не было чего-нибудь, что есть у других.

И если кто-нибудь хочет сильно рассердить Любку, так рассердить, чтобы она бросилась драться и кусаться, ей говорят, что она бедная, что их двор самый последний, что ее бабка из нужды лапшу в самоваре варит.

Любка ругает бабку дурой, но она знает, что она «дошлая». Умеет заговаривать зубы и ворожить. Раскинет карты и сейчас скажет, где искать пропажу. К ней охотно обращаются, а она, поможет или не поможет, а глядишь, и заработает малость своим искусством. Случилось даже как-то, что за ней прислала соседняя помещица, когда у нее сильно разболелись зубы. Она заговорила, и барыне полегчало. Так ведь та бабке три рубля пожертвовала! Давно это было, но Анисья еще не может об этом забыть, как о самом значительном и счастливом случае в ее жизни.

Теперь у Анисьи постоянно ломит голову, в особенности «к погоде». Она говорит, что ей «вступило», когда за недоимки уводили корову. А тут безвестно пропал зять, и на шею стариков свалилась лишняя обуза: дочь с внучкой. В один последний год она состарилась за десять. Внучка хороша, да заботы-то сколько!

Любка смелая, и, когда бабушка зазевается, а деда и матери дома нет, она часто уходит далеко от дома. Ее можно встретить на плотине или на аллее барской усадьбы, куда ее мать ходит на поденную работу, или по дороге в поле, где работает дед.

— Куда ты, паршивая! — кричат на нее встречные бабы.— Собаки разорвут.

В усадьбе вся дворня знает Любку. При случае ее сажают с собой обедать. Она держит ложку в кулаке, строго и важно оглядывается.

— Хороши щи, Любка?

— У нас так же щи варят,— отвечает она.

Сидит она всегда на коленях у кучера — это ее приятель. Он рассказывает ей, что, когда нет сена, он кормит лошадей своей бородой. Лошади отжуют, а она опять вырастет. Любка с любопытством перебирает пальчиками его бороду, действительно похожа на сено, и не знает, верить ли ей или не верить. Он же подарил ей зеленую пуговицу, которую кухарка пришила к ее платью с правой стороны груди. Эта пуговица так понравилась ей, что она стала бояться, как бы дедушка не утащил ее, как самовар.

— Пропьет, старый хрыч!

Любимое удовольствие кучера и всей дворни заставлять Любку ругаться и учить ее новым бранным словам.

Любка редко смеется, а все кругом нее хохочут.

За ней часто приходит сам дед и уносит ее на руках.

— Пойдем, внученька, пойдем, ягодка. Мы с бабкой-то о тебе стосковались. Куда наша Любка пропала? Не съели ли волки?

И Любка обнимает деда за шею, прижимается к его щеке щекой и позволяет нести себя, куда он хочет.

Дед худой, сутулый, в зимней шапке, босиком. Ходит он осторожно, точно постоянно боится наступить на стекло. Глаза у него красные и всегда слезятся. Портки и рубаха из домашнего холста.

— Ты зачем же сюда, внученька, зашла? Ты бы дома сидела.

Он несет ее и приговаривает, а она зажмурилась, уже сонная. Закачало ее.

Матреше некогда возиться с дочкой. Мимоходом она утрёт нос или пригладит волосы, да так, что Любка едва не свалится с ног.

У Матреши никогда не умолкающая, никогда не забываемая обида. Она не хотела идти замуж за Акима, а ее выдали силой. Ну, вот что вышло! Другие живут, как люди, а она что? Загубили ее молодость! Обвенчали с немилым. Ни девка она, ни жена, ни вдова. В селе над ней смеются, из мужниной семьи ее выгнали. Сундук с приданым был — половину не отдали.

У всех права, а у нее у одной никаких прав нет. Придет она домой с работы, ляжет ничком на лавку и воет. Любка подвернется, она ее оттолкнет.

— Не было бы тебя, ушла бы в город, в прислуги бы нанялась. У-у, постылая!

Бабушка подойдет и стыдит ее, стыдит. Дед замахивается, точно бить ее хочет, а она лежит и воет. Да и били ее: и бабушка била, и дедушка бил, а она будто и не чувствует. Только уж если надоедят ей, то приподнимется и так взглянет на них, что они оробеют и оставят ее в покое.

Дед возьмет шапку и уйдет.

А Любка стоит и смотрит на мать. Видно по глазам, что думает о чем-то, хочет понять: почему же она постылая? То-то дура мать! В город в прислуги собирается...

Любка не имеет понятия о том, что такое город и что такое прислуга, но она знает, что это что-то недостижимое, призрачное. Это не хуже ее чепца, нитки из бисера и даже зеленой пуговицы. Вот куда метит ее мать! Невольно сквозь напускную презрительность в душе Любки шевелится уважение к матери. Она даже немного робеет перед ней. Вот если бы Матреше вздумалось когда-нибудь приласкать Любку!

Когда Любке этого бессознательно хочется, она только стыдливо смеется.

Кто-то научил Любку новому слову. Оно короткое, звонкое, и Любка не знает, что оно скверное. Теперь все ее спрашивают:

— Кто твоя мать?

И она отвечает радостно и отчетливо.

Матрена услыхала и принялась бить ее так, что дед с бабкой насилу отняли.

— Кто научил? — допрашивала Матреша.

Но Любка заупрямилась или забыла. Она отвечала:

— Сама выдумала.

Матреше сказали, что если Аким умер, то его пачпорт перешлют в волостное правление. Она часто ходит узнавать, нет ли пачпорта, и всегда бежит назад в слезах, вытирая лицо фартуком.

Чтобы испугать ее и посмеяться над ее страхом, кто-нибудь изредка сообщает ей, что Аким «объявился», сидит у себя дома и сейчас пришлет за ней.

— Врешь! — говорит она, а сама бледнеет и хватается за что попало, чтобы устоять на ногах.

— Увидишь, как вру. Сидит. В окно смотрит.

Ужас и отчаяние придают Матреше силы.

— Убью я его! — говорит она холодно и спокойно.

Ее дразнят.

— Сам он тебя раньше убьет! Не слепой, и люди не без языка.

Эти шутки дорого обходятся Матреше. Даже когда она убеждается, что над ней насмеялись, она не скоро приходит в себя и, крутя пальцем у левой стороны груди, уверяет, что у нее тут что-то оторвалось и покатилось.

Стоит зной, какого уже давно не было. Земля сохнет и трескается. Над деревенской улицей не опускается пыль, а так и держится в воздухе, а на дороге она глубокая, мягкая, горячая. В ней роются куры и садятся в нее, распустив крылья. Кроме кур, на улице никого больше нет. Даже собаки попрятались в тень. Солнце описывает по небу свой самый большой путь и уж как заберется с утра в вышину, так и льет оттуда светом и жаром до самого вечера. Пруд стал мелкий и ушел от берегов. Из колодцев стало трудно доставать воду, а все обычные лужи и трясины так высохли, что от них и следа не осталось, только земля там покрылась целой сетью широких трещин. Прилетит туда воробей, попрыгает, повертится.

— Чирик!

Где вода? Воды нет. Надо лететь напиться в пруду. Экая досада!

Стадо возвращается домой, окутанное тучей. Издали можно подумать, что где-то пожар, так густо, и черно, и высоко, точно дым, поднимается пыль. Овцы чихают и кашляют, коровы ревут. Кажется, что вот сейчас это стадо вытянет в свои засохшие, запыленные глотки остаток пруда и уж негде будет напиться и воробью.

Давно не было такой жары и суши, а народ как раз весь на работе: убирают сено. Антон с самого начала сенокоса пьян с утра до ночи, но так как пьянствовать в это время освящено обычаем, то Анисья с этим мирится и только по обычаю же журит своего старика, когда он возвращается домой. Сама Анисья из дома уже давно не отлучается. Целый день возится в избе или около избы и изредка окликает Любку.

— Любка, ты где? Иди, касатка, домой, дождик сейчас пойдет, замочит! Иди, умница!

Любка, по обыкновению, не идет, но она и не убегает никуда, и не шалит, и даже не играет. Она тихо сидит, как курица, в горячей пыли и с чем-то молча возится, лениво, без увлечения. Почему-то она теперь кажется совсем маленькой, беспомошной, и даже трудно узнать ее

русую головенку без чепца и ее бледное, почти чистое личико.

Любка больна животом. Надо бы свезти ее к доктору, да до больницы шесть верст и время такое тесное: лошадь занята, дед пьян, мать работает. Да ничего: выдуется! Боль детская. По всему селу ребята хворают. На то они и ребята. Беспокоит Анисью только то, что Любка ничего не хочет есть, а только пьет и пьет воду. Без еды умрешь. И поэтому она все придумывает, чем бы соблазнить внучку.

— На лучку-то. Зеленый лучок, сладкий! Ты его с хлебцем. Я сольцы посолю.

Любка ничего не хочет, мотает головенкой и отпихивает бабкину руку.

Что-то ей скучно. Не хочется даже ругаться. Бабка берет ее в избу и укладывает на лавку. Она там поспит и опять выползет. Приходит ей в голову, что хорошо бы отправиться на усадьбу. Может быть, там кучер коляску моет. Как-то раз он ее мыл, а она смотрела. И все время они перекликались. Она крикнет:

— Дядя!

А он ей:

— Ась?

Она опять:

— Дядя!

А он опять:

— Ась?

Она громче, и он громче. Она протяжно, и он протяжно. Да так без конца.

А потом он поднял ее, посадил в коляску и закатил ее в сарай.

И пошла бы, да ноги что-то не ходят: слабые. Слышно ей, что на пруду крик и гам. Это ребятишки купаются. Купаются они теперь целый день, благо раздеваться недолго.

Любка знает, как это весело, но сама еще не купалась, а полоскалась как-то в луже, рядом с прудом. Там не утонешь. Так же весело было, но очень уж она замаралась, пришла домой вся в грязи.

Лихо купаются мальчишки! Заберутся на перила моста и оттуда летят в воду. Эти ничего не боятся! Смотреть на них жутко, но и интересно. Пошла бы, да не хочется.

Пробует она пореветь, да и реветь лень и бесполезно, потому что никто не слышит.

Но вот опять идет бабка и неожиданно начинает окутывать ее платком.

— Нездоровится, а на ветру сидишь. Как бы не охватило,— бормочет она.

Любка не протестует: давно не приходилось ей ходить в этом теплом платке, и ей кажется, у нее в нем богатый вид. Она даже улыбается от удовольствия. Знакомое чувство гордости всем великолепием ее жизни на миг заглушает нездоровье и скуку. Хоть бы прошел кто-нибудь мимо и увидал бы ее!

Бабка, должно, переделала все свои дела: села на порог избы и дремлет.

А солнце закатилось высоко, высоко и, кажется, остановилось. Неподвижны в воздухе зной и духота.

Дед убрал сено и пропил его почти все.

Анисья сама ходила к лавочнику Петру Степанову, кланялась в пояс и умоляла, чтобы он, если ее старик будет еще предлагать купить у него сена, гнал бы его, пьяницу, в шею и денег бы ему не давал. С той же просьбой ходила она и к другим купцам и всюду кланялась, плакала и проклинала мужа на чем свет стоит.

Над ней все смеются.

По вечерам у Губанов стон стоит от брани, крика и слез. Кончается это тем, что Антона выталкивают на улицу без шапки и он долго топчется перед своей избой, с трудом удерживая равновесие, и с недоумением разводит руками.

— А хозяин кто? — рассуждает он сам с собой.— Я хозяин. Это как же? Хозяина, да вон? Кто смеет? А не смеет этого никто.

И, уверившись в своих правах, он идет назад в избу и кричит:

— Старуха! Хозяин идет! Покоряйся!

Любка лежит на печке и слушает. Она все не поправляется и так извелась, что от ее крепкого, ладного тельца остались только кости да кожа. Но Анисья верит, что ей теперь скоро будет лучше: у тетки Ульяны нашлись порошки из больницы и она охотно пожертвовала их Любке, так как они ей давно больше не нужны. Ульяна давала их своему ребенку, а тот с год уже как умер, но не от порошков, а от того, что он белены наелся. Няньку его,

Маньку, отходили, а он умер. А порошки хорошие и хорошо помогали. Чем еще ехать за ними, а они уж тут.

Любка охотно принимает лекарство, потому что гордится, что ее лечат. Это льстит ее самолюбию. Гордится она и тем, что мать об ней ревет. Матреша не верит, что Любка может поправиться.

— Чернеть стала,— говорит она,— лицо землей подернулось.

— Как Любка умрет, я и уйду,— грозит она старухе Анисье.— Мне уж место выходит...

Ревет она, что Любка умирает, и ревет о том, что, когда она развяжет ей руки, ей, пожалуй, не выдадут пачпорта из волостного. Ведь у всех права, а у нее никаких прав нет. Навязали ей силой мужа Акимку, он пропал где-то, и она должна пропадать. Ни жена, ни вдова, ни девица. Писарь говорит: нельзя такой пачпорта дать. Таких будто и не бывает совсем. Смеется, что ли? Как же не бывает, если она именно такая и есть? Такое, говорит, ты существо, что тебя ни под какой закон не подведешь.

От таких слов у Матреши обрывается и закатывается сердце. Если волостной писарь и шутит, то поди-ка поищи свой закон! Захочет, и шутка крепче закона ее дома свяжет.

Любка совсем не хочет умирать. Вся ее жизнь продолжает ей казаться богатой, красивой и нарядной, а о смерти она никогда и не думает и думать не умеет. Только когда мать говорит: «Умрет Любка. Чует мое сердце»,— ей становится немножко неприятно и она пожимается.

Заходит иногда соседка и спрашивает:

— Любка-то еще не умерла?

Если никого нет в избе, Любка сама приподнимается и отвечает:

— Нет.

— Полегче тебе, что ли?

— Не знаю.

— Как, ты все жива?

Но хотя этого еще никто не знает, Любкина судьба решена: она не умрет на этот раз. Она выдулась.

Дед и мать опять на работе в поле. Убирают рожь. У бабки ломит голову, и она вся закуталась большим теплым платком и ничего не слышит. Любка выползла на по-

рог избы, оглянулась по сторонам и еще робко, еще слабо улыбнулась солнцу, теплу, зеленым деревьям, пыльной дороге, веселым воробьям и озабоченным курам. Она стоит на своих исхудавших ножонках, а ее пошатывает. Наклонилась было за комочком земли, чтобы запустить им в петуха, и неожиданно крепко села на землю. Удивилась и теперь сидит, смотрит и слушает. Плывут облака по небу, зеленой стеной стоит через дорогу господский сад, и там, где-то, звонко лает собака. Кричат, купаясь, ребята на пруду. А над самой ее головой, на ветле, возится какая-то большая птица и все машет крыльями и точно срывается и падает и старается удержаться. По дороге идет старик нищий с сумкой за плечами; в руке высокая палка. Он не глядит на Любку, а все-таки немного страшно: как бы не унес.

И вдруг из-за угла сада быстро выскакивает лошадь, а за ней дрожки, а на дрожках Любка узнает своего друга-кучера. Он катит прямо к ней и тоже не глядит в ее сторону, а Любке хочется, чтобы он заметил ее, и она поспешно встает и машет руками.

Кучер осаживает лошадь и останавливает ее.

— Любка! Аль ты жива?

Она бежит к дрожкам изо всех сил, с испуганным лицом и поднятыми плечами, готовая упасть на каждом шагу и не падая только по какой-то странной случайности. Ее ноги спотыкаются, заплетаются, семенят на месте, но она все-таки подвигается вперед и, наконец, падает на руки кучера. Он поднимает ее и сажает перед собой.

— Ишь ты! Выздоровела,— удивляется он.— А весу в тебе никакого не осталось, что твой воробей.

Любка стыдливо смеется и заглядывает ему в лицо.

— Покатать, значит?

И они едут

— Эй! — кричит кучер нищему, который бредет впереди, и тот испуганно отскакивает в сторону. Разбегаются с дороги куры и прыскают из-под ног лошади воробьи. Сбегаются собаки, прыгают и у колес, и у лошадиной морды, лают, задыхаются от злобы. Баба с коромыслом остановилась и ждет, когда промчатся дрожки. Взапуски припустилась за ними стая мальчишек.

Любка вся сжалась и притаила дыхание.

Оголившиеся исхудалые грязные ножонки ее торчат в

сторону, руками она уцепилась за одежду кучера; ветер треплет ее волосы, а бледное, изморенное лицо ее выражает растерянность блаженства.

Какой почет! Какая слава! Вот когда гордость ее вполне удовлетворена!

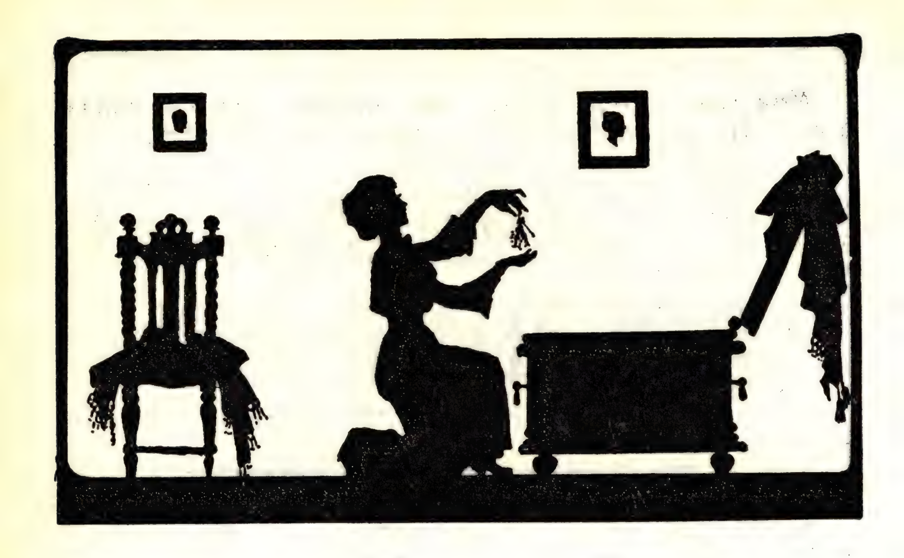
Гордость маленькой, ничтожной, еле живой Любки в ее «богатой, пышной, великолепной жизни».



А. И. ЦВЕТАЕВА

ДЫМ, ДЫМ И ДЫМ





Посвящается
моей сестре
Марине Цветаевой

Выпуская в свет мою вторую книгу, я заранее объясняю, что это — вовсе не мой дневник, как сказывали, ошибочно, про мою первую книгу.

То были мысли, а это — мои всевозможные чувства, которым я не найду лучше названия, чем «Дым, дым и дым»

Я извиняюсь за чрезмерную интимность страниц, делающую их похожими на дневник, но без событий и обстановки были бы непонятны чувства, составляющие содержание книги.

Я позволяю себе указать читателям на необходимость последовательного чтения, так как эта книга имеет план, и только тогда даст свое истинное, то есть стройное впечатление.

А мои дневники впереди. Они выйдут лишь много позднее, с ясным и кратким названием «дневника»*

Не оттого, что земля летит, все стало сном. А лишь потому, что все мною воспринималось, как сон, я узнала, что земля летит

[1] Дневники погибли в годы Отечественной войны.— *Прим. авт , 1986*

1

Мой голос — моя жизнь — мое чтение — это как тайна игры — Паганини. Как речи Уайльда — все пропадет,

— и будет совсем непонятно,—

что люди находили во мне!

Тот, кто будет читать мои книги, в них не найдет и половины их смысла,— ибо книги мои — это скрипка, а мой голос — это смычок!

Тонкие тени улыбки,
сарказма, веселия, грусти, иронии,
понижения, повышения голоса —
все пропадет...

А это в комнате давало впечатление музыки, и слушали меня изумленно и тихо!

Каждое чтение моего дневника в жизни моей — было победой над кем-нибудь.

Я это знала всегда — до упоения ясно.

И — тихо — у меня голова кружилась,
на моих бледных щеках — вспыхивал румянец волнения,
и смех становился короткий и легкий,
и голос дрожал, как смычок,
рука моя привычным движением протягивалась за тетрадкой,
которая сама раскрывалась — на великолепных строках...

Закрывались двери. Тихо лампа горела. Звезды сияли в небе, в щелочку занавески. Я еще раз поправляла листы, облокачиваясь о цветную подушку,

лицо мое легким движением спрятано в тень,
и вот начинается в комнате:
глубокое и чудесное,
мне — знакомое, слушателю — незнакомое,
волшебство!
Медленный
начал
смычок
по струнам
туго натянутым
свой медлительный танец
легкий!

Задумчивый и певучий голос мой тает, как дым, неуловимо смеется рот, глаза опущены на страницу,— о чем я читаю?

Жизнь, музыка, смерть, моя юность. И вдруг —
легкий смычок затанцевал по струнам коротко и отрывисто,
раздается неудержимый смех,
вся комната дрожит от веселия и блеска...
Бриллиантами падают иронические замечания,
и черным алмазом — сарказм...
жемчугом катятся слезы,
рот перестал улыбаться,—
и вот уже снова невыразимая грусть окутала все!
Медленный
продолжает
смычок
свой медлительный танец,—
мрак.
Глубже.
Глубже.
Обрыв! Глубина!

Мне темно. Подняв глаза от тетрадки, я придвигаю лампу на край стола; руки листают страницы.

Вот это:

«В жизни нет ничего, кроме романтизма. В мире нет ничего, кроме грусти. В небе нет ничего, кроме пустоты. В человеке не может быть ничего, кроме жажды, и мир не должен ее утолять!

Ни перед кем, никогда я не буду права. Никогда я не буду царем положения. Я не сделаю ни одного из тех вечных жестов, которыми держится мир. Я слишком чувствую смерть, и ее неопровержимое приближение в каждой минуте.

Я умру, высказав меньше, чем кто-либо!

Если бы были еще храмы эфесские, я бы сожгла их все! Если б я верила в Прометеев огонь, я бы его добыла!

Но их нет. И в огонь я не верю. И сделать — ничего нельзя!»

И затем короткое замечание:

— Это я писала давно, восемнадцати лет!

— Вот пожалуйста, ту; нет, рядом, вот эту тетрадку. Мерси. Шелест страниц. Мой замедленный голос...

Я читаю. У меня щеки горят. Кончила. Что-то говорю — очень быстро и обрываю:

— Можно еще прочесть?

— Нет, я знаю, что я пишу хорошо, но ведь, когда много, то утомительно... Ах, где же это? Сейчас.

Человек сидит, слушает. Перед ним — молодая женщина читает свои чувства и мысли. И что за чувство он испытывает в ответ, слыша:

«В моем замысле докончить Заратустру — нет ничего невероятного, кроме дерзости. Пятая и шестая части «Так говорил Заратустра» — благоговейно посвящаются Ницше...»

И дальше:

«Дайте мне вечную жизнь. Дайте мне кругом земли не воздух, а мед. И пусть облака будут сказочными ладьями, и пусть реки побегут вспять — повторяю раз навсегда: все безнадежно. Все, что сможет существовать, будет нелепо, потому что, наверное, надо было, чтобы никогда ничего не было...»

«И хоть бы кругом — пир, великолепие, золото, тигровые шкуры, чаши с вином, книги, вся мудрость земли, христианство, буддизм, теософия,— все же через 50 лет нас не будет, и все будет зелено на земле...»

...«Пусть за небом — грань и конец, все же **есть** бесконечность; если у неба **нет** конца, **оно** бесконечно; если бог есть — **он** в бесконечности; все — часть бесконечности. Поэтому все безнадежно, а бесконечности не уничтожить никогда».

...«А наверху для меня все тот же вопрос, и все тот же ответ — о как садится солнце, как медленно озаряются пашни, как тихо, тихо, страшно — далеко, несутся звуки гармоники, и вот уж кузнечик... Все радостно, все пусто, все глубоко!..»

Тихо лампа горит. Двери закрыты. За ними детский голос:

— Мама, мозно?

— Нет, деточка, сейчас нельзя.

От смущения, убирая в шкапчик тетради, я сразу начинаю посторонний, веселый, нелепо-мучительный разговор.

Звоню. Велю подать чаю. И в сердце острая, до боли, тоска.

Ах, зачем я столько прочла? Любовь к тетрадкам меня охватывает кольцом тоски, мне хочется быть одной, лечь на диван, закрыть глаза, чтоб было тихо, чтоб не было судьи, зрителя...

Пряча лицо в тень, я что-то говорю, и улыбка моя на-

пряженна, но я скорее умру, чем покажу, что мне нехорошо.

— Да что вы, ах это очень весело! Тот же самый, который тогда говорил...

Несут чай. Вдали — голос Андрюши. Я зову его. Вот он стоит на пороге, широко распахнув дверь, в бархатном платьице, тоненький; темные глазки блестят под прядками золотистых волос, белый воротник вокруг шеи.

Я беру его на руки, подхожу к гостю, они здороваются, и Андрюша мячиком катится на диван, и лукаво:

— Мама, мозно мне пастилу?

— Можно, деточка. Няня, и потом возьмите Андрюшу.

Андрюша не хочет.

— А что я тебе покажу...

Мы одни.

— Что ж вы не пьете?

— Спасибо, я буду. В одном из ваших отрывков...— начинает медленно мой гость...

У меня тоска сразу вспыхивает перед тем как: возрасти или исчезнуть — не знаю. Легкий озноб бежит по рукам и спине. Я сижу на диване, облокотясь о подушку, слушаю и смотрю.

— ...Прекрасно то место, где вы говорите...

Тоска! Счастье? Не знаю. Слушаю...

2

Отворив свою дверь, я почувствовала бесконечное счастье. Здесь — только я; я одна, мои книги, тетради, и все — как хочу... Нет у меня терема — слава, слава свободе! Вчера, сидя за чаем, слушая разговор, я смотрела на всех и думала. Все по двое, по двое... И мне — то душно, то горько.

О, я не жалуюсь! Я все отдам за этот миг, когда я от людей вхожу в мою тихую комнату, где меня ждут мои книжечки. Но меня поражает порой мое одиночество среди всех. Семья, вещи, дом, уют, мир — каждая женщина окружена своими дорогими цепями. И я хорошо сознаю, что никто не дает тепла, кроме любящего мужчины.

А меня — дома никто не ждет, обо мне никто не заботится, у меня нет — ни прочных друзей, ни среды. У меня только люди, которые меня любят,— но ведь это песок, а не почва. И песок этот сыплется возле меня, больно делая сердцу; сегодня — друг, и нельзя разлучить, а завтра — я

решаю расстаться, а послезавтра — я одна, и он один.

И нет среды. Как будто бы она была возможна при моих мыслях и встречах! И я ничего не прошу.

Я только хочу указать на ту горькую острую нотку каждого моего дня с людьми.

Смотрю и думаю: «Из-за свободы моей все мнят меня — девочкой. И думают, что я «ищу» — не нашла еще. И говорят со мной как... с подростком. Если б знали вы, дорогие мои друзья, о чем вчера вечером была речь в моей комнате. Кто из вас продумал те слова, что вчера я сказала? Но это все — в тиши. И вы, любезная хозяйка дома, любующаяся мной,— не знаете, что среди ваших гостей есть тот — кто бросил бы для меня свою жизнь — вверх, как мячик!

Вы не знаете, что сегодня в нашей гостиной — наша последняя встреча, что мы оба не слышим ни одного из тех слов, на которые так весело — отвечаем!..»

И вслед затем:

«О блаженство уединения! Кто так свободен, как я? И чье будущее шумит впереди таким водопадом,— далеким, таинственным, без названия!»

Моя жизнь — это взлеты, падения, страшная тоска, постоянная мысль. Горечь без дна и без края! И все же — я совершенно счастлива.

3

Всю жизнь буду жить одна. Поняла это. Потому что обожаю тишину, и себя в ней.

4

Через полчаса загляни ко мне тот, кто со мной простился после вечера беседы и чтенья — он не узнает меня. Взгляд мой совсем другой. Ни тоски, ни ласки. Мои глаза глядят куда-то далеко, равнодушно, бесцельно, а если с тоской — то с другой. Вокруг — предметы, которых я не видела тому назад полчаса, потому что ничего не видела, кроме его и себя. А сейчас я все вижу. Грань зеркала в зелено-синих огоньках, и ландыши стоят в блестящем стакане; я вижу все: узор ковра, ручку двери, даже отлично замечаю все вычурные цветочки на чашке с гирляндой.

Я слышу шум лифта, глухой звук шагов, легкий запах папирос еще стоит в комнате...

Я одна в мире. Вокруг — мое прошлое, мое будущее. Я стою с глазу на глаз с коренными вопросами. И кто поможет их разрешить?

Кому я шепну то, что чувствую?

Наутро я привыкла быть одной.

И когда в дверь раздается стук, то голос, которым я говорю «войдите» — свеж и вежлив, но в нем нет ни единой нотки, соединяющей «сегодня» — с «вчера».

5

От тоски меня не избавит никто и ничто.

Меня надо оставить одну, с моими вечерами над дневником, над письмами, с пластинками граммофона, с звонками по телефону Марине и с внезапными поездками на чей-нибудь зов.

Смотреть на меня и знать твердо, что все это — «не то» и «не то!». И не знать: что же «то» — для меня!

6

Наше стремление все слить в едином итоге нас приводит к понятию загадки там, где есть только сложность.

Загадки нет.

Я утверждаю: я, как каждый человек, абсолютно не загадочна, но я бесконечно сложна.

Загадка — это ящичек, от которого ключик утерян. Но ключик найден — и мы видим все содержимое: алмаз ли, тоненькая ниточка жемчуга или «беззаветное сердце».

Но человек (и я — в частности) вовсе не ящики с ключиками.

Лишь тургеневских девушек разгадывали по одной их фразе. Я же их несколько переросла, и меня не только по одной фразе, но и по десяти — «разгадать» нельзя. Я допускаю даже то, что я скажу самое истинное свое и краткое, например, то, что «все относительно»,— но и это не дает ничего в руки,— все тут тает в руках, как дым,— я завтра же с новой силой воскликну: «Есть лишь одно, что не относительно — это...»

Но есть один способ меня узнать — это начать жить со мной со дня рождения моего до дня смерти, все видеть, все мотать себе на ус, и в итоге всего — над гробом моим произнести два-три слова. Не в обиду будь сказано, что были бы эти слова, вероятно, неинтересны (например, что дваж-

ды два есть четыре, или что дважды два — пять — это после целой-то жизни,— о бедность последнего заключения!),

но и тут я не могу не взбунтоваться, встаю из моего гроба и говорю:

— Милый друг. Из всей моей жизни ты вывел вздорнейшее заключение: ибо, может быть, самый замысел два помножить на два — далеко не так блестящ, как он мнится!

Если б ты был тонок, изыскан и понимал бы толк в вещах хорошего вкуса, ты бы никогда не допустил себя до столь нелепых минут. Ты молча отошел бы от гроба, разведя руками, объявив в заключение всего, что *ты* обо мне — решительно ничего не знаешь!

Да. Так я думаю. Никто никого никогда не сможет узнать.

Так, скользят какие-то тени, призраки, блеснуло что-то, что-то погасло, вновь загорелось, вновь погасло — смотришь — и все погасло!

Из этого было бы мило вывести, что — все есть загадка. Но я воздержусь. Я говорю как прежде: загадки нет никакой.

Но есть недостаток в атрибутах времени, которое бежит неизвестно куда и зачем.

Есть недостаток в атрибутах пространства, мешающий нам быть в данный миг, где нам хочется.

Есть недостаток в способах восприятия и в течении памяти... И вообще, есть недостаток во всем!..

7

Я говорю: «Земля летит, этот день никогда не повторится, приходите ко мне, не уходите от меня, говорите, я буду вас слушать, слушайте, что я говорю,

ни единого жеста не удерживайте, ни единому желанию не ставьте преград,

потому что — земля летит, этот день никогда не повторится, через 50 лет мы будем в земле».

Но через слова мои — ясные и краткие — пробиваются другие слова — туманные и неверные:

«Мне безразлично, летит земля или нет, я равнодушна к выводам моих мыслей. «Пламенные шаги» — да, так надо. Но я предпочитаю быть — совершенно иной. Я вас люблю. Но я не подойду к телефону, я вам не пожму — крепче — руки.

Да, я слыхала свои же слова, что надо быть откровен-

ной,— но я предпочитаю скрывать. Вы прелестны. Но я вас не поцелую. И — что ж? В общем — игра словами: там я холодных, как лед, людей, зову и учу быть — горячими. Тут я удерживаю мое пламя, окружив его — льдом.

Я права! Где мудрость и где безумие? Где закон и где преступление закона?

В том, чтобы все сметь — оттого, что земля летит, или в том, чтобы сковать себя по рукам и ногам — из-за одного вкуса к изысканности!»

8

Был синий вечер, воскресенье. Вдоль трамвайных рельс, запруженных вагонами, мерно шли войска, позвякивая чайниками, блестя штыками. Вдали раздавалась музыка, толпа бежала по обоим тротуарам, небо было ночное, синее.

Я держала одной рукой Андрюшу; его матросское пальто было так весело среди двигавшейся массы людей; извозчик ехал шагом, Steckenpferd* трогательно прижался мордочкой к Андрюшиному плечу. А я думала о том, что, может быть, это будет его первое воспоминание — змея трамваев, музыка, штыки — как фантастично! — а у меня уже позади — целая жизнь. И быстро пролетит ее продолжение, все — сон...

Люди идут на смерть, я слушаю музыку, небо в звездах, деревья Зоологического сада, весенний вечер, Андрюша, я.

Бесприютно! Меня холодом схватило это чувство, острое, как игла. Где вы все, мои друзья, защитники, не слышен вам мой голос! Вот я и Андрюша, и больше нет никого. Мы вот едем вдвоем на извозчике, среди шумной, нестройной, жуткой толпы, и мы оба — я в двадцать, он в два с половиной года — брошены на самих себя, в полную ответственность. Не ропщу; вечер ясен, звезды горят, музыка и топот солдат — не ропщу, а только говорю: бесприютно.

9

Я бежала сейчас по улице. Когда я мирно, без подъема, вышла от Марины, перламутровая розовая полоса, за 10 минут сиявшая над морем, померкла. Я взглянула на небо, вдруг почувствовала восторг, и побежала вниз по горе, через камни, в светлом с кружевом платье, держа

* Игрушка: палка с лошадиной головкой.— *Прим. авт.*

соломенную, с большими краями, шляпу. На меня смотрели; смеялись. А я — чем больше бежала, тем острей ощущала счастье. Невыразимая легкость была во мне. Я уже не могла остановиться. Я бежала по улице в городе, где все меня знают, где знают, что я держу квартиру, прислугу, что у меня — сын... Как девочка, как в 14 лет, я бегу, перепрыгивая, по камням. Смеются. А мне хочется крикнуть: «Дайте скорей пробежать по улице, мимо ваших домов, мне 19 лет, я не знаю, что будет, я, может быть, никогда не пробегу по этим камням!..»

10

Как я хотела бы все же не найти никогда этого «он», которого пророчили все, и Л. «Будет, будет, и все это — пройдет!» Пройдет! Я буду жить для одного, выберу, наконец,— и страдания и счастье — русло. Впереди не будет тумана и страха. Я не каждому смогу «кинуть руки на плечи, под светом далекой звезды»*.

Мои вечера, темные, мои утра, насмешливые и прекрасные; захватывающие до дня очарования мое, что я внезапно могу подойти к человеку, не отойти — три дня, десять дней, месяц...

И то, что я сразу все говорю и ни о чем не прошу,— и вдруг прошу обо всем; ночи бесед и рассветы, которые я обожаю больше всей жизни моей!

И в легкие прелестные утра моей ненасытимой жизни я говорю:

«Я не хочу, чтобы был «он».

Л. говорил, улыбаясь: «Тогда все станет иным!»

Так вот, я не принимаю этого мира — иного — еще раз!

11

Как я часто сравниваю себя с Одинцовой!

Во мне есть много схожего с ней.

К чему я так или иначе стремлюсь?

К тому, чтобы меня полюбили.

А тогда — у меня опускаются руки.

Ибо — что делать?

Человек, который меня не полюбил, для меня не имеет смысла.

---

* Из моего дневника 16-ти лет.— *Прим. авт., 1916.*

Но если он меня полюбил — мне нечего ему сказать.

И чем больше радуемся мы в первых разговорах, тем безысходнее будут последние.

12

Если бы он мне сказал: «Ася, я Вас люблю, наша встреча — чудо вселенной. Но если Вы умрете, я не подумаю о самоубийстве, и, может быть, под конец моей жизни — Ваш образ во мне сильно погаснет. Идя за Вашим гробом, я буду видеть, как солнце играет в лужах, и радоваться, что не я умер, а другой. И может быть, редко... может быть, никогда — не приду на Вашу могилу».

Я бы ответила: «Сердечко! Ваша любовь мне — достаточна!»

Я так люблю жизнь, что знаю: кто больше: Ася — или жизнь? — Жизнь. Это — единственный случай, когда я не отвечу «Ася». Я люблю этот мир, для которого ты меня позабудешь — больше души своей!

Итог:

Это — итог двадцатилетней жизни: что такое любовь? Все? — нет; часть жизни. Я дня не могу прожить без любви, но я ни за что не скажу: любовь — все, иного нет смысла. Есть смысл. Есть масса смыслов. Солнце. Собака. Путешествия. Одиночество. Игра. Философия.

13

В чем больше красоты: в том, чтобы сделать первый шаг, или заставить другого его сделать?

Сердце мое уже бьется тише, и я смело себе говорю — еще раз — что все относительно.

Подойду я или не подойду к телефону — я не знаю. Но подношу к губам его карточку и смотрю. В этом — все! Дальнейшее — безразлично. Потому что я не знаю, в чем мое достоинство: в том, чтобы быть горячей, или в том, чтобы быть холодной. И то и другое бесконечно легко, бесконечно мне близко.

Но что такое, как подумаешь с минуту, «достоинство»? Я настаиваю на том, что голову разбить можно — только от себя самого!

14

Плиты тротуаров! Апрельский день! Маленький Андрюша, везущий тележку, у Н. распахнуто черное пальто, на зеленой фуражке блестит значок, глаза под пенсне щурятся от солнца!

Я!

Мы идем, и медленно за нами, на деревянных колесиках тащится Андрюшина тележечка. Мы говорим о возможности беспорядков. Я сперва, в отвращении, пугаюсь, и хочу ехать в глубь страны, потом спрашиваю Н., примкнет ли он, он говорит, что не знает. В этом много любопытного, да. Но на мое задумчивое явление, что, может быть, и мне надо попробовать стать героиней, он отвечает: «Нет, не стоит, в конце концов».

Я вспоминаю, что за всю мою жизнь я активно жила только в третьем классе гимназии, и уж в четвертом соскучилась. Но он утешает меня, что возраст тринадцати лет еще раз неожиданно возвращается.

— Бог знает! — говорю я задумчиво,— может быть, все же — чтобы понять — надо непременно примкнуть.

— О конечно!

Мимо мчится галопом солдат на лошади. «Ах!» — вырывается у меня.

А солнышко светится ласково и медленно клонится к западу.

В нас обоих столько всего, он так прелестен, так тих, так замедленно звучит его голос — и шаг; так «лениво» расцветает на его губах улыбка, и через минуту он может так загореться, жесты его станут быстры и широки, глаза заблестят, голос зазвенит как струна — весь другой! — но вот снова поник — и медленно падают интонации, и в лице, тонком и юном, какая бесконечная грусть! Точно жажда покоя... точно тихое одиночество, и что-то спокойное, как в старости, светится в его внимательном, чуть улыбающемся взгляде. И так похож на своего брата Бориса, с которым я рассталась.

А сейчас, когда солнце осветило его, какая-то страшная нежность видится мне в его глазах, глядящих далеко, на золотистую пыль заката, нежность бесконечная и простая...

Что-то смертельное схватывает меня за сердце от этого весеннего дня, от неги солнечных лучей, от медленного нашего шага, от тележки, катящейся сзади, от него, от себя, от того...

15

Мы простились у мостика. В бурном небе неприветливо подымалась красная луна, убывающая. Я шла по полю, от которого душно пахло полынью, вверху были звезды. Ночь была вокруг меня. И счастье. Восторженным движением, в котором мне не хватало воздуха, я обняла крест-накрест плечи и, широко открыв глаза, шла так, глядя во тьму, в ночь, в ветер, чувствуя Вас, слыша Ваш голос, нежные Ваши и сдержанные слова, видя очерк бровей и глаз — ничего не видя...

И так я буду идти еще много раз, много раз после «первого разговора»! Падаю ниц, в пыль дороги, и целу́ю землю за то, что я такой ее вижу!

16

Как — утром я была полна веселья и остроты, ласковости, шуток, вызова и как — вечером утомлена целым днем мыслей о нем, и десятью часами прожитой жизни, была другая, точно на десять лет старше! И как не хотелось острить, и как шутки были тяжелы и не к месту — раскинув руки по песку, лежать, солнце ложится, мчатся паруса, мчатся волны...

— Как оскорбительна жизнь!

Лежала и думала: «Я хочу только того, чтобы увидать его вдали, приближающегося,— больше ничего не хочу — и это мне не дается! На это я отдаю силы целого дня!»

И — дальше: «Подумайте о том времени, когда я, тяжелее камня, буду лежать мертвая; подумайте, эти руки, сейчас неловкие и прелестные, холодны и больше не движутся; не пробежит это тело на легких моих ногах по камням!

Бурно открыли бы Вы, если б знали, дверь мастерской и сбежали бы вниз... Вы же подходите, здороваетесь, спрашиваете о купанье; если бы знали Вы, как больно мне отвечать на вопрос — сколько я собрала камешков!

— Будет время, мой милый друг, когда, прожив жизнь трудную и пустую, искусство ставя выше жизни, Вы, метр,

— улыбнувшийся над лиричностью моих строк, сказавший о них «ребячество»,

вспомните, пожалуй, меня, наивную девочку, веселую, острую, дерзкую, невоспитанную, всегда немножко смешную, говорившую Вам о Ваших стихах вещи простые и,

должно быть... московские,— перебирая в ладонях пестрые камешки, кидая их вверх!

Жизнь пройдет, все пройдет, тверже, скорее, чем мнится! Уже нет этого дня, и он никогда не повторится...

Канет во тьму все: «классицизм, символизм, акмеизм»,— и, когда-нибудь, Петрограда не будет...

Покончив с собою или скончавшись пристойно, Вы будете под землей — тьма навек, как не думалось Вам и как уже случалось со многими.

Декламатор! Поэт! Вы тогда поймете, пожалуй, смысл моих «нелепых» речей и моих «московских» поступков!

И вспомните Вы тогда, если сможете, наши давнишние разговоры.

Ваш юмор, Вашу сатиру,
мой вздох,
Ваши критерии всех вещей
и мое знаменитое «озорство»
и то, как подолгу я слушала Вас, во всем несогласная с Вами, не споря! — Но не вспомните Вы, так как этого не узнаете, как какой-то озноб тоски несся по мне!

Так позвольте напомнить Вам — равнодушие мое — после нежного обращения, то как я внезапно вставала идти, то, как подавала Вам руку и как не могли Вы понять ничего, видя такую грусть, слыша в саду через пять минут — мой веселый голос!

17

Легкий балкон с резными перилами, за ним — дождь и черная ночь. Феодосия без огней утопает в зелени; из аптеки, внизу, и из ресторана — щитами затененный свет (от моря, от турок). Блик света, упав на край дерева, осветил одну его веточку. Едут экипажи. Гудя, мчится автомобиль. Я сижу на стуле, в тени, вдыхая легкие капельки. Передо мной, в луче света, падающего из комнаты, стоит, в коротком сером пальто, тоненький юный Пушкин. Прядь темных легких волос упала на его лоб; тонкие руки сложены на груди. Его силуэт рельефен и ярок на фоне тьмы — я его на всю жизнь запомню! Позади, в открытой двери, ветерком чуть зыблется длинная кружевная штора, а за ней на столе мягко горят в высоких подсвечниках две свечи, освещая накрытый стол, чашечки, блестящий кофейник. Чуть сощурясь, курю.

18

Я все в жизни встречаю с пафосом. Все во мне вызывает — тайный восторг! Но как я люблю эти темные — жгучие — инстинкты души моей, о которых так трудно сказать!

Сижу, опустив руки на черные складки пальто, курю; вполне ему неизвестная. Он сидит, что-то говорит. И вдруг — с невероятной силой, разрывая все, что стоит на пути,— и с каким наслаждением сознаю я этот мутный призыв,— делая больно голове, лбу, рукам, всему сердцу, всему существованию,— во мне несется тоска! Она темна и величественна. И в эти минуты я хочу той потрясающей красоты жизни, которая именуется ею безобразием, в которой все — мутно, все — через край. Вызов всей душе моей, всем тихим чувствам, всему, что я лелеяла вчера и буду лелеять завтра!

И в эти часы что сказала бы я М. А., другу моему, защитнику, моей пристани?

Только то, что пристани нет, что я одинока.

Я не обманываю себя. Я прекрасно знаю, что я никогда не погибну. Все — час, все — миг. Я бы стояла чиста, как всегда, устала, невинна, в тоске: за окном — зелень, даль гор, деревенька, сельский ласковый пейзаж... Вон голуби у ограды церкви и деревенский погост...

И сейчас — не курю ли я, с улыбкой смотря в окно, на желтую даль холмов за изгибом моря? Не напеваю ли я чистый мотив «избитой» Санта Лючия?

19

Никуда идти не хотелось. По освещенной и шумной Тверской я прошла в Трехпрудный. Мне хотелось этот день завершить именно так — о дом волшебный и давний!

Дворник отпер мне черный ход, и, не зажигая света, я прошла по комнатам внизу, потом вверху. Пусто, холодно, тени, снаружи падает свет. Выступы, печи, двери, окна, паркет, разорванный линолеум... Как дико идет жизнь!

Сколько людей, сколько дней, сколько лет! И прошлое — не больше чем сломанная картонка — о боже мой!

Я стояла, прислонясь к подоконнику, в глубине моего бывшего «магического кабинета», и вспоминала. Этот дом — он точно прообраз всей жизни: было — ушло. Ни

следа. Голые стены. С вокзала слышались, как всегда, гудки... Те же окна... Все реально.

И нет ничего.

И я уж не та, и меня нет. Да, Гераклит, мы вступаем в ту же реку,— и не вступаем в нее!

Двор: сугробы снега, мостки, знакомый вход, тополя,— ведь это кипело, жило; хлопали двери, мы выбегали во двор, визжали собаки... Темно. Мокро. Окна блестят. Вот мои окна. Дом стоит. Все, как прежде. Ничто не дрогнуло. Почему из нас никого там нет — непонятно!

20

Борис в черном пальто, широкополой фетровой шляпе, с белокурыми волнистыми легкими волосами вокруг тонкого, оживленного, острого лица, его «р», его смех, все его причуды, синий блеск глаз, которые я так любила, тонкие полоски бровей... Борис — это целый мир, перед которым я часто перестаю быть собой. Я ждала его с чувством стесненности и тоски, а рассталась с ним нежно, беспомощно, вся поникнув. Он все тот же. Он — он. Я никогда не сумею этого рассказать. Но что бы я о нем ни говорила, порою мне кажется — никогда тут не пройдет все, до конца.

Мое сердце от иных выражений его дрожит, как ни от кого. Актер! Ребенок! Друг! И эти иронические речи в течение часа, и поспешное прощание «мне пора», о этот сарказм, который я ненавижу, но от которого всегда так больно, это красноречие, этот вздор, который он говорит, это нестерпимое поведение, инквизиторские вопросы, все, что бесит меня, все, что меня так измучило — все это я глубоко и непонятно люблю!

Но что между нами скользит — настолько острее, глубже, лучше моих рассказов, что об этом бесполезно писать.

Я не буду преувеличивать. Сейчас я уже становлюсь собой, все проходит, все удержимо. Но не встречала я такого кипения, такой игры, таких: пафоса, остроты, боли, такой бесполезности, только: он и я.

Кому так глубоко, как ему и как мне, «наплевать» на все окружающее? Кто с такой злобой может смеяться, и кто так добр?

Есть две картины, беспокоящие глаз... до красоты... до безобразия: это — Борис Трухачев* и Анастасия Цветаева!

---

* Первый муж А. И. Цветаевой.— *Прим. сост.*

А думая о Н., брате его, я испытываю чувства глубокие, тонкие, острые. Часть души моей в нем осталась.

И самые прекрасные часы моей жизни (о как ответственно и как больно писать!) были — самые безысходные! А теперь я чувствую — что-то оборвалось в жизни моих последних дней. Я в тихой и смутной тоске. Я снова одна. Мне — по-человечески — ужасно грустно. Да, я все понимаю. Иначе и быть не могло. Но эту грусть расставания в самом начале подчас почти нельзя перенести. Да, я знаю. Путей нет! Ну, два, ну десять вечеров или лет пробыть вместе — и прощание. Но как хочется мне пойти к нему, положить ему руку на плечи, сказать, что я его начинаю любить...

Как душно. Как хочется быть человеком, женщиной; как бьется сердце, как бьется жизнь, как хочется превозмочь безысходность!..

21

— Толя*,— говорю я,— значит, Вы меня любите?

— Да, Ася.

— Ах, как это безнадежно!

— Совершенно.

— Да нет, Вы не понимаете, что я хочу сказать!

— Напрасно Вы так думаете.

— Да нет, я просто удивлена. За что Вы меня любите? А Вы меня очень любите?

— Очень.

— И всегда будете любить?

— Всегда.

— До смерти?

— Думаю, да.

— Это очаровательно, Толя.

— Совершенно.

— Но Вы ясно понимаете всю бессмысленность этой любви?

— Вполне.

Молчание.

— А знаете, Толя, если говорить откровенно, то я совсем не понимаю Вашего отношения ко мне.

— Я его сам не понимаю, Ася. Если б я его понимал, я бы Вам, конечно, помог.

---

* Анатолий Корнилиевич Виноградов.— *Прим. авт., 1986.*

— Скажите мне, Вы пишете какие-нибудь заметки о войне? Нет? Ну да, я понимаю, некогда. Да впрочем, вы говорили, что у Вас прекрасная память...

— Вы забываете, что я тогда говорил о моей памяти по отношению к Вам.

— Ах, вот как! Но Вы, конечно, не сможете ничего — написать об этом?

— Конечно, ничего! Никогда.

— Так. Печально.

— Ася, печально ли?

— Вы очень любите жизнь?

— Очень. Особенно теперь.

— Ах, я тоже!

— Ася, Вы скоро перестанете заводить эту ужасную музыку?

— Но ведь я ее люблю! Это моя главная радость! Неужели она Вам мешает? Андрюша же спит под нее!

— Но я не совсем — Андрюша. Я не мог даже спать под стрельбу, а уж под музыку...

— Вы мне очень нравитесь.

— Я это знаю.

— Вы дерзки, мой друг. Но это пройдет. Вообще — все пройдет! Толя, все пройдет? (Я остановилась перед ним, опустив руки, чуть наклонив набок голову, и гляжу ему в лицо. Он выше меня на целую голову, в офицерском мундире, волосы и бородка коротко подстрижены, голубые глаза длинного и холодного разреза прямо глядят на меня.)

— Все пройдет, Ася, это совсем несомненно.

Я гляжу, потом улыбаюсь, потом таю в вопросе:

— А Вы меня очень любите?

— Очень.

Потом вальс «Березка». Он стоит рядом со мной и рассказывает об одной ночи, когда невдалеке разрывались австрийские «чемоданы»,— как у него что-то сжалось в груди.

— Скажите: страх, ужас?

— Ужаса никакого. Но скверное самочувствие. Мы прилегли... Из австрийского лагеря, слышно,— немецкая речь, огоньки видны...

— Так зачем же Вы едете туда еще раз? Ведь Вы не обязаны ехать? Вы...

— Да интересно, Асенька.

— Благодарю покорно. Что за нелепая игра со смертью!

— Возмутительная. На другой день мне было поручено перевести наш поезд...

Я слушаю. Вальс звучит. А где-то рвутся снаряды.

— Много видали раненых?

— Много. Человек по пятьсот... Лошадей очень жаль, невозможно смотреть на раненых. Эти глаза, и они так тяжело дышат...

— А людей жаль?

— Меньше.

— Да, я тоже думаю, что меньше. А Вы все-таки очень добры?

— Я? Думаю, что нет.

Пауза.

— А вот еще раз мне пришлось с одним офицером скакать ночью...

— Ах,— говорю я, прослушав,— зачем Вы едете снова? Вдруг будете убиты?

— Все возможно.

— Не жаль?

— Да как Вам сказать? — иронически — жаль — немножечко...

— Мне тоже — немножечко жаль... (он кланяется).

— Нет, интересно! Сейчас бы трудно не ехать туда!

Но тут главное во всем этом то, что никак не сказать. Вот солнце узким лучиком упало ему на плечо, и меня что-то остро схватило за сердце... Вальс смолк, и мы оба стоим, замолчав, я опустила глаза под его взглядом, который не подходит к тому разговору, что мы ведем. Вот он стоит напротив меня, большой и высокий, я точно девочка перед ним, я что-то шучу, говорим о смерти, кощунство и изящество таких разговоров мне бросились в голову, как вино —

я смотрю на яркий цвет его погон, на бобрик русых волос, вспоминаю, как мне было тринадцать лет, ему — двадцать, как я часто бывала в его семье, летом, в розовом платке, он мне срезывал можжевельные палочки, давал книги...

И вдруг —

ах, вместе с ним, без ответственности, без будущего, кинуться в самую бешеную жизнь — о свобода!

И он и я твердо знаем, что все неважно,
что все возможно,
что все пройдет!..

Ах, мы твердо, должно быть, помним, что мы «из хороших семей!..»

22

Прислонясь о калитку, я стояла. Вечер был мглистый и неприятный. Не то с фабрики, не то с вокзала неслись гудки. Лаяла собака. Где-то за воротами слышался смутный разговор. Во дворе тот дом, куда вошел мой спутник, был казарменного вида, красный; только внизу было освещено одно окно. На соседнем дворе невыносимо орала кошка, жалобно, резко, жутко.

Я думала о том, как трудна любовь, как она невозможна, как я могу (бессмысленно и разумно) возмутиться против человека за то, что он оставил меня одну тут стоять хоть две, хоть три минуты, когда гудят гудки, холодно, бесприютно.

И от всех этих звуков, тумана и гула города, я почувствовала тоску — совершенно особенную. Это — земная тоска. Такой тоски нет на Марсе, не было на луне, не будет ни на одной планете. На эту тоску люди отвечают двояко: пускают себе пулю в лоб или целуют землю.

И, если в расцвете ваших сил, юноша или девушка, стоя вот так у каких-то ворот, в хмурый вечер перед казарменным домом вы ощутите эту тоску — то вам простится уже все последующее, что бы вы ни делали. Ибо это не имеет названия.

И никто (самые горячие, самые мудрые!) ничего не предложат в ответ. Ибо — что же? Один целует землю, а другой скрестил руки. Корень тот же. Отчаянье то же.

23

Сегодня какой-то поразительный день. Я снова в Феодосии.

Кратко: я счастлива.

Так много, что ничего не могу рассказать! Всю ночь говорила с Л. В итоге этой бесконечной беседы мы вывели странную вещь: что мы друг друга не любим. Но по странной игре судьбы мы все же никак, никак не могли проститься, все держали друг друга за руки, и он целовал мои. Мой вчерашний день: неожиданно раздался звонок (я... забыла лорнет у него, он... принес и хотел тотчас же уйти, я за ним послала, его вернули); мне пора идти по делу к соседям он

провожает меня, но их нет, и я догоняю его на углу. Мы гуляем по молу, с корабля сияет прожектор, по взволнованным, бурным волнам — лодочка, и матросы гребут, и их белые костюмы — в луче прожектора ослепительны. Пахнет рыбой, канатами. В десять часов мы прощаемся у моих дверей. Но я иду его провожать, пахнет акациями, ночь. Мы тихо возвращаемся ко мне. И потом говорим, говорим, говорим, прощаемся и снова бродим кругом, и снова подходим к моим дверям, сидим на ступеньках, и все идет по ступенькам, тихо и сладостно, лорнет — «был слабость», он думал обо мне, когда я о нем думала, в тот же час,

а я —

ах, мне его лицо мило, бесконечно мило, «но только потому, что недавно и ненадолго»; «я ни в чем не хочу — легчайших цепей, ни себе, ни другому, я очень сознательна, очень серьезна, очень — ребенок»; наконец — «мы друг друга не любим»... «Но почему если так...»

Когда я вошла в мою комнату — уже рассветало.

И весь этот день, как облако золотое, проносится над взволнованной головой моей, над синим заливом Феодосии, над девятнадцатью моими годами,— в силе и славе своей!

Страдаю ли я? Нет, может быть.

Я весь день сегодня на людях. Жизнь сегодня идет галопом — точно помогая мне. Но... все висит на ниточке. Мне и страшно и радостно.

Что это было? Но сегодня более чем когда-либо я обожаю жизнь.

«Деточка...» «Дочка моя...» Все пройдет, а все могло — не пройти.

В окне напротив — слабый отсвет зари. Я вспоминаю тот вечер у Л., тот заход солнца,— о как я люблю все это, и как я к этому еще близка! Мне хочется набросать, поскорее:

в сером легком платье я стою перед ним, наводя на него аппарат и спеша, и жалея, что вот уже садится солнце, и так мало осталось кадров... Яркий последний свет к западу идущего солнца ослепительно и тепло залил его милую комнату с картинами по стенам; на столе частью мной причиненный беспорядок, среди его вещей — моя сумка, лорнет; маленький стакан с розами, они осыпаются, а вода блестит серебром и прохладой,— все это горит в последних лучах нашего, может быть, последнего, общего дня! Ни он, ни я

не касаемся сейчас этих вопросов, и, быть может, обоим нам кажется, что вся их трудность — нами изобретена.

Я только больше хочу снять сейчас, вот так — это окно, розы и его у стола; он уговаривает остаться, но я бросаю о стол папиросу и, говоря, что «скоро, скоро, сейчас», галопом сбегаю по крутой лесенке и галопом же мчусь по горе, до угла, до зеленого сада, где сажусь на извозчика и еду в город. Кое-где в домах, в мелькающих по бокам переулках ярко горят окна,— закат — ветер рвется порывами, шумят колеса, вот Итальянская, легкое платье мое волнуется, я соскакиваю у магазина. Заряжаю и еду назад, солнце еще ниже и ярче, и все уже зажжено и розово, и еще нежней тополя...

Ворота. Лай собак. Я вхожу. Я снимаю. Вот он стоит передо мной, заложив назад руки и улыбаясь так мило, что я никогда этого не смогу передать. Его острое больное лицо, маленький рост, русые волосы... Потом intérieur*. Эти розы.

Солнце еще не село! Последние его свежие и пронзительные лучи освещают нас!..

Маленькое воспоминание: в тот час, когда я решала ехать к нему или нет, он вдруг порывисто встал со своего стула, на совете, и стал ходить взад и вперед по комнате, не зная, что с ним...

Выходим на крыльцо, где море и огоньки, и я предлагаю пройтись. Ночь прекрасна. Под гору сходим мы мимо звезды Венеры к морю. Я предлагаю дойти до вокзала, проводить Л. У меня сердце бьется. Четко звучит наш ускоренный шаг, четко бросил лорнет мне в глаза — волны и огоньки; я иду — на что — я не знаю: может быть, на то, чтобы перечеркнуть Ирину из «Дыма», на ходу уже — вспрыгнуть в поезд, кинуть руки на плечи...

Мимо нас, очень быстро, с грохотом, в дыме и сияя огнями, проносится пассажирский поезд!..

Мы все же доходим до вокзала, раза два прогуливаемся по платформе, я с жадностью гляжу на те доски, по которым он только что проходил... Он быстро мчится сейчас: может быть, стоит на площадке... Не судьба!

---

* внутреннее помещение.— *Прим. авт.*

Ах, как я была права, говоря, что любовь никогда не кончается! И хотя и невозможно, и ненужно мое возвращение к нему ради узнавания «белого и черного», как он мне тогда говорил; хотя я и неопровержимо знаю это «белое» и это «черное», вернее, что ни белого, ни черного нет, но вот, без этих и вообще без всяких вопросов — тоска легкая и глубокая, и я все помню, все до последнего слова, все до последнего жеста.

И акации.

И его голос, дразнящий и нежный, какую-то игру в любви, какую-то прелестную улыбку над тем самым, что и для меня и для него — было серьезным. Навек я запомнила мои утра у него, пока он писал мой портрет и затем его вечера у меня, и тот вечер на море с прожектором, и булочную, где я ела пирожки и пила молоко по дороге к нему, в серебристом платье, с челкой моих русых волос. Да, конечно, это теперь уже прелестный рассказ, это уже сбоку от пути моего. Но... повторяю: любовь никогда не кончается. И затем: все, что было, было: и горько и глубоко!

Той минуты, когда я сидела на подоконнике, утром 17 мая, простившись с ним, и, перевесившись в окно, глядела, как он уходит, и не чувствовала под ногами никакой почвы, и не видела никакого будущего, этой минуты, которой никто не измерил и которой ничем не вернуть,—

этой минуты я никогда не забуду!

До следующей минутки тоски, Л., я прощаюсь с Вами, до следующего раза, когда я вновь пойму, что любовь никогда не кончается. Тихо и легко, серьезно и в то же время играя, я губами касаюсь Ваших волос. И где-то земля для нас все-таки «вертится», и я настаиваю на этом,— и значение этих слов понятно только Вам!

24

Ожидание — это точно кто-то тихо пьет твое сердце.

25

Я обращаюсь к Вам такому, каким Вы еще не стали теперь; может быть, старому — будущему. Чисто, холодно, ласково я говорю:

«Неужели не понимаете Вы, что поцеловать рубец от

хлыста* — это пламенный жест; жест скорее гордости, чем смирения. И что это — миг. И что этот миг ничего не меняет. Что нет «покорных» и «властелинов», что все это — только слова!»

«Подойдите к окну», как писала я шестнадцати лет, «и смотрите, как неизвестно куда и зачем плывут облака...» Что такое покорность? Кто победил? Кто разбился? Разве можно разбиться? А если можно, мы все уже разбились давно. Станьте проще, человечнее, менее героичны. Я обращаюсь сейчас к будущим Вашим седым волосам: неужели не чувствуете Вы, что все течет, все уходит и что никакая страсть не перевернет жизнь! Что тоска могущественнее всего! И поймите — если я стояла, глядя на Вас и просила не уходить, это — много, это — чудо, это — прекрасно!

А сейчас: пустой, истинный, одинокий мой час. Неужели думаете вы, что я могу жить **Вами**, когда я любила не раз. Столько читала! Столько пишу! Столького жажду!

Да и что такое — любить?

Тихо. Вечер. Я не спала ночь и очень устала. Лежу, покрывшись пальто, полузасыпая; в соседней комнате лампа горит; передо мной проносится масса каких-то картин... И мне 20 лет. Много и мало. Было 14. Будет 30. Пальто греет. Скоро еду на лекцию по древней философии. Зима. Я Вас не видала неделю. Каждый день я думаю, страдаю и радуюсь. Вас нет. Разве я упрекаю? Разве я Вас зову? Мне прекрасно одной. Я вот и говорю об этом, и спрашиваю: «Что такое — любовь?» Л. говорил: «Будет, будет! Не увидите, как это случится, и полюбите Вы человека по-настоящему, всей душой, а не так, как сейчас. Разве это — любовь! «Он» будет! И все будет! И слушаться его будете, и ничего не сделаете, чего бы он не хотел, и в глаза ему будете смотреть, и все забудете!»

Он никогда не сказал, что этим человеком для меня мог бы быть он; нет, именно это он отвергал с какой-то нежной улыбкой. «Он» — какой-то «герой», «настоящий мужчина», может быть, живописный пастух из горного ущелья, как писал Тургенев об «Асе»!

И помню вечер на волнорезе, он шел, сняв шляпу, море мерцало, берег был осыпан огнями.

— Нет, мужской силой, властью Вас не сломить! — сказал он.— Тут нужно другое...

* Эпизод из «Первой любви» И. С. Тургенева.— *Прим. авт.*

Третьего дня, когда у меня были гости и ушли, Б. остался дольше всех и мы почти до утра с ним говорили. Вот его слова обо мне. Но прежде надо сказать, вкратце, какою меня знал Б. и какою я становилась, и стала, и становлюсь. Он встретил меня шестнадцати лет (ему было 18). Я была маленького роста, тонка, хорошо одевалась, часто еще ходила в форменном платье и фартуке, носила волосы по плечам, они завивались. Я каталась «лучше всех» на норвежских коньках. Комната, в которую он вошел, была странная, длинная, низкая, с печью посредине, в ней было тихо и точно не в Москве; к ней вела лесенка с истертыми ступенями. Внизу были парадные комнаты, папа. Наверху — какой-то брат, какая-то сестра. На столе лежали мои дневники, тома Мережковского, в узеньких и пузатых старомодных вазах стояли засушенные цветы; на полу ковер; закопченный потолок, шкап с книгами; что-то наивное в комнате (и именно потому это, может быть был «магический кабинет»). Вот тут я жила. Тут я писала дневник, который он, облокотясь о ручку кушетки, слушал; мое лицо было озарено неярким светом керосиновой лампы; я читала; мой голос был тих, интонации — неповторимы. Было тихо. Внизу медленно били часы. За дверью скулила Гера, охотничья собака брата Андрея.

Потом я вставала. Я подходила к окну, мы оба становились насмешливы; он обливал иронией Мережковского, я цитировала «Леонардо», я ничего не хотела слушать о Достоевском, которого не читала и которого хотела никогда не читать. Он ходил по комнате мягкими большими шагами, его волосы были так золотисты, и, казалось, сталь звучала в его особенном, обаятельном голосе, в вычурных фразах, тронутых легким сарказмом, в этом «р»...

Нам несли чай. Я с прислугой вела себя кратко и повелительно — как с Герой (истинная принцесса!). Мои коньки лежали на почетном месте, на детских санках, у печки. А потом настала весна, была пасхальная ночь, мы возвращались на рассвете из Кремля, потом — май... Он все серьезнее слушал меня, а я тогда говорила — что в жизни все безнадежно, что я знаю, что я рано умру, хотя обожаю жизнь; что я совсем одинока, что полюбить я никогда не сумею. И вдруг — воспоминание о маме, о детстве; о моих путешествиях; и в голосе — холодок!..

На его глазах я росла, выросла. Вот уже второй год, как мы врозь. Я стою перед ним (для иронии — я начинаю с наружности). Я того же маленького роста, но полнее,

одеваюсь я, как он находит, небрежно. Волосы мои, как у мальчика, короткие, каймой спадают на лоб. Лицо то же, но знакомые выражения не радуют его, а томят. Тот же невысокий, скорее — низкий голос, я так же люблю стихи, так же смотрю внимательно на каждого, кто подходит. Но уже все — не то. Я — взрослая, я — жена, которая не живет с мужем. Я не так романтична. Я резче, грубей, холодней.

Я увлеклась философией... И уж невольная улыбка трогает губы Бориса:

— Ваше увлечение философией,— говорит он,— это сто двадцатый наряд принцессы. Если оно продлится год — я буду удивлен. Если — больше года — я поставлю на Вас крест...

Дневник я пишу, и тетради не менее толсты; он слышит, что я их читаю по-прежнему, вслух... Да! Прежде я была суеверна и даже молилась. Теперь я «проповедую» атеизм, отвергаю Евангелие, смеюсь над Толстым, отрицаю... И уж душно ему со мной! Он прощается и — по холодным улицам — идет своим четким шагом, входит в свою комнату, закуривает и мерно начинает ходить взад и вперед. И мосты рухнули между нами! Он уже в своем мире, где спутаны навек: философия, религии, мотоциклы, страсть к охоте и ружьям, увлечения стилями, Гейне, Лермонтов и Сервантес, «История птиц» Минзбира, «Трактат о мозге» проф. Сеченова, драки в деревне, деревенские песни и книги с названиями вроде: «Полезное рассуждение для вразумления», «дабы», «коего»... Я пишу, улыбаясь. Но мне горько. Поймут ли меня? Если б я была в Коктебеле в такую минуту, я бы, точно сорвавшись с цепи, шурша гравием, помчалась бы к морю; с визгом откинулась бы калитка, я бы бросилась на песок,— Карадаг, тени...

Я посмотрела бы вверх, вытянувшись на земле всем телом, и, закинув за голову руки, поняла бы: я — я. И все, и навсегда. И никто ничего не докажет. Все законы и уверения, как марки без клея, тронув меня, отпадают сами собой!

26

«Я позову его, сегодня. Странно, что он был только что вчера? Пусть. Я скажу так: «я соскучилась». Ведь это правда. Я сегодня весь день думаю о нем».

Не подумав, я пошла к телефону и позвонила по первому номеру. Молчание. По второму. Он дома.

— Я слушаю (его голос, какой чужой!).

Меня не охватил холод, и я сказала спокойно,— но голос был не мой — «с Вами говорит Ася».

— Здравствуйте.

— Здравствуйте. Я о Вас соскучилась. Приходите ко мне сегодня. Ах, не можете? Как жаль. Да, я понимаю. Ну что ж, тогда — как мы условились.

— Да.

— До свиданья.

— До свиданья.

Мой голос тих и холоден, его — тих и смущен. Я подхожу к зеркалу, что-то во мне пылает, сердце бьется; я вхожу в комнаты, завешиваю окна, делаю вечер, сажусь писать.

Он едет вечером на вокзал. Ему сейчас — скверно. Пустяки, М. А!* Стоит ли! Все пустяки, все пройдет! А-ах, правда!.. Я спокойна, совсем холодна, так о чем же? Скорее забудьте этот странный маленький инцидент и поверьте — я очень жалею, если Вам причинила боль!

Ах, все вздор, все вздор, все...— вальс. Где-то не тут, а там, где все возможно, где мои любимые реки по-любимому текут вспять,— бал. Вы и я. Диадемы огней.

Я положила Вам на плечо мою руку.

Ваша рука легко касается моей талии, качание, звон, тимпаны, фанфары, гремят, вся музыка мира, сердце мое расширяется, бьется, Ваше холодное и милое лицо рядом с моим... Что это? Веселие? Смерть? Все кружится...

Короткий звонок телефона.

Снимаю трубку: «Я слушаю».

«Это говорит Маврикий Александрович» (он, голос тихий).

«Очень приятно».

«Я хотел спросить — между 10-ю и 11-ю не поздно будет?»

«Пожалуйста».

«Ну вот. Мне очень приятно».

«Я Вас жду».

«Я буду» (голос серьезный).

«До свидания».

Кладу трубку. Не вижу няню, не вижу Андрюшу, мимо них мчусь в свою комнату, падаю перед диваном на колени и целую подушку, погружая в нее безумным жестом лицо!

---

* Маврикий Александрович Минц — второй муж А. И. Цветаевой.— *Прим. авт., 1986.*

Когда я, обманув всех, что меня не будет дома, что меня спешно вызвали на вокзал и что Новый год мне придется встретить, вероятно, на перроне, в ожидании опаздывающего поезда, вернулась (в 11 часов) домой, Маврикий Александрович был уже у меня.

Новый год мы встретили рюмочками литовского меда. Пили чай. Время шло. Я прочла ему мою сказку о человеке и кирпичиках (она ему очень понравилась) и несколько отрывков из дневника. То место, где я прошу меня оставить в покое и не учить меня жить, он назвал самым лучшим из всего, что я ему читала.

«Это удивительно, это прекрасно!» — сказал он.

О. В.— его слова о моем будущем (на Брестском вокзале) он просил прекратить читать.

«Это все просто ужасно глупо, и после того, что Вы прочли...»

И когда, уже глубокой ночью, наш разговор стал до конца откровенным, я сказала ему о многом: о моем холоде, о глыбе льда, о том, что я иду к полной жестокости — в жизни, с абсолютно чистой душой. С ним удивительно то, что он так прекрасно понимает шутку, намек, иронию и сам так умно и тонко шутит. Это ранит. Иногда он опускал голову в руки и так сидел, слушая.

Когда в 7 часов он встал, чтобы уходить, я просто и спокойно спросила позволения поцеловать его руку. Когда он сказал: «Нет», я возразила с улыбкой:

— Но если я этого хочу?! Вы что же, меня спасаете? Не стоит! Я ни за что не погибну! Но этим Вы доставили бы мне — удовольствие.

— Я принужден Вам его не доставить! — сказал он (он стоял передо мной, я сидела на диване).

— Я этого не понимаю,— сказал я,— почему? Не все ли Вам равно? С другой стороны — Вы ничего этим не достигнете, потому что мысленно я это сделала.

— Так вот, это и не требует исполнения,— сказал он, и улыбка дрогнула в его голосе; голос его был и серьезен, и тих, и взволнован, и холоден.

— Да может быть и не требует! — ответила я.— Но я бы на Вашем месте не возразила. Почему Вы... Или уже это так на меня не похоже?

Я курила, и улыбалась, и глядела ему прямо в лицо, но черты его видела смутно.

— Наоборот, это, может быть, слишком на Вас похо-

же,— ответил он,— но я все же не исполню Вашего желания.

— Что делать! — ответила я, вставая. В передней я зажгла свет, поправила перед зеркалом волосы, смущения я не чувствовала никакого. Наш разговор был легок, шутлив, серьезен, не разберешь — о легкость и тяжесть таких разговоров!

— Когда же Вы придете ко мне? — сказала я, облокотясь о буфет. Он стоял передо мной в шубе с воротником из сконкса, его лицо глядело из рамки меха, и большие светлые глаза улыбались, и губы чуть дрожали под рыжеватыми усами.— Или совсем не придете?

— Может быть, Вы хотите сделать перерыв, лет, например, на пять, на десять... Вы не стесняйтесь! — продолжала я.— Я, право, всякий срок перенесу! С одинаковым удовольствием увижу Вас завтра и — через десять лет...

— Я не только не сомневаюсь в этом, но я даже думал о том, почему Вы сами не отдаляли нашу следующую встречу на десять лет,— проговорил он.

— Я предоставляю это Вам,— сказала я.

— Я часто уходил от знакомств,— отвечал он,— но сейчас Вам надо вспомнить, что я уже столько лет жил вдали от людей, что...

— Пожалуйста, не стесняйтесь сроком!

— Я... обожду пока назначать большой срок.

— Великолепно. В таком случае — когда мы увидимся?

И мы решили.

Я отворила ему дверь, он крепко пожал мою руку, и — замок щелкнул. Было утро. Я вошла к себе, разделась, потушила свет и легла.

Два чувства: будущее — бесконечно;
будущее — наперечет.

Сейчас главный, о ком я думаю — М. А.

Счастлив он мной или несчастлив? Совсем ли ему все равно?

Чего я хочу?

Что будет?

Чем кончится?

Люблю ли я его?

Жизнь тиха. Колокола звонят. Вечер.

Чего я хочу?

Любить его! Может быть.

Вальс играет. Я целую его маленький кожаный портсигар, который он позабыл.

Только что ушел М. А. Далеко — колокольный звон. Мне нечего записать. Ибо он мой друг на всю жизнь, ибо я очарована им без остатка, и оттого так шутливы речи мои!

Как передать вас, переходя от шутки к серьезному, шутливое и серьезное — вместе,

как мне рассказать тебя, ночь, час за часом...

Как передать вас, очарование, прелесть его лица? Не красивого.

И беспорядок комнаты, упавшую на пол шкуру, отодвинутый стол с распахнутыми тетрадями, и это короткое пожатие руки?

Я буду умна. Я скажу: я люблю его. Тут мне дастся право — оставить белым листок, ибо любовь чувство тонкое, и мне простится...

М. А.! М. А.!

Думаю об М. А. Мне хочется его видеть. Просто видеть его, слушать голос, смотреть (еле вижу от близорукости) на улыбку, шутить, парировать шутку, лежать на диване, помешивать чай, быть милой.

Люблю ли я? Я очень близка к тому, чтобы полюбить.

И что же я чувствую, если не любовь, тихую и бесполезную, когда он, опустив голову на руку, говорит тихим голосом:

— Я вообще мало думаю. Потому, что тяжело — думать.

И буду ли я не права, если когда-нибудь — хотя все удержимо — встану, подойду к нему, опущусь на колени и молча буду целовать его руки?

Пили кофе, слушали музыку. Я чувствовала, что смутность дня, поздность часа, слабость сердца с ним сделали то же, что со мной. Он был еще шутливее обыкновенного и шутил о вещах все более серьезных.

Я мешала кофе ложечкой, глядела на гроздья люстр. Он передал мне один свой сон, виденный им в самом начале знакомства со мной: я у него в гостях; я лежу на великолепном мягком диване и пью из синего граненого стаканчика ликер, а вдали, в самой далекой комнате, звучит оркестр музыки. Собираются гости...

— Но это еще — все будет! — сказал он, выпуская дым и следя, как он вьется над папиросой.

— Будет...— эхом повторила я, поднося к губам чашечку.

Но я вижу, что грубо и ясно описываю то, что было сказано тихо, шутливо, в клубах дыма, в клубах музыки, так тихо и так шутливо, что, может быть, и вовсе не было сказано.

Мы вышли и пошли пешком. Всю дорогу и у моих дверей мы продолжали шутить о вещах... почти что смертельных: о смерти, о войне, о расставании.

Да, вчерашний вечер был странен. Должно быть — он любит меня. Мне теперь кажется, что дни его смутны, как мои, особенно те, в которые вечером он меня увидит.

Я прислушиваюсь к себе — и — странно: сейчас я как будто спокойнее (меньше томления), чем вчера и третьего дня. Что это, довольство собой? Радость победы? Что это, я, кажется, готова почить на лаврах? И неужели, когда он меня полюбит, я буду его меньше любить? Ведь я знаю, что даже если он меня безумно полюбит, если «выпустит вожжи» (о чем мы все время шутим), то ведь это будет так же, как у меня, не иначе. Неужели я это забуду и почувствую ответственность и тоску? М. А.! Не любите меня! Не верьте мне. Не скажите мне великих слов, ибо я, наверное, их не пойму, ибо я жду только победы, ибо я недостойна Вас!

Все это я говорю с высоты ума. Над всем этим я смеюсь моим женским сознанием...

Ну, разгадайте-ка!..

27

Мне решительно нечего делать на свете, если я не учу философию. Сейчас объяснюсь.

Встаю. Час дня. Свет, яркое солнце, снег, блеск синего неба... Я только что встала; еще не одета — и гладко лежит передо мной — моя дальнейшая жизнь.

Что делать?

Что делать сегодня? Что делать всю жизнь?

Вот ночь, беседы с М. А. Ею разрушен еще раз смысл чтения и учения и указан смысл: лежать на ковре, читать книги стихов, любить маскарад, быть веселой.

Но что мне делать в этом веселье? Вот я встала. Я «весела». Но как мне грустно!

Как я хотела бы, чтобы вошел М. А., сел в кресло, мы бы говорили... Вот это — веселье. Вот это — жизнь. Но что есть — помимо?

«Рухнули надежды» еще раз. Еще раз я, как в тумане, смотрю на Платона и Виндельбанда. Еще раз кладу на горячие глаза — руки в моем «тихом» веселии. Еще раз я смотрю вперед с любопытством:

Как я умру?

Сойду ли с ума?

Что будет?

Мне так легко сорваться со всякой орбиты! Приблизить конец намного. Мудрость. Безумие. Как часто эти две вещи меняют места!

Что делать сегодня? Солнце горит. День пройдет. Земля летит. День — как весенний...

Я провожу с М. А. ночи и вечера. Говорим. Скользят шутки и развиваются мысли, раздается смех, я читаю дневник, потом я его закрываю, пьем чай.

М. А.! За все то зло, за всю ту печаль, которые я Вам причиню разнообразием своих атрибутов,— я бы хотела сейчас — взять в руки свои эту мозаику чувств и тут, у Вас на глазах, бросить ее в огонь, оставив из нее то, что Вам нужно.

Я хотела бы быть Вашей матерью, Вашей сестрой, Вашим другом, Вашей возлюбленной, если Вы это хотите — нет! Я хотела бы быть для Вас чем-то, чем никто не будет для Вас!

Но невозможное — невозможно, все будет так, как должно, я, вероятно, окажусь хуже, чем Вы и я сейчас думаем,— простите меня и забудьте.

Если можно будет забыть меня тою, какой я буду...

28

Мы сидим за столиком в Альказаре. Продолговатая зала освещена гроздьями люстр, а по бокам, где на небольшом возвышении тянутся балконы с ложами — стройные зонтики с висящими матовыми шарами,— сотни маленьких лун. На далекой эстраде, в цветном токе света, идущем с верху противоположной стены, танцует удивительная женщина — она бесконечно нелепа; светло-коричневое шелковое

платье ее, странно сшитое, в красном луче света кажется changeant*. Танцует она танец, долженствующий быть сладострастным.

В ближней ложе над нами шляпа с эгретом и личико Голоса. Музыка. Яркий свет. Все столики заняты. Я обвожу залу взглядом, на миг останавливаю его на двух военных, смотрю дальше. Я вижу, как М. А. глядит на меня, он всегда на меня глядит, всегда наблюдает,— я как всегда делаю вид, что не вижу.

Занавес открыл эстраду; снова открыл В голубом токе света стоят две женщины, в светлых с блестками платьях, и поют — хорошо ли, не слышно за гулом голосов.

Щурясь от света, отламывая кусочек хлеба, я смотрю на эстраду, на публику и думаю о том, какая я *странная*...

Я никогда не бываю собой. Я изнываю от множества ролей, каждой из которых надо бы отдать жизнь Никогда мой собеседник не должен знать, что я думаю, что я чувствую. Мои слова должны быть столь же неверны, сколь блестящи, и для зрителя во мне — только игра, никогда ни одного бессознательного жеста. А он думает, что я забываю о нем. Никогда не забываю. Никогда

— Единственное, что меня может всколыхнуть настолько, чтобы я забыла о присутствии человека,- говорю я М. А., наклонясь чрез угол стола к нему,– это – музыка. Вот тот единый случай, когда я могу поистине непосредственно воскликнуть «ах», схватиться за голову, вцепиться пальцами в свои волосы. Иное все есть игра Самые внезапные жесты мои – бесконечно, бесконечно обдуманы Есть одно, что я обожаю: это ритм Ритм во всем В поведении, в музыке, на страницах Ритм жизни Волну за волной. И ритм девятого вала!

– Вы знаете, что самое сильное в Вас? проговорил М. А.— Настроение Вашего спутника

Но вдруг легко, еле касаясь слуха, зазвучал вальс,– мандолина, виолончель,

это — струнный оркестр!

милый друг, если вам случилось понять, что я весь вечер – играю и что во мне пустота, вы сейчас — потерпите фиаско! Ибо, отвечая на ваши слова, смотря на эстраду, я все рвусь – куда? Я глубоко несчастна, я переполнена через край невероятными ощущеньями, которых вам не понять никогда!

---

* обременяющим, здесь лишним *(франц)*

29

М. А. звонит, я кончаю одеваться, бросаю ему в руки полученные письма, и мы быстро едем по направлению к Театральной площади. Таинствен и темен Большой театр с взлетом своих коней высоко над колоннами. Уже не толпится публика. Двери тихи. Опоздали.

Волшебство позолоты, люстр, лож, сияние и трепет балета. Вижу профиль Марины, золотистые пряди волос,— она смотрит через плечо С.— на сцену. Едим конфеты. Антракт. Фойе, с кем-то знакомят, я рассказываю о сегодняшних письмах по поводу моей книги, показываю петуха, нарисованного д-ром Л. На обложке моих «Размышлений», и краткую надпись, выражающую его приговор мне. Звонок. На меня, а от меня заражается и Марина, нападает припадок смеха. Не могу, чуть не падаю на дно ложи, не вижу сцены, а, закрыв руками лицо, тихо повторяю фразу одной дамы (о которой мне только что рассказали) о попугаях: «Ах они очень милые! Если бы они меня полюбили — я бы им простила даже то, что они — птицы». Совершенно изнемогаю от смеха. Из соседних лож смотрят на меня с укоризной и изумленно. М. А. сжимает мою руку и улыбается. Это как на «Демоне»: я однажды лежала на полу ложи и умирала. На картонной скале стоял Демон в лиловом платье и пел. Наконец, антракт. Урывками читаю письмо З. «...И есть в Вашей книге еще — лазурные просветы, безумный хмель»...

...«Кто написал это, тот скоро бросит бумагу и пойдет в тьму жизни...»

Задумчиво складываю листки, передаю М. А. Но Гельцерт танцует!

Ах, это ли описать! «Танец Бельгии». В яркой одежде, с золотой длинной трубой, прижимая ее в восторге к губам, с белым упрямым султаном на шлеме,— она летает по сцене, точно на крыльях, непостижимо легко!

Каждый ее жест — совершенен. А когда она останавливается, в конце, опустив золотую трубу,— повелительным, царским движеньем — театр дрожит от рукоплесканий!

Потом танец России. Странный, таинственный танец. Что это за страна? Поклоны и власть, дерзновение и вдохновенность — плывет, как лебедь, и лицо смиренно, но вот, словно огонь пробежал по жилам... Золотой наряд мерцает не то позолотой иконы, не то — щедро льющимся золотом... алмазами сияет венец, и танец ее непонятен.

Мазурка. Красные сафьяновые башмачки, косы с лентами.

«М. А., сегодня весь вечер Вы будете меня утешать,— я буду очень горда, потому что очень обижена. Я не умею так танцевать мазурку, а Вы не можете меня научить!.. И чтобы я никогда не танцевала мазурки»...

Он обещает, что буду. Я отвечаю с грустью, что я близорука и непременно разлечусь в танце о зеркало — «в бесконечность» — и об нее, как водится, сломаю себе голову... Нет, невозможно — я никогда не буду танцевать мазурки!

«С тобой должно быть очень трудно бывать на выставках, на концертах,— говорит Марина,— если ты не так умеешь рисовать, играть, петь, как...»

«О да, нигде бывать невозможно!» — покорно говорю я.— А выставки — о! мне сразу хочется, чтобы все картины были мои!

Мы говорим о нашей странной связанности в движениях — Марины и меня.

«Ты бы решилась, если бы даже чу́дно умела, танцевать мазурку?»

«Никогда!» Мы понимаем друг друга с полслова. С. и М. А. слушают нас с улыбкой.

«Знаешь, Ася, мы, только выпив вина, можем стать развязны в движеньях, как другие бывают всегда. Но зато другим надо выпить массу вина, чтобы стать развязными в словах, как мы обычно».

«Да, да. Откуда это!» — спрашиваю я с комическим недоумением.

«Я думаю, что от бабушки»,— отвечает она.

И все, что в нас странного, мы с тех пор «валим на бабушку», благо она умерла давно — и мы о ней знаем лишь то, что умерла она молодой и была красавица.

Мы выходим на площадь. Пальто наши треплются ветром, широкие внизу, в складках. Ночь.

«Почему,— говорит Марина,— когда я с тобой, я сразу делаюсь дерзче в 100 раз? И во мне пробуждается что-то такое...»

«...От бабушки!»

«Ах, зачем все было,— спрашиваю я,— зачем все есть? И зачем все будет?»

Я знаю — единственная гора, на которую я могу опе-

реться — это музыка. Ибо кругом тьма, хаос и неизвестность, и никто — ни Базаров, ни Ницше, ни я — мы ничего не решим!

30

Страсть, влечение друг к другу — нечто иное, как жажда.

Поэтому — так неудержимо влечет.

Поэтому — нельзя оторваться.

Видя стакан воды и желая пить — берешь стакан, пьешь.

Поэтому — так дико, нелепо противостоять страсти!

Поэтому — так прекрасно.

31

Вечером вдруг мы поехали на Ваганьковское кладбище. Было прохладно. Пресня, застава — сколько раз мы тут шли, Марина и я, — с папой, на мамину могилу!

Был закат. Кресты и памятники стояли по обе стороны дороги, как молодой лесок. Вошли в ворота. Вот памятник Коршу; свертываем налево, и вот уже я вижу через чугунный узор часовни — посеревшие, когда-то белые могилы деда и бабушки; рядом — мамин черный, тяжелый камень с высеченным крестом, а за ним — желтый холмик с крестом, обвешанным съежившимися венками — могила папы. Ей полтора года.

Мы остановились перед ней, наискось от могилы мамы. Высокая береза, соседние часовни и решетки — все знакомо. Синий купол церкви над голыми ветвями деревьев, золотой крест. Где-то шаги. Тихо. Сыро. Закат. Как я живо помню, как папа стоит, вот тут, склонив голову, слушая панихиду. Кладбищенский батюшка, размахивая кадилом, из которого серый дымок, пахучий, кончает молитву; сзади дьякона черная фигурка старушки, она часто крестится, и кажется, что она всю жизнь прожила на кладбище.

— «Со свя-ты-ми у-по-ко-ой
Пода-аждь, Го-оспо-ди...»
...«И со-тво-ри-ши ей
Ве-е-чную па-а-мять...
Ве-е-чна-я па-а-мя-а-а-ать
Ве-е-чна-я па-а-мя-а-ать
Ве-е-чна-я па-а-мять...»

В последний раз коротко взмахнув кадилом, так, что цепи подогнулись, как веревки на качелях, батюшка получает от папы за службу, что-то говорит о погоде, кланяется, кланяются и дьякон, и старушка, и, друг за другом, исчезают за поворотом.

Минута молчания. Мы стоим, кто у решетки, кто у ствола березы, Марина трогает засохший листок на чугунном изгибе, его легко качает паутинка, папа говорит:

«Ну, дети, поклонитесь, станемте на колени...» И тихо мы сходим на тропиночку и идем к воротам, говоря о памятниках, песчаной почве.

«Мама не любила этих стоячих памятников,— говорил папа,— и она всегда говорила, что не хочет часовни над своей могилой. И мне, дети, когда я умру,— вот такую же плиту, как маме. Лежачие памятники никогда не покривятся, а черный цвет для того, чтобы не грязнились...»

«Ну что ты, папа»,— говорила одна из нас, но тут же умолкала, потому что было слишком невыносимо жаль его за эти его слова, и сказать об этом невозможно, да он бы и не понял нашего отношения к смерти... Мы шли и думали о том, как ужасно, что смерть когда-нибудь непременно возьмет его, который — так просто и кратко — о ней говорил... Бабы предлагали венки, а если весной — то пасхальные стеклянные яйца, извозчики дергали вожжами, приглашая садиться, старые домики, грязные дети, чье-то развешанное белье...

Ах, как было радостно, когда отходил со звоном трамвай и мы возвращались в шумную, обычную жизнь. Так было много лет — когда мы еще жили дома, девочками, и когда уже жили отдельно; те года, когда мы были «нигилистками» и находили, что панихида — напрасна (13—14 лет), и позднее, когда снова полюбили кадило и церковное пение...

Папа, воротясь, ехал в музей или на заседание, просматривал визитные карточки за день, мы шли к себе наверх, и так все шло, а мама оставалась одна с своим камнем и горшочками свежих цветов.

И помню, как несколько лет спустя, в осенний день (уж снег, ветер свистит, и смеркается), мы вдвоем с Мариной ходим по кладбищу, ищем домик просвирни, спешим,— там и здесь — огонек лампадки... Гудки поездов, как в детстве, и какое-то непонятное волнение — это было перед моим отъездом за границу с Борей и Марининой свадьбой.

Ах, было много... Мы с мамой бывали тут очень давно

совсем маленькими у дедушки. Мама рассказывала о нем, и так же доносились гудки с Брестского вокзала — кто-то ехал за границу. И мы уехали несколько лет спустя, всей семьей — у мамы начался туберкулез. И позднее, во Фрейбурге, мы бродили — мама и мы две, между немецких могил, читали надписи, вспоминали Россию...

Все прошло...

Длинный зовущий гудок, М. А. стоит; я держу его руку, легкий озноб бежит по мне — оттого, что я уже двадцать лет живу на земле, и остается, может быть, те же двадцать! Но теплым вихрем, неслышно и бурно, несется во мне через все, сотрясая меня,— радость. Я стою с минуту и говорю, сжав его руку:

«Ах, если бы Вы знали, как и что я чувствовала еще очень недавно на кладбищах! Это была самая большая тоска моей жизни. А сейчас — ничего этого. Я к себе прислушиваюсь: я точно в саду. Внизу — земля, наверху — небо. Никаких жизней. Тут только Вы и я и какой-нибудь сторож. Земля — как везде! Вот еще свежие могилы смущают, но и они...

О! Здесь нет никого из тех, кого сюда клали — ни папы, ни мамы, ни дедушки. Так, значит, и вправду из меня исчезает все старое, если уж это... Дружочек! А ведь когда-нибудь и я так буду лежать!.. Вы придете ко мне или...»

«Нет, Вы не будете так лежать,— сказал М. А., сжимая мою руку с улыбкой,— Вы будете в шкатулке у меня на столе!»

«А, Вы об этом! Что ж, хорошо! Выберите хорошенькую шкатулочку!»

«Обещаю».

«Дружочек мой!»

Вдалеке, в сыром воздухе вечера послышалось нестройное, колыхавшееся волнами солдатское пение. И шаг их стал слышен. Пение прорезал длинный свисток поезда. Где-то — или это кажется? — зазвонили колокола. Он сжал мою руку.

В кругу женщин, когда заходит разговор или спор, меня всегда «подмывает» перечить, дразнить, насмехаться. Эта черта того времени, когда я была Wunderkind* с распущенными волосами и взрослым языком. Мне весело шокировать, произвести эффект, сидеть, покачиваясь на перилах

---

* Чудо-ребенок.— *Прим. авт.*

(чуть ли не болтая ногами), и свысока ронять — черт знает что.

Я забыла, что я для других — женщина, и больше ничего, что никто не хочет знать моего прошлого; что прошлое — прошло, что я не вундеркинд, а госпожа такая-то и что поведение мое может быть истолковано только: желчью, злостью, грубостью.

А во мне все кипит и блестит, легко, неразумно и весело, точно в четырнадцать лет!

32

Я вдыхала ветер, сырость, смотрела на серые тучи и вспоминала, как в детстве, в голубом и розовом платочках мы с Мариной выбегали к старому саду в такие ненастные дни, и листья падали, и шумел дождь, и мама звала нас, и пахло мокрой соломой.

Я захожу к соседке, говорю о новых военных известиях, тут же дети. Как странно! Я — взрослая, а я так же не готова к этим вопросам, как десять лет тому назад, в японскую войну.

Ах, мне хотелось бы вместе с Колей и Люсей бегать по горам, босиком и в коротком платье, слушать беседы взрослых и под них засыпать... На берегу я говорила с Люсей. Ей одиннадцать лет. Она, как взрослая, говорит о войне, политике стран, и я не знаю, каким тоном говорить с ней. Я не больше ее знаю и понимаю, но мои одиннадцать лет за горами, и каким-то непонятным способом — мне девятнадцать лет.

33

О, тишина вечеров! Вспомнила тебя сейчас, два года назад в имении Оболенских. Борис уехал на мотоцикле. Брат Андрей ушел с ружьем. Прислуга в кухне. Июль. Я, больная, сижу за столом у распахнутого окна, за ним трава и кусты, грачи кричат, тихий розовый закат; с села доносятся песни, и я пишу: «Чистый, точно струна, доносится девичий голос»... Да, у меня даже есть где-то заметка! Я открываю давнюю, одну из уцелевших, тетрадь дневника.

«...Что будет через четыре года? Мне будет двадцать

лет! Боже мой! И та же душа и crescendo* тоски и чувств. Что будет через четыре года? Изменится ли что-нибудь во мне, и много ли? Где будет Борис? Прочту ли я эти строки? То тихо, то порывисто гнутся тополя. Луна заходит. Темнеют горы. Боже мой, боже мой!»

(А на полях приписано ровно год спустя.)

...Им. кн. Оболенской. Вечер. За окном мокрые деревья. Я раздета. Борис сидит у стола, рисует. Я его жена. Через месяц у меня будет ребенок. Я вспоминаю год назад — тополя и море. Все это далеко позади!»

И теперь. С жаждою и бесполезно под этим же коктебельским небом, под той же Венерой, у тех же дорог и холмов, в той же комнате, с двухлетним Андрюшей, почти в двадцать лет, я стою над пеплом костра, костров моей жизни.

Я все помню. Я та же. Жизнь идет.

34

Тут знаком каждый камень! Прачечная и лавочка, выступ тротуара, паяльная, меховщик... Оглянулась на зеленую церковь, и когда навстречу мне прошла девочка лет одиннадцати, в коричневом платье, с косой, я стала идти быстрее, чтобы не дать пробудиться тоске, тому, от чего никто не утешит, разве что... гимназисточка — моя будущая дочь (должно быть!!), и стала смотреть, как на кирпичном доме горит солнце.

Если бы мне сказали несколько лет назад, что такого-то апреля 1915 года я буду идти по этим самым местам не Цветаевой, а Трухачевой, давно уже не живя с моим мужем и думая о мальчике почти трех лет, который говорит стихи и сказки, бегает, разговаривает со мной,— и этому мальчику, моему сыну, Андрюше неся колясочку для кукол!

Несколько лет назад я ходила в коричневых платьях, волосы по плечам, мечтала быть исключенной из гимназии и говорила, что не выйду замуж, а буду жить на Ривьере и там умру.

Тополь, коричневые ворота. Знакомый вид двора, акации, мостки, собачья будка, полосатый парадный вход, мои окна... Взошла наверх. Все вижу, все помню! Семнадцать

---

* в быстром темпе, здесь — нарастание.— *Прим. авт.*

лет жизни! Как низки потолки! Странно — как я этого не замечала тогда? Длинные, уютные комнаты. Двор. Облака вдали, тот дом, окна которого сияли всегда в закате солнца...

Здесь я бывала уже столько раз за эти три года, всегда в смятении, в горе. Теперь на душе у меня всего тише, тише, чем в эти года. М. А. и я — это совсем отдельный мир, и в то же время он входит во все миры. Он стоит в центре моей жизни, все другие стояли в стороне.

Помню, два с половиной года назад я сюда убегала снизу, когда мы бывали приглашены обедать, и, пока Борис и Андрей говорили об охоте и пили вино, я садилась за стол и быстро писала дневник (в моей бывшей комнате). И плакала.

35

Я сижу за столом и пишу. И ярко сейчас вспомнились былые утра мои, как я иду в гимназию в сером пальто, барашковой серой шапочке, с книгами в ремнях. Холодно. Снег. Иду церковным двором, думая об Анне Калин. Знакомый старик нищий (совсем желтая борода) стоит у стены. Опоздаю.

Все это было так же реально, как сегодня! Мне было девять лет, и четырнадцать, и шестнадцать! И когда пронесется вдруг какой-то отрывок, например, как я шла по улице в Париже и ела бананы, как бродила по набережной у Сены, как я осматривала Ватикан или катакомбы; или как я лежала с ребятишками у костра и мы пели «Варяг»; как я качалась на качелях с французским мальчиком в Bex, которого я звала Pipe en verre* и он мне собирал незабудки, как мы переходили через Glacier des Bossons**, через «Mer de glace»***, как во Фрейбурге мы затеяли в школе бунт и как я обожала учительницу географии; как со стаей собак мы бегали по Дарсановской горке и не верили в бога или как семнадцати лет я поехала в Нерви, обеды за табльд'от Парк-отеля, синий фонарь в конце Каполунго, лунные вечера; русские голоса в ресторанчике и страшная тоска по России или себя на коленях у мамы четырех,

---

* Стеклянная трубка *(франц.).— Пер. авт.*
** Боссонский ледник *(франц.).— Пер. авт.*
*** Ледник «Ледяное море» *(франц.).— Пер. авт.*

пяти лет... — я сразу начинаю ненавидеть мое настоящее.

Краска негодования и обиды заливает мое лицо. Мне хочется тогда целовать порог Тарусской станции и зеркало в Варшаве на вокзале, перед которым я причесывалась, все, что меня видало, что меня трогало, что меня не знает девятнадцати лет. Я презираю «сегодня». Было столько! Было все! Как я оскорблена! И я не понимаю, не понимаю того, почему все молчат — о прошедшем. Ведь жизнь больше никогда не повторится, ведь это наше единое достояние...

Die Welt ist gar zu lustig,
Es wird doch Alles vergessen!*

Я хотела бы сейчас войти в залу нашего дома, увидеть филодендроны и рояль! Хотя я знаю, что и вещи все забывают, что они легко служат другим господам. Та комната, в которой я плакала в имении Оболенских, теперь, может быть, сияет счастьем каких-нибудь «молодых»...

Одно мое прошлое так велико, что легко может затопить меня, уничтожить — реальностью бывших дней! Вот когда мне хотелось бы взять чьи-то руки и, целуя их, умереть, потому что все равно исхода нет, утешения нет, счастья нет, ничего нет, кроме мгновения, и все сотрется, все, все умрет!

Я не знаю, скоро ли опять с таким туманящим шумом ринется на меня мое прошлое, но я еще раз говорю: то, что мне дает крылья отрываться решительно от всего, и то, что мне тотчас же их подрезает, то, что меня обдает равнодушием и зажигает огнем, то, что меня потрясает больше всего,— это воспоминания.

И единственное стремление после всего — это припасть к чьим-то рукам с бесконечно-горьким поцелуем, со всею жаждою моею к счастью, со всей ясностью моего ума, с просьбой простить и все же не в силах не повторить в этот миг, что все безнадежно,— и так умереть.

Я не верю ни во что, кроме мгновения: мгновение, которое было, мгновение, которое есть, мгновение, которое будет.

И когда-нибудь мы все будем в земле. И я, и все, кто меня понимали. И как ослепительно все будет цвести! И пчелы жужжать. И июль возвращаться.

---

* Мир куда как весел,
Ведь все забывается... *(нем.).— Пер. авт.*

36

Я вспомнила Л. с такой невероятной силой, что села писать письмо. Но как только я обмакнула перо, мне вдруг вспомнилось ясно: вечер сочельника в Нерви — мне было восемь, Марине десять лет.

Сад перед окнами русского пансиона. Холодный день. Темный вечер. Мы режем золотую бумагу для елочных цепочек. Володя болен, мы с Вовой. Он «исключен из партии», у нас разрыв, но мы с ним говорим, хотя знаем, что это — измена Володе. Тоска. Как объяснить Володе, что мы его любим, хотя изменили ему? Где-то музыка. В вазе апельсины и фиги и несколько синих ягод сушеного винограда. Мама с кем-то смеется. Нам запрещено играть с мальчиками, но мы тайком бежим к Володе, вихрем проносясь по лестницам вверх и вниз. Сегодня приехал новый пансионер, русский, и мы еще его не видали. А в саду море шумит, волны ревут; агавы, кактусы; луна светит. Та же луна, которую я могу увидеть, подойдя к окну! И еще волна, и еще. Я не успеваю вздохнуть... Три песенки, которые мы любили в детстве.

Андрюшина, Марусина и моя.

Рождество. Лет пятнадцать назад. Запах воска и мандаринов, запертая зала, у Леры в комнате пахнет жжеными волосами, она завивается; на нас клетчатые платья и новые башмаки на пуговках, кружевные накрахмаленные воротники на плечах.

Через день — полное счастье! Первый день рождества. В картонных коробках, в зеленых стружках (трава) — звери. Цветные карандаши. Poúpee de Nuremberg, в голубом шелку. И мотив Тореадора из заводной Андрюшиной музыкальной шкатулки.

И еще волна. Но я уже не могу! Я не хочу, я отказываюсь вспоминать!! Как перенести разнообразие жизни? Научите меня кто-нибудь!

Все клочки, все клочки, никогда я не соберу всей жизни моей воедино! Все случайно: если бы я начала письмо Л., я бы осталась с ним на весь вечер. Но вот прошло 10 минут, и я от него уж на тысячу верст. Вдруг тоска о Марине... куда, куда, куда, к кому идти? Никто не знает меня всю, я это утверждаю. Только я. С Мариной я могу лечь на ковер, пить кофе, греться у печки, говорить удивительно, с отчаяньем, «до конца»... Но до конца ли? Нет. Ибо есть Л. К нему? Да, к нему, но...

Как я себя расскажу? Мне было 10 лет. Я читала «Вильгельм Тель», Лихтенштейна и Müsausmärchen. Мы с Мариной пили пиво, и она шла топиться в Obere Alb (оттого, что я ее «не понимала») (ей было 12 лет). Все, что можно о себе рассказать, все не то. Надо было нас видеть. Мы не были ни вундеркиндами, ни принцессами, ни галчатами, выпавшими из гнезда. Это все уж названия! Мы были — мы. Марина была толще, я тоньше. Она обожала Наполеона, мама — Людвига Баварского, я — Эдисона. Я клеила коробки для самодельного фотоаппарата. Мы целовали собак и бегали ночью по горке в Ялте. Потом была революция. Марина бредила Спиридоновой (а два года до этого она мечтала умереть за Христа). У нас были подруги немки и англичанки, египтянки, француженки. Одну из них звали Аглая, другую — Брунгильда, третью — Виолетта. А в Шварцвальде мы жили высоко в горах, ходили вдвоем в глубь леса и хотели увидеть die Waldfrau*. Ах сколько было! Ведь я живу двадцать лет! Я из них помню шаг за шагом шестнадцать — семнадцать лет.

С. меня «знает»! Г. меня «знает»! О! Разве они видали меня в двух парах очков бегущей, сломя голову, по гимназической лестнице, за руку с Аней Калин! Разве они шли со мной, когда в Пачевской долине я говорила с Мишей о баррикадах; мы пели «Похоронный марш» и жгли костры. Разве они держали в своих руках мои руки в мои невозвратимые шестнадцать лет! Разве...

Я никогда не сяду у чьих-нибудь ног с чувством, что человек меня знает. С. знает (как я говорю) мое «основное». Но что основное — знаю ли я? Звездная ночь в Ялте и Лайка, которую мы покрывали тряпками, или... и все печки, которые прогорели! Все прощания у фонаря! Все звонки! В восемь лет я играла на цитре «Andreus Höfer» — ах, помню: «Adè, mein Land Tyrol** Ганан, 3-й номер (назад), он мне не удавался!

Боже мой! Люди меня «знают»! А тот месяц, который я семнадцати лет, в начале беременности, проездила одна за границей, входила в вагон в большой шляпе под вуалью, с браунингом в кармане, и тосковала о Борисе до нашего венчания. Меня звали синьорина и расспрашивали о России.

---

* властительницу леса.— *Прим. авт.*

** «Прощай, мой Тироль!».— *Прим. авт.*

Флоренция, Венеция, Рим, ночь в Милане... Или как рано утром, на зимнем рассвете два года назад мы обе в маминых шубах старинной моды шли, как видение, по улице и нас осматривали с изумлением. Был мороз, и деревья стояли в инее.

И помню Lydo*. Я и два гондольера. Пиаццетта. Огни. Пароходики. Посте Централе, Гран Канале. Ночь в отеле «Терминус». А в Риме — отель «Милан»... Кто это знает? Мне ближе видевшие меня кельнеры и носильщики, чем люди, «знающие» меня!

Я столько была одна. Где все это? Кто это видел? Ночь в Набрезина... Я ехала из Варшавы в Геную (а мой вечер, в цирке в Варшаве, когда я послала побежденному борцу — букет! И собор, где я молилась у всенощной...). Ехала я с молодой итальянкой, веселой; говорили по-французски; она везла с собой игрушечного медведя, я его помню. На таможне карабинеры, в коротких пелеринах и с перьями, осматривали наш багаж. В Набрезина почему-то была пересадка, хотя билет был взят прямой, и я должна была переночевать в гостинице. Я шла ночью с моим факино в неизвестную темную улицу, гудели гудки... Мне было семнадцать. Никто обо мне не заботился! О моя странная, моя глубокая жизнь!

И никто не знает (а я помню), о чем я думала, засыпая, в номере маленького отеля... А моя жизнь в Отузах, кто ее знает? Андрюшина няня, которая где-то в Орловской губернии и которую я, наверное, не увижу. А было 30 вечеров мыслей и чувств.

Да может быть, какой-нибудь закат, виденный мной в Больяско или в Милане, мне перевертывает всю душу, и я сама себя уже не понимаю... А меня хотят «знать»!

Говорите. Принимаю все ярлыки. Я холодная? Так. Безнравственная? Так. Рисуюсь? Добрая? Чистая? Сошла с дороги? Ах, вступаю на путь?

Так. Так. Так. Верно. А заката-то Вы все-таки не видали. На Лидо со мной не были. Пароходики-то ехали, и Пиаццетта была под луной. Вы не видели. Вы меня не утешили, когда я плакала над письмом, а кучер меня вез мимо форума. Вы не помогли мне сойти с подножки поезда, когда у меня голова закружилась. Вы мне не сказали...

А впрочем... я Вас люблю. И Вас. И Вас тоже.

Но я хотела бы иногда спрятаться от вас всех, закрыть

---

* Остров в Венеции.— *Прим. авт.*

на десять замков мои двери и делать невесть что: клеить коробки, прыгать на одной ноге, лежать на полу, петь «J'ai l'âme folle d'une espagnolle*, говорить со всем, чего не вернуть, смотреть на огонь в печке, плакать над письмом, как в пятнадцать лет, и... о! Разве я могу это высказать!!

37

Помню, как в Трайас я ходила с «Lys rouge»** на скалы, ложилась под сосны, читала, смотрела на море, думала о будущем, стреляла из велодога в волны; так же щурилась от солнца; и шаг мой был тот же.

Красно-золотые скалы купались в изумруде и жемчуге волн.

И опять: море, и дороги, и я. И так будет еще несколько лет, а потом нелепо канет куда-то, и все кончено.

38

Мне вспомнился сейчас мой день в Лозанне, с Борисом. Перед отъездом мы заехали пообедать в ресторан. Там были окна из цветного стекла с древнегерманскими рыцарями. Мы пили скромно сидр (в первый раз) и заказывали метрдотелю — обед. Рядом сидели за столиком какие-то муж и жена. И — нитка разматывается — мои поездки в Канны, обеды в ресторанчиках на какой-то тихой авеню, пальмы, берег моря, ровный плеск длинных, без пены, серых волн, тележки с осликами...

И мой вечер в Уши: до поезда остается полчаса. Я стою у самой воды Леманского озера, в которое тихо погружается солнце. Волны, как расплавленный металл, горят красным огнем. Я держу в руках коробочку пети-фур*** и кормлю ими двух лебедей, а они подплыли к самому берегу. Я стою и вспоминаю, как по этим самым местам я ходила восьми лет — девять лет назад. Мы гуляли тут целым пансионом. Где эти девочки, с которыми так чудно было играть au rond****, бояться привидений, по воскресеньям стоять у мессы с книжечкой и четками в руках, а в классе учить про короля Мидаса, у которого ослиные уши (больше я, кажется, там ничего и не выучила...).

---

* «Я страстно люблю испанку».— *Пер. авт.*

** «Красная лилия» Анатолия Франса.— *Прим. авт*

*** Маленькие пирожные.— *Прим. авт.*

**** Подвижная игра в круг.— *Прим. авт.*

Вот тут мы шли, мимо Hotel du Château*. И перед отъездом в Шварцвальд тут же провели с мамой последний вечер — была иллюминация, музыка, и мама говорила о том, что когда-нибудь мы все это забудем или почти забудем,— вот свое детство в Ясенках она помнит, хотя и в подробностях, но как сон. И потом мы шли между скамеек и публики и говорили о том, что жизнь идет полосами: Москва, Таруса, Нерви — теперь Лозанна.

Я смотрю на землю, на щепочки и не могу осознать, что это здесь было.

Борис в Женеве. С рвущимся, как пружина, из меня потоком тоски, я отхожу от воды в тень аллеи, иду и с упрямством хочу себя почувствовать восьмилетней.

От солнца остался тоненький краюшек... Господи! Да где же мама? Ведь невозможно, немыслимо, чтобы она исчезла совсем, навсегда,— точно растаяла в воздухе!

Я так же ясно, как себя в зеркале, вижу ее: лицо, блестящие карие глаза, чуть-чуть желтоватые; дуги бровей, высокий лоб, волнистые волосы, темные; клетчатую шаль на плечах, кольца (с бриллиантом и рубином, другое с сапфиром и обручальное) и большие белые руки. Все помню! Прекрасную игру на рояле — часами, и то, что она любила Шекспира (а я его совсем не люблю), и то, что она была деспотична — характером и жалостлива душой, и то, как читала нам «Ундину» и «Рустем и Зораб»,— замок Рингштеттен, Гурдаферид, и то, как она сидела в «маминой гостиной», положив ноги в меховой мешок, и писала... светила зеленая лампочка... Я помню почти все мои одиннадцать лет жизни с мамой! И низкий голос, она пела альтом... Где же это все? Еще есть ее гитара, и шаль еще недавно была, есть целая этажерка нот, все ее вещи, вплоть до поздравительных карточек от знакомых... В зале консерватории до прошлой зимы на одном из кресел стояло имя: «Мария Александровна Цветаева»...

Сыростью потянуло от озера. Солнце село, волны желтеют и меркнут. Ветерок. Пора! Как бы не опоздать к поезду!

Я прошу каких-то людей подозвать такси, сажусь, дверцы захлопнулись, и по тихим улицам Лозанны везет меня, мягко подпрыгивая, автомобиль. Я откинулась на спинку. Справа и слева мелькают дома.

---

* Отель «Замок».— *Прим. авт.*

Вспомнились мне сейчас утра наши с Борисом во Франции, поездки ранним поездом из Трайас в Канны. Этому четыре года. Но этому уже вечность, потому что этого никогда не будет.

И зачем это было?

Как на кинематографической ленте, подробно и бесцельно, мелькнули улицы, рестораны, универсальные базары, площади, кафе, магазины; сколько мы прочли вывесок, во сколько входили дверей, скольких кельнеров лица я еще ясно помню; я еще воскрешаю — во рту тающий кусок огромных иерусалимских апельсинов; тени в скверах от пальм, скамейки, гравий, песок, ровный прибой длинных голубоватых меланхолических волн...

Я помню себя в элегантном пальто с огромным воротником из шелковистого бархата, спадавшим на плечи и грудь мягкими складками, в большой, с черными маргаритками, шляпе — и зонтик помню в руке.

Я помню широкой волной на все дни разостлавшееся настроение — безделья; ласковое безразличье к тому, день ли сейчас или вечер. Запах сигар, запах фиалок. Запах воды. Бесцельность денег в щегольских партмоне, наши чуть скучающие фигуры у витрин...

День склонялся к полудню. Наступала жара. Усталые, с массой пакетов, три четверти из которых мы бы легко бросили здесь, мы входили в широкие двери какого-нибудь пустого кафе.

Рай, отдых.

Вмиг мы становились друг к другу ласковы; забывались споры о направлении улиц и часе отхода поезда — карта вин в руках Бориса, на серебряном блюде нам несут caviar russe* — о, блаженство!

Как элегантно движение, с которым я устало снимаю из тонкой замши перчатку.

Как брезглив над подносом с ящичками лучших сигар — Борис.

Как почтителен метрдотель.

Светло сочатся из кусочка лимона на тартинки с икрой — капли. Тонка и ароматна горечь этого странного блюда!

---

* русскую икру.— *Пер. авт.*

Взглянув на нас, кто бы сказал, что мы муж и жена! Как безнадежна чувствовалась жизнь впереди — полное отсутствие будущего. И как мудры были мы в семнадцать и девятнадцать лет, иностранцы и путешественники,— что не глядели вперед.

И ведь мы вправду ничего не хотели!

И в ласковости, с которой мы обращались друг с другом, все уже было — вне мира.

Я вижу лицо Бориса, острое, строгое, сигару у губ, синий дым, светлое золото легких волос, отброшенных; и задумчивый взгляд пронзительных синих глаз, в которых — щемящий мне душу холод,— полное его одиночество!

И мое — полное. И его ребенок во мне. Тьма над будущим.

Отодвинув тарелку, я развязывала пакеты и свертки — о изящество желтого маленького деревянного веера с ласточкой.

И кольца к салфеткам. Шкатулка. Портфель. Шелковые тяжелые галстуки...

Наклонясь над дорожной чернильницей, Борис рассматривает тонкий узор гирлянды фиалок.

За окном несся — и стекла тихонько звенели — открытый автомобиль.

40

Я помню, как вечером зимой я спускалась по крутой каменной мокрой и темной лесенке, ведущей в кухню. На мне было черное платье из бархата, круглая бриллиантовая брошь и кольцо с бриллиантом. Выйдя от тепла вечно горящего камина, я куталась в боа и дрожала от холода. Я шла сказать что-то об ужине. И вдруг — я остановилась на ступеньках и у меня безумно забилось сердце:

«Когда-нибудь, и это наверное, это более наверное, чем этот день, я буду лежать в точно таком же мраке и сырости, в полном мраке и под тремя аршинами земли!»

Рванув дверь, я громко крикнула прислуге приказание и, держа платье, брезгливо, с поднимающейся тошнотой, цинически, как бы закусив удила, улыбаясь, побежала наверх.

У камина в комнате Бориса сидели у огня несколько человек и, увидев меня, уже приготавливали мне место. Я поглядела на них страшно-острым, внимательным и одно-

временно широким взглядом и молча села у огня. Меня укрывали маминой бархатной шубой. Прекрасные лица всех нас были ярко освещены.

41

В комнате Бориса часто и при мне пели романсы и песни и меж них — песню о Стеньке Разине, утопившем княжну. Мне — не знаю, но тонко чувствую, почему — каждый раз при этой песне становилось горько, одиноко, оскорбительно, меня заливала тоска и негодование до самых краев сердца. Я слушала, опустив голову над чашкой чая, веселые молодые мужские голоса, певшие так беспечно, так юно, так пошло-юно, как мне казалось, гибель персидской княжны от руки атамана Разина — и мне мнилось, что они сами таковы, все до единого — беспечны, грубы, поверхностны, через край налиты своим мужским правом, гордостью, спесью, каждый из них бросит в воду «княжну», как только «друзья» станут на его дороге с насмешкой.

Я могла бы легко тогда дать себе волю — безумно, до исступления плакать о персидской княжне — о тонкие ручки и ножки ее, узорные туфельки, о тоненький звон запястьев и ожерелий, «о ночь, о глаза», прослужив удовольствием двух — трех ночей мужчине, все это были залито водой, превратилось в труп,— из-за воров и разбойников, из-за их мужской спеси — о гадость!..

Они пели. И мне казалось тогда, что это **меня** они топят, во мне все кипело и угасало, мне хотелось встать и сказать им, что я их презираю, что я — всё! а они — студенты,— но что-то горечью держало сжатым горло, в котором уже стоял и душил меня — клубок.

Я постоянно жила на самом краю души. Это была лихорадка. Я тогда знала только слова, как: смерть, любовь, безнадежность. Мне не хватало воздуху. Потому я пила эфир. Жизнь всех вокруг была: спокойствие и обыденность. Моей жизнью были: нестерпимая красота — и смерть.

О всех я тогда могла бы сказать брезгливо: «Как они молоды... молоды... молоды...»

42

С какой жгучей болью я вспоминаю порой — и как ужасно бесцельно — мою жизнь три года назад.

Восемнадцать лет. В тяжелой (на лисе) черной плюше-

вой шубе я возвращаюсь по снежным переулкам Арбата к Собачьей площадке; вижу издалека свет в комнате Бориса. Я вся — в пакетах и наклоняю лицо, чтобы не дул ветер в шею. Я несу торты, ананас или вино, сейчас будет чай, я вижу за шторками смутные тени людей,— значит, гости.

В душе была полная, счастливая пустота.

И вот я звонила. Те две минуты, которые шли на отпирание дверей, были мучительным напряжением слуха — узнать, чьи шаги; я трогала штукатурку у двери, смотрела на медную дощечку с надписью: Б. С. Трухачев, кто-то сбега́л по лесенке. Щелкала цепь, и, отряхая легкие пласты снега с плечей и глубоких складок рукавов, я входила, стуча ботиками и улыбаясь отпиравшему.

В детской Андрюша засыпа́л в конвертике на руках у кормилицы. В моей комнате было темно: еле мерцали на стене рамы и бусы и на фоне окна вырисовывались помпоны тяжелого занавеса, разделявшего комнату на две части.

Я останавливалась на миг над грудой свертков в полном забвении. Сердце стучало. В комнате Бориса раздавались взрывы смеха, игра балалайки, няня несла антрацит для камина... Остро сверкала у меня на груди — веткой ландыша — бриллиантовая брошь (еще мамина) и два-три кольца на руках.

Монотонное пение неслось от Андрюши.

Зеркало отражало мне нежное, розовое от мороза мое лицо; на золотистом изгибе волос блестели растаявшие снежинки. Я дышала на замерзшие руки. В столовой вдруг раздавался громкий голос, кто-то шел ко мне. В буфете звенели посудой.

Это были часы, когда во мне угасали — остатки «добра и зла».

Борис приходил, и часто вдвоем с Бобылевым, в два, три, четыре часа утра, после игры на бильярде, выпив много вина. Он уходил, не говоря куда, и никогда не отвечал на мой вопрос, когда он вернется. Я перестала спрашивать. Мы почти никогда не бывали наедине. И, запершись в своей комнате, рядом с детской, где няня укачивала Андрюшу, я часами писала дневник, подводя сотый итог свой жизни, которая с ясной насмешливостью рвалась у меня на глазах.

О! Я не могла позабыть того Бориса, который входил

медленно, почтительно в мою комнату два года перед тем, с которым у меня до полуночи шли блестящие и нежные разговоры, с которым я каталась на норвежских коньках! Но этих часов не знал тогда никто, даже и Бобылев. Я даже не знаю, вдумался ли когда-нибудь Бобылев в мою любовь к Борису. Для него Борис был товарищ, друг, бесконечно интересный и близкий, но что он мог понять в нас двух, видя нас в постоянной легкой вражде, доходившей до грубости? Не казалась ли ему наша любовь — ошибкой, как казалась всем?

И когда он входил ко мне, я никогда не сказала ему, о чем я сейчас думала, он так и не узнал всей смертельной тоски, заключавшейся в моих отношениях к Борису. Да он и не мог узнать: потому что когда он был со мной, я не думала о моем прошлом, я не любила Бориса и не жалела его, я вся становилась иная: и вот этот-то блеск мой он и знал: стояние на краю пропасти, разрыва, конца, смерти. О! Это был истинный танец на канате!

Я рвалась из цепей моей сложившейся жизни, и в то же время, как я насмешливо сама говорила о «новой жизни», я знала хорошо, что она была невозможна, я совсем не стремилась к ней, я ее презирала, точно так же как и ту, которая шла. И как только разговор мог коснуться «счастья», «будущего»,— я становилась еще гораздо надменней.

О! Начинать новую жизнь! Честно рвать со старой! Идти вперед рука об руку, да еще с кем! С слушателем моего дневника, с юношей девятнадцати лет, который, как былинка, качался из стороны в сторону. С человеком, прыгавшим с третьего этажа, с человеком блестящим, как мы все тогда, и совершенно негодным для жизни, в сто раз менее годным, чем я!

Скажите мне, вы, кто слушаете, судите, понимаете, что мне тогда было делать!

Я ничего не делала. Я стояла подолгу, когда никого не было дома, в Андрюшиной детской, у натопленной печки, слушая разговоры кормилицы и няни, потом проходила по комнатам, шла в комнату Бориса, где было непривычно тихо, приказывала затопить камин, садилась у него. Иногда приходили Марина и Сережа, мы оживленно говорили о чем-нибудь, я их поила чаем, угощала вареньем собственной варки... Выносили Андрюшу. Потом они уходили. Я мешала угли, слушала их легкий треск — словно звон, когда они падали. Темнело. Час обеда давно прошел. Няня укачивала

Андрюшу... Вдруг раздавался звонок. Я быстро шла в свою комнату, прислуга шла отпирать — с шумом, смехом, громкими разговорами входил Борис с кем-нибудь из товарищей, зажигался свет, звучали их большие шаги, звонок за звонком,— и уже в комнате Бориса — балалайка, пение, в передней кто-то снимает калоши...— «Барыня, пожалуйте к обеду...» Я шла разливать суп.

Если когда-нибудь мне было суждено изведать, что такое фактическая и полная безнадежность — так это тогда. Всем нам, так веселившимся в этом маленьком домике, были закрыты пути к какой-либо перемене. Мы стояли перед стеной, и все должно было идти, как шло. Уже не говоря о том, кто мы такие были по существу (а в этом сочетании нас и были главные причины безысходности и блеска нашей жизни), но просто по тому, как сложились сложные отношения всех нас, какое каждый из нас среди других занял место — все не могло иметь впереди никакой, кроме темной, развязки. Но в темную развязку не верилось, мы все были так молоды и, казалось, беспечны, что часто вся эта сложность походила на игру, не более. Уже отношения Бобылева и мои были мучительны и серьезны, в книге бы это было часом какой-нибудь перемены, а у нас все шло, как шло, и ни он, ни я не могли найти слова для названия того, что мы чувствовали. Мы так редко говорили о «любви» — это слово тогда было как-то слабо, невыразительно, оно не шло нам. Мы все говорили о безнадежности (он, как и я, чувствовал ее всеми фибрами, хотя увлекался наукой и хотел верить в нее), о бесполезности всего, о смерти — какая же это была любовь! Как было шагнуть — от этого к «будущему»? Что было нам делать, как не любить друг друга — всем блеском ума и чувств, но совсем бесполезно! И мы продолжали жить как жили — он — среди нас и среди занятий, книг, увлечения тем и тем, я — дома, в полной тьме отношений с Борисом, в заботах об Андрюше, в писании дневника, в разливании супа.

Но в темпе нашей любви все было оборвано и лихорадочно: мы редко бывали вдвоем, и у нас не было длинных бесед, как можно бы подумать, прочтя вышесказанное; отношения возникали и обрывались каждый день, ни он, ни я ничего не знали о завтра, и не делом было уяснить что-нибудь — в хаосе наших двух беспокойных жизней. Он понял и принял меня в себя всю, но ничего не было ясного

в его поведении, кроме безрассудных вспышек нежности, кроме восторженных слов, кроме того, что он слушал, словно музыку, мои речи, кроме того, что и ему и мне становилось все более душно!

Но уже было ясно, что это — на всю жизнь. Что расстаться мы никогда не сможем. И он писал мне: «Ася! Говорите, говорите, и я без конца буду слушать Вас!»

Никогда в другой раз в моей жизни я не испытала таких дней, как с ним, и если все же надо назвать **что** это было, я скажу: это было безрассудное, жестокое для обоих, но самое настоящее **счастье.**

Он был юношей, он не был мужчиной, и удивительно то, что и я не была женщиной, как это принято понимать. Только теперь, оглядываясь назад, я вижу, как все это было фантастично,— более тонких, более нежных, более верных отношений не могло быть, чем тогда были между нами. И в то же время все это было абсолютно лишено физических желаний: ни мне, ни ему ни разу не пришла мысль о возможности принадлежать друг другу. О! Тут все было гораздо глубже, совсем смертельно!

Я помню, как я лежала в постели в рубашке с распущенными недлинными волосами, у меня совсем был вид девочки, я была худее, чем сейчас, детского фасона рубашка с узенькой отделкой и меткой А. Ц. (еще мои детские). Горела лампадка, мерцали портреты мамы, нас — девочек, меня — подростком; ярко блестели цветные венецианские бусы, покрытые легким слоем настоящего золота. Сухие цветы. Были спущены тяжелые шторы. Он сидел рядом со мной, держал мои руки, любовался моим лицом, мы говорили, что когда-нибудь поедем вдвоем за границу...

Уже лампы были всюду потушены, он входил в мою комнату, нес чай, покрывал меня маминой шубой с массой рассыпавшихся бархатных фалд, слушал мои насмешки насчет химии и философии, брал мои руки, и вот начинались наши часы...

Я раскрывала дневник и читала. Он слушал восторженно и смущенно. Он не знал, как же примирить, сочетать ту огромную надежду, тот смысл, тот ясный свет, который он видел в науке,— с той абсолютной безысходностью, тем

лиризмом, иронией, тем все возраставшим блеском, которым веяло от моих страниц.

...«В жизни нет ничего, кроме романтизма. В мире нет ничего, кроме грусти. В небе нет ничего, кроме пустоты. В человеке не может быть ничего, кроме жажды, и мир не должен ее утолять! Никогда ни перед кем я не буду права. Никогда я не буду царем положения. Я не сделаю ни одного из тех вечных жестов, которыми держится мир. Я слишком чувствую смерть и ее неопровержимое приближение, в каждой минуте. Я слишком гениальна, чтобы оставить след. Я умру, высказав меньше, чем кто-либо!

Если бы были еще храмы эфесские, я бы сожгла их все! Если б я верила в Прометеев огонь, я бы его добыла!

Но их нет. И в огонь я не верю. И сделать ничего нельзя!»

«...Кант и Декарт оба одинаково правы, потому что оба одинаково не сделали ничего.

Не надо ни книг, ни науки, ни стихов, ни красок, ни музыки,— нет ничего, все сон. Есть только бесконечно пустое небо над нами — и мы!..»

Сжав мои руки, позабыв о химии, он говорил:

— Что может быть лучшего, чем умереть — с Асей?

Я говорила надменно, что я хочу жить. Что завтра он будет сидеть над ретортами, что он когда-нибудь будет любить другую — я буду тогда уж далеко... Я вся поникала. Я делалась холодна.

— Ах, мне ничего не нужно!..

Били часы. Он сидел молча и вдруг ронял голову на мои руки и говорил с отчаяньем и с восторгом:

— Ася, Вам нечего возразить...

На другой день я сидела за чайным столом и слушала их разговоры об университете. Приезжал в гости папа, выносили Андрюшу, папа смеялся с ним, говорил, что у нас холодно, что он пришлет дров... Спрашивал, не хочу ли я новое платье. Рассказывал о музее. Потом, взглянув на часы, медленно вставал, целовал меня, молодые люди провожали его до передней. Час спустя мы все сидели у камина, был шум, пили вино.

Но боже мой! Я ничего не сказала, если не сказала того, что меня тогда любил Миронов, что он все понимал; и что я — начинала его любить.

Ах, мы бывали в театре. Я носила платья со шлейфами. Да, я была красива! А мой костюм пажа! Берет и перо на берете! А это рождество, о котором я ничего не сказала, с которого все началось: маскарад, и у камина все ночи — чтение моих дневников!..

А потом вдруг все кончилось, сразу! И кто, кто же поймет этот день, день его похорон, по улицам (был первый весений день) таял снег, первые облака, цветочный магазин на Никитской... Нет, нет...

Любопытно, что я (после смерти Бобылева не в силах жить там, где мы были вместе) нашла на полтора месяца, до отъезда на хутор к отцу Бориса, за углом, флигель того самого дома № 6 в Борисоглебском, где полтора года спустя Марина поселилась на восемь лет, до отъезда к Сереже в Прагу в 1922 году.

Это было три года назад, в 1913-м. В Москве стояла весна. В Тихом Борисоглебском переулке, напротив дома 6, в часовне горела лампадка перед ликом строгого святого. Я часто молилась ему, став на колени у окна в одной из передних комнат среди груды книг, лежащих на полу. Со смерти Бобылева прошел месяц. Он казался годом. Мне было 18 лет. Андрюше было 7 месяцев. Борис был где-то вдали — не то в больнице, не то у матери — наша жизнь с ним была порвана; как сложится жизнь, что со мной будет,— я не знаю в своей жизни другой такой смутной поры.

Я была всеми брошена, то есть одна. Борис лежал в больнице, Миронов, вставший тогда на мою защиту и полюбивший меня,— по просьбе моей только что уехал в Иркутск, к отцу, и был еще туман от дней, от безумного напряжения разговоров, бывших с ним. И мои 18-летние плечи вынесли все без малейшей помощи — гибкостью, покорностью, чудом!

Смотрите, каким цветком распустился шатавшийся стебелек, склонявшийся ниц, к Евангелию, к добру, перед лампадкой.

По вашим приговорам, по всеобщему осуждению, я как по лесенке взошла наверх,— где прекрасно! — и солнце ласкает атлас моих лепестков, и небо широко надо мной!

Вечера. В громадной квартире — тени, тьма, тишина. Стуки. Далекая улица. Моя комната самая глубокая в доме. Рядом — Маша, толстая, добродушная, моет посуду, брызжа по сторонам грязной водой с мочалки. В детской, длин-

ной комнате с розовыми обоями и тремя высокими окнами, кормилица ходит с Андрюшей на руках, он в батистовом платьице.

Звонок: Андрей (брат). Он проходит в свою комнату (он временно переехал ко мне). В столовой накрыт чай и ужин. Андрюша заснул, и там тихо. Кормилица, поднявшись с колен, с затихающим «ааа-ааа», на цыпочках выходит к нам, улыбаясь. Ее худое лицо, серое платье,— как сейчас вижу.

— Ну что, уснул? — спрашивает Андрей. Маша несет что-то из кухни. Шумит самовар. Я отдыхаю среди этого мирка, стука посуды и разговоров, потому что весь день меня мучала тоска.

Ночью доносится сонное бормотанье и голос кормилицы: «Ааа...»

Утро: солнце, за окном вербы... Заря, вечер, грохот города... Андрюша, в колясочке, играет с цитрой. Куда мне идти? У Л. А.* прием. К Марине? Но там мне так ясно видится Бобылев, в зале на этажерке стоит золотая корона, которую мы клеили для его маскарадного костюма. А Марина... Нет, она сейчас не понимает меня. Однажды я пришла туда с невероятным приливом тоски, мне казалось, что я скоро умру. Марина и Сережа, которым я сказала о моем чувстве, стали меня утешать, но так весело, что я поняла, что они не почувствовали, что со мной.

Я помню себя идущей по улице, вижу, как откидываются полы пальто, над заборами уже зеленые веточки. Далекий грохот Москвы. Я шла, и у меня слезы подступали к глазам, в невероятном волнении. Днем я ходила гулять с Андрюшей и все обязанности по отношению к нему исполняла строго и свято. Вечером я играла с ним, но он не шел ко мне на руки. В постели я читала Евангелие. И ночью снова наступала бесконечная тишь.

Помню, как лунным вечером я шла по Поварской. Я думала о добре. Мне казалось, что добро в себе заключает все — и красоту тоже. А красота меньше добра. Путь мой должен был быть теперь путем отречения. И дома, снимая с пушистых волос большую бархатную шляпу, я подумала, что, если бы болезнь обезобразила меня — я бы не дрогнула, только бы улыбнулась в ответ.

---

* Лидия Александровна Тамбурер, старший друг.— *Прим. авт.*

И мне, мне, которая все это испытала, которая все годы несет непосильные тяжести, мне смеют говорить, что я не понимаю добра, что я его отрицаю из жажды оригинальности!

Я каждый день ездила на могилу Бобылева, ставила цветы, смотрела, горит ли лампадка, и говорила со сторожем. Когда он уходил, я становилась на колени и целовала влажный песок холмика. Было тихо. По дорожкам проходили мещане, женщины в косынках, дети в розовых платьях, грызя семечки.

И помню еще: день рождения Бориса. Ему исполнилось 20 лет. Мы поехали к «Диане» покупать винтовку. Было оживление. Над Лубянской площадью гремела гроза, тучи неслись по сиявшему небу. И первые капли дождя сразу запятнали мостовую. Я села в трамвай, весело и нежно простясь с Борисом, я была ему благодарна за ласку; я с ним провела два дня, мы решили снова жить вместе.

Я была красива в этот день. Вуаль так нежно отдаляла от взглядов мое лицо. Но как только Борис исчез из глаз, меня охватила тоска. Эти два дня он все говорил обо мне, он мне меня объяснял, и гипноз его слов закрыл от меня все иные края горизонта.

Да, все так. Я та женщина, которую ждало много поколений мужчин, я — неизбежность, я — создание чужой воли. Я создана, чтобы быть прекрасной, чтобы всех губить и самой погибнуть. Спасения не может быть ниоткуда. Вины на мне тоже нет. Те, кто меня поймут, не осудят. Но почти никто не поймет.

— А мои порывы к добру, к чистоте, что ж они?

И уж во мне готово забушевать целое море, когда ум мой остро дает ответ:

«Если бы всего этого в тебе не было, ты бы ничего не стоила. Все должно быть как есть. Именно: тебе должно быть не тридцать, а восемнадцать лет, ты должна быть прелестна, невинна, трогательна. И что любишь собак, и целуешь их — все это нужно. Читать Толстого, читать Евангелие и больше,— все бросить, уйти в пустыню — великолепно! А все-таки кончишь тем, что погибнешь под ножом, как Настасья Филипповна.

Там смотри же скорее в небо, любуйся радугой, слушай грозу, целуй собак, пиши — все равно сожжешь, значит, можно! Спасай утопающего — все равно завтра сама на нем

затянешь петлю, езди на кладбище,— завтра полюбишь другого, и, если легче, что ж? плачь над собой!»

Трамвай тем временем заворачивал к университету. Вот часовенка, где стоял гроб Бори Бобылева. Студенты идут. Дождь перестал, свежо. Боже!

И все это — для чего было? Для того ль, чтобы теперь, три года спустя, я обо всем этом так «красиво» писала? А я слышу еще, как хлопает калитка дома Марины, из которого я выхожу, чтобы снова идти к себе, весь день одна; и смутные часы, когда, глядя на себя в зеркало, я не знала — согласилась ли бы я стать уродливой.

Когда тихо, задавленная глыбами происшедшего, во мне билась — жизнь.

Я вспоминаю, как, бывало (тому скоро четыре года), ждала ночами Бориса.

Тихо. В Предтеченском переулке была глубокая ночь, мимо шли шаги, очень редко. Я лежала, часами ожидая знакомых шагов с трепетом; что-нибудь читала или шила — от сна.

За итальянским окном была мгла. Прислуга спала. И вот раздавались шаги, и я их узнавала; я вскакивала, становилась на колени и молилась, «чтобы исполнилось»,— но не было сомнений: сейчас раздастся гул дверей и потом резкий короткий звонок. Но вот все тихо, проходит полминуты, минута — тихо. Неужели не он? Сердце бьется. Тихо. Не он. Шаги замирают. Я ложилась. За стеклом окна порой неслась чья-то фраза и затихала вместе с шагами. Стенная мамина фарфоровая, на резном кронштейне, лампа с матовым шаром начинала гаснуть. Часы били час, два, три. Я теперь ждала уже из упрямства — чтобы, придя, он не застал меня спящей. И уже проходила любовь к нему, проходила вся тоска ожидания, наступало что-то другое — из тайных недр подымались воспоминания о других временах, о Трехпрудном, о детстве, о юности, о моем «магическом кабинете»... О! Если бы это увидела мама?

И в эти минуты я уже забывала, кого я ждала. Я себе казалась женой, ждущей мужа. Я забывала, что ему девятнадцать лет, что он также во всем невинен, я все забывала, все силы, потраченные на него, мой крутой поворот дороги и то, что я хотела отныне лишь одного: нести его на руках!..

Часы били раз. Нет, он не придет ночевать, это ясно.

Надо спать. Конечно, он не придет. И вот только вдали раздавались шаги, и были крупные, громкие, так тотчас же снова казалось, что он может прийти, придет, наверное. Надо ждать. Снова волна любви. Било четыре.

Есть какая-то испорченность, казалось бы, в том, чтобы так вызывать в явь — прошлые ночи. И еще теперь, когда я не задрожу от этих шагов, когда — все другое. Но во мне это не так.

Эти ночи были. Было глубже и больнее, ужаснее, безнадежней, чем я описала,— и вот это-то и дает мне какое-то тонкое право писать.

Я бы не стерпела того, чтобы написать ярче, чем было.

Я всегда в себе — полусознательно, оставляю какой-то осадок на самом дне души, терпкую муть, которая не ляжет ни на какую страничку и в которой «вся суть-то и есть».

Пока нет этой мути в том, что я пишу, все так, можно.

А я ли перейду границы?

И как бы «художественно» я ни писала, только я у себя знаю тот жест, с которым — оставляю тетрадку и сжимаю голову руками, без сил!..

43

Как я люблю эти долгие весенние дни, когда в запахе нафталина стоишь на коленях перед сундуком, из которого один за другим вынимаются: мех, шали, платья, шкатулки и кружева, еще тонко пахнущие духами сквозь нафталин, осыпающийся с них наподобие серебристого дождика!

В приоткрытые форточки входит тепло, и уж солнце клонится вниз, где-то на соседнем дворе играет шарманка. Грохочут колеса. Крики детей, воркование голубей, пахнет тополями.

Усталая, я присела у сундука, опершись о его край, другой рукой придерживая тяжелую крышку, бесцельно глядя перед собой, о чем-то задумавшись. Вокруг меня на стульях, ковре, комоде — груды всевозможных вещей; смятые куски папиросной бумаги, покрывающие причудливые коробки, футляры, обрезки шелка и кружев. Платья. Какие-то допотопные пелерины, тяжелая шуба, утопающая в бархате своих складок, цветная шаль, расшитая скатерть, стопки белья — свидетели и друзья всевозможных эпох моей жизни, и бабушкиной и маминой,— сколько людей прикасалось к этим вещам, сколько раз их укладывали, вынимали, моды менялись, вещи становились смешными нелепыми...

Кажется, нет в мире грусти большей, чем сейчас в этой комнате. Острые, как игла, чувства, чувства непередаваемые, как запах этой шкатулки, сосут мне сердце. Nice, Biarritz, Andenken an München, Souvenir de Lousanne*, длинные синие крылья ласточек, летящих по блестящему желтому фону маленького деревянного веера...

Предметы бесцельные, предметы роскоши, полные пыли и времени,— над вами тихо стоят тонкие запахи, от которых изнемогает моя чувствительная, неповторимая в веках — душа!

Косой длинный луч яркого прощального солнца упал на уголок бархата и на кружевной воротник, полуупавший со стула. Шарманка смолкла. Сейчас надо — не жить. Сейчас надо...

В форточку легенький ветерок несет тополиный запах; мимо окна топот детских ножек. Медленно начинает темнеть...

Годы давно прошли,
Страсти остыли,
Молодость, радость прошли...
Белой акации
Ветви душистые
Вновь ароматом полны!

Что в мире стоит за меня? Где гора, на которую я могу опереться?

Музыка.

Здание мое — построено ли на песке?

Да? Не спорю.

Слушаю. Вальс. Слушаю. Слушаю.

Слушаю. Я права.

Вальс звучит. Я права. Я черпаю силы.

Но как душно, какая тоска от моей правоты, которая все обнимает. О как душно! Я ничего, ничего не могу рассказать! До тех пор мне не может возразить по существу — никто, ни полслова. Меня будут понимать. Да. Будут часы мне близкие. Будут часы, когда душно и когда земля под ногами качается, когда мнится, что подтолкнуть ее вверх или вниз — ничего не стоит, когда человек стал больше планеты,

---

* Ницца, Биарриц, воспоминание о Мюнхене, память о Лозанне.— *Прим. авт.*

будет час, когда тихо, ночь, совершаются чудеса,
будет час...

Иногда меня охватывает такой ужас быстротечности времени, такое право жить, такой хаос чувств, такое общее отчаяние, до такой ужасающей остроты — что я не знаю: где те пути, где те наслаждения, где то счастье, где те чудеса, что могли бы меня утолить и насытить.

Точно кто-то рвет меня на куски!

44

Порой я в жизни люблю только вещи, мелодии, запахи, стихи, звуки.

Я совершенно изнемогаю от какой-то жажды, от счастья, от смертельной красоты, когда слышу запах сирени, запах дыма, костра. Или слышу в сумерки гудки поездов.

Куда меня все это зовет? К какой жизни?

К смерти, мне кажется.

45

Сколько чувств я хотела иногда разделить с кем-нибудь, перелить в другого, но — безнадежно!

Потому, что, когда кто-то был со мной — их не было. Тоска кладбища — и та вдвоем была совсем особенна. Или — черная улица, забор и глухой шум голых ветвей, от которых мне страшно. Или звук рояля из квартиры, мимо которой я еду в освещенном лифте. Всего этого не передать. Таких чувств было уже бездна. Ах, тоска жизни!

46

У меня сердце болит от красоты моих чувств и от трагического дара — ее описывать.

Сейчас, идя по Итальянской, я почувствовала запах Нерви. Да, да, он! Область запахов — какая громадная область! И какая жестокая, какая живая!

На Итальянской сияло солнце. Мы шли под арками. От них на тротуаре лежали резкие тени. И вдруг сразу встало Нерви, мама, «Кошечка», «Тигр», Володя — одуряюще сладко и сильно запахло: чем-то пряным, фруктами, фиалками, теплом и точно солнечными лучами, я увидала на миг гору и церковь St. Ilario, и Lavarello, и Capolungo*... И ушло.

* Св. Иларио, Лаварелло, Каполунго.— *Прим. авт.*

47

В Дворянском собрании было нечто невообразимое: в пользу раненых базар, что это было!

Залы неузнаваемы. Люди залили их потоком. Продавцы и палатки, зазывания, звук труб и шарманок, лотереи, пестрота, фонари. В большой зале устроена «Сухаревская площадь». Русские мужики и бабы, кормилицы в кокошниках, турчанки на фоне тканей, продающие всевозможные вещи, джентльмены, дамы, неаполитанец, хохол, гул, треск, визг, настоящее вавилонское столпотворение. Меня все это оглушило. Масса красивых лиц меня поразила и оскорбила.

Бархат чьих-то глаз, роскошь чьих-то плеч и платья, перо, шлейф, смех, чей-то звонкий голос; и то, как он целует ей руку, а она говорит с другим и кому-то кивнула; и то, как сыплются деньги, и что у меня их нет, что я не могу бросать их пригоршнями в эту толпу, и еще множество чувств, давно меня оставивших, вспыхнули с силой.

Невыносимое самолюбие мешает мне жить так, как живут другие. И если я еду на вечер, то не иначе как в тоске. Никогда не бывало веселья. Меня все это ранит сотнями стрел. Какое же это веселье?

Да и как вынести то, что я в толпе незаметна, а эта турчанка с чудными косами ослепляет взгляд.

И я, которая лучше всех пою маскарад, я никогда не буду в нем — ни домино, ни маркизой, ни Коломбиной! Я его слишком хорошо воспела, я уже никогда его не переживу!

И я хожу по залам, наполненным маскарадной толпой, с лицом, потухшим и утомленным, мне режут глаз — яркие туалеты и слух — отрывки фраз. Меня все оскорбляет. Все слишком весело. Веселие ради веселия! О пошлость! О мой трагический маскарад!

И если бы вот этот неаполитанец мне сказал сейчас: «Маскарад лучше всего»,— я бы ему надменно ответила, что я учу — философию. Философам я говорю:

«Сойдите с кафедр. Дайте дорогу — легко, гримасничая, танцуя, идет мимо вас маскарад».

Я никогда не веселюсь на балах, в театрах, на маскарадах. Я всегда в тоске.

Ах если бы я могла с толпой придворных врываться в блеск зала и сиять, как солнце,— я бы, может быть, и смея-

лась! Но идти под руку с одним из моих друзей, который загляделся сейчас на барышню с черными локонами, иметь не безукоризненные наряд и лицо... Да и как это — «веселиться»?

Я веселюсь часто: в комнате, в кинематографе, от рублевого торта, от песни, от луча солнца, от ничтожных причин — но чтобы веселиться на маскараде? И я там — пятое колесо, смешной придаток,— и барышня в фате, монистах и с алыми щечками — там в тысячу раз нужнее, милее меня!

Ночью, слушая вальсы, думала: что такое «веселие?»

Вот звучит танец. Бесконечность паркета, кружение, маски, звук скрипок, серебро рокочущих мандолин. Полет, покрывало буден, цветы, но если веселие — это последнее, что есть в мире, если тут же, всплеснув руками, надо умереть, то знаю: упав на ковер, раскинешь руки жадно, в тоске. Хлынут слезы... Музыка смолкла. Итак — последний миг — все же скорбь!

Я в жизни люблю всего один миг. Когда в первый раз, не как даме, а как женщине, человек несет мою руку к губам, взволнованный и молчаливый, и все тихо кругом, только сердце бьется, и впереди уже встает разлука, и все безысходно, как прежде. И миг — наш, мой. Чужой становится близким. Еще раз чьи-то глаза говорят то, что не скажут губы. Еще раз — разговор до утра. Еще раз по какому-нибудь городу ходить, ходить без конца, и потом прийти ко мне, и раскрыть дневник, и прочесть предыдущие дни, и не отрывать своих рук, когда он их возьмет для поцелуя.

И все прошлое мое вспыхнет и ринется куда-то еще ниже.

И глядишь в глаза.

И кругом тихо.

И мне будет уже двадцать, и больше, и больше и, может быть, тридцать лет!

Я обожаю эту минуту, когда: держишь письмо, блаженное бессилие, тихо. И двое в мире. И неизвестность впереди.

Что значат все мои встречи? То, наконец, что я останавливаю собой так многих, почти каждого?

Чем мне себя доказывать?

Все законы и уверения, как марки без клея, тронув меня, отпадают сами собой!

Были вечера, дни, когда я могла, кажется, долго, долго простоять у окна с горящей и затуманенной от себя самой головой. Когда я предчувствую свое неизвестное будущее, когда я знаю: я такая… одна. И все меня могут понять. И я всех понимаю. И горько и сладко, что мне после смогут бросить слова: «Но ведь не в девятнадцать лет Вы это поняли?»

И когда говорят о моих дневниках, не могу же я крикнуть: «Все было. Была большая стопка тетрадок: с тринадцати до восемнадцати лет. Я сожгла. Кто поверит? Ах, разве вы знаете, какие были минуты? Может быть, были вчера? Может быть, будут сегодня. Молчите же при мне о женских дневниках, я не могу об этом слушать!»

Ведь я иногда похожа на Рафаэля или Достоевского, которые бы перед окончанием своей картины или перед изданием книги — взяли бы и сожгли, и потом вышли бы на улицу, в толпу Флоренции и Петербурга, «доказывай-ка себя!» Когда спор кончился, я вышла к морю, пробежала по камням и песку, бросилась на песок. Горы были черны. Были звезды. Я посмотрела вверх, вытянувшись на земле всем телом, и, закинув за голову руки, с холодной струей воздуха, ворвавшейся в грудь, поняла:

я — я. И все. И навсегда. И никто ничего не докажет. И, может быть,— и самое смешное! — я сама себя не докажу никому кроме как тем, у ног которых я буду садиться в тихой беседе: о мире, о жизни и смерти, о себе… о себе и о нем,— кроме как тем, с кем я, наверное, буду снова и снова прощаться, оставив по себе какой-то нерассказуемый туман, тревогу и блеск, и которые, конечно, не смогут меня доказать, «потому, что любили!»

Я не обвиняю себя, когда я бросаюсь в безумную откровенность, когда я прямо ставлю вопрос. Когда я говорю — «я вчера весь вечер о Вас думала. Так, не знаю почему»

Я вижу и красоту этого и нелепость. И правоту свою несомненную — и ошибку. Я знаю, что после таких признаний чаще всего бывает туман и тоска.

И все же я себя не упрекаю… ничуть! Я знаю больше: что

надо быть «сфинксом», героиней; коварной, как киса, и неприступной, как лилия. Я все это знаю.

Этого у меня никогда не будет. Никогда.

...Бросьте, друг! Это найдете Вы у других! Это — не мое дело.

А дело мое — это вот что: сидеть в уголку дивана, с улыбкой тонкой и пленительной и Вас ужасно волнующей, и изредка что-нибудь говорить — злое, ласковое и прелестное. В споре распахнуть, словно нехотя — крылья моего ума, странно перед мужчиной обойтись с женщиной: ласково, снисходительно. Начать говорить, замолчать. Шутя, сказать о себе что-нибудь до глубины откровенное. Не замечать Вашей любви; и вдруг ее сразу заметить, и ответить Вам сразу, ослепить вас тонкостью и умом.

Цените же минуты со мной. Я — воск, я — флюгер, я — парус. Поддамся под движением ваших рук, поверну в ваше веяние, скользну и туда и сюда, куда захотите! Как лодка поплыву по течению! Как скрипка прозвучу под смычком! Дайте тон! Дайте путь! Дайте ветра!

Я буду всем, если вы захотите. А не поймете, не сумеете захотеть — и останусь ничем!

Вот откуда моя улыбка — и змеиная, и близкая, и далекая.

Я ничего не прошу. Я всего прошу. Как хотите.

48

Во мне — два героя: Веретьев, Базаров. И этим наполнена моя жизнь каждый день. Базаров во мне — трактует о здоровье, о долголетии, заставляет меня каждое утро обливаться холодной водой, жить по часам, учить логику, психологию, философию, рассчитывать свои занятия на несколько лет, не бояться темноты, делать все, но только на пользу себе. Ни единой, самой маленькой, жертвы.

Веретьев во мне — заставляет меня долго лежать в постели, зевать и скучать на лекциях, закрыть книгу и лечь на диван, ничего не делать, смеяться над составленным планом, который висит на стене. Вздор возводить на пьедестал и с трибуны низводить ценное, забыть часы, дни, года, все забыть, вплоть до правописания! Он смеется над применением таланта и, шутя, зарывает свой в землю; приносит по первому желанию своему — неисчислимые жертвы, не

придавая им, впрочем, решительно никакой цены; из всего мира берет: игру на гитаре, лунный вечер, стакан вина. И если при нем заговорят о здоровье, он, тихонько насвистывая, сойдет по ступенькам в сад!

Иногда эти два начала мои подают друг другу руки — это дни тоски и колебания и полной темноты вокруг.

Я стою над учебником логики и говорю себе:

«Тут говорится о смежной науке — психологии. Надо учить и ее».

Раскрыв психологию, я берусь за книжечку физиологии. Дальше. Все науки смежны друг с другом — и вот уже меня охватила невыносимая жажда изучать все, все! Может ли доктор знать больше меня! Или психолог! Или политико-эконом! Математик! И вот — точно — по месяцам и годам — я вычисляю, к какому возрасту я достигну того-то и того-то. И сухо, спокойно, радостно узнаю, что в тридцать лет я буду знать много. В этом году...

Но вот на дворе заиграла шарманка. Тореадор. Чу!..

Миг. Книжка все там же лежит на столе, но все полетело к черту.

«Так? К тридцати годам я буду знать то-то? О, какое великолепие! И как удивительно: в десять лет изучить не восемь, не девять, а двенадцать наук! В тридцать лет!»

В тридцать лет я буду на десять лет старше, в тридцать лет будет... В тридцать лет ничего не будет! В тридцать лет будет то, что уже, наверное, у меня в груди разобьется сердце, в тридцать лет я буду в полтора раза толще, чем сейчас!

49

Дневники мои за пять лет сожжены. Они были. Их нет. Утрата огромна! Раз в двадцать больше, чем эта книжка. Пять лет! Ведь на них я «строила» все мое будущее! Я должна бы плакать о них. А между тем... вот я лежу на солнечном берегу, на камешках, у самого моря, волны дробятся, ветер трогает мое платье... Тринадцать — восемнадцать пропало.

Но лицо то же; руки те же (так не могут писать); губы говорят те же слова или очень похожие. И глаза так же зелены; легкий румянец, мой голос, все есть. И разве я могу плакать о моих дневниках, когда я чувствую, что я — я и что все неизменно? Вот захочу, сяду за стол и буду писать

всю жизнь. О чем же жалеть? А захочу — вот так пролежу на берегу, в саду, на диване, и ничего не скажу!

Ах, пока еще я жива, пока кто-то еще меня может понять...

Каждый, кто слишком пристально взглянул на меня и о чем-то задумался или смутился вдруг, каждый, кто начинает меня понимать — возвращает мне, возмещает мне вдруг — все мои дневники!

И я не жалею. Я живу каждый миг. И если берут мою руку — это больше, чем слава, больше, чем будущее, это мимолетно и вечно!

50

Как сейчас засияло солнце, как золотом наполнилась комната через окно; и через цветные платки с зажженными розами льется какой-то свет, какая-то радость,— и по холму, и по винограднику, и по облакам, и над полем — золотистая тишина. Переплеты окон освещены лучом, который исчезнет через десять минут,— какая-то восторженная красота! — я встала и оглянулась:

О, о, мне хочется кинуться в это великолепие и как-то всем захлебнуться! Но ведь я сама поняла и сказала: «В человеке не должно быть ничего, кроме жажды, и мир не должен ее утолять!»

Вот уже бледнеет. Встану и постою, отдам свой восторг воздуху, и знаю, что сейчас тысячи мыслей и чувств овладеют мной, в эту одну минуту, пока я буду стоять и глядеть на цветную шаль и на море. Знаю, что все это скользнет и ужалит и что этого никогда не вернуть. Встаю. Стены террасы, дверь в комнату, синее Андрюшино одеяло и картина над ним — все освещено тихим сияющим светом. Сегодня был дождь. Чирикает птичка.

В пыльном золоте легко-легко тают горы; девочка-татарка стоит на холме. О, как хорошо, и как я все понимаю, и как многое мне еще суждено понять! И сколько видов из окна и закатов солнца, и сколько террас!

Сверху откуда-то зазвучал рояль: сла-або,— и был миг, он, кажется, сейчас повторится, потому что снова эти звуки, но все же он будет чуть-чуть иной,— солнце село, и по другому расположены облака; исчерпать миг нельзя; и, конечно, я тем, что скажу, его не исчерпаю; но главное в нем было: что-то вьющее: вдруг стрела в сердце — чувство, что все пройдет. Что жизнь не то, что пройдет, а проходит. Что

так же звучала музыка в Weisser Hirsch*, и раньше, и позже. Этот день пройдет. Я отсюда уеду. Страшный холод всего.

Было это в пятнадцать лет, в тихие вечера, Sophia играла на скрипке; было в шестнадцать лет, дома, над дневником, или над «Леонардо»; было в семнадцать лет, когда я ждала рождения Андрюши. Вот таким был миг, когда Борис и я стояли у окна, прервав чтение «Идиота», в Эсбо, и смотрели на сосну и дождик и пробегающие поезда. И снова теперь.

Последнее звено этого мига (я сравниваю этот миг с внезапно открывающейся дверью куда-то вглубь, в вечное) — сегодня было радостью и восторгом, когда я глядела на солнце.

И вот три-четыре такие минутки с тринадцати до шестнадцати лет, и совсем понятно, почему мы — Марина и я — молоденькими девочками были в каком-то ужасе от жизни, так ждали Эллиса, так любили Нилендера и знали, что все бесполезно!

51

Маринина смерть будет** самым глубоким, жгучим — слова нет — горем моей жизни.

Больше смерти всех, всех, кого я люблю — и только немного меньше моей смерти.

Как я смогу перенести, что ее глаза, руки, волосы, тело, знакомое мне с первого года жизни,— будет в земле, я не знаю. Это будет сумасшедшее отчаяние. И от этого — кто спасет меня! Уж лучше бы ей увидать мою смерть — она бы, может быть, лучше справилась.

Вот то единственное событие во всей жизни, которое разбивает всю меня, все мои свойства, все мои «ах, что я такое», «какая я странная!». Рухнет все в этот час. Полная победа факта над моими свойствами.

Вот когда я смогу ворваться в безумии в комнату, забыть все, всех, биться об пол, целовать ее, будить, не пускать ее гроб в землю.

Мой голос (у нас одинаковые голоса, мы говорим вместе стихи, совпадают все нюансы, как будто говорит один

---

* Местечко под Дрезденом.— *Прим. авт.*

** Написано за 25—27 лет до смерти Марины. Точно я знала, что она умрет раньше меня.— *Прим. авт., 1986.*

человек) жутко покажется мне — половиной расколотого инструмента. Я с ужасом спрошу себя: как же я буду жить?

Я не буду странная. Я буду как все в этот час.

А ко всем остальным умершим я подойду, вполне сохраняя себя. А в то же время — мы удаляемся друг от друга, по дорогам жизни. Но ее лицо и тело я в землю отпустить не смогу.

52

А где-нибудь в Boyliasco, в Recco сейчас, может быть, синее утро! Вижу: ослик, тележка, овощи, известковая стенка и вдали — синий залив моря, которое сейчас как зеркало.

53

Никто меня никогда не поймет. И я не пойму. Потому что все течет; поймите глубину этих слов: все, всегда.

И не тем разъединены люди, что они богаты, бедны, злы, добры и пр.,— а только парадоксом Гераклита насчет текущей реки.

54

Я никогда не полюблю человека больше своей души.

Я люблю: вечность, тьму, тишину, тихое движение времени — и среди всего этого — себя.

И что я могу сделать, если я это — всего сильнее, всего прочнее люблю!

55

Что делать со своей красотой? Пыльное зеркало, словно вуалью покрыв меня, отражает: коричневый жакет с белым жилетом, брошь с гранатами, кружевное жабо; нежное, чуть бледное лицо в непередаваемых красках, полумглу зеленых ласковых глаз, чуть грустную улыбку, алый рот, золотые кольца волос. И, утонув в пыли зеркала, солнце бросило на лицо, руки, плечи легкие сияющие тени. Луч горит в острых гранях камней.

Мне хочется упасть на колени.

56

Я — неизвестное количество ртути. В узнавании ее: количества и, соответственно, тяжести — проходит жизнь.

Ежедневно я делюсь на миллионы искр, дрожащих и легких (вопросы: кто я, где я?)

И — несколько раз в жизнь я, по неведомому тяготению, вдруг стекаюсь в себя, вся.

И — восторг:

тяжесть единой капли — так велика, так стремительна... в тринадцать раз тяжелее капли воды!

57

Все те отдельные книги, которые я буду издавать о себе: (эта), мои мысли («Королевские размышления»), о России, об атеизме, о философии (задуманные) — не будут хватать за сердце читателей. В каждой из этих книг я — художник, король. Королей не жалеют. Короли — «диктуют законы».

А вот дневник мой, если я когда-нибудь его напечатаю (толстые, однообразного вида тома),— он читающим, с почти физической болью, растерзает душу до дна. От моего дневника, если над ним посидеть, в тихой комнате, заткнув уши, и читать — схватишься за голову, не зная — как же теперь жить, что же делать!..

Только страшно захочется навсегда закрыть эти книги на какой-нибудь прочный замок,— буря, рвущаяся из них в постороннюю жизнь,— невозможна, потому что она больше, чем все. Я это знаю. У меня самой туманится голова, когда я внимательно перечитываю одну за другой страницы. Вечера, утра, вечера, утра, дни, разговоры, воспоминания, музыка, комнаты, пейзажи, любовь, философские размышления, неприятности с прислугой, неимение денег, тоска о смерти, пустые беседы, поездки в банк, смех, вздор, приключения, все **живет** день за днем... И все время эти вопросы: «Что будет?», «Как я умру?», «Чем я буду?» Описания моего лица, движений, манер, смеха, нелепых и чудных поступков — **разве это можно перенести**?

Уже не говоря о том, что каждая страница перечеркивает целиком предыдущую и что ничего невозможно понять,— но самих этих тонких страниц, трепещущих и шумящих, как лес...

Случилось с моей первой книгой, случится и с этой, что

их назовут дневником,— но это неверно. Эти книги — алмазы. А мой дневник будет брошен в мир глыбой камня, которая, падая, давит!

Ах! Мои книги — легки. То есть они не властны. И после них при известном желании можно всегда сохранить ко мне недоверие. «Ну, что, мол, там!..»

Прочтя эти лирические отрывки, можно сказать: «Пишет о любви, а сама еще не любила. Конечно, все это — дым! А вот ты полюби-ка по-настоящему...»

Прочтя мои дневники — ничего мне не скажешь, но, может быть, согласишься со мной, что все в мире — дым.

И, узнав обо мне все, год за годом,— диким покажется, что мне всего — столько-то лет... Так ведь было со всеми, кто подходил ко мне ближе: сперва — недоверие, но, услыхав мою повесть, все умолкали. И скользило с тех пор в голосах, обращенных ко мне, какое-то... невольное уважение.

Как некоторые мотивы, длинные переливы песен, мою душу — в итоге всего — мечтательную и спокойную — перенести нельзя!

И еще: никто не подвержен законам. Каждый мой встречный — чудо. Люди не чисты и не грязны. Люди — это число X чудес. Я ничего не знаю, никто не знает. До сегодня не было этого, завтра — будет. «Я презираю опыт, набравшийся по ничтожным каплям в ничтожную чашу».

И — никаких отчетов. Никаких объяснений.

Но только одно: одиночество мое, одиночество. Так идет с двенадцати лет, с маминой смерти восемь лет.

58

Сидя на террасе, смотрела в сад на серебрящееся море и думала о том, что все же — опыт жизни есть во мне. Или какая-то грусть. Что-то,— что порой заставляет меня не говорить, слушать молча. Вот так перевеситься через перила и смотреть, сощурясь, на трепет листвы.

И мне кажется, что в смутные часы несущихся и тающих воспоминаний — уже обозначается вокруг моих губ — складка. Что-то терпкое и одновременно нежное в углах рта.

59

Поезд идет. Я сижу в вагон-ресторане, солнечный теплый вечер, качаются и бегут солнечные тени со стены на стену; я буду пить шоколад. Я прошла через много вагонов III, II, I класса и в 10 минут успела вдохнуть в себя массу миров, лиц, сцен, запахов.

Я сижу у окна. Солнце, бросив луч, зажгло на моем visàvis — кольцо с бриллиантом, и он горит, как капля росы, ослепительными цветами — в то время как солнце не томительно, но горячо — заливает мою щеку, рот, волосы.

Напротив, наискосок, в узком стекле, затененном с той стороны чем-то синим, я вижу очертания моих плеч, черное пальто, маленькую белую шляпу, нежность лица и теней на нем, неуловимо опьяняющий жест руки, прикоснувшейся к подбородку, тонкое наклонение головы, еле дрогнувший рот — улыбкой.

А слева, порой, когда пробегает поезд, на фоне его темных вагонов, в стекле, повторяется маленькая блестящая комнатка уютного вагон-ресторана. Прошло двое военных, которые уже давно взглядывают на меня.

Удивительно потонул в тени лес, но вот он кончился, и брызнуло солнце, и я сижу, прислонясь подбородком к оконной раме, щурюсь, улыбаюсь, дышу!..

Ах, если подойдет ко мне молодой офицер или другой незнакомец, подумав, что я рождена для насмешливости или что я рождена для любви,— вы ошибетесь, пожалуй,— ибо моя красота — это дым, и я ничего не хочу кроме: быть одной; бегут поля; стакан шоколада...

Почему я так откровенна? Так нежна? Так резка?

Не дикое ли я произвожу впечатление?

Я неприятна? Аффектирована? Голова моя слишком высоко поднята, и слова слишком высоко парят?

Что я такое?

Слышу ответ: истеричка. Новый тип женщины. Женщина, хотящая свободы (ах, уверяю вас, я решительного ничего не «хочу»!).

Не стройте на мне, доброжелатели, прочных зданий для будущего, не стройте даже и замков — я бы очень хотела, облегчая всем вам задачу,— просто не быть реальностью ни для кого из вас!

Пусть я буду призраком. Абстрактным явлением. Ничего не говорю против.

В хаосе мыслей и чувств, в блеске, от которых мне больно, я явилась. Откуда? Зачем?

Два вопроса, интересующих меня сильно!

И еще: что такое любовь? Это спрашиваю я, когда ранняя грусть падает тенью от чувств моей жизни.

Когда я одна в своей комнате, то нет никакой любви. Ибо сердце еще я могу вырвать и бросить к ногам любимого, душу же — как мне отдать? Подобная ветру, она легко подымается из меня, и где искать ему ее веяния?

В музыке, в сочетании рифм, в вечных вещах.

Я бы хотела вот в этот час — отдать свою душу многим. Двум. Одному,— наконец,— но для этого я должна у всех дерев отнять их листву и синеву у небес, и ритм у стихов, и красоту у всех картин — ибо моя душа — там!

И скорбно я никну к коленям любимого, бессильная сплотить свою душу,— и в этот миг всего горячее биение сердца — ибо его, да, его я могу отдать!

«Не тем безнадежна любовь, что у нас сердца вероломны, а лишь тем, что душа больше нас и что мы не властны над нею.

Где душа? Что такое душа?

Радость. Грусть. Самый тонкий слух и зрение дальше земных горизонтов. Иными словами,— так, дым. И вот этим-то дымом мы и любим друг друга. Скажите теперь, есть ли надежда в любви?

О сколь часто хотелось мне из тончайших чувств, из перистых облаков сделать — тучи.

Я слишком мало верю своей «безнадежности», слишком часто живу в надеждах!..

Но «безнадежность», должно быть, вправду серьезна. Потому что если я одна в комнате — то нет любви.

«Как в такое утро, под музыку Глинки, которая тает, тает, я, с пером в руке или, бросив перо, положив на глаза холодные мои ладони,

как я люблю вас всех, друзья мои,

как глубоко, как верно, как сладко, как самоотверженно, я бы хотела сказать,— если вы не будете улыбаться,

как я, с каждым из вас,

звезды моего черного неба, хотела бы умереть, растаять в ночи,

о друзья мои, которые, как и я, будете под землею...

как рассказать вам тот ужас нежности, который обуревает мною

— при ваших именах и звонках и ваших визитных карточках! И как вас соединить в какое-то целое, в котором я могла бы растаять, которое я могла бы обнять, и как пережить

— тоску раздробления этой своей мечты, жажду быть с Вами вдвоем, биться в звуках Вашего голоса, видеть Ваше лицо, любоваться Вашими жестами, как уверить Вас, Г., Вас, Л., Вас, С.,

что я каждого из вас люблю по-особенному за его душу — и как мне объяснить каждому из вас, что я люблю — другого?

Как мне сказать, что я каждого из вас позабуду в страшный час моей смерти.

Не из-за недостатка любви,

— а по цифре градусов открывшейся черной бездны. Как мне сказать...

что пламя равно льду и нет измерений...

И никто не поверит моей любви, ибо завтра услышит, что я не пойду за ним на войну, а, может быть, пойду — за другим...

И как мне перенести —

что никто из вас до конца меня не поймет

и что в блеске ссор, самолюбий и недоговоренных признаний все мы ляжем в могилы, забыв друг о друге,

и станет темно кругом нас!

Но мы живы. Мы молоды. Мы пленительны. И уже звучит вальс...

И уже горят диадемы огней, и уже дирижер тихо водит рукой над сонмом танцующих звуков.

Кто из вас, забыв все, и себя и меня,

и градусы идущей бездны,

обхватив меня затрепетавшей рукой, которая мне чужда, как и доныне,

кто из вас бросит все в этот сегодняшний вечер, и по золотым квадратам паркета, под тысячами огней,

скользнет со мной в бесконечность, со мной,

кто из вас по первому звуку марша полетит со мной на коне,

кто из вас

в душный вечер,

когда кругом — тьма, а впереди — безысходность,

кто из вас

возьмет руки мои для последнего поцелуя, без единого слова вражды,

кто из вас

погладит по головке змею моего ума, не боясь ее яда, зная противоядие, кто из вас оторвется от земли по первому зову,

— в первый же музыкальный такт!

Вы, М. А., кажется, хорошо танцевали
— Я люблю хороших танцоров.
Вальс звучит.
Диадемы горят.
Я кладу Вам на плечо — мою руку.

Есть хорошая книжечка. Называется она «Дым». Ее написал Тургенев.

Там хорошая героиня. Но не критикой я занимаюсь сейчас. Помнится, эта книжка кончается так: после длинного бреда, после многих призраков и несчастий герой находит, наконец, счастье непризрачное — плоть и кровь.

И вот, сидя в вагоне, он смотрит на струйки дыма, которые вьются за поездом, и вдруг — все его мучения ему представляются — дымом.

И та прелестная героиня, которую он так страстно любил, тает в его душе — призраком.

Он стоит, еще молодой, рядом с девушкой Таней, и, точно освобождаясь от колдовства, повторяет: «Дым, дым и дым...»

И вы, каждый, после любви ко мне — ищите себе свою Таню, а обо мне раз навсегда повторите: «Дым, дым и дым...»

ПОСЛЕСЛОВИЕ К КНИГЕ 1916 ГОДА «ДЫМ, ДЫМ И ДЫМ»

Может быть, если бы мне предложили написать это послесловие ранее — вместе с просьбой о подправке моей юной книги — к переизданию, я бы выполнила это лучше,

чем наспех, как я делаю это сейчас. Но основное, что я хотела бы сказать, остается тем же: что разлука моя с моей книгой, в разливе годов очень значительном исчисляется в семьдесят один год. Двадцать два года — и год девяносто третий — казалось бы, что общего? Но это размышление — неправильно, ибо личность человека, ее музыкальный тон, тон ее камертона — все тот же, лишь *оснащенный* опытом жизни, которому нет конца.

Но разве *тогда* не было *уже* опыта? Он *был*, ибо позади молодости были юность, отрочество, детство — и не этот ли лирический опыт, опыт расставания с каждым днем, с каждым чувством, ощущением, человеком, с каждым полюбленным местом — как Таруса, как Нерви, как набережная Уши у Леманского озера, как волошинский и наш Коктебель, где оставалась навеки частичка души,— давал право на глубину печали, которой преисполнена, переполнена та моя юная книга?

Я ее люблю, как мое дитя, неразумное, не о том страдающее, о чем бы нужно, пыл свой тратившее щедро (что хорошо), но не на то, на что такой запал был направлен, горько упрекающее не то, что в этом страдании виновато... Все окружающее казалось нуждавшимся в обвинении в непохожести на тебя — но не мог тот не готовый жить человек на себя оглянуться, постичь, что, может быть, ты виновата перед миром, что, может быть, ты не понимаешь себя?..

Но вернемся назад к тому, что *предшествует* молодости, то, для чего она, молодость, кажется расцветанием: та пора, которая, быть может, еще мучительнее — туманное отрочество и так называемое золотое детство, когда все непонятно, но, впервые увиденное, услышанное, оглушает, завораживает и мучает, может быть, еще сильнее, чем в молодости...

Одиночество детства! Оглушительная новизна окружающего! Не с чем сравнивать — и поэтому невозможность оценки... Ежемгновенное восприятие неизведанного — и у кого просить помощи, когда ты не можешь выразить своих затруднений от неумения их осознать. Человек рождается в... лес без путей и без признаков познаваемости. Бессловесный, он задыхается от невыразимости с ним случившегося.

С первых дней жизни он оказывается заблудившимся в лесу неназываемых чувств. С утра и до ночи захлебывается ежеминутным восприятием ребенок, кроме крика — нет у него средств самозащиты, ибо мать, такая большая,

так всем овладевшая, не имеет путей к его отчаянной молчаливости — первых дней, недель, месяцев. А когда приходят слова — это слова не те, они мало чему помогают, они не выводят из леса, они еще усложняют общение, потому что выражают конкретное и случайное, а душа полна непонятного и огромного, и ребенок только и делает, что отгребает мешающее, не соглашается на предлагаемое упрощение, борется с убожеством названного, *слыша* мир, а не вещь плюс вещь...

И за годом идет год, идут годы. Маленький человек научается привыкать к своему одиночеству, примиряется с тем, что не понят, устает от плача и крика и находит уют и веселье в трудном своем дне, отвыкает от требовательности, научается жить — как все. И на этом пути привыкания перед ним в тумане брезжится отрочество, и за ним — тот рассвет, который называется — молодость.

Трагическая пора — молодость! Весь мир звучит ей таким многоголосьем, с которым не сравнится знаменитейший в мире хор. И все чувства ее отзываются на разноголосные зовы, отдавая все силы свои — неизвестному, только на *силу* зова!

Молодость отдана — чувствам. И они мучительны. Ибо им не сопутствует понимание. Понимание приходит позднее, и когда оно настает — начинается освобождение от заколдованности чувствования, а когда пробуждается анализ вокруг сущего, а затем благодетельность самоанализа — это приблизилась блаженная пора зрелости, овладевания миром! Пора, когда ты не слушаешь призыв того, что зовется жизнью, не обольщаешься, не ошибаешься, когда тебе принадлежит все — оттого, что тебе ничего не нужно, когда ты слышишь до того неведомый слуху хрустальный голос истины, когда мир лежит перед тобой во всем своем безмолвном величии и когда обо всем, что было ранее, ты можешь сказать твердо: дым, дым и дым...

Анастасия Цветаева

Переделкино
15 мая 1987 года



ПРИМЕЧАНИЯ

Большинство произведений, включенных в сборник, не переиздавалось последние семьдесят лет.

ШАПИР Ольга Андреевна родилась в 1850 г. в г. Ораниенбауме в семье А. П. Кислякова, по происхождению крестьянина, ставшего военным писарем. Она явилась последней из девяти детей. Впоследствии О. А. Шапир писала об отце: «Известно только, что свою служебную карьеру он сделал благодаря покровительству избежавших разгрома членов кружка декабристов, и служил частным переписчиком у самого Пестеля, ценившего в нем большой природный ум и железный характер». (Ф. Фидлер. Первые литературные шаги. Сб. автобиографий. М., 1911. С. 49.)

В 1872 г. Ольга Кислякова вышла замуж за студента медицинской академии Л. М. Шапира, находившегося в ссылке в Новгороде за связи с революционным движением. После возвращения из ссылки муж завершает медицинское образование, а Ольга Андреевна зарабатывает на жизнь переводами в газетах «Биржевые ведомости» и «Новое время». Первый рассказ создан ею в 1871 г.

С конца семидесятых годов О. А. Шапир широко печатается в журналах: «Отечественные записки», «Неделя», «Вестник Европы» и др. Богатый пласт личных наблюдений и контактов с революционной молодежью воплощен романом «В бурные годы», посвященном народническому движению. Рукопись более семнадцати лет не удавалось напечатать из-за цензурных осложнений. Для большинства произведений О. А. Шапир характерен пристальный интерес к внутреннему миру личности. Она отметала некоторые критические ярлыки и обоснованно доказывала: «Оставаясь верна основной цели, я отнюдь не чуждалась более широких тем и не могу считать себя «певцом любви»...» Подобная самооценка писательницы поддержана современным литературоведением. Б. С. Мейлах категорически заявлял, например: «...никак нельзя согласиться с обычной оценкой О. Шапир, как представительницы мещанской беллетристики». Это суждение совпадает и с нашей точкой зрения.

Собрание сочинений О. А. Шапир в 10 томах вышло в Петербурге в 1910—1912 гг. Писательница умерла в 1916 г.

Повесть «Авдотьины дочки» впервые опубликована в журнале «Русское богатство», 1898 г., № 11—12. Печатается по десятитомному Собранию сочинений О. А. Шапир.— Спб., 1911. Т. 6.

роман Бурже — Поль Шарль Жозеф Бурже (1852—1935), французский писатель и критик, широко известный произведениями на темы светской жизни

матине — *франц.* — женская утренняя домашняя одежда в виде широкой и длинной кофты из легкой ткани

роббер — *англ.*— в карточных играх — период, состоящий из трех отдельных партий

КРЕСТОВСКАЯ Мария Всеволодовна родилась в 1862 г. в семье известного писателя В. В. Крестовского, автора романа «Петербургские трущобы». Начало публикаций самой Марии Всеволодовны относится к 1885 г. в «Русском вестнике» за подписью «М. Кр.» Первое крупное ее выступление — роман «Ранние грозы» (1886) вызвал одобрительные отзывы критики, заговорившей о недюжинном таланте автора. Это впечатление подтвердили дальнейшие произведения: «Вне жизни» (1889), «Ревность» (1892), «Сын» (1893), «Артистка» (1896). В этот же период издается четырехтомное собрание сочинений М. В. Крестовской — Спб. 1889—1896 гг. Критик Е. А. Колтоновская так характеризовала творческую манеру писательницы: «Перо ее, при женской гибкости, часто отличается почти мужской сдержанностью. У нее не бывает того хаотического наплыва необдуманных чувств, которыми обыкновенно страдают женские произведения. Она не любит лирических отступлений и предоставляет своим героям говорить и действовать самим за себя. Тон ее в самых драматических местах остается сдержанным. В постановке женских проблем у нее всегда чувствуется широкая общечеловеческая основа и совсем нет той женской узости, ограниченности и тенденциозности, которые вносят в них идейные феминистки» (Женские силуэты. Спб, 1912. С. 82).

Творческая работа была прервана ранней смертью, настигшей М. В. Крестовскую в 1910 г. во время ее пребывания в Финляндии, в имении «Мариоки».

Повесть «Вопль» публикуется по первому изданию в журнале «Русская мысль». 1900. № 1—2.

Скобелев М. Д. (1843—1882) — русский генерал, одержавший несколько выдающихся побед в сражениях русско-турецкой войны 1887—1878 гг.
Гурко И. В. (1828—1901) — русский генерал, один из деятелей русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
Екатеринбург — ныне Свердловск

КРАНДИЕВСКАЯ Анастасия Романовна, урожденная Тархова, родилась в 1865 г. Первоначальную писательскую школу проходила в газетно-журнальной периодике. В 1900 г. увидел свет ее сборник рассказов «То было раннею весной», сочувственно встреченный критикой. Обозреватель журнала «Русское богатство» отмечал общественное неравнодушие, которым проникнуто творчество писательницы. Критик журнала «Образование» писал: «Перед нами умная наблюдательница, талантливо подмечающая и передающая жизненные явления известной сферы» (1900, № 2. С. 38). Оба отзыва упоминали и о том, что талант А. Крандиевской неярок и недостаточно определился.

Вторым изданием рассказы А. Крандиевской вышли в 1905 г. и составили два тома. Первый повторял содержание предшествующего издания, второй, под заголовком «Ничтожные», включал новые произведения. В их число входил и рассказ «Только час», до того уже дважды опубликованный в 1903 и 1905 гг. В очередном обзоре новых книг журнал «Русское богатство» отметил: «Все, написанное г-жой Крандиевской, свидетельствует о ее вражде к «низкому, гнилому и бессильному» на общественных верхах и низах, о такой же горячей любви ко всему, что надвигается на нас из глубин народных и что служит провозвестником будущего» (1905, № 4. С. 47). Наиболее одобрительно оценен рассказ «Только час». Он переиздавался впоследствии в 1906, 1917 и 1918 гг. Известий о дальнейшей литературной деятельности А. Р. Крандиевской не имеется. Писательница умерла в 1938 г.

Рассказ «Только час» публикуется по изданию: Крандиевская А Только час и др. рассказы. Ростов-на-Дону. 1903.

ДМИТРИЕВА Валентина Иововна родилась в 1859 г. в селе Воронино Балашовского уезда Саратовской губернии. Ее родители — крепостные крестьяне одного из графов Нарышкиных. Впоследствии отец окончил курс сельскохозяйственной школы, работал некоторое время управляющим князя Васильчикова. С огромным трудом, втайне от родителей, девочка с помощью добрых знакомых постигала азы учения. Самостоятельно она подготовилась к гимназии и окончила ее в 1877 г. Уехала преподавать в Балашов, некоторое время работала сельской учительницей Так же как героиню повести «Тучки», земство направляет В. И. Дмитриеву на женские врачебные курсы в Петербург. Она активно участвует в работе прогрессивных студенческих кружков, у нее складываются стойкие демократические убеждения народнической окраски.

В 1880 г. в столичной печати публикуется первое крупное произведение начинающей писательницы. С тех пор ее творческая деятельность очень продуктивна — на протяжении двух десятилетий напечатано более 50 крупных работ. Ведущая писательница предыдущего поколения Н. Д. Хвощинская одобрила и поддержала новый талант. Не случайно в автобиографии, предварившей издание ее повестей и рассказов в 1909 г., В. И. Дмитриева писала: «Вообще я считаю себя очень счастливой: на жизненном пути своем я встретила столько хороших людей, что одно воспоминание о них в самые трудные минуты моей жизни поддерживает во мне бодрость духа и никакие невзгоды, никакие неудачи не могут поколебать во мне веры в человека».

В этих словах выражено не только жизненное, но и собственно творческое кредо писательницы.

В конце восьмидесятых годов за участие в студенческом движении, хранение нелегальной литературы она выслана в Тверь без права жить в столицах. После окончания ссылки поселяется в Воронеже и самоотверженно работает врачом на преодолении эпидемических заболеваний в области. Критика постоянно отмечала жизнеутверждающий характер реализма В. И. Дмитриевой, ее глубокую веру в силы народа. В 1902 г., будучи за границей, В. И. Дмитриева издает две агитационно-пропагандистские брошюры, способствовавшие развитию революционных настроений в массах.

Революция 1905 г. вызвала подъем писательской деятельности В. И. Дмитриевой. Она расширяет круг своих тем, обращается к отображению рабочего класса.

После Октябрьской социалистической революции, с 1919 г. писательница живет в г. Сочи, работает над мемуарами и переизданием своих сочинений. В этот период выходит более 15 ее книг.

В 1947 г. В. И. Дмитриева умерла в Сочи.

Повесть «Пчелы жужжат» перепечатывается по первой публикации в журнале «Русское богатство». 1906. № 10.

скуфейка — шапочка, бывшая отличительным головным убором части духовенства

обросился — оплешивел

загнетка — углубление в передней части русской печи, куда собирали угли, которые можно было наскоро разжечь

гама́н — кошелек

притка — случайность, помеха, препона. Здесь: нечистая сила

чека — гвоздь, затычка, вид долота
тати — разбойники
что-то фригийское — имеется в виду красный фригийский колпак, отличительный знак революционеров во Франции в 1789 г.
шлык — колпак, часть одеяния монастырских пóслушников

ЩЕПКИНА-КУПЕРНИК Татьяна Львовна родилась в 1874 г. в семье с давними интеллигентными традициями. Прадед ее по линии матери — знаменитый артист М. С. Щепкин. Мать была профессиональной музыкантшей, отец — адвокатом. Татьяна Львовна рано начала писать стихи, некоторые юношеские опыты были опубликованы.

Известность начинающему автору принес одноактный водевиль «Летняя картинка», написанный по просьбе актрисы Малого театра тетки будущей писательницы — А. П. Щепкиной. Водевиль на сцене имел успех, и Т. Л. Щепкиной-Куперник начали поступать заказы из периодических изданий на очерки, рассказы и переводы. В 1893 г. она становится постоянной сотрудницей газеты «Русские ведомости», журналов «Русская мысль», «Детское чтение».

Много переводит, особенно драматургов: Гауптмана, Метерлинка, Ростана.

В 1898 г. вышел первый сборник рассказов «Странички жизни». Вслед за тем сборники: стихов «Из женских писем» и рассказов «Ничтожные мира сего» (1900), «Незаметные люди» (1904), «На солнце и в тени» (1904) и др.

На склоне жизни писательница вспоминала об этом этапе творчества: «Любовь к забытым, замученным жизнью людям, покинутым детям, безработным, вообще всем обездоленным, презрение к «хозяевам жизни» — богатым, эгоистичным, лицемерным, слепым людям, ненависть к произволу и насилию — все это отражалось в моих рассказах и вызывало сочувствие публики и благоприятные отзывы критики...» (Литературный путь // В кн. Разрозненные страницы. М., 1966. С. 21).

Писательница признавала свойственные ее стилю избытки сентиментальности и прекраснодушия, но в одобрение себе говорила: «Никогда не написала ни одной строки, которой мне пришлось бы стыдиться или от которой отрекаться в дальнейшем».

Впечатление от революции 1905 г. нашли отражение в сборнике рассказов 1907 г. «Это было вчера». Он был конфискован, и автор вызван в суд за «оскорбление властей». Книгу уничтожили, но часть экземпляров успела разойтись.

В советское время Т. Л. Щепкина-Куперник занималась переводческой деятельностью, выпустила несколько книг воспоминаний. В 1944 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени. Умерла Т. Л. Щепкина-Куперник в 1952 г.

Рассказ «Первый бал» из сборника «Это было вчера» печатается по изданию: Щепкина-Куперник Т. Л. Разрозненные страницы. М.: Худож. лит., 1966.

«Романтики» — пьеса известного французского драматурга Эдмона Ростана (1868—1918). Издана и поставлена в России в 1894 г. в переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник
«Камо грядеши?» — «Куда идешь?» — заголовок романа польского писателя Г. Сенкевича (1846—1916)
Антинóй — прославленный своей красотой юноша, друг римского императора Адриана. Умер в 130 г.
сарабанда — испанский танец, известный с XVI столетия.

М И Л И Ц Ы Н А Елизавета Митрофановна родилась в г. Острогожске Воронежской губернии в 1869 г. в семье управляющего имением, Получила домашнее образование. В двадцать лет, по требованию отца, вышла замуж. Брак оказался несчастливым и продлился недолго. В 1894 г будущая писательница вторично выходит замуж за агронома Н. А. Милицына, который пробовал себя в беллетристике и публицистике. Он горячо поддержал стремление Елизаветы Митрофановны к литературной деятельности. Супруги переехали в Москву. Здесь в 1896 г. газета «Русские ведомости» публикует рассказы Е. М. Милицыной. Доброжелательно поддержали первые опыты в остро социальной, демократической прозе писательницы В. Г. Короленко и М. Горький. Последний приглашает Е. М. Милицыну участвовать в изданиях «Знания», публикует повесть «В ожидании приговора» в 32-м выпуске сборника (1910), помогает подготовить трехтомное собрание сочинений. В 1910 г. Горький писал Милицыной, в ту пору переехавшей вместе с мужем в Воронеж: «Ваши рассказы я своевременно читал уже, ныне, перечтя их вместе, я, мне кажется, имею право видеть в лице Вашем серьезного сотрудника и ценную силу — умного и стойкого борца за возрождение нашей страны». (Архив А. М. Горького. Т. 7. 1959. С. 64.)

Два тома, подготовленных под руководством А. М. Горького, вышли в издательстве «Знание» в 1910 г. Они были отмечены почетными отзывами Академии наук. Третий том вышел в 1913 г. в Москве и подвергся цензурному аресту. Автора привлекли к судебной ответственности «за восстановление класса на класс в печати».

Писательница получает широкую известность. Общество любителей российской словесности избирает Е. М. Милицыну в свои ряды.

С началом первой мировой войны Елизавета Митрофановна идет на фронт сестрой милосердия, пишет «Записки сестры милосердия», не разрешенные к печати цензурой.

Вскоре после революции Е. М. Милицына вступает в РКП(б), с головой уходит в организационную и журналистскую работу. Сотрудничает в газетах «Коммуна», «Новая жизнь», «Беднота».

Писательница умерла в 1930 г. в Воронеже.

Повесть «В ожидании приговора» печатается по изданию: М и л и ц ы н а Е. М. Рассказы. М., 1913. Т. 3.

кутние зубы — *устар.* — коренные зубы
святно — *диалектн.* — дружно, ладно
паморок — *диалектн.* — обморок
крейда — *укр.* — мел

Ц Е Х О В С К А Я Варвара Николаевна родилась в 1872 г. в г. Боброве Воронежской губернии в небогатой помещичьей семье Меньшиковых. Училась в Кременчугской женской гимназии; рано начала публиковаться в киевских газетах, стала профессиональной журналисткой. Из внутриредакционных событий родились сюжеты рассказов «Муравейник», «Юбилей редактора», «Первый шаг» и др. Она избрала псевдоним — О. Ольнем, под которым публикуются беллетристические произведения писательницы в ведущих журналах первого десятилетия XX века: «Русском богатстве», «Русской мысли», «Вестнике Европы». К 1912 году вышли три сборника рассказов О. Ольнем, получивших одобрительный резонанс в критике. В частности, отмечалась «зоркая наблюдательность и изящная отчетливость письма». Автор этих слов, известный критик Е. Колтоновская подчеркивала: «...Обычные достоинства автора: яркость письма, тщатель-

ная литературная отделка и спокойная сдержанность повествования». (Вестник Европы, 1912, № 1. С. 380). Современники соотносили перо В. Н. Цеховской с творчеством писателей чеховского направления.

Последний сборник писательницы вышел в издательстве «Задруга» в 1919 г. Далее след ее теряется. Год смерти нам установить не удалось.

Повесть «Династия» печатается по ее первой публикации в журнале «Русское богатство». 1910. № 4—6.

Иван Данилович Калита — Великий Московский князь (1328—1340), вошел в историю как собиратель земли Русской
благерствуешь — *франц.* — шутишь, насмехаешься
октябристы — политическая партия, выражавшая в Государственной Думе интересы помещиков и крупной буржуазии
Адони́с — мифологический персонаж, здесь — символ мужской красоты
атанде́ — *франц.*— погодите; здесь — карточный термин
табес-дорса́лис — *лат.*— медицинский термин: спинная сухота
гаме́н — *франц.*— мальчишка, сорванец
Что за комиссия, создатель...— строка из комедии А. С. Грибоедова (1795—1829) «Горе от ума»
осокорь — разновидность тополя, раскидистый в отличие от пирамидального
каприфоль — вьющееся декоративное растение
не то ампир, не то директуар — имеются в виду стили в искусстве, названные по эпохам Империи и Директории во Франции
митенки — женские перчатки без пальцев
реприманд — *франц.*— выговор
шале́ — *франц.*— дача, сельский домик
амикошонство — *франц.* — фамильярность
визави с дамами — *франц.*— напротив дам
Ганеманн Самюэль (1755—1843) — основатель гомеопатии
Ведекинд Георг Христиан (1761—1831) — ученый и писатель, был профессором медицины в Майнце (Германия)
Пирогов Н. И. (1810—1881) — выдающийся русский ученый и врач, талантливый хирург.
Вересаев В. — псевдоним известного русского и советского писателя, врача по специальности В. В. Смидовича (1867—1945)
Мак-Кинли (1843—1901) — американский президент в 1897—1901 гг., убит в 1901 г. анархистом
отава — трава, выросшая на месте скошенной в том же сезоне
муза — пальмообразное тропическое растение

ТЫРКОВА Ариадна Владимировна родилась в 1869 г. в родовом имении Вергежа Новгородской губернии. Училась на математическом факультете Бестужевских курсов. Начала публиковаться в журнале «Русское богатство» в 1900 г. Часто использовала псевдоним Вергежский. В 1903 г. переехала в Ярославль, продолжала активно сотрудничать в прессе, состояла членом редакции газеты «Северный край».

В 1904 г. А. В. Тыркова была арестована за революционную деятельность в рядах партии Народной свободы, бежала из заключения за границу, вернулась в Россию после амнистии. В межреволюционный период часто выступала со статьями и рассказами в столичных и провинциальных газетах и журналах. Отдельным изданием выходит ее роман «Ночью».

В «Русской мысли» в 1917 г. печатается ее роман «Добыча». Сборник «Семь рассказов» выходит в Петрограде в 1916 г.

Рассказ «Афинянка» печатается по сб: Тыркова Ариадна. «Семь рассказов». Пг., 1916.

палла — античное женское одеяние, имевшее форму квадратного или прямоугольного пледа
авва — *старославянск.* — отец
талар — длинное монашеское одеяние

АВИЛОВА Лидия Алексеевна родилась в 1865 г. в дворянской семье Страховых в селе Клекотки тульской губернии. Детство будущей писательницы прошло в Москве, здесь она закончила гимназию и обсуждала в кругу друзей свои первые литературные опыты. После замужества в 1887 г. Л. А. Авилова переехала в Петербург, где начинает публиковаться в периодических изданиях. Она помещает рассказы в «Петербургской газете», «Русских ведомостях», «Ниве».

В начале 90-х годов Л. А. Авилова знакомится с А. П. Чеховым и попадает под влияние не только обаяния его личности, но и представляемого им творческого направления. Антон Павлович ценил талант молодой писательницы, читал ее рукописи, учил избавляться от избытка сентиментальности: «Когда-то я писал Вам, что надо быть равнодушным, когда пишешь жалостные рассказы. И Вы меня не поняли. Над рассказами можно и плакать, и стенать, можно страдать заодно со своими героями, но, полагаю, нужно это делать так, чтобы читатель не заметил. Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление...» В лучших рассказах Л. А. Авиловой — к примеру, в том, что дан в нашем сборнике — чеховский совет осуществлен.

В 1896 г. вышел в свет сборник Л. А. Авиловой «Счастливец и др. рассказы». В 1898 г. опубликована в «Русском богатстве» повесть «Наследники», встретившая одобрения критики и писательской общественности, в частности И. А. Бунина. Многие рассказы хвалил Л. Н. Толстой.

В 1901 г. журналом «Вестник Европы» опубликована повесть «Обман» с некоторым налетом мистицизма — данью модным в ту пору декадентским настроениям. Своеобразным творческим итогом дореволюционного периода жизни и творчества Л. А. Авиловой явился сборник рассказов «Образ человеческий», опубликованный в 1914 г. В этом же году писательница принята в члены Общества любителей российской словесности при Московском университете.

Послереволюционный период посвящен преимущественно мемуарам. В 1929 г. она избирается почетным членом «Общества А. П. Чехова и его эпохи», много делает для увековечения памяти великого писателя. Мемуары «А. П. Чехов в моей жизни» переиздавались несколько раз, переведены на иностранные языки. И. А. Бунин так характеризовал этот труд: «Воспоминания Авиловой, написанные с большим блеском, волнением, редкой талантливостью и необыкновенным тактом, были для меня открытием...»

Писательница умерла в 1943 г. в Москве.

Рассказ «Пышная жизнь» опубликован в сб. «Образ человеческий». М. 1914. Печатается по изданию: Авилова Л. А. Рассказы, Воспоминания. М.: Советская Россия, 1984.

ЦВЕТАЕВА Анастасия Ивановна родилась в 1894 г. в Москве. Ее отец — И. В. Цветаев — профессор Московского университе-

та, основатель Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, ее старшая сестра — М. И. Цветаева — знаменитая русская поэтесса. Творческое формирование обеих сестер происходило в общей атмосфере напряженных духовных исканий предреволюционных лет. Первая прозаическая книга А. И. Цветаевой «Королевские размышления. 1914 год» опубликована в 1915 г. Вслед за тем — в 1916 г. вышла книга «Дым, дым и дым».

Трудности послереволюционной поры надолго прервали литературные публикации А. И. Цветаевой. Она преподавала иностранные языки, занималась переводами, литературоведческой работой.

В 1971 г. вышли в свет «Воспоминания» Анастасии Цветаевой, получившие широкую известность, неоднократно переиздававшиеся в нашей стране и за рубежом. В 1977 г. журнал «Москва» № 7 опубликовал «Сказ о звонаре московском». Затем эта работа в соавторстве вышла отдельным изданием. В восьмидесятые годы в периодической печати неоднократно публикуются литературно-критические и мемуарные работы А. И. Цветаевой.

Повесть «Дым, дым и дым» печатается на основе ее первой публикации в 1916 г. с сокращениями автора.

Содержание

Составитель
Виктория Васильевна Ученова

ТОЛЬКО ЧАС

Проза русских писательниц
конца XIX — начала XX века

Редактор **В. Дольников**
Художники **В. и Л. Низовы**
Художественный редактор **О. Червецова**
Технические редакторы **В. Соколова, В. Тушева**
Корректоры **Т. Воротникова, И. Попова, А. Володина**

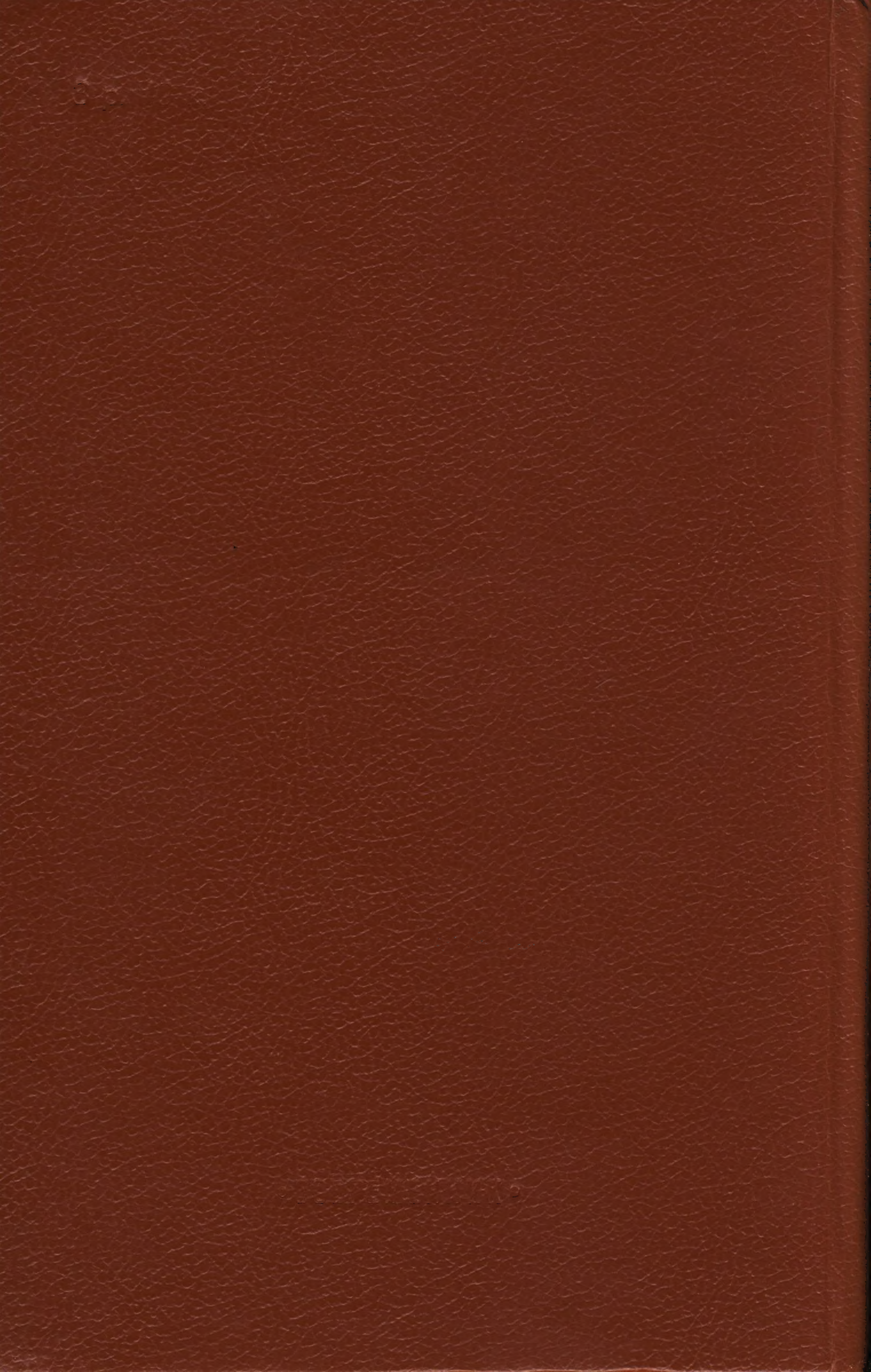
ИБ № 5000
Сдано в набор 28.07.87. Подписано к печати 06.04.88. Формат 84×108/32. Гарнитура литерат Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. краск.-отт. 31,5. Усл. печ. л. 31,08. Уч.-изд. л.34,78. Тираж 300 000 экз Заказ 1753. Цена 3 р. 10 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46








ТОЛЬКО ЧАС